Рауль
Мир-Хайдаров

Том второй

Рауль
Мир-Хайдаров

Том второй

Вот и все…
я пишу вам с вокзала

Казань
Kazan-Казань
2011

УДК 82
ББК 84–4
М-63

Мир-Хайдаров, Р. М.
Том второй. Вот и всё… я пишу вам с вокзала.

М-63 Собрание сочинений. В 6 т. Том II. Вот и всё… я пишу вам с вокзала / Рауль Мир-Хайдаров.— Казань: Kazan-Казань, 2011.— 628 с.

ISBN 978-5-85903-072-9 (2)
ISBN 978-5-85903-070-5

«Двойник китайского императора» — остросюжетный социально-политический роман с детективной интригой, написанный на огромном фактическом материале. Бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Гайданов в недавно вышедшей вторым изданием мемуарной книге «На должности Керенского, в кабинете Сталина», стр. 431 сказал о Мир-Хайдарове и его романах: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного в работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и …криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать». В ней впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в верхних эшелонах власти, сращивание криминала со всеми ветвями власти…» Не зря американская газета «Филадельфия инкуайер» назвала Рауля Мир-Хайдарова «исследователем мафии», а специалисты из спецслужб называют его крупнейшим аналитиком, заглянувшим на десятилетия вперед, предвидевшим исламский фактор и терроризм XXI века».

ISBN 978-5-85903-072-9 (2)
ISBN 978-5-85903-070-5

© Мир-Хайдаров Р. М., 2011
© Изд-во «Kazan-Казань», 2011

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

МИР-ХАЙДАРОВ РАУЛЬ МИРСАИДОВИЧ — писатель, заслуженный деятель искусств (1999), лауреат премии МВД СССР (1989), родился 17 ноября 1941 года в поселке Мартук, Актюбинской области, в семье оренбургских татар.

По образованию — инженер-строитель. Он много лет проработал в строительстве, и работа позволила ему изъездить страну вдоль и поперек. В молодые годы увлекался боксом, имел первый спортивный разряд. В партии никогда не состоял, большим начальником не был. В возрасте тридцати лет на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона», опубликованный в московском альманахе «Родники» и записанный на Всесоюзном радио. В 1975 году был участником VI Всесоюзного съезда молодых писателей.

В сорок лет Рауль Мир-Хайдаров оставляет строительство и становится профессиональным писателем. Он издал более трех десятков книг в главных издательствах СССР: «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература». Его книги переводились на многие иностранные языки и языки народов СССР. Есть книги, изданные на грузинском, каракалпакском, узбекском. Вся проза Р. Мир-Хайдарова переведена на татарский язык. Почти все его произведения имели журнальные публикации и записаны на Всесоюзном радио. У него пять раз выходили собрания сочинений.

Широкую известность писателю принесла серия «Черная знать», в которую входят тетралогия романов: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман «За всё — наличными». Книги из серии «Черная знать» имели по десять-пятнадцать изданий каждая. Это остросюжетные политические романы с детективной интригой, написанные на огромном фактическом материале. В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в самых верхних эшелонах власти, включая кремлевскую. Показано сращивание криминала со всеми ветвями государственной власти. Первый роман из тетралогии — «Пешие прогулки» — вышел в 1988 году в «Молодой гвардии» с предисловием известного критика и редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова. Этот роман на сегодняшний день выпущен двадцатью изданиями (из них четыре раза по 250 тысяч экземпляров) и продолжает издаваться. После выхода романа на автора было совершено покушение, и он чудом остался жив, проведя двадцать восемь дней в реанимации и долгие месяцы в больницах. Ныне писатель — инвалид второй группы.

Американская газета «Филадельфия инкуайер» прислала специального корреспондента Стива Голдстайна в связи с покушением на Р. Мир-Хайдарова и посвятила этому событию целую полосу под заголовком: «Исследователь мафии». Позже писатель выступал во многих европейских газетах по проблемам преступности, давал интервью. Это о Р. Мир-Хайдарове сказал в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина» бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Иванович Гайданов: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и…криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

В своих романах автор зафиксировал хронику смутного времени. После покушения и выхода новых романов жизнь в Ташкенте стала для него невозможной: постоянные угрозы и шантаж, угнали машину, рассыпали набор романа «Судить буду я», запретили постановку пьесы, написанной драматургом В. Баграмовым по роману «Пешие прогулки». И Мир-Хайдаров переезжает в Москву и, конечно, пишет. Уже в России дописывается последняя книга тетралогии «Судить буду я», написан пронзительно грустный ретро-роман о жизни, о любви — «Ранняя печаль». В 1997 году вышел роман о российской мафии, о жизни «новых русских», о крупных аферах в России — «За все — наличными».

В молодые годы известный романист страстно увлекался футболом, дружил со знаменитыми футболистами своего времени: Михаилом Месхи, Славой Метревели, Гурамом Цховребовым, Геннадием Красницким, Станиславом Стадником, Берадором Абдураимовым… Любил и знал балет, дружил с народным артистом СССР Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Поклонник джаза — был знаком со многими джазменами из оркестров Орбеляна, Кролла, Вайнштейна, Гаджиева, Гобискери. Специально брал отпуск зимой, чтобы побывать в московских театрах, общался с Олегом Далем, Валентином Никулиным. Смотрел все знаменитые спектакли театра «Современник» конца 60-х — начала 70-х.

Ныне остались увлечение живописью и, конечно, писательский труд, любовь к которым оказалась сильнее и футбола, и джаза, и театра. Он — обладатель одной из самых больших частных коллекций современной живописи в России.

В 2001 году в Казахстане, на родине писателя, на государственном уровне был отмечен его юбилей. В дни 60-летия в областном историко-краеведческом музее Актюбинска был открыт зал, посвященный знаменитому земляку, в нем выставлены шестьдесят картин, подаренных им городу из его частной коллекции. Одна из улиц его родного Мартука названа именем Рауля Мир-Хайдарова. Там же, в Мартуке, открыт литературный музей писателя и действуют два школьных музея. Р. Мир-Хайдаров — почетный гражданин Казахстана.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Романы:

«Пешие прогулки» (1988). 20 изданий
«Двойник китайского императора». 16 изданий
«Масть пиковая» (1990). 15 изданий
«Судить буду я» (1992). 10 изданий
«Ранняя печаль» (1996). 6 изданий
«За всё — наличными» (1997). 8 изданий

Книги повестей и рассказов:

1. «Полустанок Самсона» (1975) — рассказы
2. «Оренбургский платок» (1978) — рассказы
3. «Такая долгая зима» (1978) — рассказы
4. «Путь в три версты» (1979) — рассказы
5. «Знакомство по брачному объявлению» (1980) — повести
6. «Жар-птица» (1981) — рассказы
7. «Дамба» (1984) — повести и рассказы
8. «Чти отца своего» (1987) — повести и рассказы
9. «Из Касабланки морем» (1987) — повести и рассказы
10. «Седовласый с розой в петлице» (1988) — романы и повести
11. «Налево пойдешь — коня потеряешь» (1990) — романы и повести

Собрания сочинений:

1. Изд-во «Художественная литература» (Москва, 1990) — однотомник
2. Изд-во «Голос» (Москва, 1992–1993) — собрание сочинений в 4-х томах
3. Изд-во «Грампус Эйт» (Харьков, 1995) — собрание сочинений в 3-х томах
4. Изд-во «Южная Пальмира» (Днепропетровск, 1996) — собрание сочинений в 4-х томах
5. Изд-во «Идел-Пресс» (Казань, 2006) — собрание сочинений в 5-ти томах

Романы «Ранняя печаль», «За всё — наличными» и «Масть пиковая» записаны на аудиокассетах на 87 часов звучания.

Общий тираж книг превышает 5 миллионов экземпляров.

e-mail: mraul61@hotmail.com
сайт: www.mraul.ru

О ПРОЗЕ И РАННЕЙ ПЕЧАЛИ ПИСАТЕЛЯ РАУЛЯ МИР-ХАЙДАРОВА

Сергей АЛИХАНОВ
академик

Мне, в силу личных симпатий к прозе писателя и дружеских отношений с автором (к тому же я оказался биографом Рауля Мир-Хайдарова), известны все его литературные пристрастия, его любимые поэты и прозаики. Он ещё не ступил на литературную стезю, когда его кумиром стал И. А. Бунин, и прочитал прозу мастера в юные годы, когда все ложится на сердце крепко и навсегда. Переболел он и западной литературой, что было характерно для молодежи шестидесятых-семидесятых годов — Фицджеральдом, Томасом Вулфом, Голсуорси, Дзюмпеем Гомикавой — романистами, тяготевшими к социальным проблемам, а главное, к емкой, образной фразе.

Позже, уже сложившимся писателем, издавшим десятки книг, Рауль Мир-Хайдаров открыл для себя Валентина Катаева, обязательно надо добавить, позднего Катаева. И Катаев, лично знавший Бунина с юных лет и всю жизнь считавший его учителем, стал для Рауля Мир-Хайдарова вровень с великим Буниным.

Поздний Катаев, на взгляд писателя, никак не уступает по музыкальности фразы, стилистике, ярчайшим, неожиданным эпитетам и сравнениям кудеснику слова — Бунину. А по форме, построению сюжета дает большую фору традиционалисту Бунину. Впрочем, как считает Рауль Мир-Хайдаров, и в мировой литературе не очень много писателей, так виртуозно владеющих формой, как Катаев.

Такое трепетное отношение к своим кумирам, глубокое знакомство с их творчеством не могли не сказаться на манере, стилистике писателя. Он так же, как и его кумиры, тяготеет к предложениям на треть и полстраницы, умеет так описать вещь, обстановку, интерьер, застолье, что невольно видишь описываемое перед собою как на экране.

Писатель всегда сетовал, что поздно открыл для себя Катаева, хотя понимал, что лучшие свои произведения тот написал на излете жизни. Рауль Мир-Хайдаров завидовал молодым, идущим вслед ему писателям, для которых был уже написан и издан весь поздний Катаев. Еще больше жалел он, что Катаев не успел показать Бунину свои лучшие вещи, настоящего Катаева, оправдавшего, да что оправдавшего, далеко превзошедшего ожидания своего учителя. Иван Алексеевич оценил бы и форму, и содержание книг

юноши, когда-то, в далеком 1918 году, пришедшего к нему на дачу с первыми своими стихами. До слез обидно, что Бунину не удалось прочитать «Траву забвения» — воспоминания о нем самом. Новая форма и новое содержание пришли к Катаеву через пятнадцать лет после смерти кумира юности.

Катаев повлиял на Рауля Мир-Хайдарова, повлиял на его главный роман «Ранняя печаль», хотя автор, может быть, пришел к такой форме неосознанно, интуитивно. Недавно, перечитывая, по настоянию Рауля Мир-Хайдарова, произведения Катаева, в «Траве забвения» я наткнулся на авторское рассуждение. Привожу текст дословно: «я ищу… чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим…»

И меня тут же пронзила мысль, что именно по этому «рецепту» скроен роман «Ранняя печаль». Автобиографическая книга Рауля Мир-Хайдарова, написанная от имени вымышленного Рушана Дасаева. Я тут же связался с автором и зачитал катаевские строки, высказал свои соображения. Странно, не единожды читавший «Траву забвения» Мир-Хайдаров не помнил этих строк и бросился листать томик Катаева, который у него всегда на письменном столе. Через минуту он радостно сообщил мне, что только теперь разгадал мучившую его тайну: откуда родилась блестящая форма самой любимой его катаевской вещи «Юношеский роман». Еще одного мгновения ему оказалось достаточным, чтобы соотнести «рецепт» Катаева с «Ранней печалью» — и он с грустью сказал: «Как жаль, что Валентина Петровича нет уже почти двадцать лет, а то я сейчас бы поставил эти слова эпиграфом и отнес любимому писателю».

Вот так: Катаев не успел к Бунину, Мир-Хайдаров — к Катаеву. В таких горестных утратах, когда ученик не успевает отчитаться перед учителем, и рождается литература, и что-то по-настоящему стоящее создается только на излете жизни.

Рауля Мир-Хайдарова роднит с любимым писателем еще одно качество — сила воображения. Эта грань таланта Рауля Мир-Хайдарова наиболее очевидна.

Рауль Мир-Хайдаров добился заслуженного признания у себя на родине и далеко за ее пределами. Литературное имя он приобрел, создав серию социально-политических романов, в которых современный мир предстает перед читателями в правдивом и даже шокирующем отображении.

Романы

Двойник китайского императора

Роман

ЧАСТЬ I

Закир-рваный. Рэкет, Форштадт, Осман-турок. Фамильный жемчуг из Стамбула. Прелестная Нора. Жуликоватые поводыри. Аукцион в Страсбурге. Джаз-оркестр Марка Раушенбаха. «Скорцени» во флотском мундире.

Слава богу, кончилась жара! Как по волшебству, ветерок появился. Я, пожалуй, сегодня тут на айване и спать буду,— сказал, обращаясь в темноту сада, крупный, в годах, импозантный мужчина.

— Можно подумать, жара вас замучила,— тихо засмеялась за спиной в темноте женщина.— В кабинете два кондиционера, дома тоже в каждой комнате, не успеваю выключать, холод — хоть шубу надевай. А теперь и в машине у вас японский кондиционер. Этот лизоблюд Халтаев похвалялся — мол, ни у кого пока нет такой новинки. Забыла, как фирма называется…

— «Хитачи»,— подсказал Махмудов, но разговора не поддержал, только отметил про себя, что прежняя его жена, Зухра, никогда не позволила бы себе так разговаривать с мужем, и тем более называть соседа, начальника милиции, лизоблюдом.

Он легко поднялся и пересел на другую сторону большого айвана, чтобы лучше видеть суетившуюся возле самовара Миассар: любил наблюдать за нею со стороны. Ловкая, стройная, никто не давал ей тридцати пяти, так молодо она выглядела.

Тучный по сравнению с женой, он, однако, отличался поразительной энергией, легкостью движений, стремительностью походки и изяществом жеста. В его манерах, повадках ощущалось нечто артистическое, оттого кое-кто за глаза называл его Дирижером. Однако круг людей, позволявших себе такое обращение, был узок, прозвище не прижилось, в миру его величали просто и ясно — Хозяин.

Давно, почти тридцать лет назад, его, молодого инженера, неожиданно взяли на партийную работу. Он помнил, как расстроился от свалившегося вдруг предложения, тем более что в таких случаях согласия особенно не спрашивают. Честно говоря, он хотел работать по специальности, мечтал стать известным мостостроителем,— в районе он и возводил третий в своей жизни мост.

Работа в райкоме пугала неопределенностью, ему казалось, что там особые люди, наделенные высоким призванием свыше, по-иному мыслящие. Он искренне полагал, что ни в коем разе не подходит им в компанию, и считал: его дело — строить мосты.

Накануне выхода на новую службу он тщательно чистил и гладил свой единственный костюм. Стол в тесной комнатенке коммуналки находился как раз напротив щербатого зеркала, оставшегося от прежних хозяев, и он то и дело натыкался взглядом на свое растерянное отражение.

«И с таким-то жалким лицом во власть?» — пришла неожиданная мысль, и он вдруг понял молодым умом, чем отличается его новая работа от прежней.

В мостостроении не имело значения, как ты выглядишь, как держишься, какие у тебя манеры, каким тоном отдаешь распоряжения, важно другое — профессиональная компетентность, знания, даже инженерная дерзость — без них моста не построишь.

Нет, он и тогда не считал, что внешний вид, осанка, манеры — основа его новой работы, в ней, как и во всякой другой, наверное, полно своих премудростей, даже таинств, ведь связана она с живыми людьми. Но цепкий природный ум ухватил в этой цепи, может быть, самое важное звено, он это чувствовал, хотя и не понимал до конца. Весь оставшийся день, отложив костюм в сторону, новоиспеченный партработник провел у зеркала и уяснил, что ему следует выработать

свое «лицо», манеру, походку. Утром, когда впервые распахнул парадные двери райкома, он уже не был растерян, как накануне, вошел твердым, уверенным шагом, с гордо поднятой головой, в жестах чувствовалась правота, сила, убежденность. Со стороны казалось, такому молодцу любые дела по плечу, он весь излучал энергию и стремление свернуть горы…

Хозяин вглядывается в слабо освещенный сад, где у самовара возится Миассар. Длинные языки пламени вырываются из трубы, и огонь по-особенному высвечивает лицо жены, делает ее выше, стройнее, ханатласное платье, отражая блики огня, переливается немыслимыми тонами и красками.

Волшебство, да и только! Ночь, тишина, большой ухоженный сад и красивая женщина в сверкающем от сполохов огня платье. Самовар вот-вот закипит, но ему так хочется, чтобы этот миг ожидания продлился.

Задумавшись, он отводит глаза и слышит, как упала на землю самоварная труба.

— Не обожглась? — невольно вырывается у мужа участливо, и он смущается своей минутной слабости.

Мужчина не должен открыто выказывать симпатию женщине,— так учили его, так и он воспитывал сыновей, давно живущих отдельно, своими семьями. И снова мысли возвращаются к текущим делам.

Два важных сообщения получил он в тот день. Срочная телеграмма из Внешторга уведомляла: аукцион в Страсбурге приглашает конезавод района на юбилейный смотр-распродажу чистопородных лошадей.

Другая — секретная депеша из Ташкента гласила, что на следующей неделе он должен прибыть на собеседование к секретарю ЦК по идеологии.

Аукцион в Страсбурге был лишь третьим в истории конезавода, но персональное приглашение французов он оценил: значит, заметили в Европе его ахалтекинцев и арабских скакунов. Догадался он и о причине вызова в столицу. Прошло уже больше трех месяцев, как вернулась с XIX Всесоюзной партконференции делегация, и все три месяца в республике на всех уровнях муссируется вопрос: кто эти делегаты, обвиненные прессой в коррупции?

Официальных ответов пока нет, но всеведущий сосед, полковник Халтаев, неделю назад поделился секретом: одного знаю точно — наш новый секретарь обкома, сменивший три года назад Анвара

Абидовича Тилляходжаева, преследуется законом за то же самое, что и прежний, хотя масштабы, конечно, далеко не те.

И сегодня, получив депешу, секретарь райкома подумал, что ему, скорее всего, предложат возглавить партийную организацию области. Но догадка эта не обрадовала. Вот если бы подобное случилось лет семь назад, грустно усмехнулся он, пряча бумагу в сейф. Не хотелось сейчас, в ожидании самовара, размышлять о новом назначении, не волновала и предстоящая поездка в Страсбург. И вдруг, казалось бы, совсем некстати он вспомнил первую свою командировку в Западную Германию. Аукцион проводили в местечке Висбаден, в разгар курортного сезона, куда на минеральные воды съезжаются толстосумы со всего света. Вспомнил, впрочем, не знаменитый Висбаден, а самое примечательное в этой поездке — посадку в аэропорту Москвы.

Вылетал Махмудов в конце недели и, наверное, потому оказался в депутатской комнате один. Но через полчаса, пока он коротал время у телевизора, появилась группа бойких молодых ребят, быстро заставивших просторный холл большими, хорошо упакованными коробками, ящиками, тюками, связками дынь. В довершение всего они бережно внесли какие-то большие предметы, обернутые бумагой; судя по осторожности сопровождающих, там было что-то хрупкое, бьющееся. Затем доставили с десяток открытых коробок с дивными розами. Сладкий аромат цветов заполонил депутатскую.

Хозяин справился у дежурной, не делегация ли какая отбывает в столицу. Та, ухмыльнувшись, ответила не без иронии, мол, нет, не делегация, и назвала фамилию одного из членов правительства, добавив, что тот всегда отправляется в Белокаменную с таким багажом.

Подошло время посадки, но министр так и не появился, однако те же шустрые молодчики быстро загрузили его «багаж» в самолет. В самолете Пулат Муминович, занятый мыслями о предстоящем аукционе, забыл о члене правительства. Появился тот в самый последний момент, когда уже убирали трап. Как только он занял свое кресло в первом ряду, лайнер вырулил на старт. Через полчаса министр храпел на весь салон, к неудовольствию окружающих, неприятно раздражал и тяжелый водочный перегар, исходивший от высокого сановного лица.

Едва шасси лайнера коснулись бетонного покрытия посадочной полосы в Домодедове, важный чин тут же проснулся и, когда самолет начал выруливать к зданию аэропорта, направился в пилотскую кабину. О чем он договорился с командиром корабля, стало ясно через несколько минут.

Махмудов сидел у окошка и видел, что подруливающий к зданию самолет встречала группа людей, человек десять-двенадцать. Некоторые лица показались ему знакомыми, и он тут же припомнил служащих из постоянного представительства республики в Москве,— останавливался он как-то там в гостинице. Чуть поодаль от встречающих он увидел с десяток правительственных «чаек» и даже один «мерседес» и каким-то чутьем угадал, что машины имеют отношение к ташкентскому рейсу.

«Не многовато ли машин для одного члена правительства?» — вскользь подумал Хозяин, но вскоре его сомнения разрешились неожиданным образом: лимузины действительно ждали самолет из Ташкента…

Первым с трапа сошел член правительства, и встречающие гурьбой кинулись к нему, но тот поздоровался с кем-то одним, другим показал рукой на грузовой отсек, откуда, видимо, уже подавали коробки, тюки, ящики и тут же у трапа их ставили отдельно,— размещением руководил сам хозяин багажа.

Вскоре появились и странные предметы, также бережно отставленные в сторону. И вдруг Махмудов заметил, что оберточная бумага с одной таинственной «посылки» сползла и обнажилась высокая напольная ваза. Но не фарфоровая ваза удивила его, а то, что на ней был изображен один из членов руководства страны, портреты которого в праздничные дни украшали улицы.

Хозяин багажа тут же обратил внимание на оплошность, и вазу быстренько запеленали. На каждой коробке, ящике, тюке и вазах белел квадрат, издали очень похожий на почтовый конверт.

Министр, видимо, не раз проделывавший подобную операцию, действовал уверенно и оперативно. Как только вынесли последние коробки с цветами, он сорвал с какого-то ящика белый квадрат — под ним обозначилась фамилия адресата, и он выкрикнул ее. Черная «чайка» мгновенно подрулила к сотрудникам представительства, и те ловко загрузили багажник, а вазу аккуратно передали в салон. Один за другим срывались белые квадраты, выкрикивалась очередная фамилия, и машины тут же подъезжали к месту раздачи. Вся операция заняла минут семь-восемь,— процесс явно был давно отработанный. С последней «чайкой» отбыл и сам член правительства; в салон передали последнюю вазу, и, видимо, ему самому пришлось ехать с ней в обнимку до самого адресата.

Вся эта четко организованная раздача подарков внизу просматривалась еще в три-четыре окошка с той стороны салона, где сидел Махмудов, но вряд ли кто обратил на нее внимание, все с нетерпением ждали приглашения на выход.

Однако если он так и подумал, то явно ошибся — прилета этого рейса из Ташкента ждали не только персональные шоферы высоких московских чиновников. Если бы он хоть на секунду поднял взгляд на второй этаж, то заметил бы, что два человека в штатском аккуратно фотографировали каждую подъезжавшую к раздаче машину, и успевали щелкнуть в ту самую секунду, когда внизу срывали белый квадрат и на миг обозначалась фамилия высокопоставленного лица — адресата щедрых даров… Да, это было незабываемое зрелище, которое наводило на размышления…

Но мысли его упорно возвращаются к депеше из ЦК, и он радуется, что сроку у него — целая неделя. Ему давно уже хочется разобраться в своей жизни, особенно в последних ее годах, да все недосуг — дела, дела…

Миассар осторожно подносит кипящий самовар к айвану.

— Подожди, я помогу,— говорит муж и, быстро спустившись с невысокого айвана, под которым журчит полноводный арык, поднимает самовар к дастархану.

— Что-то я вас сегодня не узнаю,— озорно улыбается Миассар, по узбекскому обычаю обращаясь к мужу на «вы».— Перестройка, что ли, в наши края дошла? Если она так преображает сильный пол, я за нее двумя руками голосую…

— Ласточка моя, оставь политику для мужчин. Лучше налей чаю, в горле пересохло,— отвечает хозяин дома, подлаживаясь под шутливый тон жены.

С первой женой у него так не получалось. Но у той были свои достоинства, особенно ценимые на Востоке. Зухра никогда не перечила, не возражала, вообще не вмешивалась в его дела. Он и с ней жил хорошо, в ладу. Но проклятая, коварная болезнь, подкравшись неожиданно, в месяц скрутила здоровую женщину, никакие врачи не помогли…

Пулат берет из рук жены пиалу с ароматным чаем. Прекрасная хозяйка Миассар, все у нее сверкает, блестит, а уж чай заваривает — наверное, хваленые китаянки и японки позавидовали бы! Как бы ни уставала, у них в доме заведено — последний, вечерний чай всегда из самовара. За чаем они продолжают перебрасываться шутливыми

репликами, Пулату хочется сказать что-то ласковое, трогательное и без шуток, но он опять сдерживает себя. Жену надо любить, а не баловать, помнит он заветы старших.

И вдруг вспоминается ему, как он женился на Миассар — двенадцать лет назад, неожиданно, тогда он уже второй год вдовцом ходил. Сыновья, все трое, к тому времени учились в Ташкенте, но хлопот хватало — и по дому, и по саду; привыкший к комфорту, уюту, он остро чувствовал потерю жены. На Востоке жизнь одинокого мужчины не одобряется, здесь практически нет «не пристроенных» вдовцов, тем более мужчин относительно молодого возраста, и его частная жизнь оказалась под пристальным вниманием общественности, секретарь райкома все-таки. Тут на многое могут закрыть глаза, но за моралью, нравственностью, традициями следят строго…

Конечно, он чувствовал затаенный интерес женщин к себе, и даже совсем молодых, но все казалось не то, не лежала ни к кому душа. Однажды пригласили его на свадьбу. Приехал он туда с большим опозданием, когда привезли невесту,— красочный момент, подружки новобрачной, сменяя друг дружку, танцуют перед гостями. С приездом невесты и сопровождающих ее подруг в доме жениха царит переполох, и его не сразу заметили, да и гость, сознавая важность момента, не особенно старался попасться на глаза хозяевам. Пробившись к кругу, он азартно поддерживал старавшихся танцоров. Особенно изящно, с озорством танцевала одна из подружек невесты, одетая на городской манер,— она больше всех и сорвала аплодисментов.

— Удивительно красивая, грациозная девушка, и как тонко чувствует народную мелодию! — машинально обратился он к мужчине, стоявшему рядом.

— Что ж сватов не засылаете, раз понравилась? — ответил вдруг мужчина, то ли усмешливо, то ли серьезно, но вполне доброжелательно.

Махмудов так растерялся, что не сразу ответил, а тут его и хозяева приметили. Восточные свадьбы длятся до зари, и запоздавший высокий гость веселился от души до утра. Уходя, он уже знал, что девушку зовут Миассар, а человек, предложивший присылать сватов, приходится ей родным дядей по отцу.

Замуж выходят тут рано, в семнадцать-восемнадцать, и двадцать четыре года Миассар, по местным понятиям, считались едва ли не старушечьими для невесты. Конечно, и родители Миассар, и родня переживали, всех волновала судьба всеобщей

любимицы,— годы бежали, а женихов не предвиделось, в районе каждый парень на виду, и, может быть, у дяди ее в отчаянье вырвалось насчет сватов.

Женитьба на Востоке дело тонкое, и Хозяин не кинулся очертя голову с предложением — а вдруг отказ, какой удар по авторитету! — но и прибегать к чужой помощи не стал. Побывал два-три раза в Доме культуры, где работала Миассар, и хотя ни о чем личном они не говорили, девушка поняла, что неспроста стал наведываться секретарь райкома и не очаг культуры главный объект его забот.

— Здорово выиграл наш Дом культуры, когда вы стали за мной ухаживать,— шутила потом не раз жена. Хотя по европейским понятиям эти редкие наезды вряд ли можно считать ухаживанием, но в ее памяти это осталось именно так.

Неизвестно, как долго длилось бы это своеобразное ухаживание, если бы Миассар однажды не пришлось позвонить секретарю райкома. Она готовила зал для партийной конференции, и потребовалось срочное вмешательство райкома. Дело уладили быстро, и когда девушка уже собиралась положить трубку, Махмудов вдруг, волнуясь, спросил:

— Миассар, вы пошли бы за меня замуж?

— Вы что, все вопросы решаете по телефону? — не удержалась Миассар.

Он на миг опешил, не ожидал, что она станет подтрунивать над ним, но быстро понял, что спасет его только шутка.

— Да, конечно. А вам не нравится кабинетный стиль ухаживания? Говорят, сейчас доверяют судьбу компьютерам, брачным конторам, а я хотел обойтись лишь телефоном.

— Ах, вот как, значит, действуете в духе времени, шагаете в ногу с прогрессом,— засмеялась Миассар.— Если пришлете сватов как положено, я подумаю… Мне кажется, у вас есть шанс…— ответила она кокетливо: она ждала его предложения.

Вскоре они сыграли нешумную свадьбу, и поздравляли их родня да близкие знакомые,— вторые браки на Востоке не афишируют. И новая семья у него оказалась удачной, жили они с Миассар дружно; в душе он считал, что секрет его моложавости, энергии — в молодой жене: ему всегда хотелось быть в ее глазах сильным, уверенным, легким на подъем человеком, а уж веселостью, самоиронией он заразился от Миассар, раньше он не воспринимал шутку, считая, что она некстати должностному лицу.

Росли у них два сына, погодки, Хусан и Хасан, сейчас они отдыхали в «Артеке».

— Я очень рада, что у вас сегодня хорошее настроение…— Миассар подала мужу пиалу свежего чаю.— Всю неделю приходили домой чернее тучи. Трудные времена для начальства настали, обид у народа накопилось много, вот и спешат выложить, боятся, не успеют высказаться, и от торопливости в крик срываются, а многие за долгие годы немоты, как я вижу, и по-человечески общаться разучились.

— Да, в эпоху…— он на миг запнулся.

— Гласности, гласности,— подсказывает Миассар мужу русское слово и тихо смеется. — Пора бы запомнить, четвертый год идет перестройка, а вдруг где-нибудь на трибуне позабудете, там никто не подскажет. Не простят…

— Не забуду, я с трибуны только по бумажке читаю,— отшучивается Махмудов.

Но шутка повисает в воздухе, ни Миассар ее не поддерживает, ни сам Пулат Муминович не развивает.

— Перестройка… гласность…— говорит он после затянувшейся паузы и задумчиво продолжает: — Я кто? Я низовой исполнитель, камешек в основании пирамиды, винтик тот самый, и мне говорили только то, что считали нужным. Всяк сверчок знал свой шесток.— Он протягивает жене пустую пиалу.— Я-то вины с себя не снимаю, только надо учесть — ни одно мероприятие без указания сверху не проводилось; все, вплоть до мелочей, согласовывалось, делалось под нажимом оттуда же, хотя, как понимаю теперь, с меня это ответственности не снимает… Я что, по своей инициативе вывел скот в личных подворьях, вырубил виноградники, сады, запахал бахчи и огороды и насадил в палисадниках детских садов вместо цветов хлопок? Я, что ли, по своей воле держу сотни тысяч горожан до белых мух на пустых полях? Я травлю людей на хлопке бутифосом? От меня разве исходят тысячи «нельзя», «нельзя», «не положено», «не велено», «запретить»?!

— И от вас тоже,— тихо замечает Миассар, но он ее не слышит, он весь во власти своего горестного монолога,— накипело и прорвалось…

— А для народа я — власть, я крайний, с меня спрос, я ответчик… Впрочем, как теперь вижу, и сверху на меня пальцем показывают: вот, мол, от кого перегибы исходили.

— Что и говорить, рвением вас Аллах не обделил,— вставляет Миассар.

Но он опять пропускает ее колкость мимо ушей, главное для него выговориться, не скажешь же такое с трибуны.

— Да, мы не хотим быть винтиками,— тон жены становится серьезным,— но вы не вините себя сурово. Наш район не самый худший в области, и вы один-единственный остались из старой гвардии на должности после ареста Тилляходжаева,— значит, новое руководство доверяет вам.

Он долго не отвечает, потом улыбается и — сожалеюще:

— Извини, что втравил тебя в такой разговор,— не мужское дело плакаться жене. А за добрые слова спасибо. Виноват я, наверное, во многом, и хорошо, что не впутывал тебя в свои дела.

— И зря! — запальчиво перебивает жена.— Разве я не говорила, что не нравится мне ваша дружба с Анваром Тилляходжаевым, хоть он и секретарь обкома. Прах отца потревожил, подлец, десять пудов золота прятал в могиле. А в народе добрым мусульманином, чтящим Коран, хотел прослыть, без молитвы не садился и не вставал из-за стола, святоша, первый коммунист области…

Махмудов вдруг от души рассмеялся — такого долгого и искреннего его смеха Миассар давно не слышала. Смех мужа ее радует, но она не вполне понимает его причину и спрашивает с некоторой обидой:

— Разве я что-нибудь не так сказала?

— Нет, милая, так, все именно так, к сожалению. Просто я представил Тилляходжаева, если бы он мог слышать тебя, вот уж Коротышка взбесился бы — ты ведь не знала всех его амбиций.

— И знать не хочу! — Лицо Миассар вспыхнуло от гнева.— Для меня он пошляк и двуличный человек, оборотень. Я ведь вам не рассказывала, чтобы не расстраивать… Когда я возила нашу районную самодеятельность в Заркент, приглянулись ему две девушки из танцевального ансамбля. И он подослал своих лизоблюдов, наподобие вашего Халтаева, но я сразу поняла, откуда ветер дует, да они по своей глупости и не скрывали этого, думали, что честь оказывают бедным девушкам… Так я быстренько им окорот дала и пригрозила еще, что в Москву напишу про такие художества. В Ташкент писать бесполезно, там он у многих в дружках-приятелях ходит, хотя, наверное, при случае самому Рашидову ножку подставил бы, не задумываясь.

— Были у него такие планы,— подтверждает Махмудов и вдруг смеется опять.— А ведь он с первого раза невзлюбил тебя, говорил мне — на ком ты женился? А я отвечал: не гневайтесь, мол, что не рассыпается в любезностях, как положено восточной женщине, молодая еще, никогда не видела в доме такого большого человека…

— А я и не знала, что вы такой подхалим,— смеется Миассар. Она представила спесивого Коротышку в гневе рядом с рослым и спокойным мужем.— Он меня раскусил сразу, а я его, значит, мы оба оказались мудры и проницательны, так почему же вы пользовались только его советами? — Миассар, улыбаясь, заглядывает в глаза мужу.

— Может, подогреем самовар, а то петь перестал,— дипломатично предлагает Пулат.

Ему не хочется прерывать беседу, давно он с женой так душевно и откровенно не разговаривал, все дела, дела, гости, дети… Редко вот так вдвоем посидеть выпадает время. Наверное, Миассар тоже по душе сегодняшнее чаепитие, и она легко соглашается. Он относит самовар на место и неумело пытается помочь жене.

— Помощник,— ласково укоряет жена, отстраняя его.— Давайте я сама…

Ночь, тишина, погасли огни за дальними и ближними дувалами, даже на шумном подворье соседа Халтаева все угомонились.

— Как хорошо, что никто нам сегодня не мешает,— счастливо говорит Миассар.— Только войдете в дом, то гонец, то нарочный откуда-нибудь, то дежурный из райкома примчится, то депешу какую срочную несут, только за стол — ваш дружок Халтаев тут как тут, словно прописанный за нашим дастарханом, точно через дувал подглядывает… Я уж ваш голос забывать стала. В первый раз за столько времени всласть поговорила.

— Ты права, Миассар, мы что-то пропустили в своей жизни. Извини, я не то чтобы недооценивал тебя, просто так все суматошно складывается,— домой словно в гостиницу переночевать прихожу, да и тут наедине побыть не дают, чуть ли не в постель лезут. Еще при Зухре дом в филиал райкома превратили, вечер, полночь — прут по старой памяти. Будто я не живой человек и не нужно мне отдохнуть, побыть с семьей, детьми. Я постараюсь что-то изменить, чтобы нам чаще выпадали такие вечера, как сегодня…— Махмудов чувствует, что он взволнован.

— Спасибо. Это было бы замечательно… вечера с детьми… всей семьей…— мечтательно, нараспев произносит Миассар.

— Вот видишь,— улыбается Пулат, к нему вновь возвращается хорошее настроение,— оказывается, в собственном доме можно узнать гораздо больше, чем на конференциях, пленумах и прочих говорильнях. Кстати, почему у нас в республике, при избытке непонятно чем занятых НИИ, нет института общественного мнения, наподобие американского института Гэллапа, чьими исследованиями регулярно пользуется наша пресса? Без такого учреждения трудно ориентироваться и принимать правильные решения. Чтобы вновь не шарахаться из крайности в крайность, такая организация просто необходима — и здесь, и в Москве. Я бы доверил тебе стать ее представителем по нашему району, мне кажется, у тебя это хорошо получится.

Миассар не отвечает, но щеки ее розовеют, она явно польщена.

Взгляд Махмудова неожиданно падает на стрелку часов, время позднее, впрочем, в этом доме не ложатся спать рано.

— Засиделись, засиделись сегодня, дорогая моя, а мне завтра в совхоз «Коммунизм» надо. Явится водитель ни свет ни заря, ты уж не вставай, мы с ним где-нибудь по дороге в чайхане перекусим. Знаю я одну у Красного моста, над водой под чинарами. Надо как-нибудь свозить тебя туда, не припомню краше места в районе.

Пулат делает попытку помочь жене, но Миассар ласково отстраняет его:

— Не надо, я сама. Идите погуляйте перед сном по улице, разомните ноги, подышите свежим ночным воздухом, а я постелю вам как хотели, тут, на айване.

Хозяин выходит за калитку. Ночная улица пустынна, в ярком лунном свете она просматривается из конца в конец. Тишина. Только слышно, как журчат арыки вдоль палисадников. Махалля отстроилась давно, лет пятнадцать назад, и все вокруг утопает в зелени. Престижный район, не всякому тут выделяли землю под застройку. По давней народной традиции каждый перед своим домом поливает дорогу из арыков, иногда и не один раз за вечер, оттого и дышится в округе легко. Мысли Махмудова все еще кружат в собственном дворе, он весь во власти разговора с женой.

— Ну и Миассар! — вырывается у него вслух восхищенно.

Он вспоминает, как лет семь назад они возвращались вдвоем, вот так же, поздней ночью, со свадьбы. Шли в приподнятом настроении,— повеселились, погуляли от души. Родив Хасана и Хусана, Миассар, на удивление многим, расцвела новой женской красотой. И красота эта не осталась незамеченной, вот и на свадьбе он видел,

как любуются его женой, когда она выходит танцевать в круг, девушки на выданье рядом с нею выглядели бледновато и скованно.

Возвращались они шутя и озоруя, словно молодые. Миассар даже несколько раз оборачивалась, не идет ли кто следом.

— Услышат вас,— скажут, какой, оказывается, несерьезный у нас секретарь райкома.

Тогда он и спросил шутя:

— Почему ты за меня, вдовца, замуж вышла?

Он и в ответ ожидал услышать какую-нибудь шутку, вроде — а вы моложе молодых, сегодня на свадьбе всех переплясали. Но она, волнуясь, не то переспросила, не то повторила вопрос для себя:

— Почему я пошла за вас замуж? — И тут же, не задумываясь, как давно выношенное, ответила: — Потому что в народе вас называют Купыр-Пулат, Мост-Пулат.— И, боясь, вдруг он не поймет ее, торопливо заговорила: — Когда вы в первый раз заехали в Дом культуры, я сердцем почувствовала, что визит этот внезапный — ко мне лично. Тогда у меня не было далеко идущих планов, но все равно ваше внимание волновало, и, честно говоря, я ждала следующего вашего приезда. И вдруг предложение по телефону, которое так обрадовало и испугало меня. Какой бы я ни казалась смелой, современной, во мне жива рабская психология восточной женщины, которую, увы, я не вытравила и по сей день, и я понимала, что не вправе решать сама свою судьбу, тем более с таким человеком, как вы. Все решал семейный совет, родня. Что и говорить, одни были за, другие против, но в разгар спора приехал из кишлака мой дедушка Сагдулла, с чьим мнением считались.

— Значит, это он решил нашу судьбу? — уточнил Махмудов.

— И он в том числе,— подтвердила Миассар.— Признаться, в нашей семье почему-то не слышали вашего прозвища. Но тут дедушка начал рассказывать, какие два моста вы построили у них в кишлаке, как они прежде мучились из-за отсутствия переправы через Дельбер-сай, и о том, что мосты у них сносило чуть ли не каждый год в половодье, а те, что построили вы, стоят до сих пор и пережили не одну большую воду. Рассказывал он и о мостах, что построили вы рядом, оказывается, они всем селом ходили на хашар к соседям, мост навести,— дело непростое. Поведал и о самом большом и красивом мосте через Карасу, говорят, вашем любимом, в колхозе «Коммунизм», о том, как долго и трудно он строился и как вас за него чуть с работы не сняли.

Дедушка Сагдулла так азартно и интересно рассказывал про ваши дела, про вас, что, мне кажется, моя родня забыла, ради чего собралась. Под конец дед сказал: «Если тот самый Купыр-Пулат сватается к моей внучке, я не возражаю. А что старше, не беда, у моего отца вторая жена тоже была молодая, но это не помешало им вырастить пятерых детей, в том числе и меня. Мосты строят надежные люди, не сомневайтесь в нем».

Это воспоминание по сей день радует его душу, и он произносит вслух:

— Купыр-Пулат…

«Если после меня что и останется на земле, так это мосты»,— размышляет Махмудов. О мостах думать ему приятно, не предполагал, что мосты, акведуки, путепроводы, дренажи так и останутся главной страстью и любовью его жизни.

Когда взяли его в райком, он жалел, что попал не в отдел строительства, там он так или иначе соприкасался бы с делом своей жизни. Но вакансия оказалась лишь в отделе пропаганды, выбирать не приходилось. Помнится, работая инструктором, он тайком бегал на свой недостроенный мост и консультировал нового прораба до самой сдачи объекта. Тогда ему казалось, что это последний мост в его жизни.

Но, к счастью, все сложилось иначе. Однажды, когда он уже работал заведующим отделом пропаганды, довелось ему ехать в далекий кишлак в предгорьях. Какие там удивительно красивые места — прямо Швейцария! По дороге пришлось сделать изрядный крюк, шофер объяснил, что в половодье снесло мост. Этот мост не шел у него из головы, и когда провели собрание, он попросил показать ему место, где снесло переправу. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что мост тут стоять не будет, и тогда в нем снова проснулся зуд мостостроителя.

Хотя ждали его и в райкоме и дома, он остался в колхозе и три дня уговаривал председателя строить новый мост, сказал, что и место нашел ему оптимальное, и обещал проект сделать сам, бесплатно и без волокиты. Потом собрал сельский сход и увлек народ идеей. Так к осени возвели первый его мост. С тех пор по его проектам в самых дальних кишлаках стали появляться мосты, акведуки, оригинальные путепроводы.

А когда Махмудов стал секретарем райкома, в народе уже знали о его страсти. Перво-наперво он разогнал дорожное управление, и там появились люди, знающие свое дело. И на сегодня не было

в его владениях кишлака, где люди страдали бы от отсутствия переправы, да и мосты строились с выдумкой, с фантазией. Ну, а мост через Карасу, за который его чуть с работы не сняли, даже представили в журнале «Архитектура» и во многих специализированных изданиях, к нему из области, как к местной достопримечательности, привозили туристов, обвешанных фотоаппаратами.

«Завтра увижу Красный мост,— думает он и мысленно радуется встрече со своим детищем.— Надо же, Красный…» Название пришло случайно, теперь никто уж и не помнит, кто первый его так окрестил, ведь, закладывая в быки-опоры рваный красноватый камень, он и не предполагал, что народ назовет мост Красным. Туристы никогда сами не догадывались, почему окрестные жители так называют мост через Карасу, им чудился в этом более весомый, революционный смысл… Впрочем, мост, наверное, и символизировал новую жизнь в крае.

Пулат шагает вдоль сонных особняков с распахнутыми настежь зарешеченными окнами. Слабый ночной ветерок с предгорий шелестит листвой обильно политых садов, но среди зеленого шума особенно выделяется шелест высоких серебристых тополей, у них своя, не перепутаешь, мелодия.

Почти у каждого дома под деревьями у арыка скамейка. Встречаются удобные, со спинкой, выкрашенные под цвет глухого забора или высоких железных ворот, на некоторых лежат забытые хозяевами мягкие одеяла-курпачи. Одна скамья из тяжеленной плахи лиственницы, рассчитанная на целую компанию, стоит так заманчиво близко к воде, что он усаживается на нее покурить. Но прежде чем достать сигареты, закатывает штанины и с удовольствием окунает ноги в торопливо бегущий арык. Прогретая за долгий и жаркий день вода успела остыть и приятно холодит ступни. Благодать!.. Так можно просидеть до утра. Ночная свежесть бодрит, прогоняет сон, и он вновь возвращается мыслями к разговору с женой. Пустые скамейки у соседних домов неожиданно навевают картины далекой студенческой юности.

Учился он в Москве, жил в Замоскворечье, где в пятидесятые годы еще во множестве стояли особнячки с садами, палисадниками и похожими на здешние скамеечками. Вспоминается ему и Оренбург, где три месяца пробыл на преддипломной практике, на строительстве своего первого моста — через Урал. Снимал он там комнату в старинном купеческом районе — Аренда, где жили татары, и квартал у них

тоже именовался — махалля,— на узбекский манер. Он даже вспомнил его название, выплывшее из прошлой жизни,— Захид-хазрат. По вечерам они ходили гулять в парк с милым названием «Тополя».

Он вслушивается в шелест высоких серебристых тополей, высаженных вдоль арыка, и шум деревьев напоминает ему парк в далеком Оренбурге, уходивший окраинами в великую казахскую степь.

Бегущая ночная вода притягивает сигаретный дым, который стелется над арыком, как бы пытаясь бежать взапуски; но силы неравны, и струя, как промокашка, вбирает табачный дым. Пустые скамейки наводят на любопытное сопоставление. Вряд ли в такую удивительную ночь пустуют такие же завалинки в Замоскворечье, если, конечно, они сохранились, или в Оренбурге, на Аренде, где он некогда жил,— сейчас они принадлежат влюбленным. Он знает, что и здесь почти за каждым глухим дувалом в доме есть юноша и девушка в возрасте Ромео и Джульетты, но скамейки будут пустовать даже по ранней весне, когда розово и дурманяще цветет миндаль, и стоят, словно в снегу, благоухая, яблоневые сады, потому что тут другие традиции, нравы, обычаи, и вряд ли здесь наткнешься на влюбленных, встречающих рассвет. Ему вспоминается Миассар, окрестившая его редкие наезды в Дом культуры свиданиями. «Опять райком виноват?» — улыбнулся Махмудов и поднялся, хотя уходить от арыка не хотелось.

«Странная ночь, сна ни в одном глазу, а ведь какой тяжелый выдался день,— думает он, медленно возвращаясь домой.— Далеко забрел, обошел чуть ли не всю махаллю. Раньше точно так же в Замоскворечье или в Оренбурге обходил квартал с трещоткой общественный сторож, вот и я сегодня вроде оберегаю ночной покой своих односельчан».

Он продолжает удивляться неожиданной бодрости, спать действительно не хочется, хотя накануне спал тяжело, мучил его один и тот же сон. Будто идет он по своему любимому Красному мосту, спешит с цветами, а на другом берегу дожидается его Миассар, машет рукой, торопит. Как только он одолевал половину пролета, мост под ним вдруг рушился, и он летел в желтые воды бурлящего Карасу. Все это он видел как бы в замедленной съемке: и перекошенное от страха лицо, и откинутую руку, и отлетевший букет, и даже слышал свой испуганный крик, вмиг заполнивший ужасом глубокое и гулкое ущелье и отозвавшийся эхом в горах. Махмудов просыпался в холодном поту, ничего не понимая, пытался стряхнуть с себя мучившее наваждение, но тут же опять проваливался в тревожный сон, и снова

и снова спешил навстречу Миассар, ступая на рушившийся под ним мост. Лишь на рассвете удалось забыться без сновидений.

Подходя к дому, он сообразил, что хотя и гулял часа два по ночной махалле, не встретил ни одного патрульного мотоцикла, ни просто милиционера, делающего обход. А ведь Халтаев уверял, что район после ареста Раимбаева тщательно охраняется милицией днем и ночью. Правда, неделю назад после обеда он видел двоих ребят в штатском, обходивших квартал… И мысли переключились на новую проблему.

Он знает, да и кто об этом не наслышан: в республике работают следственные группы из Москвы, трясут подпольных миллионеров, наживших состояния на хлопке, каракуле, анаше, финансовых и хозяйственных махинациях, на взятках и должностных преступлениях.

Тревожное время, многие большие люди спят неспокойно, не знают, с какой стороны подступит беда, откуда ее ждать. Как оказалось, организованная преступность гораздо раньше прокуратуры узнала о подпольных миллионерах в Средней Азии и Казахстане, и потянулись в жаркие края банды жестоких и хладнокровных убийц. Свои налеты они готовили долго и тщательно,— спешить было некуда, куш за одну операцию поражал воображение даже самих бандитов. Месяцами изучались повадки, привычки подпольного миллионера, распорядок дня его семьи, соседей, заводилось досье со множеством фотографий, сделанных скрытой камерой или фоторужьем; основательности подготовки, наверное, позавидовали бы и итальянские мафиози из знаменитых кинофильмов. Зачастую заявлялись к облюбованной жертве в милицейской форме, имея на руках поддельное постановление на обыск, держались без суеты, профессионально.

Сегодня обнаруживается, что многих владельцев тайно нажитых миллионов успели выпотрошить лихие налетчики, и что удивительно — никто из ограбленных не обратился с жалобой на разбой к властям, хотя не всегда приходили к ним с постановлением, даже поддельным. Бандиты, хорошо изучившие не только быт, но и психологию подпольных миллионеров, были твердо уверены, что жаловаться те никуда не побегут.

Знал он о подобных делах и от Халтаева, державшего нос по ветру, но больше всего поразила его история с Раимбаевым, получившая широкую огласку.

Раимбаева, председателя колхоза, перевели к ним из соседнего района на должность в райисполкоме,— вероятно, готовился трамплин для очередного взлета. Энергичный, хваткий человек, депутат,

не по годам обласкан и заметен, чувствовалось, что у него есть поддержка в верхах. И года не успел проработать Раимбаев в райисполкоме, как вызвали его работники следственной группы и потребовали вернуть неправедно нажитые деньги, и сумму указали, какую следует сдать. Долго отпирался Раимбаев, уверял, что нет у него денег, но после очных ставок с бухгалтером колхоза и директором хлопкозавода задрал рубашку и показал следователю живот, а там у него в двух местах ожоги, словно горячий утюг приложили. Оказывается, так оно и было,— сам рассказал обо всем.

Как-то поздно ночью раздался звонок у глухих ворот… Было время уборочной, начальство во время хлопковой страды иногда до утра заседает в штабах, и Раимбаев без опаски открыл калитку, думал, гости нагрянули. Человек он не робкого десятка, молодой, и сорока еще нет, да и во дворе имел двух сторожевых овчарок, но почему-то не удивился, что не залаяли они.

«Гости», человек семь в милицейской форме, в высоких чинах, один седой, вальяжный, в полковничьих погонах, поздоровались и сказали, что они к нему за помощью. Ничего не подозревающий Раимбаев, не обративший внимания на молчание своих волкодавов (они, как оказалось, уже были отравлены), пригласил ночных визитеров в дом. Как только вошли, седовласый предъявил постановление на обыск и велел капитану доставить понятых. Все делалось четко, основательно, без суеты, но вежливо, вроде как по закону. Лейтенант начал вести протокол допроса ошарашенного хозяина, а капитан, введя двоих «понятых», тихо примостившихся в стороне, стал тщательно записывать изымаемое, время от времени справляясь у «полковника», как правильно записать ту или иную вещь. Все, что отыскали в доме,— а нашли немало, потому что перевернули все верх дном,— пришедших, видимо, не устраивало. «Полковник», достав папку, зачитывал какие-то документы и требовал вернуть государству астрономическую сумму. Но Раимбаев, человек тертый, был уверен: как только его увезут, жена, сидевшая рядом с понятыми, свяжется с родней в области и все уладится, и не на таких бравых полковников находили управу. Судя по национальному составу, работники были местные, свои, областные или из Ташкента, главное — не из Москвы.

Налетчики, вероятно, рассчитывали, что хозяин дома испугается и отдаст все сразу, но часа через два, когда стало ясно, что с деньгами и золотом он добровольно не расстанется, они сбросили маски,— видимо, поджимало время. Они раздели догола жену, завязали ей рот,

связали руки, ноги, бросили на ковер и, воткнув между ног большой электрический кипятильник для белья, пригрозили:

— Начнем с тебя. Не отдашь, подключим жену к сети.

Жена была беременна, на седьмом месяце, и от ужаса и позора потеряла сознание.

Сорвав с хозяина рубашку, молодчики завязали ему руки, ноги, кинули на диван и водрузили на живот электрический утюг. Тут-то до него дошло, что он имеет дело с обыкновенными бандитами и что с ними лучше не шутить. Отдал он им все, но никому о налете ни слова не сказал, месяц лежал дома, лечился от ожогов. Только когда через полгода забрали его московские следователи, страшная история и выплыла наружу. Тогда и распорядился Халтаев, чтобы их район тщательнее охраняла милиция.

Поравнявшись с усадьбой соседа, Пулат Муминович невольно остановился и обратил внимание, что дом начальника милиции напоминал неприступную крепость, не хватало на высоком дувале лишь колючей проволоки в три ряда под напряжением да сторожевой вышки с автоматчиками.

Вернувшись во двор, он еще долго бесцельно бродил по саду, хотел было войти в дом, взять кое-какие бумаги просмотреть, но побоялся потревожить сон жены. Зашел на летнюю кухню и на газовой плите вскипятил чайник; заварив чай, перебрался на айван, где Миассар постелила ему, как и обещала.

— Что со мной происходит сегодня? Вечер воспоминаний устроил ни с того ни с сего,— усмехнулся он.

Вскоре чайник опустел, но вставать больше не хотелось. Мысли то и дело проваливались в прошлое, унося все дальше и дальше от сегодняшних дней…

Вспоминались ему детские дома, где он воспитывался с малых лет,— выпало на его долю их четыре. Отчетливо он помнил лишь последний, уже не детдом, а интернат, где закончил десятилетку. Мало кому из детдомовцев в те годы удавалось получить среднее образование, путь был один — после семилетки в ремеслуху или ФЗУ. Его же с детства отличала фанатичная тяга к знаниям, книгам, это влечение мог не заметить только равнодушный, но ему везло на хороших людей, потому и избежал ремеслухи, а ведь помогать таким детям, как он, в те времена было небезопасно.

Его отца арестовали в тридцать пятом, но совсем не за то, за что многих других,— он, наверное, действительно был врагом

нового порядка, хотя теперь установить степень вины трудно. Отец служил главным сборщиком налогов у последнего эмира бухарского Саида Алимхана и с приходом в край Советской власти, конечно, потерял многие привилегии. Когда возникло басмаческое движение, он, если и не принимал участия в сабельных походах Джунаид-хана, все же тайно сотрудничал с ними и, говорят, передал какие-то спрятанные сокровища бежавшего эмира воинам ислама. Вот за это и расстреляли его. Голод, разруха, огромная миграция людей, семья распалась, растерялась. Слышал, что мать подалась в Кашгарию, смутно помнит, что у него были сестренка и братишка, совсем маленький,— ему самому тогда исполнилось пять лет.

С восьмого класса он учился в русской школе-интернате, хотя семилетку одолел на родном языке. Веселый, общительный, доброжелательный, с искрометным умом, он был любимцем интерната, лучшим его учеником, закончившим школу с отличием.

Класса с четвертого, уже во время войны, он понимал, что содержится в особом детском доме, хотя и не выстригали у них на макушке крест, как делали в иных подобных заведениях.

Незадолго до выпускного вечера в школе вызвала его к себе директор интерната Инкилоб Рахимовна, одна из первых большевичек Туркестана,— он встречает теперь ее имя уже в учебниках по истории края. Разговор оказался долгий.

— Пулат…— начала она, заметно волнуясь.— Ты уже взрослый, вступаешь в самостоятельную жизнь, и я верю и надеюсь, что из тебя получится хороший человек и хороший специалист. Тебе надо обязательно учиться, у тебя светлый ум, и ты еще принесешь пользу своему краю и своему народу. Но с твоей анкетой вряд ли сегодня примут в какой-нибудь институт. Поговорить о твоей дальнейшей судьбе я и пригласила тебя… Чтобы дать тебе возможность попасть в наш образцовый интернат, мои коллеги из детдома в Коканде, а я их знаю по совместной работе в партии, изменили тебе отчество. Махмудов такая же распространенная фамилия на Востоке, как Иванов в России. Они сознательно спутали твое личное дело с одногодком и однофамильцем, неожиданно умершим от гемофилии, болезни крови. Надеюсь, ты понимаешь, какой риск мы взяли на себя. Время трудное, повсюду мерещатся враги, и я не советую пытаться сразу поступать в институт. У тебя призывной возраст. Отслужи, а затем обязательно иди учиться, оправдай наш риск и наши надежды, и непременно езжай в Москву, подальше

отсюда. Верю, пока отслужишь, отучишься, в стране что-то изменится, поймут наконец, что сын за отца не ответчик…

Так он и сделал, послушавшись доброго совета. Мелькнула в воспоминаниях и армия. Служил в Подмосковье, в Кунцеве, теперь уже давно оказавшемся в черте столицы. В марте пятьдесят третьего года стоял в толпе на Красной площади, когда хоронили Сталина, плакал, как и многие. В армии сдружился с Саней Кондратовым, три года прожили они в казарме рядом, делили тяготы нелегкой солдатской жизни. Сашка и заразил его идеей строить мосты, вместе подали документы в инженерно-строительный, во время вступительных экзаменов Пулат даже жил у друга в Москве, на Арбате.

Ныне Кондратов известный мостостроитель, лауреат Государственной премии, построил много крупных мостов в стране, он часто встречал фамилию армейского друга в печати.

Студентом встретил XX съезд партии — тогда уже разбирался, что к чему, жизнь в Москве не проходит без следа. После съезда у него даже появилась мысль пойти в деканат и заявить о путанице в своем личном деле, но Кондратов его удержал, советовал не спешить, мало ли как на это посмотрят. Учился Пулат хорошо, легко давались ему труднейшие технические дисциплины. «У вас прирожденный инженерный ум»,— не раз говорили ему преподаватели. После окончания оставляли его на кафедре, мог бы через два-три года защитить кандидатскую диссертацию. К его дипломной работе о свайных основаниях проявили интерес ведущие проектные организации, но он без сожаления расстался с заманчивыми возможностями,— рвался на родину.

Восемь лет он не был дома, голос крови, что ли, в нем взыграл, хотя в те годы в Москве училось много его земляков, и он с ними общался; там же он познакомился с Зухрой, студенткой первого медицинского института.

Как давно это было: Москва, похороны Сталина, казарма в Кунцево, в которой переночевал 1072 раза,— вел он, как и многие в армии, счет дням и ночам,— практика в Оренбурге, полузабытый парк «Тополя», где бывал каждый вечер с девушкой по имени Нора. Теперь он даже не помнит, как она выглядела, лишь редкое имя врезалось в память, а ведь провожал ее до Форштадта, рисковал,— по тем годам самая отчаянная шпана обитала там, а Нора — девушка видная. Замечал он на себе косые взгляды в парке, да как-то судьба миловала, обошлось, а может, Нора и уберегла от кастета или финки, ведь

слышал, что имела она неограниченную власть над Закиром-рваным, отчаянным форштадтским парнем. Нравился он Норе… Без пяти минут инженер, в Москве учится, работает на большой стройке, не то что шпана форштадтская…

Старый дуб у дувала, оплетенного цветущей лоницерой и мелкими чайными розами, рядом с незаметной для постороннего взгляда калиткой, ведущей во двор Халтаева, отбрасывает на летнюю кухню густую мрачную тень, и идти в темноту зажигать газ ему не хочется, хотя чайник давно пуст. Хозяин чувствует ночную свежесть и тянется за пижамной курткой из плотного полосатого шелка, вышедшего, кажется, из моды повсюду, кроме Средней Азии,— здесь такая пара еще почитается за шик.

«Мне уже пятьдесят семь, жизнь считай, прожита,— с грустью размышляет секретарь райкома.— А ведь, кажется, еще вчера Инкилоб Рахимовна напутствовала в большой мир… Оправдал ли я надежды людей, рисковавших из-за меня, поверивших в меня?»

Наверное, если бы этот вопрос он задал себе лет семь назад, ответил бы с гордостью, не задумываясь, утвердительно. Но за семь последних лет он с такой уверенностью не поручился бы за подобный ответ…

Инкилоб Рахимовна… Имя старой женщины, принявшей доброе участие в его судьбе, почему-то не идет из головы. Он пытается связать его со своими путаными мыслями, но логичного построения не получается. Его преследует этот образ… Ее, тогдашнюю, он уже не помнит, смутно видятся лишь начинающие седеть волосы, европейская прическа и вечная папироса в худых нервных пальцах. Да, директор специнтерната Даниярова курила, это в память врезалось четко. Но почему же ему кажется, что имя старой коммунистки имеет отношение к сегодняшнему разговору с Миассар, и оттого она не идет из головы.

«Инкилоб… Инкилоб…» — повторяет он мысленно, и вдруг обрадованно встрепенулся, нашел-таки ключ к разгадке. Да, имя ее означало — Революция! Революция Рахимовна,— новое время оставило и такой след в жарких краях, и тут были люди, принявшие революцию сердцем. И в устах Миассар не раз сегодня звучало — «инкилоб», вот как перекликнулось с нынешним временем имя старой большевички, определившей его судьбу.

Он уже давно был секретарем райкома и депутатом Верховного Совета, когда однажды увидел по телевизору передачу — открывали

помпезный филиал-музей Ленина в Ташкенте. Среди тех, у кого бойкие репортеры брали интервью, оказалась и Даниярова — белоголовая, согбенная, плохо одетая старушка, но он узнал ее сразу. Помнится, ветераны чувствовали себя неуютно среди мраморно-хрустального великолепия залов с высокими дубовыми дверями при дворцово-бронзовых тяжелых ручках; они осторожно, словно по льду, ступали по скользкому наборному паркету и выглядели лишними бедными родственниками на богатом балу. Впрочем, камера на них долго не задержалась, ветеранов на экране быстро вытеснили продолжатели их дела — солидные, вальяжные дяди и тети, словно во искупление своих грехов и отклонений от партийных норм отгрохавшие величественный храм вождю. Все в истории человечества повторяется: раньше, отмаливая грехи, ставили соборы и мечети, теперь отделываются роскошными филиалами.

Увидев тогда на экране Даниярову, Махмудов чуть не вскрикнул: «Мама!» В интернате многие обращались к ней так, а для него, наверное, Инкилоб-апа и была матерью, в него больше, чем в кого-либо иного, вложила она свою веру и любовь, ради него рисковала жизнью. От волнения у него сжалось сердце и повлажнели глаза.

Тогда еще была жива Зухра, первая жена, он хотел позвать ее из соседней комнаты и рассказать о своем сиротстве, о старой большевичке Даниярoвой, ставшей для многих мамой, но что-то удержало его. Под впечатлением неожиданной встречи с Инкилоб-апой он решил, что завтра же свяжется с Ташкентом, узнает, где сейчас живет его старая учительница. Надо поехать, обязательно найти ее, привезти в свой дом, познакомить с женой, детьми, уговорить, чтобы остаток дней она прожила у него. Он хотел обрадовать, хоть и запоздало, что оправдал ее надежды.

Но на другой день накатились дела, заботы, и он никуда не поехал, не позвонил, а через полгода в республиканских газетах наткнулся на извещение о ее смерти. Помнится, вечером тогда очень крепко выпил,— он не только поминал Инкилоб Рахимовну, а хотел вином залить горечь от сознания своего предательства. В тот день свой поступок он иначе не называл. И сегодня воспоминание болью отзывается в сердце.

— Предатель,— негромко произносит Махмудов и невольно оглядывается.

Ночная тень могучего дуба чуть сместилась влево, и лунный свет заливает вход в летнюю кухню, с айвана видна газовая плита,

но не до чая ему сейчас. Ему стыдно, что невольно оглянулся, и потому он с горечью спрашивает себя: почему в нас нет внутренней свободы, почему мы живем с опаской? Оглядываемся даже в ночи, наедине с собой, боимся своих мыслей? Давно он так не рассуждал, наверное, в последний раз это было с Саней Кондратовым, когда заканчивал в Москве институт. Куда все подевалось? Ведь без свободного обсуждения мнений, столкновения, сравнения новых идей не народится. Опять его думы возвращаются к Миассар, она разбередила его душу, но от этих мыслей бросает то в жар, то в холод. Вспомнил бы разве сегодня Инкилоб Рахимовну, если бы не разговор с женой? Вряд ли.

И вдруг, впервые за много лет, он ясно представляет свою учительницу. Она стоит у входа в столовую интерната, опершись о дверной косяк, и смотрит в зал. Пулат Муминович четко различает ее белую, тщательно выстиранную кофточку с небрежно завязанным бантом на груди, видит ее большие, по-восточному красивые, бархатные глаза, в них, кажется, навсегда поселилась печаль. Она смотрит куда-то вдаль, поверх голов обедающих мальчишек и девчонок, ее тонкие нервные пальцы то и дело отбрасывают с лица падающие волосы. О чем она думает, куда улетел ее грустный взгляд? Наверное, думает о том, какими вырастут эти мальчишки и девчонки с трудной судьбой, оправдают ли надежды, смогут ли построить то общество добра и справедливости, о котором мечтала она?

«Сегодня я намного старше той Инкилоб Рахимовны, напутствовавшей меня в жизнь, и я бы очень покривил душой, если бы утверждал, что оправдал ее надежды,— признается он себе.— Впрочем, наверное, она разочаровалась не во мне одном…» — он словно подыскивает оправдание себе, вспоминая открытие филиала музея Ленина в Ташкенте. Не радовали старых большевиков ни величественные залы, ни самодовольные «продолжатели» их дела, это бросилось в глаза даже неискушенному зрителю. Более того, словно пропасть пролегла между ними, они вроде не понимали друг друга, оттого и торжество дальше продолжалось без ветеранов.

Двухподбородковые ленинцы,
Я к вам и мёртвый не примкну,—

как сказал в те годы молодой поэт Александр Файнберг, имея в виду новое поколение партийцев.

Он еще долго вглядывается в Даниярову, стоящую у двери столовой специнтерната, словно хочет привлечь ее внимание, чтобы заговорила с ним, но, увы… понимает, что упустил свое время, назад хода нет…

Как ни горько вспоминать давнее, он счастлив, что впервые за много лет ясно представил образ своей учительницы,— Инкилоб Рахимовна вела у них в школе историю.

Сегодня Махмудов беспощаден к себе,— словно корабль, вошедший в док, хочет содрать с обшивки сцементированный налет ракушек, водорослей, всяких прилипал и прочей глубинной дряни, невидимой над водой у белоснежного красавца.

И неожиданно опять всплывает имя Норы, о которой сегодня уже вспоминал под шум высоких серебристых тополей у арыка. И краской стыда заливает лицо, он рад, что никто этого не видит. Ему неловко не оттого, что он забыл прекрасное лицо девушки, а потому, что даже сегодня был неискренен с самим собой. Модистка Нора… Кажется, ныне в обиходе нет такого слова, теперь все модельеры, кутюрье… Да, теперь шьют мало, больше гоняются за импортным, фирменным. Приходится ему иногда обращаться к Салиму Хасановичу, председателю райпотребсоюза,— невестки из Ташкента донимают, достаньте, пожалуйста, то велюровое пальто, то дубленку, то твидовый костюм.

Нора… Кстати, по паспорту она значилась — Нурия, но сердилась, если он так ее называл. Однажды она пригласила Пулата домой, познакомить с родителями,— какой чудный бялиш, татарский пирог с рисом, с мясом, по такому случаю испекла,— вот тогда он и услышал, как мать называла ее — Нурия. Ему, восточному человеку, Нурия по слуху ближе, но ей нравилось зваться на европейский лад — Нора. Маленькая прихоть красивой девушки. Впрочем, это имя — Нора — ей очень подходило.

Работала она в самом модном салоне Оренбурга «Люкс», на Советской; он часто проходил мимо его стеклянных витрин, на которых местный художник, не особенно терзаясь поисками собственной манеры, крупно, броско, в стиле Тулуз-Лотрека изобразил загадочно-томных женщин под вуалетками. Особенно выделялись на плакатных рисунках ярко-красные чувственные губы и тщательно выписанные холеные руки, казалось, кроваво-красный лак капал с изящных длинных пальцев.

В ночной тиши он вдруг явственно слышит цокот ее каблучков,— Нора ходила на умопомрачительно высоких шпильках. Тогда

это было модно, как и длинная, узкая юбка с пикантным разрезом то по бокам, то сзади, то спереди. Не идет, а пишет — говорили в ту пору о модницах, такой стиль действительно диктовал особо элегантную, по-настоящему женственную походку, дававшуюся не всякой девушке, тут нужен был талант, как и в любом деле.

Он смотрит в ночной сад, но взгляд его затерялся в давнем прошлом, в ушах незабываемой мелодией звучит стук каблучков спешащей к нему на свидание Норы. Он никогда не путал их с другими. Он пытается вспомнить еще что-то приятное, связанное с нею, и вдруг грустно улыбается, из глубин памяти наплывает на него запах сирени.

Оренбург долго для него ассоциировался с этим запахом. В ту счастливую весну он каждый день дарил ей персидскую сирень и ландыши. Ландыши, наверное, тогда у многих девушек вдруг оказались любимыми цветами, повсюду звучала популярная песенка «Ландыши», которую позднее охаяла ретивая критика. Как же давно это было!

Он видит себя на углу Советской и Кирова, у театральной тумбы с афишами, он ждет как всегда запаздывающую Нору. Пытается вспомнить ее лицо, нет, даже не вспомнить, хочет заглянуть ей в лицо, но она почему-то, озоруя, закрывается букетом сирени, что он тогда подарил. Он слышит ее мягкий грудной голос, смех, это так волновало его… Но лица нет,— она не смотрит на него… От бессилия памяти он невольно опускает взгляд к ногам и ясно видит ее туфли-лодочки, остроносые, лаковые, видит высокие стройные ноги в ажурных черных чулках,— и тогда, тридцать лет назад, они тоже были в моде, как и сейчас. Видит узкую, серую, из тонкого китайского габардина длинную юбку с высокими шлицами по бокам, шлица с одной стороны заканчивается крупной пуговицей. Он поднимает взгляд выше и видит широкий лаковый ремень с огромной пиратской пряжкой из хромированного легкого металла. Точно такой же ремень он видел на прошлой неделе у своей невестки из Ташкента, большой модницы. Кстати сказать, именно благодаря ей он в курсе текущей моды. Он торопливо поднимает взгляд, восстанавливая в памяти Нору, и натыкается на ярко-алую свободную шелковую кофточку с плечиками, кажется, такую носит Миассар. Он, отчетливо помнящий кофточку Норы вплоть до перламутровых пуговиц и темного муарового банта на груди, разницы в них не ощущает, разница лишь во времени — в тридцать лет.

Словно прыгун перед рекордной высотой, у которого в запасе осталась последняя попытка, он с волнением приноравливается

поднять взгляд еще выше — а вдруг снова неудача? Нет, на месте ее лица не зияет провал, пустота, как любят нынче живописать авангардисты, он видит ее лицо, видит меняющимся, словно смазанным на бегу, но ему нужно задержать его хоть на минуту. Он хочет вглядеться в ее прекрасное лицо, увидеть небольшую, кокетливую, чуть выше верхней губы родинку, ее смеющиеся глаза, крупные, темные, с дымной поволокой. Особенно они хороши были, когда Нора смеялась, они как бы излучали свет, и он заражался смехом именно от этих радостных искр. А как она смеялась!

Он невольно делал шаг к ней в такие минуты, чувствовал ее чистое дыхание, она слегка запрокидывала голову, и он не мог глаз оторвать от ее нежного рта, прекрасных, полных жизни алых губ — она никогда не пользовалась косметикой. Порою, захлебываясь от смеха, она невольно по-детски проводила маленьким влажным языком по верхнему ряду удивительной белизны зубов, и этот неконтролируемый жест, делавший Нору беззащитным подростком, ребенком, так трогал, умилял Пулата, что у него захватывало дыханье и влажнели глаза. В такие минуты всякий раз невольно пронзала беспокойная мысль: неужели эта стройная, элегантная, поразительной красоты девушка, на которую оглядываются на улице, действительно выбрала его?

С опаской он отрывает взгляд от муарового банта на алой кофточке и видит высокую изящную шею с тонкой ниткой потерявшего от времени живой блеск натурального жемчуга. Он знает, что ожерелье переходило в их роду от бабок к внучкам, и вот настал ее черед, чему Нора несказанно рада. Пулату ведомо, что раньше у мусульман жемчуг ценился выше бриллиантов, не зря Нора так дорожила им.

— Где фамильный жемчуг? — шутя спохватывалась она, делая испуганные глаза, и проверяла, на месте ли ожерелье.

Помнится, и он невольно втянулся в эту игру: целуя в последний раз у калитки, говорил на прощание:

— Проверим, на месте ли фамильный жемчуг…

Он колеблется еще мгновенье, все-таки боясь в который раз испытать разочарование, но усилием воли все же отрывает взгляд от жемчужного ожерелья, привезенного некогда прадедом Норы из Константинополя, и — о чудо! — Нора открывается ему — вся, от макушки до носочков туфель.

Но нет ни привычной смешинки, лукавинки в ее глазах, ни улыбки, и он тут же вспоминает, когда видел девушку именно такой.

Он видит старинный перрон Оренбурга, еще не задушенный неуправляемым пассажиропотоком, даже слышит доносящийся из прилегающего к вокзалу железнодорожного парка духовой оркестр, играющий вальс. Ясно видит новенький вагон скорого поезда и себя на подножке. Она не отпускает его руки и делает несколько шагов вместе с медленно набирающим ход поездом. Вот тогда она молча смотрела на него такими же печальными глазами, хотя для грусти вроде не было причин. Он клятвенно обещал ей приехать на Новый год, а весной, когда получит диплом, увезти с собой по назначению.

Сердце девичье не обманешь, почувствовала если не беду, то тревогу за их судьбу, до последнего момента не разжала пальцев, считай, поезд силой вырвал его руку из ее горячей ладони. Печальные глаза Норы преследовали тогда Пулата до самой Москвы. «С чего это она так?» — думал он беспечно. Обманывать девушку и в мыслях не было, вполне искренне называл ее невестой.

— Нора, милая, прости…— шепчет невольно Махмудов.

Если бы сегодня он не признался в предательстве Инкилоб Рахимовне, не повинился перед собой, вряд ли бы вспомнил и Нору. Ведь у арыка хотел отделаться легким и красивым воспоминанием из прошлого, где больше романтики, чем реальности: парк «Тополя», джазовый оркестр Марика Раушенбаха, лихо игравший модный в ту пору «Вишневый сад», сплошное торжество медных труб и саксофонов, или томный «Караван» Эллингтона, когда солировал сам Раушенбах, кумир местных джазменов, первый денди в Оренбурге. Под занавес, когда уходило начальство, тишину парка сотрясали такие рок-н-роллы,— то надо было видеть, что творилось и на эстраде, и на танцплощадке. Если честно, ведь только это и промелькнуло в памяти на скамейке у арыка, даже лица Норы не припомнил, лица своей нареченной…

— Подло, что и говорить…— не очень-то решительно констатирует он, но и оспаривать обвинение, защищаться не хочется.

И даже Закира-рваного помянул так, между прочим, как нечто неодушевленное, несущественное, а ведь все было гораздо сложнее. Копнуть глубже в памяти, значит, еще раз признаться в предательстве, пусть, как и в случае с Данияровой, не в расчетливом, преднамеренном, но, как ни крути,— предательстве.

В жизни человека наступает день, когда приходится отвечать за предательство. И пусть карой будет только расплата покоем, душевным комфортом, и даже если это счет лишь к самому себе, нелегок этот суд.

Сегодня выдался судный день, а если точнее, судная ночь, и он это понимал и от ответственности увиливать не собирался, назад ходы отрезаны, слишком долго отступал.

«Кругом виноват»,— заключает Махмудов, оглядывая двор, где многое посажено, взращено своими руками. Любит он, когда выпадает время, покопаться в саду, но свободного времени почти не бывает, а заслуга, что у него ухоженный, тенистый сад, неплохой виноградник и даже небольшой малинник за дощатой душевой,— все же не его, а садовника Хамракула-ака, появившегося в усадьбе лет пятнадцать назад. Однажды он попытался вспомнить, как, при каких обстоятельствах объявился во дворе тихий, услужливый, набожный дед, но так и не припомнил, да и спросить, уточнить не у кого было, Зухра в то время уже умерла. Мысли о садовнике ему неприятны, и, чтобы отвлечься, он берет чайник и направляется к летней кухне; ночная тень могучего дуба сдвинулась еще чуть левее, и возле газовой плиты светло, не нужно зажигать свет. Пока закипает чайник, хозяин прохаживается по дорожке, упирающейся в калитку Халтаева, ходит взад-вперед, словно собирается ворваться во двор начальника милиции и спросить у гориллоподобного соседа, кто же пристроил к нему садовником Хамракула-ака, уж тот наверняка знает это.

Он слышит за спиной свисток закипевшего чайника и возвращается в кухню. «Разберусь сегодня и с Халтаевым, и садовником»,— успокаивает он невидимого оппонента — свою совесть — и направляется с чайником к айвану. За чаем думать как-то легче, да и после обильного плова жажда мучает.

Прошлое властной рукой держит думы, и перед ним вновь всплывает грустное лицо Норы, бледное, с вмиг запавшими глазами, сухими, жаркими губами, такое, словно в укор сегодня оно предстало перед ним. А ведь он больше в жизни не встречал такой хохотушки и озорницы; лишь минуты расставания на вокзале, предчувствие беды, расставания стерло с ее лица краски и погасило глаза. Он помнит, когда по воскресеньям ходили вдвоем на Урал, на пляже он часто просил ее закрыть глаза — и любовался юной, пахнущей незнакомыми цветами, удивительно нежной кожей ее лица, словно подсвеченной изнутри неведомым светом. Он невольно касался рукой ее щеки, как бы желая стереть румяна, но вспоминал, что она же не пользуется косметикой.

Никогда не могла она долго лежать с закрытыми глазами, не хватало терпения, шутя оправдывалась — мне тоже хочется видеть тебя, запомнить, ведь ты скоро уедешь. Как ни старался, он не мог

предугадать тот миг, когда она распахивала глаза,— всегда это происходило неожиданно, внезапно, хотя он вроде и был готов поймать ее первый взгляд, словно удивленный и вместе с тем радостный, ожидающий чуда, откровения от окружающего — поразительный взгляд чистых глаз юности, еще не знавших ни беды, ни обмана в жизни. Доверчивый взгляд вызывал в ответ прилив нежности, какой он в себе никогда не предполагал. Распахнутые глаза, освоившись с миром, лучились ясным светом, и вмиг преображалось лицо, оно становилось еще прекраснее, одухотвореннее — такое лицо хотелось ему увидеть сегодня хоть на миг, но оно не давалось его памяти.

— Что заслужил…— грустно подытожил он.

Если уж откровенно, то, наверное, следовало вспомнить и Закира-рваного, рослого, крепкого парня с темными, по-цыгански волнистыми волосами. Закир отдал флоту четыре года на Тихом океане и с тельняшкой никогда не расставался — в те годы привязанности отличались крепостью. Странная приставка к имени читалась на лице, рваный шрам от ножа на левой щеке не портил его крупных, не лишенных приятности черт. Рваный — кличку он получил до флота,— уходя на службу, пользовался большим авторитетом на Форштадте, что предполагает — и во всем городе. Редкой смелости был парень, многие искали дружбы с ним. Правда, на флоте его окрестили иначе — «Скорцени», и не только за внешнюю схожесть и шрам, а прежде всего за отчаянную храбрость. Среди морских десантников отличиться трудно, но он в мирное время вернулся домой с орденом,— спас во время учений жизнь командиру части.

Махмудов, человек не высокомерный, а скорее наблюдательный, после службы в армии, а тем более после пяти лет вольной студенческой жизни в Москве, отчетливо видел провинциализм Оренбурга, хотя и сюда докатился джаз, новые танцы и даже новая мода, резко преобразившая внешний вид молодых людей. Любопытную наблюдал он картину в «Тополях». Танцплощадка примерно поровну делилась на приверженцев новой моды, тут же окрещенных всюду по стране — стилягами, и молодых людей, одетых, так сказать, традиционно. Правда, это касалось прежде всего мужской половины, женщины более восприимчивы к новому, не любят заметно отставать друг от дружки, разнобой у них не был столь очевиден, хотя внимательный взгляд и тут обнаружил бы водораздел.

Вот, например, стоит молодой человек в голубых, невероятно узких брюках-дудочках, в туфлях на тяжелой белой каучуковой

подошве, в свободной клетчатой рубашке, а рядом парень в тщательно отутюженных клешах немыслимой ширины и непременно в белой рубашке-апаш, расстегнутой чуть ли не до пупа, под рубахой красуется тельняшка. Те и другие искренне считали нелепой одежду ребят противоположного лагеря и, кажется, тихо ненавидели друг друга.

Вот такое переломное время в молодежной среде застал Пулат в то лето на своей преддипломной практике в Оренбурге.

Нужно знать или хотя бы догадываться о местечковых нравах тех лет, где культ силы преобладал надо всем, чтобы понять: Нора при всей вольности своего характера не была свободна в выборе поклонников. Крутым характером следовало обладать, чтобы устоять перед угрозами форштадтской шпаны, кстати, слов на ветер не бросавшей. Красавица Нора с Форштадта, по их твердому убеждению, должна была принадлежать только парню с Форштадта, и именно Закиру-рваному. Иной исход местные посчитали бы позором для себя, для Форштадта, чью марку берегли пуще своей жизни, даже если и были сами равнодушны к Норе. Дико по нынешним временам? Возможно, но тысячи семей сложились в те годы, и не только в Оренбурге, по жестким местечковым нравам, и ничего — живут, много среди них и счастливых пар.

Если Нора, одна из лучших модисток популярного салона «Люкс», шагала в авангарде новой моды и самореализовывалась в ней, то Закир оказался явным антиподом ей. Парню, по крайней мере тогда, казалось, что он и под страхом смерти, под пистолетом, не наденет узкие штаны, тем более голубые, а уж о том, чтобы он в угоду моде расстался с тельняшкой, или, как говорили тогда — тельником, не могло быть и речи. Подобное перерождение он меньше чем изменой флоту не расценивал. Для него не имело значения, какие юбки, кофточки носила его возлюбленная, хотя, честно говоря, ему было приятно видеть ее нарядной, выделяющейся среди подружек. Ему льстило, когда дружки-приятели говорили: смотри, пришла твоя красавица Нора, и опять в шикарном платье! Он не только ничего не имел против ее увлечения, но даже клялся, что она будет у него всю жизнь ходить в «бархате и соболях», слышал он такую песню на Севере, где на годок остался после флота заработать на золотых приисках. Соболей он, правда, не дарил ей, а вот роскошную чернобурку привез. Отдал ему для будущей невесты таежный охотник, которого он защитил случайно от блатных в общежитии — иначе забили бы насмерть старателя и пушные трофеи, добытые за долгую сибирскую зиму, отобрали.

Познакомился Закир с Норой на балу во Дворце железнодорожников, училась она тогда в десятом классе, а он прибыл на короткую побывку после учений, на которых отличился; оставалось тогда служить ему еще год. Нельзя сказать, чтобы у них заладились отношения — ни писать не обещала, ни фотографии не дала, хотя и попросил. Но девичьим умом поняла, влюбился морячок. В нее влюблялись в ту пору каждый день, и она не удивилась, не обрадовалась. Живя на Форштадте, рано начав крутиться в «Тополях», она наслышалась о Закире-рваном с соседней улицы, о его похождениях, и знала Светланку Соколянскую, за которой он приударял до флота. Ей льстило, что такой авторитетный парень, как Закир-рваный, волнуется, говоря с ней, нравилось, что ей завидуют многие девчонки.

Десяти календарных дней отпуска оказалось вполне достаточно, чтобы уехал бравый моряк без памяти влюбленным в стройную темноглазую школьницу, жившую на углу Чапаева и Оружейной, в старинном краснокирпичном доме, отстроенном тем самым прадедом, что некогда привез жемчужное ожерелье из Константинополя. Прадед и дед Норы торговали в крае чаем.

Фотографию Норы Закир все-таки увез с собой во Владивосток — не тот парень Ахметшин, чтобы не раздобыть карточку любимой. Не очень склонный к эпистолярному жанру, Закир несколько раз написал ей, но Нора ни на одно письмо не ответила.

— Приеду, разберусь,— мрачно говорил моряк товарищам по тесному кубрику, но фотографию над головой на стене не убирал.

Приехал Закир через два года, снова в канун новогодних праздников, и опять же на балу у железнодорожников подошел к ней, словно и не отсутствовал долгое время. Нора, как обычно, находилась в окружении друзей, поклонников, но моряк, не замечая их, увел ее танцевать. В тот новогодний вечер вокруг Норы образовалась пустота, куда-то вмиг подевались ухажеры. Нора вначале не поняла, что произошло, посчитала это за коварство соперниц, но одна подружка объяснила все очень просто.

— Закир вернулся,— сказала она ей, как несмышленышу.— Разве непонятно? Ахметшин устроился в таксопарк, откуда его и призвали на службу. Командование Тихоокеанского флота прислало благодарственное письмо коллективу, воспитавшему доблестного краснофлотца, рассказало о подвиге, за который их земляк награжден боевым орденом. Встретили его как героя, чему он весьма поразился, вряд ли сам сказал бы о награде.

В те дни из гаража горкома передали в таксопарк на баланс черный ЗИМ,— наверное, получили новую машину или новую модель «Волги». ЗИМ отслужил горкомовскому начальству лет семь, но, поскольку находился в одних руках, для таксопарка вполне годился. Претендентов на машину оказалось хоть отбавляй, но тут Ахметшин как бы выручил руководство, снял проблему — за то, чтобы отдать машину орденоносцу-краснофлотцу, проголосовали и в парткоме, и в профкоме.

С Севера парень приехал при деньгах — попал в удачливую артель, там, если подфартит, за год можно огрести больше, чем иногда за десять лет. Заработком он ни с кем не делился, хотя и рисковал головой, это сейчас, да и то робко, начинают говорить о рэкетирах, а рэкет существовал всегда, только не имел звучного иностранного определения, ставшего вдруг модным и у нас.

Ахметшину еще до армии, зеленому парнишке, врезалась в память одна сцена.

Как-то он оказался в парке задолго до танцев и от нечего делать решил заглянуть в бильярдную. В дверях он наткнулся на старших ребят с Форштадта. Со многими из них у Закира сложились натянутые отношения, потому что он, как молодой волк-первогодок, определял свое положение в форштадтской стае, а тут позиции просто так не сдавали. Но сегодня он не узнавал задиристых парней, они словно сопровождали высокого официального гостя и, как всякая свита, ловили каждое слово худого, бледного парня в тесноватом бостоновом костюме.

Закир не знал Османа-турка, но слышал, что тот со дня на день освободится из тюрьмы. Закир не хотел этой встречи, в будущем не рассчитывал ни с кем делить власть и влияние на Форштадте, такие честолюбивые замыслы зрели в его душе. Отступить, отойти куда-то в сторону не представлялось возможным, столкнулись лоб в лоб, и он оказался вынужден со всеми поздороваться за руку.

— Эх, выпить бы, отметить возвращение Османа,— сказал Федька-жердь, накануне в пух и прах проигравшийся в карты.

Братия сидела на мели, оттого и смолчала. У Закира имелись деньги, но он не собирался их поить, он уже не считал их для себя авторитетом, уж лучше он своих молодых корешей уважит. Не глянулся ему и Осман-турок. «И этого задохлика с шальными глазами некогда боялся весь город?» — презрительно подумал он.

— Я угощаю,— сказал вдруг Осман небрежно, доставая из кармана пиджака пачку «Казбека», и худой рукой показал в сторону летнего буфета, водились некогда такие заведения во всех парках страны.

Закир отступил в сторону и хотел остаться в бильярдной, словно приглашение его не касалось, но Осман уловил его настроение и неожиданно произнес:

— А ты что, Рваный, не рад моему возвращению?

Вроде сказал обычные слова, ровным и даже ласковым голосом, но что-то похолодело внутри у Закира,— не зря, наверное, именем Турка блатные запугивали друг друга.

«Не лох, не лох, если сразу навел справки»,— думал Закир, шагая рядом с Османом; значит, доложили о его амбициях, которых он, впрочем, и не скрывал.

В загородке летнего буфета на воздухе большинство столиков оказались заняты, толпился народ и у раздаточного окошка, подавали, кроме вина и водки, разливное бочковое пиво. Усадив шумную компанию за свободный столик, Осман сказал Закиру:

— Идем, поможешь мне,— и направился во двор, к заднему входу обшарпанного заведения.

Дверь оказалась распахнутой настежь, но на пороге стояли пустые ящики из-под вина. Осман небрежно отшвырнул их ногой в глубь подсобки. На шум, оставив клиентов, прибежал буфетчик, работавший в паре с женой.

— Салам алейкум, Шакир-абзы. Наверное, соскучились по мне? — спросил весело Осман и обнял потного лысеющего толстяка.

Закиру показалось, что они давние знакомые.

— Вернулся, значит,— ответил тот без особого восторга, и, не зная, куда от волнения девать руки, мял грязный фартук.

— Отмотался,— бодро уточнил гость.— И первым делом решили с друзьями к тебе, обмыть, так сказать, возвращение в родные края. Обслужи по-быстрому, мы хотим еще на танцы попасть, обрадовать и прекрасный пол…

— Что подать? — спросил потерянно буфетчик.

— Нас шестеро. Значит, три пузыря водки, закуски как следует, имеем аппетит, а позже дюжину свежего пива из новой бочки, разумеется, с раками.

Шакир-абзы, хорошо знавший Закира-рваного,— он тут не раз гулял с друзьями,— метнулся на кухню и быстро принес поднос с закусками: крупно нарезанную колбасу, сыр, жирную копченую сомятину и малосольные огурцы и прямо из ящика достал три заказанные бутылки водки. Поднос с закусками он подал Закиру,

а водку передал самому Осману. Закир чуть задержался, подумав, а вдруг Осману надо помочь рассчитаться, но тот вместо денег протянул буфетчику руку в наколках и, процедив небрежно «рахмат», не спеша двинул из подсобки.

Зная Шакира-абзы, о жадности которого ходили легенды, Закир потерял дар речи, но во дворе все же спросил у Турка:

— А деньги?

— Какие деньги? — не менее удивленно переспросил Осман.— Ты хочешь сказать, я не взял у него сдачи?

Закир растерялся пуще прежнего, подумал, что ловкие пальцы Османа, некогда начинавшего карманным воришкой в трамваях, а позже ставшего одним из известных картежных шулеров, уже успели вложить незаметно в карман буфетчика белохвостую — так прежде называли на жаргоне сторублевку.

Наконец до Османа дошло! Подобной непонятливости в Закире он никак не предполагал, и аж заколотился в смехе, бутылки в руках звенели так, что казалось, вот-вот разобьются.

— Ну, насмешил ты меня, Рваный, век не забуду! — и, погасив смех, стал утирать кулаком слезившиеся глаза. Затем, поставив бутылки на поднос Закира, по-мужски неловко державшего его на вытянутых руках, добавил: — Запомни, не я ему, а он мне должен по гроб жизни.

— Он что, проигрался тебе в карты? — не унимался Ахметшин.

— Какой ты, оказывается, Рваный, дурак, а еще намерен задавить всех на Форштадте. Зачем тебе власть, если ты даже барыге Шакиру, заплывшему от жира, платишь за выпивку?

— А что ты можешь ему сделать, ты ведь не торговый инспектор? Не мент?

— Многое,— ответил уклончиво Осман. Потом, хищно оскалив порченные цингой зубы, пояснил: — Послать, например, тебя с монтировкой в подсобку — за две минуты перебить три ящика водки, ему их никто не спишет. Или садануть по витрине — стекла-то нынче дороги. Да мало ли что, соображай…

Вот когда дошло до Ахметшина, почему наглый буфетчик лебезил перед Османом,— видно, знал, чего от него можно ожидать. Дефицитное пиво к столу подал сам Шакир-абзы. А когда он, пятясь задом от стола, любезно приглашал заходить Османа в любое время, Турок вдруг, словно вспомнив разговор во дворе, взвизгнул нервно:

— А сдачу?

Буфетчик, наверняка предполагавший подобный исход, извиняясь за память, протянул вору две аккуратно сложенные сторублевки. И Закир понял, что на Форштадт вернулся настоящий хозяин.

В тот пьяный вечер неожиданно для себя он как бы протрезвел от романтики лихой жизни, осознал, куда она может завести.

Повезло ему и с призывом на флот.

Несколько лет спустя после этого вечера вся компания, гулявшая по случаю возвращения Османа-турка в «Тополях» у Шакира-абзы, попалась на дерзком вооруженном ограблении ювелирного магазина в Актюбинске. Клима и Федьку-жердя в завязавшейся пальбе застрелили на крыше магазина, куда они успели прорваться, прикрываемые Османом, а остальные получили новые сроки.

Ахметшин не удивился, что возле артели золотодобытчиков крутились люди, подобные Осману, или, как их нынче величают,— рэкетиры.

На работу вербовали его с друзьями еще на флоте, за год до демобилизации. На золото, в тайгу, подписались они втроем — каким-то чутьем нашли друг друга. Один из них, Колька Шугаев, уже промышлял драгметаллом до службы. Третьим оказался Саркис Овивян из Карабаха, тому за годы службы так и не смогли подобрать парадную форму, все оказывалось и тесным, и коротким, хотя рядом служили отнюдь не лилипуты. «Вернусь домой, сошью форму на заказ в Одессе на память о флоте»,— шутил он, и перед списанием на берег добился-таки у интендантов, чтобы выделили ему, как офицерам и генералам, материал для парадки на руки.

Удачливая артель оказалась немалой, пятьдесят два человека, и все безропотно платили дань пятерым бывшим уголовникам, работавшим рядом, бок о бок в родном коллективе. О том, что придется отчислять «дяде», и немало, стало ясно с первой получки,— за деньгами пришел к ним в балок сам пахан, старый лагерный волк. Вряд ли он ожидал, что через пять минут выскочит в бешенстве, изрыгая проклятия и угрозы.

— А это нэ хочешь? — спросил Саркис, продемонстрировав блатарю выразительно согнутую в локте руку.— Да разве ты нэ понимаешь, что я всю жизнь буду блэвать от презрения к сэбе, если стану делиться с тобой заработком?

Закиру вспомнился жирный, трясущийся от страха буфетчик; нет, такому он уподобиться не мог, да с ним на Форштадте

не стал бы разговаривать ни один шкет, если бы узнал, что Рваный платил кому-то налоги.

Шугаев держался спокойнее, праведным гневом не пылал.

— Здесь всегда так, закон тайги…— сказал он бесстрастно, философски, но уговаривать друзей смириться не стал, а после долгой паузы добавил: — Будем держать оборону, блатата бунта не прощает,— и, отодвинув доску обшивки балка над железной кроватью, достал короткий обрез.— Купил на всякий случай у Жорки с вездехода, говорит, в карты на постоялом дворе выиграл.

Шугаев — сибиряк, немногословный, но надежный парень: четыре года в морском десанте подтвердили это. Они не сомневались во флотском братстве, наверное, оттого и держались смело.

Наверное, если рассказать про их жизнь на золотом прииске писателю или режиссеру, захватывающая получилась бы книга или кинофильм. Целый год ни на один день не прекращалась борьба не на жизнь, а на смерть. Сгодилось тут все: хладнокровие и выдержка Шугаева, знание привычек и нравов блатных и отчаянная храбрость Ахметшина, и чудовищная сила Овивяна, и, конечно, их вера друг в друга,— пытались уголовники и клин вбить между ними. Долго они крутились возле Шугаева, и от дани клялись освободить, если отойдет от иноверцев, и на сибирское происхождение напирали, но не удалось ослабить морской узел, крепким братством наградил их флот.

И из горящего балка ночью не раз выскакивали, и с обрезом охраняли сон друг друга, а однажды, прямо за обеденным столом, сцепились в страшной рукопашной. Чудом вырвали дружки злобного механика с драги из рук Овивяна,— не умер, живучий, как собака, оказался, но в счет больше не шел, отбандитился, осталось четверо против них троих. Артель открыто не приняла их сторону, но, обремененные большими семьями, сибирские мужики сочувствовали морячкам, они часто подавали сигнал тревоги или тайком предупреждали о готовящихся кознях блатных. Это у них друзья разжились вторым обрезом и старым двуствольным винчестером. Ребята, наверное, остались бы еще на год, тем более хорошая деньга шла, но близилась амнистия, и они знали, что уголовники ждут подкрепления, готовы были взять любых мерзавцев в долю, чувствовали: уходит из-за моряков артель из-под контроля.

Вот с каким опытом жизни вернулся через пять лет Закир домой в Оренбург. За эти годы много воды утекло, изменился

и Форштадт, поредела шпана, одни отсиживали долгие сроки в тех краях, где он добывал золото для страны, другие напоролись на нож в пьяной потасовке и успокоились навек, третьи угомонились, надорвав здоровье в тюрьмах и драках, а главное — потеряв влияние. Но что-то порочное, петушиное сидело в генах молодых форштадтцев, и много романтических легенд о давних похождениях ребят с родного Форштадта гуляло среди подраставших и находило в их сердцах жгучий отклик. Воровство, дерзкий грабеж, шантаж не привлекали молодых — изменилось время, а вот лихой кураж, отчаянное хулиганство по-прежнему почитались высоко. И за пять лет отсутствия в этой среде не потускнело имя Закира-рваного, широкого, открытого парня, новоявленного Робин Гуда с Форштадта.

Изнемогая от тяжелого труда на золотых приисках и в долгие бессонные ночи с винчестером в руках охраняя сон товарищей от уголовников, он меньше всего думал о своем авторитете в родном городе и в мыслях не видел себя, как Осман-турок, в окружении свиты и телохранителей. Нет, такая перспектива его не прельщала. И в Сибирь-то поехал потому, что думал о нормальной жизни, хотел скопить денег, чтобы купить или построить дом и зажить своей семьей.

Нет, он не хотел, чтобы Нора носила ему передачи в тюрьму, ждала от него писем. Он помнит, как лет десять назад,— он еще учился в школе,— повесилась красавица Альфия с соседней улицы. Кто-то в очереди за шифоном зло крикнул, что она жена вора, и не место ей среди честных людей. По юности ее околдовал романтический образ Шамиля — по прозвищу Аркан, предшественника Османа-турка на Форштадте. Он казался ей таким всемогущим, а этот всемогущий не дожил даже до тридцати, да и треть отдал тюрьмам да лагерям. Нет, так бездарно сжечь свою жизнь Закир не собирался. Он мечтал иметь свой дом, жену, детей; женой он представлял только Нору, которая часто снилась ему.

Закир был признателен судьбе за то, что вовремя, пока не засосала трясина блатной жизни, не наделал непоправимых дел, что увидел истинное лицо Османа в тот вечер в «Тополях», представив и свой возможный конец. А ведь Турок стоял на самой высшей ступени уголовного мира, вор в законе, коих в стране всегда было наперечет. Нет, Закир никогда не хотел жить за счет страха людей и пить, и угощать друзей считал допустимым только за свои кровные, в этом

никто бы его не переубедил. Ворованное, хоть и у вора, не доставило бы ему радости, тут у него сомнений не было.

За два года Нора из школьницы превратилась в красивую, обаятельную девушку. В институт она не поступила,— как и Закир в юности, спешивший утвердиться среди шпаны,— торопилась реализовать себя, свои способности в моде. Непонятно, откуда в этом провинциальном захолустье сформировался у нее незаурядный вкус, чутье, интуиция. И руки оказались золотыми, да и усердием бог не обидел, что для модистки очень важно. Планов поскорее выскочить замуж не строила, хотя поклонники не давали ей прохода.

«Стоит мне только захотеть…» — беспечно говорила она, озорно щуря глаза, своим менее удачливым подружкам. И те знали, что это не пустые слова.

Нравились Норе больше парни образованные, студенты, молодые инженеры и, конечно, ребята из окружения Раушенбаха, джазмены,— эти стиляги постоянно отирались в «Люксе»: что-то шили, подгоняли, укорачивали. О морячке, влюбившемся в нее на новогоднем балу, она забыла, хотя и получила от него несколько невнятных писем, пахнущих океаном, на которые и не подумала отвечать. Передавали дружки Закира ей и приветы от него, помнится, даже угрожали, говорили, поменьше крути хвостом, не пыли: вот вернется Рваный, он быстро твоим узкоштанным ухажерам даст окорот, но она по молодости ничего не принимала всерьез.

И вот Закир вернулся. То, что у парня серьезные намерения, Нора почувствовала сразу, ощутила и его влияние — куда-то вмиг подевались многочисленные ухажеры. Нет, вокруг нее не образовался вакуум, как на том новогоднем балу, когда Ахметшин заявился с Севера окончательно и подарил прекрасную чернобурку. Ее по-прежнему приглашали танцевать, но что-то изменилось в отношении к ней — погасли глаза у парней, что ли, а ей нравилось, когда на нее смотрели жадно, не скрывая восхищения, говорили комплименты.

Однажды в перерыве между танцами она пожаловалась Раушенбаху, руководителю оркестра, на свое нелепое положение незамужней вдовы, на что смешливый, ироничный Марик ответил не задумываясь:

— Нора, милая, что ты хочешь? На тебе же тавро: «Девушка Закира». Ты как любимая наложница шаха — за чрезмерное внимание к твоей особе вмиг сделают евнухом, с Закиром шутки плохи. Хотя к нам, музыкантам, он относится прекрасно, отчасти,

наверное, из-за тебя. И потом, мы каждый вечер играем его любимое «Аргентинское танго», которое, как вижу, он танцует только с тобой. Честно скажу, вы неплохо смотритесь. Так что смирись, девочка, если не хочешь неприятностей…— и Марик поспешил к эстраде, где его уже ждали.

У Норы к Закиру было двойственное отношение: ей нравилось, когда он, особенно в ненастную погоду, подъезжал к салону на черном семиместном ЗИМе. Ныряя в теплое нутро лакированной машины, она ловила завистливые взгляды своих сотрудниц из ателье и даже просто проходящих мимо женщин. Нравилось ощущать на себе внимательный взгляд парня,— он всегда был готов прийти на выручку, поддержать, успокоить. Нравилась та независимость, с которой она могла держаться в молодежной среде, где во все времена самоутверждение давалось нелегко. Понимала, что многим обязана своему неожиданному положению — «девушка Закира». Она удивилась точному и хлесткому определению Раушенбаха — тавро Закира, потому что ощущала не только тавро на лбу, но и путы на ногах. Ее свободолюбивая душа противилась насилию, она пыталась вырваться из крепких сетей навязанного внимания, просто из чувства протеста, ведь ей исполнилось только девятнадцать!

Не нравилось ей, когда он лихо проносился мимо ее дома на трофейном мотоцикле БМВ, купленном на шальные северные деньги у отставного интенданта в чинах. Он позволял себе и в «Тополя» приезжать на вонючем драндулете (так называла она приобретение Закира) и даже предлагал ей прокатиться!

Ну, прекрасно сохранившийся БМВ еще куда ни шло, хотя она терпеть не могла ни мотоциклов, ни мотоциклистов… Бесило ее другое: умудрялся Закир и с гитарой приходить в парк. Тогда он почти не появлялся на танцплощадке, играл где-нибудь на боковой аллее для собравшихся дружков. В такие вечера она просто ненавидела его, гитару, а компанию возле него иначе как шпаной не называла, хотя там собирались разные люди. Играл Закир хорошо, и голос у парня был приятный. Так отчего же такое неприятие, доходящее до ненависти? Время было такое, когда гитару иначе как пошлым инструментом, атрибутом мещанства не называли. Играет на гитаре… Характеристика убивала наповал. Теперь-то это смешно слышать, но тогда…

С каким бы наслаждением Нора расколотила эту ненавистную гитару! Ей казалось, что он позорит ее перед всем светом,

не меньше. Игра на гитаре, по ее тогдашним понятиям, причисляла Закира к парням из подворотни, отбрасывала к категории людей, с которыми даже общаться зазорно, не то чтобы любить такого. Если бы она могла предположить, что всего через пять-шесть лет этот инструмент ожидает такой невиданный взлет! Гитары просто сметут с эстрады всю медь оркестров. А тогда ей так хотелось, чтобы Ахметшин, как Раушенбах, солировал на саксофоне или играл, как Глеб Кастоян, на трубе, на худой конец, стучал на сверкающих перламутром ударных, как Талгат Ямбулатов. Говорила она ему об этом, предлагала переучиться, ведь Марик уверял, что у него отменный слух. Куда там, упрямый, как бык, он отвечал:

— Ты не понимаешь души гитары.

— Душа у гитары? У пошлого, мещанского инструмента? — зло смеялась она, понимая, что не в силах его переубедить.

А рваный шрам на щеке? В минуты плохого настроения она только его и видела.

А как он одевался? Позор, да и только, почти та же ситуация, что и с гитарой. Конечно, после ее уговоров, даже требований он изменил кое-что в своем гардеробе и теперь разительно отличался от закадычных форштадтских дружков, но до круга Раушенбаха, ее друзей, ему было далеко. Насчет тельняшки Закир и слушать не хотел, хотя, подходя к ней, застегивал теперь пуговицу рубашки повыше, а когда она уж особенно сердилась, демонстративно добирался до самой верхней и задушенным голосом спрашивал: «Довольна?»

В общем, воевали они между собой, как на золотых приисках, только без винчестера.

Нет, не таким видела Нора своего избранника в мечтах, не таким…

Но однажды все в тех же «Тополях» Раушенбах познакомил ее с двумя москвичами, прибывшими к ним на преддипломную практику. В те годы великая, усиливающаяся и посейчас с каждым днем миграция еще не началась, знаменитый оренбургский газ только предстояло найти, тогда даже съездить в отпуск куда-то считалось большим событием, и появление молодых людей из столицы не осталось без внимания. Теми москвичами оказались Пулат Махмудов со своим неразлучным другом Саней Кондратовым.

Саня, шустрый арбатский парень, в первый же вечер завязал знакомство с ребятами из оркестра, интерес их объединял один — музыка. Саня рассказал местным джазменам об оркестре Олега

Лундстрема (о нем в ту пору ходили невероятные легенды и слухи) и Александра Цфасмана. О ленинградской школе джаза, где царствовал тогда Вайнштейн и уже пробовал силы джазовый аранжировщик Кальварский. В общем, Кондратов знал, о чем говорил,— в институте и у себя на Арбате он слыл знатоком и фанатиком джаза, имел неплохую фонотеку, которой пообещал поделиться с новыми друзьями. Получалось так, что с первого дня они неожиданно стали заметными парнями в «Тополях».

Скорее всего, приезд двух практикантов, будущих мостостроителей, никак не отразился бы на судьбе Норы, если бы Закир в те же дни не был занаряжен в подшефный колхоз на сенокос.

В парке Раушенбах познакомил их мимолетно, когда расходились по домам после танцев, они, пожалуй, и не разглядели друг друга как следует, но в очередное воскресенье Марик отмечал день рождения — двадцатипятилетие. «Крупный юбилей!» — как шутил кумир оренбургских поклонников джаза. По такому случаю, чтобы не отменять в парке танцы, пригласили в «Тополя» на вечер оркестр из пединститута. Многим хотелось попасть в компанию, где развлекалась «золотая молодежь» — были в этом кругу свои поэты, художники, певцы, актеры, не говоря уже о музыкантах, короче, молодая интеллигенция, но пропуском сюда все же служила любовь к джазу. За столом на дне рождения будущие инженеры очутились рядом с Норой и ее подружкой. В конце вечера гостеприимный хозяин заметил, что москвичам глянулись соседки, и, отозвав в сторону, рассказал о странном положении Норы и о Закире-рваном и советовал особенно не углублять отношений.

Может, поздновато предупредил учтивый Марик, а скорее все-таки судьба — успела пробежать за долгий вечер искра между молодыми. Да и как ей не пробежать, если девушки юны, очаровательны, по-провинциальному милы, восторженны. Профессия инженера тогда еще не склонялась сатириками и тещами и не вызывала ироническую улыбку у прекрасного пола, скорее наоборот. Фантастика? Почему же! Тогда в Оренбурге можно было рассчитывать на успех, если носил имя Миша, а чуть позже — Жора, ну, не успех, так фору перед другими парнями — уж точно. Такое вот удивительное время: гитара — пошлый мещанский инструмент, Машенька или Даша — провинциально, скучно, а Миша или Жора — просто мечта, инженер — не смешно, скорее благородно. Уже оркестры играли Дюка Эллингтона и Гленна Миллера, уже читали Бунина и Есенина, Хемингуэя и Ремарка, а в закутке

летнего буфета, в двух шагах от эстрады, на которой зажигал сердца молодых Раушенбах, пил пиво хозяин Форштадта Осман-турок.

Ребята приняли к сведению сказанное Мариком. Кондратов знал, как жестоки провинциальные блатные, имелись примеры из мира замоскворецкой шпаны, и особенно с Ордынки,— был там среди них и свой Рваный, только звали его Шамиль. Но провожать подружек все же пошли, неудобно было отступиться сразу, ведь веселились, танцевали всю ночь вместе, поняли бы девушки, отчего они вдруг вильнули в сторону, а кому хочется выглядеть трусами.

В тот вечер особенно в ударе был Саня, приударивший за подружкой Норы, Сталиной,— насчет нее Марик запретов не высказывал. Пулат подозревал, что его друг, склонный к лидерству повсюду, и тут, в компании, хотел очаровать всех, и не только Сталину, больше всего он хотел подавить своей эрудицией, знанием, столичным лоском, что ли, мужское окружение Раушенбаха. К концу вечера он видел, что Саня достиг своего, ему с восторгом внимал не только прекрасный пол, а уж Сталина не отрывала от него восхищенных глаз, ловила каждое его слово.

Через день они вновь встретились с девушками в «Тополях», впрочем, подружки подошли сами, когда они в перерыве беседовали с оркестрантами. Видя, что Нора увлекает Пулата на объявленный дамский танец, Марик погрозил ей пальцем с эстрады, на что девушка шутя ответила:

— Мне что, теперь из-за твоего дружка пообщаться с интересными людьми нельзя?

Чувствовалось, что между Саней и Сталиной намечается бурный роман, она ни на минуту не выпускала его руки, и такое внимание красивой девушки льстило Кондратову.

С Норой было сложнее. Не только дух Закира-рваного, но и его имя витало между ними, все шутя, осторожненько, без особого нажима, но будто с лезвием бритвы, прохаживались по адресу Норы и Пулата.

— Не бойся, не дам в обиду,— подыгрывала Нора, слегка прижимаясь к Пулату.

— С именем такой красавицы на устах и умереть не жалко,— парировал Пулат и видел, как краснеют щеки девушки.

В тот вечер чуть не произошла стычка с друзьями Закира. В какой-то момент, когда девушки, заметив в толпе своих подруг, отлучились на несколько минут в другой конец громадной танцплощадки, группа парней оттеснила студентов к ограде.

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в разгар выяснения отношений не объявился Раушенбах.

Марик отвел кого надо в сторону и объяснил, что это его друзья, познакомились они с девушками у него на дне рождения, и, мол, о Закире они в курсе, предупреждены, здесь просто чисто приятельские, интеллигентные связи со столичными ребятами. Дружки знали, что через Нору Закир общается с джазменами, особенно с Раушенбахом, поэтому оставили практикантов в покое, но, уходя, все же пригрозили:

— Смотри, Марик, если что, перед Закиром сам ответ держать будешь, а за Нору он и брата родного не пощадит.

В тот вечер, возвращаясь к себе на Аренду, где они снимали комнату, Пулат сказал неожиданно:

— Знаешь, Саня, я очень понимаю Закира-рваного, чей дух постоянно витает возле нас. Я бы тоже сделал все, что в моих силах, чтобы Нора не досталась другому.

— Ты что, дружище, влюбился? — спросил удивленно Кондратов.

— Может быть, но с той минуты, как нас предупредили, я держу себя в узде. Не то чтобы испугался — у нас в народе есть поверье: чужое не приносит счастья. В наших краях, бывает, кому-то невесту определяют чуть ли не с детства, и грех встревать между ними. Никто не поймет. И тут похожая ситуация. Нора же сама говорила, что он давно ее любит, еще с флота, и замуж предлагает.

— Ну что за отсталые взгляды, прямо особый вид толстовства — отступиться от любимой, если она предназначена другому. По мне, за любовь драться, бороться надо, что, впрочем, и делает неведомый нам Закир.

— Наверное, логика в твоих словах есть, но ведь что-то мы впитываем с молоком матери, получаем по генетическому коду,— продолжал гнуть свое Пулат.

— А если бы Нора оказалась свободной, как Сталина? — нетерпеливо спросил Саня.

— Тогда совсем другое дело. Я бы не только, как ты, закрутил роман, а обязательно женился бы. Божественной красоты девушка, у меня голова кружится, когда она смотрит на меня, ничего подобного я до сих пор не испытывал…

— Плохи твои дела, Пулат. Если уж равнодушный азиат, как окрестили тебя блондинки нашего института, так заговорил про прекрасный пол…

— Наверное,— серьезно ответил Пулат.— И я решил не искушать судьбу. Неделю посижу по вечерам над дипломом, а ты развлекайся со Сталиной, а там, глядишь, вернется Закир-рваный и все встанет на свои места. Если будут интересоваться, куда я подевался, придумаешь что-нибудь…

Так они и порешили.

Наверное, история на том бы и закончилась, и сегодня Пулат не мучился бы, принимая на душу еще один грех, если б через три дня Кондратов не рассказал о неожиданном ночном разговоре Сталине. Никаких целей он не преследовал, просто занесло, как обычно, не туда, случалось с ним такое, хотя он взял со Сталины слово, что сказанное останется между ними. Куда там, разве можно удержать в себе тайну, да еще такую, что кто-то готов жениться на твоей лучшей подруге! Пожалуй, любая посчитала бы такой поступок преступлением и терзалась до конца своих дней. Но подобных тонкостей девичьего ума Кондратов не предполагал. Женщина может устоять перед многими самыми невероятными соблазнами, но перед предложением выйти замуж… Тут их словно подменяют — куда девается их осмотрительность, осторожность, взвешенность? И даже вскользь сделанное предложение или намек будят в них дремавшую доныне фантазию — какие они планы начинают строить, какие замки возводить, какие реки поворачивать вспять! Если бы человеку, опрометчиво сделавшему предложение, удалось как-нибудь заглянуть в прожекты, которым он невольно дал жизнь, он в ужасе бежал бы далеко и долго. И впредь вместо предложения протягивал бы брачный контракт, в котором четко и ясно излагались бы перспективы на ближайшие десять лет.

Что-то подобное произошло и с Норой, и ее сердце, до сих пор не принадлежавшее никому, без раздумий было отдано Пулату, и только ему. Не только у ее возлюбленного холодело в груди, когда она мягко, с придыханием говорила: «Пулат!..» У нее самой туманилось в голове, когда она произносила его имя, шептала в день сотни раз: «Пулат!..»

А какой она представляла их совместную жизнь! Прежде всего радовалась, что наконец-то покинет постылый Оренбург, Форштадт с его шпаной. Видела себя то в Москве, то в Ташкенте, то во Владивостоке,— Кондратов вскользь упоминал о возможных местах распределения. Но чаще представляла себя в Москве. Саня как-то обмолвился, что Пулата могут оставить на кафедре. Москва представлялась ей сплошным Домом моделей, вот уж где она,

наверное, могла развернуться со своими фантазиями, каким бы знатным дамам и известным актрисам шила! Москва была для нее не пустым звуком, не чем-то далеким и чужеродным — у них в доме иногда говорили о столице, потому что дед, занимавшийся чайным делом, имел некогда особняк на Ордынке, потерянный в революцию. Она воображала себя в театрах Москвы в вечерних платьях необычайной красоты, видела себя на залитой огнями и сияющей рекламами улице Горького, которую Пулат с Саней называли небрежно — Бродвеем. Представляла свой будущий дом, где она принимает гостей, друзей Пулата и его сослуживцев, и среди них Сталину с Саней. Что и говорить, были у подружек и такие планы. Да, это была совсем другая жизнь, иные перспективы и вершины — можно ли было об этом не мечтать?

Мысли Норы то и дело уносились к Пулату, она строила самые невероятные предположения, отчего он перестал ходить на танцы. Кондратов и тут напустил тумана — и подружки придумывали одну версию сентиментальнее другой, и во всех вариантах, очень похожих на киношные истории, хочешь не хочешь, счастью благородных влюбленных мешал злодей, косивший сено в подшефном колхозе. Ей казалось, что дружки Закира застращали Пулата насмерть, да еще тайком, даже Кондратов не ведал. А о том, что они могут запугать кого угодно, и не только студента из Москвы, Нора, живя на Форштадте, прекрасно знала. От подобной версии она переходила к фантазиям, как безумно влюбленный Пулат, страстно мечтавший, чтобы она стала его женой, не может одолеть страх перед шпаной. Однажды на работе она представила, будто он, избитый хулиганами, лежит у себя на Аренде и, конечно, в таком виде не смеет показаться ей на глаза. От этой мрачной картины она едва не расплакалась, проклиная себя, что вовремя не могла предвидеть такого исхода событий.

В тот день она ушла с работы пораньше и побежала на базар: как бы ни унижал ее визит, она решила обязательно проведать Пулата. Ведь она считала во всем виноватой себя и больше не хотела полагаться на случай, решила, что пришла пора действовать, защищать свою любовь. Дома сварила курицу, напекла с помощью бабушки беляшей, наложила в банки домашних солений и варений, даже после долгих раздумий достала из буфета бутылку вина и вечером вместо танцев отправилась на Аренду. Она настолько уверилась в своих предположениях, испытывала такое небывалое волнение, такую искреннюю и глубокую печаль, смешанную с жалостью и нежностью к своему

загнанному в угол возлюбленному, что, когда увидела Пулата живым и здоровым, невольно заплакала и долго-долго не могла успокоиться.

Пулат принялся успокаивать внезапную и желанную гостью, он гладил ее волнистые шелковые волосы, упавшие на тонкие плечи, пытался вытереть слезы. Обнимая содрогающееся от рыданий тело, пьянел от ее близости и чуть не плакал сам, растроганный ее заботой, от жалости к ней и к себе. Успокоившись, улыбаясь сквозь слезы, Нора рассказала, что пережила за сегодняшний день и каким она боялась его застать.

Пулат, не избалованный девичьим вниманием и оказавшийся в такой ситуации впервые, и сам волновался не меньше Норы. Продолжая обнимать, шептал какие-то горячие слова, давно вызревшие в его душе, наверное, это и было признанием, которое так жаждала услышать Нора.

Поздно вечером вернувшийся с танцев Кондратов застал молодых людей мирно беседующими на веранде за хозяйским самоваром и по глазам сразу понял, что между ними произошло что-то важное. Так оно и было, они успели обменяться признаниями в любви, клятвами в верности и теперь не сомневались, что в жизни их ждет только счастье. Они и о Закире не думали, по крайней мере, в тот вечер, Нора сказала, что все берет на себя.

Закир должен был объявиться в городе со дня на день, поступили к Норе свежие сведения. Расставаясь, она попросила Пулата не приходить в «Тополя», пока не уладит отношения с Закиром, ей не хотелось риска, от одних предчувствий извелась, изревелась. Нет, теперь, когда все, казалось, решено, дразнить Рваного не следовало, в гневе тот становился непредсказуем, видела она однажды, как он бушевал в парке.

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — сказано о женщине, и нет для нее преград, нет страха ни перед чем, ни перед кем, если в сердце ее зажегся огонь любви. Не могла Нора и часа ждать Закира, не хотела томить свою душу, созревшую для любви, попросила друзей его, чтобы немедленно вернулся он в город, и на другой вечер Ахметшин объявился в «Тополях». Обрадованная, кинулась она ему навстречу и тут же увела с площадки. Три часа говорили они в парке и до утра у ее дома на Форштадте. Все было: слезы, мольбы, унижения, уговоры, угрозы, шепот и крик и даже поцелуи.

«Если не судьба нам быть вместе, стань братом моим»,— просила она, упав на колени, и, как брата, обещала любить его всю жизнь. Перед таким напором, страстной мольбой, любовью, готовой

на любые жертвы, так знакомой самому Закиру, вряд ли бы кто устоял — и под утро сломленный Ахметшин поклялся девушке быть братом и, как брат, обещал беречь ее.

Через день глубокой ночью на Аренде в окно веранды, где жили практиканты, громко постучали. Поздними гостями оказались Ахметшин и Раушенбах, чувствовалось, что они уже где-то долго и основательно беседовали. По виноватому лицу Марика видно было, что пришел он сюда отнюдь не добровольно. Гости, видимо, разгорячились не только от крутого разговора, и сейчас каждый из них держал в руках по две бутылки водки.

— Пришел познакомиться с человеком, влюбленным в мою сестру,— сказал Закир, войдя, и поставил на стол бутылки.

Марик за его спиной подавал какие-то знаки, смысл жестов и ужимок означал одно — не бойтесь.

Закир, словно чувствуя, что творится у него за спиной, вдруг сказал устало:

— Да, да, не бойтесь. Любовь, оказывается, кулаками не удержишь. Давайте стаканы и поговорим о любви. Марик уверял, что вы очень образованные и интеллигентные парни…

Какая неожиданная выпала ночь, не всякому дано и за долгую жизнь пережить такое! Мятущаяся душа Закира жаждала исповеди, вроде искала место и время — и отыскала его вдруг на веранде старого купеческого дома на Аренде.

Исповедь — шла ли речь о горящем в ночи балке на Севере, или об Османе-турке, предлагавшем, чтобы его преемником на Форштадте стал Закир, или о чернобурке, что подарил таежный охотник, зная, что невесту спасителя зовут Нора, или о тесном кубрике в океане, где над головой отчаянного матроса по кличке «Скорцени» висела фотография их общей знакомой, или о гитаре, которая вызывала раздражение той же девушки,— все было гимном большой безответной любви.

Никакой не дипломат, Рваный ни разу напрямую не обратился к Пулату, но все адресовалось ему, человек отрывал от сердца самое дорогое — любимую, вынужденный из-за клятвы называть ее сестрой.

Ночь пролетела мгновением, и бутылки оказались пусты, и никого водка не брала — сила слова, сила чувства оказались сильнее вина. Только сентиментальный Марик в какие-то минуты, не таясь, вытирал повлажневшие глаза и, нервно вскакивая, поднимал стакан и провозглашал тост, многократно повторяемый в тот вечер:

— За любовь!

— …За любовь…— устало повторяет Пулат Муминович, вглядываясь в темноту сада, словно пытаясь увидеть там прошлое.

Раушенбах со стаканом в руке так ясно стоит перед глазами, словно это случилось вчера, а ведь прошло уже тридцать лет…

«Неужели генетически во мне заложено предательство?» — ужасается вдруг Махмудов, подумав об отце, ведь его расстреляли за предательство, за измену, как рассказывала Инкилоб Рахимовна.

Он перебирает в памяти все, что знает об отце, и быстро успокаивается: о генетике не может быть и речи, отца-то как раз расстреляли за веру, за убеждения, но другим идеям и идеалам, новой власти он не присягал на верность, чтобы считать свой поступок предательством, а Саиду Алимхану наверняка давал клятву на Коране.

Нет, конечно, Пулат не мог так легко найти оправдание своим поступкам, тем более сегодня.

«Предатель…— повторяет он горестно второй раз за вечер.— Живешь себе спокойно, спишь, вершишь судьбами людей, точнее, масс, потому что, выходит, людей и не видел… не видел…»

И вдруг откуда-то выплывает в сознании редко встречающееся ныне в обиходе слово — благородство, словно выдернул лист из Красной книги на букву «Б». Утекло, словно вода в решете, ушло в песок благородство из нашей жизни, и не спешат его отыскать, восстановить в правах, так удобнее всем, и гонимым, и гонителям, ибо, имея благородство в душе, нельзя быть ни тем, ни другим.

Не случайно, наверное, утерянное слово сверлит его мозг, иные слова обладают магией обретать зримые очертания, проявляться как на фотографии, воплощаться в конкретный образ. Всю свою сознательную жизнь Пулат Муминович, кажется, провел среди достойных и уважаемых людей, при званиях, должностях и орденах, но сегодня ко многим их титулам и наградам он вряд ли бы добавил редко употребляемый эпитет — благородный, язык не поворачивался и душа смущалась. Если бы ему выпало право отметить кого-то высоким званием истинного благородства, то ими, без сомнения, оказались бы Инкилоб Рахимовна и ее товарищи в специнтернате, даже по-своему Закир-рваный, парень, выросший на ложной блатной романтике Форштадта. Для них понятия «клятва», «долг», «честь», «слово», «достоинство» означали только то, что означают, они принимали их без скидок и оговорок.

— Бла-го-род-ный,— произнес по слогам Пулат и отметил, что даже на слух слово звучит красиво, гордо — благородный! Это значит — благой род. И вдруг понял, что, предложи сегодня кто-нибудь обменять все его звания и награды на эту приставку к своему имени, не дающую ни льгот, ни особых прав и положения, он не стал бы раздумывать.

«Ну, положим, обменял бы звания, должность не пожалел, стал бы я от этого благороднее?» — возник новый вопрос, и рассуждать дальше не было смысла, вспомнилось ему библейское — единожды солгавший…

О каком благородстве может идти речь, если он предал свою первую любовь, Нору,— от этого не уйти, не отмахнуться… А какие письма писал ей из Москвы!

А как назвать его поступок по отношению к Закиру, ведь, если честно, он сломал и ему жизнь и, пусть косвенно, повинен в его гибели.

Да и за судьбу Норы он в ответе, если уж по-благородному.

Он уже работал инструктором в райкоме, еще не был женат,— Зухра оканчивала в Москве институт,— когда неожиданно получил приглашение на свадьбу Кондратова. Женился его лучший друг, с которым они прожили рядом восемь лет, делили пополам и радости и горести; Кондратов сыграл в его судьбе немалую роль, благодаря ему он стал инженером. Саня женился на Сталине,— шутя начатый роман перерос в серьезный брак.

Пулат, конечно, сразу догадался, что встретит на свадьбе и Нору,— старый друг, казалось, давал ему еще один шанс поступить благородно, хотя Саня знал Зухру…

Нет, не воспользовался последним шансом и на свадьбу не поехал, отделался телеграммой, ссылаясь на занятость, нездоровье,— а попросту смалодушничал, струсил. По высоким требованиям суда совести выходит — предал и друга молодости. Да, именно так, потому что два года спустя он получил еще одну весточку от Кондратова, последнюю.

Впрочем, письмо адресовалось самому Сане, и написала его Сталина из Оренбурга, где она зимовала с маленьким сынишкой, а Кондратов строил на Ангаре свой третий мост, сделавший его знаменитым.

Хотя Пулат в письме не упоминался, больше всего оно касалось его.

Рассказывала Сталина своему мужу, что Осман-турок на свободе принялся за старое, вновь сколотил на Форштадте банду из молодых ребят и старых дружков. Однажды Осман разработал план ограбления банка в районе, и ему понадобилась машина. Лучше всего для операции подходило такси, и он обратился к Закиру. Ахметшин отказался, тогда Турок с дружками предложил, мол, давай свяжем тебя, а машину отберем, а после налета бросим в городе; и новый вариант Закир отверг, хотя пообещали ему за это десять тысяч.

Налет отложить не могли, наводчик из района дал знать, что деньги в банк поступили, и банда спешила, не хотела упускать куш. Не сговорившись с Закиром, Осман, уходя, зло бросил, что придется добывать машину силой.

Закиру и без пояснения было ясно, что они обязательно совершат угон такси и, возможно, кто-то из его товарищей поплатится жизнью. Догнав Османа, Закир сказал:

— Если сегодня ночью погибнет таксист, считай, что и ты не жилец на этом свете…

— Успокойся, Рваный, зачем нам мокрое дело? — ответил нервно Турок.— Иди, работай да ментам не настучи, слишком уж праведно жить хочешь… благородно…

— Живу как могу, а что сказал — попомни, я тоже слова на ветер не бросаю,— и, повернувшись, пошел к машине.

Не успел он сделать и двух шагов, как Осман по-кошачьи мягко прыгнул вслед и ударил ножом в спину, под лопатку, в самое сердце.

Через час случайно на Форштадте машина Закира с бандитами попалась на глаза Норе, возвращавшейся из кино, и она, почуяв неладное, побежала к участковому. По тревоге подняли всю милицию в области, знали, что может натворить Осман-турок, и на рассвете на въезде в город взяли их с добычей.

Хоронил Закира весь Оренбург, оба городских таксопарка в полном составе с начищенными, надраенными машинами и включенными сиренами вышли проводить в последний путь своего товарища.

Сталина писала, как убивалась Нора на могиле Закира, у них уже налаживались отношения, и, похоже, дело шло к свадьбе.

Тяжелое, грустное письмо, но в конце ждало его еще одно тягостное сообщение.

Писала Сталина, что после смерти Закира Нора не находила себе покоя, говорила, что этот проклятый город украл у нее двух любимых и вряд ли она когда-нибудь теперь будет счастливой… К сороковинам,

с разрешения матери Закира, Нора заказала гранитную плиту на могилу с надписью: «Прости, любимый… Нора». И в сороковинах принимала участие словно жена, а на другой день… пропала, не оставила ни письма, ни записки, и вот уже который месяц ее ищут…

Письмо Сталины Кондратов никак не комментировал, не было в нем ни «здравствуй», ни «прощай», послание само говорило за себя.

«От предательства всю жизнь идут круги…» — Пулат сегодня мог засвидетельствовать этот факт. Наверное, отправляя ему письмо своей жены, Кондратов ставил крест на их дружбе, хоронил ее. Больше они никогда не виделись и в переписке не состояли, хотя Пулат мог легко отыскать в Москве своего армейского и студенческого друга,— Кондратов был знаменит, имя его встречалось в прессе. Но что бы он сказал другу — что жизнь его сплошная цепь маленьких предательств?

«Нет, как ни исхитряйся, благородство — это не про нас»,— горько признается себе Махмудов, и от этого признания становится зябко на душе.

Женившись на Зухре, он пошел на душевный компромисс, уверяя себя и окружающих, что любит ее. Кого обманывал — ведь в сердце жила Нора, к ней шли полные нежности письма. А разве любовь ставят на весы, и важно ли, с высшим образованием любимая или просто талантливая модистка? А если быть еще откровеннее, не образование склонило чашу весов в пользу Зухры, в конце концов, Норе не было и двадцати — выучилась бы, если только это стало препятствием для любви… Перетянуло другое — тяжелая волосатая рука отца Зухры, крупного партийного работника. О нем, о его щедротах постоянно говорило землячество, к которому Пулат тянулся в Москве.

Зухра, зная о его привязанности в Оренбурге, пускала грозное оружие в ход тонко и осторожно, боялась перегнуть палку, тогда еще откровенно не покупали женихов,— и в конце концов добилась своего.

Отец Зухры и поспособствовал тому, чтобы жениха дочери взяли в райком — и вакансии в промышленном отделе дожидаться не стал, знал, пока он жив и в кресле, должен сделать зятя секретарем райкома. И своего добился, да к тому же зять оказался человеком толковым, грамотным и выгодно выделялся молодостью.

— Теперь ты человек номенклатуры, сидишь в обойме на всю жизнь,— поучал высокопоставленный тесть молодого инструктора

райкома.— А вся твоя блажь с мостами, строительством — ерунда! Ну, станешь управляющим трестом, это высшее, чего может достичь практикующий строитель, а не функционер от строительства, и что? Вызовет тебя такой же мальчишка, как ты сегодня, инструктор райкома, и, даже не предложив сесть, хотя ты вдвое старше его, всыплет по первое число, а всыпать всегда найдется за что. Карабкайся вверх по партийной линии, вот у кого власть была, есть и будет. Инженер, хозяйственник, ученый, писатель, артист — все это шатко, зыбко, без надежды — ценны только кадры номенклатуры.

Тесть умер рано, как и Зухра, от рака, видимо, у них в роду это наследственное. А за конформизм отца в будущем расплатятся его сыновья. Если бы власть имущий отец Зухры не ушел из жизни скоропостижно, Пулат наверняка уже занимал бы кресло в столице республики и присутствовал на том самом открытии музея, чем, вероятно, еще больше огорчил бы старую большевичку. Ведь не стал бы он избегать встречи со своей учительницей истории Данияровой…

Мысли скачут от одного события к другому, от лица к лицу, смешалось время, пространство, люди: Москва, Кунцево, институт, солдатские казармы, Красная площадь, Мавзолей, похороны Сталина, Закир-рваный за рулем черного ЗИМа, краснокирпичный двухэтажный дом бывшего чаеторговца на Форштадте, джаз в «Тополях», денди Раушенбах, веранда особняка на Аренде, Оренбург, где он проходил преддипломную практику, Нора, меломан Саня Кондратов и Сталина, землячество в Москве в конце пятидесятых, годы в Кокандском детдоме, Инкилоб Рахимовна и ее антипод Ахрор Иноятович Иноятов — отец Зухры, неожиданно вторгшийся в его судьбу, мост через Карасу, почему-то постоянно обрушивающийся во сне, гориллоподобный сосед — начальник милиции Халтаев, пытающийся контролировать даже ход его мыслей,— он и сегодня, среди ночи, время от времени ощущает его присутствие рядом; открытие филиала музея Ленина в Ташкенте, где печальный взгляд Данияровой по-иному высветил жизнь самого Пулата Муминовича; жемчужное ожерелье из Константинополя, секретарь обкома Тилляходжаев, невзлюбивший Миассар; видит он и Раимбаева, расстающегося с тайно нажитым миллионом, и почему-то в свите с фальшивым полковником — Халтаев в лейтенантских погонах; и в тесном бостоновом костюме Осман-турок, которого давно нет в живых,— все сплелось, скрутилось в разношерстный тугой клубок, и этот пестрый клубок — его жизнь…

ЧАСТЬ II

Хлопковый Наполеон. Ахалтекинец для аксайского хана.
Золото эмира бухарского. Докторская ко дню рождения.
Молитва начальника ОБХСС. Партбилет с доставкой на дом.
Человек, похожий на дуче.

Мысли от давнего торжества в Ташкенте неожиданно, как и все в этот вечер, перескакивают на другое мероприятие, тоже проведенное с размахом, ну, конечно, не столичным, но на уровне района, не менее богатое и крикливое, чем в иных местах. Тогда дух соревнования просто захлестнул страну — кто роскошнее да громче что-нибудь отметит — девятибалльной волной катилась по державе эстафета празднеств и юбилеев: мол, «знай наших» или «и мы не лыком шиты», если не делом, так юбилеем прогремим.

Вспоминает Махмудов собственное пятидесятилетие,— это его юбилей так шумно отмечали в районе. Нет, он лично вроде ни к чему рук не прикладывал, не организовывал, но аппарат расстарался, даже переусердствовал, хотел угодить,— опять же, как и повсюду: какие стандарты на вершине, такие и у подножия. Юбилейной комиссией, конечно же, командовал Халтаев. В областной газете вышла огромная статья с большой, хорошо отретушированной фотографией, а уж районная вся — от передовицы до последнего абзаца — посвящалась ему, и красавец мост через Карасу занимал полстраницы. Неловко было читать о своих добродетельствах.

— Сахару многовато,— сказал он редактору по телефону, когда тот прорвался через секретаршу поприветствовать лично.

Но старый газетный волк, знавший, что почем, не растерялся:

— Зря обижаете, несправедливо,— не каждого в день пятидесятилетия орденом Ленина награждают.

«А ведь и впрямь, не всякому такая высокая награда выпадает»,— подумал Махмудов после разговора, и мысль о том, что статьи сильно подкрашены в розовый цвет, улетучилась сама собой.

Вспоминается ему и пиршество после официальной части в Доме культуры — гости перекочевали сюда, во двор. Пришлось разобрать айван, на котором он сейчас сидит, и даже спилить два дерева, чему очень противилась жена, да разве удержишь Халтаева, он хозяйничал как в своем саду.

Миассар, не скрывая неприязни, сказала мужу в тот день:

— А кому ж и быть главным организатором, как не Халтаеву? У него чуть ли не каждый месяц подобное мероприятие. Кажется, он только день рождения своей последней «Волги» не справлял. Хочет прослыть добрым и хлебосольным хозяином. Да ведь люди не глупее его, знают, для чего он организует у себя эти пиры,— чтобы легально, не таясь, ссылаясь на народные обычаи, собирать подарки, по существу, взятки и дань. Чего только не несут и не везут! И он сам, лично, встречает гостей у ворот, чтобы знать, кто что принес.

Пулат тогда понял: Миассар опасается, чтобы народ не подумал так и о ее муже, и категорически наказал Халтаеву, чтоб ничего не несли. Халтаев, конечно, пустил слух, что нужно прийти с пустыми руками, но с открытым сердцем; однако же, зная привычки начальника милиции, многие расценили это как команду удвоить, утроить ценность подарка. Халтаев, не желая огорчать щепетильного хозяина, но ведая о нравах края, которые сам и насаждал, придумал хитроумный ход. Гости проходили к юбиляру через соседский двор, освободившись там от щекотливого бремени подарка, такой порядок вещей всем казался логичным,— зачем хозяину лишние хлопоты?

Нет, вспоминается ему юбилей, наверное, все-таки не из-за грандиозного пиршества, где жарились целыми тушами бараны, подавали плов из перепелок, шашлык из сомятины, дичь, отстрелянную в горах, форель, доставленную из соседнего прудового хозяйства… И не потому, что в домашнем концерте на все лады славили юбиляра популярные певцы и музыканты и даже две известные танцовщицы из Ташкента, как бы случайно оказавшиеся в районе… И не из-за того, что восхваляли в стихах и прозе, а скульптор из Заркента, специализирующийся исключительно на образах выдающихся людей области, торжественно преподнес ему гипсовый бюст под номером 137 и объявил во всеуслышание: данное произведение со следующего месяца будет представлено на художественной выставке в столице республики для всенародного

обозрения. Смущенно запнувшись — или умело выдержав паузу,— ваятель добавил, что вернисаж посещают и зарубежные гости. Последнее сообщение почему-то встретили громом аплодисментов. Непонятно, что имел в виду автор бюста в натуральную величину и что подумали обрадованные гости, может, решили, что, имея в районе подобную орденоносную натуру, можно удивить весь свет?

Нет, вспоминал Махмудов сегодня юбилей по иному случаю…

Утром в воскресенье, когда он пребывал в своем домашнем кабинете — разглядывал лежащий на ладони орден Ленина, сравнивая его с тем, что уже красовался на бюсте, но почему-то превышал в размерах подлинную награду раза в три и оттого казался фальшивым,— раздался робкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, на пороге появился садовник Хамракул-ака и, не проронив ни слова, упал на колени перед сидящим в кресле орденоносцем. Ошеломленный этой сценой хозяин дома вскочил, машинально отодвигая кресло и пытаясь выйти на свободное пространство комнаты,— старик как бы запер его в углу. Живописная, видно, была картина: сановитый, вальяжный Махмудов в новой шелковой пижамной паре с орденом Ленина в руке, прямо над ним, на книжном шкафу, его бюст в натуральную величину и рядом — коленопреклоненный старец в живописном тюрбане.

«Утро хана»,— так, наверное, назвал бы композицию скульптор из Заркента, если бы обладал достаточной фантазией.

Хозяин все-таки вырвался из заточения, хотя старик хватал его за ноги. Освободившись, Пулат Муминович попытался поднять садовника с ковра, но это оказалось делом не простым.

— Умоляю выслушать…— просил Хамракул-ака, чувствуя, что юбиляр собирается выскочить за дверь или позвать кого-нибудь на помощь,— Халтаев как раз руководил в саду разборкой вчерашних праздничных сооружений.

— Только если встанете и займете кресло,— сказал твердо Хозяин, оправившись от неожиданности.

Старик проворно поднялся с ковра и, боясь, что юбиляра могут вдруг отвлечь находящиеся во дворе люди или телефон, торопливо заговорил:

— Прошу… Спасите во имя Аллаха моего сына! Он на базе райпотребсоюза кладовщиком работает… Рахматулла зовут… Вы его видели, у него как раз самый большой склад, где начальство дефицитом отоваривается. Недостача крупная, но мы погасим долг, только бы закрыли дело…

— Это компетенция суда, прокуратуры, ОБХСС, милиции, я не могу вмешиваться в их дела. Разве вы слышали, Хамракул-ака, чтобы я когда-нибудь выгораживал растратчиков и преступников? — жестко ответил Хозяин и хотел пройти к двери, считая, что разговор окончен; но старик неожиданно ловко опередил его, загородив дорогу.

— Вы достойный человек, из благородного рода. Вы хозяин всего в округе, словно эмир,— как вы скажете, так и будет. Я ведь прожил большую жизнь, знаю: ваше слово — выше закона! А вот и от нашей семьи подарок по случаю праздника в вашем доме, возьмите, это от души, если не вам, вашим детям сгодится…— И садовник достал неведомо откуда, протянул небольшой кожаный мешочек, стараясь вложить его в руку Хозяина.

Пулат Муминович резко отдернул руку, мешочек выпал из дрожащих пальцев старика, и на ковер высыпались царские золотые монеты.

— Откуда у вас это? — спросил побледневший секретарь райкома.

Хамракул-ака, ползая по ковру, торопливо собирал блестящие червонцы… Молчание затягивалось, и Махмудов уже хотел позвать Халтаева, посчитав происходящее провокацией, но садовник наконец глухо произнес:

— Это часть из того, что Саид Алимхан велел сохранить вашему отцу и мне до лучших времен, мы с ним служили одному делу. Ваш отец не Мумин, а Акбар-ходжа, благородный был человек, под страхом смерти не выдал меня. Я думал найти у его сына покровительство и защиту…

— Почему вы решили, что я сын Акбара-ходжи? — У Махмудова непроизвольно ёкнуло в груди.

— Вы — вылитый отец, как две капли воды похожи, и даже справа на щеке у вас такая же родинка, и голос, и походка отца. Потом я ведь узнал, где вы росли, учились,— все сошлось, и я не ошибаюсь. Если хотите, я подарю вам фотографию, где мы вместе с вашим отцом в летнем дворце Саида Алимхана, при дворе эмира был отличный фотограф, и жалованье он получал из моих рук…

Махмудов ничего не ответил, но отошел от двери и устало опустился на диван у окна. Перед диваном стоял низкий журнальный столик, и садовник осторожно положил на него кожаный мешочек с золотыми монетами.

— Уберите, вы столько лет в моем доме и должны знать, взяток я не беру.

Старик сгреб мешочек с полированной столешницы и торопливо спрятал за пазуху. Пулат Муминович еще долго сидел молча, но старик не спешил уходить:

— Видит Аллах, я не хотел бередить вашу душу, простите, но вы сами вынудили… Брали бы, как все,— я бы смолчал. Отступать мне некуда… Сын — самый старший, у него пятеро детей…

Старик говорит без нажима, жалостливо и слезливо, но Махмудову чудится за этим шантаж. Кто за всем этим стоит? Орден Ленина, который он по-прежнему сжимает в руке, словно жжет ему ладонь, мешает сосредоточиться. Мелькает тревожная мысль, что и дня не успел поносить награды. Но не зря он больше двадцати лет у власти, первый человек в районе,— надо взять себя в руки, негоже расслабляться перед человеком, у которого в руках твоя тайна, так некстати выплывшая именно сейчас.

— Я помогу вам не оттого, что вы якобы знали моего отца, а потому, что вы много лет проработали в нашем доме,— устало говорит он, не глядя на садовника, который снова — само смирение.— В память о Зухре помогу, она вас очень любила, но… при одном условии…

Хамракул-ака от волнения нетерпеливо выпалил:

— Согласен на любые условия…

Но хозяин кабинета уже обрел властность.

— Условия такие. Сын должен погасить долг, в течение месяца покинуть район, переехать в другую область… Документы о хищении будут у меня в сейфе, чтобы впредь он жил достойно и не запускал руку в государственный карман. Второй раз я спасать его не буду, даже если вы будете уверять, что вы мой родной дядя.

Старик, пятясь спиной к двери, как некогда было принято при дворе эмира, рассыпаясь в благодарностях, наконец покидает кабинет.

Пулат Муминович на секунду подумал о превратностях жизни — радость и горе могут приходить в один час. Надо же именно сегодня испортить ему праздник! Он уже давно забыл о своих документах, где действительно вместо «Муминович» должно быть «Акбарович»: не врал старик, так ему и объяснила Инкилоб Рахимовна, чтобы он знал имя отца; правда, новостью оказалось то, что отец был ходжа — особо уважаемый мусульманами человек, совершивший хадж — паломничество в Мекку.

Последний раз об этом он рассказывал Кондратову еще в институте, когда собирался в деканат, чтобы внести ясность в анкету, а тот благоразумно отговорил дружка. Нет, в последний раз он все-таки говорил не Сане, а будущему тестю, Ахрору Иноятовичу. Спросил прямо, не повредит ли его высокому положению такой факт биографии зятя? На что отец Зухры только рассмеялся и объявил: он рад, что жених дочери сын достойных родителей, а на предложение обнародовать все-таки сей факт сказал, зачем, мол, ворошить старое — сын за отца давно не ответчик.

И вот теперь, когда он достиг высот, забыл старую детдомовскую историю и Инкилоб Рахимовну, сжился со своим новым отчеством, объявился свидетель, знавший отца и его деяния. Неожиданный факт биографии секретаря райкома, скрытый при приеме в партию, могли истолковать по-разному, конечно, есть у него враги и рядом, и в области, многие зарятся на район с отлаженным хозяйством, на готовенькое всегда желающих хватает.

Но в чем он, по сути, виноват? Он же чистосердечно рассказал отцу Зухры о своей биографии, ничего не утаил, и про Инкилоб Рахимовну поведал, а Ахрор Иноятович ведь не просто коммунист, а коммунист над всеми коммунистами области, секретарь обкома, участник нескольких съездов партии, депутат. Но только кто теперь поймет его, ведь давно нет в живых всесильного Иноятова. Еще скажут, что имел Ахрор Иноятович корыстную цель, скрывая факт биографии Махмудова, потому что выдавал невзрачную дочь за перспективного молодого специалиста, получившего образование в Москве. Сегодня он понимает, что нельзя партию отождествлять с тестем, но тогда казалось: признаться Иноятову — значит, признаться партии, думалось, тот вечен, незыблем. Конечно, садовник прекрасно знал, чей он зять, и оттого много лет молчал… Кто бы посмел бросить тень на мужа любимой дочери секретаря обкома?

Пулат Муминович не на шутку испугался, казалось, шла под откос вся жизнь, которую все-таки сделал сам, без Иноятова, и орден Ленина он считал заслуженным, честно заработанным. Последние двадцать лет каракуль из его района на пушных аукционах Европы шел нарасхват, особенно цвета «сур» и «антик», а ведь это его заслуга,— он поддержал самоучку-селекционера Эгамбердыева и взял каракулеводство под контроль и опеку, когда кругом только о хлопке пеклись. За валюту, за каракуль, за элитных каракулевых овцематок, что давало стране созданное им племенное хозяйство, считал, и представили его к высокой награде.

А теперь все оказалось под угрозой. Пойти в обком и задним числом попытаться внести ясность в свою биографию? Вроде логичный ход, но он знает, что это не совсем так: изменилось что-то в кадровой политике с приходом нового секретаря обкома в Заркенте. Направо и налево, словно в своем ханстве, раздает он посты и должности верным людям. Чувствуется, что присматривается к крепкому району Махмудова и не прочь при случае спихнуть его, да повода вроде нет, и авторитетом он пользуется у людей, донесли, что народ Купыр-Пулатом называет его. Нет, идти самому к Тилляходжаеву и объяснять давнюю историю ни в коем случае нельзя, можно и в тюрьму угодить,— столько лет держал садовником бывшего сослуживца отца, расстрелянного как враг народа… Да еще про золото придется рассказать… Пойди докажи, что не брал из тайника Хамракула-ака ни одной монеты. А думает он так потому, что есть примеры, когда оговаривали ни в чем не повинных людей, не угодивших новому секретарю обкома.

С этого дня, радостного и сумрачного одновременно, в душе Махмудова поселился страх, пришла неуверенность, он словно ощущал за собой постоянный догляд.

Кладовщик Рахматулла из райпотребсоюза, тихо погасив крупную растрату, продал дом и переехал с семьей в Наманган, а Хамракул-ака, живший по традиции с младшим сыном, по-прежнему работал у него в саду, но на глаза старался не попадаться, впрочем, это удавалось без особого труда, хозяин уходил рано, приходил затемно, но работу садовника ощущал.

Прошло полгода, история с Хамракулом-ака начала забываться, Махмудов стал носить орден и даже привык к нему, хотя смутное предчувствие беды не покидало его. Нервное состояние не могло не отразиться на поведении — он стал раздражителен, появилась мнительность к словам и поступкам окружающих, повсюду чудился подвох. Первой перемену в настроении мужа заметила Миассар, но ей он объяснил причину переутомлением — и, правда, который год без отпуска. Наверное, протянись история еще месяца два, он не выдержал бы, пошел если не в обком, то в ЦК и объяснился,— считая себя человеком честным, он мучился от сложившейся ситуации. Понимал свое двойственное положение как руководителя и просто как человека. Наверное, следовало уехать из этих мест или вообще отказаться от партийной работы по моральным причинам. Но что-то постоянно удерживало его от решительного поступка, парализовывало

волю. Мучила и неопределенность судьбы садовника, если он пойдет в обком или ЦК,— ведь старик не только поведал его тайну, но и открылся сам, и следовало отдать набожного старика в руки правосудия за сокрытое золото. Но от одной мысли, что Хамракул-ака попадет в руки соседа Халтаева, Пулат Муминович приходил в ужас. Старик садовник назвал бы его предателем и проклял,— ведь не выдал его сорок лет назад Акбар-ходжа, а сын…

Настолько крепко сплелось тут личное и государственное, долг и милосердие, что он, откровенно говоря, растерялся. Но ситуация разрешилась неожиданным образом.

Осенью, накануне массовой уборки хлопка, Махмудова вызвали в область на пленум. Дело обычное, ежегодное, и Пулат Муминович никак не думал, что после этой поездки в Заркент у него начнется иной отсчет жизни. После заседания его разыскал помощник первого секретаря обкома и попросил не уезжать, а утром явиться на прием; о чем предстоит разговор, какие цифры следует подготовить, как обычно бывало в таких случаях, тот не сказал, неопределенно пожал плечами и удалился. Но и тут он не подумал, что разговор будет касаться его лично,— со дня на день он ждал торговую делегацию из Турции, собиравшуюся закупить крупную партию каракулевых овцематок. Вызов он связывал с купцами из Стамбула, знал слабость Первого,— любил тот приезды иностранных гостей, не избегал возможности пообщаться с прибывшими в Заркент в качестве туристов знаменитостями. А уж если встречать официально, как хозяин, бизнесменов из-за рубежа, когда фотография, где он на переднем плане показывал какое-нибудь передовое хозяйство, попадала в большую прессу, даже зарубежную,— тут уж тщеславный коротышка Тилляходжаев все дела области отодвигал в сторону.

Пулат Муминович даже обрадовался персональному вызову. Уже с год в сельхозотделе обкома лежала его подробная докладная, с выкладками, цифрами, расчетами, вырезками из газет, журналов, снимками: он намеревался вместо нерентабельного хлопкового хозяйства создать племенной конезавод, чтобы, как и с высокоэлитными каракулевыми овцами, выйти с чистокровными скакунами на мировой рынок. Однажды в Москве Махмудов случайно попал на аукцион и удивился, как охотно покупали элитных коней и какие астрономические суммы за них платили. Рассчитывал он на «добро» в обкоме, потому что ни копейки не просил у государства, деньги в районе имелись, нашел он и специалистов, знающих толк в коневодстве, и на свой

страх и риск уже завел небольшую конеферму с сотней лошадей, среди которых выделялся ахалтекинский скакун, жеребец Абрек, и арабских кровей, тонконогая, дымчатая в яблоках кобыла Цыганка. Начинать пришлось бы не на пустом месте.

Не сбрасывал он со счетов и тщеславия Первого — указал среди прочего, в каких странах и городах ежегодно проходят аукционы; красавец конь — не овца, с ним не грех попасть на обложку популярного журнала, сопровождая своих лошадей на торги.

Весь вечер секретарь райкома проверял домашние выкладки, доводы, расчеты, готовился к разговору о конезаводе, даже разузнал, что друг Тилляходжаева, директор известного на всю страну агрообъединения, дважды Герой Социалистического Труда Акмаль Арипов — большой любитель чистокровных скакунов и что у него в головном хозяйстве в Аксае в личной конюшне содержатся редкой красоты лошади, чьи родословные известны специалистам и лошадникам всего света.

В назначенное время Махмудов явился в обком, и помощник тотчас доложил о нем, но в кабинет он попал не скоро. О такой привычке первого секретаря Махмудов уже знал — слышал, что иных просителей держал у себя в предбаннике и по пять часов. Давал понять, что не жалует приглашенного, хотя, помариновав в приемной, принимал любезно — вроде и знать не знал об утомительных часах ожидания назначенной самим же аудиенции. Видимо, в каком-нибудь историческом романе начитался о ханских церемониях,— те любили покуражиться над просителями и подчиненными.

Принял он Пулата Муминовича перед самым обедом. Встретил холодно, руки не подал и даже традиционного восточного расспроса о здоровье, житье-бытье, детях не последовало, хотя виделись они давно. Усадил Махмудова в отдалении — за стол штрафников, как называли между собой секретари сельских районов это место, но Пулат Муминович успел заметить папку со своим личным делом на столе,— скорее всего хозяин роскошного кабинета специально положил ее на виду. И Махмудов понял, что разговор пойдет не о турецкой делегации и не о конезаводе.

Мелькнула нехорошая мысль — вот он, час расплаты за нерешительность и беспринципность…

Он, конечно, знал о странностях и причудах Первого — такое быстро становится достоянием подчиненных. Знал он и о гигантомании Тилляходжаева: все его проекты, предложения поражали размахом,

широтой, щедростью капиталовложений,— вроде и неплохо, если б они не отрывались от реальности, от нужд людей и могли когда-нибудь претвориться в жизнь.

Кто-то из молодых инструкторов обкома однажды сказал о своем новом партийном руководителе:

— Манилов, строящий прожекты на диване и опирающийся все-таки на свои личные средства,— наивное и безобидное дитя, но Маниловы, получившие безраздельную власть и вовлекающие в свои бесплодные фантазии миллионы людей и государственные финансы,— монстры, новые чудовища парадоксального времени.

Убийственная характеристика дошла до ушей Первого,— братья по партии постарались,— и через полгода, в одной из служебных командировок, неосмотрительного человека арестовали — подложили взятку в номер, нашелся и лжесвидетель.

Предчувствие не обмануло молодого партийца, но он, наверное, все-таки имел в виду не свою собственную судьбу.

В кабинете прежнего секретаря обкома Махмудов бывал часто, многим своим начинаниям получил здесь «добро» и поддержку, но сейчас он не узнавал помещения.

Размах отразился и тут: апартаменты увеличили за счет двух соседних комнат, но все равно, наверное, не получилось, как хотел хозяин,— чтобы шли к нему по красной ковровой дорожке долго-долго, чувствуя дистанцию.

Поражал размерами и стол; к тому же он оказался невероятно низким: персональный дизайнер с мебельной фабрики учел наполеоновский рост Коротышки и его маршальские замашки. Не зря его называли Коротышка, хлопковый Наполеон и просто Наполеон. Оттого и примыкавший в форме буквы «Т» длинный стол для совещаний тоже выглядел карликовым. Кабинет отремонтировали недавно, и Махмудов представил, каково будет просиживать за таким столом на уродливо низких стульях на долгих совещаниях-разносах, что любил устраивать Первый.

Говорили, что он патологически не выносил рослых людей (впрочем, это не относилось к прекрасному полу), и потому при нем круто пошли в гору малорослые руководители. Впрочем, мудрость Первого, наверное, как раз и заключалась в том, что он не сомневался: со временем за специально заказанными столами будут восседать только подобные ему люди.

Не оттого ли он усадил Купыр-Пулата в отдалении, чтобы не чувствовать его явного физического превосходства? Махмудов

как-то читал книгу о делопроизводстве на Западе, как там комплектуются руководящие кадры в отраслях, и обратил внимание, что претенденту с явно выраженными физическими недостатками вряд ли доверят высокий пост, судьбу людей, коллектива, потому что собственный комплекс ущербности в какой-то момент может отразиться на отношениях с подчиненными, а значит, и на деле. Сейчас он видел классический пример, подтверждающий эту авторскую концепцию.

Странный у них вышел разговор, если длинный, путаный монолог Тилляходжаева можно было так назвать,— он даже рта не дал раскрыть приглашенному на ковер. Слушая человека, от которого зависела его судьба, Махмудов вдруг невольно вспомнил Муссолини,— видел в Москве студентом трофейный документальный фильм. Казалось, что могло быть общего между дуче и этим маленьким круглым человеком с пухлыми руками, сидевшим за полированным столом-аэродромом? И тут Махмудов понял: слушатели — будь то толпа или, как в данном случае, он сам, одиночка,— моментально подпадали под гипноз власти, силы, и эти гнетущие чары ничего, кроме страха и послушания, не внушали, а флюиды страха, излучаемые из тысяч душ, глаз, сердец, поразительным образом питали, множили силу «избранника народа».

Может, сравнение с дуче возникло у Махмудова оттого, что Первый сегодня был с тщательно выбритой головой. В хлопковую страду, по жаре, он мотался по глубинкам области, и эта чисто мусульманская манера не могла не броситься в глаза людям; о том, что внешняя атрибутика играет огромную роль, действует на массы, он, конечно, прекрасно знал. Говорили, что в сельских районах на вечерние застолья с окрестными председателями он любил приглашать аксакалов, и, когда ужин заканчивался, первым, как бы по привычке, по внутреннему убеждению, совершал религиозный мусульманский жест «оминь», что невероятно подкупало, трогало до слез белобородых стариков, и росли, множились легенды о верности мусульманским традициям Первого, его набожности.

Хотя Пулат точно знал от близких людей, что религия чужда Первому, не имел он веры в душе. И вот теперь бритая голова перед очередной поездкой в глубинку вместе с «оминь» — это наверняка произведет впечатление на народ.

Испытывал ли Махмудов страх? Пожалуй, хотя внешне это вряд ли проявилось, он владел собой. То, что он ощущал, не имело четко определенного названия, но все-таки очень походило на страх,

даже если он и не хотел признаться себе в этом. Многие ныне испытывали панический страх при персональном вызове в обком. Конечно, он не думал, что при его тесте Иноятове в этих стенах царили партийная демократия, единодушие, согласие и любовь и не случалось самоуправства, но тогда было ясно, что именно поощрялось, что порицалось,— и меньше было двусмысленности. И позже, при преемнике Иноятова, они ходили сюда с волнением на разносы, но без животного страха за жизнь; страх пришел с этим маленьким, ловким и проворным человечком,— вот его действия, поступки, мысли всегда оказывались непредсказуемы и для многих кончались крахом, крушением судьбы. С его приходом все ощутили, что в области один хозяин, диктатор и что Ташкент и Москва ему не указ, и не оттого, что далеки от его вотчины, а по каким-то новым сложившимся обстоятельствам, не совсем понятным им, застрявшим на годы в глубинке.

Когда Махмудов пришел к подобной мысли, он невольно глянул на карту страны, висевшую у него в кабинете, и подумал, что такой огромной страной правят не выборные органы, не Совмин, не ЦК, не Госплан, а человек триста секретарей обкомов. Люди, имеющие реальную власть, знакомые между собой, автоматически являющиеся депутатами Верховного Совета страны, членами ЦК и в Москве, и у себя в республике, а если внимательно подсчитать их представительство, еще и в десятках всяких законодательных органов. Занимают они ключевые посты пожизненно, как его тесть Иноятов, умерший, так сказать, на боевом посту, и его преемник, тоже скончавшийся в служебном кабинете по причине преклонного возраста. Такая власть никакому влиятельному масонскому ордену и не снилась, мощи клана секретарей обкомов в мире примеров не сыскать.

Рассказывали, однажды к Коротышке на прием пришел депутат Верховного Совета с каким-то требованием и, видя, что его не очень внимательно слушают, повторил несколько раз настойчиво: я — депутат!

В конце концов хозяину кабинета надоело слушать настырного посетителя, и он на глазах депутата порвал жалобу и издевательски объявил:

— Ты избранник народа, потому что я так хотел. А теперь иди, не мешай работать и считай — мандата у тебя больше нет. В следующем созыве депутатом станет другой бригадир, раз у тебя не хватает ума воспользоваться упавшим с неба счастьем.

Так оно и произошло, и никого это не удивило.

И все-таки что-то общее между дуче и хозяином кабинета было, хотя вряд ли Первый держал за образец апеннинского диктатора, находились примеры куда ближе; но он говорил, так же низко набычив тяжелую голову, заговаривался, переходил то на шепот, то на крик, то сверлил, испепеляя, взглядом собеседника, то надолго упирал взгляд в стол, бормотал что-то отвлеченное, не имеющее вроде отношения к делу, и вдруг оборачивающееся неожиданной гранью, чтобы придать предыдущей фразе или мысли зловещее звучание.

Нет, не прост был новый секретарь обкома, не прост, и в сумбуре его речи, если быть внимательным, сосредоточенным, не потерять от испуга и волнения контроль, можно было четко уловить странную последовательность мышления, паразитирующую на страхе сидящего перед ним человека.

Пожалуй, манера внешне бессвязной речи, предполагавшей множество толкований, оттенков, легко позволяющая отступиться от сказанного прежде, развить, если надо, диаметрально противоположную идею или при случае позже вовсе отказаться от сказанного, утверждая, что его не так поняли, сближала их в глазах Махмудова — Первого и дуче.

Как бы ни был Махмудову неприятен Наполеон, он не мог не отметить зловещего таланта Первого; с каждой минутой речи пропадало ощущение его заурядности, ущербности, позерства, хотя чувствовалась и игра, и режиссура; забывался и смешной стол-аэродром, и карликовые стулья, и не бросался уже в глаза наполеоновский рост. Видимо, Первый все это знал, чувствовал, и потому всегда говорил долго, уверенный, что он своим бесовством задавит любого гиганта, в чьих глазах уловит открытую усмешку по отношению к себе.

Одним из таких «усмехающихся» Тилляходжаев считал и зятя бывшего хозяина перестроенного кабинета, руководителя самого крепкого района в области. Хотя Иноятов никогда Коротышке ничего плохого не делал, даже наоборот — когда-то рекомендовал в партию, ему очень хотелось увидеть его зятя на кроваво-красном ковре жалким и растерянным, молящим о пощаде. Многие большие люди ползали тут на коленях, и ни одного он не спешил удержать от постыдного для мужчины поступка, более того, тайно нажимал ногой под столом на кнопку, и в кабинет без предупреждения входил помощник, а уж тот знал, что жалкая сцена должна стать достоянием общественности. Холуй понимал своего хозяина без слов.

Впрочем, окончательно уничтожить, растоптать Махмудова — такой цели он не ставил, слишком большим авторитетом тот пользовался у народа, да и хозяйство у него на загляденье. Не всякому верному человеку, целившемуся на его район, удалось бы так умело вести дело, а ведь, кроме слов, прожектов, нужны были иногда результаты, товар лицом… Нет, не резон было хозяину кабинета перекрывать до конца кислород гордецу Махмудову. Хотелось лишь воспользоваться счастливо выпавшим случаем и заставить того гнуться, лебезить, просить пощады, чтобы в конце концов пристегнуть его к свите верноподданных людей… И еще — чтобы всю жизнь чувствовал себя обязанным, помнил его великодушие. Материала, которым Тилляходжаев случайно разжился на Махмудова, если им распорядиться умно, вполне достаточно, чтобы поставить на судьбе Купыр-Пулата крест.

Если бы Коротышка не посвятил свою жизнь партийной карьере, из него, наверняка, мог получиться весьма оригинально мыслящий писатель, так сказать, восточный Кафка. Почти час он говорил с Махмудовым, ходил словесными кругами (из кресла почти никогда не вставал, знал, в чем его сила), поднимая и сбавляя тональность разговора, нагнетая страх и оставляя порою заметную щель, лазейку для жертвы. Несколько раз брал в руки личное дело, даже демонстративно листал его, делая там какие-то пометки толстым синим карандашом, на сталинский манер, но ни разу не сказал конкретно, в чем обвиняется секретарь райкома. Не сказал ни слова о его отце, расстрелянном как враг народа, ни о том, что Махмудов фактически живет по чужим документам и скрыл от партии свое социальное происхождение, хотя знал, кто он на самом деле, чей сын. Ни словом не помянул о золоте, о садовнике Хамракуле-ака, о бывшем тесте Махмудова Иноятове, поддержавшем Коротышку в начале партийной карьеры.

Но трудно было эту сумбурную, эмоциональную речь назвать и бессмысленной, хотя он не ставил прямо в укор ни один поступок, ни один факт, и даже намеки, от которых холодела душа и становилось не по себе, казались абстрактными. Секретарь обкома давал понять, что держит под рентгеном всю прошлую жизнь «провинившегося», и пытался внушить мысль о своем всесилии до такой степени, что, мол, в его возможностях, например, проанализировать до мелочей каждый прожитый день Махмудова,— бесовщина какая-то, устоять перед таким напором было нелегко.

Впрочем, изнемогал, сохранял из последних сил волю не только гость,— устал крутить, набрасывать сети с разными ячейками

на собеседника и сам властолюбивый хозяин кабинета. А больше всего он устал держать ногу на звонке под столом, потому что сколько раз ему казалось, вот сейчас Махмудов должен сорваться с места и упасть на зловеще знаменитый красный ковер или хотя бы молить о пощаде.

Но всякий раз, когда Коротышка, казалось, уже праздновал победу, ибо никто прежде не выдерживал его подобных умело выстроенных психологических атак, невозмутимый Махмудов вскидывал на него взгляд, но продолжал хранить молчание.

«Крепкий орешек»,— раздраженно подумал секретарь обкома и решил на всякий случай напугать основательно. Давая понять, что аудиенция окончена, на прощание сказал:

— Надеюсь, вы поняли свою вину перед партией, и я со всей свойственной мне принципиальностью считаю, что вам в ней не место. Но такой вопрос я один не решаю, правда, уверен, бюро обкома не только поддержит мое предложение, но и пойдет дальше — возбудит против вас уголовное дело. Чтобы впредь другим было неповадно пачкать чистоту рядов партии! В ней нет места протекционизму, в ней все равны,— ни родство, ни влиятельные связи, ни старые заслуги не спасут.

Когда гость, не попрощавшись, молча уходил из кабинета, у самой двери его еще раз достал голос человека, похожего на дуче:

— И будьте добры, не покидайте Заркент в ближайшие два дня, я не собираюсь откладывать ваш вопрос в долгий ящик.

Едва за Махмудовым закрылась дверь, хозяин кабинета нервно нажал ногой кнопку звонка — на пороге тут же появился ухмыляющийся помощник.

— Чего скалишься?..— зло окрысился секретарь обкома.— Налей скорее выпить, совсем замучил, гад.

Помощник тенью скользнул за перегородку, где архитектор умело разместил комнату отдыха, там находился вместительный финский холодильник «Розенлев».

Анвар Абидович поднялся из-за стола и прошелся по просторному кабинету, обдумывая только что закончившийся «разговор».

— Словно вагон цемента разгрузил,— сказал он мрачно.

Сбросив туфли, секретарь пробежал по длинной ковровой дорожке до входной двери и обратно, потом бросился на красный ковер и долго энергично отжимался. Он гордился своей физической силой и, бывая в глубинке, охотно включался на праздниках в народную борьбу — кураш и редко проигрывал, не растерял ловкости и сноровки,

отличавшие его смолоду. Отжавшись, он так и остался сидеть на ковре, только по-восточному удобно скрестил ноги. Помощник поставил перед ним медный поднос с бокалом коньяка и тонко нарезанным лимоном, он понимал хозяина без слов. Выпив коньяк залпом, как водку, Первый жадно закусил лимоном и сказал:

— Небось, и ты издергался, все ждал: вот вбегу по звонку, а иноятовский зять на ковре ползает, слюни распустив, детей просит пожалеть…

Помощник, верным чутьем угадав желание хозяина, налил бокал еще раз до краев,— хотя, ошибись, умоешься коньяком, да еще отматерит, заорет злобно: «Спаиваешь?»

Анвар Абидович второй бокал пьет уже не торопясь, смакуя, в чем в чем, а в коньяке он понимает толк и всякую дрянь не принимает, помнит о здоровье.

Наверное, ему надоедает смотреть снизу вверх, и он жестом приглашает помощника присесть рядом, сам наливает тому немного.

«Значит, понесло шефа на философию»,— думает помощник, и в глазах его появляется тоска.

— Слез Махмудова сегодня не удалось увидеть ни тебе, ни мне. Крепкий мужик, побольше бы таких, а то уже неинтересно работать — не успеешь прикрикнуть, тут же в штаны наложат, дышать в кабинете нечем…

Осмелев после выпитого, помощник вставляет свое:

— Зачем мучились, изводили себя? Оформим дело, и концы в воду, и судья подходящий есть, и прокурор на примете, только и ждет, как бы вам угодить, а материала у меня на всех припасено, на выбор.— И, довольный, громко смеется, обнажая полный рот крупных золотых зубов.

— Если бы я жил твоим умом, Юсуф, давно бы сам в тюрьме сидел,— говорит миролюбиво хозяин кабинета и поднимается.

Помощник торопливо подает туфли, и пока ловко завязывает хозяину шнурки, Анвар Абидович терпеливо объясняет ему:

— Если всех толковых пересажаем, кто же работать будет, область в передовые двигать? С теми, за кого ты хлопочешь, дорогой мой Юсуф, коммунизма не построишь, век в развитом социализме прозябать придется…

Помощник в такт словам кивает головой, то ли соглашаясь, то ли протестуя.

Вернувшись за стол, секретарь продолжает:

— А Махмудова не в тюрьму надо упечь, как ты предлагаешь, а к рукам умно прибрать. Хотя и трудное это дело, как я понял теперь — с характером человек. Тут ведь такая хитрая штука — нужно, чтобы он верой и правдой и нам служил, и государству. С обрезанными крыльями он мне зачем сдался, потому и не резон мне отбирать у него район. Да и народ, как я думаю, за него горой стоит… Ты ведь знаешь, сам хан Акмаль не решается в открытую отнять у него какого-то жеребца, а за деньги тот не продает, подсылал уже аксайский хан подставных лиц. Большие деньги предлагал, а Махмудов ни в какую, говорит, не для утехи держу чистопородного скакуна, а для племенного конезавода, и, мол, цена ахалтекинцу — сто тысяч долларов. Акмаль уже год бесится, говорит, я ему пятьдесят тысяч наличными предлагаю, а он о ста тысячах для государства печется!

Хозяин взглядом просит налить боржоми и, выпив жадными глотками, продолжает:

— А я всякий раз подзуживаю Акмаля, говорю, а ты приди к нему со своими нукерами, как обычно поступаешь, и забери коня бесплатно. Нет, отвечает Арипов, не унести моим нукерам, да и мне самому ноги из района Махмудова. Больно народ его уважает, Купыр-Пулатом называет, пойдет за ним в огонь и в воду. А ты, Юсуф, предлагаешь посадить такого орла, говоришь, нашел продажных судью и прокурора. Нет, народ дразнить не стоит, не те нынче времена…

Видя, что помощник приуныл, Тилляходжаев говорит примирительно:

— Не расстраивайся, Юсуф, еще посмотрим, чья возьмет. Я тут кое-что придумал, не отвертится Купыр-Пулат, будет у нас ходить в пристяжных. Бумагам, что ты добыл на него, цены нет, дорогой мой.— И, заканчивая беседу, добавляет: — Давай выпьем еще по одной, и поеду-ка я после обеда отдыхать в одно место…

Приятная мысль, видимо, пришла на ум неожиданно, и он хитро улыбается. Улыбается и помощник, он понимает хозяина с полуслова.

— Умаял меня твой Купыр-Пулат,— говорит секретарь и разливает на этот раз коньяк сам, чувствуется, поднялось настроение. Выпив, возвращается к прежнему разговору.— Если выйдет по-моему, подарю я махмудовского жеребца Арипову, вот уж обрадуется аксакайский хан.

— А если не получится? — вырывается у помощника, он чувствует — сейчас самый подходящий момент для коварных вопросов.

Вопрос не ставит хозяина кабинета в тупик. Закрывая сейф, он небрежно роняет:

— Вот тогда и сгодятся твои дружки, судьи и прокуроры…

И, довольные пониманием друг друга, они долго и громко смеются.

Помощник убирает поднос с остатками «Варцихи», бокалы и собирается уйти тайным ходом. Есть вход со двора, из сада, прямо в комнату отдыха, через него проводит он к хозяину людей, связь с которыми хозяин кабинета не хотел бы афишировать, ну, и женщин, конечно. Но шеф словно читает мысли своего помощника, которого держит при себе уже лет двадцать, с тех пор, как стал в глухом районе секретарем райкома.

— Действительно Нурматов уехал в Ташкент на совещание? — спрашивает он небрежно.

— Я все проверил, угадал ваше желание,— он сейчас в прокуратуре республики на совещании по вопросу о случаях коррупции и взяточничества в органах милиции.

— Он что, делится там опытом? — И оба прыскают со смеху.

— Даже если бы Нурматов был в Заркенте, разве он вам мешал когда-нибудь? — нагловато улыбается помощник.— Стоит ли его принимать в расчет?

— Пошлый ты человек, Юсуф,— мягко журит хозяин.— Родственник он мне все-таки. И не забывай, кто я,— мораль, традиции блюсти следует.

Помощник, обходя красный ковер стороной, покидает кабинет, прикидывая, сказать ли ожидающим в приемной, что секретаря обкома после обеда не будет и лучше прийти завтра, но в последний момент передумывает и молча скрывается за тяжелой дубовой дверью с надраенной медной табличкой «Ю. С. Юнусов», апартаменты у них с шефом напротив.

Анвар Абидович поднимает трубку прямого телефона. Хоть и не положено по чину начальнику областного ОБХСС Нурматову иметь двузначный номер, а он распорядился установить,— уравнял с членами бюро, двух зайцев убил сразу. Вроде возвысил свояка, поднял его авторитет — и для себя удобство: раньше Шарофат от безделья вечно на городском висела, не дозвонишься, а этот всегда свободен, пять аппаратов, вплоть до ванной, велел поставить — не любит он ждать. С другого конца провода тотчас слышится капризный женский голос:

— Забыл свою козочку, заркентский эмир…

Анвар Абидович говорит ласковые, нежные слова, у него и голос изменился сразу, но тут же неожиданно переходит на прозу жизни, спрашивает, есть ли в доме обед, и, получив отрицательный ответ, обещает быть через час. Положив трубку, он связывается по внутреннему телефону с обкомовским поваром и заказывает обед, знает, что через полчаса все будет аккуратно погружено в машину, выездное обслуживание шефа здесь не внове.

Помощник с утра принес кипу бумаг на подпись, а он не успел утвердить и половину — и в оставшиеся полчаса, пока внизу лихорадочно пакуют в корзины обед, хочет покончить хоть с этим делом. Тилляходжаев вяло пробегает глазами одну бумагу, вторую, но сосредоточиться не удается, а цену своей подписи он знает хорошо, и потому отодвигает красную папку в сторону,— слишком утомительным, нервным оказалось и для него единоборство с гордецом Махмудовым.

Он откидывает голову на высокую спинку кресла, закрывает глаза и мягко массирует надбровные дуги, такую гимнастику лица посоветовал ему один умный человек. Нарождающаяся головная боль быстро проходит,— то ли действительно массаж подействовал, то ли оттого, что предвкушает встречу с любимой женщиной…

— Шарофат…— произносит он вслух, нараспев, и лицо его расплывается в довольной улыбке.— Цветок мой прекрасный, самое дорогое мое сокровище,— шепчет он страстно и довольно громко, забывая, что находится на службе. Мысли о Шарофат, о предстоящем свидании уносят его из обкомовского кабинета…

Шарофат — младшая сестра его жены, она моложе Халимы на восемь лет. Женился Анвар Абидович, по восточным понятиям, поздно, почти в тридцать,— бился за место под солнцем, то есть за кресло. Самый видный жених в районе — говорили о нем, и выбор имел ханский: каждая семья мечтала породниться с Тилляходжаевыми. Коммунизм, социализм или еще какая форма государственности была или будет, не имеет значения — люди в округе знали и знают: Тилляходжаевы всегда Тилляходжаевы — белая кость, роднись с ними, не пропадешь. Оттого, несмотря на свой неказистый рост, он взял красавицу из красавиц Халиму Касымову. Такая пери раз в сто лет в округе рождается, говорили аксакалы, занимающие красный угол в чайхане. Какие орлы увивались за ней в районе, да и в Ташкенте, где она училась!

Только два курса университета успела закончить Халима, больше просвещенный и облеченный властью муж не позволил, считая, что для жены и двух курсов много.

В кого пошли три дочери рядового бухгалтера Касымова из райсобеса — великая тайна природы, потому что и отец и мать ни красотой, ни статью особо не отличались, а девочки у них как на подбор — глаз не отвести!

Старшая сестра Халимы — Дилором, когда училась в Ташкенте, вышла замуж за хорошего человека и жила теперь в столице, муж ее крупным ученым стал.

Дом Тилляходжаевых, куда привел молодую жену Анвар Абидович, конечно, разительно отличался от дома скромного собесовского бухгалтера — иной уровень, иные возможности. Родня тут — святое дело, отношением к ней и проверяется человек, в родне он черпает силу и поддержку; родня и есть тот основной клан, на который делает опору восточный человек. И неудивительно, что младшая сестренка Халимы, красивая и смышленая Шарофат, считай, дни и ночи пропадала у Тилляходжаевых и быстро стала любимицей в их доме. Родители Анвара Абидовича сокрушались, что у них нет в семье еще одного сына, уж очень пришлась по душе им Шарофат.

А когда пошли у Халимы один за одним дети, сестренка оказалась в доме просто бесценной. Позже, когда Шарофат сердилась, она не раз выговаривала Коротышке: ваши дети у меня на руках выросли. Впрочем, так оно и было.

В восьмом классе Шарофат догнала ростом и комплекцией старшую сестру, сказывалась акселерация в жарких краях. Не раз, приходя домой, он заставал Шарофат у зеркала в нарядах жены.

— Нравится? — говорила она, нисколько не смущаясь, и не менее изящно, чем манекенщицы, которых она видела только с экрана телевизора, демонстрировала перед ним платье или костюм.

Делала она это зачастую кокетливо и слишком смело для восточной девушки. Наряды действительно были ей к лицу, и носила она их увереннее, элегантнее, чем жена. Анвар Абидович, не кривя душой, признавался: нравится, восхитительно! Больше, чем за игру, милые шалости Шарофат у зеркала он не принимал.

Однажды,— училась она тогда уже в девятом классе,— приехал он на обед домой. Халима находилась в роддоме. Шарофат вбежала в летнюю кухню в белом платье сестры, которое он привез

в прошлом году из Греции. Пройдясь перед ним, словно на сцене, Шарофат игриво спросила:

— Ну как, буду я первой красавицей на школьном балу?

И тут он впервые увидел в ней взрослую девушку, очень похожую на свою жену, но уже отличавшуюся иной красотой, время и условия в доме наложили на нее свой отпечаток.— Есть в ней что-то европейское, особо изящное, отметил он тогда про себя, а вслух вполне искренне сказал:

— Конечно, Шарофат, ты сегодня как белая лебедь.

— Спасибо, Анвар-ака,— обрадовалась Шарофат,— мне очень хочется нравиться вам,— и, неожиданно подбежав, поцеловала его.

Коротышка на миг оторопел, потом шутливо погрозил ей пальцем. Уходя, она приостановилась в дверях и сказала возбужденно:

— Как повезло моей сестре, что вы взяли ее в жены!

Тилляходжаевы часто принимали гостей: и тут сноровка, аккуратность, такт, вкус Шарофат оказались кстати.

— Что бы мы без тебя делали,— не раз искренне говорил ей Анвар Абидович, видя, как она ловко сервирует стол, командует приглашенными в дом поварами, обслугой, а самое главное, что все беспрекословно подчинялись ей, словно хозяйке дома.

После ухода гостей он часто шутя замечал:

— Шарофат, опять Ахмад-ака спрашивал, когда сватов присылать?

— Рано ей замуж, пусть учится,— обычно вмешивалась Халима, зная, что действительно гости приглядываются к сестренке. А та, недовольно поводя плечом, шутливо отмахивалась:

— Да ну их… Тоже мне женихи…

Но однажды, когда они остались одни и разговор вновь зашел о сватах, Шарофат сменила шутливый тон на серьезный.

— Вот за вас я пошла бы замуж не задумываясь, а сын директора нефтебазы, да к тому же простолюдин, меня не устраивает, я хочу, чтобы отец моих детей был из знатного рода, как вы.

— Так я ведь женат, знал бы, подождал,— отшутился он.

— Ну и что,— невозмутимо ответила Шарофат.— Возьмите второй женой, ведь шариат не возбраняет многоженство!

Анвар Абидович, закругляя становившийся опасным разговор, ответил:

— Все-то ты знаешь, и про шариат, и про многоженство, а что я идеологический работник — забыла, меня на другой же день из партии исключат.

— Пусть исключат, вы и так богаты! Тогда и возьмете меня в жены,— упрямо закончила Шарофат, к тому времени уже десятиклассница.

Этот странный разговор запал ему в душу. Тогда он и не предполагал такого крутого взлета по службе, и мыслить не мог, какой неограниченной властью над людьми будет обладать в крае, потому и не держал ни в голове, ни в сердце ничего дурного в отношении сестренки жены, хотя и очень взволновали его слова своевольной девчонки. После этого разговора он стал покупать наряды не только жене, но и Шарофат, и каждый раз видеть ее радостные глаза ему доставляло огромное удовольствие.

Халима не раз говорила серьезно мужу:

— Не балуй сестру, она и так в вашем доме стала другой, мнит себя принцессой.

Но тот отшучивался:

— Она и есть принцесса! Пусть радуется, она же твоя сестра!

В тот год, когда Шарофат закончила школу,— а училась она хорошо,— получили в районе разнарядку, в Москве в Литературном институте резервировалось для них одно место за счет квоты республики. Место оказалось как нельзя кстати, Шарофат мечтала стать журналисткой, баловалась стишками, писала статейки о школьном комсомоле в районной газете, да и отправить ее подальше от греха не мешало.

Когда Анвар Абидович привез ей белые туфли на выпускной вечер, в порыве благодарности она так жарко припала к его губам, как не целовала до сих пор его ни одна женщина, и тогда он понял, на краю какой пропасти находится.

Когда Шарофат уехала, он забыл о ней, хотя иногда ощущал, что ее не хватает в доме. Сентиментальностью он не страдал, да и времени свободного, чтобы тосковать, не было: работа, карьера, семья — чуть свет уходил, приходил затемно.

Но порою колесо судьбы делает неожиданный поворот, никто не знает, где найдет, где потеряет. Через два года на каком-то совещании в области Тилляходжаев попался на глаза самому Верховному, произвел впечатление своей хваткой, энергией, смелостью и тут же был направлен в Москву учиться в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Все решилось за неделю: в августе он готовился к очередной нелегкой хлопкоуборочной кампании, а в сентябре уже слушал лекции в столице. Перед отъездом хозяин республики лично напутствовал Анвара Абидовича в дорогу, сказал — учись хорошо,

ты нам нужен, и даже обнял и поцеловал его. И тогда Коротышка мысленно поклялся служить ему верой и правдой всю жизнь, идти за него в огонь и в воду, не щадя живота своего, хотя тот ни о чем подобном не просил и верности не требовал.

Так в Москве вновь переплелись его дороги с Шарофат. Перед отъездом в академию он не видел ее почти год, летом на каникулы она не приезжала, проходила практику в молодежном издательстве. Узнав по телефону, что зять прибывает в Москву на учебу, она умолила его достать ей светлую дубленку с капюшоном, они как раз входили тогда в моду. Дубленку он ей привез, купил еще какие-то тряпки, но на всякий случай Халиме об этом не сказал, теперь жена могла и заревновать.

В Москве Коротышка раньше никогда не бывал, и Шарофат, за два года уже освоившаяся здесь, оказалась совершенно незаменимой. Учеба в академии давала возможность посещать театры, концертные залы, вернисажи, просмотры в Доме кино — культурной программой будущих идеологических работников занимались всерьез и основательно. И тут Анвар Абидович представал перед свояченицей настоящим волшебником — билеты на любой нашумевший спектакль, премьеру, концерт эстрадной звезды, кинофестиваль, творческую встречу с очередной знаменитостью — ничто не было проблемой. Шарофат влюбленными глазами смотрела на мужа сестры и гордилась им, она предполагала, какой взлет ожидает его после окончания академии.

Новый год отмечали небольшой компанией в ресторане «Пекин», что рядом с общежитием и учебными корпусами академии. Анвар Абидович, оглядывая роскошный зал, празднично одетых людей и хмелея от размаха веселья, музыки, подумал о переменчивости судьбы: еще полгода назад он об этом и мечтать не мог, и, неожиданно склонившись, нежно поцеловал в щеку сидевшую рядом Шарофат. В темно-вишневом строгом вечернем платье, молодая, элегантная, она словно магнитом притягивала к себе взгляды мужчин; Анвар Абидович видел это и втайне радовался, что имеет власть над очаровательной девушкой. В новогоднюю ночь она и стала его любовницей.

Жизнь в Москве таила не только приятные стороны: вскоре он стал ощущать раздражение — катастрофически не хватало денег. Связь с Шарофат он не афишировал: на каждом курсе учились земляки, и слухи о его поведении быстро стали бы достоянием человека, которому он поклялся служить всю жизнь. А тот, закрывая глаза на многие человеческие слабости, блудливых не любил, и в таких

случаях согласно пуританской морали жестко наказывал нашкодивших. Сам человек сдержанный, Верховный ценил в людях сдержанность. Так что Коротышка не зря опасался за свою репутацию, не говоря уже о семье: о разрыве с Халимой не могло быть и речи.

Общежитие Шарофат находилось на улице Добролюбова, у Останкинского молокозавода, на такси уходила почти вся зарплата, что сохранили ему на время учебы. К тому же пришлось снять хорошую комнату для свиданий, неподалеку от «Пекина», возле Тишинского рынка, и это стоило ему сто рублей в месяц. Одним словом: деньги… деньги… деньги…

Секретарем райкома до отъезда на учебу Тилляходжаев проработал всего три года и особенно близко к себе никого не подпускал, словно чувствовал, что когда-то круто поднимется. Может, сказывалась и его природная осторожность,— действовал только через доверенных лиц, родственников, людей из своего клана. И того, что имел, казалось, вполне достаточно, а получается — вон какая жизнь есть, на которую никаких денег не хватит, не то что скромного жалованья.

Москва потрясла его в основном этим открытием: он тут прозрел, понял, с каким размахом следует действовать, ворочать дела.

И когда однажды ему позвонил начальник общепита района, справился о житье-бытье, самочувствии, Анвар Абидович, особенно не жалуясь, но с дальним прицелом сказал: а вы бы с начальником милиции, своим другом, приехали, проведали, как мне тут живется, погостили у меня, посмотрели на столицу. Эти дружки особенно старательно искали к нему подход, когда он был хозяином района, поэтому намек поняли правильно. Через неделю аспирант встречал на Казанском вокзале земляков, занимавших на двоих целое купе,— с таким багажом «Аэрофлот» не принимает. С тех пор жизнь в Москве наладилась, и Коротышка больше не раздражался,— гости подъезжали с четко выверенным интервалом, затаренные под завязку, но довольные, что о них не забыл такой человек.

Получил он неожиданно еще одну помощь, и весьма ощутимую, но не сумма его радовала, а ее источник. По сложившейся традиции аспиранты после каждого курса обучения, возвращаясь на каникулы домой, заходили в ЦК, и Первый их всегда принимал, расспрашивал о житье-бытье, о Москве, товарищах по учебе, о преподавателях. Явился с таким визитом-отчетом и Анвар Абидович, волновался страшно, а вдруг донесли о Шарофат и о частых гостях из района. Но волнуйся не волнуйся, а избежать встречи невозможно.

Принял Первый не откладывая, как только доложили, и Анвар Абидович посчитал это за добрый знак, но все равно испытывал страх и волнение, потели руки, дергалось веко. Волнение Коротышки хозяин кабинета принял как должное, наверное, отнес к величию собственной персоны и торжественности личной аудиенции. Расспрашивал обо всем подробно, дотошно, чувствовалось, что жизнь в академии он знал хорошо и ориентировался в ней не хуже своих аспирантов. Чем дольше длилась беседа, тем увереннее чувствовал себя гость: успокоился — не знает, не донесли, не проведали… Конечно, он был не так прост, чтобы выставлять свою жизнь напоказ, но ведь и догляд мог существовать изощренный через земляков, об этом аспирант уже знал, но еще больше догадывался.

Заканчивая беседу, Первый по-отечески тепло поинтересовался:

— Денег хватает? Не бедствуете? У вас, я знаю, большая семья, четверо детей.

Аспирант слегка насторожился, но рапортовал без раздумий:

— Столовая в академии прекрасная, главное — недорогая. Хватает. Я привык жить скромно.— Он уже ведал, что «Отец», как называли его чаще всего в кругу партийных работников, любит слово «скромность», оно у него в числе часто употребляемых.

Ответ, видимо, устроил Верховного, он загадочно улыбнулся, потом поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, остановился у окна и долго смотрел на раскинувшийся внизу, через дорогу, утопающий в зелени у реки стадион «Пахтакор». Гость тоже поднялся — из уважения к хозяину кабинета.

Вот в эти минуты Коротышка натерпелся страху, не высказать словами.

«Отец» о чем-то долго раздумывал, даже показалось, что он забыл о посетителе. Затем, вернувшись за стол, попросил секретаршу принести чай, пригласил жестом сесть и задушевно сказал:

— Дорогой Анварджан, я ведь направил вас в Москву не только для того, чтобы вы набрались знаний, защитили диссертацию, стали ученым мужем. Ученых мужей у нас хватает, даже перепроизводство, в кого ни ткни — кандидат наук или даже доктор, первое место в стране по числу ученых людей на душу населения держим. Я хочу, чтобы вы завели дружбу с теми, с кем учитесь, а не варились в котле землячества и не пропадали на кухне возле казанов с пловом, как делает уже не одно поколение наших аспирантов. Академия, на мой взгляд,— это Царскосельский лицей, Пажеский корпус, Преображенский полк,

если помните историю. Только оттуда выходят секретари ЦК, секретари горкомов и обкомов, министры, депутаты, редакторы газет и руководители средств массовой информации, люди, которые совсем скоро будут править в своих республиках и регионах, и с ними вы должны установить прочные связи, навести мосты — вот ваша главная задача в столице, и на эту цель вам отведено целых три года. Только заручившись дружбой сильных мира сего, вы по-настоящему послужите родине, ее процветанию. Уяснили?

Гость от волнения, от важности доверительного разговора потерял дар речи и только кивнул головой.

Хозяин кабинета сам разлил чай по пиалам и, нажав какую-то кнопку, сказал:

— Сабир, зайди, пожалуйста. У меня Анвар Тилляходжаев из Москвы.

Вошел представительный мужчина, окинувший гостя внимательным взглядом, и положил на стол перед Первым тоненький почтовый конверт. Как только человек, которого назвали Сабиром, покинул кабинет, «Отец» продолжил:

— Это вам, Анварджан, для наведения мостов. Отчета от вас требовать не буду, надеюсь, вы распорядитесь суммой разумно, и пусть с вашей легкой руки множатся повсюду наши друзья. Если возникнут проблемы, которые вам окажутся не по силам, звоните мне, и всегда можете рассчитывать на помощь,— я имею в виду, скажем, если кто-то из преподавателей или аспирантов захочет посмотреть Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент — приглашайте, встретим достойно. Вы меня поняли?

Анвар Абидович только и смог согласно кивнуть головой в ответ.

На прощание Первый неожиданно спросил:

— Вас не смущает, не затрудняет моя просьба?

— Я постараюсь оправдать ваше доверие, домулла,— ответил растроганно гость и хотел поцеловать ему руку, но хозяин не позволил, сам по-отечески обнял его за плечи и провел до двери.

Ошарашенный встречей, оказанным доверием, Коротышка забыл про конверт и только вечером, в поезде, по пути домой, вспомнил и вскрыл его — там лежала сберкнижка на предъявителя, на счету значилось пятьдесят тысяч рублей. Сумасшедшие деньги для простого человека! Но не для столицы…

Всю ночь в поезде он не мог уснуть — душа ликовала, сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки… Он не раз выходил

в коридор вагона остыть, успокоиться, но не удавалось — хотелось прыгать, плясать, петь. Нет, не оттого, что неожиданно получил в распоряжение пятьдесят тысяч бесконтрольных денег — деньги его теперь уже не волновали. Радовался тому, что стал доверенным человеком Первого, цену его симпатии он знал, не всякого тот миловал, приближал к себе, но уж своих в обиду не давал, даже виновных.

Еще вчера он смущался, ожидая встречи с Халимой, чувствовал себя виноватым, но после разговора с Первым словно отпустили ему грехи и выдали индульгенцию на все будущие, он возомнил себя на такой высоте, таким государственным человеком, что связь с Шарофат показалась ему недостойной терзаний его души. Выйдя из здания ЦК, он почувствовал, как воспарил над людьми: свои поступки он теперь мог ставить выше обычной человеческой морали, нравов, традиций и оттого уже не испытывал угрызений совести ни перед женой, ни перед Шарофат и ее родителями. Отныне он становился сам себе судьей.

В Москве он часто скучал по дому, по семье и много раз представлял встречу после разлуки — прежде он никогда так долго не отлучался от близких; но после аудиенции у «Отца» вмиг сместились все ценности, доселе святые для него: дом, семья, дети. Душа его ликовала не от встречи с родными, детьми, женой, родовой усадьбой, он все еще пребывал на пятом этаже белоснежного здания на берегу Анхора и ощущал на плече надежную руку Верховного. Чувство это было так сильно, будоражило его, что он не находил себе места в доме, не мог дождаться вечера. Как только стемнело, он направился в мечеть. С муллой у него давно сложились добрые отношения; секретарь райкома хотя и не афишировал связи, но помогал мечети щедро. Он уяснил, что ислам проповедует в принципе то же, что и райком,— покорность, терпение, и обещания их почти совпадали: если ислам сулил рай в загробной жизни, то райком ориентировал народ на светлое будущее. Проще говоря, два духовных наставника понимали друг друга с полуслова.

Мулла удивился и позднему визиту, и той взволнованности, которую тотчас угадал в первом мусульманине района, как он иногда говорил своим верующим, поддерживая авторитет власти. Следуя восточным традициям, он хотел пригласить гостя в сад, где служки тотчас кинулись накрывать дастархан, но Коротышка перебил его:

— Домулла, душа горит, сначала я хочу поклясться на Коране в верности одному человеку, а уж потом сяду с вами за ваш щедрый стол и со спокойным сердцем побеседую, как прежде.

Мулла дал знак, чтобы принесли Коран. Как только подали священную книгу, он спросил:

— Вас заставляют присягать на верность обстоятельства или вы это делаете по внутреннему убеждению, по голосу вашей совести?

— По зову сердца,— ответил Тилляходжаев, волнуясь.

— Прекрасно, Аллах не любит насильственных клятв.

Аспирант, припав на колено, поклялся верой и правдой служить человеку, тепло чьей руки он еще ощущал на плече.

В тот день и произошло его невольное отчуждение от семьи: нет, он не снимал с себя обычно принятых обязательств — кормить, обувать, одевать, заботиться о ее благах; но мучиться виной, терзаться из-за каких-то поступков он считал ниже своего предназначения на земле.

…Наверное, он бы еще долго вспоминал и о молодой Шарофат, и о Москве, и о тех далеких годах, когда впервые стали называть его за глаза Наполеоном, но раздался телефонный звонок, и обкомовский шеф-повар доложил, что все упаковано в лучшем виде и размещено в машине. Звонок вырвал из приятных видений, и Анвар Абидович, моментально наполнявшийся раздражением и злобой, зачастую беспричинно, бросил трубку и даже не поблагодарил повара, хотя ценил в нем умение, а главное, доскональное знание его вкуса.

Положив трубку красного телефона, он поднял трубку белого и, услышав голос Шарофат, буркнул:

— Выезжаю…

Шарофат, привыкшая к неожиданным перепадам его настроения, необузданным, диким страстям, не удивилась тому, что всего полчаса назад он ворковал как влюбленный юноша, а сейчас говорил раздраженно.

В расшитом золотом ярком атласном халате с резвящимся драконом на спине Шарофат подошла к зеркалу и, поправляя тщательно уложенную прическу, заметила седой волосок, но убирать не стала, с грустью подумала — еще один. Оглядев себя внимательно, уже в который раз, чуть-чуть подрумянила щеки и слегка надушилась его любимыми духами «Черная магия»,— других он не признавал и дарил ей целыми упаковками, по двенадцать коробок сразу. Добавив последние штрихи к макияжу, поспешила к двери, знала, что больше всего на свете Тилляходжаев не любил ждать. Ни минуты! Прямо-таки

взбалмошный и капризный ребенок — вынь да положь сию секунду — хочу, и все! Однажды,— она уже была замужем,— он учинил грандиозный скандал: очень хотел ее видеть, а ее не оказалось дома, ходила к подружке читать новые стихи. Вот тогда, в бешенстве, он поставил ей жесткие условия: отныне и навеки всегда быть дома, никуда не отлучаться, чтобы он мог найти ее при первом желании. Относительную свободу она получала в те дни, когда он отсутствовал — уезжал на совещания в столицу республики или в командировки по области.

Тогда же он и распорядился насчет прямого телефона. Для человека, не знавшего Наполеона близко, подобное требование показалось бы абсурдным, но Шарофат-то знала: для исполнения своих прихотей он не остановится ни перед чем. Год от года он становился все необузданнее. Помнится, однажды, во время пленума обкома партии, раздался вдруг звонок по прямому телефону. Шарофат решила, что звонок ошибочный,— по местному телевидению как раз транслировали передачу из актового зала обкома, и пять минут назад она видела любовника в президиуме. Нет, звонил он сам, говорил ласково, нежно, Шарофат даже насторожилась, не разыгрывает ли ее кто, и спросила:

— А как же пленум?

Он ответил, что сделал главное выступление, а сейчас часа полтора будут содоклады, затем прения — скукота, в общем, ему очень захотелось ее увидеть.

— Приезжай немедленно, машину я уже выслал, у потайного входа тебя будет ждать Юсуф.

Через десять минут она была у него в комнате отдыха, куда долетал шум аплодисментов с идеологического пленума. В тот день Шарофат никак не могла настроиться на серьезный лад, все повторяла: «Без тебя пройдет такое важное мероприятие»,— на что он снисходительно отвечал: «Ну и что? Цезарь позволял себе и не такое. А я чем хуже него? Да и резолюция пленума уже неделю назад готова». К прениям он успел вернуться в зал и даже выступил страстно с заключительной речью о моральном облике коммуниста.

Нет, ждать он не любил…

Едва Шарофат вышла на открытую веранду коттеджа, как подъехала машина.

— Что чернее тучи? Кто огорчил эмира Заркента? — спросила ласково Шарофат, принимая в прихожей тонкий летний пиджак; к одежде он был неравнодушен, хотя уверял, что вещизмом заразился именно от нее.

— Всегда найдется какой-нибудь подлец, который если не с утра, то к обеду уж точно испортит настроение,— завелся сразу Коротышка.— Ты, конечно, слыхала про Махмудова,— в области самый известный район…

— Конечно, слыхала. Кто же у нас не знает Купыр-Пулата, уважаемый человек…

— И ты туда же… уважаемый…— едко передразнил Коротышка.— Так вот, твой Пулат-Купыр, или как его там прозывают, оказывается, сын врага народа, скрыл от партии свое социальное происхождение, столько лет прятался… Ну и люди пошли, так и норовят к партии примазаться…

Шарофат удивленно посмотрела на пышущего гневом любовника, затем, поняв, что тот не шутит, начала так смеяться, что выронила из рук пиджак.

Смеялась Шарофат красиво, кокетливо запрокинув голову, придерживая полы разъезжавшегося атласного китайского халата. Смех хозяйки дома сбил Коротышку с толку, и он, внезапно успокоившись, спросил мирно:

— Я сказал что-нибудь веселое, милая? — случались у него и такие переходы, не поймешь, то ли шутит, то ли всерьез.

Шарофат подошла к нему, обняла нежно:

— Если бы ты мог видеть и слышать себя со стороны, наверное, умер бы со смеху! Ты пылал таким праведным гневом, никакому Смоктуновскому такое не удалось бы…

— Да, я как коммунист искренне возмущен! Таким, как Махмудов, не место в наших рядах! — завелся Коротышка вновь.

Шарофат, сдерживая смех, пояснила:

— Анварджан, ну ладно, Пулат-Купыр — чужеродный элемент, сын классового врага, но ведь и ты не простого происхождения, об этом все знают. Тилляходжаевы — знатный род, белая кость, дворяне, так сказать, князья — да за эту родословную я и полюбила тебя девчонкой.

— И, правда, как-то о себе не подумал,— на мгновенье растерялся Коротышка, но тут же нашелся: — Но я ведь специально не скрывал от партии своего происхождения, и моего отца не расстреляли как врага народа,— слава Аллаху, умер в прошлом году в своей постели. И вообще — Тилляходжаевы есть Тилляходжаевы, нашла с кем сравнивать, не Махмудовы же должны править в Зарканте! — запетушился секретарь обкома.

— Успокойся, милый, успокойся! Ну что разволновался из-за таких пустяков? — Шарофат вновь обняла его и стала целовать, она знала, как его отвлечь, чувствовала свою власть над ним.

И в ту же секунду мысли о Махмудове отлетели куда-то в сторону, показались ему мелкими, несущественными, у него вырвался стон, очень похожий на звериный рык, и, забыв обо всем, он легко поднял Шарофат на руки и понес через просторный зал в спальню.

Напрасно Шарофат отбивалась, кричала в притворном ужасе об обеде, о корзинах, что стоят, остывая, на веранде,— Наполеон ничего не слышал…

Через полчаса он вспомнил об обеде и теперь уже сам сказал о корзинах на веранде. Шарофат легко спрыгнула с высокой кровати красного дерева, очень похожей на корабль, они и называли его шутя — наш корвет. Взбитые простыни, белые подушки, легкое стеганое одеяло из белого атласа издали и впрямь напоминали опавшие паруса старинного корвета.

Шарофат накинула на себя заранее заготовленный кружевной пеньюар и, чувствуя, что он любуется ею, чуть задержалась у трельяжа, поправляя волосы, потом вернулась к кровати:

— Потерпи немножко, через десять минут я освобожу ванную, ты ведь знаешь, у нас, бедных, только одна ванная…

Коротышка понял ее скрытый намек: пора менять коттедж на более современный, комфортабельный, такой, в котором он жил сам. «Я имею две ванных комнаты — так у меня шестеро детей, и еще твои родители живут со мной»,— чуть не взорвался он от несправедливости, но сдержался, потому что посмотрел ей вслед…

Шарофат по-прежнему выглядела прекрасно,— Москва пошла ей на пользу: знала, как сохранить себя, не переедала, частенько сидела на диете, порою даже голодала, говорила — я устраиваю разгрузочные дни. Занималась гимнастикой, а вот теперь увлеклась еще аэробикой. Отчего бы не заниматься собой, времени на это было предостаточно: «Я творческий работник, поэтесса, на вольных хлебах»,— говорила она новым знакомым гордо. Лихо водила машину, смущая местное бесправное ГАИ. В Москве ей однажды пришлось сделать от него аборт, оперировали поспешно, на дому, и детей у нее не было. Но о давнем аборте никто не знал, и подруги даже жалели ее.

— Аллах ее покарал,— не раз в сердцах Халима бросала, догадывавшаяся о связи сестры с мужем.

Но с годами семья, быт, дети, давнее отчуждение мужа стушевали боль Халимы, она махнула на все рукой и жила только детьми.

Наполеона тянуло к Шарофат, как ни к какой другой женщине, хотя навязывались ему в постоянные любовницы и молодые карьеристки из комсомола, облисполкома, профсоюзов, но он читал их мысли наперед. Чувствовал он и тягу к себе Шарофат, с ним она была счастлива, он доставлял ей наслаждение, его не обманешь. Он понимал, что в их страсти таилось что-то патологическое, обоюдно патологическое, как объяснил ему один приятель, известный врач-психиатр, которому он очень доверял. Наверное, это и впрямь была патология; однажды Шарофат рассказала, как еще сопливой школьницей, в неполных четырнадцать лет, когда ночевала у сестры в доме, прокрадывалась по ночам к порогу их спальни и как волновал ее каждый вздох, каждый шорох из-за двери.

Услышав, что шум воды в ванной стих, поднялся и Анвар Абидович. В просторной спальне у Шарофат и ее мужа, Хакима Нурматова, у каждого был свой личный гардероб. Шестистворчатый полированный шкаф Хакима занимал стену слева; по мусульманским обычаям, предписанным шариатом, именно с этой стороны должен спать муж. Вспомнил он из шариата еще одну любопытную заповедь: если простолюдин женится на женщине из рода ходжи, что бывает крайне редко, то каждую ночь он должен проползти под одеялом под ногами жены и только тогда имеет право лечь рядом с ней. Вот что значит принадлежность к роду ходжи!

Он распахнул створку знакомого шкафа, отыскивая какой-нибудь халат, и от удивления присвистнул:

— Охо, сколько за месяц нанесли! — Он давно уже не был у Шарофат — дела, дела, комиссии, командировки.

Выбрал халат, похожий на тот, в котором встретила его Шарофат, только золотые драконы паслись на черном атласе, особенно понравился ему тяжелый, витой шелковый пояс,— словно золотой цепью опоясывался.

Обилию халатов Тилляходжаев не удивился, да и в шкафу явно висели лучшие из лучших, а сколько их сложено где-нибудь в углу, сотни,— такая же ситуация у него самого дома. А куда деться? По народной традиции, везде, куда ни попадешь, норовят надеть чапан или халат, а уж начальника областного ОБХСС порою в день в три халата облачают.

Коротышка завязал пояс с кистями, оглядел себя внимательно, как и Шарофат, в зеркале и, довольный, засунул руки в карманы… и тут же моментально вытащил их: в каждой руке у него поблескивала золотая монета, царский червонец. Он знал, что по нынешнему курсу цена монетки тысяча рублей.

— Хитер свояк! И он, значит, золото решил солить…— И тут же неожиданно вспылил: — А что же он мне, своему родственнику и покровителю, носит грязные бумажки?! Приедет, разберусь…

Секунду он раздумывал, как поступить с монетами; оставить их в кармане — такое ему и в голову не пришло. И вдруг он сообразил: улыбнувшись, по дороге в ванную заглянул на кухню, где Шарофат уже начинала хлопотать насчет обеда.

Подошел к ней тихо, ласково погладил по спине, проворковал:

— Вот тебе, голубушка, от меня подарок,— и разжал перед ничего не понимающей Шарофат пухлую ладошку.

У Шарофат руки оказались в масле; Коротышка опустил монеты ей в карман и, насвистывая, довольный, что отделался за счет ее мужа, направился принять душ.

Мылся он долго и с наслаждением, и все время не шел у него из головы муж Шарофат, Хаким Нурматов.

«Как же он тайком от меня начал собирать золото? — размышлял Коротышка.— Почему посмел так своевольничать, не поставил в известность, не согласовал?»

Он припомнил, как поднял, возвысил безродного и нищего пса, ничтожного лейтенантика районной милиции, сделал своим родственником, доверенным лицом. Теперь мерзавец, заполучив полковничьи погоны, тайком от своего покровителя собирал золото, которое по праву должно принадлежать только ему. Не зря же его фамилия Тилляходжаев — происходит от могущественного слова «золото», да еще с приставкой «ходжа», что указывает на высочайшую родословную. Можно было без натяжки называть его «Золотым идолом», «Властелином золота», и, конечно, как мог такой человек позволить кому-то собирать золото на своей территории.

Учиться в Москве они с Шарофат закончили одновременно, но он настоял, чтобы она задержалась еще на два года в столице, оставляли ее на кафедре, и появилась возможность защитить кандидатскую диссертацию по творчеству поэтессы прошлого века — Надиры Бегим. «Так надо»,— твердо сказал любовник, и Шарофат перечить не стала.

Вернувшись домой и вновь возглавив район, он не забывал о Шарофат, о том, что следует как-то определить ее судьбу и сохранить на нее права.

Однажды в застолье у начальника районной милиции, с которым он сдружился за время учебы в академии, пришла ему спасительная идея. Он поинтересовался у полковника, нет ли среди его подчиненных заметного жениха, с одним ярко выраженным качеством — жадностью. Полковник рассмеялся, решив, что шеф шутит, и ответил: чем-чем, а жадностью — главным достоинством всех его сотрудников, и старых, и молодых, Аллах не обидел. Посмеялись они тогда от души, но, поняв, что секретарь райкома вовсе не шутит, полковник тоже всерьез сказал — надо подумать. Через три дня он показал секретарю одного парня и дал исчерпывающую характеристику: этот за деньги мать родную продаст, а отца удавит. Парнем оказался Хаким Нурматов.

С месяц приглядывался к нему секретарь, пока понял, что парень неглупый, абсолютно беспринципен и действительно патологически жаден. Когда план окончательно созрел, он вызвал Нурматова к себе и без обиняков спросил: не хочешь ли ты со мной породниться? Безродный лейтенант опешил, он знал — у Анвара Абидовича незамужних сестер нет, все они давно в браке и имели детей, и о разводах он ничего не слышал; в ближайшей родне секретаря даже ни одной хромоножки не было — на иную девушку из рода ходжи лейтенант рассчитывать не мог.

Видя его растерянность, хозяин кабинета пояснил, мол, в Москве у него учится в аспирантуре свояченица, Шарофат Касымова, сестра его жены. На каникулах она вроде видела Хакима, он ей понравился, и потому на правах родственника секретарь решил поговорить с ним. Добавил еще, что предоставляется возможность и ему поехать в Москву на полуторагодичные курсы работников ОБХСС, и там он может встретиться с Шарофат.

Лейтенант был неглуп, он знал, как покрывают свои шалости большие люди, выдавая своих любовниц и блудливых дочерей замуж за покладистых подчиненных, обещая им свое покровительство. Здесь он сразу почувствовал нечто подобное.

Конечно, лейтенант знал Шарофат, учился с ней в школе, в параллельном классе, видел летом, какая она красивая и важная стала, пожив столько лет в Москве, прямо француженка, как сказал кто-то из его сослуживцев. Видя колебания лейтенанта, хозяин кабинета обронил как бы вскользь: будешь хорошо учиться — после

окончания станешь начальником ОБХСС района. Нурматов на меньшее и не рассчитывал,— через неделю он уехал на курсы. Из Москвы он вернулся капитаном и с женой.

С тех пор Анвар Абидович и опекал мужа Шарофат, держал его рядом с собой; став секретарем обкома, доверил ему пост начальника ОБХСС области. Надо отдать должное, проблем с Нурматовым у него не возникало, тот знал свое место и понимал, за что ему выпала величайшая милость, догадывался, что любое его ослушание будет стоить ему не только выгодной должности, без которой он себя уже не мыслил, но и жизни,— при желании на полковника можно было каждый день по три дела заводить.

Золото в карманах его халата не давало Коротышке покоя; он сам любил золото именно в монетах. Сколько же он смог уже накопить червонцев, и не означает ли сей факт, что родственник вышел из-под контроля?

«Ну, монеты-то я у него все до одной отберу. Золота в области не так много, чтобы я мог терпеть еще одного конкурента»,— решил Коротышка и от этой мысли сразу повеселел.

Распаренный после горячего душа, благоухающий парфюмерией полковника, он появился в столовой:

— Ну и нагулял я аппетит! Милая, где моя большая ложка?

Шарофат, поджидавшая его за щедро накрытым столом, аж всплеснула руками:

— Ну, настоящий китайский мандарин, только тонких обвислых усов не хватает. Вон посмотри, на вазе изображен твой двойник…

В углу столовой стояла высокая напольная ваза-кувшин старинного фарфора, с нее улыбался китаец почти в полный рост Коротышки, с бритой головой и в таком же халате с золотыми драконами на черном атласе. Шарофат тонко разбиралась в антиквариате, не зря семь лет прожила в Москве.

Анвар Абидович с улыбкой рассматривал двойника, затем стал в обнимку с кувшином, словно позируя для фотографии, и хозяйке ничего не оставалось, как сбегать в соседнюю комнату за «Полароидом» и сделать моментальный цветной снимок. Сходство с моделью художника так поразило секретаря обкома, что он долго не выпускал фотографию из рук, любовался, спрашивал: «Как ты думаешь — это император?» И сам же подтвердил:

— Да, похоже, очень похоже! Но только мне не нравится — «мандарин», уж лучше китайский богдыхан, верно?

И оба весело рассмеялись,— так им хорошо было вместе.

— А где же выпивка? — спросил строго двойник китайского императора, оглядев стол.

— Ты разве не пойдешь на работу? — обрадовалась Шарофат.

— Нет, золотая, не пойду и вообще сегодня остаюсь у тебя на всю ночь. Имею право загулять, как и мои верноподданные?

У него начинался кураж,— Шарофат чувствовала это и поспешила к домашнему бару, подкатила к столу звенящую дорогими бутылками тележку с напитками. Анвар Абидович читал редко, если честно — только газеты, да и то, без чего нельзя было обойтись, занимая такой пост. Но когда-то, во время учебы в академии, он вычитал то ли в поваренной книге, то ли в романе из светской жизни, что к малосольной семге хороша охлажденная водочка, к севрюге горячего копчения и вообще к рыбе — белое вино, к мясу и дичи — красное, а к кофе — ликер и коньяк; этот нехитрый перечень он запомнил на всю жизнь и требовал на всех застольях соблюдать установленный порядок. Так что из-за стола, где он оказывался тамадой, редко кто выходил трезвым.

Сегодня в обкомовском буфете была семга, нежная, розовая, жирная — и обед начали с водочки. Выпив и неспешно закусив, он как бы между прочим — а вдруг потянется ниточка к золотым монетам, к которым пристрастился и ее муж,— спросил:

— Как Хаким, не обижает?

Никогда прежде он о муже не расспрашивал, не интересовался, словно тот и не существовал вовсе, и вдруг такая забота. Простой человеческий вопрос несколько смутил Шарофат, и она ответила вполне искренне:

— Нет, не обижает. Но мне кажется, ему следовало бы оставить нынешнюю работу — он плохо кончит.

— Не преувеличивай, он мне родственник все-таки, и пока я жив, ни один волос с его головы не упадет,— заверил Коротышка.

— Я не о том,— настойчиво перебила хозяйка,— его срочно следует показать хорошему психиатру, мне кажется, деньги уже свели его с ума.

— Как это? — заинтересовался любовник. Может, тут и отыщется ключик к вожделенному золоту?

Но Шарофат имела в виду другое: ее действительно не интересовали ни деньги, ни золото, стекавшиеся в дом, обилие того и другого, как и поведение мужа, вызывали в ней порой отвращение, оттого она

искала уединения в надуманной, отвлеченной от жизни поэзии и неожиданном увлечении антиквариатом.

— Ты ведь знаешь, я не вмешиваюсь ни в твои дела, ни в его, так воспитали дома, так вымуштровал меня ты сам. Раньше я не замечала, как и с чем он уходит на работу, с чем возвращается. Мое дело женское: чтобы он выглядел аккуратно, был сыт и в доме уют, комфорт. Но вот года два назад я стала замечать, что почти каждый день он приходит домой то с портфелем, то с дипломатом, а уходит на службу с пустыми руками.

Такое не могло не броситься в глаза, хотя, повторяю, я не ставила целью шпионить за мужем, вмешиваться в его дела, это я на тот случай, чтобы ты не подумал обо мне плохо. Когда в доме скопилось портфелей и дипломатов сотни четыре, я сказала шутя: «Хаким, не пора ли нам открыть галантерейный магазин?» Если бы ты видел, как обрадовался он моей идее! На другой день он вернулся вместе с завмагом с крытого базара, и они все вывезли, почистили, на радость мне, все углы в доме.

— Ну, так в чем же дело? — не понял Тилляходжаев.

— Но он продолжал каждый день приходить с дипломатом или портфелем, один моднее другого, и, конечно, с новехонькими,— продолжала Шарофат.— Сначала я думала, может, специфика работы такая: важные документы каждый день к вечеру поступают, надо просмотреть. Потом засомневалась: не такое уж у нас богатое государство, чтобы новехонькими дипломатами разбрасываться. К тому же, если бы они принадлежали МВД, значит, были бы похожи один на другой.

Потом я решила, что это — подарки, ведь и портфели, и дипломаты до сих пор в дефиците, да и модны. Но зачем же начальнику ОБХСС тысяча дипломатов? Абсурд какой-то! Мое женское любопытство взяло верх, и я стала подглядывать, когда он по вечерам, поужинав, скрывался у себя в кабинете с очередным дипломатом и, запершись, проводил там долгие часы. Порою я, не дождавшись его, одна засыпала в нашей спальне или в кресле у телевизора.

— Ну, и что же ты выследила? — заинтересовался Коротышка.

— Что ты думаешь, оказывается, он приносил деньги… Когда меньше, когда больше, и целыми вечерами перебирал, сортировал, пересчитывал купюры. Приносил он всякие деньги: от замусоленных рублевок до новеньких хрустящих сотенных, эти ему были очень по душе, я видела. Если бы ты знал, с каким наслаждением он предавался своим

ежедневным тайным делам! Он вел какие-то записи, что-то заносил в толстые журналы. На вопрос, чем он занимается по ночам, неизменно с улыбкой вежливо отвечал: «Служба, служба, дорогая, тайна. Ты же знаешь, твой муж государственный человек, полковник». Поначалу меня это смешило, я даже развлекалась, представляя, чему он предается в редкие свободные часы, ведь он тоже, как и ты, уходит на работу спозаранку, возвращается затемно, ни суббот, ни воскресений.

«Нашла тоже, с кем сравнивать»,— даже обиделся Анвар Абидович, но смолчал.

— Мне казалось, что, появись ты в те вечера, когда он приезжает с дипломатом, и займись мы любовью при открытых дверях, он бы этого и не заметил,— так он бывает поглощен деньгами.

Через год все углы дома, кладовки, антресоли, шкафы вновь оказались забиты портфелями и дипломатами, но тут уж выручил ты…

Анвар Абидович вспомнил, какой гениальный ход он придумал в прошлом году на похоронах отца. По мусульманским обычаям людям, пришедшим на похороны, дарят платок или дешевую тюбетейку, полотенце или рубашку. Он и тут решил проявить ханскую щедрость, вспомнил о чапанах и халатах, скопившихся у него дома и у свояка, начальника ОБХСС, и о портфелях и дипломатах, о которых он, конечно, знал,— не меньшее количество находилось у него самого и дома, и в шкафах просторного кабинета в обкоме, правда, до галантерейного магазина он не додумался. И на каждого пришедшего на похороны был надет чапан, и каждому вручался дипломат или портфель, но и тут делали подарки по рангу — кому парчовый халат и кожаный дипломат с цифровым кодом, а кому попроще. Таких роскошных подарков в этом краю не делал никто — даже эмир бухарский, как уверяли аксакалы, и молва о его щедрости, об уважении к памяти отца еще долго гуляла в народе.

Не исключено, что среди восьмисот шестидесяти человек, посетивших в скорбный день дом Тилляходжаевых,— а учет велся строго,— кто-то и получил обратно именно тот чапан, что сам некогда дарил секретарю обкома или его свояку, полковнику Нурматову, как и тот дипломат, в котором приносил взятку.

Надо отметить, что с похорон не только возвращаются с подарками, но и приходят туда с тугими конвертами; должностных лиц ни свадьба, ни похороны не оставляют внакладе, и день скорби превращается в официальный сбор дани и взяток — везут и несут не таясь, прикрываясь народными обычаями и традицией.

Анвар Абидович только принимал соболезнования и конверты и до подсчета, как свояк, не снизошел, не располагал на такие пустяки временем, но жена доложила, что собрали более ста тысяч. Кто скажет, что ныне похороны разорительны?

— Я, конечно, не призналась, что открыла его тайну, только просила мужа почаще бывать со мной, читать, смотреть телевизор, но он упрямо твердил, нет уж, читай сама за нас двоих, а у меня дела. Но вот странно, уже скоро почти год, как он стал приходить без портфеля или дипломата, но по-прежнему по вечерам запирается в кабинете и вновь пересчитывает деньги, наверное, поменял те трешки и рубли, что собирал годами… Мне кажется, он свихнулся и переписывает в бухгалтерские книги номера своих любимых купюр…

Вот теперь-то для Наполеона все стало ясно, он понял, когда свояк, как и он, перешел на золото, отчего и перестал таскать домой дипломаты. Нет, не зря он задал в начале обеда свой невинный вопрос. А вслух сказал спокойно:

— Зря ты волнуешься, милая, работа у него действительно государственной важности, трудная, и тайн в ней много, даже от тебя, он давал подписку. А что по ночам считает деньги,— у него служба такая. Знаешь, сколько они изымают нетрудовых доходов у всяких хапуг и дельцов и вообще у людей нечистоплотных. Видимо, в управлении не успевает, потому и трудится дома, тут у вас все условия, никто его не отвлекает. А с дипломатами, портфелями выходит сущий беспорядок, безобразие, если не сказать жестче, я ему укажу. Инвентарь и имущество беречь следует, тут ты права, умница…

— Нет, я по глазам вижу, его надо показать психиатру,— упрямо гнула свое Шарофат.

Но эта тема Тилляходжаева уже не интересовала, все, что надо, он вызнал, и потому, чтобы свернуть разговор, он как бы согласился:

— Ну, если ты настаиваешь, покажем. Есть хорошие психиатры, и даже у нас в местной лечебнице…

Когда он произнес «у нас в местной лечебнице», у него в голове мелькнул зловещий план, и от радости секретарь чуть в ладоши не захлопал, но вовремя сдержался.

Хотелось Шарофат рассказать еще об одном случае, даже двух, наверняка требующих вмешательства психиатра, но она не решилась, боялась окончательно испортить настроение любовнику.

А история вышла занятная. Проснулась она однажды среди ночи и услышала, как муж бормотал перед сном молитву,— опять засиделся

почти до рассвета в кабинете, считал, как обычно, деньги. Странная то была молитва. Он всегда бубнил себе под нос, укладываясь среди ночи рядом с женой, и Шарофат никогда не обращала внимания, считая, что это обычные суры, знакомые каждому мусульманину с детства, а в этот раз прислушалась — то ли молитва оказалась занятной, то ли тон мужа ее насторожил.

— О Аллах великий,— исступленно шептал начальник ОБХСС в ночной тиши роскошной спальни,— пусть в крае, мне подвластном, множатся магазины, склады, базы, гостиницы, кемпинги, кафе, рестораны, рюмочные, пивные, забегаловки, базары, толкучки, станции технического обслуживания! Пусть с каждым днем будет больше спекулянтов, перекупщиков, фарцовщиков, валютчиков, наркоманов, зубных техников, воров, проституток, растратчиков, рэкетиров, людей жадных, нечестных, всяких шустрил, гастролеров, посредников, маклеров, взяточников! Пусть все они в корысти и жадности потеряют контроль над собой и станут моей добычей — пусть воруют и грабят… для меня!

Муж передохнул, набрал воздуха и продолжил:

— Пусть в моих владениях, о Великий, поселятся самые дорогие проститутки и откроются известные катраны, где играют на сотни тысяч, пусть центр торговли наркотиками и золотом переместится ко мне. Пусть раззявы туристы запрудят мой край, на радость щипачам и кооператорам. Пусть обвешивают, обкрадывают, обманывают, недодают сдачи, недомеривают, прячут товар, торгуют из-под прилавка и из-под полы. Пусть процветает усушка, утруска, недолив, пусть разбавляют пиво, вино, молоко, сметану, пусть мешают в колбасу что хотят, от бумаги до кирзовых сапог, я ее все равно не ем. Пусть ломают электронные весы, подпиливают гири, пусть торгуют левой продукцией, начиная от водки и до ковров и мебели. Пусть обман процветает в ювелирных магазинах, пусть вместо бриллиантов продают фальшивые стекляшки, пусть платина в изделиях наполовину состоит из серебра. Пусть строятся люди и ремонтируют квартиры, чтобы я в любой момент мог зайти и спросить — а этот гвоздь откуда, где справка, даже если он и сидит в стене с эмирских времен.

Пусть день ото дня набирает силу дефицит, пусть все станет дефицитом — от мыла до трусов! Пусть вечно сидят на должностях и процветают товарищи, создающие дефицит, пусть здравствуют воры и хапуги, а также люди, выпускающие горе-товары, пусть растет импорт, особенно из капиталистических стран!.. И пусть все это будет на руку мне… мне… мне…

В следующий раз заклинание мужа Шарофат услышала через полгода, он повторил его слово в слово, не исказив ни одной строки,— поистине, оно стало его молитвой. Как тут обойтись без психиатра?

Разговор о Нурматове несколько приглушил веселое настроение за столом, и Шарофат, чувствуя вину за неожиданную откровенность, оказавшуюся вроде некстати, предложила цветистый тост за здоровье Анвара Абидовича; тут уж она вставила и полюбившегося ему богдыхана, и не преминула напомнить о его сходстве с китайским императором, улыбавшимся с вазы. Здесь хозяйка сознательно брала грех на душу, потому что китаец держал в руках книгу, и люди, рекомендовавшие приобрести вазу, большие специалисты по антикварному фарфору, объяснили, что это придворный поэт; император тоже присутствовал в сюжете картины, но его изображение сейчас глядело в угол; она, конечно, могла развернуть вазу и показать истинного императора, богдыхана, но тогда ни о каком двойнике не могло быть и речи. И, возможно, это еще больше подпортило бы настроение возлюбленного,— он вроде как уже сжился с образом и время от времени поглядывал в угол: сходство с придворным поэтом вряд ли бы внесло в его душу радость, а может, даже и оскорбило.

Но Шарофат, полагавшая, что за эти годы досконально изучила своего любовника, крепко ошибалась. Сегодня у него как раз было не худшее настроение,— Коротышка уже мысленно подытожил, не хуже, чем на компьютере, сколько же золотых монет успел скопить свояк за год, и по самым скромным подсчетам выходило немало. Как тут не радоваться неожиданно свалившемуся богатству?! А ход насчет психиатра, невольно подсказанный Шарофат, да ему цены нет! И все за один вечер, за одно свидание! Он настолько расчувствовался, что встал и поцеловал Шарофат. Нежный жест любовника она расценила по-своему и тоже растрогалась — в общем, оба были счастливы.

Но Шарофат обрадовала его еще одним персональным тостом: дело в том, что за время, пока они не виделись, Наполеон «успел защитить» в Ташкенте докторскую диссертацию. До сих пор они были вроде на равных, оба кандидаты философских наук, и оба защищались в Москве. У Анвара Абидовича не было ни времени, ни особого интереса, чтобы вычитывать свою диссертацию, и он доверил это ответственное дело Шарофат.

Докторская не содержала никаких ценных открытий, но чувствовалась твердая рука профессионала; все же Шарофат внесла несколько замечаний по существу, и материал высветился по-иному, появилась

какая-то самостоятельность суждений. Оттого она считала себя соавтором докторской диссертации своего любовника и очень гордилась этим. На торжествах по случаю защиты в доме Тилляходжаевых Шарофат не присутствовала,— накануне у нее произошел неприятный разговор с сестрой,— и вот теперь они как бы вновь обмывали защиту. Напоминание о том, что он, оказывается, еще и доктор наук, прибавило настроения секретарю обкома, и оба окончательно забыли о тягостном разговоре, связанном с полковником. В конце обеда, заканчивая застолье коньяком, с непременным кофе, к которому они оба пристрастились в Москве, Коротышка так расчувствовался, что искренне спросил:

— А хочешь, и тебе на день рождения закажу докторскую диссертацию? Абрам Ильич успеет, он голова…

Шарофат обрадовалась, однако благоразумие взяло верх.

— Нет, только не сейчас. Неудобно мне сразу вслед за вами, разговоры пойдут. Лучше подожду, года через два…

На том и порешили.

Пока она убирала со стола, он прохаживался по квартире; покрутился возле библиотеки, которую хозяйка дома собирала с большим азартом, и, понятно, с его помощью, но желания взять в руки книгу не возникало. Возле огромного стереофонического телевизора «Шарп» рядом с видеомагнитофоном он увидел стопку кассет; судя по новым глянцевым коробкам, эту партию фильмов полковник конфисковал недавно, раньше у него кассет «Басф» не было. Вот фильмы секретаря интересовали, и он включил сразу и деку, и телевизор.

Дома из-за детей,— да и Халима возражала,— не удавалось посмотреть порнографические фильмы — они-то больше всего и привлекали Тилляходжаева; его постоянно занимала мысль: откуда же столько аппетитных женщин для съемок находят на Западе? Фильмы они обычно смотрели с Шарофат, и азартный Коротышка время от времени взвизгивал от страсти и восторга, толкал в бок любовницу и кричал:

— Смотри, баба не кандидат наук, а что вытворяет — высший класс, учись! — и громко смеялся.

Подобная откровенная вульгарность сначала смущала Шарофат, но потом она перестала ее замечать. Опьяненный все возрастающей властью в крае и республике, Наполеон день ото дня становился необузданнее, пошлее, он не прислушивался ни к чьему мнению, ничьим замечаниям, перестал обращать внимание и на ее советы. Был только

один человек, которому он внимал с почтением, но с тем он встречался редко, и тот вряд ли догадывался об истинной сущности любимого секретаря обкома.

Перебрав пять-шесть кассет, он наткнулся на интересовавший его фильм, но смотреть в глубоком велюровом кресле, в котором иногда засыпала Шарофат, не дождавшись мужа, не стал, откатил телевизор в спальню, ближе к корвету,— они и прежде смотрели домашнее кино в постели.

Минут через десять на его страстные призывы появилась в спальне Шарофат, но фильм смотреть отказалась, потому что уже трижды видела его с мужем и дважды с подружкой. Сослалась на то, что хочет заняться ужином, побаловать своего богдыхана домашним лагманом и слоеной самсой с бараньими ребрышками. Наполеон поесть любил, и идея Шарофат пришлась ему по душе — гулять так гулять, но отпустил ее на кухню все же с сожалением.

Однако еще минут через десять он нажал на пульт дистанционного управления и выключил телевизор: смотреть секс-фильм, когда рядом нет красивой женщины, показалось ему неинтересным, не возникало азарта. К тому же опять откуда-то выплыла мысль о Купыр-Пулате, и отмахнуться от нее не удалось, хотя и попытался. Впрочем, мысль не совсем о нем — его больше волновал ахалтекинский жеребец Абрек, на которого позарился Акмаль Арипов. Конечно, аксайский хан мог выложить Махмудову и сто тысяч долларов, имел он и контрабандную валюту, а мог отсыпать и золотыми монетами по льготному курсу, только ведь этот праведник Махмудов думал о деньгах, что поступают в казну, вряд ли зеленые доллары, как и николаевские червонцы, волновали его, иначе бы он сам прибрал к рукам остатки золотой казны Саида Алимхана, что до сей поры хранил садовник Хамракул.

Жеребец мог стать причиной разрыва с аксайским ханом, он уже не раз намекал ему, мол, давай употреби власть, на твоей же территории пасется Абрек, твой же вассал Купыр-Пулат.

А ссориться ему с Акмалем Ариповым не хотелось, и не потому, что оба в одной упряжке и оба доверенные люди Верховного, а оттого, что тот стремительно набирал силу и в чем-то пользовался большим влиянием, чем он, хотя Тилляходжаев секретарь обкома крупнейшей области, а тот лишь председатель агропромышленного объединения, а уж по финансовой мощи ему и сравниваться с ханом Акмалем смешно.

— Я — Крез, а ты — нищий! — сказал ему как-то аксайский хан.

Сказал по пьянке, шутя, но его слова запали в душу Наполеона, тогда он и стал усердно копить золото. И сегодня, заполучив случайно остатки казны эмира Саида Алимхана и мысленно прибавив золотишко, собранное свояком Нурматовым, он уже не считал себя нищим, хотя с аксайским Крезом ему еще тягаться было рановато.

Аксайского хана опасался не только Анвар Абидович, обеспокоен был его растущим влиянием и амбициями и сам «Отец», он-то и высказал мысль, что за Акмалем нужен глаз да глаз. Наверное, если бы аксайский орденоносец находился на партийной работе, «Отец» держал бы его рядом, в Ташкенте, или отправил куда-нибудь послом в мусульманскую страну,— как поступал всякий раз, чувствуя конкуренцию или просто сильного человека рядом,— и контроль обеспечивался бы сам собой, а теперь менять что-то в жизни Арипова было поздно. Он создал свое ханство в республике,— расхожее выражение «государство в государстве» тут не подходило. И осуществлять за ним догляд оказалось делом непростым, он в полном смысле слова перекрыл все дороги, ведущие в Аксай и из Аксая, и денно и нощно на сторожевых вышках дежурили люди в милицейских фуражках, хотя им вполне могли подойти бы басмаческие тюрбаны. Потому и дружбу с ним терять было нельзя,— единственная дорожка в Аксай могла закрыться, и тогда думай, что он там замышляет, кого против тебя или против «Отца» настраивает. Как бы Акмаль ни был хитер и коварен, а пьяный за столом, спуская пары, кое о чем проговаривался. Только нужно было умело слушать и с умом поддерживать разговор.

Нет, ссориться секретарю с любителем чистопородных скакунов никак нельзя, и все дело упиралось в упрямца Махмудова: не мог же он сказать ему, как любому другому: «Отдай коня Акмалю и не кашляй!» Да, другому и говорить не пришлось бы,— только намекни, сам сведет Абрека в Аксай. Кто не знает в крае Арипова? За счастье сочтет, что удостоился чести посидеть за одним дастарханом. А ответ Купыр-Пулата он знал заранее — обязательно сошлется на конезавод, на государственные интересы, наверное, еще и пристыдит, скажет, почему потворствуете байской прихоти, не по-партийному это. Чего доброго и на народ ссылаться станет, говорят, он всерьез верит, что народ всему хозяин. Возможно, поэтому его любят? Нет, здесь один способ: нужно сломить, запугать, заставить Махмудова служить заркентскому двору, тогда и вопрос с жеребцом решится сам собой.

«Надо уравнять его жизнь и жизнь жеребца!» — мелькнула вдруг догадка, и от зловещей этой мысли Коротышка расхохотался, восхищаясь своим умом. Смех донесся до кухни, где Шарофат чистила лук для самсы, и она порадовалась хорошему настроению человека, желающего хоть внешне смахивать на китайского императора.

Да, смутные настали времена,— продолжал рассуждать секретарь обкома,— очумело начальство от шальных денег, вышло из-под контроля. Теперь, пожалуй, и сам Верховный не знает, сколько хлопка приписывают на самом деле, пойди проверь, все ждут не дождутся осени, когда из государственной казны польется золотой дождь, успевай только хапать. Хотя год от года все больше ропщет народ, пишет в Москву о том, что до снега держат людей на пустых полях, о детях, забывших, что такое школа и детство, о желтухе, что косит и старых и малых, о бутифосе, отравляющем все живое вокруг, о молодых женщинах, задерганных жизнью и не видящих впереди просвета и перспективы и для себя и для своих детей и потому прибегающих к крайней мере протеста — самосожжению. Страшные живые факелы пылают в кишлаках и в сезон свадеб, когда отдают замуж насильно, не испросив согласия девушки, но слава Аллаху: письма эти возвращаются в Ташкент, с пометкой: «Разберитесь», а тут и разбираются на местах, добавляют еще плетей строптивым и непокорным, чтобы и другим неповадно было жаловаться на счастливую жизнь в солнечном крае.

До чего дошли, возмущается Коротышка, вздумали жаловаться на его друга, аксайского хана, гонцов в Москву снаряжали, да не вышло ничего. Хотя сумели добиться комиссии ЦК из Ташкента,— куда уж выше? — да не знали они силы и власти Арипова, его миллионов. Для пущей объективности проверку жалоб наряду с людьми из ЦК возглавил и работник Президиума Верховного Совета республики, депутат Бузрук Бекходжаев,— он и вынес окончательное решение: ложь и клевета. Мол, лучшего хана, то бишь председателя, чем дважды Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Акмаль Арипов, нет и не будет. Ликуй и радуйся, народ, что повезло вам с таким уважаемым на всю страну человеком. Недешево досталось такое заключение аксайскому хану. В поте лица пришлось поработать продажным следователям из прокуратуры республики, чтобы назвать белое черным, а черное белым.

«Ворон ворону глаз не выклюет»,— сказал какой-то дехканин, узнав о заключении высокой правительственной комиссии. Конечно,

эти слова тут же донесли хану Акмалю, и той же ночью он отрезал язык дехканину, чтобы не сравнивал уважаемых людей с птицей, питающейся падалью.

Нет, народ не очень тревожил Коротышку. Он убежден, что народ терпел и терпеть будет, а если взбунтуется, вон какая карательная сила в руках, говорят, на одного работающего два милиционера приходится, да к тому же и религия в руках, тут она денно и нощно проповедует покорность, послушание, терпение. Нет, кто ее придумал, не дурак был, для любой авторитарной власти любая религия — верный помощник. Гложет душу другое: разжирев на хлопковых миллионах, каждый начал тянуть одеяло в свою сторону, возомнил себя великим и мудрым. Взять того же Акмаля… Кто знал этого неуча, бывшего учетчика тракторной бригады, а поди ж ты, сегодня министры, секретари обкомов в ногах валяются…

А каратепинский секретарь обкома что о себе возомнил? В обход Ташкента открыл прямой авиарейс Каратепа — Москва и Каратепа — Ленинград, неужто о благе людей заботился? Да ничего подобного: решил показать Первому, что и он не лыком шит. За два года первоклассный аэропорт со взлетным полем для тяжелых самолетов отгрохал, мол, знай наших! «Нет, такое чванство ни к чему хорошему не приведет»,— с грустью сказал ему на последней встрече «Отец». А он мудр, тертый политик, время чует. И Тилляходжаев полностью разделяет это мнение, и не только потому, что когда-то поклялся на Коране служить «Отцу» верой и правдой.

Дошло до слуха Верховного, что каратепинский партийный вожак возомнил себя столь сильной личностью, что однажды, выступая в большом рабочем коллективе, сказал: «Я получил от вас социалистические обязательства на будущий год, где вы, обращаясь в обком, называете меня «наш Ленин». Нескромно это, товарищи, не по-партийному, хотя я и горд такой оценкой моей работы трудовыми массами». Говорят, слова секретаря обкома потонули в громе аплодисментов, начало которым положили коммунисты. Умело запущенное в обиход, в сознание людей прозвище «наш Ленин» — это тоже в пику Первому, его не проведешь.

Нет, Наполеону раздоры между собратьями по партии ни к чему, ему выгодно единство, его задача — крепить власть «Отца», вождя, а для этого и союз с Акмалем Ариповым, которого они между собой называют басмачом, тоже пока годится. Если бы удалось стравить аксайского хана с каратепинским секретарем обкома, размечтался

Коротышка, вот бы порадовался «Отец». Но шансы тут минимальные, и мечта быстро гаснет. Конечно, предоставлялся верный шанс расправиться с Ариповым руками комиссии из Москвы, но непонятно, почему Бекходжаев спас любителя чистопородных скакунов от верной гибели, в пику Верховному или, наоборот, по его просьбе?

Может, наверху понимали, что, развенчав легенду о «волшебном хозяйственнике», о его «семи этажах рентабельности», тем самым подорвали бы миф о сказочной республике, витрине Востока, где все цветет и пахнет, где труженики каждый день едят жирный плов и весело танцуют андижанскую польку?

А может, пожалели заодно репутацию известных писателей и журналистов, не только из Ташкента, но и из Москвы, что воспевали ложные достижения деспота, не замечая произвола, рабовладельческого строя вокруг, хотя только пожелай увидеть, выйди из-за богато накрытого стола, шагни в первый переулок безлюдного Аксая…

Или просто дрогнул «Отец», постарел, испугался акмалевских нукеров, услугами которых и сам при случае пользовался?

Все это домыслы, а факты останутся теперь загадкой, тайной для него, не спросишь же об этом прямо у «Отца».

«Но будь моя воля,— усмехнулся Тилляходжаев,— я бы расправился с Ариповым руками Москвы. Такие люди нужны были шестьдесят лет назад в басмаческом движении, когда гуляли в крае, наводя ужас, Джунаид-хан и курбаши Курширмарт, а теперь другое время, иные методы…»

А тут и новые перспективы вроде для некоторых открылись: зачастил в республику с инспекционными визитами зятек Леонида Ильича, генерал МВД. И в степной Каратепа, и в благородной Бухаре, и в святом Хорезме, и в других областях — везде встречали генерала по-хански. Да и как же не встречать, если в Ташкенте его принимали как главу иностранной державы, по высшему рангу, со всеми дипломатическими почестями: военным парадом, пионерами, толпами согнанных на улицы людей, и даже торжественное заседание ЦК посвятили приезду сиятельного зятя,— отчитались как бы перед ним,— стоя приветствовали появление его в зале и президиуме, ладони поотбивали в бурных аплодисментах. И каждый руководитель в областях норовил заручиться его дружбой в своих интересах на будущее и настоящее, в поисках самостоятельного выхода на Москву.

Коротышку в тот раз оттерли от важного гостя, проморгал он момент, хотя заезжал молодой генерал с женой и в Заркент, и принимал

он их не хуже, чем в Каратепа, но откровенно на дружбу не навязывался, держался с достоинством, чем наверняка немало удивил гостя. Тилляходжаев считал генерала выскочкой, временщиком, сделавшим карьеру выгодной женитьбой, как его собственный свояк Нурматов, и понимал, что власть у того, пока жив тесть. У него и своих друзей в Москве хватало, тех, с кем он учился много лет назад в академии: советы и помощь «Отца» оказались кстати, многие его однокашники круто пошли в гору, вот у них перспективы серьезные, основательные, они знают, кто у них в республике настоящий друг и на кого нужно ставить карту, только бы подвернулся случай. Нет, зять, пусть даже и генерал-полковник, первый заместитель министра, это слишком зыбко, несерьезно…

После каждой инспекции новоявленного генерала — в республике кадровые перемещения, своих людей ставил на ключевые посты, даже оттер на вторые роли министра внутренних дел, старого товарища Верховного.

«Может, в противовес им и выпестовал «Отец» хана Акмаля и потому не отдал его на растерзание Москве?» — мелькнула неожиданная догадка. «Отец» — человек дальновидный, мог предусмотреть и этот шанс, нужна узда и для МВД, слишком большая власть у них на местах.

Нет, он ни в коем случае не должен поддерживать смуту и раздор, тянуть одеяло на себя прежде времени, как пытаются делать иные каратепинцы, бухарцы, джизакцы и самые влиятельные — господа ташкентцы, ну, и конечно, Акмаль Арипов, который представляет не область и даже не род или клан, а самого себя. «Я — тимурид!» — гордо заявляет он всем, кто интересуется его родословной, отсюда, мол, у него тяга к власти, могуществу, богатству, и потому кровь его не страшит, а пьянит.

Надо всех вновь вернуть под знамена «Отца»; пусть, уходя, он и определит преемника, вроде как справедливо и у каждого есть свой шанс. Но Тилляходжаев-то знал, что в этом случае возможности у него предпочтительнее, и не только потому, что более образован, родовит, доктор наук, учился в столице, имеет прочные связи и выходы на Москву, а прежде всего потому, что он ближе всех «Отцу» по духу, в этом Коротышка не сомневался.

Серьезные мысли гложут душу, он забывает и про секс-фильм, который не досмотрел, и про Шарофат, и про аппетитный ужин, что специально готовится для него, и даже про золото свояка, полковника Нурматова, в чьей роскошной постели так удобно расположился.

И опять всплывает в памяти вроде как некстати Пулат-Купыр. Как с ним все-таки поступить, впервые всерьез задумывается секретарь. Неплохо бы использовать его авторитет, уважение в народе в своих целях, например, предложить кандидатуру Махмудова «Отцу», тот, наверное, сумеет определить место человеку, не погрязшему в воровстве и бесчестии, порою нужны и такие люди.

И вспоминается ему долгий зимний вечер в Москве в здании представительства, где он провел приятные часы наедине с Верховным, когда уже заканчивал аспирантуру и рвался домой.

Сейчас он не помнит, по какому поводу Верховный высказал эту мысль, да это и несущественно, важно, что она теперь как нельзя кстати всплыла в памяти, считай, спасла Пулата Махмудова от тюрьмы.

«Русские,— говорил «Отец» своим бархатным, хорошо поставленным голосом,— вывели свою аристократию и интеллигенцию в революцию, оставшихся добили в гражданскую, а кто чудом уцелел от того и другого, сгноили в тюрьмах и лагерях или выгнали на чужбину, а двум поколениям их детей закрыли доступ к образованию. Мы должны учесть их опыт и бережно относиться к своей аристократии и интеллигенции».

Выходит, законопать он в тюрьму Махмудова — нарушит наказ своего учителя, пойдет против его воли, а тот может и разгневаться, да если узнает еще, что отец Махмудова, человек благородных кровей, был расстрелян в тридцать пятом году, и распалась семья, род, а теперь, спустя полвека, история повторилась. Да, малооптимистичная получалась картина, за такое «Отец» не погладит по головке.

«Надо придумать что-то другое»,— здраво рассудил он, и, значит, в ближайшие дни ничего страшное не грозило Пулату-Купыру. А там кто знает, настроение у Наполеона переменчивое…

Сегодня ему хочется думать только о приятном, хватит для него изнурительной борьбы с Махмудовым, весь день сломал, выбил из колеи…

И вдруг до него доносится из кухни песня, поет Шарофат,— у сестер Касымовых приятные голоса, об этом знают все в округе,— сегодня у нее хорошее настроение, и он доволен собой, что решил остаться на ночь, хотя дел — невпроворот. И, смягчаясь душой, решает, что не совсем справедлив к нынешнему дню, даже если и попортил ему кровь упрямый Купыр-Пулат.

«Вот если «Отец» сделает меня своим преемником,— предается он вновь сладким мечтаниям,— перво-наперво перекрою всю карту,

сокращу области, оставлю их всего четыре-пять… Ведь правил же краем один генерал-губернатор Кауфман с небольшой канцелярией и без современных средств связи, дорог, автотранспорта, авиации». А взять хотя бы Саида Алимхана, владыку Бухарского эмирата, остатки казны которого перекочевали теперь к нему,— и тот правил с минимальным штатом. И толку будет больше, и меньше конкурентов, а уж пять-шесть верных людей, которые тоже поклянутся ему на Коране, он всегда найдет.

От канцелярии Саида Алимхана мысли невольно переключаются на остатки казны эмира. Коротышка с наслаждением вспоминает, как доставили ему верные люди и ханское золото, и его хранителя, некоего садовника Хамракула, служившего при дворе с юных лет. Сообщение о золоте эмира казалось столь неправдоподобным, что он распорядился немедленно разыскать Хамракула-ака, и того привезли через три часа из района Купыр-Пулата. В обкоме шло совещание, но Юсуф дал знать, что задание выполнено, и Тилляходжаев быстро свернул заседание. Сославшись на экстренные дела, выпроводил всех, и более того, велел помощнику отпустить секретаршу и запереть дверь, чего не делал даже тогда, когда принимал в комнате отдыха женщин.

Увидев золото, много золота, он тут же потерял интерес к старику и не стал задерживать того, хотя поначалу мыслил принять внимательно, с почтением. Он и слушал его вполуха, и ничего толком не запомнил, потом Юсуф пересказал ему подробно: что, где, когда, откуда. В тот момент Коротышка хотел как можно скорее остаться наедине с хурджином, в котором старик хранил остатки эмирской казны. Вначале, ослепленный блеском золотых монет, он намеревался щедро отблагодарить Хамракула-ака, дать ему две-три сотни денег, и даже в душевном порыве полез в карман за портмоне, но в последний момент передумал и велел Юсуфу накормить аксакала и лично доставить его домой,— этим он избавлялся от помощника на весь вечер.

Оставшись наконец один, осторожно высыпал содержимое хурджина на знаменитый ковер,— такая замечательная получилась картина, что хозяин кабинета даже на какую-то минуту пожалел, что никто не видит лучшей на свете композиции — золото на красном ковре! Что там Рубенс, Гойя, Моне, Дали, Рафаэль, Тициан, «Мона Лиза», «Джоконда», «Девятый вал», «Утро в сосновом лесу», реализм, кубизм, модернизм, импрессионизм. Вот он — настоящий импрессионизм, реализм, поп-арт, радует не только глаз, но и душу, золото само есть высшее искусство!

Все шедевры мира вряд ли могли так всколыхнуть его душу, как содержимое грубого шерстяного хурджина, обшитого внутри заплесневелой кожей.

О, как пьянила голову эта картина, ноги сами просились в танец. И он пустился в сумасшедший пляс вокруг сверкающей на ковре груды золотых монет и ювелирных изделий. Никогда он так азартно не танцевал ни на одной свадьбе, как в тот вечер у себя в обкомовском кабинете. Выплясывал до изнеможения, а потом свалился рядом и сгреб все золото к груди. «Мое! Мое!» — хотелось кричать во весь голос, но не было сил — выдохся.

В тот вечер он долго не уходил с работы. Ничего не делал, просто лежал рядом с золотом, осыпал себя дождем из монет, перекладывал их с одного места на другое, строил из червонцев башни, даже выстелил золотую дорожку посреди ковра — удивительно приятное занятие, не хотелось складывать золото на ночь обратно в хурджин и прятать в сейф. Он сейчас прекрасно понимал свояка, полковника Нурматова, пересчитывающего по ночам деньги,— редкое удовольствие, можно сказать, хобби, мало кому в жизни выпадает счастье играть в такие игры.

Он так ясно видел тот вечер, даже слышал звон пересыпаемых из ладони в ладонь монет. О, звон золота! Теперь он знал, как он сладок! Он закрыл глаза, словно отгородясь от предметного мира, чтобы слышать только ласкающий сердце и слух звон, и не заметил, как задремал.

И снится ему, покоящемуся на мягких китайских подушках лебяжьего пуха, под сладкий звон золотых монет, странный сон… Будто идет бюро обкома и входит он к себе в кабинет из комнаты утех в халате из гардероба полковника Нурматова, расшитом золотыми динарами, подпоясанный шелковым пояском, а на груди у него сияют три ордена Ленина и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, которую Шарофат игриво называет «Гертруда», и депутатский значок, естественно,— он поважнее любых «Гертруд» и оттого называется «поплавок», ибо только он гарантирует непотопляемость на все случаи жизни. Такого фирмана нет ни у одного сенатора, ни у одного конгрессмена, ни в какой стране не отыскать, разве только покопаться в прошлом. Поистине императорская пайцза!

«Здравствуйте, я ваш новый император»,— говорит он, низко кланяясь собравшимся на бюро.

«Долой! — взрывается зал.— Не хотим богдыханов и мандаринов! Да здравствуют конституционные свободы!»

Анвар Абидович оглядывает роскошный халат начальника ОБХСС и понимает, что напутал с гардеробом. В паузе он успевает выкрикнуть в возбужденный зал:

«Товарищи, не волнуйтесь, я сейчас»,— и мигом скрывается в комнате отдыха.

Появляется он в парчовом халате, в белоснежной чалме, и на лбу у него горит алмаз «Владыка ночи» невиданных каратов.

«Я решил переименовать Заркентскую область в Заркентский эмират и прошу называть меня отныне — ваша светлость, ваше величество…»

Какой шум поднялся в кабинете, он не помнил таких волнений ни на одном бюро!

«Долой самодержавие! Долой принцев крови! Свобода! Демократия! Долой сухой закон!»

И Коротышку опять словно ветром сдуло из родного кабинета, но не успели остыть страсти, как он снова предстал перед товарищами по партии.

Зеленовато-красный мундир и белые панталоны оказались непривычны ему, да и высокие сапоги с ботфортами жали, но он, придерживая спадающую треуголку (привык, что ни говори, к тюбетейке), твердым шагом прошел к родному столу и рявкнул:

«Начинаем бюро Заркентского обкома».

Какой свист, улюлюканье поднялись за столом-аэродромом — ни дать ни взять какой-нибудь парламент, где депутаты иногда сцепляются в рукопашной.

«Монархия? Нет! Долой карточную систему и талоны! Спиртное народу! На Корсику!» — кричал тишайший начальник областного собеса, и ему вторили все остальные.

Прихрамывая, держа под мышкой треуголку, под которой оказалась наманганская тюбетейка, он вновь поплелся переодеваться. На этот раз выбирал костюм более тщательно. Китель, застегнутый под горло, защитные галифе, мягкие, из козлинки, сапоги. Он еще застал такую униформу и чувствовал в ней себя уютно, надежно.

Вошел в зал задумчиво, заложив кисть правой руки за борт кителя между третьей и четвертой пуговицами сверху. Но что стали вытворять знакомые товарищи, хотя он не успел еще и слова сказать.

«Какие нынче времена! Выгляньте в окно! Нет возврату к галифе и защитным френчам! Да здравствует Карден, Хуго Босс, Зайцев

и Адидас!» — размахивал невесть откуда взявшимся красным знаменем, со знакомым серпом и молотом, грузный, с одышкой, заведующий отделом легкой промышленности.

«Ну ладно,— согласился Коротышка,— у меня осталась еще одна попытка». Видимо, у них на предыдущем бюро сложился какой-то заговор.

Он вновь вернулся к своему гардеробу в комнате отдыха и достал обыкновенную английскую тройку фирмы «Дормей», светло-серую с тонкой голубой полоской. На таком фоне особенно выигрышно смотрелся вишнево-красный, скромный депутатский значок.

И — о Аллах! — как все вдруг переменилось в просторном кабинете с красным ковром! Стало привычно знакомым, родным. Его появление встретили стоя, бурными аплодисментами, взволнованными криками. Но какое тепло исходило от этих здравиц! Каждое знакомое до слез лицо лучилось улыбкой, доброжелательностью, не верилось, что еще полчаса назад они неистово требовали: свободы печати, выборности органов, изменения правовой системы, каких-то конституционных свобод и гарантий — в общем, всякий бред…

«Начнем, товарищи»,— жестко сказал он, занимая карликовый стул, и тут же проснулся…

На кухне продолжала петь Шарофат, рядом на полу лежал халат с драконами, но без золотых монет, и Анвар Абидович успокоился…

А в это время в гостиничном номере томился неведением Купыр-Пулат. Он и представить не мог, какой страшный, многоликий, беспринципный человек противостоял ему.

То, чем Наполеон хотел просто попугать, действительно встревожило Махмудова, обком он покидал в большом расстройстве и смятении,— хозяин области добился-таки желаемого результата.

С приходом Тилляходжаева в область пошла крутая смена кадров, и Махмудов порой не знал, кому позвонить, с кем посоветоваться. Несколько человек из прежней «команды», уцелевших на своих местах и хорошо знавших его, были настолько напуганы силой и влиянием секретаря обкома, что вряд ли в чем помогут, их более всего волновали сейчас собственные кресла. И нравы очень изменились в местной партийной среде,— он остерегался довериться кому-то: где гарантия, что через полчаса разговор не станет достоянием Тилляходжаева, слышал он и такое. Испугало не на шутку и предупреждение об уголовной ответственности. Что это значит?

Как понимать? Уже ждет сфабрикованное дело и готовы присягнуть на чем угодно и в чем угодно преданные лжесвидетели? И такие факты были известны в области. Впрочем, когда в районе вмешиваешься во все хозяйственные и административные дела, нетрудно подыскать и «объективную» причину для возбуждения уголовного дела, ведь реальные условия и потребности сплошь да рядом не стыкуются с законами, а крючкотворы от Фемиды всегда готовы услужить власть имущему. Даже если, по счастью, и выпутаешься из ложных наветов, докажешь, что кристально чист,— окажется, что в партии уже не состоишь, потому что, не дожидаясь решения суда, даже до момента предъявления обвинения, тут же лишаешься партбилета. И долго придется ходить, чтобы восстановиться, а пятно — мол, привлекался к суду — останется на всю жизнь, и место твое уже занято тем, кому оно предназначалось.

Как всякий уважающий себя человек, Пулат ощущал, кроме бессилия, жгучий стыд за происходящее, понимал, что на бюро возникнет вопрос и об ордене Ленина, которым наградили его всего полгода назад. Вот орден ему возвращать ни за что не хотелось,— не поднялась бы рука отцепить с парадного костюма.

В гостинице на Купыр-Пулата накатил приступ глубочайшей депрессии, и он даже рассудил, что лучший выход из создавшегося положения — уйти из жизни; тогда все: грязь, бесчестие, ожидавшее его, его детей, семью,— отпадало само собой. Поддавшись этому настрою, он вполне серьезно осматривал номер, но ничего подходящего для осуществления подобного решения не находил. Не мог он выброситься из окна или прыгнуть под поезд, слишком был на виду в области, ему требовалась тихая, скромная смерть, которая не бросила бы ни на кого тени, особенно на тех, кто организует пышные похороны и назначает детям пенсии. Если бы он оказался в роковой час дома, трагедия могла бы произойти наверняка. У него было прекрасное автоматическое ружье «Зауэр», с которым иногда, по осени, он выезжал на охоту. Дома, в своей комнате он устроил бы все как следует, не дал бы промашки — случайный выстрел, несчастный случай. Но, к счастью, шок вскоре прошел…

Наверное, он быстро справился с депрессией, потому что вспомнил своих сыновей-дошколят, Хасана и Хусана, молодую жену Миассар, сыновей-студентов в Ташкенте, от брака с Зухрой, которым предстояло одному за другим защищать дипломы,— каково им будет без отца? Он помнил свое сиротство, интернаты, хотя до детдома

в данном случае, наверное, не дошло бы,— Миассар сильная женщина. Но беспокойство за судьбу детей заставило взять себя в руки, и мысль о самоубийстве отошла на второй план.

Нельзя сказать, что покой, самообладание вернулись к нему окончательно, Пулат Муминович все еще находился в подавленном состоянии. В его возрасте, положении потерять власть равносильно катастрофе. Больше двадцати лет он был полновластным хозяином района, и вдруг стать рядовым гражданином,— это все равно что прозреть на старости от врожденной слепоты: узнавать заново людей, мир, потому что в голове у него уже сложился его устойчивый образ.

А чем он будет заниматься, добывать хлеб свой насущный, если исключат из партии? Ведь как инженер он давно дисквалифицировался. Пойдет куда-нибудь завхозом с окладом в сто рублей, или все-таки возьмут его инженером где-нибудь в строительстве с зарплатой в сто шестьдесят? Как на такие жалкие деньги прокормить, обуть, одеть семью, дать детям образование? Лавина неожиданных вопросов обрушилась вдруг на него,— о таких проблемах жизни он раньше не задумывался, о существовании некоторых даже не предполагал. Одна безрадостная дума вытесняла другую, и не сулила просвета в будущем, если потеряешь должность, а главное — партбилет.

Что делать? Чем жить дальше? Как сохранить честь и достоинство? Он знает, наслышан о слабости Тилляходжаева, его надменности, наполеоновских амбициях… Если приползти на коленях, присягнуть на верность, покаяться, может, и помилует, известно Махмудову и о таких случаях.

Но не может он представить себя кающимся на кроваво-красном ковре, он запрещает себе даже думать об этом — лучше уж умереть! Как потом считать себя мужчиной, отцом, глядеть в глаза любимой Миассар?

Перебирая новые варианты своей жизни, из которых ни один не обещал радостных перспектив, он пытался убедить себя, что не так уж и страшно работать инженером или рядовым служащим. Живут же миллионы людей на скромные зарплаты, не ропщут и вроде счастливы; но праведные эти мысли не прибавляли радости. И вдруг он сообразил, что, задумавшись о будущем, совершенно упустил из виду последнюю угрозу Первого — возможно, бюро проголосует за то, чтобы отдать его под суд…

За что — он не докапывался; зная местные нравы, не сомневался, что повод всегда можно отыскать или придумать. Этот новый вариант

будущего испугал своей мрачностью, и жизнь в качестве рядового инженера или прораба уже не казалась беспросветной.

Сколько ему могут дать — три, пять, десять лет? Знал, что мелочиться не станут: гигантомания Первого сказывалась и на приговорах строптивым. Но любой срок виделся крахом, нравственной смертью. В области,— правда, не у него в районе,— понастроены лагеря заключенных, и он ведал, какова там жизнь, условия, нравы, знал и о том, что бывшее начальство, особенно партийное, в тюрьмах выживает редко.

В подавленном состоянии, шарахаясь от одной неприятной мысли к другой, просидел он в номере до позднего вечера. Сгущались сумерки, и следовало зажечь люстру, но страх, пропитавший душу, словно отнял у Махмудова силы, парализовал волю, и он, как прикованный, продолжал сидеть в кресле,— темнота в дальних углах просторной комнаты навевала тревогу. Весь день не было и крошки хлеба во рту, но голода он не ощущал, хотя, наверное, сейчас выпил бы; но спускаться в ресторан, встречаться с людьми, где многие его знали, не хотелось. Неизвестно, как долго просидел секретарь райкома в таком настроении и как бы дальше развивались события, если бы вдруг не раздался громкий стук в дверь. Очнувшись от тягостных дум, Пулат-Купыр решил, что это не к нему, в соседний «люкс», но настойчивый стук повторился.

«Неужели так быстро раскрутили дело и меня требуют на срочное бюро?» — подумал хозяин номера и поднялся. Включив свет, он на секунду задержался у зеркала, поправил галстук, прическу, ему не хотелось выглядеть жалким и подавленным перед гонцом…

У двери стоял Халтаев, сосед, начальник районной милиции, рослый, гориллоподобный человек. Несколько лет назад перевели его из соседней области к ним в район, раньше он занимал какую-то высокую должность, да крупно проштрафился, и его убрали подальше от глаз, от людских пересудов. Пока окончательно не угасли страсти по прежнему делу, сидел он в районе тихо, смирно, особенно не высовывался, но с приходом Тилляходжаева расправил крылья, запетушился, нет-нет, да приходилось райкому вмешиваться в дела милиции. На сегодня у них сложились довольно натянутые отношения. Но сейчас, увидев соседа, Махмудов искренне обрадовался: ему хотелось с кем-нибудь поговорить, может, даже излить душу,— такое состояние, как сегодня у него, наверное, бывало в жизни раз или два, не каждый же день мы всерьез задумываемся о самоубийстве.

— У меня тоже в Заркенте оказались дела,— сказал Халтаев, предваряя вопрос хозяина.— За день не управился. Оформляюсь в гостиницу, и тут увидел внизу вашу фамилию. Думаю, дай-ка загляну к соседу, может, понадоблюсь, тем более днем, в обкоме, слышал от помощника, что Первый вызывал вас на ковер.

— Да, было дело,— как можно беспечнее ответил Махмудов, приглашая гостя в номер.

— А может, мы пойдем поужинаем, мне не пришлось сегодня пообедать,— предложил начальник милиции, оглядывая пустой номер.

— Я бы с удовольствием поел и даже выпил, но, честно говоря, идти в ресторан нет настроения. Мне кажется, что если не весь Заркент, то жильцы нашей ведомственной гостиницы наверняка знают, что я побывал на знаменитом ковре, и мне не хотелось бы выслушивать слова соболезнования и сочувствия.

Халтаев испытующе посмотрел на своего секретаря райкома:

— Но не отчаивайтесь так, безвыходных положений не бывает. Просто вы не привыкли к разносам. Вы же у нас в области передовой, прогрессивный руководитель, даже орден Ленина имеете. А у Первого, я его давно знаю, манера такая — сразу любого лицом в грязь. К подобной обработке действительно трудно привыкнуть, тем более с вашим характером и положением…— И тут же, не закончив мысль, предложил: — А если душа просит выпить — выпьем, я с удовольствием составлю вам компанию. Поскучайте еще минут десять один, я спущусь вниз и распоряжусь насчет ужина.

Вернулся он скоро — в сопровождении двух официанток, кативших тележки; через несколько минут пришла и третья, весьма игриво поглядывавшая на хозяина номера, она принесла на подносе спиртное и минеральную воду. Втроем они быстро сервировали стол и удалились.

Махмудов обвел застолье рукой, усмешливо заметил:

— Такой роскошный стол накрывают по поводу удачи, или праздника, но никак не по случаю панихиды.

На эту реплику Халтаев отреагировал бодро:

— Отбросьте черные думы, еще не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Такую глыбу, как вы, своротить и Тилляходжаеву непросто, он же знает, каким вы авторитетом пользуетесь у народа.

— Уже своротил,— устало ответил Пулат и, перелив водку из рюмки в большой бокал для воды, долил его до краев. Халтаев, молча наблюдавший за ним, проделал то же самое.

— Ну, вам не обязательно поддерживать меня в этом,— мрачно пошутил секретарь райкома, на что начальник милиции вполне серьезно ответил:

— Я привык разделять горе и радость тех, с кем сижу за столом. На меня можете положиться, не тот человек Халтаев, чтобы бросить соседа в беде…

Вроде обычная застольная фраза, в иной ситуации, наверное, он пропустил бы ее мимо ушей, тем более зная о своем соседе не понаслышке, но сегодня она теплом согрела душу, и Халтаев уже не казался неприятным.

Махмудов не испытывал особой страсти к спиртным напиткам, тем более редко пил водку,— о чем, кстати, Халтаев знал,— но внутри сейчас все горело, и ему казалось, что алкоголь заглушит тоску, освободит от давящей петли страха.

Он наполнил бокалы еще раз, и снова до краев.

— Знаешь, Эргаш…— секретарь райкома откинулся в кресле,— видимо, водка, выпитая на голодный желудок, на расстроенную нервную систему, действовала мгновенно.— Наверное, кроме тебя, многие знают, что я попал в беду, не зря же помощника Тилляходжаева кличут «Телетайп грязных слухов». Но сегодня волею судьбы за столом со мной рядом оказался только ты. Спасибо. Если выкарабкаюсь, не забуду твоей верности.

— Обязательно выкарабкаетесь,— заверил начальник милиции, и они выпили без тоста, не чокаясь.

— Еще раз благодарю. Но вроде он вцепился в меня крепко — обещал отдать под суд,— не удержался от жалобы хозяин.

— Вас? Под суд? — чуть не поперхнулся боржоми Халтаев.

— Вот именно — меня. Так что помочь ты мне не в силах. А тот, кто может, кто ходит сегодня в фаворитах,— не стучит в мою дверь, как ты. Вероятно, думает: все, сочтены дни Махмудова.

Халтаев слушал внимательно; для могучего организма полковника два бокала водки только разминка, тем более насчет обеда он соврал — его угощали в чайхане жирным пловом.

Чувствуя, что через полчаса соседа развезет окончательно, начальник милиции сказал:

— Зря вы думаете, что я не могу вам помочь. Не знаю, в чем хотят вас обвинить, почему и как вы попали в капкан, но в свое время я оказал Тилляходжаеву такую услугу, что ему ввек со мной не расплатиться. Кстати, это доподлинные его слова, и я тот разговор

предусмотрительно записал на магнитофон. Так что не паникуйте раньше времени,— посмотрим, чей капкан надежнее…— И Халтаев рассмеялся, довольный собой…

— Не в капкане, наверное, дело,— покачал головой Купыр-Пулат.— Скорее всего, мой район приглянулся кому-то из его дружков и он решил его одарить, а может быть, шутя в карты проиграл, ведь, говорят, неравнодушен он к игре.

— Возможно…— уклончиво ответил Халтаев.— Да, я слышал, есть люди, которые за ваше место готовы выложить сто тысяч. Мне даже намекали, кто именно уж очень настойчиво рвется в наш район.

— Сто тысяч…— растерянно повторил Махмудов.— За место первого секретаря райкома?

— Да, сто тысяч. За наш район не грех и двести потребовать, все хозяйства, как одно, прибыльны, греби деньги лопатой. За год все вернуть можно, да еще с лихвой.

От этих слов секретарь быстро стал трезветь:

— И кто же, если не секрет, готов заплатить за мое место сто тысяч?

— Я же поклялся, что готов помочь вам в беде, поэтому какие секреты? Раимбаев из соседнего района. Он председатель хлопкового колхоза-миллионера. Видимо, надоело ему ходить в хозяйственниках, хочет продвинуться по партийной линии,— в Ташкент метит, с большими запросами мужик, и рука мохнатая наверху есть…

— А я живу, как на необитаемом острове,— с горечью вырвалось у Махмудова.

Халтаев взял в руки бутылку, стал наливать бокалы:

— Не расстраивайтесь, сосед. Я и мои друзья не оставим вас в беде. Если надо будет дать отступного за вас — выплатим не меньше Раимбаева. Последнего не пожалеем, но в обиду не дадим…

Хозяина номера эти слова растрогали чуть не до слез.

Они долго еще сидели за богато накрытым столом, клялись друг другу в вечной дружбе и любви. Снова приходила игривая официантка, приносила водку, но чары больше в ход не пускала, поняла, что здесь происходит что-то серьезное и мужчинам не до нее,— работала она тут давно и хорошо чувствовала ситуацию. Пулат Муминович не опьянел ни через полчаса, ни через час, как рассчитывал Халтаев, наверное, разговор его отрезвил или обильная еда: индюшка, казы, курдская брынза, зелень, холодная печень с курдюком и особенно чакка — особая кислая творожная масса — нейтрализовали водку, к тому же он обильно запивал ее боржоми.

Постепенно исчез опутавший душу страх, появился какой-то просвет, и жизнь вроде не казалась такой мрачной, как несколько часов назад. Чем дальше катилось застолье, тем больше он уверялся в возможностях Халтаева. Жалел лишь об одном, что за три года не удосужился узнать конкретнее, на чем же погорел в свое время полковник, какие люди стояли за ним и кому он помог сохранить кресла, уйдя в добровольную ссылку на периферию. Раньше этой «мышиной возне», как он выражался брезгливо, не придавал значения, а выходит — зря.

— Так что мне делать, Эргаш, ждать заседания бюро или уезжать домой? — спросил ближе к полуночи секретарь райкома.

— Какое бюро? Огонь надо гасить сразу. Если дело зайдет далеко, тогда и самому Тилляходжаеву трудно будет контролировать положение, я ведь не знаю, в чем он намерен вас обвинить. Впрочем, как я вижу, вам совершенно чужда закулисная возня, борьба за кресла и должности. Вы счастливчик, вам все досталось на блюдечке с голубой каемочкой, я ведь помню вашего тестя Иноятова. Теперь уж поздно вам учиться играть в такие игры, да и не нужно. Доверьтесь мне, я думаю, завтра отведем от вас беду. Предъявлю и я свои векселя, мне кажется, Первый давно ждет, когда обращусь к нему за помощью, не любит никому быть обязанным и хотел бы поскорее рассчитаться со мной и забыть давний случай. Посмотрим, чья вина, чьи грехи перетянут, хотя готов побиться об заклад, мне он не откажет. Так что, дорогой, спите спокойно, и, как говорится по-русски, утро вечера мудренее. А сейчас я с вами распрощаюсь, пришлю дежурную, чтобы убрала и проветрила комнату, и отдыхайте, набирайтесь сил, завтра нам предстоит сложный день. И последнее, из номера ни шагу, отключите телефон, в обком не ходите, даже если и позовут,— как вы знаете, хозяин скор на расправу.

С тем неожиданно объявившийся полковник и распрощался.

Проснулся Махмудов, как обычно, рано, видимо, многолетняя привычка сказалась. На удивление, голова не болела, хотя он помнил, сколько вчера они выпили с полковником Халтаевым; но душевная тревога, кажется, гасила опьянение. После ухода начальника милиции он принял холодный душ и, разобрав постель, тут же забылся тяжелым сном,— так что осмыслить неожиданно открывшиеся варианты своего спасения не пришлось. Не ощущал он и того гнетущего, животного страха за себя, за судьбу семьи, детей, который изведал вчера вечером до прихода соседа.

Завтрак принесли в номер, наверное, так распорядился полковник, державший себя в гостинице по-хозяйски, что для него оказалось неожиданным.

Халтаев… Он попытался восстановить детали многочасового застолья, задним числом уяснить сказанное начальником милиции, и порою ему казалось — все это мистика, пьяный бред: сто тысяч, Раимбаев, векселя за прошлые грехи нынешнего секретаря обкома…

Он долго и нервно мерил шагами просторный номер. Велико искушение выйти сейчас отсюда и кинуться защищать свою репутацию обычными путями и способами, без всяких закулисных интриг, в которых он действительно не мастак, как вчера подметил Халтаев. Вся мышиная возня, слава богу, прошла мимо него, он не знал ее гнусных правил и знать не хотел. Когда другие интриговали, блефовали, подсиживали друг друга, воевали за посты, он работал, поэтому у него сейчас такой район, что за него какой-то Раимбаев готов выложить сто тысяч. Припомнил полковник ему вчера и Иноятова. Что из того, что Ахрор Иноятович поддержал его вначале, помог стать секретарем райкома? Так ведь работал он сам, ему есть чем отчитаться за двадцать лет, есть что показать, и орден Ленина не за красивые глаза дали!

Откуда пошла у нас эта беда, где ее корни? Любой маломальский чиновник на Востоке, да, впрочем, и по всей стране, но на Востоке особенно, мнит себя бог весть чем, стоит ему только занять начальствующее кресло. Откуда это чванство? Может, оттого, что издавна на Востоке чтился чин, должность, место? А может, от рабской покорности, зависимости младшего по возрасту от старшего? Скорее всего, и то и другое вместе. А откуда казнокрадство, взяточничество, коррупция, почему это все повсеместно расцвело пышным цветом, доведя до нищеты миллионы бесправных, безропотных тружеников? Наверное, не обошлось без доставшихся в наследство традиций, ведь при дворе эмиров, ханов служивый люд, или, как нынче говорят,— аппарат, не состоял на довольствии, из казны не выдавали им ни гроша. Их содержал народ, определенная махалля, район,— и там, в своей вотчине, они и обирали земляков как могли.

Вот почему возникли новые партбаи, сидящие на щедром государственном довольствии и к тому же, как при эмире, еще обдирающие свой же народ до нитки.

Но благородный яростный порыв быстро стихает, и Пулат Муминович, вспомнив наказ полковника, отсоединил телефон от внешнего

мира; он чувствует, что его загнали в угол, понимает, что отчасти виноват и сам, но не видит выхода из этого положения — разве что единственный шанс в руках у полковника Халтаева.

Свободного времени хоть отбавляй, но как-то не хочется размышлять о полковнике: кто он, кто за ним, чего хочет, почему вдруг воспылал любовью к соседу и что попросит в награду за спасение? Секретарь не настолько наивен, чтобы принять участие Халтаева за благородный жест, знает, что чем-то обязательно придется расплатиться.

Но вновь всколыхнувшийся в душе страх гонит разумные мысли. Что-то внутри трепещет от крика: «Выжить! Во что бы то ни стало! Сохранить партбилет! Кресло! Власть!»

И с каждой минутой ему все больше и больше кажется, что не грех и чем-то поплатиться, дать отступного, как выразился полковник.

В сомнениях и борениях с собственной слабостью, нереализованных благородных порывах и страхах прошло немало времени… Он то и дело нервно посматривал на часы, но вестей от начальника милиции все не было, не спешил и гонец из обкома. Подошел час обеда, и истомившийся от неизвестности Махмудов хотел спуститься вниз, в ресторан, поесть и пропустить рюмку,— снова расшалились нервы,— как вдруг раздался стук в дверь.

Махмудов, забыв всякую солидность, чуть ли не бегом кинулся к двери. На пороге стоял щеголевато одетый парень, поигрывавший тяжелым брелоком с ключами от автомашины. Учтиво поздоровавшись, он сказал:

— Меня прислал Эргаш-ака, он ждет вас в чайхане махалли Сары-Таш. Пожалуйста, поспешим, плов будет готов с минуты на минуту.

Машина, пропетляв узкими пыльными улицами старого города, вынырнула к зеленому островку среди глинобитных дувалов, здесь и находилась чайхана, куда пригласили секретаря райкома. Молодой человек провел гостя по тенистой аллее, мимо хауза, где лениво шевелили плавниками сонные карпы, и направился в боковую комнату, умело спрятанную за густым виноградником от любопытных глаз. В комнате царил приятный полумрак. Войдя с улицы, с яркого солнца, Махмудов не сразу разглядел мужчин, просторно расположившихся вокруг накрытого дастархана. Шофер под руку подвел его к айвану и сказал:

— Эргаш-ака, вот ваш гость…

Мужчины суетливо поднялись и поспешили поздороваться с вошедшим, лишь Халтаев остался на месте. Он подозвал щеголя и негромко спросил:

— А как дела в банке, обменял?

— Велели приехать через час,— отрапортовал парень и, бесшумно выскользнув из комнаты, наглухо прикрыл дверь.

За столом хозяйничал полковник: он представил гостя собравшимся мужчинам, правда, никого из четверых не отрекомендовал подробно, просто назвал имя; о самом Купыр-Пулате сказал несколько трогательных слов и, заканчивая, добавил, что их общий долг — помочь благородному человеку, попавшему в беду. Все дружно, шумно поддержали начальника милиции.

Полковник лично разлил водку по пиалам и предложил тост:

— Давайте выпьем, дорогой сосед, за моих друзей, отныне они и ваши, за благородство их сердец,— по первому зову явились на помощь. Я знаю их давно, верные и надежные люди, проверенные делом. За настоящих мужчин!

Потом последовали еще тосты, и даже Пулат Муминович сказал что-то восторженное о полковнике, в тяжелую минуту оказавшемся рядом.

Конкретно о деле — чем помочь, какими методами, через кого — не говорили. Лишь однажды у одного из новых знакомых, Яздона-ака, пьяно вырвалось:

— Нет, я ничего не пожалею для того, чтобы Раимбаев не перекрыл дорогу другу и соседу нашего уважаемого Эргаша-ака, которому мы, здесь сидящие, обязаны всем, что имеем. Деньги? Что деньги, как говорил Хайям — пыль, песок, деньги мы всегда найдем, пока головы на плечах. Важно друзей поддержать, не дать втоптать в грязь имя благородного человека…

Секретарь райкома, как и вчера, растрогался: он ожидал, что сейчас кто-нибудь разовьет тему шире и он узнает наконец что-то конкретное, но Халтаев вновь увел разговор в сторону.

Когда покончили с пловом и дружно налегли на зеленый китайский чай, вернулся парень, доставивший его в чайхану. Он молча, словно тень, появился у дастархана и подал сидевшему в самом центре Халтаеву полиэтиленовый мешочек. То ли подал неловко, то ли полковник принял неумело, а может, сделано это было нарочито — из мешочка высыпались тугие пачки сторублевок в новеньких банковских упаковках.

— Оказывается, сто тысяч в таких купюрах не так уж и много, всего десять тонких пачек… А мы вчетвером целый дипломат денег принесли,— рассмеялся Яздон-ака.

Халтаев метнул недовольный взгляд на Яздона-ака, и гость понял, что тот сболтнул лишнее. Полковник шутки не поддержал, объявил серьезно:

— Вот и мы сегодня явимся в гости не с пустыми руками, и пусть Коротышка докажет, что деньги от Раимбаева лучше, чем от меня, я намерен их внести за своего соседа. А что он любит крупные купюры, так я знаю его давнюю страсть, хотя, как слышал недавно, он уже отдает предпочтение золоту…— И, сложив деньги опять в пакет, полковник небрежно сунул их под подушку, на которой полулежал.

— Можно и на золото поменять, мне как раз на днях двести монет предложили,— упрямо гнул свое Яздон-ака, словно не замечавший недовольства Халтаева.

— Будем иметь в виду и этот вариант,— сказал примирительно полковник, видимо, он не хотел ссориться с Яздоном-ака.

После плова за чаем и беседой прокоротали еще часа полтора. Новые знакомые вспомнили и его тестя, Ахрора Иноятовича,— оказывается, он сыграл в судьбе каждого из них немаловажную роль, и теперь они, в свою очередь, хотели помочь его зятю, тем самым запоздало возвращая человеческий долг. От трогательных слов, историй двадцати-тридцатилетней давности Махмудов, потерявший всякие ориентиры от навалившейся вдруг беды и последовавших за этим событий, умилился окончательно и почувствовал, что он в кругу искренних и сильных друзей. Поэтому, когда Халтаев, спешивший куда-то, неожиданно свернул застолье, Махмудову было жаль расставаться с Яздоном-ака и его товарищами. Они тоже вроде были рады быстро сложившемуся взаимопониманию с секретарем райкома, попавшим в немилость к всесильному Тилляходжаеву.

После приятного обеда на той же белой «Волге» Халтаев доставил соседа в гостиницу. Уезжая, наказал:

— До вечера располагайте временем по своему усмотрению, можете подключить телефон. Позднее, после местной информационной программы «Ахборот», возможно, поедем в гости.

— В гости? — переспросил, недоумевая, Пулат Муминович. Он хотел как можно быстрее внести ясность в свое положение, а не ходить на званые ужины.

— Да, в гости…— подтвердил полковник, улыбаясь.— К самому Тилляходжаеву домой.— И еще уточнил: — Не на прием,

Ка в гости! — Наслаждаясь растерянностью секретаря райкома, добавил насмешливо: — Может, вы предпочитаете встретиться с ним на бюро или один на один на красном ковре?

Секретарь райкома покачал головой. Полковник с каждой минутой открывался Махмудову по-новому. Да, зря он недооценивал своего начальника милиции…

В гостинице его вновь охватили сомнения, хотя страх прошел и он уже не боялся за партбилет, не думал и о том, что могут привлечь к уголовной ответственности,— в возможностях Халтаева он теперь не сомневался. Пытался он вспомнить и своих «новых друзей», поклявшихся ему в верности. Кто они такие, и зачем он им понадобился?

Особенно интересовал его напористый Яздон-ака, видимо, соперничавший в чем-то с полковником.

Пробегала и такая мысль: когда же он утратил реальное ощущение жизни, проморгал, не воспротивился как коммунист взлету Халтаевых, Раимбаевых, Яздона-ака и его хватких компаньонов, между прочим, шутя скинувшихся за обедом по двадцать пять тысяч, и почему, за какие заслуги перед государством, народом взлетел так высоко сам Тилляходжаев, бравший взятки, по утверждению Халтаева, уже преимущественно золотом и торговавший должностями, словно недвижимым имуществом или подержанными машинами?

Но правильная мысль не стыкуется с его нынешними действиями и поступками; те, кого он обличал, и те, на кого сейчас реально рассчитывал, это одни и те же люди. Он чувствовал, что запутался окончательно, и старательно гнал думы, тревожившие совесть. Не стал докапываться дальше до истоков чужих падений и взлетов, поздно вечером решалась его судьба, и она оказалась для него дороже всего на свете, ценнее идей и принципов, которые он проповедовал всю сознательную жизнь. Неожиданно пришла на память пословица, которую он часто упоминал когда-то, работая в отделе пропаганды: «Своя рубашка ближе к телу»,— как он клеймил ею всех налево и направо! Сейчас, дожидаясь в душном номере Халтаева, он признал, что личное для него на поверку оказалось тоже дороже общественного, а ведь от других требовал обратного, за это казнил и миловал, в этом и заключалась суть его работы — вытравливать личные инстинкты, если откровенно. Трудно сознаться себе в подобном, но он честно признал сей факт.

Почему — вопрос иной, хотя тут напрашивался однозначный ответ: впервые он по-настоящему глубоко глотнул страх, почувствовал угрозу своему благополучию, жизни, наконец. Неожиданно

в его невеселых размышлениях промелькнул образ Инкилоб Рахимовны. Она так же печально глядела на него, как смотрела на открытии помпезного филиала музея Ленина на преемников своего дела, среди которых присутствовал и человек, к которому вечером он с Халтаевым поедет в гости. Проницательный взгляд старой большевички уже тогда заметил, что «последователи» нечисты на руку, лживы, циничны и фальшивы. Может быть, в душе она называла президиум того собрания — жуликоватыми поводырями. Как бы сейчас она назвала его, чью судьбу направила сама, рискуя собственной жизнью, кому передала эстафету идеалов,— перерожденцем, конформистом, просто трусом, жалким обывателем? Единственной отрадой служило то, что она не может считать его жуликом — подобным он себя не запятнал.

Шло время, и сохранялся еще шанс навсегда остаться в народе Купыр-Пулатом, что бы с ним ни случилось; но желания предпринять иной шаг, чем рассчитал за него полковник Халтаев, так и не возникало.

Снова в сомнениях, страхах, надеждах, раскаяниях, колебаниях прошло послеобеденное время, и опять сумерки застали его в кресле. Оценивая свое положение за прошедшие сутки, отметил, что исчез только животный страх за жизнь, за судьбу детей, остальные сомнения не убавились; однако сегодня, накануне решающей встречи, он уже вяло сопротивлялся им и не искал контрударов. Можно сказать, внутренне уступил — отдался власти обстоятельств, куда кривая вывезет. Чтобы меньше думать, он встал и включил телевизор; какая-то другая, правильная жизнь, совсем не похожая на то, с чем он вплотную столкнулся в последние часы, ворвалась в номер; контраст был столь разителен, что Махмудов впервые за прошедшие два дня рассмеялся. Ирония судьбы: на экране как раз действовал подобный треугольник — энергичный, весь правильный и умный секретарь райкома, еще более умный, мудрый и справедливый, но крутой секретарь обкома и не ведающий сомнений и страха, кристально чистый бессребреник, полковник милиции, постоянно напоминающий своим подчиненным слова Дзержинского о чистых руках и горячем сердце.

Фильм досмотреть не удалось, а жаль, действовала там и компания, похожая на Яздона-ака и его товарищей, правда, тут они и секретарь райкома четко стояли по разные стороны баррикад; интересно, чем бы все это закончилось? Помешал телефонный звонок. Звонил Халтаев. В знакомом голосе произошли разительные перемены,— он едва ли

не в приказном порядке велел через десять минут спуститься вниз, но полковник уже не удивлял секретаря райкома.

Приехали к Коротышке затемно, когда прошла не только местная информационная программа «Ахборот», но и закончилось «Время» из Москвы. Халтаев объяснил, что шеф задержался на работе. Встречал сам хозяин,— радушно, с улыбкой, вроде и не было у него с Махмудовым позавчера долгого и изнуряющего обоих разговора. В таких особняках, отстроенных для партийной элиты области еще при Иноятове, Пулат Муминович бывал часто и хорошо знал расположение апартаментов, в которых и заблудиться нетрудно.

Комната, в которую их первоначально провели, отличалась скромностью, можно даже сказать — аскетичностью. Видимо, Тилляходжаев любил поражать гостей, слишком уж заготовленной показалась фраза: «Коммунист должен жить скромно», хотя они с полковником ничем не выразили своего отношения к убранству комнаты. Напомнив для начала о скромности, Анвар Абидович извинился, сказав, что должен оставить их на время, помочь жене накрыть стол.

Едва закрылась дверь, Халтаев заговорщически улыбнулся, мол, знаем и твою скромность, и твой демократизм… Надо же, придумал — помочь жене на кухне… Потом жестом и мимикой показал, что их беседу наедине могут записывать на магнитофоне и даже наблюдать за ними каким-то образом, что, впрочем, не явилось для секретаря райкома неожиданностью; все было вполне в духе хозяина особняка: даже прежде чем пригласить за стол, непременно выдерживал в прихожей, мол, знай свое место, понимай, к кому пришел…

Нет, они не сидели молча: полковник, дав понять насчет обстановки, стал оживленно рассказывать веселую байку, которую вроде прервал на пороге дома, причем делал это с таким артистизмом и юмором, что Махмудов в который раз за эти дни подивился разносторонним талантам своего мрачного соседа.

Не зря хвалился вчера Халтаев, будто готов побиться об заклад, что секретарь обкома пойдет на попятную, видимо, действительно крепко сидел тот у полковника на крючке.

Слушая Халтаева, Пулат Муминович вдруг улыбнулся: он вспомнил расположение комнат в доме,— эта никак не могла служить для приема настоящих гостей, видимо, предназначалась для просителей, для визитеров, подобных им, в общем, для камуфляжа — «коммунист должен жить скромно…».

Полковник, вчера и сегодня днем бывший в штатском, сейчас вырядился в парадный мундир, увешанный всякими значками и ромбиками о наличии высшего образования. Ромбиков было два, оба за заочное обучение. В кругу близких людей, под настроение, он весело рассказывал, как все годы, пока учился, преподаватели бегали за его водителем, чтобы тот в срок привез зачетку шефа. Шустрый шофер догадался на третьем году поставить условие: хотите вовремя — гоните и мне диплом. Дали, а куда деваться?..

Только здесь, в комнате, оглядывая ладно сидящий на полковнике мундир, он обратил внимание, что в руках у него нет вчерашнего пакета из банка,— то ли рассовал пачки сторублевок по многочисленным карманам, то ли передал их еще днем, то ли вообще блефовал с деньгами, набивал себе цену,— допускал Махмудов и такой вариант, но додумать на сей счет не дали, появился хозяин дома и широким жестом пригласил к столу.

Стол накрыли в зале, и убранством он разительно отличался от комнаты, из которой они только что вышли, здесь фраза о скромности показалась бы не просто неуместной — смешной. Может, ради этой красивой фразы хозяин и пропускал гостей через комнату скромности? Впрочем, поступки, как и речь хозяина, носили весьма замысловатый характер, все с подтекстом, понимай как хочешь, постоянные тесты на сообразительность.

Большой, ручной работы обеденный стол из арабского гарнитура на двадцать персон был богато сервирован,— чувствовалась рука хорошо вышколенного официанта. Накрыли на троих, во главе стола сел хозяин дома, а слева и справа от него расположились гости; устроились просторно, как на важных официальных приемах. Пулат Муминович успел заметить, что ножки дубового стула хозяина заметно нарастили, и выходило, что он слегка возвышался над сотрапезниками. По тому, как щедро накрыли стол и не больше десяти минут томили их в ожидании, он понял, что Халтаев действительно что-то значил в судьбе Первого, вряд ли для кого другого, при его амбициях, он бы так расстарался.

Впрочем, своего отношения к полковнику он и не скрывал, хотя подробно о причинах своей симпатии к нему не распространялся, устроил так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы: и Халтаева вроде уважил, и Пулату Муминовичу дал понять, что почем. Опять та же тактика, что и позавчера, и хотя держался за столом как гостеприимный хозяин, и на этот раз сказал кое-что в лоб, без обиняков.

Говорил он сегодня мягко, по-отечески, изменились даже обертоны речи, в нем умирал, оказывается, не только писатель, но и прекрасный актер. Вначале обратился к Махмудову, который внимал хозяину молча.

— Я редко меняю свои решения,— говорил Коротышка, как бы раздумывая, грея в руке низкий пузатый бокал-баккара с коньяком на донышке,— и ваши дни как партийного работника, конечно, были сочтены. Но в дело вмешался случай, провидение, я имею в виду Эргаша-ака,— это судьба, удача, я затрудняюсь, как бы точнее назвать. В принципиальных вопросах я тверд. Спроси меня накануне, есть ли человек, могущий повлиять на вопрос о Махмудове, я бы рассмеялся, сказал бы — такого человека нет, ибо я поступаю по партийной совести. Но сегодня я беру свои самоуверенные слова обратно, есть такой человек, и этот человек — полковник Халтаев.

Хозяин полуобернулся к гостю, дружески кивнул ему,— тот не остался в долгу, приложив руку к груди в знак согласия.

— Вчера я говорил так не потому, что забыл своего соратника и друга,— продолжал Тилляходжаев,— а потому, что не подозревал, что он будет ходатайствовать за вас. А я знаю его как верного и испытанного ленинца и потому не могу отказать ему. Но вы должны запомнить, отказать не могу — ему, а не вам, в этом принципиальная разница. Вам еще предстоит заслужить доверие, хотя отныне, пригласив в свой дом, хотел бы считать вас другом, ибо Эргаш-ака просит, чтобы я протянул вам руку помощи.

Даже эти слова не ободрили Махмудова, он продолжал по-прежнему молча внимать хозяину.

— Но я бы оказался плохим партийным работником, если б руководствовался только эмоциями, личными привязанностями,— нам, коммунистам, такой подход претит. Положение с вами настолько серьезное, что придется все-таки держать ваше личное дело у себя в сейфе. А вам даю шанс искупить вину перед товарищами по партии активной работой, чтобы и впредь район был передовым в области. На днях я с турецкой делегацией наведаюсь к вам в район. Уж не ударьте лицом в грязь. В хозяйственных делах вы все-таки дока, чувствуется хорошее инженерное образование, а вот в вопросах идеологии, кадровой политики…— Коротышка демонстративно вздохнул.— Отныне до полного прощения, так сказать, реабилитации, я хотел бы, чтоб подобные вопросы вы решали с Эргашем-ака, у него верный глаз, хорошая идеологическая закалка, он не подведет.

Надеюсь я и на жизненный и партийный опыт, на такт полковника, чтобы он откровенно не подменял вас, не дискредитировал авторитет секретаря райкома в глазах людей… В общем, даю вам шанс сработаться…

Сидели за столом они еще долго, но только первый большой монолог хозяина дома оказался внятным, ясным, без обиняков, и Махмудов понял, что сохранил пост, уцелел, помилован, хотя и попал под контроль Халтаева. Все остальное время,— а говорил только хозяин дома,— опять шла невнятица, абстрактные построения, аллегории, непонятно к кому относящиеся, к полковнику или секретарю райкома с урезанными полномочиями.

Пулат Муминович видел, что начальник милиции, силясь понять старого друга, от натуги даже взмок, то и дело вытирая платочком пот со лба. Чувствовалось, что Анвар Абидович ушел далеко не только в должности,— бывший соратник с двумя дипломами никак не поспевал за ходом его мыслей. Откровенно говоря, ничего не понимал и Махмудов. Хорошо, что ситуация с ним прояснилась с самого начала, ибо в «комнате скромности» липкий страх вновь заполонил его душу, доведя почти до обморочного состояния, и сейчас, когда сомнения рассеялись и все как будто стало на свои места, он ощущал такую душевную опустошенность, такую апатию, что уже плохо соображал. Единственное, чего он сейчас хотел больше всего,— остаться наконец одному, да еще, наверное, выспаться. Ему не хотелось сегодня даже анализировать, что же он на самом деле потерял, чем поступился, а что приобрел взамен. Дружбу с секретарем обкома? Равны ли, оправданны ли потери и обретения? Нет, думать об этом не было никакого желания. Слушать Первого приходилось из вежливости, хотя, наверное, следовало все мотать на ус, но он устал, обессилел, понимал туго, а здесь необходима была игра живого ума, соперничество мыслей.

Однако Махмудов все же уловил намек, что отныне хозяин дома с полковником в расчете и что цена, по которой он вернул долг, якобы чересчур дорогая, ибо ради старого друга он вынужден был поступиться партийными принципами, хотя за точность выводов Пулат Муминович не поручился бы,— такой густой вуалью были окутаны сентенции хозяина дома.

Застолье, больше похожее на вялую игру в футбол в одни ворота, мирно катилось к концу, как вдруг, впервые за вечер, неожиданно вошла жена — та самая, которую Анвар Абидович лично принял в партию, а она узнала об этом, когда он принес ей домой партбилет,— очень

красивая, милая женщина,— и, извинившись за вторжение в мужскую компанию, сказала, что хозяина просят к телефону из Москвы. По растерянному лицу супруги можно было догадаться, что звонили не простые люди. По тому, как сорвался Первый, чуть не смахнув со стола тарелки, Пулат Муминович понял: тот ждал звонка или, по крайней мере, знал, кто его вызывает,— не на всякий звонок, даже из Москвы, он бы кинулся сломя голову.

Вернулся хозяин в зал минут через десять, веселый, взволнованный, а точнее, просто ошалелый от радости, куда и солидность девалась! Довольно потирая руки, велел жене сесть за стол, чтобы обмыть столь важное событие.

Оказалось, звонила Галя, дочь Самого-Самого,— Тилляходжаев гордо задрал в потолок короткий пухлый палец. В прошлом году она с мужем, совершавшим инспекционную поездку по линии МВД, посетила Заркент, и он, конечно лично, показал им все достопримечательности — старые и новые, а прием организовал в летней резиденции бывшего эмира, для чего на время распорядился закрыть музей, чтобы высокие гости в полной мере смогли ощутить время и прошлый размах. И вот частный звонок по личному делу,— значит, не забыла, помнит ханский прием.

Галя со своими близкими друзьями из Союзгосцирка зимой собиралась в Париж, и ее личный модельер предлагал сшить каракулевое манто, скрывающее ее, мягко говоря, не субтильные пропорции; для чего требовался особый каракуль, редчайших цветов, золотисто-розовый с кремовым оттенком, ей даже подсказали название — антик. Видела она, оказывается, подобное манто на одной американской миллионерше и с тех пор, мол, потеряла покой.

— Я ее успокоил,— весело говорил хозяин дома, наполняя бокалы,— пообещал, что у нее будет манто лучше, чем у миллионерши. Тот каракуль американцы наверняка купили на пушном аукционе, а он, как ни крути, из Заркента, такой сорт большей частью поступает за границу от нас. Кстати,— быстро переключился он,— Эргаш-ака, не будем откладывать просьбу Галины Леонидовны в долгий ящик. Я знаю, вы из семьи известных чабанов и понимаете толк в каракуле. Помнится, рассказывали в молодости, что ваш отец некогда отбирал голубой каракуль на папаху Сталину, для парадного мундира генералиссимуса.

— Да, было дело,— ответил растерянно полковник, он еще не понимал до конца, то ли его разыгрывают, то ли действительно звонила дочь Самого.

— Вот вам и карты в руки: пересмотрите во всех хозяйствах каракуль, приготовленный на экспорт и на аукцион в Ленинград, и отберите лучшее из лучшего, один к одному, завиток к завитку, чтобы советская женщина не краснела в Париже перед какими-то американскими миллионершами, а Пулат Муминович даст команду совхозам…

— Хозяин дома, даже не глянув в сторону секретаря райкома, вдохновенно продолжал: — В конце недели я приеду к вам вместе с турецкими бизнесменами, к этому сроку все и подготовьте. А в понедельник лечу на сессию Верховного Совета, сам и доставлю, узнаю заодно, понравилось ли.

С этой минуты, можно считать, застолье только и началось. Если вначале Махмудов думал, что, слава богу, вернется в гостиницу трезвым, то теперь надежды мгновенно улетучились. Хозяина словно подменили,— Пулат Муминович и не предполагал, что он такой заводной. Тилляходжаев поднимал тост за тостом, да за таких людей, что не выпить было просто рискованно, тем более ему, Махмудову, с порочной родословной. Прежде всего выпили за Сталина, носившего папаху из местного каракуля. Потом за мужа Галины Леонидовны, генерала МВД, особенно любившего республику. Выпили и за ее отца. Здравицу в честь него хозяин дома произнес особенно цветистую, жаль, не слышал сам адресат, но, возможно, Тилляходжаев считал этот спич репетицией? А вдруг, чем черт не шутит, придется и за одним столом посидеть, говорят, ничто человеческое генсеку не чуждо, особенно с друзьями, ведь пил же Тилляходжаев с его зятем и любимой дочерью на брудершафт.

Бокалы с шампанским за здоровье великих людей, с которыми, оказывается, хозяин дома был едва ли не накоротке, поднимались раз за разом,— Пулат Муминович потерял им счет. В перерывах между здравицами Тилляходжаев велеречиво рассказывал о своих друзьях-товарищах, называя их небрежно по имени, а сообщал такие подробности их личной жизни, что у Махмудова закрадывалось подозрение: не провокация ли это, ведь речь шла о людях высочайших званий и должностей. Видимо, страшно было не одному ему: перестал неожиданно потеть и полковник, он окончательно потерял ориентиры и несколько раз смеялся невпопад,— пожалуй, и для Халтаева Коротышка сегодня открывался с неведомой стороны.

Хозяин дома пьянел на глазах,— коньяк, шампанское, да еще в невероятных дозах, делали свое дело, это и успокаивало гостей, прошла мысль о преднамеренной провокации. Среди ночи Тилляходжаеву

вдруг захотелось танцевать, и он решил вызвать на дом ансамбль. Гости с трудом отговорили его, заверив, что японский стереокомплекс подойдет как нельзя лучше — он как раз, сияя хромом и никелем, стоял в углу. Включили кассетную деку «Кенвуд», и хозяин потащил всех в пляс,— оргия достигла апогея. Пьян был хозяин, пьяны гости, чуть трезвее выглядел Халтаев; жена, видимо, привыкшая к выходкам мужа, незаметно, еще до танцев, исчезла из-за стола, ее отсутствия Тилляходжаев даже не заметил. Во время национального танца «Лязги», который хозяин исполнял на удивление ловко, с вывертами, вскриками, он вдруг вспомнил еще про одного своего приятеля-покровителя и снова потащил всех к столу. Но последний тост сказать ему не удалось, фамилия всесильного товарища давалась тяжело и на трезвую голову, а заплетавшемуся пьяному языку она и вовсе оказалась не под силу. Коротышка упрямо пытался преодолеть труднопроизносимый звуковой ряд и вдруг как-то мягко осел, отставив бокал в сторону, и уютно упал грудью на белоснежную скатерть.

Тут же из боковой комнаты появился дюжий молодец и объявил:

— Все, отгулялись на сегодня, ребята. Ступайте по домам, да поменьше болтайте, недолго и языка лишиться.— Неизвестно откуда он неожиданно достал и протянул удивленным гостям коробку, где лежали две бутылки «Посольской» водки и закуска.— Я знаю, вы в гостинице живете, так вот, чтобы утром искать не пришлось. Шеф не любит, когда у его друзей голова болит. Традиция в доме такая…

На улице стояла уже кромешная тьма, но под фонарем их ожидала белая «Волга». Водитель, пристроив под голову чапан, сладко спал, видимо, понимая, что гости могут загулять и до утра.

В машине Халтаев вдруг совершенно трезвым голосом сказал:

— Да, повезло нам с вами, дорогой сосед, крепко повезло…

Секретарь райкома подумал, что полковник имеет в виду удачное разрешение его проблемы и то, что он теперь в дружбе с самим Тилляходжаевым, поэтому легко согласился:

— Конечно, Эргаш-ака, повезло. Спасибо.

Халтаев вдруг нервно рассмеялся.

— Я не это имел в виду… Вам действительно повезло. Я и не знал, что мой старый друг так высоко взлетел, с такими людьми общается-знается… С кем дружбу водит и кто ему так запросто домой звонит! Да если б я знал, разве сунулся бы со своими старыми счетами, пропади они пропадом? При нынешних связях он бы и меня, как и вас, в порошок стер, в тюрьме сгноил. Повезло, что и говорить — нарвались

на хорошее настроение, не забыл, выходит, моей старой услуги, хотя мне теперь и напоминать о ней не стоило… Да уж ладно, Аллах велик, сегодня пронесло… Я ведь года три-четыре не видел его, а как вознесся человек, подумать страшно…

Пулат Муминович, делая вид, что задремал, не ответил, не поддержал разговора. Теперь многое стало ясно из туманных разглагольствований Коротышки: тот откровенно запугивал и ставил на место не только его, но и своего старого друга, видимо, когда-то спасшего его самого от крупной неприятности. И еще он понимал, что тайну, связывавшую этих двоих, не узнать никогда: полковник не рассказал бы об этом никому даже под страхом смерти, ведь цена тайны равнялась его жизни.

Вот как, оказывается, расшифровывалась одна двусмысленная притча с аллегориями, что рассказывал хозяин дома в начале вечера, только сейчас Махмудов получил ключи к отгадке. Что ж, придется в будущем держать ухо востро: не прост, ох как не прост секретарь обкома — по-восточному хитер и коварен.

У гостиницы договорились, что водитель заедет за ними утром попозже, часам к десяти, и они вместе возвратятся домой.

Халтаев напоследок достал из отъезжавшей «Волги» забытую соседом коробку и предложил:

— Давайте зайдем ко мне, выпьем по-человечески. Я окончательно протрезвел после звонка из Москвы, да и от всех речей натерпелся страху,— самое время пропустить по рюмочке «Посольской».

Но Махмудов отказался, сославшись на тяжелый день и, распрощавшись, поспешил к себе в номер — ему не терпелось остаться одному. Несмотря на позднее время, сразу направился в душ, он просто физически ощущал, что вывалялся в какой-то липкой, зловонной жиже, и теперь ему не терпелось отмыться. Чувство гадливости не покидало даже после душа, и вдруг его начало мутить, он едва успел вбежать в туалет. Рвало его долго, но он знал, что это не от выпивки и не от переедания — тошнило от брезгливости, организм не принимал его падения, унижений, компромиссов, конформизма, душа жила все еще в иных измерениях.

Ослабевший, зеленый от судорог и спазмов, он добрался до телефона и позвонил ночному диспетчеру таксопарка. Назвавшись, попросил машину в район. Минут через двадцать подъехало такси, и он, не дожидаясь утра, отправился домой, ему не хотелось возвращаться в одной машине с полковником.

ЧАСТЬ III

Татарский банк. Полковник с особыми полномочиями.
Провидец из Алма-Аты. Тайная власть Яздона-ака.
Парчовый халат для министра рыбной промышленности.
Убийца из Верховного суда. Шурик, Жираф,
Святой, Карлик и другие. Реквием и аяты по Купыр-Пулату.

Через год после памятной пьянки в доме секретаря обкома Пулат Муминович отдыхал у моря, в санатории «Форос», недалеко от Ялты. Прекрасная здравница закрытого типа, на берегу, в роскошном саду, рядом проходит граница, что весьма кстати для важных отдыхающих — посторонних тут нет, одна вышколенная обслуга, контингент однороден — партийная номенклатура. Работают в своей среде, живут среди себе подобных и отдыхают так же замкнуто, кастово.

Здесь он познакомился с одним высокопоставленным работником аппарата ЦК Компартии Казахстана: сдружились они при весьма любопытных обстоятельствах. Пулат Муминович на второй день отдыха, после ужина, одиноко стоял возле розария, раздумывая, куда бы пойти, то ли в кино, то ли в бильярдную, и тут к нему подошел этот самый человек и поздоровался на чистейшем узбекском языке. Махмудов искренне обрадовался, решив, что и здесь нашелся земляк, но тот, представившись, объяснил, что он родом из Чимкента, где бок о бок давно, столетиями подряд, живут казахи и узбеки.

Не успели они разговориться, как новый знакомый вдруг заявил, вроде бы некстати:

— Как велика сила дружбы народов, как она расцвела!

От неожиданности Махмудов чуть не выронил бутылку минеральной воды, что давали им на ночь. «Мне только пустой трескотни недоставало на отдыхе»,— подумал он, теряя интерес к импозантному товарищу и сожалея о знакомстве.

Но тот, умело выдержав паузу, продолжил:

— Посмотрите, вон два якута, они не спеша отправились в бильярдную. Вот шумные армяне столпились вокруг рослого мужчины в светлом костюме, а грузины расположились в той дальней беседке, они облюбовали ее сразу, сейчас, наверное, кто-то принесет вино, и они будут петь грустные, протяжные песни. Дальше степенные латыши в галстуках чинно выхаживают по аллеям, их чуть меньше, чем армян и грузин, эстонцев приблизительно столько же, но пока они избегают тесных контактов и с латышами, и с литовцами, я наблюдаю за ними уже неделю. А вот украинцы, их так много, что они держатся несколькими компаниями. Расклад можно бы продолжить, но остановлюсь — вы и сами все видите. Остается — Восток, Средняя Азия, вот я и присоединился к вам, теперь и мы наглядно демонстрируем великую дружбу народов.

— Не боитесь? — спросил Махмудов на всякий случай, словно осаживая нового знакомого, страшась провокации.

— Нет, не боюсь. Область национальных отношений — моя профессия. Я доктор наук, крупный авторитет в республике,— улыбнулся тот.

— Любопытно, в своих трудах вы излагаете подобные же мысли?

— Упаси господь, идеология — одно, а жизнь — другое. Мы, ученые, вроде соревнуемся, кто дальше уведет ее от реальности.

— Ну, вы-то преуспели, доктор, все-таки…

— Не скажите, кто преуспел — уже академик, членкор…— и оба рассмеялись.

Злой, острый ум оказался у нового знакомого, жаль, что цинизм разъел его душу, подумал в первый же вечер Махмудов.

Нет, сегодня он вспомнил К. совсем не из-за возникших в стране осложнений национальных отношений. В том году даже сам К., наверное, не предполагал развития столь бурных событий в родной Алма-Ате. Мало кто, если честно, кроме армян и азербайджанцев, знал о существовании Карабаха; кто мог предвидеть обострение национальных проблем в республиках Прибалтики.

Пулат Муминович вспомнил К. по другому поводу. Работал тот в аппарате ЦК долго и собирался там просидеть до глубокой старости. Надежно, выгодно, удобно — даже лучше, чем в сберкассе,— так шутил сам К. За годы работы в аппарате, сменив несколько параллельных отделов, К., как никто другой, знал закулисную жизнь партийной

элиты, высших эшелонов власти в республике. В том, что он умен, наблюдателен, ему нельзя было отказать. Темой он владел — по выражению самого К.

Конечно, постоянно общаясь, они не могли не обсуждать положение дел у себя в республиках, не говорить о своих лидерах, известных в стране, между которыми шло негласное соревнование во всем. Один из них остро переживал свое затянувшееся не по сроку кандидатство в члены Политбюро,— оба отдыхающих это хорошо знали.

Пулат Муминович, находящийся с прошлого года в щекотливом положении и человек куда более осторожный, чем К., больше слушал, мотал на ус, отдавая инициативу разговора товарищу из Алма-Аты. Всякий раз, если вопрос заострялся, он раздумчиво говорил:

— Уважаемый К., что я могу знать из своего районного захолустья? Мое дело — привесы, надои, центнеры, посевная, уборочная, тепло, газ, жалобы низов. Большая политика идет мимо нас, она творится в столицах — людьми не нам чета…

Аппаратчик из Казахстана, конечно, догадывался, что коллега уходит от разговора, но у каждого в жизни свои резоны, а время тогда еще не располагало к откровениям. Впрочем, не исключено, что К. знал об Узбекистане гораздо больше, чем Махмудов, родом он был из Чимкента, а это всего в полутора часах езды от Ташкента.

Как бы там ни было, разговоры К. постоянно крутились вокруг острых и опасных тем, что не раз настораживало секретаря райкома с урезанными правами, но, видимо, что-то жгло того изнутри, и он не мог уже носить все это в себе. Да, рискованные они вели тогда беседы…

Однажды по какому-то поводу у Пулата Муминовича вырвалось:

— А у нас все дела, особенно кадровые, решает только Первый, секретарей ЦК меняет по своему усмотрению…

К. задумчиво произнес:

— Это же прекрасно — сам решает проблемы.

Махмудов вспылил:

— Не пойму, все это похоже на беспринципность! То вы за коллегиальность, за партийную демократию, то за ханское единовластие, что же тут хорошего?

К. не растерялся, видимо, он был готов к подобной реакции.

— Дело в том, мой дорогой курортный друг, что у нас республикой руководит не только Первый, а и его помощник, вот что ужасно. Секретарями ЦК, депутатами помыкает, по существу, авантюрист,

казахский Гришка Распутин. Беспринципный и алчный человек, он даже личную почту Первого из Москвы вскрывает. Какие тут могут быть государственные тайны…

— Как — помощник? — Махмудов едва не поперхнулся. Он не верил своим ушам; скажи это другой, он бы поднял того на смех. Но К. знал, что говорил, и не верить ему было нельзя.

— Да, да, помощник, самый простой! Для полной объективности надо добавить еще одного человека, имеющего на Первого тоже огромное влияние. Некий полковник, начальник особого патрульного дивизиона ГАИ, сопровождающий главу республики повсюду. Вот они вдвоем, опираясь на свои джузы, по существу, и правят Казахстаном.

В тот вечер в Форосе Махмудов долго анализировал услышанное от К.; тот даже не взял слова, что разговор останется между ними, как заведено в подобных случаях. Но сомнения разрешились неожиданным образом: он вспомнил, что однажды в «Правде», осенью 1964 года,— он и сейчас ясно видел этот разворот, третью страницу, такое она произвела на него впечатление — читал большую уничтожающую статью о главе Казахстана, о методах его руководства, вовсе не изощренных: он просто во всех областях посадил родственников, друзей, людей из своего джуза — и они назывались в газете пофамильно, хотя длинный список включал лишь секретарей обкомов, горкомов и должности на правительственном уровне.

И вот, почти через двадцать лет узнав от К. о новом витке правления старого лидера соседней республики, он не удивился,— все сходилось, так оно и должно было закончиться…

Сейчас, глубокой ночью, во дворе своего дома Пулат Муминович вспомнил о Форосе, уже зная о декабрьских событиях в Алма-Ате, когда всплыло все и подтвердилось сказанное пять лет назад К. о Первом и о помощнике, и о полковнике, и даже такое, о чем вряд ли догадывался и сам К. На деле и соперничество с Верховным из Ташкента оказалось показным, на публику,— они вполне ладили между собой. Известно, что Первый из Казахстана отправил в Ташкент на воспитание своего племянника, совсем в традициях ханского Востока. И племянник получил пост одного из начальников общепита столицы. Непосвященный может усмехнуться — тоже, мол, пост. Однако не следует торопиться с выводами,— владыка знал, чем одаривал. Только один из подчиненных этого племянника, некий Насыр-ака, возглавлявший районный общепит в Старом городе, на свои личные

деньги построил под Ташкентом свинокомплекс стоимостью полмиллиона рублей. С размахом был человек! Удвоил, утроил бы свой капитал, да времена изменились,— пришлось государству взять на баланс нигде не зарегистрированный объект.

И соревновались-то оба руководителя, кто больше государственных денег растранжирит, кто больше пыли пустит в глаза. Построил, например, Верховный в Ташкенте баню в восточном стиле, причудливой архитектуры, так Первый тут же отгрохал в Алма-Ате более современный и комфортабельный комплекс с банями, саунами, бассейнами, «Арасаном» назвал.

Надо отдать должное, ташкентский хан почти всегда опережал алма-атинского, но зато казахский строил роскошнее. Правда, по двум объектам Верховный перещеголял своего алма-атинского приятеля: такого сказочного Дворца дружбы народов и роскошного филиала музея В. И. Ленина не только в Алма-Ате, во всей стране, пожалуй, не сыскать. Попытался ташкентский хан затмить и славу горного спорткомплекса «Медео», бросил силы и мощь на Чимган, да не успел…

Но Пулат Муминович все-таки вспомнил Форос по другому случаю — потому что там еще раз решалась его судьба, его жизнь.

Нельзя утверждать, что после памятной ночи в доме секретаря обкома жизнь его круто изменилась, перемен никто не заметил, даже Миассар, разве что чаще стал наведываться в дом Халтаев, но это отнесли за счет соседства.

Его положение даже укрепилось,— секретарь обкома не раз в официальных выступлениях ставил его район в пример, называл его хозяйства «маяками» в области, а в застольях открыто провозглашал Махмудова другом, примерным коммунистом.

За год Наполеон пять раз посетил его район и всякий раз приходил домой в гости, при этом ни разу не заглянув к Халтаеву, хотя знал прекрасно, что тот живет через дувал; ему было ведомо, что в районах не только каждый шаг Первого оценивается, а даже жест.

«Я должен поддерживать ваш авторитет»,— самодовольно говорил Коротышка секретарю райкома, похлопывая его по плечу.

Не ощущал Махмудов и назойливого опекунства Халтаева; может, выжидал, присматривался полковник, а может, за его спиной, от его имени что и делал,— ведь слух, что теперь он в друзьях с секретарем райкома, тоже пронесся в округе. Серьезных стычек с соседом не было, но под нажимом полковника пришлось все же отдать общепит района Яздону-ака. Через полгода объявился еще один

товарищ Яздона-ака, Салим Хасанович, из тех, что обедал тогда в чайхане махалли Сары-Таш,— ему пришлось уступить райпотребсоюз. Хотя вроде и не выпускал бразды правления секретарь райкома, но с каждым днем все больше и больше ощущал себя марионеткой в чужих руках. Это сознание мешало жить, чувствовать себя мужчиной, человеком, иногда, в особо черные минуты, посещали даже мысли о самоубийстве…

Пятый визит Коротышки в район и послужил причиной очередной депрессии. Случилось это за месяц до отъезда в Форос.

Прибыл он в район неожиданно, без предупреждения, и не один, хотя обычно помощник ставил в известность о поездке своего шефа, давал указания насчет обеда, выпивки, советовал, кого пригласить за стол, а кого, наоборот, не допускать. Впрочем, секретарь обкома появился в тот недоброй памяти день даже без помощника; потом-то стало ясно, чем был вызван поспешный наезд гостей.

Прибыли они в «Волге» аксайского хана, тогда Пулат Муминович впервые и увидел того, хотя слышал о нем много, слишком много. Белую «Волгу» эскортировала юркая машина защитного цвета, на манер военных джипов, и держался джип чуть в отдалении, старался не лезть в глаза. И возле райкома пятеро человек из машины сопровождения стояли особняком, но не спускали глаз со своего хозяина. Все рослые, крепкие, как на подбор, мужчины, у одного на боку висела японская переговорная система, а если внимательно вглядеться, можно было заметить, что они вооружены, впрочем, две автоматические винтовки лежали на заднем сиденье автомобиля, и чувствовалось, что их не таили.

Нукеры — постоянная свита хана Акмаля, на этот раз необычно малочисленная.

У Пулата Муминовича, увидевшего несколько смущенного Наполеона и державшихся в тени платана людей Арипова, сложилось впечатление, что аксайский хан заскочил на минутку в Заркентский обком, вырвал хозяина из кресла и, не слушая его возражения, заставил ехать к нему в район.

Вот только зачем? Впрочем, догадка его оказалась абсолютно верной, так оно и было на самом деле.

— Ну, Пулат Муминович, с тебя причитается. Какого гостя к тебе привез, знакомься.— Коротышка пытался скрыть растерянность и оттого бодрился, желал выглядеть в глазах Арипова могущественным на территории своей области.

Плотный, коренастый человек, очень просто одетый, не пряча усмешки, явно относящейся к хозяину области, подал Махмудову руку и с достоинством сказал:

— Арипов Акмаль. Много слышал о вас и о вашем преуспевающем районе. Еду в Назарбек по делам, по пути решил заглянуть к вам, а мой старый друг, Анварджан, вызвался меня сопровождать. Уж не обессудьте, что без приглашения, без предупреждения нагрянули.

— Добро пожаловать! — Махмудов широко распахнул двери для незваных гостей, чувствуя, что визит ничего хорошего не сулит.

В кабинете, то ли по рассеянности, то ли намеренно, Коротышка занял кресло хозяина кабинета, и секретарь райкома приткнулся сбоку стола, рядом с телефоном. Маневр не остался не замеченным Ариповым, и он снова усмехнулся. Очень выразительная усмешка, она порою говорила больше слов; эта означала: ну что ты передо мной пыжишься, хозяина области корчишь, коротышка пузатый.

Восточные люди сразу не приступают к делам, и никакой спешке тут нет оправдания, традиции превыше всего, но Анвар Абидович и тут, желая взять разговор под контроль, не справился ни о здоровье, ни о детях, заговорил о племенном конезаводе, которому только полгода назад дал обкомовское «добро». Столь стремительное начало обескуражило даже Арипова, и он невольно переглянулся с хозяином кабинета, и опять усмешка скривила его губы, на этот раз она означала — ну что с него взять, хам есть хам, если он даже о здоровье друга не справился.

Представляя Махмудова, Коротышка отрекомендовал его хану Акмалю как одного из своих близких друзей.

— Акмаль-ака,— начал он с места в карьер,— интересуется твоим конезаводом. Мог бы помочь, подсказать что-то дельное, наверное, слышал, что у него в Аксае есть несколько сотен прекрасных лошадей, а полусотне из них, как говорят знатоки, цены нет. Повезло, что сосед решил взять над нами шефство…

«Чего это его вдруг на шефство потянуло?» — мелькнула у Махмудова тревожная мысль. На филантропа Арипов мало походил, из того, что он слышал о нем, следовало вообще избегать контактов с подобным человеком и радоваться, что находишься не в орбите его интересов. И нукеры, сопровождающие хозяина, на специалистов по коневодству не походили, за версту чувствовалось — лихие люди, днем, не таясь, с винтовками разъезжают, хотя и в штатском.

— Ну, какой у нас конезавод? — поскромничал Махмудов. Мы же только начинаем — и десятой доли того, что в Аксае в табунах пасется, нет. Вот года через три, я думаю, нам будет чем похвалиться, надеемся выйти на мировой рынок. А за то, что решили нам помочь, спасибо. Я готов послать к вам своих специалистов и, прежде всего, взять на учет всех ваших элитных лошадей, ведь, сами знаете, в племенном деле селекция главное,— ответил он, давая понять, что на конезаводе гостям делать нечего.

Видя, что разговор принимает не тот оборот, хан Акмаль строго глянул на Коротышку и вновь презрительно усмехнулся — мол, к чему эти реверансы, шефство, чушь собачья, скажи честно, зачем приехали.

Напряжение, на миг возникшее в кабинете, разрядила секретарша, пригласив к чаю. Во внутреннем дворике райкома, в саду, накрыли стол. И за столом важный гость делал намеки секретарю обкома, что пора переходить в атаку, а не ходить словесными кругами вокруг да около. Непонятно почему, но тот не решался сказать открытым текстом о цели приезда аксайского хана. Только уже вставая из-за стола, оправдывая свое малодушие, обронил нехотя:

— И все-таки, дорогой друг, покажите нам, с чего начинаете, тайн от секретаря обкома у вас не должно быть.

На конезавод, расположенный в колхозе «Москва», прибыли через полчаса. Когда входили на территорию, Пулат Муминович заметил, что вслед за высокими гостями двинулись люди из джипа, до сих пор они держались в отдалении.

Неожиданных визитеров встретил директор Фархад Ибрагимов, известный в прошлом не только в стране, но и за рубежом, наездник. Увидев Арипова, он побледнел и укоризненно посмотрел на своего шефа, мол, что же ты меня не предупредил. Фархад поздоровался со всеми за руку, но Арипову руки не подал, вроде как не заметил. Пулат Муминович отметил, как от гнева пятнами покрылось лицо аксайского хана, но он сдержался, затаив обиду.

Махмудов знал, что пять лет назад хан Акмаль пригласил Фархада к себе на работу, но, пробыв две недели в Аксае, несмотря ни на уговоры и щедрые посулы, ни на угрозы, он ушел, сказал: «Я холуем не могу служить и за полторы тысячи рублей»,— такую щедрую ставку определил ему аксайский хан. Крепко они повздорили тогда в конюшне, где стояли любимые лошади хозяина. Хан Акмаль по привычке замахнулся плетью, как делал много раз на дню,

хотел ударить строптивого Ибрагимова, да не вышло: тот перехватил плетку, сломал ее и бросил в денник к необъезженной лошади. Поздновато вбежали телохранители, успел испортить настроение хану бывший наездник, прокричал в лицо все, что о нем думает. Фархаду крепко тогда намяли бока,— с месяц валялся в больнице. И вот теперь им пришлось встретиться здесь…

«Не в больницу его надо было отправить, а в мою подземную тюрьму и приковать цепью к решетке»,— зло подумал хан Акмаль, не ожидавший увидеть здесь своего бывшего конюшенного.

Процессия медленно двинулась вдоль денников. Молодняк шарахался, косил глазом, испуганно ржал — такого количества людей в конюшне еще не видели. Фархад особенно оберегал эту ферму, боялся любой инфекции, не любил, когда подкармливали доверчивых скакунов; здесь стояли лучшие лошади, его гордость и надежда.

Коротышка на конезавод приехал впервые и теперь вроде сожалел, что не может сам представить высокому гостю хозяйство, но по привычке шел впереди и отделывался восторженными словами:

— Смотри, Акмаль, какой красавец!

Или:

— Вот это жеребец, настоящий Буцефал!

Но хан Акмаль не слышал никого, забыл даже про Фархада, взгляд его тянулся вперед. Как только прошли в глубь конюшни, он чуть ли не бегом кинулся вдоль свежевыкрашенных денников.

— Вот он, Абрек! — закричал вдруг он радостно и, не дожидаясь торопившегося следом секретаря обкома, вошел в стойло к знаменитому жеребцу.

Фархад не ожидал от гостя такой прыти. И невольно крикнул:

— Выйдите немедленно из клети! Абрек в карантине!!

Но хан Акмаль уже ничего не слышал, он гладил шею гнедого красавца и шептал, как одурманенный:

— Абрек, милый! Конь мой золотой, я нашел тебя…

И странно, строптивый Абрек, мало кого подпускавший к себе, склонил к нему изящную шею и терся нежной губой о лицо Арипова.

— Признал, признал меня сразу! — ошалело завопил Арипов.

Меж тем все собрались у денника и с удивлением глядели на эту сцену.

Фархад попытался войти в клеть, но Пулат Муминович, почувствовав недоброе, ухватил Ибрагимова за руку и удивился, как трясло от волнения бывшего жокея.

Прошло пять минут, десять,— хан Акмаль, словно забыв про людей, продолжал разговаривать с Абреком. Коротышка обратился к хану раз, другой, но тот его не слышал, а войти в стойло к Абреку секретарь обкома не решился, слышал, что Абрек неуправляемый жеребец, его боялись даже конюхи.

Пока все с удивлением наблюдали, как гордый Абрек ластится к незнакомому человеку, люди из джипа подошли вплотную к деннику, и Арипов, неожиданно повернувшись, властно приказал:

— Уздечку мне!

Кто-то из сопровождавших услужливо подал необыкновенной красоты уздечку, тяжелую от серебряных шишаков и ярко-красных полудрагоценных камней.

— Нравится? — спросил Арипов, все еще продолжая играть с Абреком, и конь как бы согласно кивнул головой и легко дал взнуздать себя.

Люди в проходе конюшни аж ахнули — Абрек не был так покорен с конюхами, выхаживавшими его с рождения. Удивительное понимание и власть над лошадью демонстрировал хан Акмаль, наверное, он ладил с ними лучше, чем с людьми.

Фархад завороженно, как и все, наблюдал сцену в деннике и удивлялся поведению непокорного Абрека,— он-то знал знаменитого ахалтекинца совсем другим.

Но когда хозяин Аксая стал выводить лошадь под уздцы из стойла, Фархад словно скинул пелену наваждения и кинулся навстречу с криком:

— Не дам! Не смейте!

Раскинув руки, он прикрыл собой проход из денника, не давая хану Акмалю возможности выйти с конем. Все случилось так неожиданно, всех так размагнитила сцена игры с Абреком, что телохранители аксайского хана замешкались. Опомнились они только тогда, когда Арипов сам с силой толкнул Фархада в грудь и приказал:

— С дороги, собака!

Но тот и не думал выпускать незваного гостя с конем. Хан Акмаль увидел те же пылающие гневом глаза, что и пять лет назад, когда избивали в Аксае бывшего чемпиона.

— Чего стоите? Уберите этого сумасшедшего! — распорядился он, и нукеры втроем навалились на Фархада сзади.

Не успел Арипов сделать с Абреком и десяти шагов к выходу из конюшни, как Фархад, разбросав державших его людей, вырвался и, догнав, вцепился в уздечку.

— Нет, Абрека ты для своей прихоти не получишь! Конь принадлежит государству!

— Какому государству? — издевательски переспросил хан Акмаль.

И вдруг он в мгновение ока налился злобой. Лицо вновь пошло красными пятнами, видимо, вспомнил свое унижение, когда этот конюх, лошадник, полчаса назад не подал ему руки, и неожиданно для всех окружающих он ударил плетью, которую никогда не выпускал из рук, Фархада прямо по лицу. Страшной силы удар рассек бровь и задел левый глаз. Фархад невольно прикрыл глаза ладонью, а обезумевший от злобы аксайский хан продолжал стегать его плетью. Первым кинулся спасать директора конезавода Коротышка, он ближе всех находился к высокому гостю, но хан Акмаль резко оттолкнул его, мол, не вмешивайся не в свои дела. Секретарь обкома знал, что в гневе тот может забить человека до смерти, и вновь попытался остановить разошедшегося любителя чистопородных скакунов.

— Ах, и ты, оказывается, заодно с ним! — вдруг взъярился гость и стеганул плетью Коротышку, да так сильно, что пиджак на его плечах с треском лопнул.

Тут уже распоясавшегося хана сгреб в охапку Махмудов, подоспели и другие на помощь.

Страшная, жуткая до неправдоподобия сцена, но ни прибавить, ни убавить. Махмудову и сегодня неприятно вспоминать об этом…

Откровения К., из которых следовало, что даже такой большой человек, член Политбюро, Первый секретарь ЦК огромной республики,— марионетка в руках помощника-авантюриста и полковника из ГАИ, представляющих родовые кланы, сняли напряжение с души, мысль о самоубийстве как-то пропала сама собой.

«Что я хочу изменить, чего добиться,— рассуждал он в ту бессонную ночь под шум штормящего моря,— если люди надо мной, проповедуя одно, живут и думают совсем иначе?»

Конечно, он, как и всякий другой человек, живущий в республике и мало-мальски соприкасающийся с рычагами власти, был наслышан об Арипове. Но все казалось таким бредом, нелепицей, что не хотелось верить, да и мало походило на правду. Говорили, что однажды в Аксай не пустили нового секретаря обкома партии.

Такие же парни из джипа спросили у шлагбаума, которыми была обставлена вся территория Арипова:

— Кто такой, зачем, с какой целью?

И хотя обкомовская машина с тремя гордыми нулями говорила сама за себя, секретарю обкома, как мальчишке, пришлось объяснять, кто он такой и по какому поводу едет в Аксай. Но ни доклад, ни предъявление документов не помогли.

— Отправляйся, дядя, домой и запомни: к нам ездят только по приглашению. А сегодня Акмаль-ака занят, велел не беспокоить.

Так и отбыл хозяин области, член ЦК, депутат Верховного Совета СССР, не солоно хлебавши.

Через несколько дней произошла еще одна стычка с владыкой Аксая, и секретарь обкома собрал экстренное бюро, пригласив строптивого директора скромного агропромышленного объединения поговорить как коммунист с коммунистом. Прождали члены бюро обкома час, другой — нет Акмаля Арипова; послали начальника областной милиции, генерала, и тот вернулся ни с чем, и генерал хану не указ. Тогда секретарь обкома написал собственноручную грозную записку и отправил нового гонца. Через час записка вернулась назад, на обратной стороне малограмотный орденоносец последними матюками отматерил партийного лидера области, обозвал щенком и дал срок угомониться,— мол, в противном случае он за его жизнь не ручается.

Мог ли поверить в подобные истории нормальный человек? Не верил и Пулат Муминович. Сейчас, когда наступило время возмездия за развал, за растление партии и народа, выясняется, что ничего не придумано, ни одной детали, все, к сожалению, так и было. Так, и еще куда страшнее…

Многое теперь выясняется, становится достоянием гласности, но даже доказанное, появившееся в прессе кажется диким, абсурдным, ирреальным.

Как старались перещеголять друг друга Тилляходжаев и Арипов, в какие только тяжкие не пускались!

Например, о хане Акмале только еще писалась повесть, а о Тилляходжаеве успел выйти роман и на узбекском, и на русском языках в республике, да еще и в двух журналах. И в Москве в одном уважаемом издательстве торопились угодить, спешили, да не успели на какой-то месяц,— арестовали героя, и тираж пошел под нож. Очерки в газетах, журналах, пожалуй, в счет не шли, разве только в крупных изданиях в Москве — за эти материалы платили щедро.

Одной бойкой журналистке за дифирамбы аксайский хан подарил бриллиантовое кольцо. Хотя и щедрым казался Акмаль-ака борзописцам, бухгалтерию на всякий случай он вел четко: где куплено, что куплено, когда и кому подарено, за какие услуги, и счет из магазина подклеивался. Сохранился товарный чек и на кольцо с бриллиантом для персональной журналистки.

Зато фильм о себе Арипов снял раньше, чем заркентский секретарь обкома. Постарались узбекские кинематографисты на славу, чего стоит одна крутая сцена, когда в пургу прямо в пропасть несется отара, а аксайский хан, якобы спасая народное добро ценой своей жизни, стоит на краю обрыва и успевает ухватить одну обезумевшую овцу. Сцена впечатляла! Правда, документалисты не показали отару, специально загнанную в пропасть для выразительности кадра,— снимали четыре дубля. Акмаль-ака никак не мог эффектно ухватить бедное животное. Но, в конце концов, когда от отары остались рожки да ножки, нужный кадр получился, сам Феллини позавидовал бы!

Долго не мог успокоиться Анвар Абидович, узнав, что хан Акмаль запечатлел себя на экране, и срочно стал искать подходы к кинодеятелям в Ташкенте. Но не тут-то было — вежливо, но отказывали. Возможно, Акмаль-ака постарался, чтобы не рекламировали конкурентов. Но не зря Наполеон три года учился в Москве, помогли друзья — вывели на студию Министерства обороны.

Это тебе не местная ариповская самодеятельность,— похвалялся Тилляходжаев в кругу приятелей. И фильм заказал о себе более интеллектуальный, не стал загонять баранов в пропасть, хотя кто-то подал идею: в пику Арипову гнать в ущелье табун лошадей. Но кони — не овцы, могли и затоптать, потому и пришлось отказаться, хотя Анвар Абидович и очень сожалел. Сценарий написала Шарофат, и весь фильм был озвучен ее стихами,— дал заработать и своей пассии.

Если узбекские кинематографисты, не уложившись в смету, получили щедрое финансирование от аксайского хана, то Анвар Абидович себе этого позволить не мог. Он просто-напросто снял 287 тысяч, отпущенных области на культуру для сельских жителей, и финансировал фильм о себе, дав ему скромное название — «Звезда Заркента». Хлопкоробы, у которых украли почти триста тысяч, не успели увидеть киношедевра Шарофат,— единственными его зрителями оказались следователи из Прокуратуры СССР, дотошно изучавшие биографию секретаря обкома.

Не отставал от «соревнующихся» лидеров местного масштаба и их покровитель, сам Верховный, но тут уж уровень и масштабы были иные, иными были и расходы…

Поднаторев на приписках хлопка, он не гнушался втирать очки на чем угодно. Нужно было к очередной дате рапортовать о пуске обогатительной фабрики в Ангрене, где запланирована линия по добыче золота,— он и рапортовал. Правда, карьеры для комбината только закладывались — не беда, привезли тайком из Маржанбулака два состава руды и отлили к юбилею килограммов десять золота.

Красивая пирамида высилась на столе президиума в день открытия, многие глаз не могли оторвать, бдели и люди из Гохрана.

После пышных речей вручили им опечатанный дипломат, загруженный кирпичами, а золото подарили «Отцу» на память. Из того золота Верховный заказал искуснейшему ювелиру по особым чертежам две театральные сумочки. Специалисты оценили работу кудесника по сто тысяч каждую. Одну сумочку «Отец» подарил жене Леонида Ильича, а другую собственной супруге — дарить так дарить! Эксперты утверждают, что ни у Екатерины II, ни у королевы Англии подобного ридикюля не было — знай наших!

Слышал Пулат Муминович кое-что и пострашнее о художествах хана Акмаля и Наполеона и опять же не принимал всерьез, уж слишком смахивало это на байки о диком Западе или об итальянской мафии, правда, с местным колоритом.

Рассказывали, что некий Абрам Ильич, преподаватель одного из вузов республики, частенько попадал в вытрезвитель,— имел он слабость к спиртным напиткам. Человек тихий, интеллигентный, он исправно платил за милицейский сервис, не дебоширил. Иногда обходилось и без штрафа: звонили из высоких инстанций, и загулявшего доцента, на той же милицейской машине, с почетом доставляли домой. Но с годами у доцента стал портиться характер.

— Знаете, кто я такой?! Узнаете — ахнете! — начал он стращать своих старых знакомых — работников медвытрезвителя, знавших преподавателя как родного: и какое белье он носит, и какие носки предпочитает, и чем похмеляется по утрам.

Однажды пожилой майор, начальник этого спецучреждения, устав уговаривать расшумевшегося Абрама Ильича, махнул рукой, ну ладно, мол, расскажи нам, кто ты такой.

Абрам Ильич, поддерживая одной рукой спадавшие штаны,— ремень на всякий случай там отбирают,— ткнув в потолок указательным пальцем с массивным перстнем, гордо заявил:

— Я двадцать четыре раза доктор наук и сорок восемь раз кандидат!

Двадцатичетырехкратному доктору наук майор самолично налил рюмочку из личных запасов и уложил спать.

В следующий раз Абрам Ильич вновь стал объяснять, кто он, и снова майор терпеливо слушал распетушившегося клиента,— выговорившись, доцент мирно отправлялся спать.

Так случалось несколько раз подряд, но каждый раз доцент набавлял себе число докторских степеней. Однажды, не выдержав хвастовства, майор пренебрежительно махнул рукой и сказал:

— Меньше надо пить, уважаемый. Прошлый раз вы говорили, что двадцать шесть раз доктор наук, а сегодня уже двадцать восемь!

Как взорвался тут обычно спокойный доцент!

— Да,— сказал он,— за эти три месяца по моим докторским диссертациям защитились двое, оттого и двадцать восемь! — И в гневе назвал темы диссертаций и кто по ним защитился.

Диссертации у Абрама Ильича оказались самые разные, но в основном по обществоведению, превалировала тема дружбы народов, варьировалась она в семидесяти вариантах. Имелись и труды по литературоведению: положительный герой современной прозы, поэзии, драматургии, или тема труда в прозе, поэзии, драматургии, или — национальный характер в прозе, поэзии, драматургии.

Отдельную полку занимали докторские и кандидатские диссертации по произведениям «Отца», но эти труды он давал не всякому, стоили они дороже всего.

В огромной, довоенной постройки квартире доцента две комнаты до потолка были уставлены диссертациями на все случаи жизни, все строго по темам, одних каталогов насчитывалось двадцать четыре. Надежный, не знающий перебоя и простоев научный конвейер! Если необходимая диссертация отсутствовала, он тут же связывался с коллегами по научному бизнесу в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Новосибирске, и научный труд через неделю приходил авиабандеролью,— фирма работала четко, оперативно.

Разглагольствования Абрама Ильича продолжались, и осторожный майор вынужден был предупредить людей, о чьих научных трудах ведутся любопытные дискуссии в вытрезвителе. Абраму Ильичу

жестко посоветовали держать язык за зубами, и доцент не только замолчал, а и с год не попадал в гости к майору. Но потом случился какой-то сбой — и все повторилось снова; на этот раз доцент распинался перед друзьями-собутыльниками в палате вытрезвителя насчет докторской, написанной за секретаря обкома; похвастался, что от него же поступил заказ на докторскую ко дню рождения для жены начальника ОБХСС области.

Через день после того, как к тому времени уже тридцатикратный доктор наук упомянул о диссертации Анвара Абидовича, его сбил тяжело груженный самосвал. Машину с щебнем оставили на месте преступления. Махмудов знал подробности этой трагедии, потому что грузовик оказался угнанным из гаража автобазы его района. То, что машину угнали специально для убийства, у следователя не вызывало сомнения, настораживало другое — почему не нашли транспорт поближе или в самом Зарканте. Очень деятельное, личное участие в расследовании преступления принимал полковник Халтаев, но угонщика-убийцу так и не нашли. В конце концов, как водится, списали смерть на дорожно-транспортное происшествие и на то, что погибший, как обычно, был пьян, хотя вдова уверяла, что он уже три дня не брал в рот спиртного, страдая болями в желудке. Боли болями, но экспертиза установила наличие алкоголя в крови и желудке погибшего,— могли и влить бутылку водки, типичный прием, когда совершают преднамеренный наезд…

Махмудов знает, что сегодня ему уже не уснуть, не пытается он даже прилечь, решил встретить своего шофера Усмана бодрствуя. Мысли переключаются на завтрашние дела в колхозе «Коммунизм»: решили на горных склонах у Карасу, неподалеку от его любимого моста, разбить тридцать гектаров виноградника. Семья Ахмаджановых предложила отдать им эту землю в аренду на десять лет, а руководство хозяйства противится: заранее подсчитало, какие большие деньги заработают арендаторы, если дело пойдет у них на лад. А оно наверняка пойдет, потому что жив еще дед Ахмаджановых, Бозор-ака, крепкий восьмидесятилетний старик, он чудом сохранил у себя во дворе какой-то редкий урожайный сорт лозы, а отец и дед самого Бозора-ака испокон веку славились в крае богатыми виноградниками.

Пулат Муминович считал долгом поддержать многодетную семью арендаторов — и лозу возродить в районе, и людям дать почувствовать утраченное чувство хозяев земли. Но туго внедряется

семейный подряд в районе, не верит народ после бесконечных шараханий, что затея всерьез и надолго.

Однако сегодня мысли секретаря райкома на семье Ахмаджановых не задерживаются.

…Коротышка хотя и не переводил в Заркент Халтаева, но услугами полковника пользовался регулярно, ему он доверял больше, чем кому-либо из работников органов, ценил его даже выше, чем свояка, начальника ОБХСС Нурматова. Может, он специально не забирал Халтаева в центр, потому что район был под рукой, каких-нибудь пятьдесят километров от Заркента, и полковник, считай, через день бывал у своего патрона — в крае все знали, что рядовой полковник из района наделен особыми полномочиями.

Только Халтаеву доверял Наполеон обхаживать московских гостей, понимая, как по-глупому недальновидно упустил дружбу с влиятельным зятем самого Леонида Ильича. Теперь-то он строго следил за прибывающими из Москвы гостями. Даже принял по-царски министра рыбной промышленности, хотя, казалось бы, зачем ему, сухопутному владыке, хозяин морских просторов? А так, на всякий случай, сегодня тот рыбой командует, а завтра, глядишь, в народном или партийном контроле будет кресло занимать, тогда дружбу заводить будет поздно.

Принять одно, главное — дать крупную взятку, замаскировав ее под народный обычай, традиции. И тут полковник оказался непревзойденным мастером на все руки. Он придумал простой и безотказный ход, который вроде не ставил в неловкое положение и тех, кто давал, и тех, кто брал, тем более что оставлял лазейку для отказа в получении денег.

В золотошвейных мастерских Бухары полковник заказывал десятками роскошные парчовые и бархатные халаты, шитые золотом, непременно с глубокими карманами. В халат, по традиции, обряжали открыто, принародно — вроде отказаться неудобно, а в кармане лежала банковская упаковка купюр разного достоинства — давали по рангу. Союзному министру полагалась самая крупная, из сторублевок.

Несколько лет спустя, когда рыбный министр в Москве будет держать ответ за свои прегрешения, он признается во многих взятках, исключая подношения из Заркента; он был уверен, что ход полковника Халтаева гениален и недоказуем, но и люди, проводившие дознание, не были глупее начальника милиции. Очень удивился

бывший министр, когда ему предложили вернуть в казну еще десять тысяч. Он клялся, что ни разу не надевал роскошный халат, повода, мол, не было, оттого и не проверял карманы. Вернувшись домой, министр позвонил следователю: оказывается, действительно вдруг обнаружилась пачка сторублевок, и завтра он ее сдаст в банк и принесет квитанцию…

Давал Коротышка полковнику и более деликатные поручения, связанные с просьбой «Отца». Тому частенько нужно было проследить за своими противниками в Москве или на отдыхе; на курортах собирали в основном компромат. Обращался Верховный в таких случаях не только к нему, но и к хану Акмалю — у того было настоящее сыскное бюро, и компромат на людей, представляющих интерес, он копил и без просьбы «Отца».

К двойнику китайского императора Первый обращался обычно в тех случаях, когда не хотел, чтобы аксайский хан знал о его интересах. Да и если дело касалось Москвы, «Отец» больше доверял Анвару Абидовичу, знал, что у того есть друг Артур Шубарин, хозяин «теневой экономики» в крае, человек, для которого не было невыполнимых задач ни в республике, ни в столице нашей Родины.

Просьбы «Отца» секретарь обкома адресовал лично Шубарину, его люди по уровню были намного выше халтаевских, да и в Москве Японец, как называли в деловом мире Шубарина, имел много друзей, и просьбы Первого выполнялись особо тщательно, к отчету всегда прилагались снимки, магнитофонные записи.

Пусть и редко, но приходилось Коротышке в интересах дела стыковать Шубарина с Халтаевым, хотя догадывался, что они не любили друг друга, и полковник с удовольствием попотрошил бы Артура Александровича, да знал, что Шубарин ему не во зубам, тот и сам мог кого хочешь пустить по миру…

…Махмудов тряхнул головой, пытаясь отогнать мрачные думы обо всех этих малосимпатичных ему людях. Но сделать это было непросто.

Сегодня его судный день,— вернее — ночь,— он проводит ревизию своей жизни, чувствует сердце, что пришло время держать ответ: как жил, как работал, чиста ли совесть?

Нынче то со скамьи подсудимых, то со страниц печати звучат робкие и запоздалые раскаяния, скорее похожие на оправдание, мол, я не знал, меня заставили. Конечно, заставляли, и еще как,— некоторых

бедных председателей колхозов в собственных кабинетах секретари райкомов держали в углу словно нашкодивших учеников: унижением, угрозами и побоями выколачивали согласие на приписки. Все так, против этого не поспоришь. Но и собственного самодурства, не санкционированного «Отцом», на которого нынче все ссылаются — а какой с мертвого спрос? — хватало с избытком.

Он вспомнил один из рассказов Миассар. Однажды она улетала прямым рейсом из Каратепа в Москву. Был полдень, жара на солнцепеке за пятьдесят. Самолет подали вовремя, провели посадку, а взлета все нет и нет, как нет и никакого объяснения, что стало традицией «Аэрофлота»: то полное молчание, то сплошной обман. Духота, невыносимая жара, люди обливаются потом, некоторые уже в предобморочном состоянии, другие сосут сердечные таблетки — в общем, ужас! И только через полтора часа в салоне появился мужчина лет сорока, с элегантным дипломатом, по внешности — явно житель большой столицы. Он не торопясь уселся на свое место в первом салоне — и самолет тут же пошел на взлет, взмыл в небо. И всем без объяснений «Аэрофлота» стало ясно, почему их томили столь долго,— важная птица, значит.

Сосед Миассар по полету, оказывается, знал запоздалого пассажира и, видя ее возмущение, обронил, что тот — научный руководитель сына-аспиранта каратепинского секретаря обкома. В Москве, пока дожидались багажа, Миассар не выдержала, подошла к молодому профессору и без обиняков спросила: «Вам не стыдно, что из-за вас мучились триста с лишним человек?»

Москвич извинился перед Миассар и, прежде чем объяснить свое опоздание, неожиданно поклялся, что больше никогда не приедет в Среднюю Азию. Оказывается, в день отъезда хозяин области пригласил научного руководителя своего сына домой, в гости. Стол накрыт, гость в доме, а секретарь обкома задержался на работе, не явился к назначенному часу. И все же за три часа до отлета сели за богатый дастархан, гость успел и выпить, и закусить, и в подходящий момент напомнил, что ему пора и честь знать, еще и пошутил, мол, «Аэрофлот» ждать не будет. Возможно, хозяину дома не понравилась мысль о самостоятельности, суверенности «Аэрофлота», а может, еще какие резоны имелись, но он заявил — пока не отведаете плов в моем доме, не отпущу, а самолет, хоть и не арба, все же подождет. И тут же позвонил начальнику аэропорта, наказав не отправлять московский рейс без его уважаемого гостя…

Другой случай самодурства тоже был связан с «Аэрофлотом», и свидетелем тому стал уже сам Пулат Муминович.

Однажды в обкоме проходило какое-то совещание хозяйственников, куда на всякий случай пригласили всех нужных и ненужных. Когда в алфавитном порядке зачитывали список руководителей предприятий, на месте не оказалось одного начальника небольшого строительного управления.

Надо было видеть, как взъярился Коротышка, мол, что такое, зазнался, и обком ему не указ, хотя ему объяснили, что хозяйственник вылетел в Ташкент на совещание к своему непосредственному руководству в трест. Узнав, что самолет давно поднялся в воздух, он, как и каратепинский хан, позвонил в аэропорт и приказал завернуть его рейс обратно, хотя уже подлетали к Ташкенту. Мало что завернул лайнер обратно, так выслал в аэропорт начальника областной милиции, чтобы тот лично доставил в обком ослушавшегося инженера. Правда, привели неудачливого авиапассажира на совещание без наручников, но, когда полковник милиции отрапортовал о выполнении задания, Тилляходжаев, указывая пальцем на бедного начальника управления, объявил притихшему залу:

— Так будет доставляться каждый, кто станет отлынивать от совещаний в обкоме. Из-под земли достану! — пригрозил он всем.

Тешились властью и вседозволенностью всласть, никто им эти дикости «сверху» не навязывал, сами старались, изощрялись, как могли и хотели…

Купыр-Пулата, всю жизнь проработавшего в глубинке и обремененного хозяйственными заботами, более всего поражал невероятный взлет хана Акмаля, его неограниченная власть в республике. Однажды в Ташкенте, в доме сына, ему довелось случайно увидеть фильм Копполы «Крестный отец». Фильм он посмотрел с любопытством, но следа в душе он не оставил, и секретарь райкома никак не думал, что когда-то вспомнит о нем. А вот пришлось же вспомнить… Когда и у нас опубликовали известный роман, он достал два номера журнала «Знамя» и прочитал уже внимательно. Прочитал, чтобы уяснить для себя кое-что,— теперь он знал многое из деяний хана Акмаля и по прессе, и со слов следователей, немало поведал ему и Халтаев. Наверное, и Марио Пьюзо, и Коппола, создавая своего героя, опирались на факты, материалы судебной хроники, но даже безудержная фантазия, прославившая их на весь мир, меркла в сравнении с художествами аксайского хана Акмаля,

построившего после шестидесяти лет Советской власти собственное ханство, ничем не отличавшееся от феодального.

Чего только стоит общеизвестный ныне факт, что аксайский хан из своего захолустного кишлака, о котором никто почти и слыхом не слыхивал, свалил Председателя Верховного суда республики — такое и дону Корлеоне, наверное, было не под силу. И поводом поначалу послужил тривиальный факт. У одного высокого должностного лица Председатель Верховного суда соблазнил жену, частный, казалось бы, случай. Но не тут-то было! Уязвленный рогоносец решил отомстить, и лучшей местью посчитал лишить коварного искусителя кресла. Ибо так сложилось в последнее десятилетие в стране, что достоинство мужчин оценивалось только по их должности. Без кресла они сразу как бы вяли, теряли ореол значимости. Кто знает Восток, Кавказ, тот поймет — страшнее мести и придумать нельзя — без чина человек тут не человек, живой труп. Людей без портфеля, даже если и смотрят в упор, не видят, а какая же женщина польстится на невидимку? Оскорбленный муж в негласной табели о рангах занимал положение куда выше, чем должностной донжуан, оттого и задумал такую страшную казнь. Но не тут-то было,— влиятельные силы оказались и за судьей. Нашла коса на камень! Испробовав все средства, истратив кучу денег и ни на шаг не продвинувшись к цели, видный чин вынужден был поехать на поклон в Аксай к Арипову, иного выхода он не видел…

Сценарий в жизни повторял один к одному литературный сюжет «Крестного отца». Хан Акмаль знал о неожиданном визите высокого гостя, догадывался и о причинах, заставивших того искать справедливости в Аксае, но, тем не менее, неделю томил искателя в коридорах резиденции, прежде чем удостоил своего внимания. Приняв, перво-наперво выговорил, что в лучшие свои дни тот не спешил нанести визит уважения, а когда, мол, приперло, пришел, приполз. Заставил и плакать, и унижаться, и присягать на верность, как это любят делать на Востоке.

Ни справедливость, ни честь гостя хозяина не волновали, но в отношении Председателя Верховного суда у него давно созрели свои планы,— мечтал он посадить туда своего человека. А тут и случай подвернулся. Выходило, одним выстрелом убивал трех зайцев сразу: и пост существенный в республике прибирал к рукам, и вербовал в вассалы влиятельного человека, чьими руками и собирался скинуть судью, и в глазах окружения поднимал свой авторитет — выглядел ревнителем справедливости, добра, чести.

Досье на судью, как и на многих известных людей, которых он не успел прибрать к рукам, имелось. Грехов у вершителя людских судеб хватало и кроме донжуанства. Снабдив просителя наиболее компрометирующими материалами, хан Акмаль посоветовал неудачливому супругу устроить скандал в здании Верховного суда. Фарс разыграли как по нотам, хотя все выглядело вполне натурально. Судья, чувствуя, что ускользает кресло, без которого он себя не мыслил и без которого, он знал, потеряет к себе интерес не только женщин, бросился к «Отцу»: мол, помогите. А тот только развел руками, объяснив, что подобные инциденты, получившие широкую огласку, не в силах погасить даже он. В общем, спровадили-свалили судью общими усилиями. Накануне Арипов разговаривал с Верховным по правительственному телефону, что случалось почти каждый день, и подсказал, кто должен занять вакантное место, что и было претворено в жизнь.

Всем мало-мальски заметным деятелям в республике аксайский хан любил давать клички, некоторые из них становились широко известными. Секретаря по идеологии своей области он окрестил за долговязость — Жирафом, и человека за глаза иначе и не называли. Но кличка известного человека, как правило, повторялась и в табуне, своим любимым лошадям Арипов давал прижившиеся имена. Не обошел и самого «Отца» — назвал того Шуриком; имелся, разумеется, Шурик с повадками Первого и в конюшне. Своего многолетнего ставленника Бекходжаева, принявшего эстафету у Верховного, за благообразный облик нарек Фариштой — Святым, хотя тот со святостью ничего общего не имел. Другого своего ставленника — Пиргашева, которого успел посадить министром внутренних дел республики, сместив самого грозного Яллаева, называл ласково — Карликом. Не делал он исключения и для себя, хотя даже и его настоящее имя вслух произносилось редко, чаще всего его уважительно величали — Хозяин. Однако цвел, когда называли его «наш Сталин», на манер каратепинского секретаря обкома, которому больше нравилось «наш Ленин». И уж самым невероятным оказалась его тяга и любовь к фамилии… Гречко, бывшего министра обороны страны. Любил, когда кто-нибудь к месту говорил — «вы как Гречко», но об этой тайне мало кто знал. Видимо, крепко чтил хан Акмаль силу и мечтал иметь армию под рукой, как всесоюзный маршал.

Чем только не тешились, причем стандарты что наверху, что внизу оказались одинаковые. Захотелось Верховному стать ровесником

Октября, день в день, он им и стал и вел отсчет времени своей жизни вровень с державой, и не меньше. Выходило, что в честь него и парады проводились, и салюты палили.

Кстати, любимая и часто употребляемая фраза Коротышки — «коммунист должен жить скромно» — принадлежала «Отцу», верный «ученик» просто-напросто ее украл, как крал все, что плохо лежало. Решил не отставать от «Отца» и его дружок, аксайский хан, утвердивший себе день рождения 1 мая — во Всемирный праздник трудящихся; наверное, ему тоже в этот день казалось, что все демонстрации и гулянья — в его честь. Ублажил он и свою жену, обозначив ей день ангела 8 марта, чтобы легальнее принимать подношения, а может быть, и обкладывать двойной данью, раз выпало человеку, по счастью, два праздника сразу.

Но любопытно не тщеславное примазывание своих ничтожных жизней к великим датам страны, а другое: до сих пор не удается найти подлинных документов о рождении ни «Отца», ни его приятеля из Аксая.

В страсти Коротышки к сестре своей жены было нечто патологическое. Патологической страстью отличался и Арипов: его тянуло к животным, общение с лошадьми он частенько предпочитал общению с людьми. Где-то когда-то аксайский хан услышал, что тот, кто окружен лошадьми, проживет долго, оттого он постоянно множил свой табун, строил дворцы-конюшни, и кони у него содержались куда лучше, чем люди. Имел он также и льва, и павлинов, и пруды с диковинными рыбами, держал и злобного пса Карахана, перекусавшего в округе не один десяток человек. Пес Карахан и иноходец Саман волновали его больше всего на свете. Притом все живое вокруг, включая и людей, он обожал стравливать. А еще бывший учетчик тракторной бригады любил бои: петушиные, перепелиные, собачьи. Устраивал редкие но нынешним временам развлечения: грызню между жеребцами. Любимый Карахан слыл известным бойцом, загрыз в схватках несколько десятков соперников. Хозяин настолько уверился в силе своего волкодава, что объявил приз в двадцать пять тысяч тому, чья собака одолеет Карахана. Нашелся человек, принявший вызов, и состоялось грандиозное шоу на переполненном стадионе, куда согнали народ радоваться мощи пса великого хозяина. Но Карахан потерпел поражение, и спас его от смерти только пистолетный выстрел. Обещанный приз хозяину, лишившемуся редкой бойцовской собаки, хан Акмаль

так и не выдал,— не имел привычки расставаться с награбленным. В хорошем настроении он часто любил повторять: «Я жадный, я очень жадный человек!» — и при этом громко смеялся.

Маниакальная идея о жизни в сто — сто пятьдесят лет никогда не покидала его, оттого он долгие часы проводил во дворцах-конюшнях с мраморными колоннами, резными дверями по ганчу. Там же, в конюшнях, устраивал совещания, приемы, и повсюду под рукой у него были телефоны. Завернувшись в дорогой долгополый тулуп-пустон, на редких, ручной работы текинских коврах он проводил порою целые ночи вместе со своим любимцем Саманом и псом Караханом. С лошадьми он ладил, и даже с самыми дикими, своенравными, злыми; был только один случай, когда его укусил молодой жеребец донской породы. Хан Акмаль тут же вынул пистолет и пристрелил его. Оружием он пользовался часто и, будучи в настроении, долгие часы сам чистил его, никому не доверял.

Лошадей держал много, оттого что любил стравливать жеребцов. Такую прихоть мог позволить себе не всякий хан. Страшное до жути зрелище, когда, хрипя, бьются грудью, копытами озверевшие животные, словно львы, выгрызают друг у друга куски живого мяса. И кровь хлещет по молодым, сильным крупам, и ржание поверженных похоже на стон раненых. Побежденного жеребца тут же режут, и к вечеру готовится традиционный бешбармак. Хан Акмаль вообще обожал конину, из самых лакомых кусков готовили ему специальную колбасу — казы.

В застолье, расправляясь с остатками бойцовского коня, он любил рассказывать о нем: какой породы, откуда доставлен, какие у него прежде были победы. Что-то каннибальское чудилось внимательному человеку в этих пиршествах, переходящих в оргию.

Признайся Пулат Муминович кому, что с конца семидесятых, кроме двух последних лет, когда арестовали и осудили Наполеона, он не всегда самостоятельно принимал решения, ему бы никто не поверил. Да-да, не поверил. Если судья в футболе захочет подыграть какой-то команде, это не означает, что жульничество увидит и поймет весь стадион или сразу догадается проигравшая команда. Тут способов много, уследить трудно — как карманника поймать за руку… Можно чего-то не заметить или, наоборот, разглядеть то, чего не было, в пылу игры трудно доказать, что не нарушил правила, да и правила толковать можно по-всякому…

Разве Тилляходжаев когда-нибудь требовал противоправных действий или, скажем, денег? Никогда. Кто, кроме него самого, секретаря райкома, докажет, что кругом, на всех ключевых, денежных постах в районе, сидят люди Халтаева — Тилляходжаева?

Люди Яздона-ака и дружки Халтаева оседлали не только доходные места, но и стали депутатами разного ранга, от районного до республиканского.

— Хорошая штука,— не раз пьяно объяснял за пловом начальник милиции,— депутатская неприкосновенность.— И всячески старался обезопасить своих людей депутатским мандатом.

«Чем больше общественных званий и наград, тем меньше шансов сесть»,— этот мрачный афоризм тоже принадлежал полковнику, а любимой и часто употребляемой его фразой было короткое: «Посажу!» В его исполнении она имела десятки оттенков, от нее покатывались со смеху и от нее бледнели. Он так сжился с нею, что и расшалившейся внучке грозил по привычке: «Посажу!»

Со времени ареста Коротышки прошло два года. Махмудов не раз задумывался, почему из прежних секретарей райкомов он один уцелел на своем посту. Много думал, анализировал и пришел к бесспорному выводу: его район оказался единственным непотопляемым кораблем, потому что так замыслил Тилляходжаев, ему нельзя было отказать ни в уме, ни в предусмотрительности — нужен был свой маяк, и он его берег.

Сегодня Махмудову запоздало становилось ясно, что еще во времена своего крутого взлета Тилляходжаев думал о тылах, чувствовал, что годы вседозволенности когда-нибудь кончатся; вот тогда-то он и присмотрелся к его району, благополучному из благополучных, да и к нему самому, кого меньше всего можно было обвинить в алчности. Все правильно рассчитал: и район не стал отбирать ради своих прихлебателей или родственников, и на сто тысяч от Раимбаева не позарился, ибо знал — разворуют, растащат новые хозяева все хозяйство за год-два, а ему требовалась курочка, долго несущая золотые яйца. Секретарь обкома нуждался в яркой, богатой витрине, благополучном, без приписок, районе и человеке во главе его — широко мыслящем, образованном, самостоятельном, но в чем-то обязанном ему лично или, грубее — чтоб был у него на крючке. И удалось же! Если не ползал, как другие, по красному ковру, на поводке все равно оказался.

Самостоятельность? Да, он, пожалуй, больше других ею пользовался. Всех задушили хлопком, а ему позволили взамен убыточного

хозяйства завести конезавод, ориентирующийся на элитных скакунов. Он вообще тихо-тихо почти вывел хлопок в районе, взяв на себя обязанность обеспечивать Заркент овощами и фруктами.

И Тилляходжаев разрешил, словно предчувствовал, что за хлопок, за приписки и полетят в будущем головы. Разве хоть с одной своей затеей, с которой пришел в обком, он нарвался на отказ? Не помнил такого случая. Может, оттого и выслушивали его внимательно, что приходил не с прожектами — тут хозяин области и сам был мастак,— а с расчетами. Инженерная подготовка мостостроителя приучила его постоянно иметь несколько вариантов проекта, проводить сравнительный анализ, и это очень нравилось секретарю обкома, он ставил его в пример другим. Что-что, а варианты Первый сравнивал быстро и безошибочно.

Кто бы его понял, если бы он вдруг надумал снять с работы председателя райпотребсоюза или главу общепита — никто. Хозяйства и того и другого — лучшие в области, не раз отмечались на республиканском уровне. Повара Яздона-ака дважды представляли узбекскую кухню в Москве, на ВДНХ в дни декады, а план, рентабельность, себестоимость, выработка у них — поистине на высоте, передовики из передовиков, все углы знаменами заставлены, да и жалоб ни из коллективов, ни на коллективы в райком не поступало. Кто же поймет? Да, не простые люди обложили его со всех сторон, ловкие, умные, голыми руками и без крепкой поддержки их не взять…

За эти годы он понял, что Яздон-ака и есть доверенный человек Коротышки, оттого он в тот день их знакомства в чайхане махалли Сары-Таш пикировался с Халтаевым, стараясь сразу поставить того на место, ибо знал, что деньги будет ковать все-таки он. Вот его хватке, энергии, коммерческому нюху, такту, умению властвовать, не бросаясь в глаза окружающим, следовало поучиться.

Года четыре назад, когда хлопковый Наполеон еще был на коне, Халтаев однажды за столом сказал завистливо:

— Яздон-ака? Он, конечно, миллионер, и сколько их у него, никто не знает — три, пять? Он на своих деньгах и дал подняться Коротышке. Все три года, пока Первый учился в академии, мы вдвоем с Яздоном-ака регулярно навещали его, и не с пустыми руками, конечно. Жизнь в Москве очень дорогая, а шеф — человек с замашками, и друзей, как мы поняли, он заводил на будущее. На тридцать персон и на пятьдесят накрывали мы столы в «Пекине» или напротив, через дорогу, в «Софии»,— любил он эти два ресторана… Да, было время…

Яздон-ака в райком без повода не приходил и близости с Махмудовым не афишировал, дела решал через Халтаева, соблюдая негласно принятую субординацию.

«Люди, имеющие реальную власть, не должны ее выпячивать»,— это кредо Яздона-ака Махмудов узнал поздно.

С его появлением в райцентре за полгода вырос шикарный ресторан, он украсил бы любой столичный город, и подрядчик тут же нашелся, и проект появился. Заведение с момента открытия сразу стало популярным, сюда приезжали кутить даже из ближайших городков,— видимо, так и задумывал Яздон-ака. Что-что, а индустрию развлечений и человеческие слабости он изучил хорошо. Повсюду понастроили легкие, со вкусом оформленные шашлычные, чебуречные, лагманные, пирожковые, кондитерские, цехи восточных сладостей. Пекли самсу, манты, жарили тандыр-кебаб, коптили цыплят, благо в районе имелась птицеферма. На многолюдных перекрестках уже к полудню дымились огромные казаны плова и кипели трехведерные самовары.

Если кто думает, что торговля живет за счет недовеса, обмера, обмана, за счет того, что недодают сдачи, тот глубоко ошибается, это уже пройденный этап, младенчество. Нынче такие доходы не устраивают, да подобных мелких воришек Яздон-ака и на версту не подпустил бы к делу.

«Клиента надо любить и уважать, кормить красиво, вкусно — вот наша задача»,— постоянно твердил он своим подчиненным и в идеале мечтал, чтобы каждая семья, рано или поздно, стала его постоянным потребителем. У него уже работало несколько точек, где принимали заказы на лепешки, самсу, нарын, хасып, и доставляли готовое, с пылу с жару, на дом на мотороллерах.

Какова реальная мощь общепита, вряд ли кто, кроме самого хозяина, знал, потому что две трети заведений принадлежало ему, он их построил и содержал на свои капиталы, в бумагах они не фигурировали. Это несложно, если контролирующие органы сидят у тебя на довольствии. Яздон-ака настойчиво требовал качества: если он куда-нибудь приходил обедать или ужинать, или брал домой что-нибудь из печеного или сладостей — это означало одно: контроль по всем параметрам. Он не любил и не допускал, чтобы его обманывали. От качества зависела реализация, от реализаци прибыли, впрочем, обмануть его было непросто, он знал с точностью до рубля, сколько стоит казан плова или лагмана или сколько выйдет шашлыков из туши

барана,— действовал жесточайший хозрасчет, списаний на порчу, за нереализованные обеды он не принимал.

«Грех продукты скармливать скоту»,— говорил он; впрочем, скоту ничего и не перепадало, хотя у него имелись и откормочная база, и подсобные хозяйства. В подсобных хозяйствах тоже таилась крупная статья дохода. Каждое воскресенье Яздон-ака с помощниками скупал на базаре у частника молодняк. Выпасы откормочного хозяйства находились рядом с колхозными стадами и отарами, а поскольку у государства подсчет скота по головам, то вместо годовалой телушки и тщедушного барашка в загоне Яздона-ака оказывался огромный бык или жирная курдючная гиссарская овца килограммов на сто двадцать. Не за красивые глаза, конечно, происходил обмен, но Яздон-ака выигрывал, и крепко, бесперебойно снабжая свои точки свежим мясом. Хитроумно выстроенный и разрекламированный конвейер: подсобные хозяйства, откормочная база — все это магически действовало на многих, думали, что Яздон-ака нашел рецепт выполнения продовольственной программы. Огромные наличные суммы, что вкладывались в дело, удваивались ежемесячно, только так понимал рентабельность, самоокупаемость Яздон-ака, оттого старались хорошо оплачиваемые искусные повара, потому вдруг сразу полюбили люди в округе общественное питание.

Но тот, кто думал, что сфера интересов Яздона-ака — только общепит, грубо ошибался: он крепко держал руку на пульсе жизни района, начиная от нефтебазы и кончая междугородным автобусным движением.

Число маршрутов и автобусов на автопредприятии, где работал главным инженером сын Яздона-ака, Шавкат, увеличилось ровно в десять раз!

Председателем райпотребсоюза, как выяснилось позже, стал двоюродный брат Яздона-ака, Салим, он тоже тогда присутствовал на встрече в махалле Сары-Таш, организованной Халтаевым. Салим Хасанович и сам, конечно, был не промах, но без Яздона-ака ему вряд ли удалось бы поднять обычный средний райпотребсоюз на такую высоту. Половина дефицитных товаров, получаемых областью за прямые поставки партнерам за рубеж меда, арахиса, лекарственных трав, кураги, кишмиша, кожи, каракуля, костей и прекрасного белого вина «Ок мусалас», теперь попадала на склады Салима Хасановича.

Если бы хозяйственники имели реальную власть на уровне партийных работников, то не происходила бы утечка умов из народного

хозяйства в партийный аппарат и Тилляходжаев наверняка оказался бы выдающимся предпринимателем, деньги он мог «ковать», что называется, на пустом месте.

Однажды он попросил Пулата Муминовича срочно построить склады для гражданской обороны, сказал, что сверху поступило экстренное задание. В целях обороны — значит, быстро, качественно и в срок, и такие помещения, оборудованные по последнему слову складской техники, возвели быстрее даже, чем Яздон-ака ресторан.

Через неделю после сдачи объектов Пулата Муминовича вызвали в обком по поводу ввода школ к новому учебному году. На совещании с грозным докладом выступил начальник пожарной службы города, среди прочего он заявил, что ставит обком в известность — с завтрашнего дня опломбирует помещения торговой базы области в Зарканте, как не обеспечивающие сохранность социалистической собственности. Сообщение свалилось как снег на голову, выдвигали всякие предложения, но ни одно не решало проблемы. Просили дать отсрочку на полгода, но пожарник твердо стоял на своем или говорил: только под личную ответственность первого секретаря обкома.

Тогда Коротышка и обратился с просьбой к Махмудову — передать временно торговой базе новые помещения гражданской обороны. Так самые современные богатые складские помещения были переданы тому, кого назвал Наполеон.

Но Махмудов и додуматься не мог, что это всего лишь ловкий ход, умело рассчитанный Яздоном-ака. Догадался он лишь тогда, когда стал получать секретные письма о предстоящих удорожаниях: хрусталя, мебели, ковров, паласов, серебряных изделий, золота, кожи, парфюмерии, спиртных напитков, одежды, обуви, трикотажа. Что ни год, дорожало то одно, то другое, иные товары сразу вдвое, втрое за один заход, а через год вновь попадали под повышение. Председатель Госкомцен страны так старался, что рвение его не осталось незамеченным и он получил звезду Героя Социалистического Труда.

Пулат Муминович знал, что на повышении цен, как на валютной бирже, можно сказочно разбогатеть, если, конечно, заранее знать и побольше попридержать товаров.

А знал он потому, что в начале шестидесятых годов, когда ни о каких предкризисных явлениях, о грядущем постоянном повышении цен, инфляции не могло быть и речи,— ибо, судя

по газетам, страна семимильными шагами спешила догнать и перегнать Америку, и партия торжественно провозгласила, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме,— произошло единственное, особо не замеченное населением, двойное увеличение стоимости коньяка.

Пулат Муминович, получив секретное письмо из области, вызвал тогда председателя райпотребсоюза и попросил опечатать склады с остатками коньяка.

Хозяин торговли района удивленно развел руками и сказал:

— Помилуйте, какой коньяк? Мы его весь продали. Было у нас четыре вагона, отставали от плана, и весь выбросили в продажу. Жалко, себе пару ящиков на свадьбу не оставил,— сокрушался тот искренне, и тут же из кабинета вызвал главного бухгалтера.

Из бумаг явствовало, что как раз вчера перевели в банк огромную сумму за реализацию спиртных напитков. История на том и закончилась бы, если б ночью его не поднял звонок тестя, Ахрора Иноятовича. Он сказал, что располагает достоверными сведениями о том, что торговые дельцы каким-то образом пронюхали о предстоящем повышении цен, припрятали три десятка вагонов с коньяком на базе его райпотребсоюза, подальше от Заркента, и ждут не дождутся дня, чтобы сорвать огромный куш. Предупредил, что с утра к нему приедет комиссия с чрезвычайными полномочиями и чтобы он сам принял в ней участие. Факты подтвердились, и большая шайка торговых работников тогда оказалась на скамье подсудимых.

Конечно, по тем годам никто и помыслить не мог, чтобы железный Иноятов общался с торгашами, такое и врагам на ум бы не пришло. В чем бы высшие партийные власти ни обвиняли, но только не в воровстве и коррупции — это уже позже, при Леониде Ильиче, все расцвело махровым цветом.

А если уж хозяин области надумал нажить миллионы, тут ему и карты в руки, кто посмеет чинить препятствия. Обо всем этом он догадался задним числом, когда арестовали и самого Коротышку.

Только у начальника областного потребсоюза Ягофарова, шефа Салима Хасановича, взяли на дому одних денег и ценностей на пять миллионов рублей, не говоря о стоимости недвижимого имущества и собственного парка личных автомобилей. Если уж у подчиненных брали по пять миллионов, то у самого хлопкового Наполеона, в могиле его отца, откопали сто шестьдесят

семь килограммов золота и ювелирных изделий, представляющих огромную антикварную ценность; прав, значит, оказался Халтаев, когда уверял, что хозяин берет нынче только золотом.

Собрать за пять-шесть лет десять пудов золота непросто, этим надо заниматься день и ночь, а ведь находил еще время руководить областью, по площади равной Франции. Не дремал и свояк Коротышки, полковник Нурматов,— его взяли в области первым, с поличным, при получении ежедневной дани. За пять лет он успел наносить домой взяток в портфелях и дипломатах свыше двух миллионов.

Читая судебную хронику, Пулат Муминович понял, почему склады базы ювелирторга оказались у него в районе и почему здесь открыли самый большой в области ювелирный магазин «Гранат», директором которого стал Махкам Юлдашев, третий человек, обедавший тогда с ними и внесший недрогнувшей рукой двадцать пять тысяч, чтобы Халтаев откупил у Наполеона район, на который позарился Раимбаев. И только тогда, опять же запоздало, он уяснил, почему четвертый из компании Яздона-ака, Сибгат Хакимович Сафиуллин, занял вроде никчемную должность — директора районного банка, где через год почти полностью сменился коллектив. В районе его так и прозвали — татарский банк, и еще потешались: что же это татары на сторублевые зарплаты польстились? Оказывается, действительно, смеется тот, кто смеется последним. Сегодня Пулат Муминович с горечью понимал, что Яздон-ака не всегда доставал из тайников свои миллионы, чтобы выкупить перед очередным повышением золото, хрусталь, ковры, мебель, кожу, водку — имея в банке хитроумного Сафиуллина, они играючи колпачили государство, не вкладывая в свои аферы ни рубля.

Теперь, когда прошло время, никакая комиссия не установит хищений,— да что вы, их просто не было, все кругом сойдется до копейки, на все найдутся правильные документы. Мозговой трест клана: Яздон-ака и Сафиуллин следов не оставляли, работали чисто, так чисто, что Пулат Муминович под боком у них ходил в дураках. Как, наверное, они измывались над ним, смеялись над его простотой.

После ареста Наполеона Халтаев и его дружки несколько приуныли, но заметного страха не испытывали, знали, что у них все шито-крыто, за руку не схватишь, поздно. Халтаев много раз

по ночам, в форме, уезжал в Заркент,— видимо, помогал семье, родственникам Анвара Абидовича, а может, спасал уцелевшие от конфискации остатки; не так был прост Наполеон, чтобы отдать все сразу: ошеломил с ходу десятью пудами золота и отвел подозрение, а резервная доля, может, как раз у них в районе и хранится?

Из окружения Яздона-ака пропал лишь Сафиуллин. Через год после ряда крупных арестов в области он не спеша, без суеты оформил пенсию и отбыл в неизвестном направлении. Полномочия свои он сдавал по строгим нормам перестроечного времени, и тем не менее к работе банка не предъявили ни одного замечания, а проверяла комиссия из области. Наоборот, отметили высокопрофессиональный уровень, не характерный для районных масштабов. Не исключено, что, состоя в одной корпорации с Халтаевым, Сафиуллин теперь проживал где-нибудь в пригороде крупной столицы в скромном, но со вкусом отстроенном особняке, только под другой фамилией, очень он был предусмотрительный, дальновидный человек. Пулат Муминович с ним больше никогда не встречался после того памятного обеда, когда он попал в двойной капкан Яздона-ака и Тилляходжаева, и смутно представлял его облик. Сибгат Хакимович даже семью свою не переселил в район из Заркента, каждое утро привозил его в банк зять на собственной «Волге»,— ни одного опоздания за все время службы.

Три года как рухнула империя, созданная хлопковым Наполеоном, и, судя по всему, навсегда.

«Теперь-то кто тебя держит за горло, кто мешает жить, сообразуясь с совестью? — задает себе вопрос секретарь райкома.— Что ты сделал, чтобы восстановить доброе имя, почему не разгонишь Халтаевых, Юлдашевых, Юсуповых, обложивших тебя со всех сторон?»

Да что там разогнать, грустно признался он себе, испугался поехать в печально знаменитый Аксай, прогремевший на всю страну, когда арестовали хана Акмаля, любителя чистопородных лошадей.

Скакунов своих, кровных, выросших на глазах, как дети, не пошел выручать, опять опутал душу страх, боялся — спросят, а сколько он вам отвалил за государственных лошадей?

«Доколе будешь жить в страхе?» — спрашивал он себя и ответа не находил.

Вспомнил он и председателя каракулеводческого колхоза Сарвара-ака, человека преклонных лет, своего друга, умершего

в прошлом году. Приехал однажды к нему в колхоз, а того на месте нет, говорят — болен, дома лежит. И он отправился навестить старого товарища…

Старик действительно оказался болен — избит, весь в синяках. Увидев секретаря райкома, аксакал заплакал, не от боли — от обиды; говорил, какой позор, унижение, избили на старости лет, как собаку, седин моих не пожалели.

Оказывается, Сарвар-ака, уставший от набегов людей Коротышки, изымавших каракуль, предназначенный для экспорта, припрятал большую партию дивных шкурок,— стыдился аксакал поставлять на аукцион второсортный товар. Кто-то продал его — и старика жестоко избили, чтобы впредь неповадно было; видимо, они намеревались грабить народ вечно.

Хоть с этим разберись в память о своем друге, лучшем председателе, с кем создавали мощь района, ведь Сарвар-ака сказал, кто избивал, кто видел и кто донес на него так подло.

Чем больше Пулат Муминович задает себе вопросов, тем ниже клонится его седая голова. Не ищет сегодня он оправданий, ибо их нет, но всегда есть шанс остаться человеком. Для этого надо иметь волю, совесть, мужество, убеждения, принципы. Не утверждает он сегодня: человек слаб, бес попутал, не ищет удобных формулировок и отговорок.

«Помнишь,— говорит он себе мысленно,— однажды тебя даже рвало от общения с ними, а теперь? Если и не пустил в душу, не погряз в воровстве и взятках, все же делишь с ними дастархан, терпишь их рядом, твоя позиция «ничего не вижу, ничего не знаю» дала им возможность без зазрения совести грабить район, наживать миллионы».

А сколько страна потеряла валюты на каракуле, который направо и налево раздавали женам, дочерям, любовницам нужных людей и всяким дамам сомнительной репутации… А твоих элитных скакунов Наполеон дарил ведь не только Арипову, не один любитель скаковых лошадей оказался в стране, много их завелось — партийных боссов с графскими замашками. С одного конезавода, с таким трудом созданного, считай, миллионы долларов украли.

И неожиданно ему вспомнился Закир-рваный из далекого Оренбурга. Ведь не польстился парень на то, что Осман-турок хотел сделать его своим преемником на Форштадте, потому что не желал есть и пить за счет жуликоватых буфетчиков и рестораторов.

И на приисках ни Закир-рваный, ни его друзья-моряки не стали грабить мужиков-золотодобытчиков — а ведь брали их в долю рэкетиры,— потому что нормальному человеку незаработанный кусок хлеба поперек горла стоит.

Не страшнее же был Наполеон Османа-турка, а не устоял, испугался, хотя у обоих, надо признаться, суд короткий, на справедливость и милосердие рассчитывать не приходится. Нелепо наивничать, искать человеческое хоть в том, хоть в другом.

Махмудов смотрит на высокий дувал, красиво оплетенный мелкими чайными розами и цветущей лоницерой, взгляд скользит дальше, в глубь хорошо спланированного и ухоженного сада. Какая красота, оказывается, открывается глубокой ночью при яркой луне, высокое небо шлет покой на усталую землю, но нет покоя у него в душе. Смута и тоска точит его…

И он вдруг понимает, что если сейчас, сию минуту что-нибудь не предпримет, не решится разорвать эту липкую паутину, то так трусливо и гадко, ощущая себя предателем, проживет всю оставшуюся жизнь.

Словно какая-то сила срывает его с айвана, и он решительно направляется к хорошо освещенной калитке, ведущей во двор Халтаева. На просторной веранде горит вполнакала слабая лампочка, и Махмудов стучит в первое же окошко. Сон у полковника, видимо, чуток,— тотчас распахивается дальнее окно и показывается лохматая голова хозяина особняка. Он сразу узнает соседа и молча исчезает в темноте комнаты, а через несколько минут выходит уже одетый, причесанный, собранный.

— Что случилось? — спрашивает тревожно начальник милиции, вглядываясь в бледное лицо соседа.

Не станет же секретарь райкома зря поднимать из постели среди ночи.

Две недели назад Халтаев провернул одну операцию, дерзости которой и сам удивлялся. Пришли к нему родственники Раимбаева и предложили сто тысяч, если он выкрадет того из тюрьмы и снабдит подложными паспортами семью. Не все, значит, вытрясли из подпольного миллионера бандиты и государство. Братья и сестры Раимбаева не сидели сложа руки, успели купить дом в глубинке соседнего Таджикистана. Многое продумали, учли, но вырвать Раимбаева из тюрьмы сами не могли, потому и заявились к полковнику. За паспорта полковник попросил отдельно — двадцать

пять тысяч и деньги потребовал вперед, знал: получится — не получится, назад не вернет. Имел он крепкие связи в Верховном суде республики, туда и направился, захватив с собой пятьдесят тысяч.

Быстро вышел на нужного человека и предложил тому вставить фамилию Раимбаева в список помилованных по разным причинам людей. Такие гуманные постановления по ходатайству прокуратуры Верховный суд готовил ежемесячно, многих виноватых, но раскаявшихся вернули семьям.

Но так легко добиться помилования не удалось — бумага проходила через несколько рук; второй раз испытывать судьбу казалось рискованным. Тогда решили пойти на откровенный подлог и подкупили женщину, имевшую доступ к бланкам и печатям. Заполучив фальшивое постановление об освобождении, полковник с братом заключенного лично отправился вызволять бывшего миллионера из неволи.

Прибыли в исправительно-трудовую колонию в воскресенье поутру, когда меньше начальства. Поначалу все шло как по маслу, даже побежали в зону за Раимбаевым, но в последний момент случайно заявился какой-то молоденький лейтенант караульной службы и, ознакомившись с бумагой, решил съездить домой к начальству, получить визу. Как-никак, Раимбаева осудили на пятнадцать лет, а на таких помилования приходили редко.

Как только офицер отбыл с постановлением, рванули с места и Халтаев с подельником. Помощника полковник довез только до ближайшей остановки, а сам прямиком махнул в Ташкент, выжимая из «Волги» невозможное,— знал, что завтра же могут выйти на него. Приятель из Верховного суда оказался дома, полковник объяснил, что к чему, и вдвоем они поспешили к молодой женщине, снабдившей их бланками и печатями. Повод для визита имелся: обмыть удачную операцию и вручить оставшуюся часть оговоренной суммы — пять тысяч. Чтобы усыпить бдительность соучастницы, банковскую упаковку пятидесятирублевок вручили сразу и поехали пировать за город. Там, на природе, после выпивки женщину и убили, а труп сожгли. Не оставили никаких следов; что и говорить, опыта полковнику не занимать, да и человек из Верховного суда раньше преподавал криминалистику будущим следователям.

«Может, по поводу Раимбаева и исчезнувшей молодой женщины из Верховного суда так рано заявился?» — пробежала лихорадочная мысль у Халтаева.

Махмудов наконец-то освободился от страха и сомнений и поэтому заговорил спокойно, как обычно:

— Я думаю, полковник, вам известно: кто добровольно и искренне вернет неправедным путем нажитые деньги, будет избавлен от уголовного преследования.

— Значит, и до нас добираются,— глухо обронил тот и мысленно порадовался, что не с Раимбаевым связан ночной визит.

Секретарь райкома, занятый своими мыслями, пропустил слова Халтаева мимо ушей.

Начальник милиции, не в состоянии выносить долгое и тягостное молчание собеседника, вдруг спросил:

— Что, вас старые друзья из прокуратуры предупредили?

Наверное, следовало промолчать или ответить неопределенно, слукавить, но сегодня Пулат Муминович не хочет ни врать, ни юлить и поэтому отвечает прямо:

— Нет, никто не предупреждал. Мои друзья, к сожалению, не знают, что я живу двойной жизнью, иначе бы давно перестали подавать мне руку. Просто я сам решил, что жить так дальше нельзя. Я виноват, что потворствовал вам, я и даю шанс избавиться от позора и тюрьмы. Рано или поздно все равно правда выплывет наружу.

Халтаев вмиг преобразился, куда сонливость и страх подевались!

— Пулат-ака, возьмите себя в руки,— не губите ни себя, ни друзей. Мы ведь тоже, считайте, вас из петли вытащили. Не будь нас, наверное, валили бы сейчас где-нибудь лес в Коми АССР или еще какой тьмутаракани. У вас расшатались нервы, давайте выпьем, посидим часа два-три до рассвета за бутылкой, а утром поговорим о чем угодно, и о покаянии тоже. Не так уж плохи наши дела, мы ведь не безмозглые люди, два года прошло, все следы замели. А если боитесь, что сам Тилляходжаев дрогнет, выкиньте из головы,— на интересе его язык завязан, не скажет больше того, что надо. Помните, он часто говорил: ваш район — заповедная зона! Нет, сюда он прокуратуру не наведет. Прокуратуре без нас дел хватает, мы что — мелкота. Они с верхним эшелоном разобраться никак не могут. Что там говорили на партконференции в Москве насчет четырех, а? Да и борьба идет в Ташкенте и Москве не на жизнь, а на смерть. Прокуратуре республиканской самой впору о помощи просить, у многих ретивых там жизнь на волоске висит, у других от бессилия и руки уже опустились, как ни крути,

суды все-таки в наших руках. Я ведь знаю, что и сам прокурор республики, и его заместитель чудом остались живы, когда после отравления попали в больницу. Одного успели вирусным гепатитом наградить зараженными шприцами, хотя кололи и того, и другого. Главные уколы были впереди, да почувствовал неладное их товарищ, милицейский генерал, привез своих врачей, лекарства, шприцы, стерилизаторы, охрану поставил у палаты и переговорил как следует со всем персоналом больницы, вплоть до кухни. Тоже, видимо, смотрят фильмы про мафию, разгадали наш замысел. Так что не бойтесь, не до нас им сейчас.

— Я не этого боюсь,— устало возразил Махмудов.— Боюсь жене, детям, людям в глаза глядеть. Впрочем, я не обсуждать пришел к вам, что мне делать. Я решил твердо и вас предупредил, после обеда поеду в обком, покаюсь, будь что будет.

Чувствуя непреклонность секретаря райкома, Халтаев вдруг пошел на попятную.

— Я ведь тоже не железный человек, весь извелся, ночей не сплю, боюсь — то ли прокуратура подъедет, то ли бандиты нагрянут, у них со мной счеты особые. Не успели вы на веранду подняться, как я с пистолетом к окну. Но если уж вы решили покаяться, и я с вами в компанию, небось пронесет, помилуют, людей не убивал… Впрочем, я знаю одну тайну, за которую мне наверняка снисхождение выйдет…

Гость не проявил к сказанному ни интереса, ни страха, подумав, что опять его собираются шантажировать происхождением.

Полковник, вновь теряя самообладание, заторопился:

— Уже три года на Лубянке хан Акмаль не выдает тайны, где у него деньги спрятаны. А я знаю, случайно догадался, когда доставлял Цыганку из ваших племенных конюшен в Аксай. Лошадь сутки по прохладе гнали с одним доверенным Акмаля-ака, он по пьянке мне и проболтался…

— Да, пожалуй, за такое сообщение действительно многое могут простить,— несколько оживился ночной гость, он ведь знает, о какой астрономической сумме идет речь.

— У меня от вашего решения, Пулат-ака, сначала все похолодело внутри, а теперь огнем горит. Нешуточное дело вы затеяли, вот будет шум на всю республику,— давайте выпьем, нам сейчас не помешает. У меня в холодильнике как раз бутылка «Золотого кольца» есть, Салим Хасанович из личных запасов поделился.

— Наверное, вы правы, выпить нам не мешает, непростая мне ночь выпала, и день предстоит не легче… Мужчина должен быть верен слову и хотя бы к старости понять, что выше чести ничего нет — даже свобода, даже жизнь…

— Да, да, верно,— поддакнул рассеянно Халтаев.— Так я пойду, вынесу бутылочку, а вы на огороде нарвите помидор, огурцов, болгарского перца, лучку, райхона, быстренько салат ачик-чичук организуем, к водке лучшей закуски не бывает…

Полковник исчез в темном провале распахнутой настежь двери, а Махмудов направился на зады, в огород. Он знает причуды Халтаева, тот ест зелень, овощи, только сорванные с грядки; впрочем, за годы общения с ним и Махмудов привык к этому,— Миассар тоже направляется сразу на огород, когда сосед ужинает у них.

Хозяйство у полковника крепкое, ухоженное, помидорные грядки аккуратные, каждый кустик подвязан к колышку, как на селекционной станции, только без номерка. И сорт у него необычный, юсуповский, по полкило тянет каждый помидор, есть и рекордные — по килограмму и больше, но для ачик-чичука нужны помидоры помельче. Пулат-Купыр по-женски завернул полу шелковой пижамы, куда складывает, переходя от делянки к делянке, помидоры, огурцы, болгарский перец. Осталось надергать лишь лучок да непременно травы райхон,— без нее салат не салат.

В это время появляется хозяин огорода, в одной руке он держит бутылку водки, действительно «Золотое кольцо», а в другой глубокую миску для зелени и овощей. Гость перекладывает овощи в протянутую Халтаевым миску и спрашивает, где растет райхон.

Хозяин показывает на делянку у глухого дувала, где в тени деревьев и забора темнее, чем во дворе; вдвоем они идут к делянке с райхоном.

Райхон растет низко. Махмудов наклоняется над грядкой, чтобы нарвать молодые сочные побеги, и в этот момент мощная пятерня с какой-то вонючей тряпкой закрывает ему рот, нос, пол-лица и с силой опрокидывает его на спину. Он пытается вырваться, но железные руки полковника не оставляют ему никаких шансов, и от удушающего запаха, исходящего от тряпки, он медленно начинает терять сознание, но он еще видит склоненное над собой злобное лицо начальника милиции. Тот, брызгая слюной, шипит:

— Перестроиться захотел, жить по-новому решил? Не выйдет! Мы не остановимся ни перед чем. Назад хода нет. Обрадовался:

Мариповский миллиард отыскался — и знал бы, не сказал! Зря тебя, гниду, Тилляходжаев тогда в тюрьме не сгноил, и я, дурак, на свою голову идею подал…— Халтаев еще долго бормочет что-то в ярости, но Пулат-Купыр уже не слышит его.

Теряя сознание, он понимал, что уходит из жизни, и как ни странно, последним видением осталось не детство, не дом, не Миассар, не дети от первого и второго браков, а вспомнился Осман-турок, которого он никогда в глаза не видел, но ясно представлял по рассказам Закира-рваного.

Он увидел глухую осеннюю ночь, громаду ювелирного магазина в незнакомом городе, оцепление из нервничающих милиционеров…

Видит он в профиль и бледного Османа-турка, стоящего с пистолетом у зарешеченного окна.

— Вычищайте все до дна,— велит он своим подельщикам, сгрудившимся у развороченного сейфа.— Все равно кто-нибудь прорвется, я останусь и прикрою отход.

Банда уговаривает атамана уходить со всеми, а прикрыть соглашаются Федька-жердь и Фимка Беренштейн. Но двадцатисемилетний Осман неумолим:

— Уходите вы, молодые, а я свое пожил…

Они быстро обнимаются и уходят через крышу — и сразу же начинается пальба.

«Почему вдруг Осман-турок? — мелькает в угасающем сознании. Он пытается отыскать ответ на мучающий вопрос даже на краю жизни и находит: — Нет, Халтаев бы не остался, не прикрыл…»

Полковник ловким жестом достает из-за пояса длинное шило, некогда проходившее вещественным доказательством в деле об убийстве, и, расстегнув пижаму, прикладывает ухо к груди секретаря райкома, выискивая сердце… Затем точным движением всаживает шило под ребро. Ни вскрика, ни крови, и на волосатой груди, под соском, не отыскать следов специального орудия убийства.

Миассар проснулась раньше, чем обычно, спала беспокойно, сердце ныло, но под утро не слышала, как подъехала машина Усмана. Она не спеша умылась во дворе, причесалась и, только когда направилась к летней кухне, увидела на айване спящего мужа.

Проспал, передумал ехать в «Коммунизм», решила Миассар и поднялась на айван будить его, обрадовалась, что успеют еще не торопясь вдвоем позавтракать. Едва коснулась губами его щеки, поняла, что случилась беда, и дико закричала.

— Что произошло? — раздался из-за дувала голос Халтаева, но Миассар уже билась в истерике.

Полковник, голый по пояс, с полотенцем на шее, вбежал во двор первым. Крик разнесся, наверное, по всей махалле, и к Махмудовым сбежались даже соседи через дорогу.

Халтаев опять, как и три часа назад, приложил ухо к груди секретаря райкома и горестно произнес:

— Наверное, инфаркт. Не выдержал мотор…

Жестом хозяина он попросил кого-то из соседей вызвать «скорую», а женщинам увести Миассар. Голый по пояс, с полотенцем на шее, он еще долго отдавал распоряжения — кому звонить в обком, кому заняться могилой, кому организовать оркестр, все требовало спешки, у мусульман покойника обязаны похоронить до захода солнца.

Как только подъехала «скорая», Халтаев, которому наконец-то подали рубашку, сам бережно перенес хозяина дома в машину и уехал в больницу с врачами, чтобы быстрее закончить формальности и получить свидетельство о смерти. Он уже успел встретиться и с судмедэкспертами, и с прокурором, договорился твердо, что не осквернят тело вскрытием и лишними осмотрами, а поехал на всякий случай, чтобы не прикасались к трупу любопытные.

Вынос тела назначили на пять часов, должна была подъехать делегация из области, ждали и взрослых сыновей из Ташкента. Несмотря на ограниченность времени, все делалось без спешки, суеты, даже торжественно. Скорбность момента чувствовал каждый входящий во двор, и немудрено — командовал всем твердой рукой полковник, облачившийся после обеда в летний парадный мундир. Каждые полчаса то исчезали, то появлялись в доме Яздон-ака и Салим Хасанович. С ними всякий раз входили во двор ловкие молчаливые люди, бравшие на себя хлопоты, выпавшие на долю Миассар.

Подъезжали машины за машинами, груженные всем необходимым — от столовой утвари до силовых установок для тех, кто будет держать речь перед выносом тела из дома. На задворках, возле осыпавшегося малинника, резали черных гиссарских баранов, кучкаров,

и уже разводили огонь под огромными котлами, повара Яздона-ака собирались еще раз продемонстрировать свое мастерство.

За час до начала официальной траурной церемонии через калитку Халтаева в дом вошел местный мулла, Хамракул-ака, тот самый, что много лет работал садовником в усадьбе Махмудова. Его ждали в большой зале, где на специальной похоронной доске лежал обряженный секретарь райкома. Вокруг, на ковре, поджав ноги, как в мечети, сидело человек десять-двенадцать наиболее приближенных людей полковника. Войдя, мулла степенно поздоровался с каждым в отдельности и, получив от полковника знак, начал читать молитвы. Ритуал этот у христиан называется отпеванием. Хамракул-ака имел высокий, хорошо поставленный голос, набиравший от аята к аяту силу и мощь. И вдруг, когда отпевание, казалось, достигло кульминационного момента, случилось непредвиденное…

В коридоре послышались шум, возня, и на пороге, резко распахнув дверь, появилась заплаканная Миассар; не успела она сказать и нескольких слов, как на ней повисли какие-то тетки и стали выпихивать ее из залы.

— Прекратите этот балаган, прогоните муллу. Он был настоящий коммунист, не то что вы, двурушники. Слышите! — кричала Миассар, вырываясь и захлебываясь от слез.— Он был Купыр-Пулат… Купыр-Пулат…

Мулла на секунду сбился, но под взглядом полковника продолжил еще энергичнее.

— Уберите ее! Вы же видите, она от горя потеряла разум,— прошипел полковник сидевшему с краю детине, и тот, ловко поднявшись, вытолкал женщин из комнаты.

Не успел мужчина вернуться на место, как Халтаев отдал новый приказ:

— Пусть включат похоронную музыку, кажется, начал народ стекаться. Потом стань за дверью и не пускай сюда никого, пока мулла не закончит обряд. Я теперь ответчик за его душу на земле, и я похороню своего лучшего друга и соседа, как настоящего мусульманина.

Мужчина молча выскользнул из залы, и через две минуты над махаллей поплыл усиленный мощными динамиками реквием Верди,— и об этом позаботился начальник милиции. А в доме Хамракул-ака, склонившись над раскрытым Кораном, продолжал свое дело.

Еще через два часа, после панихиды, в доме, где было произнесено много всяких скорбных речей и приезжими, и местными руководителями, товарищами, соратниками по партии, тело Махмудова вынесли на той же доске и поместили на украшенную машину. Траурная процессия медленно двинулась к кладбищу. Впереди всех нес красную бархатную подушечку с орденами и медалями скоропостижно скончавшегося секретаря райкома полковник Халтаев. Время от времени он утирал мощной ладонью слезящиеся глаза, и всякому становилось ясно, в каком безутешном горе этот сильный и волевой человек.

Чуть поодаль, за руководителями из области, соблюдая субординацию, скорбно шла халтаевская рать. Из обрывков разговоров важных товарищей из Заркента они поняли, что лучшей замены Купыр-Пулату, чем полковник Халтаев, не найти.

Ташкент, Малеевка,
декабрь 1988

BOUSHON
X.O.

Повести

3

Мартук — пристань души моей

Автобиографическая повесть

Так мы и пытаемся плыть вперед,
борясь с течением, а оно сносит и сносит
наши суденышки обратно в прошлое.

Френсис Скотт Фицджеральд

Воспоминания — единственный рай,
откуда нас никто не вправе изгнать.

Хафиз

Чем дальше уходят мои годы, тем острее чувствую необходимость рассказать новым поколениям мартучан о месте их рождения, которое для каждого из нас есть малая родина. Ее невозможно заменить ни на какую другую, даже на самое распрекрасное место на земле — ибо тут, в Мартуке, начался наш земной путь, здесь могилы наших близких, родных, друзей. Хотя с двадцати лет я жил вдали от Мартука, не было года, чтобы я не побывал на родине, а в последние тридцать лет, как я стал вольным писателем, то есть нигде не служу, я бываю там и по три, и по четыре раза в году. Пройтись по улицам Мартука, заглянуть в запустевший парк, где некогда гремела музыка, посетить оба мартукских кладбища, и мусульманское, и христианское, постоять, побродить по берегам погибающего Илека, вспомнить, как в полуразвалившихся землянках некогда кипела жизнь дорогих для меня людей, вспомнить соседей, друзей, кумиров детства и юности, учителей — нет лучшего бальзама для моего сердца, души.

Каждый из нас должен сделать хоть что-то, чтобы наш Мартук возродился, стал лучше, чтобы в нем достойно и уютно жилось. Что было возможным в моих силах, я уже сделал для Мартука, прописал его в большой литературе. Упоминанием в литературе не могут похвастаться и многие известные города. Нашему любимому Мартуку не грозит выпадение из истории. Жизнь моих земляков, их проблемы, радости, описанные в моих романах, повестях, рассказах, оказались интересны миру. У мартучан есть много поводов гордиться своей малой родиной. Из нашего крошечного села вышло пять Героев Советского Союза, тут всегда жило много достойных людей. Им, их памяти посвящены с любовью и уважением мои воспоминания.

Моя малая родина Мартук — районный центр, стоящий при железной дороге Москва — Ташкент. Находится он в семидесяти километрах от Актюбинска на восток и в двухстах километрах на запад к Оренбургу, некогда первой столице Казахстана, поистине города восточного в ту пору. Еще до середины 60-х годов Оренбург наполовину состоял из татар, много там проживало и проживает до сих пор казахов. Не могу не упомянуть для молодого поколения, что в царской России после Казани Оренбург был вторым культурным центром мусульман. Здесь издавалась ежедневная газета «Время» на татарском языке, которая распространялась по всей России. Тут было несколько крупных театров, широко известных в мусульманском мире духовных центров, медресе, мечетей, самая красивая из них построена на деньги казахских купцов. Издавалось с десяток журналов, печатались книги. В Оренбурге проживало не менее дюжины именитых в России казахских и татарских миллионеров, были здесь крупные торговые дома, банки. Все это сошло на нет после революции, а в 70-х годах прошлого столетия, когда нашли оренбургский газ, сюда хлынули сотни тысяч переселенцев из России, и город навсегда потерял свой восточный, мусульманский колорит. Родом из Оренбурга и мои родители. В годы революций, раскулачивания многие татары бежали в соседний Казахстан. Позже, в 20-е годы, от голода сюда бежали тысячами, целыми деревнями поволжские татары. Сюда, в степь, их толкало только одно — здесь жил единый по вере народ. В лихие годы это чрезвычайно важный фактор.

В пору моего детства, вплоть до 1957 года, ходили паровозы, которые останавливались через каждые двадцать пять километров, красавцы локомотивы должны были чистить топки и заправляться водой.

Обязательно надо сказать несколько слов и о самих станциях. Дорога, построенная в начале двадцатого века, замечательна своими

архитектурными и инженерными решениями. Особенно прекрасны станции: Актюбинск, Кандагач, Казалинск, Джусалы, Кызыл-Орда, Туркестан, Арысь. Кроме удивительных по красоте и изяществу пассажирских вокзалов, строились депо, десятки грузовых пакгаузов, пожарных центров, водонапорных сооружений, пристанционных построек для жизни и быта железнодорожников. Были построены добротнейшие здания из кирпича и камня: поликлиники, больницы, гимназии, здания для Дворянских собраний, ставшие позже повсеместно Дворцами железнодорожников. Особняки для технической интеллигенции и служащих и удобные дома, в два-три этажа, для рабочих. Почти все эти здания сохранились и служат людям до сих пор. Отмечу, как человек знающий, все эти полторы тысячи километров с инфраструктурой, достойной восхищения, были построены двумя строительными батальонами. Жаль, красивейшее здание актюбинского вокзала было снесено в 70-х годах, и на этом месте построили уродливый трехэтажный сарай, в котором и зимой, и летом стоит ледяной холод, пробирающий до костей.

Железнодорожники и в царское время, и долгое время в СССР были элитой рабочего класса, а сама же железная дорога — государством в государстве. Она имела собственные школы, клиники, высшие учебные заведения, связь, торговую сеть, свое снабжение, свои заводы и фабрики, культурные и спортивные сооружения и многое-многое другое. До 60-х годов в СССР существовало только два профессиональных праздника: День железнодорожника и День шахтера. Всем этим железная дорога обязана одному человеку — Лазарю Моисеевичу Кагановичу, выдающемуся организатору технической мощи СССР. Кстати, опять же на заметку молодым, знаменитое московское метро — тоже его детище, и оно долго носило имя своего основателя, а в суровое сталинское время просто так имена не давались.

Железная дорога изменила край. Появились сотни, тысячи поселков вдоль дороги, включая и мой родной Мартук. Паровозы требовали воды, и в голых, зачастую безводных местах русскими геологами была проведена огромная работа, найдены источники снабжения водой, рассчитанные на столетия. Построены сотни, тысячи водокачек, протянуты к станциям тысячи километров водопровода, работающего до сих пор. Наша мартукская станция снабжалась водой из красивейшего озера у аула Кумсай, что находится в семи-восьми километрах от поселка. Водокачка, как мы ее называли, строение в густом лесу у озера в Кумсае, оказалась сложнейшим инженерным сооружением и служила почти век, даже когда отпала нужда поить паровозы.

Объект, как говорят нынче, имел стратегическое значение и был обнесен вокруг в три ряда, с большим интервалом, высокой колючей проволокой. Вход в зону был строго воспрещен. Водокачку с царских времен обслуживала одна и та же семья Качановых, дети которых учились с нами в одной школе в Мартуке. Как мы им завидовали! И было отчего. Как рассказывал мне мой одноклассник Петя Качанов — какие лини, сазаны, карпы, лещи, красноперки, голавли попадались им в верши или в сети! Каких пудовых сомов ловили они на закидушки, какие пяти-семикилограммовые щуки попадались им на удочки — не пересказать! Мне приходилось видеть эти уловы. Этой рыбой многодетная семья Качановых рассчитывалась за постой своих детей-школьников у наших соседей Козловых. Помню, мама тоже покупала у них рыбу, кажется, что вкуснее рыбы линя ничего на свете нет. А какую землянику, малину, ежевику, костянику собирали они в своем заповедном раю! Какой удивительной красоты лилии приносили учителям в день последнего звонка и первого сентября — роскошь королевская, всю жизнь стоит перед глазами.

Все сломали, разграбили, растащили, сожгли в горбачевское безвременье. Навсегда затерялся в необъятной России след надежных тружеников Качановых, напоминающих мне таможенника Луспекаева из кинофильма «Белое солнце пустыни», отдавших водокачке, Отечеству восемьдесят лет служения.

Когда лет в пять-шесть я попал на станцию, она показалась мне волшебным замком, утопавшим в роскошном саду. Вокруг здания были разбиты цветочные клумбы. Тогда же впервые в жизни я увидел цветочные часы и живой календарь из цветов — это потрясло мое воображение. После убогого, пыльного, вросшего окнами мазанок в землю поселка станция показалась мне земным раем. С каждого торца здания имелись водонапорные колонки, которыми разрешалось пользоваться всем жителям Мартука. В дни стирок хозяйки с ведрами на коромыслах тянулись к станции — говорили, что вода с озер мягкая, шелковая, и она экономила дорогое и редкое в ту пору мыло. А на перроне сиял медью отполированный за десятки лет руками дежурных станционный колокол — как приятен был его звон, отправлявший поезда в не знакомые мне города с волнующими названиями: Ташкент, Наманган, Джалал-Абад, Ургенч, Алма-Ата — тысяча и одна ночь, Шахерезада и только!

В мои детские годы главными кормильцами маленьких местечек были базар и станция.

Помнится, год-полтора, не больше, Мартук переживал какой-то ренессанс, забытый НЭП — на станции милиция не гоняла жителей, приходивших к поездам торговать молоком, сметаной, творогом, варенцом, казахским катыком, шубатом, сливочным маслом, сбитым вручную дома. Выносили к поездам яйца, соленья, грибы. Осенью — арбузы, дыни, летом — малину и ежевику, собранную за Илеком. Более основательные хозяева торговали жареными и отварными курами и утками, а зимой — тушками гусей, рыбой, приобретенной у тех же Качановых с водокачки. С огурцами, помидорами, капустой, зеленью выходил на вокзал известный огородник Карташов из Кумсая, он там работал главным агрономом. Бедные выходили к поездам с жареными семечками подсолнухов и тыкв. Они же торговали аппетитной толченой картошкой, политой сверху подсолнечным маслом ручной выжимки с золотисто поджаренным луком. Предлагали и домашний квас. Иногда торговали пирожками с картошкой, капустой, щавелем.

В торговле пирожками с мясом, беляшами доминировали мои родственники Валиевы и Мамлеевы. Местные мастерицы выносили к поездам горячую выпечку — поезда в ту пору ходили минута в минуту, по ним сверяли часы. А какие у них были ватрушки с белым и красным творогом, пироги с повидлом и джемом! Повидла и джемы всегда имелись в сельпо в больших, почти ведерных, банках из нержавейки. Банки из-под них потом служили в хозяйстве ведрами. Не меньшим успехом у пассажиров пользовались свежевыпеченные домашние караваи, с которыми приходили к поездам хохлушки в расшитых крестиком нарядных блузках, хлеб у них всегда был покрыт чистыми рушниками. Один бывалый казах в гимнастерке с орденскими колодками даже наладился жарить шашлык к приходу поездов, и у него всегда выстраивалась очередь. Иногда рядом с ним пристраивался солидный аксакал в чистом камзоле, вельветовом или бархатном, он приносил большой бурдюк, или даже два, кумыса и пять-шесть деревянных чаш-тустаганов, из которых, как он уверял, кумыс всегда вкуснее. Вот эта пара всегда реализовывала свой товар до последней палочки, до последней пиалы, но они на станцию ходили редко, видимо, и с мясом, и с кумысом были проблемы. Немки в белых фартучках приходили к поездам с копченым салом и окороком, домашней колбасой, ливерной и мясной. Немцы умудрялись коптить свинину дома и этому быстро научили русских и украинцев, тоже державших свиней. До немцев, как говорили старики, в Мартуке никогда не коптили свинину, не делали колбас.

Немцы вообще оказали огромное влияние на быт и культуру Мартука. Это с их почина появились водонапорные колонки в каждом дворе, стеклянные террасы и веранды, паровое отопление, цветы возле дома и палисадники. Жаль, они поголовно уехали в Германию, о них всегда вспоминают тепло, жалеют, что их нет, когда надо починить машину, сделать паровое отопление, покрыть крышу, построить баню.

Чеченцы, сосланные в Мартук, тоже изредка, в августе, появлялись на перроне. Приходили женщины в длинных платьях, непременно в платках, они торговали только молодой вареной кукурузой. До чеченцев в наших краях кукурузу не выращивали. У них она была особая, элитная, двухметровая. Высушенные стебли кукурузы использовали на строительстве или топили ими зимой печи. Молодую кукурузу чеченцы варили, а из сухих початков делали муку для кукурузного хлеба и мамалыги, но, кроме молочной кукурузы, иное у местных не пользовалось успехом.

Ходили на вокзал не только со съестным, каждый нес, что мог продать. Не всегда все продавалось за деньги, шел товарообмен, нынче называемый бартером. В ту пору на поездах в Среднюю Азию и на юг Казахстана, на постоянное житье, тянулась беднота со всей России. Хотя в спальных вагонах из красного дерева, оставшихся со времен царской империи, ехали люди с достатком. Мы любили скорый поезд из Москвы. Мы, мальцы, с удивлением разглядывали пассажиров этих вагонов в полосатых шелковых пижамах, дам в роскошных халатах или с накинутыми на плечи пальто с чернобурками. Запомнилось, что эти пассажиры никогда не торговались, или мартукские цены им казались дешевыми, или они быстро понимали, как бедствует народ на этих забытых богом полустанках. Скорее всего, и то, и другое, богатые того времени еще не считали свой народ быдлом, не презирали его, воспитание и совесть не позволяли.

Моя мама круглый год ходила к поездам с оренбургскими платками, вязанными из шерсти и пуха перчатками, носками, шарфами. Военные, которых было много среди пассажиров, охотно покупали именно белые пуховые перчатки и длинные шарфы, наверное, это были молодые офицеры, что любили пофорсить. В Мартуке у небольшой кожевенной артели жил человек по фамилии Трушкин, владевший редкой для села профессией, он был виртуоз-керамист. Лепил из глины кувшины, миски, жбаны, тарелки, большие бадьи. Делал забавные детские игрушки, свистульки. Мы, ребятня, часто ходили

к его дому и завороженно смотрели на гончарный круг и ловкие руки мастера. Он тоже иногда ходил к поездам со своим товаром. Мы, пацаны, больше всего радовались, если ему удавалось что-то продать. Покупали те, кто выскочил из вагона без посуды, купленную миску тут же до краев заполняли толченой картошкой или простоквашей.

В ту пору вагонов-ресторанов в составе не было, и в дорогу брали с собой пяти-шестилитровые медные чайники. Тогда их выпускали тысячами, и они были обязательным атрибутом каждой семьи, а на станциях везде были кубовые, где бесплатно разливали из нескольких кранов кипяченую воду. В кубовой на нашей станции, сколько помню, работал мужик по фамилии Корнеев, он никогда не давал местным кипятку, даже своим, станционным. Видимо, такая жесткая инструкция была, ведь топили в кубовой углем, а его на всех не напасешься.

Поезда стояли не меньше получаса, и на перроне вовсю шел торг, кто покупал, кто обменивался. Пассажиры не раз обманывали местных, людей доверчивых, запуганных. Помню, мама купила два куска мыла. Мыло оказалось брусками кирпича, только на сантиметр облепленными настоящим мылом. Однажды соседи Сафаргалиевы готовились к свадьбе и купили для приготовления домашней бражки мешочек сахара на десять-двенадцать килограммов. В поселке сахар давали только по паевым книжкам, да и то в ограниченном количестве. Как радовались наши соседи, что так выгодно выменяли своих потрошеных гусей на сахар у солидного пассажира! Но продавец оказался ловким аферистом. В мешочке с сахаром находился еще один мешочек с речным песком, сахара набралось чуть больше килограмма. Как они горевали — не высказать! Но, как бы ни осторожничали мои бедные земляки, их вновь обманывали. Помню, только однажды, прямо на вокзале, какая-то афера была раскрыта, и тут уж били негодяя долго и больно, и даже вокзальный милиционер Великданов, издали наблюдавший за самосудом, вмешиваться не стал.

Было в Мартуке и еще одно место, помогавшее выживать моим землякам — базар. Таким оно было и для моей семьи, ждавшей воскресенья как праздника, ибо только на базаре можно было заработать копейку, продать мамины вязаные вещи или выменять их на продукты, в конце концов, занять денег у кого-то более удачливого в базарный день. Базар располагался рядом с церковью, построенной первыми столыпинскими переселенцами в 1907 году. Там уже почти пятьдесят лет находится стадион, отстроенный запомнившимся добрыми делами секретарем райкома Салином-ага Шинтасовым, он прожил почти

девяносто лет и умер уже в новом веке — пусть земля будет ему пухом. Мартучане будут помнить его долго.

В ту пору в Мартуке имелось два постоялых двора, куда съезжались люди из русских поселков: Казанки, Нагорного, Веренки, Белой Хатки, Полтавки, Красного Яра и из казахских аулов: Кумсая, Жанатана, Аксы, Жамансу, Танабергена. Мусульмане облюбовали дом хромого Максума на Советской, а православные — ближе к церкви, на постоялом дворе у Шалаевых. С субботнего дня до понедельника жизнь там била ключом — ставились ведерные самовары, топились печи во дворе и дома, в которых варилась и жарилась всякая еда. Пока готовили обед, мужчины и бабы спешили в сельскую баню, а уж потом ходили по гостям к родным и знакомым или направлялись к детям-школьникам, стоявшим на постое по всему Мартуку, а к вечеру накрывали общие столы у себя на подворьях. Мы, ребятня, тоже с интересом ждали базарных дней. Кололи на подворьях горы щепы, растапливали ею огромные медные самовары и смотрели за ними, бегали в магазин за водкой, вообще, были там на подхвате. Особо шустрым всегда доставались копейка на кино, бесплатный обед. Кусок хлеба нашего детства имел высокую цену. Мне, знавшему постоялый двор хромого Максума-абы, приходившегося нам дальней родней, не хуже своего двора, запомнились эти веселые суетливые вечера с песнями, плясками, а порою и драками. До сих пор стоит перед глазами коновязь, этакая, по-современному говоря, стоянка для скакунов. Каких только я не повидал там красавцев аргамаков!

Иногда после базара, особенно если это совпадало с советскими праздниками, или с Курбан-байрамом, устраивались байги — скачки. Мы, мальчишки, конечно, знали всех известных наездников из всех аулов, особенно нам нравился злой, уже далеко не молодой всадник Кенес-агай из Кумсая, он часто выигрывал байгу. Призом всегда служил баран или бычок, которого общество покупало в складчину. Торговали лошадьми и на базаре. Конь в жизни казаха, в жизни всех тюркских народов всегда имел какой-то сакральный смысл, играл важную роль.

Но вернемся к нашему базару. Если на станции продавали съестное с пылу с жару, тут такого не было, обедали после торгов приезжие или в чайной, или у себя на постоялых дворах. Торговали тут картошкой, тыквой и живностью: курами, гусями, поросятами, баранами, телками. Живность имела на базаре свой угол. Много торговали зерном, мукой, просом, особо почитаемым казахами злаком. Я думаю, казахи

обязаны своим здоровьем именно мясу и жареному просу, а также измельченному из него лакомству — талкану. В пору своей юности я как-то заметил, что среди казахов вообще нет лысых, людей в очках, а зубы у них всегда блестели, как ныне на рекламе зубной пасты «Колгейт». Сейчас, из-за плохой экологии, и казахи не выдержали — полысели, носят очки, и с зубов исчезла белизна.

Как бы заманчиво я ни описал торговлю на станции, базаре — ясно, что там продавали последнее. Те же пирожки и пышки шли на свой стол, только если оказались не проданными, потеряли свежесть и вид, и уже неудобно было выносить их к следующему поезду. В доме нужна была каждая копейка: купить уголь, дрова, кизяк у аульных казахов, сено для коровенки, керосин для лампы и керогаза, примуса. Нужны были деньги одеть, обуть детвору, купить чай, сахар, заплатить налоги. Кстати, те, кто учился после седьмого класса, платили и за обучение в школе, а деньги можно было добыть только на базаре. Безработица, отсутствие любой, даже грязной, тяжелой работы было уделом сельского населения, да и в городе сельских жителей в ту пору никто не ждал.

На базар к нам съезжались и сходились не только жители Мартука и окрестных сел, но и приезжали из Актюбинска, Яйсана, Акбулака, добирались сюда даже из Оренбурга. Людей издалека манили продукты, вокруг Мартука были крепкие русские села. Горожане вряд ли приезжали сюда с деньгами, за деньги и в городе продукты водились. Сюда приезжали поменять старую одежду, обувь, посуду, отрез на платье или костюм на муку, сало, гуся, курицу. Наверное, не продав у себя на базаре свой товар, они пытались сбыть его в глубинке, в Мартуке, и это всегда им удавалось, к обоюдному удовольствию и продавцов, и покупателей. И тем, и другим некуда было отступать, одних ждала голодная семья, других голые, босые дети.

Наезжали, особенно по теплу, и продавцы совсем экзотичных товаров. Приезжали художники в шляпах и беретах и предлагали написанные на загрунтованной клеенке картины: томных красавиц у балконного окна, сказочные замки у живописного озера с непременной грустящей принцессой в ажурной беседке, лебедей в пруду парами и в одиночку, резвящихся на фоне тех же дворцов. И, что странно, в голодном, холодном Мартуке у развалов художников всегда толпился народ, и больше всего — женщины. В ту пору девять из десяти из них были вдовами. Подолгу зачарованно вглядывались они в лица томных красавиц, в другую, непонятную, но притягательную и никак

не досягаемую ими жизнь. И ведь покупали эти картины на последние гроши! Но чаще меняли на шмат сала, ведро картошки, несколько килограммов муки или банку подсолнечного масла. У меня нет слов, чтобы описать степень бедности военного и послевоенного села. Но я попытаюсь показать ее на примере базара и жизни, быта своих земляков-мартучан. Позже, уже став писателем, я как-то отметил в своем дневнике — бедность не имеет дна, предела. На базаре некто, заезжий продавец, предлагал рис… в рюмках, да-да, в водочных рюмках, граммов на тридцать-сорок. Приобрести целый стакан стоило больших денег, на такое никто и не замахивался.

Помню, рассказывая о свадьбе в русской части села, с гордостью поминали пьяного Петра Шульгу, словно он величайший кутила и мот. То ли свадьба оказалась по душе Петру, то ли молодые любы, то ли самогон крепок — вошел он в кураж и среди гуляния, когда подарки молодоженам уже были вручены, объявил: еще полпуда муки дарствую молодым! Щедрый подарок был принят под гром аплодисментов, и кто-то, от волнения и восхищения, назвал Петра за широкий жест Шахом, с тех пор его в Мартуке иначе не называли. Кстати, сам Шах, шебутной по натуре, часто бывал не в ладах с супругой. И когда он шел по поселку, понуро склонив голову, к дому матери с мешком муки на плечах, в котором было не больше пуда, сельчане говорили — опять Петя в развод подался. Но, к счастью, все как-то быстро налаживалось, и Шах уже веселее, вприпрыжку, возвращался к жене с тем же мешком на сутулой спине. Как видите — бриллианты не делили. Разве такое можно придумать, забыть? Мы так жили. Кстати, для нового поколения — пуд всего лишь шестнадцать килограммов. Хочу добавить из личного. Однажды моих родителей пригласили на свадьбу, а в доме не было не только ни гроша, но даже щепотки чая или кусочка сахара. Не нашлось в доме и ни одной новой вещи, что могла послужить подарком молодоженам, таким же беднякам. Тогда родители отобрали из праздничных тарелок, которые ставили только гостям, две без единой щербинки и царапины, с тем и пошли на свадьбу.

Зимы в ту пору случались снежными, вьюжными, а морозы стояли всегда за двадцать, хотя и тридцать не было редкостью, неожиданностью. Пурга иногда мела неделями, и тогда беда стучалась в каждый дом не только в Мартуке, но и в поселках, аулах. Дороги заметало до макушек телеграфных столбов, а это — два-три метра, сегодня подобное и представить трудно, и о базаре не могло быть и речи. Ничего ни продать, ни поменять, ни взять в долг у удачливых.

В эти дни самые отчаянные, как моя мама, несмотря на появившиеся жесточайшие запреты торговли на станции и на данные ею подписки не появляться там, бежала к поездам, пыталась продать хоть пару варежек и щегольской шарфик военным, а платками она рисковала редко. Слишком неподъемной была бы потеря. Ведь в платке была доля и хозяев пуха из аула, который отдали ей в кредит, доверяли матери, знали, что Гульсум всегда рассчитывается честно. Но милиционеры на станции были начеку, отбирали товар и пинками тяжелых сапог гнали несчастных женщин с вокзала, наиболее строптивых даже запирали в какую-нибудь холодною комнату при станции и составляли протокол, который еще и штрафом заканчивался. Грозили в следующий раз отдать под суд или выселить из поселка, хотя сложно представить себе более горестное место, чем послевоенный Мартук. Как лютовали власть и милиция на станции, когда торговлю там объявили спекуляцией! Люди в форме сапогами пинали ведра с яйцами, переворачивали тазы с продуктами, выливали на землю молоко, сметану, бросали в грязь все съестное — чему радовалась лишь шпана, отиравшаяся рядом. Кто пытался защитить свое добро — были биты жестоко, умело, не задумываясь. Запомнилось одно — обижали всех, но никогда не трогали, не били, не задирали чеченцев. В их печальных глазах, даже у женщин, у детей, не говоря уже о мужчинах, они видели моментальный отпор, непредсказуемый, вплоть до смертельного. Чеченцы — единственный знакомый мне народ, при всем уважении ко всем остальным, который выше жизни ценит честь, достоинство и не терпит унижения, оскорбления.

Если в детстве мы не слышали слово «инфляция», то зато хорошо знали, что такое конфискация, экспроприация, спекуляция (непонятно, чем могли «спекулировать» мои земляки?), понятые, следственный эксперимент, превентивное задержание, очная ставка. Понимали, что НКВД важнее и страшнее милиции. Сделали для себя неприятное открытие, что ордена, которые мы считали мерилом высшей доблести и особой заслуги перед Отечеством, ничего не значили даже для милиционера Великданова со станции. Сам видел однажды, как, грязно выругавшись, он сапогом опрокинул в пыль жаровню с готовыми шашлыками у орденоносца-казаха, а когда тот попытался защитить остатки баранины в тазике, прикрытом марлей, ударил сапогом прямо в грудь, густо увешанную орденами.

В те годы на станции день и ночь кипела жизнь, происходили важные для села события. Если в Мартуке останавливались все

проходившие мимо поезда, и пассажирские, и грузовые, и все паровозы чистили здесь свои топки, то, наверное, нетрудно представить себе, какие эвересты, монбланы шлака выросли по обе стороны станции. Ведь поезда начали ходить регулярно с 1905 года, а мы с вами ведем разговор о 50-х годах. Если нечетные поезда, шедшие из Ташкента в Москву, чистили топки на пустыре за станцией, где далеко в степи одиноко стояло только здание МТС довоенной постройки, то поезда, приходившие из Москвы, освобождались от шлака на территории поселка, рядом с краснокирпичным двухэтажным домом, где жили железнодорожники. Дом этот нам, мальчишкам, казался огромным, и понятие «небоскреб», которое мы знали по Маяковскому, ассоциировалось нами именно с этим строением. А горы шлака за сорок пять лет работы дороги высились над этим домом так высоко, что нам казалось, что вершины его прячутся в облаках. Круглые сутки после поездов женщины сгребали шлак из междупутья на носилки и сносили его на эти горы. Когда кочегары чистили топки, то возле паровозов уже крутились мальчишки, старики, женщины с ведрами и кочергами, они высматривали непрогоревшие куски угля, выпавшие из чрева паровоза. Как только последний вагон проходил над кучей, все бросались в колею выхватить эти желанные горящие куски угля. Конечно, такие куски выпадали не часто, и это считалось большой удачей. В основном собирали шлак, не прогоревший до конца уголь, он тоже годился в печь, но его нужно было гораздо больше. Кто опоздал к поезду, те ковырялись в отвалах, куда сносили уже перебранное после поездов. Горы шлака напоминали вулкан, внутри них всегда тлел огонь, и жар от него был крепко ощутим, особенно в холодное время.

В ту пору из России в теплые края, в Среднюю Азию, постоянно перемещался всякий люд. Крыши всех поездов были усыпаны шпаной, от крепких мужчин до десятилетних мальцов в рванье, в их разговорах города Ташкент, Чимкент, Тюлькубас, Наманган, Самарканд, Туркестан — звучали как рай. Время было суровое, строгое, и на таких пассажиров устраивались серьезные облавы, их отлавливали, сгоняли с поездов, и они иногда неделями прятались в этих отвалах шлака. Там наверху были свои тайные тропы, ниши, пещеры, чем выше, тем страшнее и таинственнее. Туда и милиция-то не решалась подниматься, боялись провалиться в кратер вулкана, случалось и такое.

Лет с десяти начал ходить на станцию за шлаком и я, хотя мама долго противилась этому, понимая, что станция — опасное место, не только из-за шпаны, тянувшейся на юг, но и из-за станционных

ребят, считавших вокзал своей вотчиной и при каждом случае обижавших малолетних ребят из поселка. Но жизнь заставляла идти на риск. Сегодня трудно себе представить, что внутри землянок от холода в углах комнат от потолка до пола висели ледяные сталактиты, так промерзало за зиму наше жилье. Оттого мы на всю жизнь запомнили слова: голод-холод.

Однажды, когда я перебирал шлак на отвалах, рядом со мной появились четверо парней разного возраста, самому младшему — лет пятнадцать-шестнадцать, а старшему уже за двадцать. Не местные, видимо, их согнали с крыш московского поезда, который прошел нашу станцию с утра. Я, конечно, испугался, хотя кроме латанного-перелатанного цыганами ведра и самодельных санок у меня ничего не было. Одежда моя не подходила им ни по росту, ни по качеству — одеты они были гораздо лучше мартукских ребят, прямо щеголи какие-то. «Далеко магазин?» — спросили они, и я показал им кочергой вдаль, где рядом с сельсоветом под зеленой крышей находился наш «Сельмаг». «А где милиция?» — переспросили они. «Там же, рядом»,— объяснил я. Мой ответ почему-то сильно огорчил их. Тогда один из них, в шапке-кубанке из серого каракуля, вдруг вполне дружелюбно попросил меня: «Выручай, малец, сбегай в магазин. Купи нам пожрать: хлеба, колбасы, консервов, пару бутылок водки, следующий поезд будет только к ночи, да и курева не забудь». Видя, что я сник, они спросили: «Не хочешь нас выручить?» Я ответил: «Хочу, но у меня нет ни копейки». Тогда они весело засмеялись, и опять же тот, в кубанке, достал из голенища щегольских хромовых сапог желтое кожаное портмоне и сказал, продолжая улыбаться: «Мы сразу поняли, что ты не богач, держи белохвостую, думаю, хватит»,— и протянул мне хрустящую сторублевку, где на просвет с одной стороны виделся Кремль, а с другой — Ленин. Это были новые, пореформенные деньги, после 1947 года, и у мамы однажды была такая красивая денежка. Правда, слово «белохвостая» я услышал тогда впервые. Только через четыре года, когда буду учиться в Актюбинске, услышу снова от местных блатных ребят, как и они назовут сторублевку «белохвостой». И я сразу вспомню ту давнюю встречу. Я осторожно взял белохвостую, но кто-то из ребят вдруг сказал: «Серега, добавь еще денег, не хватит». И тот щеголь, видимо, старший в компании, сунул мне в руки еще тридцать рублей. Я было рванулся с горы, но меня учтиво придержали: «Возьми санки, малец, в руках не унесешь, да и в глаза бросаться будет». С санками я и понесся в магазин.

Продавец сельмага, Нюра Кожемякина, слыла в Мартуке модницей, не раз заказывала у матери вязаные вещи, и она, узнав меня, строго спросила: «Откуда деньги?» Я честно обо всем рассказал. «Как же ты донесешь такое добро?» — спросила участливо, выставив весь заказ на прилавок, и, не дождавшись ответа, упаковала все мои покупки в коробку из-под вермишели и сама вынесла на крыльцо и уложила в санки. Встретили меня радостно, похвалили, отломили кусок колбасы с хлебом, предложили выпить, но от водки я отказался. Когда я попытался вернуть сдачу, они великодушно разрешили оставить ее себе, на кино, чему я радовался несколько недель.

В 1960 году, когда жизнь в наших краях в связи с освоением целины наладилась, дежурный по станции Кужелев первым в Мартуке отлил из шлака пристанционных эверестов шлакоблочный дом — это была революция в строительстве поселка. За два года от паровозного шлака не осталось ни грамма, все смел строительный бум, и теперь только старожилы, вроде меня, помнят о былых огромных огнедышащих горах на станции. Но, чтобы навсегда уйти со станции в Мартуке, мне придется рассказать еще один случай, который и спустя пятьдесят семь лет время от времени мне снится.

Случилось это год спустя после встречи с проезжими уркаганами на станционных отвалах шлака. За год я стал на станции бывалым человеком, обрел опыт, сноровку, и мама уже привыкла, что после уроков я всегда крутился у паровозов и без добычи редко возвращался домой. Только-только отпраздновали новый 1952 год, и у нас начались школьные каникулы. Стоял погожий зимний день, градусов восемнадцать-двадцать, ни ветерка, светило солнце, и я решил часа на два сбегать на станцию за углем, потому что в дни каникул давали дневной сеанс, и в тот день шел цветной фильм «Большой вальс». По дороге мне повстречался одноклассник Диас Искандеров, чей отец погиб под Москвой, как и мой. Диас редко бывал на станции, видимо, дома не разрешали, или он побаивался станционных ребят. Но в последние месяцы он часто видел, с какой добычей я возвращался домой, так что уговаривать его долго не пришлось. Главным аргументом послужило предложение продать пару ведер добытого михайловского угля хромому Максуму с постоялого двора, тот всегда покупал особый, тлеющий без дыма уголь для своих трехведерных самоваров. Когда мы пришли на станцию, на первом пути в сторону Актюбинска стоял грузовой состав. Видимо, он прибыл уже давно, потому что машинист

паровоза и его помощник стояли у тендера без привычных инструментов в руках — большой масленки и молотка на длинной ручке. Значит, они закончили осмотр, обстучали все важные элементы локомотива и смазали ходовые части, буксы. Машинист как раз обратился к кочегару: «Сергей, стоять нам еще долго, мы пойдем на вокзал пообедаем, а ты тут за главного». Видимо, по рации они получили сообщение, что навстречу идет литерный поезд с особо важным грузом, и ему освобождали перегон, давали зеленую улицу на нашей станции. Мы, мальцы, не хуже железнодорожников ориентировались в правилах движения, в специальной терминологии. Кочегар, в поте лица очищавший топливные люки, забитые шлаком, что-то буркнул в ответ им в спину. Мы быстро оценили ситуацию, такой случай, когда у паровоза остается один кочегар, бывает раз в год и считается удачей. Дело в том, что и машинист, и его помощник — белая кость на паровозе, они всегда гоняли ребят от локомотива подальше, могли и подзатыльник дать, и пинка под зад особо настырным. А кочегар, которому за короткую остановку нужно было вычистить топки с обеих сторон, заправить тендер водой, да еще накидать угля из открытого всем ветрам огромного тендера поближе к кабине, чтобы на ходу забрасывать его в топку, едва не валился с ног от усталости. Адская работа — то на ветру, на морозе на открытом тендере, то у жаркой печи метать пудовой лопатой уголь в ненасытную печь, то шуровать забитые шлаком топки. В ту пору слово «кочегар», фраза «работать, как кочегар» имели смысл особо тяжелой, рабской работы, губительной для здоровья. В кочегары шли молодые люди из деревни, из-за безработицы, безысходности, из-за возможности обрести постоянный заработок, угол в общежитии или комнату в коммуналке — власть знала, чем приманивать бедноту. Эти деревенские ребята понимали пацанов, крутившихся возле паровоза. Не раз бывало, особенно зимой, кочегар, перед самым отправлением, видя занятость своих коллег, сбрасывал ребятам с тендера два-три куска угля в сугроб. Как только машинист с помощником отошли подальше, я тут же нырнул под состав и поднялся на паровоз с другой стороны, чтобы не видел работавший кочегар. Я хотел узнать, успел ли он заправить паровоз водой, и есть ли в тендере кусковой уголь, желательно михайловский — для самоваров. К моей радости, водой еще не заправили, и весь тендер был полон нужного нам угля. Обрадованный, я спустился к Диасу, и мы вдвоем подошли к кочегару, поздоровавшись, я спросил: «Можно, мы заправим паровоз водой?». Кочегар вытер пот со лба, внимательно осмотрел

нас — а вы сможете? «Обижаешь, Серега»,— ответил я лихо,— нам все доверяют, ни разу не перелили, мы ведь вдвоем. Я наверху, а товарищ внизу. Буду глядеть в оба»,— добавил я для основательности. И впрямь, зазевайся, не перекрой воду вовремя, зальет весь паровоз водой, и через пять минут на морозе он будет весь ледяной, и отбивать лед придется только кочегару.

— Ну, если вдвоем, то добро, заправляйте,— ответил повеселевший кочегар.

Конечно, наверх полез я, Диас еще никогда не бывал на паровозе, побаивался. Прежде чем забраться наверх, мы навели длинный хобот высокой колонки над люком тендера, а наверху я его еще поправил по центру, и только потом дал отмашку Диасу, чтобы отвинтил колесо крана, и вода, обдав меня запахом озера, тины, рыбы, полилась в чрево паровоза. Вода виднелась на самом донышке, и я знал, что нужно пятнадцать-двадцать минут, чтобы заполнить тендер доверху. Визуально было хорошо видно, как вода поднимается. Вода водой, а задача была — добыть уголь, а он, желанный, сажево-черный, бархатистый, лежал рядом, только протяни руку. Сверху я видел, что кочегар все еще скребет топку справа по ходу состава, поэтому стал сбрасывать большие куски угля в снег между путями на другую сторону. Время от времени я поглядывал вниз и на Диаса, и на кочегара Серегу, и продолжал сбрасывать и сбрасывать. Такая удача мне не выпадала никогда, мы могли теперь продать и десять ведер угля, и домой отнести. Радость прибавляла мне силы, я даже что-то насвистывал и безголосо напевал. Вода, тем временем, наполняла тендер.

Когда кочегар перешел чистить топку слева, я стал сбрасывать Диасу прямо под ноги, жестами объясняя, чтобы он присыпал уголь снегом. Вот-вот должны были вернуться машинист с помощником. В общем, минут за двадцать я набросал по обе стороны колеи довольно-таки много угля. А тут и вода подошла под горлышко, и мы успели перекрыть кран вовремя, о чем тут же доложили Сереге. Кочегар поблагодарил нас и сам забрался на паровоз, проверил и сбросил огромный валун угля ведер на десять, я бы его и с места не сдвинул. От такого куска на паровозе одна морока, замучаешься его кувалдой в тендере дробить, а для нас — несказанное богатство. Мы с Диасом, счастливые донельзя, улыбающиеся от неслыханной удачи, перешли под составом на междупутье и стали присыпать снегом тот уголь, что я сбросил в самом начале. Машинист, заняв место слева, сразу мог его увидеть, а, значит, не поздоровилось бы нашему доброму Сереге. Пока мы присыпали

уголь на междупутье снегом, вернулся машинист, я увидел его в привычном окошке. Локомотив начал разводить пары, и нас, стоявших возле первого вагона, обдавало словно облаком, но мы его не замечали. Наши фантазии унесли нас со станции, мысленно мы покупали цветные карандаши, рыболовные крючки и настоящую капроновую леску. Диас замахнулся даже на перочинный ножик — денег от хромого Максума должно было хватить на все. Богатая добыча лежала у наших ног слева и справа и даже за спиной. Но тут, непонятно откуда, появилась ватага станционных ребят, не меньше десятка. Они были на год-два постарше нас с Диасом, а главному, двоечнику из 6 «Б» по кличке Фаддей, исполнилось уже четырнадцать. Конечно, они знали нас, а мы их, кроме двух дошколят, одетых в рванье не по росту. Наверное, кто-то из них увидел из окна на втором этаже, как я долго сбрасывал с паровоза уголь. Ощущая пятикратное преимущество, они шумно накинулись на нас, особенно усердствовал Фаддей, подражая блатным, он сыпал жаргонными словечками, смачно ругался, в общем, запугивал страшно. Суть претензий была предельно проста, особенно в устах косноязычного Фаддея: станция наша, а, значит, и уголь наш, убирайтесь, пока санки не отняли и не надавали как следует. Настроены они были агрессивно, даже поделиться не предложили, как часто бывало в подобных ситуациях. Наш случай был не первый на станции, только сегодня Фаддей впервые вывел новую юную поросль из краснокирпичного дома на охоту за чужаками, и явно желал утвердиться в лидерах. Хотя их было больше, у нас имелось преимущество, у каждого в руках была железная кочерга, которую мы держали наготове. Когда Фаддей уж очень стал наседать на меня, я толкнул его кочергой в грудь, и он, не ожидавший отпора, упал на путь, что резко поубавило ему пыла. «Наш уголь, наш уголь»,— орали дружно станционные, и меня вдруг осенило. Я сказал, как можно тверже и туманнее: «Фаддей, наш уголь или ваш, ты не нам доказывай, понял?». «Кому же?» — опешили разом станционные. «Вот сейчас вернутся Султан с Хамидом, они за братанами старшими пошли и за большими санками, им, чеченам, и скажете, что вы хозяева угля и станции, а теперь валите отсюда, пока целы». В этот момент кто-то из колеи наклонился над большим куском угля, и тут произошло неожиданное. Тишайший Диас, побаивавшийся станционных, поддал тому такого пинка, что тот упал к ногам Фаддея. Тут нападавшие заметно дрогнули, не имея чеченской поддержки, мы, татарчата, вряд ли могли вести себя столь нагло на их территории. Но уйти просто так Фаддею гордость не позволяла, боялся уронить авторитет

среди мелюзги, он демонстративно рвался в блатной мир. Фаддей лихорадочно думал, как он объяснит станционным корешам из красного дома, что не сумел отнять богатую добычу у двух малолеток из поселка. Так мы и стояли напротив друг друга — я с Диасом на междупутье, станционные в колее главного пути. Наш паровоз все больше и больше выпускал пар, и мы все время от времени тонули в этом густом облаке, но никто не обращал на это внимания. Весь интерес с обеих сторон сошелся на угле. Конечно, добудь мы малость угля, ведерка два, мы бы не сопротивлялись, и они, наверное, так бы не злобствовали. Но такую добычу никто не хотел уступать, ни мы, ни они. А в это время литерный поезд, на высокой скорости шедший на проход через Мартук, миновал входной семафор и, видя скопление на путях, отчаянно гудел во всю мощь своих труб. Но никто из тринадцати ребят ничего вокруг не видел и не слышал, у всех в глазах — только уголь. Мне кажется, насыпь сегодня высоченную гору шоколадок, сникерсов, жевательной резинки и прочего добра, которое волнует детвору, все равно нашелся бы один равнодушный, озирающийся по сторонам. А тогда от угля дети не могли оторваться ни на секунду, такова была ему цена.

Скорый налетел с размаху — четверых насмерть сразу, нескольких выбросило из колеи без единой царапины, Фаддею отрезало обе ноги, а один мальчик по фамилии Касперов остался цел, ухватившись за решетку паровоза, которая сбрасывает с путей небольшие предметы. Диаса поезд не задел, меня зацепило какой-то выступающей частью паровоза, и, хотя я был в шапке, чуть выше виска у меня вырвало кусок кожи с волосами размером с маленькую монетку, и я долго хромал на левую ногу. Наверное, сильно ударился о стоящий состав, когда меня отбросило от летящего паровоза. Когда я очнулся, Диаса рядом не было, со станции и из краснокирпичного дома с плачем бежали женщины. Я потихоньку переполз под составом, нашел свои санки и ведро и, обливаясь слезами, хромая поплелся домой. Кому досталась большая добыча, остается только гадать. Эта история имела тягостное продолжение только для меня. Меня хотели исключить из пионеров как расхитителя социалистического добра, и даже из школы. Но нашлись во власти здравые люди, и ретивых учителей быстро одернули. На станцию я, конечно, дорогу забыл.

В год моего 65-летия я случайно узнал, что тот мальчик Касперов, чудом оставшийся жив, стал профессором, академиком, ректором авиационного института в Новосибирске. Поистине, судьбы людские и пути Господни неисповедимы.

***

В начале восьмидесятых годов, когда у меня уже выходили книги в Москве, одна из них попала на рецензию к писателю Штильмарку, человеку трагической судьбы. Он отсидел в сталинских лагерях двадцать пять лет от звонка до звонка и позже был сослан на поселение в Казахстан. В одном из моих рассказов этой книги упоминался Мартук и соседний Ак-Булак. В Ак-Булаке, как оказалось, мой рецензент отбывал ссылку. Он был рад, что его ссыльное место для меня стало предметом литературы. В 1999 году в журнале «Огни Казани» на татарском языке вышел мой ретро-роман «Ранняя печаль», и я вдруг получил полное благодарности письмо от одной очень старой читательницы. Оказывается, ее отец, духовное лицо, в тридцатые годы был сослан… в Мартук. Они писали отцу в Мартук годами, раз в год отправляли туда посылку, а раз в два года, по специальному разрешению, навещали его. По ее словам, Мартук был для них святым местом, как Мекка, не меньше, и они всегда молились за благополучие его жителей. Я далек от мысли, что Мартук — святое место, хочу, пользуясь примерами, обратить ваше внимание на то, что я, частное лицо, дважды лично столкнулся с людьми, чьи судьбы связаны с Мартуком из-за того, что он в чьих-то тайных реестрах был определен местом для ссылки. Сегодня я понимаю, отчего у нас в захолустье кроме милиции находилось и отделение НКВД, прародителя КГБ, причем в заметно расширенном составе. Кстати, они вместе с милицией тоже жестоко разгоняли базар на станции.

Я упомянул о ссыльных в Мартуке, о которых ни тогда, ни теперь, запоздало, не говорили и не говорят, видимо, не такие уж сверхважные персоны высылались к нам. Разумеется, и они, ссыльные, о себе не распространялись, чтобы не осложнять и без того тягостную жизнь. Но даже тогда, в детстве, я понимал, а точнее, чувствовал, что люди крепко отличаются друг от друга. Теперь-то я знаю, что тому много причин: происхождение, образование, культура, интеллект, в ту пору я и слов таких не только не понимал, но и не слышал. Но то, что такие люди есть, хорошо усвоил, потому и помню до сих пор, и оцениваю их значение для Мартука задним числом через столько лет.

В шесть лет я случайно выпил яд — каустическую соду, ее отчим использовал для выделки шкур. Но, на мое счастье, в другой комнате нашей землянки находился киевский врач Драпей, сосланный за что-то в нашу тьмутаракань. Он любил заходить к нам на чай, и мама всегда держала специально для него небольшую заначку

заварки. С чаем и с сахаром в доме бывали частые перебои. На мой крик врач выскочил раньше матери и, в мгновение оценив ситуацию, заставил меня выпить молоко, стоявшее рядом на столе. Опоздай он на минуту-две, и я не писал бы воспоминания о нем. Сейчас, когда я вижу на экране человека в пенсне, с кожаным чемоданчиком в руках и со стетоскопом на груди, я сразу вспоминаю врача Драпея, он спас в Мартуке не одного меня. О нем долгие годы ходили у нас легенды, но новое поколение мартучан узнает о нем только из этих скупых строк. Да будет земля Вам пухом, дорогой доктор Драпей!

В школе у нас преподавал математику учитель Николай Иванович Мишин, седой, полноватый, с пышными усами и бакенбардами мужчина, он, как и доктор Драпей, сразу выпадал из общей массы жителей Мартука. Всегда аккуратно одетый, учтивый, он и к нам, детям-озорникам, относился тепло и обращался — «любезный, подойдите ко мне, пожалуйста». Жена его тоже была учительницей, а сестра его, Екатерина Ивановна, заведовала детской библиотекой. Только одна эта семья сделала так много для Мартука, что не высказать. В школе устраивались неслыханные нигде вокруг, кроме Мартука, олимпиады, а на дополнительные занятия по математике приходили по сорок учеников, и отнюдь не отстающие, а, наоборот, те, кого влекли точные науки. Наверное, с тех послевоенных лет до горбачевских реформ мартукская школа считалась одной из лучших в области, и поступали в вузы до девяноста процентов ее выпускников, решивших получить образование. Я не увлекался математикой, да и школу оставил после семилетки. Но я хорошо помню перемены в библиотеке, как нас встречала сестра Мишина, Екатерина Ивановна, как долго любезно беседовала она с каждым заморышем, она обогревала нас словом, вниманием, вселяла в нас надежду, отыскивая в нас хоть какие-то крупицы таланта. Для многих из нас Мишины стали лоцманами в жизни, а от Драпея потянулась дорога в актюбинский мединститут. Екатерина Ивановна сама прекрасно рисовала и создала в библиотеке, в двух тесных комнатках, изокружок. Скоро рисунками учеников оказались увешаны все стены и коридоры библиотеки, позже им нашлось место и на стенах школы. Рисовали акварелью, цветными карандашами, углем, но мне запомнились тончайшие, ювелирные рисунки птиц и животных, сделанные пером и цветной тушью на ватмане мальчиком с соседней улицы — Вальтером Диком. Много позже он сумел через Прибалтику эмигрировать в Германию и там стал известным художником-анималистом.

Об этом я узнал от своего закадычного дружка детства Сигизмунда Вуккерта, чья семья тоже уехала на Запад.

В январе 2007 года я приехал из Парижа в Мюнхен с супругой Ириной посмотреть известнейший в Европе музей современного искусства, а еще больше для того, чтобы побродить по улицам моего горячо любимого поэта Федора Ивановича Тютчева, которого самозабвенно обожал, боготворил в юности. В Мюнхене Тютчев прожил больше двадцати лет, там у него были две яркие, глубокие любовные истории, которые подарили нам такую тончайшую, восхитительную лирику. Немцы поставили Тютчеву прекрасный памятник. В день отъезда из Мюнхена я наткнулся на афишу выставки художника Вальтера Дика, на которой был портрет вальяжного господина, и без труда узнал в нем босоногого Вальтера. Конечно, вспомнил нашу библиотеку, Екатерину Ивановну, без которой, наверное, не было бы Вальтера Дика. Очень жаль, что не встретились с Вальтером, нам было бы о чем поговорить. Тешу себя надеждой, что я еще загляну в Мюнхен к земляку и подарю ему каталог собственной коллекции живописи, в которой, к сожалению, нет картин Вальтера Дика, и еще подарил бы свой роман «Ранняя печаль», где есть большая глава, посвященная мартукским немцам.

Что касается Мишиных, я не раз слышал в их адрес одно — политические. Что это могло означать тогда, я не могу представить даже сейчас, даже с высоты своего возраста и опыта, житейского и писательского. С этой семьей не увязывалась никакая крамольная мысль — ни политическая, ни уголовная, ни связанная с моралью. Вся их жизнь, протекавшая под надзором НКВД, прошла перед глазами всего Мартука — и людей более праведных, добрых, отзывчивых, бессребреников, живших только заботами юных граждан нищего поселка, я больше никогда не встречал. Долго, до самой их смерти в Мартуке, я интересовался их судьбой, я знаю, где их могилы на огромном русском кладбище, мне не надо их долго искать. Там покоится много моих друзей. Первым ушел, почти пятьдесят лет назад, юный Толя Чипигин, за ним Володя Колосов, Юра Урясов, Славик Афанасьев, Леня Грицай, Боря Палий, Саша Варюта — я называю только очень близких мне людей, а сколько там соседей, знакомых! Пусть всем вам мартукская земля будет пухом, я часто вспоминаю вас. Но мне везло в жизни на учителей, и я еще раз встретил таких же доброжелательных людей. Теперь это были мои преподаватели в железнодорожном техникуме в Актюбинске. Почти весь преподавательский состав того

времени состоял из профессоров, доцентов, кандидатов наук, ученых из Ленинграда. Конечно, они были сосланными и не делали из этого тайны, к тому же уже прошел 20-й съезд партии. Они дали нам не только знания, но и привили культуру. Низкий поклон вам, учителя мои: Фома Иванович Грачев, профессор Семен Абрамович Глузман, профессор Волков, профессор Башкирцев, Михаил Матвеевич Панов, Борис Николаевич Гущин — я никогда вас не забывал.

На учителей везло не только мне, но и Мартуку. Учительница немецкого языка Алиса Арнольдовна, одна воспитывавшая сына Марка, создала в школе театр кукол. Я не оговорился — не кружок, а настоящий театр, с полновесными спектаклями по известным сказкам, чаще всего немецким. Наверное, этот навык был у нее в прошлой жизни, столь отточены, выверены были сцены, реплики, столь продуманы декорации, выставлено освещение, изготовлены сами куклы. Такое с налету, от одного только желания что-то создать, не получается, сужу об этом теперь как театрал со стажем. К себе в студию она набирала только тех, кто хорошо учился. Как резко подскочила успеваемость в нашей школе! Кукольное дело требовало внимания, аккуратности, терпения, сноровки, ловкости и, конечно, артистизма — оказывается, рядом с нами, в каждом классе, начиная с первого и по десятый, учились такие талантливые мальчики и девочки. Театр давал спектакли не только в школе, но и в кинозале Дома культуры, их привлекали с постановками даже в дни выборов — а к этому тогда относились серьезно, вмиг можно было лишиться работы и партбилета. Народ валом валил на спектакли, а родители так гордились своими детьми-артистами! Когда рассказываю об этом сегодняшним мартукским школьникам — не верят, что подобное могло быть у них в поселке пятьдесят лет назад. Было, было, только и люди, и дети были другими.

***

Я описал только две-три судьбы ссыльных, занесенных жестоким временем в наш Мартук, да и то мимолетными штрихами. Подробнее не мог — мал был, а услышать о них от взрослых не довелось. И опасно было, и своих забот хватало, всегда, сколько себя помню, и по сей день жизнь в наших краях определялась по гамбургскому счету — выжить! Но это не вся правда. Сегодня, с высоты житейского опыта, возраста, понимаешь, что, может быть, главное — в утере памяти о достойных людях, которые вместо тебя, за тебя пытались изменить мир вокруг, судьбу твоих детей, главное заключается в простом

равнодушии, душевной эрозии, переходящей в откровенный цинизм. Мишины? А что они сделали? Работали в школе? Выдавали книги в библиотеке, кружки организовывали для детей, кукольные представления давали — так они за это деньги получали. Доктор Драпей? А этот, говорят, полторы ставки получал, большие, я вам скажу, деньжищи. Щедрой души человек? Безотказный? Ночь не ночь, пурга, дождь — мог в аул поехать? Так это врачу по клятве какой-то римской положено, работа такая, сам выбирал.

Много ссыльных было в нашем Мартуке, я встречал их на базаре, базар миновать нельзя было никому — без него не выжить. Встречал я их на станции, в очередях за хлебом, в которых стояли с вечера, с перекличками до самого утра, когда подвозили на подводах хлеб с пекарни. Встречал их у реки, когда собирал на зиму сушняк. Конечно, все они чем-то занимались, добывали свой хлеб насущный, как тот виртуоз керамист Трушкин. Именно тогда у нас появились районная газета и типография, организовал их тоже ссыльный — Кисловский, его сын Эдик учился классом старше меня. Безусловно, каждый из них, кто меньше, кто больше, повлиял на жизнь и культуру нашего села. Вот сегодня, в двадцать первом веке, заплати миллион долларов, чтобы в Мартуке через час собрался духовой оркестр, дабы проводить в последний путь достойного человека — не получится. А тогда, после войны, без оркестра вообще не хоронили. А на парадах по случаю 1 Мая, 7 Ноября,— снимки сохранились,— идет такой внушительный оркестр, какой нынче вряд ли и в городе соберешь. А летом в парке, в воскресенье, часов с пяти до самых танцев играл духовой оркестр. И его репертуару, как я сегодня понимаю, позавидовал бы и профессиональный коллектив. Ведь кто-то дирижировал этим оркестром, писал ноты, репетировал, были владельцы этих дорогих инструментов. Смешно даже предположить, что музыкальные инструменты были собственностью нашего бедного районного Дома культуры. В подтверждение скажу, что с тринадцати лет, когда я начал околачиваться возле нашей танцплощадки в парке, половина пластинок, под которые танцевала молодежь, была из нашего дома. Конечно, оркестрантами были люди из ссыльных, с которыми, в силу своего возраста, я не мог никак общаться. Оттого, наверное, что были такие музыканты и инструменты, уже в пятидесятых в Мартуке откроется музыкальная школа. Как говорила моя мама — на пустом месте вырастает только чертополох.

Ссыльные были разными людьми, вот еще маленький пример, а точнее — судьба, но уже рассказанная мне лет десять назад моим одноклассником, ныне директором одной из двух больших русских школ в Мартуке, Рахимом Халиковым. Отец Халикова — участник войны, инвалид, в ту пору еще совсем недавно вернулся из Берлина и работал экспедитором на почте, рядом со своей хибаркой. Возил он на станцию и доставлял с поездов почту. На задворках большого почтового двора (тогда пользовались только гужевым транспортом, в том числе верблюдами) располагались сеновалы, конюшни, сараи, всякие склады. В один прекрасный день Рахим обнаружил там свежевырытую землянку, точнее, просторную яму, куда вели аккуратно вырезанные в земле ступени. Стояло лето, и крыша отсутствовала, либо жилец знал, что здесь он долго не задержится, либо не успел устроить. Мужчина, увидев Рахима, ловко поднялся и, улыбаясь, спросил с заметным немецким акцентом: «Мальчик, у тебя есть друзья?» Рахим, поняв, что предстоит какая-то работа, ответил: «Я могу собрать вмиг трех-четырех ребят». На что немец сказал с улыбкой: «Я предлагаю вам выгодное сотрудничество, вы наловите штук двадцать сусликов, а я вам приготовлю из них прекрасный обед, вы даже не представляете, как вкусны и полезны они». Почувствовав, что Рахим не совсем понял предлагаемую затею, хозяин ямы спросил: «Разве вы не ловили суслов?» Получив отрицательный ответ, немец немного расстроился, но тут же весело предложил: «Я научу вас, это проще простого. Вы наливаете в норку из ведра воды, и через полминуты он, испуганный, выползает наружу, даже не сопротивляется. Вы его в мешок — и ко мне. Через час после охоты гарантирую вам роскошный обед»,— и он показал рукой на стоявшие внизу примус и большую кастрюлю. Предложение голодному мальчишке из многодетной семьи показалось столь привлекательным, что он тут же побежал скликать свою дружину. Через дорогу от почты располагалась метеостанция, обнесенная обвисшим забором из колючей проволоки, а вокруг нее бегали, резвились суслики. На заповедную территорию никто не покушался, о чем гласило строгое предупреждение: особо охраняемая зона. Сусликов тут хватало не на один обед, если быть удачливым. Все получилось, действительно, просто и быстро. Через час мальчишки заявились с добычей на званый обед. Немец, не сомневавшийся в удаче ребят, уже разжег примус, на котором закипала большая кастрюля, и вырезал непонятные палочки из лозы, припасенной в углу землянки. Получив сумку с добычей, он достал сбоку из своего головного убора

узкую металлическую пластинку, остро заточенную с одной стороны, и стал, на глазах у ребят, быстро и ловко свежевать тушки. Он делал только один длинный быстрый разрез по брюшку и выворачивал шкурку, словно снимал шубу. Фантастическое зрелище, как рассказывал мне Рахим. Освободив тушку от внутренностей, он обмывал ее в ведре и тут же опускал в кипящую кастрюлю. Когда немец минут за десять справился с добычей, он научил ребят, как правильно растягивать шкурки для просушки. Вот для чего он заготовил палочки разной длины. Рахим знал, что «Живсырье» принимало шкурки и тут же рассчитывалось деньгами, но среди мусульманских мальчишек не было принято заниматься этим. Позже в «Живсырье» долго работал Фарид Шакиров, ныне пенсионер, поющий в хоре ветеранов. Кстати, о Шакировых. Народ, действительно, ничего не забывает. Оказывается, из мартукских татар в Отечественной войне не участвовали только двое: Мухаметзян Шакиров и Шайхи Гайнутдинов. Пожалуйста, не путайте Шайхи Гайнутдинова с отцом Радика Гайнутдинова, Гимаем-абы, достойнейшим человеком. Однажды, как рассказывал мне Раззак, старший сын Гимая-абы, Шайхи, был у них в гостях и, захмелев, стал бахвалиться, как они с дружком Мухаметзяном Шакировым во время войны по бабам шастали. Но Шайхи не успел закончить историю, как оказался в нокауте. Такой удар имел фронтовой разведчик Гимай-абы. Несмотря на то, что Шайхи был гость, родственник, прямой начальник. Фронтовики вернулись с войны с обостренным чувством чести и достоинства.

Но вернемся к нашим сусликам.

Только две молдавские семьи в Мартуке из самых бедных занимались охотой на суслов. Но голод заставил ребят переступить запрет. Барствовал Рахим с дружками ровно две недели. Каждый день сдавали шкурки, у них завелись деньги на кино, а главное, тайный от родителей сытнейший обед от немца, с которым они сдружились. Правда, рассказывал мне Рахим, когда он в первый раз увидел этот спецнож, он подумал, что немец — шпион, и сильно испугался, но голод поборол страх. Только через много лет Рахим узнал, что это был хирургический скальпель, в другой жизни их благодетель, наверное, был врачом. В один прекрасный день, когда они вновь заявились с богатым уловом в землянку,— никого там уже не было, не осталось ни примуса, ни волшебной кастрюли. Через неделю один мальчик, которому они открыли свою тайну, признался, что видел, как двое в штатском заводили этого немца в здание НКВД именно в тот день, когда

они потеряли и обед, и заработки. При встрече со мной в последний раз Рахим вдруг ни с того ни с сего спросил меня с грустью: «Ты помнишь моего немца? Что-то он часто стал мне сниться последнее время. Жаль, человек не должен пропадать бесследно, не должен». Он думал о чем-то своем, наткнувшись на прошлое.

Пожалуй, тут уместна будет еще одна история, и про ссыльные народы, и про мальчика Рубина.

В одном классе со мной учился Коля Грабовский, был у него брат Юрген, позже он при странных обстоятельствах утонет на Чудном озере, и младшая сестренка Ольга, которая, повзрослев, выйдет замуж за Сашку Гельвиха, часовых дел мастера. Рос Коля без отца, как и многие в ту пору, безотцовщина стала как бы нормой. Но отец Коли Грабовского неожиданно объявился в 1959 году, и тогда я от матери узнал историю соседа Гюнтера Грабовского. В войну, когда немцев поголовно выселили из Поволжья и Краснодарского края к нам в Казахстан и Западную Сибирь, они объявились в Мартуке. Грабовский-старший работал грузчиком на элеваторе. Годы холодные, голодные, трое детей, такую ораву и в мирное время прокормить непросто. И вот однажды вечером зимой 1943 года мою мать и соседку Науша-апа Бектимирову вызывают в землянку к Грабовским понятыми. Сосед только вернулся с работы, а за ним вошли двое из НКВД с понятыми и заставили хозяина дома вывернуть содержимое карманов в ладони моей матери. Мать со слезами на глазах рассказывала, что в обоих карманах ватника не набралось даже двух полных ладошек пшеницы. За эту горсть сорной пшеницы соседу-немцу дали пятнадцать лет, и отбыл он их в Сибири на лесоповале день в день. Эта история много лет не шла у меня из головы. Ну ладно война, думаю я, сгоряча дали на всю катушку, но почему же после войны не пересмотрели столь суровый приговор? Ведь у него дома остались трое детей! Поистине, низвели жизнь человека до жизни раба, от которого требовалось одно — дармовая работа. Грабовского, наверное, и после пятнадцати лет не хотели выпускать из тюрьмы, уж очень честны, безотказны немцы в работе. Много позже в один из визитов в Мартук я узнал, что большое семейство Грабовских уехало в Германию. Тогда я сделал в дневнике такую запись: «Пусть Родина, которую они так трудно и запоздало приобрели, будет к ним добра и милостива, не в пример нашей — слишком мало хорошего они видели в СССР. Пусть никто, нигде и никогда не заплатит за горсть сорной пшеницы такую цену, какую заплатил отец моего одноклассника Гюнтер Грабовский».

***

С чеченцами часто случались какие-то шумные и скандальные истории — этих не могли запугать ни работники спецкомендатуры, ни люди из НКВД. Они не позволяли унижать собственное достоинство, и ни один чин при нагане не рисковал принимать чеченца в кабинете один на один, хотя тех на входе обыскивали самым тщательным образом. Говорят, в ту пору со стола начальства исчезли все тяжелые предметы: бюсты генералиссимуса из бронзы или мрамора, а также и бюсты железного Феликса, тяжелые письменные приборы каслинского литья из чугуна, особо модные в те годы, и даже графины с водой. Другое дело немцы — тихий, законопослушный народ, они не доставляли особых хлопот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, перед которым померкли все лихие выходки горцев. Говорят, историей немецкого парня по имени Рубин занимались в Москве высшие чины НКВД и военной разведки. Рубин в ту пору учился не то в восьмом, не то в девятом классе и жил на другом краю села, поэтому мне не приходилось сталкиваться с ним, знал только, что тот жил с матерью, и мать его работала в школе истопницей и уборщицей…

Перебирая в памяти те далекие детские годы, я не могу не вспомнить добрым словом немок-уборщиц, что работали у нас в школе. Каждый класс просторной и добротной школы отапливался тогда углем — а учились в две смены, была и третья, вечерняя, для взрослых,— это значит, больше двадцати печей топилось с раннего утра и до поздней ночи. И бойкие уборщицы не только топили эти прожорливые печи, но еще в течение урока, к каждой перемене, успевали вымыть длинные коридоры школы. Сегодня, став взрослым, я понимаю, что трудолюбие этих женщин спасло сотни ребят от туберкулеза.

О тех давних уборщицах в родной школе я вспомнил не только из-за Рубина. Однажды в Нукусе я случайно по строительным делам оказался в школе. Войдя в современное здание с центральным отоплением, я начал задыхаться и вскоре понял, что школа не знала влажной уборки даже раз в месяц,— ребята изо дня в день дышали мельчайшей пылью, взбитой в три смены тысячами детских ног.

Может, потому в Каракалпакии почти нет здоровых людей, они уже из школы выходят с ослабленными легкими. Жаль, местные врачи и местное начальство не понимали того, что знали малограмотные немецкие женщины…

Отдав должное в памяти школьным уборщицам, про которых вряд ли найдешь упоминание в каком-нибудь романе, я вернусь к Рубину…

Немцы в те годы не имели права без разрешения комендатуры покидать место жительства, не имели они и документов, что также лишало их возможности передвижения. Тем удивительнее оказался слух, что пропавший два месяца назад немецкий мальчик — школьник по имени Рубин задержан на западной границе при попытке ее перейти. Его вернули домой, к матери, что с него взять — несовершеннолетний мальчуган.

На все вопросы учителей на педсовете он упрямо твердил, что хотел вернуться на свою Родину, хотя те его дружно уверяли, что его Родина — СССР: здесь он родился, здесь родились его родители, и даже прадеды, что только тут ему гарантированы великой сталинской конституцией право на труд, свободу, бесплатное образование, здравоохранение, жилье и прочие блага. Но, видимо, он уже тогда понимал, какие свободы ждут его в родном отечестве.

Я, как и другие одноклассники, бегал в соседний коридор, где учились старшеклассники, глянуть на парня, без документов, без денег одолевшего всю страну и задержанного настоящими пограничниками. Оказывается, обыкновенный худенький мальчик-подросток, с грустными глазами, отличник, прекрасно знавший математику и на контрольных решавший все четыре варианта задач. Были у него и приятели, с которыми он дружил и которых уже кое-куда вызывали, но никто из них даже предположить не мог, что Рубин затеет такое — отправится к дяде и родственникам во Франкфурт-на-Майне, откуда раз или два приходили письма и перепотрошенная посылка с вещами.

Окончив школу, Рубин снова бежал, но на этот раз его застрелили при переходе границы, и мать ездила на похороны, а чуть позже и вовсе переехала в те края присматривать за могилой единственного сына, больше у нее никого не было — муж погиб в Челябинске в трудовых лагерях.

В школе провели собрание, гневно осудили поступок бывшего ученика,— видимо, откуда-то поступило такое указание. Но между собой ребята говорили другое: жаль Рубина, он же школьник, а не шпион, и какие тайны он мог вывезти из Мартука — о нищем колхозе «Третий Интернационал», что ли? И пусть бы он жил там, где хотел, мы ведь граждане самой свободной страны…

Так просто и ясно — задолго до Хельсинкского совещания,— без знания о существовании Декларации прав человека, еще пятьдесят пять лет назад мыслили мартукские мальчишки.

Сегодня ясно, что Рубин поспешил. Он был юн, не чувствовал время, а поговорить, посоветоваться ему было не с кем — наверняка даже мать не знала о его планах. А времена меняются, даже самые тяжелые в конце концов проходят, только никто не знает, сколько надо ждать, потому и торопятся, ошибаются и погибают…

Во втором классе нас приняли в пионеры, для меня это событие осталось памятным, незабываемым на всю жизнь. Нет, не подумайте, я не стал ярым активистом движения, у меня только резко изменились школьные каникулы. В памяти старшего поколения пионерские лагеря наверняка оставили памятный след, в моей уж точно. До войны в Мартуке пионерских лагерей не было, наверное, и время не пришло, и средств не имелось. В Мартуке они ведут отсчет с 1950 года, причина тому одна — слишком много было сирот, безотцовщины. Я уже упоминал, что девять из десяти женщин были вдовы, и государство сталинское, будем справедливы, пыталось как-то облегчить жизнь таких семей. Иногда вдруг в школе раздавали одежду и обувь сиротам, на Новый год они получали более объемистый пакет с подарками. Я, сын погибшего танкиста, каждое лето с 1951 по 1956 год получал бесплатную путевку в лагерь. У нас даже сложилась постоянная компания в лагере: Людвиг Саломатин, Коля Утегенов, Галя Пономаренко, Галя Клименко. До сих пор помню бессменное руководство лагеря: Константина Яблуновского, учителя физкультуры Михаила Кирилловича Тимошенко, помню и нашу повариху тетю Машу Чурсину, пионервожатой была энергичная Валя Меняйло. Достойнейшие люди, они заботились о нас как о своих детях. Лагерь всегда открывался в красивейшем месте у Илека, неподалеку от аула Жанатан. Хотя он располагался в семи-восьми километрах от поселка, мы чувствовали себя словно на необитаемом острове. Родители никогда, повторяю — никогда не проведывали своих чад, как повелось позже, в шестидесятых-семидесятых годах. Им было некогда, спешили за короткое лето и землянку привести в порядок, и сеном для коровенки запастись — забот и без нас хватало. Отмечу еще одну существенную деталь времени: тогда была рабочая шестидневка, а воскресенья, как правило, объявлялись воскресниками. О том, чтобы не выйти на «добровольный» воскресник, не было и речи. Была еще одна немаловажная причина — полное отсутствие транспорта.

Даже велосипед в ту пору был редкостью, хотя у моего отчима был немецкий голубой «Диамант» — единственный трофей, что привез он с войны. На весь Мартук была одна полуторка колхоза «Третий Интернационал», и шофером на ней работал отец моего закадычного дружка Сигизмунда Вуккерта — дядя Вилли, которого мы звали дядя Володя. Жили мы в лагере в военных палатках, пол устилали свеженакошенным сеном, которое меняли через два-три дня, а усохшее с пола вечером шло в костер. Как чудесно пахло в палатках лесом, полем, цветами, близостью реки! Спали мы на новых кроватях с панцирной сеткой, на свежем белье — с простынями, пододеяльниками, пуховыми подушками, ныне ставшими роскошью, шерстяными одеялами с военной маркировкой, доставшимися нам от наших союзников по войне. Признаюсь, многие из нас постельное белье увидели впервые, и наши воспитательницы терпеливо объясняли, как им пользоваться, заправлять. Кормили нас четыре раза в день, что, опять же, для большинства из нас было внове. Что такое первое, второе, десерт, столовые приборы, мы узнали в лагере тоже впервые. Такая жизнь нам казалась раем — ешь от пуза, целый день на реке, сон после обеда, вечерние посиделки у костра под высоким звездным небом — никто не рвался домой.

Сегодня, на закате жизни, нет дня, чтобы не припомнилось что-то из детства, юности. Большой грузинский поэт Карло Каладзе в одном стихотворении сказал: «Помню только детство, остальное не мое». Чтобы понять, оценить эту строку, как минимум надо прожить жизнь. Вспоминаются друзья, родители, соседи, учителя, Илек, станция, озера, школьные походы, тюльпанные поля по весне, парк, мартукские девушки, школа. Вспоминаются вьюги, метели, снегопад, убранные огороды, бахчи — это понятно и дорого каждому. Но есть одно природное явление, которое я стал вспоминать все чаще и чаще, особенно путешествуя вдали от Мартука. Оказывается, Всевышний одарил Мартук еще одной удивительной красотой, которой лишены многие страны и даже те места, что принято считать жемчужинами природы. Летом у нас в Мартуке в июле — начале августа такое высокое звездное небо, такие бархатные сажево-черные ночи, что, протяни руку — не увидишь. А небо усыпано миллионами, мириадами ярчайших звезд! Какой в Мартуке звездопад! Не пересказать! Словно золотые яблоки, звезды сыплются и сыплются с небес не спеша, радуя глаз и душу — можно успеть десять раз загадать желание. Возвращаясь

с танцев, мы не могли оторвать глаз от неба, то и дело то там, то здесь слышался радостный девичий вскрик — смотри, смотри, еще одна звезда полетела, загадай желание, загадай желание! Я тоже был в восторге от летнего звездопада, бархатных ночей, но я не думал, что такая красота предназначена только нам, мартучанам. Поверьте, проверьте — в чужих краях нет бархатных ночей, такого густо усыпанного звездами неба, о звездопаде и говорить не приходится. Во многих странах нет даже любезных нашей душе долгих сумерек, день кончается мгновенно, словно лампочку выключили. Я был в Израиле и сразу понял, почему наши оттуда уезжают. Там нет сумерек, нет времен года — можно умереть с тоски. Там, на чужбине, в красивых странах, мне всегда снится мартукский звездопад, но желаний я уже не загадываю.

***

Не могу в этом повествовании не сказать хотя бы несколько слов о любимом Илеке. Многие годы, даже зимой, приезжая в Мартук, после кладбища мы едем с братьями поклониться Илеку. И я, уже в который раз, охваченный волнением, говорю им: убежден, что тысячи и тысячи мартучан, по разным причинам оказавшихся вдали от малой родины, для которых Илек — река детства, вспоминают его со слезами на глазах. Оказывается, так оно и есть. Несколько лет назад я встретился в Мартуке с приехавшими из Германии земляками. Я поспешил к ним узнать о своих друзьях, соседях, одноклассниках. И один из них дрогнувшим голосом сказал: «Соскучился по Илеку, слов нет, чтобы высказать, замучили сны о реке. Наши все вспоминают Илек». И я тут же вспомнил мальчика с рыбьей фамилией — Генку Фиша, самого заядлого рыбака в нашем детстве, и просил передать ему привет. То, что я хочу рассказать о реке, сегодня может показаться фантастикой, как и многое в моих воспоминаниях, но поверьте, Илек был таким…

В 1952 году я учился в четвертом классе и летом оказался в пионерлагере, как всегда у поселка Жанатан, на берегу Илека, там с 1956 года ежегодно стали проводить праздник «День песен». Однажды в воскресенье к физруку Михаилу Кирилловичу Тимошенко приехал на полуторке его друг Петривний с двумя мужиками, они с собой захватили бредень. Михаил Кириллович попросил меня и Людвига Саломатина собрать еще с десяток мальчишек и поучаствовать в рыбалке с бреднем. Мы, разумеется, с радостью согласились. Пока я с Людвигом собирал команду, мужики растянули бредень и определили место,

откуда начнут тянуть. Бредень по краям, как знамя, натянут на крепкое длинное древко, его и тянут по двое мужиков на каждом берегу в воде. А мы, ребятня, с шумом, криками, хлопаньем палками по воде гоним впереди рыбу по обоим берегам, барахтаясь в реке. Нехитрое занятие, в общем, хотя по тому времени, оказывается,— незаконное, браконьерское. В первый раз тянули не более пятидесяти-шестидесяти метров, мужикам показалось, что в мотню бредня попали тяжелые коряги, и они вытянули его на первой же отмели. Как только появились из воды края бредня, усыпанные запутавшейся рыбой, раздался восторженный крик мальчишек — появившаяся мотня была полностью забита шевелящейся рыбой. За первый заход выловили более сорока щук, да каких! Такие отродясь не попадали на наши удочки, по три-четыре килограмма каждая, а некоторые, как хищные торпеды, тянули и на семь, и на восемь килограммов. Рыбы оказалось так много, что после щук перестали ее считать и сортировать. Попались огромные голавли, невиданные, с огромную чугунную сковороду, толстенные лещи, о существовании их в Илеке мы и не предполагали. Много оказалось ленивых, черных как коряга, сомов, они не дергались, как остальные рыбы, а только шевелили длинными усами. Один сом, как сказал Михаил Кириллович, тянул на целый пуд. Выделялись красавцы сазаны с отливавшей золотом чешуей и ярко-красными плавниками, заканчивавшимися настоящей острой пилочкой. Теперь нам стало понятно, почему сазаны всегда обрывали наши лески, они ее отрезали одним движением. Больше всего вытянули крупных жирных подустов и плотвы. Немало затянуло в бредень красноперок, красноглазок, даже острожные налимы и раки оказались в ловушке. Всех налимов, крупных сомов и половину красивых сазанов Михаил Кириллович тут же отделил на песке — это детишкам, побалуем их свежей рыбой впервые за лето. Рыбу размером с ладошку тут же возвратили в реку. У меня до сих пор стоит перед глазами щедрый улов, разбросанный на золотом берегу Илека, больше никогда не восполнимое богатство реки нашего детства.

Пионерские лагеря были делом новым, еще не было четких инструкций, правил, все делалось по логике, здравому смыслу. Задача состояла в одном, чтобы мы, заморыши, отдохнули, прибавили в весе, подправили свое здоровье. Не было у нас никакой муштры, никаких ограничений на реке и в лесу, идеологических собраний, не требовалось, кроме линейки, носить даже галстуки. Ведь галстук тут же

обязывал к какой-нибудь форме. А многие дети, особенно из сел и аулов, приезжали в одних трусах и майке, даже без смены, но таких не корили, не делали замечания родителям, старались как-нибудь здесь обуть, одеть бедолагу, и это, к радости детей, всегда удавалось.

В десять лет мне неожиданно повезло, передо мной открылся сытный и интересный мир пионерского лагеря, где я нашел много друзей. Там я научился бойко говорить по-казахски, потому что ребят из аулов было большинство, и я стал толмачом между воспитателями и детьми из аула. Положение толмача имело свои плюсы и минусы, но, в любом случае, мимо меня не проходило ни одно важное событие. Познакомившись с ребятами из аула, я не прерывал с ними связь и в Мартуке, у нас была казахская школа-десятилетка, и при ней интернат, где жили мои новые друзья по лагерю. В этом интернате учился и Аман Дарбаев, позже ставший известнейшим хирургом не только в Мартуке, но и в республике.

Я, человек двадцатого века, облетевший и объездивший почти весь мир, вдруг в конце столетия стал по-иному смотреть и на время, и на расстояния. Причина? Самая неожиданная, невероятная — одно стихотворение поэта Жангалиева, моего земляка, мартучанина.

В Мартуке, через дорогу от нас, жила многодетная семья учителя Сеиткали Жангалиева. Он преподавал в казахской школе литературу и подрабатывал воспитателем в том самом интернате, где жили мои друзья по пионерскому лагерю. Две его старшие красавицы-дочери, Клара и Света, учились со мной в параллельном классе, обе уехали учиться в Алма-Ату и там вышли замуж за очень достойных людей, сегодня их дети принадлежат к элите нового Казахстана. Было у него трое сыновей и еще одна младшая дочь, которые, отучившись, вернулись в родные края. Младшего из них зовут Малик, он инженер-гидролог, живет в Актюбинске, и мы часто с ним видимся, вспоминаем наше детство, его сестер. К моему 60-летию Малик подарил мне книгу стихов своего отца. Я был весьма тронут, я не знал, что мой сосед был поэтом, и неплохим. По крайней мере, ни один поэт в мире не повлиял на меня так, как отец Малика Жангалиева, в оценке скоростей, времени и расстояний — важнейших компонентов жизни человека в двадцать первом веке.

Поэт Жангалиев в юности жил в поселке Веренка в сорока пяти километрах от Мартука, это одно из первых русских поселений столыпинских переселенцев в нашем районе. Кстати, в Веренке перед самой войной жил и работал учителем в школе известный русский писатель

Юрий Бондарев, автор многих романов о войне. В одном из своих стихотворений, датированном 37-м годом, в том самом, которое потрясло мое воображение, Жангалиев описал свою поездку на быках в мой родной Мартук за четыре года до моего рождения. Поэт описывает, как он три (!) дня добирался на волах в Мартук, дважды ночевал в понравившихся местах. Вся поездка описана в мельчайших деталях, там есть и удивительные пейзажи, есть его раздумья в долгом пути, его мечты, планы. Описаны встречавшиеся на пути люди, там есть даже мысли о времени и власти, но больше всего — о родном крае, родной земле. И поверьте, нет ни строки о тяготах пути, одиночестве, о долгой некомфортной дороге. Почему, откуда, удивлялся я, столь ясное состояние души, разума, такое спокойное созерцание природы, жизни, самого человека? Почему? Вопрос этот долго не давал мне покоя, пока я не понял — другой жизни, других скоростей и дорог он не знал, не имел, хотя ведал, что есть машины, аэропланы, велосипеды, но у них этого не было, не дошло, и он не рвал душу от того, что где-то живут иначе. Он жил своей жизнью, своими скоростями и от этого испытывал душевный покой и равновесие. Этот факт потряс меня настолько, что я попросил брата, не объявляя причин, съездить в Веренку. Дорога заняла у нас меньше часа. И когда я рассказал брату, что наш сосед Жангалиев когда-то одолел эту дорогу за три дня, он тоже был потрясен.

Я не помню, за какое время облетел Гагарин Землю, хотя радовался его успеху со всеми, не знаю, за какое время облетают Землю сейчас новые ракеты, самолеты, космонавты — рекорды совершаются теперь чуть ли не каждый день. Не знаю и, честно говоря, не волнует меня это. А вот как поэт Сеиткали Жангалиев три дня одолевал сорок пять километров на волах, и при том чувствовал себя комфортно, даже счастливым — волнует и радует меня. Почему? Какая разница — почему, главное — радует, волнует, трогает от души.

С тех пор меня не поражают никакие скорости, никакие расстояния, все в мире относительно. И не знаешь, что лучше для человека — дальше или ближе, быстрее или медленнее. Но расстояния и просторы, безусловно, влияют на характер человека, особенно в начале его жизненного пути.

Я бы не хотел, чтобы о моем детстве вы судили только по пионерскому лагерю. Палаточный городок на берегу Илека остался в моей памяти как нечто волшебное, как бесконечный и яркий праздник,

и воспринимался он нами, детьми, и нашими родителями как неожиданный дар Всевышнего. Но, как и всякий праздник, он был скоротечен, всего двадцать четыре дня в году. Как много это и как мало, каждый день мы не только отъедались и поправляли свое здоровье, но открывали новые стороны жизни, быта. Мы — забитые, голодные аульные мальчики и девочки, только здесь, в пионерском лагере, расправили свои хилые плечи, подняли глаза от земли, у нас появилась не только улыбка, но и настоящий искренний смех, мы осознали себя желанными детьми своего Отечества, которое так любит нас и заботится о нас. Наверное, тогда мы и почувствовали себя гражданами великого СССР.

А остальное время летних каникул проходило почти как у всех, но районный центр, каким являлся Мартук, и то, что он стоял на железной дороге, конечно, представлял нам несоизмеримо больше возможностей трудоустроиться, заработать. В поселке был колхоз «Третий Интернационал», и многие летом работали там, зарабатывали сено для домашней буренки. Но я с дружками предпочитал работать на огромной территории райпотребсоюза, где завхозом служил отец Толика Чипигина. Тут всегда находилась работа нам по силам: грузить машины с пустой вино-водочной посудой и даже загружать ею огромные вагоны. Запомнился термин — возвратная тара, как выражался вальяжный кладовщик. Однажды разгрузили вагон с канцтоварами и кроме денег получили по коробке цветных карандашей, как премию. За несвоевременно разгруженные вагоны накладывали большой штраф, и мы, оказывается, выручили райпотребсоюз. Потом взрослые грузчики долго называли нас штрейкбрехерами, выяснилось, что они не соглашались на такую мизерную зарплату за разгрузку, а мы согласились с радостью, это был наш первый вагон.

Работы пришлось переделать всякой, с соседом Леней Бахмутом мы засыпали шлаком крышу чайной, она служит людям до сих пор. С ним же дранковали крышу ресторана на Украинской, а с Володей Самойловым гасили известь в огромных ямах. Тяжелая, страшная работа, зазевайся, оступись от усталости, а нам было по десять лет — сам мгновенно станешь в яме известью. С уже упоминавшимся здесь Рахимом Халиковым и сыном начальника почты Славой Дмитриенко, ставшим командиром воздушного корабля гражданской авиации, мы имели постоянный подряд — по весне делали на почте кизяк. Как я говорил, почта обслуживалась гужевым транспортом. Бездельников в нашем детстве и припомнить трудно, с нами

работали и дети судьи Акимова, и секретарей райкома партии Хвостова, Шинтасова, Могилева. Ребятам постарше, лет пятнадцати-шестнадцати, вообще было раздолье, они могли заработать не только на желанный велосипед, но и на одежду, обувь, помочь семье, а выпускники копили деньги на поступление в институт. С началом освоения целины на станции каждый день, круглосуточно, разгружались десятки вагонов: с лесом, углем, цементом, металлом, оборудованием, техникой, машинами, финскими домиками. Экспедиторы из совхозов рассчитывались щедро, без бумажной волокиты, тут же у разгруженных вагонов — штрафы за простои вагонов заставляли их не скупиться. Тогда в магазинах было много китайских товаров, и наши старшеклассники хорошо приоделись.

***

В Мартуке был парк, который обслуживала жившая там же, на территории, семья Пожарских. И содержался парк в таком прекрасном состоянии, что сегодня и вообразить трудно. Дорожки, посыпанные влажноватым красным песком, как в городе, в центре роскошная клумба опять же с цветочными часами, деревья подбелены, обрезаны, ограды выкрашены, газоны зеленеют травкой. Каждый день летом в парке танцы под радиолу, а в воскресенье до танцев играет духовой оркестр, толпы принаряженных людей, тогда было принято, как говорили, выходить в люди. Мы, ребятня, рано начали отираться в парке возле танцплощадки, уж очень влекла нас взрослая жизнь, мы так торопились в нее вступить, и, конечно, перебарщивали в своем желании — рано начали выпивать, курить, но все это тайком, по капельке, без вызова кому-либо. Мы понимали свое место, авторитет взрослых в ту пору был высок, да и поселок мал, все знали друг друга, все было на виду.

Я описал станцию, базар, школу, пионерский лагерь, но было в Мартуке и еще одно место, к которому меня притягивало как магнитом, и я не могу не поведать о нем. Кино — волшебный, сказочный, притягательный мир, другая жизнь, которая каждый день врывалась с белого полотна экрана в нашу серую, обыденную действительность, в которой, как нам казалось, ничего достойного, интересного не происходило, кроме работы, работы и еще раз работы.

Как я уже говорил, мои родители — люди городские, из Оренбурга — города, в пору их юности переживавшего свой расцвет. Конечно, они знали, что такое кино, театр, эстрада, оперетта,

обязательно надо выделить цирк, до войны в цирке давались музыкальные представления, концерты, выступали всемирно известные борцы, включая и прославленного Ивана Поддубного. Ровно шестьдесят лет назад, когда я шел на первый свой сеанс, отчим мне сказал: тебе повезло, играет там сам Дуглас Фербенкс. Эту труднопроизносимую фамилию я запомнил на всю жизнь, думаю, это она открыла во мне какие-то каналы, ходы в сознании и произношении, что я стал хорошо запоминать имена и фамилии иностранных актеров, режиссеров, композиторов и сами названия фильмов. Если бы я не стал строительным инженером, а стал бы киноведом или кинокритиком, наверное, мне цены не было бы. Я всегда обладал хорошей памятью, а по совету отчима начал вести учет фильмов, что успел посмотреть. Записывал я не только названия фильмов, но и выходные данные: кто режиссер, исполнители, год выпуска фильма и краткие детские впечатления. Жаль, эта большая коленкоровая тетрадь, когда я учился в техникуме, пропала, было в ней отмечено около ста восьмидесяти фильмов.

Кино… Пожалуй, кино по массовости своей, доступности сыграло главную роль в воспитании многих поколений, и не только моего. Моим ровесникам повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших же глазах вместе с нами умирает. Лет с семи я начал ходить в кино. Кстати, билетером в кинотеатре была мать моего друга Толика Чипигина тетя Маша. В Мартуке фильмы менялись через каждые два дня, это было неукоснительно, как приход московских поездов на нашу провинциальную станцию, где паровозы заправляли водой и чистили их топки.

Отчим мой, человек городской, из Оренбурга, кино любил страстно. У меня была обязанность бегать к почте, где вывешивали афишу, и сообщать, какое сегодня дают кино. Однажды вышел конфуз. Я сказал родителям без всякого подвоха, что идет фильм «Два яйца». Они и пошли на эти «Два яйца», ибо старались не пропускать новых фильмов. Надеюсь, вы, догадались, что это были «Два бойца» с Марком Бернесом, Борисом Андреевым, Петром Алейниковым. В послевоенном Мартуке каждая копейка давалась с трудом, но отчим на кино мне выделял, говорил, что кино открывает глаза на мир, воспитывает. Помню, как мне завидовали сверстники, считали счастливчиком, и мне приходилось пересказывать в классе, во дворе содержание фильмов. Так что к устному творчеству я приобщился рано.

Отчим оказался прав: кино во многом сформировало мое мировоззрение, вкусы. Явно оттуда, из детства, моя тяга к музыке, джазу,

интерьерам, живописи, театру, спорту. Послевоенное кино сплошь состояло из трофейных фильмов, из фильмов наших союзников по войне. Мы пересмотрели десятки голливудских кинолент, тех самых, что сегодня принято считать шедеврами мирового искусства. Еще до войны немцы экранизировали почти все известные оперетты Штрауса, Оффенбаха, Легара, засняли мюзиклы с участием мировых звезд тех лет, теноров Карузо, Марио Ланца. Экранизировали многие шедевры мировой литературы. Мы видели фильмы с участием Фреда Астора, Рудольфа Валентино, Марики Рёкк, Сони Хенни, Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Грегори Пека, Чарли Чаплина, Рода Стайгера, Питера О'Тула, Хамфри Богарта, Лорен Бэкол, Глории Свенсон, Лоуренса Оливье, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, Берта Ланкастера, Бастера Китона, Ричарда Бартона, Одри Хепберн, Марлона Брандо, Вивьен Ли, Дины Дурбин, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Керри Гранта. А к шестидесятым — годам нашей юности подоспел и итальянский неореализм. Какие имена! Фредерико Феллини, Витторио Де Сика, Франко Дзеффарелли, Бертолуччи, Домиани, Де Сантис, Этторе Скола…

А фильмы «Рокко и его братья» с молодым Аленом Делоном и Франко Неро, «Ночи Кабирии» с Джульеттой Мазини и Марчелло Мастрояни, «Бум» с Альберто Сорди, «Горький рис» с Витторио Гассманом и Марио Адорфом, с Джаном Мария Волонте!

Этот список, звучащий как музыка, я мог бы продолжать и продолжать. А новое немецкое кино с Максимилианом Шеллом, Клаусом Брандауэром, Отто Фишером, Марией Шелл! Французское кино — это Жан Люк Годар, Франсуа Трюффо, Жерар Филипп, Анук Эме, Бурвиль, Жан Габен, Жан Маре, Жан-Луи Трентиньян, Даниель Дарье…

А какие режиссеры снимали в то время! Альфред Хичкок, Фрэнк Капра, Элия Казан, Билли Уайлдер, Роже Карне!

Какие композиторы писали для кино! Нино Ротто, Энцо Мариконе, Фредерик Лоу.

Хотите верьте, хотите нет, существовало целое десятилетие гремевшего на весь мир египетского кино, откуда вышел будущий король Голливуда Омар Шериф. А японские фильмы Акира Куросавы, шведское кино Ингмара Бергмана… Испанское кино великого Луиса Бенюэля, польское кино Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. Да и наше кино в ту пору шагало в ногу с мировым. Как же такой могучий заряд не мог сформировать наши взгляды, вкусы, мироощущение?

Тем более, что все, о чем говорилось — это здоровое, гуманистическое кино, воспитывавшее в человеке только высокое.

***

Вспоминая о Мартуке, нельзя не упомянуть о его женщинах, девушках — ведь все в мире держится на любви, без любви все рассыпается. Поэтому я и напомню о девушках, женщинах, мартукских красавицах 50-х, 60-х, 70-х годов, тех, кого я хорошо знал, тех, кто врезался мне в память на всю жизнь. Хотя лично ко мне, как вы поймете, они не имели никакого отношения.

Лет пятнадцать назад эталоном женской красоты называли фотомодель немку Клаудию Шиффер. О ней я тут же сказал: «У нас в Мартуке таких блондинок, похожих на Шиффер, бегало трое или четверо». Старожилы Мартука помнят, что в 50-х в парикмахерской работали сестры Тиссен, как две капли похожие на Шиффер. Они уехали в ФРГ давно, в начале 60-х, у них в Германии отыскался влиятельный родственник, не то политик, не то банкир. На одной из этих сестер перед самым отъездом женился Вальдемар Вуккерт, старший брат моего дружка Сани Вуккерта, которого в Мартуке знали по кличке Шпак. Помню, мы подначивали Вальдемара — женись, жаль, если такая красавица достанется какому-то буржую. Остальных «Шиффер» по фамилии не помню, но они возникают у меня перед глазами всякий раз, когда вижу знаменитую модель. Все эти девочки учились с нами в школе, жили неподалеку.

Когда я, заядлый киноман, смотрю старые фильмы с участием Греты Гарбо, Глории Свенсон, Ингрид Бергман, Лорен Бэкол, я сразу вспоминаю Ирочку Варкентин, что жила на Ленинской, неподалеку от почты. Удивительно благородной красотой, стройной фигурой, культурой поведения, врожденной элегантностью отличалась эта девочка из простой немецкой семьи. Отец у нее работал механиком в колхозе, она училась двумя классами старше меня. Я не был в нее влюблен, как и во многих других, о ком пойдет речь ниже, просто мне нравились красивые девушки, женщины. Мне доставляло удовольствие следить за жизнью людей, которые мне нравились, словно я чувствовал, что когда-нибудь чужие судьбы станут материалом для моих книг. Я не делал это специально, просто у меня такая память — запоминать сердцем, а если точнее, мое неравнодушие к людям. Ирина чуть ли не с седьмого класса стала встречаться с мальчиком с нашей улицы Сашей Петривним, своим одноклассником. Они поступили

вместе в институт, кажется, в Саратове, окончили его, поженились. Казалось, в их жизни все было ясно и четко до гробовой доски. Но… лет через пятнадцать я случайно узнал, что они развелись. Грустно, печально до слез. Родители Ирины уехали в Германию, Петривние тоже покинули Мартук, и след прекрасной Ирочки Варкентин затерялся для меня навсегда.

В моей писательской судьбе все, кажется, сложилось удачно: много книг, огромные тиражи, книги переводятся на другие языки, постоянно переиздаются, но я жалею всегда об одном, что тысячи и тысячи мартучан, которых разбросало по свету, не знают, что у Мартука появился свой летописец, что есть романы, десятки повестей и рассказов об их малой родине, об их юности и детстве. Вот для них мои книги оказались бы эликсиром молодости, подарком судьбы. Как написал мне об этом недавно один читатель: «Хочется крикнуть землякам-мартучанам — ищите книги Мир-Хайдарова и отсылайте их своим давно разлетевшимся по свету детям. Лучшего подарка не придумать!»

Рассказывая о любовных историях мартучан, мне хочется напомнить о состоявшихся и не состоявшихся парах, о том, кто в кого был влюблен в мое время. Меня те давние истории, случившиеся более пятидесяти лет назад, волнуют до сих пор, потому что это моя жизнь и жизнь дорогих моему сердцу людей.

Одними из старожилов Мартука считаю семью Герасименко, глава семьи возглавлял дорожное управление, и уверяю вас, дороги в ту пору были куда лучше, чем сейчас. Запомнились его сыновья: Володя, Василий, Сергей. Володя был заметной фигурой — весельчак, балагур, прекрасно играл в футбол. Наверное, поэтому мне запомнился его непростой роман с Верой Квинт. Роман был сложный, у Володи имелся соперник, да еще какой — Андрей Вуккерт, парень необузданного нрава. Вроде и родители Веры не очень одобряли ее встречи с Володей, но любовь все одолела, они поженились, несмотря на все препятствия, и живут вместе до сих пор. Я видел их в трудные 90-е годы, любовь светилась в их глазах, как в молодости. Я хорошо знал их обоих и рад, что они сумели сохранить свою любовь. Будьте счастливы, дорогие мои Верочка и Володя! Жаль только одного — ни Герасименко, ни Квинтов в Мартуке не осталось.

Вася Герасименко, мой ровесник, был влюблен в Аллочку Шалаеву, отличницу, красавицу. Лет пятьдесят назад я подарил ей открытку киноактрисы Аллы Ларионовой, сказав при этом, что она очень похожа на кинозвезду. Думаю, такое не забывается, и открытка

эта находится дома в альбоме. С Василием Алла встречалась несколько лет, но до свадьбы дело не дошло. Мне кажется, в этом отчасти виновата мама Аллы, она хотела для дочери необыкновенного принца. Любой мартукский парень зятем ее не устроил бы.

В ту пору семьи отличались многодетностью, и у всех у нас имелись старшие братья и сестры. У моей сестры Сании была школьная подруга, жившая на нашей улице — Лида Бойко. Очень красивая, высокая, статная, с дивными волосами и нежным аристократическим лицом. Вот в нее лет в шесть я, кажется, был недолго влюблен. Кстати, Лида даже в зрелых годах не утратила красоты, а стала даже еще привлекательней. У нее было много поклонников, но вышла она замуж за приезжего инженера Олешко и, кажется, была счастлива с ним. Она до сих пор живет на Ленинской улице, и каждый раз, когда прохожу мимо ее дома, у меня возникает желание увидеть ее. Мне так хочется заглянуть в ее семейный альбом, мне кажется, что там много фотографий из той давней жизни, когда мы были молоды.

На том месте, где сейчас стоит дом моего брата Равиля, некогда высился особняк наших соседей Панченко. Жили там одни женщины, мать и три дочери, отец их погиб на фронте. Младшая из сестер, Валентина, старше меня на два-три года, тоже выросла писаной красавицей. Из-за Валентины у нашего дома столько видных парней перебывало — не счесть. Приезжали на велосипедах ее одноклассники: Толя Пономаренко, Толик Крапивко, тот, что позже станет директором РТС, Алик Ефремов. Эта компания часто приходила с гитарой, а Толик Пономаренко прихватывал иногда аккордеон. И мы, соседи, радовались бесплатному концерту, играл Толик замечательно и пел от души. Добивались ее благосклонности и крутые парни: Юра Курдулян, живший на другом краю села, и Альберт Штайгер, которого чаще называли Алик, но у него была и кличка — Штель, легендарная личность в Мартуке. Красавец, отчаянной храбрости парень, талантливый футболист. Только он, Алик Штайгер, со своим братом Андреасом и Андреем Вуккертом, был ровней дерзким чеченцам. Мы, мальцы, очень гордились, что самые крутые чеченцы, Аламат, Султан, Ибрагим и наши, Алик Штайгер со своими друзьями, жили в нашем мусульманском квартале. Я не раз и не два носил Валентине записки от ребят и гордился тем, что оказался доверенным лицом у крутых парней. Но никому из мартучан сердце моей красавицы-соседки не досталось — она вышла за военного и живет ныне в Белоруссии.

Вспоминается связанный с Валей Панченко еще один случай. Редко какая девушка и в позапрошлом-то веке могла похвалиться, что из-за нее дрались на дуэли, но, Валя, наверное, запомнила с десяток серьезных драк, а дрались из-за нее парни один круче другого, слабакам оставалось любить мою соседку издали. Если дуэли и встречались в судьбах красавиц, то настоящие побоища, наверное, происходили у одной на миллион, а у Вали и такой прецедент имеется. Она уже училась в девятом классе, когда на нашу станцию в конце ноября прибыли на практику ребята из железнодорожного училища, одновременно целый курс женихов. Не знаю, где мог увидеть мою соседку вожак прибывших парней, но он влюбился в нее сразу. И я его понимаю — Валю надо было видеть. А за Валей в ту зиму приударял наш Алик Штайгер, знаменитый сорвиголова Штель, чьи записки я носил Вале с удовольствием. Убежден, курсанта предупреждали, грозили, может, и стычка какая уже была, но парень оказался под стать самому Штайгеру. Наверное, курсант не отступился из-за того, что чувствовал расположение Вали. Я видел пару раз, как среди дня он провожал ее из школы, помню, я прошипел ей вслед громко — у, предательница! И в такой форме выражался местный патриотизм.

В один из субботних вечеров произошло настоящее побоище, Куликовской битвой потом назвали ее пацаны. Произошла битва там, где сейчас находится стадион, а по воскресеньям там всегда много лет был базар. Практиканты были чуть взрослее, битые, сплоченные, но наших оказалось больше, хотя многие из них в самом начале позорно бежали. И Штайгеру с дружками пришлось биться с городскими в меньшинстве, и биться всерьез. Говорили, что Штель мог тогда вызвать на подмогу чеченцев, но ему гордыня не позволила, да и повод был частный, из-за девушки, чеченцы могли и не понять.

Досталось крепко и тем и другим. О побоище мы узнали утром в школе и в первую же перемену побежали в больницу. Все кабинеты, коридоры, холлы больницы оказались заполнены ранеными. Их тут дружно зашивали, бинтовали, штопали, накладывали шины, делали уколы. Бойцовский пыл пропал с обеих сторон, травмы, переломы выглядели серьезными, к тому же здесь, в клинике, уже крутились два следователя из города. В одном углу я увидел соседа Толю Крицкого с перебинтованной головой и огромным фингалом под глазом, он кому-то громко говорил: «И на черта мне сдалась эта красавица Панчуха!»

Кончилось все скорым судом. Я помню тот суд, помню переполненный зал, помню судью Акимова, высокого, вальяжного, седовласого, внешне он походил на английского судью из фильмов. Больше всех запомнился мне вожак курсантов, на фоне своих и чужих он держался достойнее всех. Вины своей он не отрицал, ни на кого не валил, снисхождения у суда не просил. С его лица не сходила голливудская улыбка, и он часто поправлял свой безукоризненный пробор, казалось, прическа волновала его больше всего. Я видел его ищущий взгляд, пронзавший зал насквозь — он искал глазами Валентину. Он не знал, что ее в эти дни не выпускали из дома, даже в школу запретили ходить. Я впервые видел вожака курсантов без громоздкого бушлата и шапки, он был высок, плечист, и на его лице не читалось ни страха, ни тревоги, такими в наши дни были герои кино. И только тут, на суде, я признал, что он — достойная пара моей прекрасной соседке. Уж прости меня, дорогой Штель. Парню дали десять лет. Уверен, что Валю он больше никогда не видел, и она вряд ли ему писала.

Теперь-то я понимаю, отчего появилось выражение — трагическая любовь. Трагичнее не придумаешь.

Я никогда после школы Валентину не видел, но часто вспоминаю ее, в романе «Ранняя печаль» есть посвященные ей страницы. Уверен — она и не догадывается, что ее помнит соседский мальчишка, что есть книги, где о ней вспоминают с теплом и грустью.

Интересными личностями были и ее старшие сестры, Нина и Катя, первые модницы Мартука послевоенного времени. Они старше меня на десять-двенадцать лет, и детали их жизни, их поклонники мне четко не запомнились. Хотя я хорошо помню, как отравилась Нина в1950 году, помню ее похороны, помню батюшку, отпевавшего ее на дому. Отравилась она из-за какой-то любовной истории, в ту пору все отношения воспринимались на большом серьезе. Лет в восемнадцать, когда я стану заглядывать в журналы мод, сразу вспомню, что так одевались старшие сестры Вали. Шляпки с вуалетками я видел не только в кино, но и на своих соседках. Носили они узкие юбки и туфли на шпильках. Когда они вечером проходили мимо нашей калитки в кино или на танцы, за ними оставался тонкий шлейф волнующих меня духов. Мы, ребятня, всегда с восторгом смотрели им вслед. Это от тети Кати я впервые услышал слово «ридикюль». Она всю жизнь проработала бухгалтером в местной артели, недавно отметила восьмидесятилетие, жива и здорова, живет у внука

в Актюбинске. В повести «Знакомство по брачному объявлению» есть забавные сцены, связанные с ней, там не придумана ни одна строка.

Сестру моего друга детства, Володи Колосова, звали Ниной, за ней ухаживал Славик Едаменко, парень очень видный. Вместе со своим закадычным другом Славой Маринюком, по которому страдали десятки девушек Мартука, они поступили в Гурьевскую мореходку, где всегда училось много мартучан. Кстати, Слава Маринюк в 1951 году на Илеке спас моего утопающего друга Саню Бектимирова. Из сухопутного Мартука вышло сотни моряков. Как мы радовались, когда они возвращались на побывку домой! Казалось, лучше формы, чем морская, не бывает. А как глядели на них девушки на танцах — сегодня даже Абрамович с личными яхтами и самолетами не может завоевать таких искренних, восторженных взглядов. Володя Колосов умер рано от диабета, он ушел через пять лет после Толи Чипигина, они первыми открыли скорбный список моих ушедших друзей. Беда случилась и с его младшим братом, над их семьей витал какой-то злой рок. Поэтому я рано потерял из виду и его сестру Нину, которую любил Слава Едаменко. Интересовала меня судьба и самого Славика, но кто-то мне сказал, что его убили в смутные девяностые годы. Жаль, если так случилось.

***

Наверное, следует сказать о первой любви моих друзей детства. Толик Чипигин любил Веру Пайзюк, Володя Колосов — Валю Плис, Саня Вуккерт — Валю Губареву, Вася Тутов — Галю Пономаренко, Саня Бектимиров — Розу Сулейменову, Лермонт Берденов, чей отец — Убын-агай, танкист-орденоносец, участвовавший в знаменитом танковом сражении в Прохоровке и вернувшийся живым, любил Иру Заваритько. Мелис Валиев — Лизу Емельянову, Толик Твердохлеб — Лизу Лащенко, Савик Парамонов — Свету Клейменову. Пожалуй, о последней паре следует рассказать подробнее. Славик — из семьи старожилов поселка, он — младший брат легендарного футболиста красавца Валеры Парамонова. В лето 61-го года Валерий Парамонов, Рашат Гайфулин, Витя Будко, Борис Палий и я встречались каждый день. Роман Славика со Светой Клейменовой начался в школе. Оба они уехали в Москву, поступили, она — во ВГИК учиться на актрису, а он — на инженерный факультет. Были они красивой, голливудской парой, в их счастье верили многие. Но Москва развела их жизненные пути. Жаль. Позже Светлана с мужем приезжала в Мартук,

но ее избранник не приглянулся моим землякам, и мне тоже. Все говорили дружно — нашла на кого Славика променять. Актерская судьба у Светы не сложилась. Снялась она лишь в одном фильме, в эпизодической роли. Этот фильм в Мартуке показывали три дня подряд, чего не случалось ни с одной картиной, и все три дня зал был полон. Я тоже этот фильм смотрел дважды — все-таки своя, мартукская, первая киноактриса в истории села! К сожалению, она до сих пор остается нашей единственной актрисой. Для Славика разрыв со Светой оказался большой трагедией, он забросил институт, но в Мартук от гордыни не вернулся. Мать Славика, Мария Ивановна, работала в книжном магазине и всегда сберегала к моему приезду редкие книги, они целы по сей день. Жаль, Парамоновых тоже не осталось в Мартуке. Была в знаменитой семье и Люда Парамонова, она училась в одном классе с моим младшим братом Рафаэлем. Она окончила институт в Алма-Ата, там же вышла замуж за прекрасного парня Алика Козинского. В семидесятые они вернулись в Мартук, и Алик на танцах пел запавшую мне в сердце бесхитростную песенку «Платье в синенький горошек». Исполнял Алик всегда только одну эту песенку, видимо, в его жизни она что-то значила. Странно, но обаятельный Алик Козинский, с которым я был мало знаком, снится мне много лет подряд, и во сне он исполняет ту свою единственную песню. Только недавно я понял, что Алик своей грустной мелодией символизирует для меня давнюю благополучную, счастливую жизнь, он, как маяк из прошлого, шлет сигналы из золотого времени моего Мартука.

Валерий Парамонов служил в армии со своими земляками, Толиком Чудесовым и Колей Звонаревым, и фотография этой славной троицы есть в моем альбоме, который я подготовил для музея. Жаль, у меня нет фотографии Славика со Светой Клейменовой, его сестры Люды с Аликом Козинским, Парамоновы — знаковая семья для поселка, такие фамилии составляют его историю.

Раз уж коснулся старожилов, хочется отметить фамилии Ермоланских, Козыревских, Глуховых, Бектимировых, Жангалиевых, Тимировых, Ахметовых, Дарбаевых, Низамутдиновых, Баязитовых, Акимовых, Антиповых, Турбаевых. Турбаевых тоже не осталось в Мартуке, только прекрасный некрополь на Танабергене, построенный в память о родителях сыном Нурланом Зарлыковичем, моим другом, напоминает об этой семье.

Ловлю себя всегда на том, что мартукские фамилии, любые — казахские, украинские, русские, татарские, еврейские, молдавские,

чеченские — звучат для меня как музыка. Когда я слышу или читаю знакомые с детства имена, я невольно мысленно говорю себе: о, такая фамилия была у нас в Мартуке, может, кто-то из родственников? Но земляки встречаются и объявляются редко, мир велик, а наш Мартук — крошечный и ужимается, словно шагреневая кожа, год от года. Вот вспомнил, что за нашей соседкой Лидой Губаревой ухаживал некий Женя Ковун, злой парень, но какая дивная фамилия! Разве забудешь! Встречались в Мартуке и фамилии редкие — Дуля, например. Рябоконь — очень мне нравилась, он был директором маслозавода, запомнилась и Булох, большая бедная семья скромного чиновника из собеса. К этой фамилии так и просится — фон Булох. Были у Мартука и свои Пушкин, Скрипка, Небаба, Сковорода и даже Паульс с Герингом. Если говорить об исторических личностях, то надо сказать, что Джохар Дудаев, первый президент Ичкерии, окончил в нашем Яйсане училище механизации. Теперь я понимаю, фамилии Хорунжий, Хижняк, Закаморный, Цихмистро, Калюжный, как и Палий,— исконно казачьи. Даже одни фамилии — это история Мартука. Упоминая про первую любовь своих школьных друзей, упустил своего друга, одноклассника, ныне директора школы Р. Халикова, в детстве он был влюблен в Розу Хамидулину. Надо отметить, что его жена, с которой он давно отметил серебряную свадьбу, была не только красавица, но и мастерица на все руки, многие татарские семьи хотели заполучить ее в невестки, и я рад, что полюбила она моего друга и что они счастливы в этом браке. Мне нравится бывать у них дома.

Наверное, у многих созрел вопрос: а в кого же был влюблен сам автор? Об этом подробно сказано в романе «Ранняя печаль».

Заканчивая главу о прекрасной половине Мартука, я подумал, как было бы хорошо проиллюстрировать эти страницы фотографиями Ирины Варкентин, Нали Ермоланской, Вали Антиповой, Гали Пономаренко, Томы Солохо, Аллы Шалаевой, Верочки Пайзюк, Вали Глуховой, Вали Комаровой, Светы Пинчук и многих других. Как хорошо было бы иметь их фотографии в моих альбомах, которые я делаю для мартукского музея. Остается только надеяться, что их портреты все-таки когда-нибудь дойдут до меня и останутся в музейных альбомах для истории. Они заслуживают этого.

Никак не могу закончить главу из-за нахлынувших воспоминаний и образов моих героинь, что стоят у меня перед глазами. Я вижу их юными, молодыми, прекрасными, и у них все еще впереди, даже

у тех, кого с нами давно уже нет. Я никогда не боялся старости, меня не смущают ни собственные седины, ни морщины, ни отяжелевшая фигура, ни потерянные навсегда легкость походки и ловкость движений. Меня пугает и волнует старость моих друзей, особенно женщин, которых я знал, кого природа щедро одарила красотой. Хочется крикнуть кому-то наверх, властному над нашими судьбами — пожалуйста, пожалейте их, не уродуйте их старостью и немощью! Но безжалостное время не щадит никого, красавиц в особенности. Я очень люблю поэзию и однажды наткнулся на самую печальную строку, печальней не сыскать:

И девушки, которых мы любили,
Уже старухи.

Жалко до боли, до слез. Храни вас Всевышний!

***

Рассказывая о Мартуке, никак нельзя обойти футбол и вообще спорт, он всегда был важной частью жизни моих земляков. Случались у мартучан в ту пору достижения в спорте и на областном, и даже на республиканском уровне. А главное, спорт был массовым, в какие-то годы на первенство района по футболу играло шестнадцать команд! Почти каждый совхоз имел свою команду. А районные спартакиады по десяткам видов спорта выливались в настоящий праздник. Помню, футбольная команда «Урожай» выиграла в Алма-Ате первенство республики среди сельских команд Казахстана. У меня есть фотография этой команды, в ней играли Валера Парамонов, Саня Вуккерт, Витя Будко, Коля Дмитриенко, Боря Палий, Алик Штайгер и знаменитый вратарь Сова — Коля Цихмистро. Снимок этот хранится в музее в моих альбомах. Спорт Мартука неотделим от жизни моего друга одноклассника А. А. Варюты. Думаю, было бы справедливо назвать его именем спортшколу, которую он не только создал, но и построил и проработал в ней почти тридцать лет. Как не мешало бы дать одной из улиц Мартука или больнице имя Амана Дарбаева, он был хирург от Бога. Много для мартукского спорта сделал председатель райпотребсоюза Г. Васятюк, директора автобазы, и, конечно, школьный учитель Михаил Кириллович Тимошенко. Хочу напомнить, что стадион в моем детстве находился рядом со станцией, напротив бывшего двухэтажного краснокирпичного дома. Хотите верьте, хотите

нет, в начале пятидесятых к нам не раз приезжали играть футболисты из Оренбурга, Илецка, Ак-Булака, Актюбинска, Алги, Хром-Тау. Нынешний стадион построен Саин-агаем Шинтасовым, он многое сделал для Мартука. У нас всегда высоко ценились вратари, и я отмечу тех, кого помню. Первым назову вратаря Макухина, он был фронтовик, не молод, но играл здорово. Помню его по игре с оренбургским «Локомотивом», по сути, он спас нашу команду от разгрома. В одно время с ним играл Желтов, тоже фронтовик. Потом пошли вратари молодые: Рашид Марданов, легендарный Сова — Коля Цихмистро, Николай Дмитриенко, мой сосед отчаянный Бисембай Бектимиров, Коля Гербенсайгер. К слову сказать, магазин, что до сих пор сохранился у стадиона, лет сорок подряд называли «мардановским», там работал отец вратаря Рашида Марданова.

Футбол собирал много зрителей, мой отчим ходил на игру всегда со своей табуреткой, приходило болеть много девушек, каждая команда имела своих поклонниц. Рассказывая о прошлом, я пытаюсь восстановить в памяти старожилов то, что было в их молодости, а новым поколениям хочу поведать о том, что наш Мартук имел свою яркую жизнь.

***

Летом 1961 года к нам на практику приехали студентки мединститута, и, разумеется, вечером они появились на танцах. В ту пору на практику после института к нам направлялось много молодежи, и, конечно, новые парни, новые девушки вызывали жгучий интерес у местных. Студентки пришли на танцы втроем, и одна из них приглянулась нашему другу Рашату Гайфулину. Несмотря на молодость, Рашат уже работал директором заготконторы. Я до сих пор помню имя этой девушки — Валя Аникаева. У Рашата завязался бурный роман, и даже после окончания ее практики он часто ездил к ней в Актюбинск.

Много-много лет спустя, незадолго до его смерти, когда алкоголь загнал Рашата на дно жизни, он успел все-таки прочитать в рукописи мой роман «Ранняя печаль». Возвращая роман, признался с горечью: «Жаль, я не женился на Вале, наверное, у меня сложилась бы иная судьба, Лиза сломала мне жизнь».

Лиза, настырная, хваткая татарская девушка из города, штурмом брала нашего друга. Каждую неделю приезжала в Мартук, задаривала его подарками и в конце концов женила его на себе. Лиза оказалась

махровой карьеристкой, вступила в партию, прорвалась в партшколу, стала ярой общественницей, где уж тут найти время для дома. Так семья и распалась. Наверное, справедливо будет сказать и о пьянстве. Все трое братьев Гайфулиных: Тимур, Рашат, Мушан — очень рано ушли из жизни из-за водки.

Но вернемся в тот счастливый вечер.

Рашат, очень шустрый парень, попросил меня и Витю Будко все танцы посвятить новеньким, чтобы никто другой не сумел вклиниться. Парней в жениховском возрасте в ту пору было немало, а Валя выглядела очень милой. В жизни, в судьбе случай играет огромную роль, не выгляди ее Рашат в тот вечер, Валя вполне могла стать невестой какого-нибудь мартукского парня. Какими бы мы ни казались себе опытными, уверенными, но городские девочки, без пяти минут врачи, тоже знали себе цену, и особенного контакта у нас не получалось. Под настойчивые взгляды Рашата мы стали брать девушек измором, не отходили от них ни на шаг. Танцы подходили к концу, ничего не клеилось, хотя нам с Витей было все равно, подружки Вали нас не волновали, мы старались для друга, поняли, что Рашата зацепило крепко. Мы видели, что и проводы домой из парка окажутся неудачными, вряд ли Валя осталась бы наедине с Рашатом. Одно становилось нам ясным, что нужно как-то продлить вечер, может, потом Валентина заметит влюбленность нашего друга. Мы уже израсходовали все наши дежурные шутки, выдали все комплименты, на которые были способны, но веселья, улыбок на лицах девушек не видели. И тут с последним аккордом прощального вальса меня осенило, я поправил свой модный галстук и интригующе предложил: «А как вы посмотрите на то, что мы вас пригласим на ананасы с шампанским? Время-то детское, да и ваш приезд на практику не мешало бы отметить». И впервые за вечер мы увидели улыбки на лицах студенток, они посмотрели на нас с интересом и любопытством. Такого поворота событий по инициативе провинциальных ухажеров девушки не ожидали. Одна даже, волнуясь, переспросила: на ананасы с шампанским? И процитировала с удовольствием:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс…

Она словно предугадывала трагическую судьбу Рашата.

В ту пору молодежь увлекалась поэзией, и король поэтов Игорь Северянин им, конечно, был знаком. Мои друзья, сразу понявшие мой маневр, подтвердили уверенно:

— Да, да, на «Абрау-Дюрсо» и дивные заморские ананасы.

— Интересно-интересно, где вы тут найдете ананасы, их и в городе-то нет,— защебетали девушки разом.

И мы поняли — наша взяла! Воспрянувший духом Рашат, готовый расцеловать меня, сияя, обратился ко мне:

— Пожалуйста, распорядись насчет шампанского, а мы с компанией подойдем не спеша к накрытому столу.

Шампанское с ананасами в то лето было нашим коронным трюком, мы его на многих приезжих девушках опробовали, и я понесся прямо по путям, что проходили рядом с парком, на станцию. Вот тут — самое главное, забытое. На нашей станции много лет, до семидесятых годов, был прекрасный двухзальный ресторанчик, небольшой, но очень уютный. Он был построен вместе с железной дорогой в начале века. Тогда поезда из-за заправки паровозов водой и чистки топок стояли на станции подолгу, и пассажиры могли пообедать в нашем ресторане. Вот какая забота о пассажирах была в Мартуке еще сто лет назад. Наверное, старожилы помнят роскошный буфет красного дерева во всю стену в первом зале, дубовый прилавок, очень напоминающий барную стойку, и несколько дубовых столов с тяжелыми стульями. Второй, чуть меньший зал, с раздаточным окошком в кухню, был еще уютней, на стенах висели два больших натюрморта маслом в тяжелых палисандровых рамах. Меня до сих пор мучает вопрос: куда делись эти картины? Я бежал на станцию и молил Аллаха, чтобы в этот день не продавали бочковое пиво. В такие дни в ресторане творилось столпотворение, пиво завозили не часто. Пиво лишило бы эффекта нашу затею, не исключено, что, увидев мартукских забулдыг, девушки могли развернуться и уйти.

К счастью, зал был пуст, Ася, толстенькая буфетчица в крахмальном кокошнике, знавшая нас, оживилась: «А где друзья твои, девушки?» — спросила весело, она была родственницей Вити Будко и обожала курчавого племянника, первого стилягу Мартука. Я быстро объяснил Асе ситуацию, выдал тайну Рашата и предложил себя ей в помощь, время торопило. Дело в том, что вьетнамские ананасы были в больших жестяных банках, и чтобы открыть их, требовались сила и сноровка. Ася быстро заразилась нашей авантюрой, выставила

мне две банки ананасов и дала ключ для вскрытия, а сама направилась в подвал, где на льду хранилось шампанское «Абрау-Дюрсо», не пользовавшееся спросом у моих земляков. Пока она протерла бутылки, достала из буфета хрустальные бокалы для шампанского, узкие и высокие, я успел открыть ананасы. Ловкая Ася быстро перелила сок в хрустальный кувшин, а крупные сочные золотые ломти ананаса выложила на большое фарфоровое блюдо. Все это мы вдвоем отнесли во второй зал, куда случайные посетители никогда не заглядывали, и прикрыли застекленную цветным витражом высокую дверь. К приходу компании наш стол выглядел роскошно, Ася даже пожертвовала нам букет цветов, что стоял у нее на буфете. Главное, на столе были шампанское и ананасы. Конечно, заключительная сцена в гоголевском «Ревизоре» замечательна, но надо было видеть лица наших очаровательных спутниц, когда Витя вальяжным жестом распахнул витражную дверь и объявил с пафосом мажордома: «Прошу, шампанское и ананасы ждут вас!» Мы мгновенно выросли в глазах девушек, а ведь еще полчаса назад были готовы смириться с поражением. С тех пор я понял, женщины — всегда тайна.

***

Тут напрашивается для рассказа еще один случай, который произошел тоже на танцах в Актюбинске, во Дворце железнодорожников. Пришли мы в тот день вдвоем с Аликом Поповым, легендарным молодым человеком, который недавно, спустя пятьдесят лет, попал в книгу «Стиляги СССР», а в моих произведениях он — частый герой, и особенно ярко представлен в повести «Седовласый с розой в петлице». Алик бывал в Мартуке, играл в футбол с моими друзьями. Сейчас Алик, Олег Федорович — подполковник КГБ в отставке, пенсионер. В тот вечер нам приглянулись две новенькие подружки, но, видимо, не только у нас оказался такой зоркий глаз, приглашали их нарасхват. К концу вечера мы чувствуем, что девушки могут уйти с другими, и тут Алик, к моему изумлению, тихо заявляет: «Зачем вам, хорошим девочкам, эти дылды, братаны-бандюганы Шашурины? Пойдемте с нами»,— и таинственным шепотом добавляет: «Вас ждут тихо-покой, синий свет, иконы, подарки…»

Я чуть не упал от неожиданности — куда пойдем, и что означает «тихо-покой», синий свет, да еще иконы, подарки? Но сказано это было завораживающе, заманчиво и таило тайну, и девушки заметно дрогнули. Наверное, их более всего заинтриговало слово

«подарки». Короче, мы пошли их провожать. На улице метель, холод, и одна из девушек говорит: «Алик, хочется покоя и синего света, подарков обещанных…». Очаровательный Алик не смутился, засмеялся и, разведя руками, сказал: самому хочется! Разошлись в тот вечер без обиды, мы проводили их до общежития культпросветучилища.

Встретились мы с теми подружками снова на танцах через две недели, но с нами были уже другие девушки. Такого обмана, коварства прежние спутницы нам простить не могли и рассказали братьям Шашуриным, что мы наплели им в тот вечер, наверное, в фантазиях себе не отказывали. Через полчаса нам с Аликом уже донесли, что Шашурята, такая у них была кликуха, ребята гораздо старше нас, рвут и мечут, и советовали не попадаться им на глаза. Танцплощадка во Дворце железнодорожников занимала просторный холл, и мы старались танцевать в разных с ними концах зала. Наверное, нам пришлось бы бегать долго, если бы в бегах не наткнулись на моего родственника Исмаил-бека, самого авторитетного парня с Татарки. Тот вмиг поставил Шашуриных на место. Вот чем закончились фантазии Алика — «тихо-покой, синий свет, иконы, подарки».

***

Рассказываю о девушках, и невольно получается, что у нас, у ребят, сплошные победы. Так не бывает в жизни, у любого мужчины сердечных ран гораздо больше, чем побед. Справедливости ради надо показать и свои поражения, когда и мы уходили не солоно хлебавши. Хотя сегодня, с высоты прожитых лет, даже поражения, неудачи в отношениях с девушками в юности воспринимаются тепло, с грустью, нежностью — как прекрасно, что это случалось в твоей жизни! Любые воспоминания, сны о молодости греют душу.

Зимой 1958 года на студенческих каникулах Роберт Тлеумухамедов познакомился с выпускницей мединститута красавицей-брюнеткой Юлией, имя это тогда встречалось редко и было популярно. Особенно значимо оно оказалось для Роберта. Почему? Потому что в то время звучала модная джазовая композиция Александра Цфасмана «Юлия», где Роберт исполнял соло на ударных инструментах.

В молодости все проходит ярко, стремительно, в новое увлечение кидаешься без оглядки, без тормозов. Так — бурно, страстно стал развиваться роман и у Роберта с Юлией.

В один из февральских вечеров, когда у нас неделями бушевала пурга, Юлия пригласила Роберта на свой день рождения. Сказала,

что гостями будут ее подружки — выпускницы, без пяти минут врачи, и их поклонники, ребята гораздо старше Роберта. На вопрос Роберта о том, кто они, Юлия туманно ответила, что ребята не актюбинские и приедут из другого города. Роберту не нравилась затея гулять с незнакомыми парнями, но и отказаться отметить день рождения своей девушки он тоже не мог. Тогда он предложил Юлии прийти на день рождения с другом, то есть со мной, Юлия не возражала, видимо, ей очень хотелось встретить праздник с Робертом. Тут надо обязательно указать существенные для этого сюжета детали: мы с Робертом в ту зиму — студенты всего лишь третьего курса техникума, мне неполных семнадцать лет, Роберту только исполнилось девятнадцать, хотя он выглядел гораздо старше. Оба мы среднего роста, я к тому же худенький, боксировал в наилегчайшем весе, одни крупные глаза на бледном лице.

В назначенный день минута в минуту мы пришли на улицу Байганина в большой особняк рядом с базаром, которому недавно исполнилось сто лет. Кстати, дом этот цел до сих пор, хотя сильно осел и обветшал. Нас встретили радушно, провели в зал, где были уже накрыты столы и тихо играла музыка. Девушка за роялем поздоровалась с нами улыбкой и кивком головы и продолжила играть что-то минорное. Юлия, заметив наш взгляд, потянувшийся к богато накрытым и красиво сервированным столам, предупредила: сядем за стол все вместе, ребята должны подъехать с минуты на минуту.

Девушек оказалось семь, не считая Юлии, значит, компания собиралась большая, человек двадцать. За окном мела, выла метель, а в доме у базара было тепло, уютно, красиво, празднично, от девушек исходил дивный аромат незнакомых нам роскошных духов. У нас с Робертом от всей атмосферы, от предчувствия праздника голова шла кругом, рядом восемь красавиц, одна краше, изысканнее другой! И нам они уделяли такое внимание, такие расположение и добросердечность, которые мы до сих пор никогда не ощущали по отношению к нашим заурядным персонам. «Какой цветник, какой гарем!» — только и успел шепнуть мне на ухо взволнованный Роберт.

Прошли полчаса, час — долгожданных гостей все еще не было. Девушка оставила рояль и, включив радиолу, пригласила меня танцевать, Юлия с Робертом поддержали нас. Прошло еще полчаса, и девушки время от времени по очереди, накинув пальто, стали выбегать на улицу с фонарем — может, гостям не удается отыскать в пурге дом, хотя он и сиял огнями всех комнат. Но все было напрасно. Светские

разговоры, музыка, танцы уже не могли скрыть тревоги за ночных гостей. И тут впервые за долгий вечер мы услышали, что гости могли застрять в дороге из-за пурги, метели, густой снежной пелены, стоящей в степи. Прозвучало и название местечка — Кенкияк, вот откуда, оказывается, ждали девушки своих женихов. Нам название ничего не говорило, мы думали, что парни будут из Оренбурга, Илецка или Ак-Булака — это недалеко от Актюбинска. Сегодня Кенкияк, или, точнее,— нефтяной район Кенкияк, известен всему миру. Прошел еще час, девушки уже не скрывали тревоги на лицах и уже не выбегали с фонарем на улицу, но ни в какие детали нас с Робертом не посвящали. Хотя мы понимали, что ребята пробиваются в город по степи, по бездорожью, в лютый холод, буран. Мы мысленно желали им удачи, уж очень жалко было глядеть на лица девушек, на именинницу.

Наверное, от передавшегося от девушек волнения мы с Робертом стали невольно поглядывать на накрытые столы, они вызывали большой аппетит, особенно запеченный в духовке целый поросенок, такое мы с Робертом видели впервые. И тут Юлия, на правах хозяйки дома и именинницы, с отчаянным весельем скомандовала: «Все за стол, и начнем отмечать мой день рождения! Если приедут, они нас поймут, мы стойко ждали четыре часа». В это время высокие напольные часы красного дерева глухо и беспристрастно отбили одиннадцать вечера.

Мы сели за крайний стол, открыли шампанское, Роберт сказал тост в честь Юлии, который он репетировал целых два дня, и вечер начался. Затем тепло, с юмором Юлию поздравили подруги, кто-то даже в стихах, что вызвало шквал аплодисментов, и вечер стал приобретать веселые очертания, посыпались шутки, остроты, экспромты. Потом вдруг все внимание перекинулось на нас с Робертом, стали и в шутку, и всерьез строить варианты, как нас справедливо распределить на все танцы с девушками, чтобы ни одна не осталась без внимания. Предлагали и жребий тянуть, или нам самим установить справедливую очередь, или крутить бутылочку, и советовали при этом еще и поцеловать свою избранницу — в общем, смутили нас с Робертом основательно. И все это тактично, с блеском, с остроумием — таких девушек мы с Робертом еще никогда не встречали. Наверное, они отчаянным весельем пытались спасти день рождения своей подруги.

Со мною рядом сидела та самая пианистка, что играла в начале вечера «Лунную сонату» Гленна Миллера, у нее оказалось редкое имя, никогда, ни в жизни, ни в литературе, я не встречал такого — Ая. Это имя я уже использовал однажды в своем первом рассказе

«Полустанок Самсона», написанном на спор в 1971 году. Ая, как мне казалось, откровеннее других любезничала со мной, выражала мне явные знаки внимания, рьяно отсекала попытки других сблизиться со мною. Я стал чаще танцевать с нею, что, как ни странно, не вызвало протестов, даже шуточных, за меня отдувался Роберт, причем делал это с большим удовольствием. Когда Ая уходила на кухню, чтобы что-то принести, или спешила в темную прохладную прихожую покурить, я тут же увязывался за нею. Красная пачка роскошных по тому времени дамских сигарет «Фемина», что она держала в руках вместе с зажигалкой, так и осталась нераспечатанной — мы страстно целовались и обнимались. И она шептала мне какие-то ласковые слова, которых я никогда прежде не слышал, хотя наивно считал себя бывалым парнем. После каждого нашего уединения в прихожей, которые становились все чаще и чаще, Роберт мне загадочно подмигивал. Взгляд его говорил одно — молодец, какую деваху отхватил!

В разгар наших с Аей страстей Юлия попросила всех снова за стол, который незаметно обновили и положили свежие приборы. И в этот момент, когда мы уже рассаживались, а часы на полу отбили час пополуночи, сразу в три окна с улицы весело затарабанили. Всех девушек в мгновение ока вынесло из-за стола, и они с радостным визгом, счастливым смехом кинулись не в прихожую, а прямо на улицу в буран в вечерних платьях. Такого единого искреннего порыва за свои долгие годы я не встречал не только в жизни, но и в кинематографе. Столь яркая, эффектная, берущая за душу сцена до сих пор стоит у меня перед глазами, когда я бываю на Байганина или на актюбинском базаре. За столом мы с Робертом остались одни, не понимая — грустить нам или радоваться. Прошло минут пять, а, может, пятнадцать, мы вышли из-за стола и стали возле радиолы. Сесть в глубокие кожаные кресла под бронзовым торшером мы не решились, уж слишком выстраданной оказалась встреча долгожданных гостей. Мы слышали радостный смех, счастливые голоса наших прекрасных девушек, застуженные басы крепких мужчин в прихожей и в соседней просторной комнате, где гостей раздевали, обхаживали, прихорашивали. Мы с Робертом поняли, что нам там сейчас не место, и терпеливо ждали появления мужской половины в большом зале рядом с накрытыми столами. Оба искренне радовались и тому, что гости не пропали в буране, и тому, что девушки дождались своих парней, и тому, что поросенок лежал на главном столе целехонький. А ведь Юлия предлагала его разделать, но Роберт сказал, что у него рука не поднимается губить такой кулинарный шедевр.

Появились они в зале как-то разом, словно не было двери, задрапированной тяжелыми бархатными шторами вишневого цвета с золотыми кистями по моде тех лет — впереди семь рослых молодых мужчин, а сзади и по бокам все наши восемь красавиц, включая Юлию. Удивительно, зал не уменьшился, не стал тесным из-за возникшего многолюдья, а, наоборот, вроде и потолки стали выше, и стены раздвинулись, и ярче заполыхали люстры. Наверное, этот пространственный и световой эффект возник от радостных, счастливых лиц девушек, от белозубых искренних улыбок мужчин, понявших, прочувствовавших сердцем, с какой любовью и тревогой ждали их в этом доме. Девушки весьма церемонно представили нас друг другу. Гости тепло поздоровались, назвались, но я сразу понял, что они приняли меня с Робертом за младших братьев или племянников очаровательных девушек, короче, за подростков.

Наверное, следует чуть подробнее представить гостей, которых ждали с таким волнением и любовью наши новые очаровательные знакомые. Все семеро оказались выпускниками Бакинского нефтяного института, работали в Кенкияке уже полтора года. Все, как на подбор, рослые, а в то время высокие парни были наперечет, акселерация началась в СССР только лет через пятнадцать. Все — бывшие спортсмены, хорошо сложенные, плечистые, лет по двадцать пять — двадцать семь, в общем, женихи на загляденье. Удивительная деталь, все семеро — с усами, усатых в Актюбинске в те годы не помню. Гости оказались коренными бакинцами, невероятно влюбленными в свой удивительный город. Азербайджанцем среди них был один, по имени Октай, я запомнил его имя только потому, что спустя пять-шесть лет буду дружить с Октаем Агаевым, знаменитым певцом из Государственного эстрадного оркестра Азербайджана под управлением композитора Рауфа Гаджиева, в те годы там же работал самый известный джазовый аранжировщик Анатолий Кальварский. Двое — армяне, в ту пору треть Баку составляли армяне, двое — таты, горские евреи, двое — русские, то есть полный интернационал, как они представились сами. Марк, увидев раскрытый рояль, тут же сыграл и спел популярное танго «Бакинские огни» композитора Тофика Кулиева, под эту музыку и стали рассаживаться за столами.

Не могу удержаться, чтобы не сказать банальнейшую истину — в мире все связано теснейшим образом. В 1962 году я буду работать в Экибастузе, а в праздники по воскресеньям стану регулярно

наезжать в Павлодар, где в гостинице «Иртыш» познакомлюсь с сыном композитора Тофика Кулиева — Адалятом, и нас будет долгие годы связывать дружба. Имя Адалята я тоже использовал в том же рассказе «Полустанок Самсона», где обозначил и Аю.

Речь идет о 1958 годе, мы с Робертом в городе считались заметными стилягами, поэтому особенно придирчиво осмотрели, как были одеты нефтяники. Это позже, в 1964 году, я впервые побываю в Баку по приглашению джазменов из оркестра Рауфа Гаджиева и своего друга Адалята Кулиева и надолго запомню, что такое бакинский стиль, бакинская мода. Баку настолько поразил мое воображение в молодости, что я на всю жизнь запомнил фамилию его мэра — Лимберанский. Дети Лимберанского живут в Москве уже лет двадцать, и когда им передали мои слова восторга о Баку Лимберанского, которым их отец руководил почти тридцать лет, они были тронуты до слез. А я ведь человек городской, столичный, прожил в Ташкенте тридцать лет, но не могу назвать ни одного тамошнего яркого мэра. Могу только обнародовать вопиющий факт, когда десять лет назад мэрия Ташкента, решив построить для себя новое роскошное здание, местом для стройки выбрало… самый старый парк столицы, разбитый еще в конце девятнадцатого века губернатором Кауфманом в центре города. Все советское время он назывался «Детский парк имени Горького». Через этот парк прошли десятки поколений ташкентцев, в нем были открыты в двадцатые годы прошлого века первые в городе кинотеатры «Арс» и «Солей», там лет десять подряд в шестидесятые годы проходил фестиваль кино стран Азии и Африки. И этот огромный парк тихо упразднили, территорию огородили высочайшим забором и построили себе в тенистом саду помпезное здание. Теперь в ухоженных аллеях парка гуляют только городские чиновники. Какая вопиющая «забота» о горожанах, о детях!

Лимберанский натолкнул меня на мысль узнать побольше о мэрах любимых мною городов: Венеции, Ниццы, Лондона, Вены — оказывается, все они возглавляли мэрии больше двадцати лет.

Я не случайно отвлекся на бакинский стиль, бакинскую моду. На Кавказе во все времена умели одеваться, одежде, моде там всегда придавали значение. Кавказцы, особенно тбилисцы, бакинцы, ереванцы, считались заметными модниками и модницами в стране. Это с развалом СССР Кавказ оказался в нищете, и сегодня его жителей невозможно представить законодателями мод. Сейчас, как я часто утверждаю, место Кавказа в моде заслуженно заняли казахи.

В Казахстане бум моды, все крупные магазины в Европе заполонили казахи. Я рад, что в мире утверждается казахский стиль, стиль моих земляков.

Баку, Тбилиси отличались замечательными портными, сапожниками. Знаменитый бакинец Мстислав Ростропович тоже писал в своих воспоминаниях о чародеях-портных Баку, могу засвидетельствовать и сам, я тоже заказывал там пару костюмов. Бакинский стиль означает классический, близкий к английскому — широкие мужские плечи, безупречный крой — слегка приталенный, и прекрасный пошив. Известные бакинские портные чаще всего были евреями, и весьма пожилыми, особенно закройщики. Немало работало там и известных армян, особенно модными считались репатрианты из Франции, Италии. Попасть к ним удавалось только по рекомендации, хотя, уверяю вас, цены были умеренные. Убил высокую моду на костюмы ручной работы импорт, он захлестнул страну в середине шестидесятых годов, а в семидесятых французские, итальянские, английские костюмы оставили без работы даже самых знаменитых портных.

Глядя на экипировку гостей, мы с Робертом поняли сразу, что они готовились к вечеру не менее тщательно, чем мы. На всех были вечерние костюмы: черные, темно-синие, серого цвета с неяркой полосой или выработкой — все, безусловно, сшитые на заказ и сидевшие на них как влитые, как в журналах мод. А на Марке, самом артистичном из гостей, еще не раз терзавшем рояль, был удлиненный двубортный темно-серый костюм с густо-черной, сажевой полосой, сильно приталенный, с узкими рукавами, из которых виднелись белоснежные манжеты с крупными серебряными запонками. Роберт, мгновенно вспомнивший своего любимого актера Хэмфри Богарта, сказал восхищенно: настоящий гангстерский костюм! Богарт часто играл крутых парней. Но, как бы нам ни нравились костюмы гостей, их белоснежные рубашки с высокими воротниками и шелковые галстуки, повязанные с небрежным изяществом, поразила нас их обувь. Напомню, что это был февраль 1958 года, импорта, даже из соцстран, мы еще не ждали, а нашу «скороходовскую» продукцию, не говоря уже о местной, без слез не опишешь. А на ногах гостей, которые приехали в тяжелых унтах, сейчас красовалась шикарная, сшитая на заказ обувь из черной мягкой козлинки, некоторые ботинки — с медными пряжками на боку, некоторые — с высокой шелковой шнуровкой, на удобном каблучке. Кожаная подошва так приятно шуршала по деревянному полу в танце, не высказать. Глядя на такой парад обуви,

мы с Робертом не знали, куда спрятать свои ноги. Я уже упоминал, что только на Кавказе жили великие сапожники, а тогда мы впервые видели, какая шикарная обувь есть на свете.

Несмотря на долгую и тяжелую дорогу, от наших нефтяников исходила такая энергетика, что все вдруг понеслось со скоростью экспресса. Лидером у них в компании оказался тот же Марк в гангстерском костюме. Минут через пять все уже сидели за столом, у всех было налито в бокалы, фужеры, рюмки, печальный поросенок был ловко разделан и разнесен по тарелкам без остатка. Этим решительным человеком, не в пример Роберту, оказался Сергей, приехавший с гитарой. Первый тост в честь именинницы гости спели дружно хором, секстетом, как пояснил мне Роберт. И текст, и музыка понравились всем, на глаза Юлии даже набежали слезы волнения. Тамадой избрали Октая, который почему-то время от времени очень нежно поглядывал на Аю, рядом с которой я поспешил занять место. С тамадой наш экспресс уже понесся с ракетной скоростью. Всем было радостно, весело, хорошо, а как светились лица, глаза девушек — не передать! Гости один за другим произносили тосты, которые мы никогда не слышали, и мы с Робертом только переглядывались, думали — вот бы записать, нам бы в любом застолье не оказалось равных. Все говорилось с юмором, с подтекстом, иносказательно, с тайной, красиво, достойно, без грамма пошлости — через годы я понимаю, что мы с Робертом получали мастер-класс поведения за столом.

Неугомонный Марк часто срывался из-за стола за рояль и так замечательно играл и пел, что Роберт шепнул мне с завистью: «Зря он в нефтяники, в степь подался, он же настоящий артист. Смотри, как он лабает на незнакомом инструменте с ходу, а голос какой — заслушаешься, его бы любой оркестр с удовольствием взял». И мне Марк нравился, он и лидером оказался, и одет был со вкусом, лучше всех, и танцевал не хуже балерона, а уж говорил — хоть записывай за ним следом, все девушки, казалось, были в восторге от него. Как только Марк садился за рояль, несколько пар срывалось из-за стола танцевать, и все в зале быстро смешалось — одни танцевали, другие произносили тосты и дружно закусывали, третьи откровенно любезничали. Всем было уютно, весело, радостно. Наверное, неуютно чувствовали себя только мы с Робертом. Я — потому что Октай-тамада не только продолжал нежно поглядывать на Аю, но и постоянно стал приглашать ее танцевать, и она не только охотно шла с ним, но и открыто любезничала, словно меня не было рядом, словно не видела,

что я гляжу на нее во все глаза, а губы мои выразительно шепчут беззвучно: изменница, предательница, коварная…

Роберт приуныл, потому что привык быть в центре внимания, привык, чтобы прислушивались к каждому его слову, жесту, капризу, а тут выходило, что нас как бы и не было за столом, мы не могли даже вставить какую-нибудь удачную реплику, здесь говорили совсем иначе, не на нашем жаргонном сленге, нас окружали совершенно другие, взрослые люди с иным мировоззрением, иными интересами, с высоким интеллектом. Понять это, оценить ситуацию нам хватило ума, хотя вслух между собой мы не затрагивали эту тему. Роберт приуныл еще и потому, что Юлию, как именинницу, приглашали танцевать чаще всех, и, конечно, не таясь говорили ей изысканные комплименты, выражали восторг ее красотой, новой прической, новым платьем, которое действительно было ей к лицу. Особое восхищение гостей вызывал и стол, уж тут Юлия с мамой очень расстарались. Такое внимание, подчеркнутое любезное отношение гостей, мужчин к Юлии не могло не вызвать у Роберта ревности, я-то хорошо знал его, он ревновал ее ко всем, кроме меня. Но я видел, что у каждого из гостей своя избранница, и никто из нефтяников не переступал границу в отношении Юлии, как поступала моя Ая, откровенно флиртовавшая с Октаем-тамадой. Разве только Марк, уж слишком любезно и внимательнее других он относился к имениннице. Хотя я не могу утверждать, что Марк увлекся Юлией, скорее всего, как человек рафинированной культуры, он отдавал ей должное как хозяйке дома, столь гостеприимно встретившей их, как имениннице, и, в конце концов, Юлия была в этот день очаровательна как никогда, так мне сказал сам Роберт. Короче, у Роберта обозначились свои проблемы, у меня свои. Мои дела становились с каждой минутой хуже и хуже, Ая уже пересела к Октаю за другой стол и, танцуя танго, откровенно клала руки ему на плечи, словно обнимала, так танго у нас в Актюбинске еще не танцевали. На первых же танцах во Дворце железнодорожников я повторил опыт Аи с Октаем, и у меня быстро, в тот же день, появились последователи. Хотя, глядя на Аю в тот вечер у Юлии, я думал, как пошло все это выглядит со стороны. Конечно, я так думал от душившей меня ревности. На самом деле так могли танцевать только влюбленные.

Высокие тяжелые часы красного дерева с обозначенной на циферблате латынью маркой «Мозер», к которым я от усталости и отчаяния притулился, отбили четыре часа ночи, значит, гости гуляли уже ровно

три часа. А мне казалось, что прошел от силы час, так быстро бежало время в веселой компании, где умели развлекаться с блеском. Я осмотрелся и почему-то пересчитал всех девушек, все восемь были в зале, у всех от волнения и радости горели глаза, румянились щеки, и в их голосах, смехе не чувствовалось усталости, они были счастливы. Счастливы были, пожалуй, все, кроме меня и Роберта, но никто нас не замечал, никто не пытался утешить, мы были лишними на чужом пиру. Я лихорадочно думал, как бы мне вернуть расположение Аи, но ничего путного в голову не приходило, лезли одни печальные мысли, выходило, что за три последних часа я только однажды станцевал с Аей. С этим фактом смириться было трудно, да и не хотелось, упрямец я был еще тот, чистый татарин.

Пришла ненадолго и вполне разумная мысль — уйти потихоньку, по-английски, даже не распрощавшись ни с Робертом, ни с Юлией, все равно никто бы не заметил моего отсутствия. Но такой уход казался унизительным, оскорбительным для моего мужского достоинства. Возвращаться за стол мне не хотелось, пригласить кого-то на танец на выбор, как было в начале вечера, у меня не имелось возможности, все пары, казалось, не желали расставаться ни на минуту. И я продолжал подпирать трофейные немецкие часы с изумительным бархатным боем, каким-то чудом попавшие в далекий Актюбинск. Можно было сказать, что я слился с этими роскошными часами, ни на них, ни на их бой, ни на время счастливые люди не обращали внимания.

Безучастно внешне подпирая часы, я лихорадочно искал выход из унизительной для меня ситуации, а глазами невольно выискивал Аю. И вдруг наступил и для меня момент удачи. Октай о чем-то оживленно стал говорить с Сергеем-гитаристом, а Ая, схватив со стола уже распечатанную пачку «Фемины» вместе с зажигалкой, решительно направилась в прихожую перекурить. Я мгновенно окинул пространство взглядом: все, включая Юлию и Роберта, находились в зале, и я, словно пантера, метнулся вслед за ней. Не успела Ая поднести огонек зажигалки к сигарете, как я в темноте обхватил ее за плечи и развернул к себе. Мой приход, как ни странно, оказался для нее неожиданным, она удивленно и разочаровано сказала: «Ах, это ты?» Словно не было между нами три часа назад страстных объятий, жарких поцелуев, пьянящих голову сладких слов. Я вмиг сник от такого равнодушия, растерял все жгучие слова, что заготовил для нее, подпирая «Мозер». Я почувствовал, что Ая сейчас развернется и уйдет в зал, и попытался поцеловать ее, но она ловко отстранила меня и устало

сказала: «Успокойся, мальчик, поел, попил, пора и домой, а то матушка заволнуется…» — и, неожиданно обняв меня, поцеловала долгим и жарким поцелуем. Так мы сегодня еще не целовались. У меня от радости екнуло сердце, и я попытался ее снова обнять, но она опять легко отстранила меня. Мое пальтишко висело рядом, у нее за спиной, Ая безошибочно сняла именно его с вешалки, вынула из рукава мятую шапку и бережно надела ее мне на голову. Застегивая пуговицы, спросила с тревогой: не заблудишься в буране? Я ничего не ответил, слезы обиды душили меня, и я, не прощаясь, шагнул в распахнутую дверь.

Я пересек пустынный базар, вышел на Орджоникидзе и пошел сквозь жуткую метель на «Москву», на улицу Деповская, где находилось наше общежитие. Я шел, глотая слезы, считая себя несчастным, но странная радость теплилась где-то в глубине души. В голове крутилась какая-то поэтическая строка, подходящая случаю, но я так и не вспомнил ее.

Спустя много-много лет она нашлась-таки, ташкентский поэт Александр Файнберг сказал:

Далеких лет далекие обиды.

Никого их тех людей, с кем я отмечал день рождения Юлии, кроме Роберта, я больше никогда не встречал. Не знаю, как сложилась жизнь у тех нефтяников и у девушек, так переживавших за них в пургу. Но я был бы рад, если у них счастливо сложились судьбы, они так подходили друг другу.

***

Не могу не рассказать еще об одном событии, характеризующем Рашата, его время и молодежь. В 1961 году Рашат решил строиться. Жили они большой семьей в тесной землянке на нашей Украинской улице. Еще были холосты его братья, да и отец — Мубарак-абы, мастеровой человек, находился в добром здравии. Дом наметили выстроить из самана — материала, привычного для здешних мест. В маленьких селеньях у всех народов есть вековая традиция строить миром, у татар это называется «ума», у русских «помощь», а, говоря по-современному, Рашат надумал созвать воскресник. Я уже упоминал, что он не был лишен деловой хватки и к мероприятию приготовился основательно. В ту пору о пятидневке и не мечтали, а воскресенья всегда ждали. В селе летом работы через край: огороды,

сенокос, картошка, ремонт дома, заготовка топлива на зиму, консервирование. На воскресник и родню-то трудно было собрать, но Рашат был уверен — к нему придут. У Рашата, как у композитора Евгения Мартынова, на подбородке имелась ямочка, оттого у него была удивительная улыбка, и весь он излучал доброту, искренность, в общем, обаятельнейший парень, рослый спортсмен, капитан футбольной команды «Кооператор». К тому же он играл на гармони и на баяне и пел хорошо, особенно татарские песни. Без него не обходилась ни одна татарская свадьба и серьезная вечеринка. Для тех, кто знает татарскую культуру, он был похож на легендарного певца Хайдара Бигичева, к сожалению, рано ушедшего от нас.

В субботу Рашат завез самосвалами глину и землю, доставил огромную машину измельченной соломы, перегородил улицу и сделал лошадьми два огромных замеса диаметром метров по сорок каждый. Вымешенная глина, как и тесто, должна настояться. Невиданный в наших краях объем работы, размах, масштаб! Машины, лошади, огромные емкости для воды, заимствованные с какой-то большой государственной стройки. Обычно глину с соломой топчут сами, ногами, делают замес на сотню, от силы две саманов. Тяжелейшая работа, ноги все в порезах от соломы, сотни ведер воды надо натаскать из колодца вручную. Сами толстые деревянные колодки на два-три самана — и пустые-то тяжелейшие, а через час работы они еще и набухнут от влаги, потому что после каждой формовки их следует начисто вымыть, иначе саманы не выпадут. На эту финальную часть работы всегда ставили самых крепких, выносливых, двужильных. Трехсаманная колодка с глиной тянула далеко за сто килограмм. Пишу подробно, чтобы напомнить молодым, в каких тяжелых трудах был выстроен в ту пору каждый дом.

В субботу на танцах Рашат объявил нам, что утром приглашает на воскресник, и просил помочь мобилизовать как можно больше людей. Поначалу никто не думал приглашать девушек, работа-то — не гусей ощипывать, есть и такая «ума» у татар по первому снегу. Догадался пригласить девушек Витя Будко, это он сказал, что с ними будет легче работать, веселее, да и ребят побольше подтянется. В общем, мартукские красавицы у Рашата — целиком заслуга Вити. Задолго до окончания танцев танцплощадка бурлила, все знали о мероприятии у Рашата. Поднял ажиотаж и оркестр, Яша Берет объявил: «Для тех, кто завтра решил пойти на воскресник к Рашату, исполняется «Шизгара».

Утром на Украинскую к Рашату нагрянули человек пятьдесят-шестьдесят, больше и не нужно было. Включили через усилители музыку, и работа закипела. Эту работу-праздник потом вспоминали лет десять, и никому больше такой воскресник не удалось повторить: и время, и люди быстро стали другими. За четыре с половиной часа вылепили около двух тысяч саманов, и все делалось весело, задорно, с улыбкой, шутками, смехом, в соревновании. Помню, как завороженно смотрел на нас отец Рашата Мубарак-абы, он не ожидал от молодежи такого энтузиазма и радовался, что у его сына такие замечательные друзья. На другой день он сказал мне: «Какие, оказывается, трудолюбивые мартукские красавицы, не ожидал от них». К концу работы во дворе накрыли столы, как на свадьбе. Из барана, забитого утром, получился роскошный обед. Застолье с вином тоже затянулось часа на четыре. А вечером снова встретились на танцах, и все разговоры — только о воскреснике. Как жалели те, кто не попал на этот праздник труда! Всякий раз, когда я прохожу мимо дома Рашата, у меня перед глазами возникает тот памятный воскресник и лица тех девушек, что украсили тот день. Жаль, этот дом не принес радости нашему другу Рашату.

***

Раз уж вспомнили экзотические ананасы, нужно рассказать и о других чудесах в Мартуке. С шестидесятых годов начался расцвет поселка, в 1961 году открыли новую школу, где ныне директор мой одноклассник Р. Халиков. Появилась новая автостанция, по Мартуку стал ходить автобус, в воскресенье весь день были рейсы даже на Илек. А в город ходили новенькие «Икарусы» с шести утра с интервалом в полчаса. Поверьте, и туда, и обратно мест не было. Билетные кассиры и сами водители стали очень уважаемыми людьми. Открылся кинотеатр «Колос», где механиком всю жизнь проработал мой одноклассник Валерий Косенко. В том же году запустили новый элеватор. Чуть раньше впервые отстроили постоянный мост через Илек, тот, что стоит и поныне. А ведь раньше в разлив мост всегда сносило паводком, Илек в ту пору был полноводен, широк, глубок. Временный мост, деревянный, строили каждую весну заново много лет подряд. Теперь об этом и не догадываются. По ту сторону Илека, там, где мост, по весне вся степь, все холмы до самой Степановки утопали в тюльпанах: красных, желтых, алых, белых, пятнистых. Высшей доблестью среди старших ребят было на 1 Мая перебраться через

бурный Илек на чем попало и вернуться в школу, на танцы, с букетом тюльпанов для девушек. Запах тюльпанов тех лет не забыть никогда, он заполнял все аллеи парка, коридоры школы. Жаль, и тюльпаны пропали, и рыцари повывелись. Но так было.

В те годы сложилась крепкая дружба с Кубой, и мартукские магазины были завалены кубинским ромом в непривычных для нас роскошных бутылках. Да-да, те самые всемирно известные и по сей день «Гавана-клуб», «Баккарди», и стоили они недорого, по семь рублей за большую бутылку. Нельзя сказать, что ром понравился мартукским мужикам, но когда случались перебои с водкой, покупали и его. Особенно хорошо шел один сорт «Гаваны», светлый, с крепостью в семьдесят градусов. Высокий градус всегда ценился у нас, ни шампанское, ни сухое, которое презрительно называли «кисляк» — не прижились. Сегодня в мире снова возродилась мода на кубинские сигары. Принято считать, и вполне справедливо, что кубинские ром и сигары — лучшие в мире. Сигары, сделанные вручную, продают в роскошных коробках, но чаще поштучно, из-за дороговизны. Некоторые известные сорта сегодня стоят и по сто, и по двести долларов за штуку, а редкие, эксклюзивные, доходят и до пятисот. Вот этими сигарами завалили в ту пору мартукские магазины. Сигары в Мартуке не прижились, это точно, их постоянно уценяли, хотя от времени они должны были только дорожать. Большинство сигар со временем списали. Но, помню, мальцы, начинавшие тайком курить, могли позволить себе купить в складчину сигару. На реке, на дальней аллее парка, подальше от дома, от глаз взрослых, можно было встретить мальчишек, передающих друг другу дымящуюся сигару — забавное зрелище! Покупали сигары для куража вместе с ромом и загулявшие мужики, и на улице, в парке можно было наткнуться на пьяную компанию с сигарами в зубах — зрелище, скажем, не для слабонервных. Мартукские пенсионеры вполне серьезно могут сказать: «Гаванские сигары? Нет, они у нас не прижились…»

Только один мальчик, живший на нашей улице, Коля Карабаев, который, как и я, часто отирался на станции у провозов, вот он курил не таясь. Рос он без отца, тот тоже погиб под Москвой, а наши матери общались, моя мама покупала у его матери пух для платков. Колю на самом деле звали Кенес, но в школе учителя всех инородцев крестили на русский лад, отчего всегда возникала путаница в документах. Коля был не по годам дерзок, смел, по-обезьяньи ловок, ничего не боялся. Он, как и я, часто сбывал самоварный уголь на постоялый

двор хромому Максуму, и у него всегда водились деньги. На заработанные с риском рубли он часто покупал сигары. Когда мы, греясь в отвалах шлака, дожидались очередного поезда, он не спеша закуривал. Делал это вальяжно, подражая голливудским актерам. Мы в ту пору пересмотрели десятки трофейных фильмов о роскошной жизни, где герои как раз наслаждались гаванскими сигарами в самой Гаване, тогда Куба служила американцам курортом. Курил он с таким неподдельным удовольствием, что я не раз и не два просил его дать мне попробовать, и он любезно тут же протягивал тлеющую сигару. Но у меня ничего не получалось, я начинал задыхаться, сигара гасла, а, главное, я не получал удовольствия, как мой друг. Честно говоря, мне нравилось, как он курил, был какой-то шик в его жестах, движениях, в откинутой от удовольствия черноволосой голове. Коля очень рано попал в тюрьму, вернулся оттуда бывалым человеком с кличкой «Копченый», он и впрямь выглядел копченым. Потом он пропадет на много лет и в Мартук вернется в семидесятых на костылях, без одной ноги. Карабаев никогда не был здоровяком, а тюрьмы доконали его, он прожил недолго. В моем длинном поминальном списке у Кенеса — свое прочное место, и когда я бываю на кладбище, всегда навещаю его могилу. Коля Карабаев по кличке Копченый был единственным человеком в Мартуке, кто по-настоящему, как аристократы, любил гаванские сигары. Пусть земля будет ему пухом.

В шестидесятые годы поток прекрасных китайских товаров с эмблемой «Дружба» из-за натянутых отношений с Пекином стал иссякать, зато резко возросли поставки товаров из ГДР и Чехословакии. В какой-то год неожиданно завезли в наши магазины немыслимое количество немецких мужских шляп, велюровых и фетровых, разных цветов: зеленых, синих, черных, серых, дымчатых, коричневых, голубых и других сложных оттенков — на любой вкус, выбирай не хочу! Этих шляп Мартуку хватило лет на пять-семь. Вот тогда у нас появилась настоящая шляпная мода. Первыми на шляпы перешли чиновники, начальство, но массово полюбили шляпы… казахи, особенно простой люд. Да-да, только они по-настоящему оценили светский головной убор, он стал как бы национальным достоянием. В Мартуке, в аулах все мужчины-казахи, от старцев до молодежи, до чабанов в степи, ходили в шикарных шляпах, и надо признать, они оказались им к лицу. Казахи из аулов, бывая в Мартуке, покупали их по нескольку штук. В те годы жизнь в наших краях уже наладилась, была работа, хорошие заработки, и шляпы стоили недорого, от шести

до восьми рублей, велюровые — дороже. Захватила мода на шляпы и молодых пижонов. Шляпы носили Витя Будко, Борис Палий, Саня Бектимиров, Лермонт Берденов, старшие братья Вуккерты, была шляпа и у меня. Странно, но мы все отдали предпочтение только зеленым, велюровым. Носили их по-разному, особенно лихо получалось у Вити Будко, он даже давал мастер-классы, как заламывать шляпу, как загибать края. Кончились шляпы — пропала мода. Некоторые старики до сих пор сетуют, почему нет шляп в магазинах. И мода прошла, да и стоят они сейчас не дешевле гаванских сигар. Я рад, что мои земляки от души поносили в свое время шляпы.

Чуть не забыл, в разгар устоявшейся моды на шляпы завезли, опять же в большом количестве, французские береты из мягкого фетра, тоже разных цветов. С шикарной шерстяной подкладкой в клетку, посередине которой на коже был вытиснен золотой герб со львом. Но французским беретам не удалось перебить моду на немецкие шляпы. Кстати, немцы, которых в Мартуке в ту пору было много, никак не среагировали на шляпную моду. Береты особенно полюбились шоферам, в то время в Мартуке были две мощные автоколонны. Наверное, никто уже не помнит, что автодорогу Ташкент — Алмалык в 1963 году отсыпала мартукская автоколонна, и я там встречался и со Штайгером, и Саней Вуккертом, и Рафиком Арслановым. Почувствуйте, погордитесь былой мощью Мартука, делами своих земляков! Вглядитесь в фотографии тех лет — и увидите непривычные для сегодняшнего дня шляпы и береты. Кстати, моду на береты добавил и Фидель Кастро со своим другом Че Геварой — они всегда отдавали предпочтение только беретам. Как видите, мода не обходила Мартук стороной, мартучане и сигары курили, и весь кубинский ром, положенный Мартуку по торговой квоте, выпили, его не списывали, и в шляпах, и в беретах пощеголяли.

***

В этих воспоминаниях много внимания уделено личному — друзьям, знакомым, думаю, правильно будет напомнить и об общественных явлениях тех далеких лет, очевидцем которых я был, и, слава Богу, еще много в Мартуке свидетелей, могущих подтвердить описываемые события. Видимо, надо рассказать о выборах, тем более, что сегодня они проходят часто и есть возможность сравнить. Степень участия в выборах масс известна, и праздником сейчас их вряд ли назовешь. Сегодня, когда в России идет шельмование истории советского

периода, молодым, наверное, кажется, что выборы в пятидесятые годы, особенно при Сталине, проводились чуть ли не под дулом автомата. Как жаль, что хроника тех лет, заснятая в дни выборов, редко появляется на экране. Вы бы увидели переполненные залы для голосования, радостное настроение избирателей — выборы, плавно перетекающие в настоящий народный праздник.

Постараюсь напомнить вам, как это было у нас в Мартуке. Праздники для мартучан начинались задолго до самих выборов. По закону за месяц до выборов открывались агитпункты, они располагались там же, где позже и пройдут выборы. Мест таких у нас было два, и оба при школах, расположенных в разных концах села. О, агитпункты послевоенных лет! Нынешние пенсионеры могут рассказывать вам о них взахлеб! В ту пору выборы считались особо важным государственным мероприятием, и относились к ним соответственно.

Каждый вечер все тридцать дней агитпункт сиял огнями, гремел музыкой. Там можно было прочитать свежие газеты, журналы, поиграть в шахматы, шашки, домино. В какие-то дни там проводились лекции приехавшими из города людьми. Молодежь стекалась туда чуть позже, часам к девяти, когда начинались танцы под радиолу, бесплатные. Выборы обычно проводились во второй половине марта, когда в наших краях еще царила зима, хотя в воздухе уже витали запахи весны, особенно в оттепель, но она тогда случалась редко. Конечно, молодежь не один раз за вечер шумно, озоруя, перетекала из одного агитпункта в другой. И Мартук после долгой сонной зимы оживал на глазах, даже после закрытия агитпунктов в полночь молодежь не расходилась, то тут, то там звучали гармонь, баян. Школу рабочей молодежи с началом работы агитпункта лихорадило, ученики высиживали только два-три урока, а с первыми аккордами вальса сбегали с занятий на танцы. На первых порах учителя их отлавливали, но потом махнули рукой. Нас, подростков, тоже не прогоняли, мы там учились танцевать, и первый танец, которым овладели, был фокстрот. Агитпункты становились неотъемлемой частью культурной жизни села, и можно утверждать, что выборы в местах, подобных Мартуку, любили и ждали.

Сами выборы превращались в настоящий праздник. Голосование начиналось в шесть утра, и особым шиком у мартучан считалось проголосовать одними из первых. Кстати, в день выборов агитпункты работали до утра, сюда начинали стекаться члены счетной комиссии, здесь оперативно решались возникавшие вопросы. Молодежь тоже

не расходилась, юноши и девушки становились первыми избирателями. К шести утра уже гремел духовой оркестр в актовом зале школы. Невиданное зрелище для нынешних выборов, избиратели шли голосовать с гармонью, баяном, татарской тальянкой, аккордеоном, мандолиной, гитарой. Потому в каждом классе плясали, пели. Помню, мои родители тоже ходили голосовать одними из первых и возвращались оттуда уже навеселе, пропустив рюмочку-другую с друзьями, соседями, сослуживцами, наплясавшись и под гармонь, и под аккордеон. Возвращались они всегда с чем-нибудь вкусненьким: апельсинами, мандаринами, халвой, ржаными пряниками, копчеными лещами, колбасой, индийским чаем — товарами редкими, дефицитными и оттого памятными на всю жизнь. Торговля в эти дни крепко опустошала свои закрома — как не считать выборы праздниками?!

Позавтракав, и я, торопливо одевшись, бежал в школу — празднество было в самом разгаре. В зале под баян учителя пения Михаила Ивановича Баранова танцевала молодежь. В классах — под радиолу, аккордеон, в каждой компании свой инструмент — плясали, пели люди постарше. Работали буфеты, магазины, киоски. А во дворе стояли кошевые сани секретаря райкома, возница поправлял богатую упряжь двух серых в яблоках рысаков. В санях лежал ящик для голосования, обитый кумачом, выбегала девушка из избирательной комиссии с адресом в руках, и кошевые сани срывались со школьного двора к какому-то немощному старику или старухе, чтобы и те могли отдать свой голос кандидату, которого поддержал весь Мартук. Мы, пацаны, старались вскочить на облучок саней, покрытых по случаю праздника чьим-то ярким ковром, и, если удавалось, летели со свистом на край села и обратно.

В полдень на школьный двор так же лихо въезжали санки попроще, но тоже принаряженные, в гривы лошадей были вплетены длинные шелковые ленты, которые так украшали бег скакунов. Упряжка из Казанки отличалась звоном колокольчиков, ее мы узнавали издали. Первым обычно влетал во двор на паре гнедых председатель колхоза из Кумсая Дарбаев — огромный по-африкански черный богатырь в длинном, до пят, тулупе. Отец Амана Дарбаева, который позже станет известным хирургом, бывал у нас дома, общался с моим отчимом-фронтовиком, они вспоминали свои боевые дороги. Дарбаев привозил запечатанную урну проголосовавших в Кумсае. Вслед за ним наезжали гонцы из Казанки, Степановки, Веренки, Полтавки, Яйсана. Обычно к полудню район уже рапортовал в область о проведенных выборах. Но гуляния продолжались до самого вечера.

Мы, мальцы, часто говорили — жаль, в этом году нет выборов. Неслыханное желание по новым временам.

Мартук и в давние годы был интересен не только мартучанам, он привлекал и горожан. В семидесятые годы, когда в парке играл оркестр Чиркиных, слух о нем дошел до Актюбинска, и стало модным наезжать к нам на танцы из города. Благо это особых проблем не составляло — приезжали автобусом, уезжали ночными поездами. Но я хочу рассказать о другом времени, о том, как мои друзья-горожане встретили Новый, 1958 год в Мартуке в доме у Генки Лымаря, что находился у самого кирпичного завода. Произошло это ровно пятьдесят лет назад, я учился на третьем курсе железнодорожного техникума, и у меня к тому времени и в городе сложилась компания, где я был не последний парень. В праздники мне приходилось особенно трудно, не хотелось обижать ни новых друзей, ни старых, мне было интересно и дома, и в городе. Конечно, я подробно рассказывал мартукским о своих новых друзьях, а городским — о приятелях, которые ждали меня каждую субботу. И они, с моих слов, заочно уже знали друг друга.

На Новый год мы ждали в гости из Магнитогорска Рафика Муртазина, двоюродного брата лидера нашей городской компании Роберта Тлеумухамедова. Роберт с родителями переехал в 1956 году из Магнитогорска в Актюбинск, на историческую родину отца. Бертай-ага Тлеумухамедов окончил Ленинградский университет, стал юристом, работал председателем коллегии адвокатов, прокурором, занимал заметные посты в Актюбинске. Мать Роберта, татарка, преподавала в школе литературу. Роберт был их единственным сыном, и баловали они его крепко. В 1956 году мы оба поступили в техникум и оказались в одной группе. Сказать о Роберте, что он особенный, другой — это ничего не сказать. Он был белой вороной не только в техникуме, но и в городе. Могу смело утверждать, что он стал первым стилягой в нашем городе, а точнее, он приехал сложившимся стилягой из Магнитогорска. Со своей философией, утвердившимися вкусами в музыке, литературе, со своими взглядами на жизнь. На зависть другим объявившимся в городе стилягам он прекрасно одевался, имел продуманный гардероб вплоть до кашне, перчаток, носков, имевших большое значение в новой моде. Не то, что мы — новые его последователи, у которых были только модная ковбойка и набриолиненный кок, или только одни спешно зауженные брюки. У него все было сшито

в ателье, на заказ, из продуманных материалов нужных расцветок, фактуры. На нем — стройном, статном — одежда выглядела элегантно, как в журнале мод, носил он ее в небрежно-изящной манере, и я не помню, чтобы его когда-нибудь передразнивали, как случалось с другими стилягами. Чувствовалось, что он знает себе цену, умеет постоять за себя. Роберт приехал в Актюбинск перворазрядником и по боксу, и по баскетболу. Он любил Магнитогорск, рассказывал о нем часами, и Магнитогорск представал перед нами как Чикаго или Нью-Орлеан, где везде играет джаз. Как только Роберт окончил техникум, он тут же вернулся в Магнитогорск и оттуда призвался в армию. Я не знаю чем, но я привлек его внимание, мы стали общаться. И я, конечно, сразу попал под его влияние. Это он втянул меня в бокс, увлек музыкой, обозначил горизонты какой-то иной интересной жизни. Это у него я впервые увидел магнитофон, кипы пластинок, которые он называл «моя фонотека». Роберт очень бережно относился к каждой пластинке, имевшей собственную историю. От него я услышал впервые имена Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Джонни Холидея, Эллы Фицджеральд, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона, Джоржа Гершвина, Бенни Гудмана. Его дом на Почтовой, 72 стал для нас клубом. Да, чуть не забыл упомянуть, что летом 1956 года он был в гостях у родственников в Москве, и фестиваль молодежи прошел у него на глазах. В дни фестиваля Роберт встречался в столице с такими же, как он сам, стильными ребятами, удачно прибарахлился и пополнил свою коллекцию пластинок. Представляете, уже в 1956 году я слушал в Актюбинске у него дома музыку, которая и в Москве не всякому была доступна. Конечно, у него в городе быстро появились друзья, последователи, подражатели.

***

В 1960 году мы окончили техникум и уговорились встретиться в Актюбинске в следующем году во время первого отпуска. С таким сроком не согласился только я, сказал: кого-то могут забрать в армию, кому-то отпуск не дадут, и предложил свой вариант — встретиться через шесть месяцев на Новый год. У всех еще были живы родители, здесь оставались друзья, девушки, и приехать на три-четыре дня не представляло проблем. Я сумел убедить своих друзей. Хочу отметить, что я единственный в последние дни учебы записывал адреса сокурсников, чтобы потом через родителей отыскать их на новом месте. Помню, все удивлялись, говорили: зачем, мы же все актюбинские,

увидимся еще сто раз. Не вышло, большинство потерялись навсегда, и я никого из бывших сокурсников больше никогда не встречал, к сожалению. В первые годы, когда у меня начали выходить книги, я ожидал — вот теперь на меня посыплются письма, найдутся мои однокашники. Тоже не случилось. Только однажды, в год моего шестидесятилетия, на юбилейном вечере в Актюбинске, о котором были объявления в газете, во время фуршета подошел ко мне пожилой коренастый мужчина и, улыбаясь, сказал: «А я тот самый Тникеш Истурганов, которого ты описал в романе «Ранняя печаль». Мы крепко обнялись и, вновь посмотрев друг на друга, сказали грустно: да, укатали нас годы, встреться мы на улице, могли бы и разойтись. Что и говорить, сорок лет — не шутка. Я люблю упоминать, хотя бы в маленьких эпизодах, своих друзей, одноклассников, сокурсников. Некоторые до сих пор волнуют меня, например, Валера Полянский, незаурядная личность, человек с сильным характером, как у него сложилась жизнь? Это он впервые дал мне прочитать написанную от руки тетрадь со стихами запрещенного в ту пору Сергея Есенина. Наверное, он не мог подозревать, что с его легкой руки я полюблю поэзию навсегда, без поэзии я не вижу свою жизнь. Поэзия для меня — лучшее лекарство в старости, в одиночестве.

Вернемся к Новому 1961 году — приехали на встречу все из нашей компании. Прибыли принаряженными, я к этому вечеру сшил в Кызыл-Орде из темно-синего габардина смокинг с белым муаровым жилетом, а портной, бывший закройщик из Мариинского театра, осевший после ссылки в Казахстане, подарил мне еще и белую бабочку.

Роберт удивил всех нас зимним пальто с черным шалевым меховым воротником. Прошло много лет, но это пальто — из добротной шерсти почти белого цвета с простеганным подкладом из белого с голубой дымкой атласа — стоит у меня перед глазами. Больше никогда и нигде я не встречал столь элегантного, хорошо сшитого пальто, хотя всю жизнь одевался с претензией. Роберт часто вспоминается мне в черной шляпе и этом элегантном пальто. После той встречи мы больше никогда не виделись, хотя были большие друзья.

Сейчас в Санкт-Петербурге готовится к изданию книга «Стиляги в СССР», ее авторам попался на глаза мой роман «Ранняя печаль», где есть глава о Роберте, актюбинских стилягах, их это очень удивило. Авторам казалось, что стиляжничество захватило в свое время только большие города, и мои страницы о неслыханном ими Актюбинске их заинтересовали. Мне предложили написать о том времени главу

для книги, где пытаются осмыслить тот неожиданный феномен, возникший сразу после смерти Сталина и продержавшийся совсем недолго. Я с удовольствием согласился — приятно оставить в истории своих друзей, а для кого-то эти страницы послужат и памятью. Роберт, к сожалению, очень рано ушел из жизни по той же причине, что и мой друг Рашат Гайфулин. Удивительная, непредсказуемая штука — жизнь, Роберт оказался не чужим человеком для Мартука. В 1964 году, после армии, Роберт женится на молодом враче Кларе Хайруллиной, она жила рядом с Ермоланскими, в переулке. К сожалению, брак, как и у Рашата, оказался недолгим. Клара, с которой я некоторое время состоял в переписке, жива-здорова, живет в Магнитогорске, куда увез ее мой друг. Вот так запутано, сплетено все в жизни, и все пути сходятся в Мартуке. Поистине, пути Господни и судьбы людские неисповедимы.

Но вернемся в 1958 год. Новый год — особенный праздник, и лавировать между компаниями означало рвать себя на части. И тогда меня осенила спасительная мысль — отметить Новый год в Мартуке вместе. С идеей я ознакомил Саню Вуккерта, заводилу нашей компании, тому предложение понравилось, он и другие давние мартукские товарищи давно рвались познакомиться с моими городскими друзьями. Вуккерт обладал быстрым умом, он тут же отметил, что приезд городских парней, да еще с новыми пластинками, дает шанс пригласить самых желанных, капризных девочек — так оно и случилось.

В костяк мартукской компании, сложившейся со школьных лет, кроме меня и Вуккерта входили Володя Колосов, Витя Будко, Боря Палий. Должен был гулять с нами и наш друг Фима Беренштейн, но его пригласили в город. Много лет спустя я не раз встречал в английской литературе фразу о школьном, университетском братстве: «школьный галстук повязывает друзей на всю жизнь», только теперь я оценил мудрость англичан — ничего нет крепче юной дружбы. Гена Лымарь попал в компанию потому, что предоставил свой дом, уговорил родителей уйти в гости к родственникам на два дня, у него была чудесная мать, она многое сделала для того вечера, узнав, какая молодежь у нее собирается. Вместе с нашими девчонками она подготовила прекрасный стол, но об этом попозже. Попал в компанию и Слава Афанасьев, он младше нас, но его всегда тянуло к нам. Позже он часто, выпив, говорил: вы пригласили меня на кабальных условиях. «Кабальные» условия состояли в том, что он должен был следить за радиолой, менять пластинки, отвечал за музыкальную часть

и обязывался быть на подхвате: подать, сбегать, убрать. Согласился он с радостью, готовый на все, чтобы только попасть на праздник жизни, как он тогда сам высокопарно выразился. В отношении Славика имелась еще одна «корыстная» цель. Его мама работала шеф-поваром в том самом вокзальном ресторане, куда мы позже водили приезжих девушек на ананасы с шампанским. Она тоже приготовила много интересных блюд для новогоднего стола. Одно дело — готовить дома, другое — на профессиональной плите в ресторане.

А компания, включая городских, получилась не маленькая. Со мной из города приехали трое: Роберт, Рафик и Юрочка Лаптев, сразу покоривший мартукских красавиц. Надо отметить, что мы с детства росли самостоятельными, ответственными и к вечеру готовились основательно и долго. Собрали вскладчину деньги и потихоньку делали закупки: приобрели дивную елку, бенгальские огни, хлопушки. Наверное, самым запоминающимся из застолья оказалось… шампанское, я нашел его в городе. Красное «Цимлянское» в… пол-литровых красочных бутылках. Оно на всю жизнь стало символом того Нового года. В двенадцать часов мы дружно открыли бутылки по числу пар. Я никогда в жизни больше не встречал красного шампанского. Оно появилось снова года три назад — рекомендую.

Лет пятнадцать спустя Валя Комарова, вспоминая тот вечер, волнуясь, спросила меня: «А помнишь, мы тогда пили красное шампанское? Мне никто не верит, что бывает такое, да еще в пол-литровых бутылках. Хитрован Вуккерт тут же назвал его шампанским на двоих». Как такое забыть! Такое не забывается никогда, потому что случается только раз в жизни, хотя мы тогда думали иначе.

Из города мы приехали поездом и с вокзала сразу двинулись в школу на новогодний бал, нас там уже поджидали. Пластинки Роберта оказались новогодним подарком и для мартукских старшеклассников, они вызвали фурор. Впервые в актовом зале школы звучали знаменитые биг-бенды, впервые — Элвис Пресли, Элла Фицджеральд, Джонни Холидей. Пока мы танцевали, развлекали гостей, знакомили их с местными девушками и своими друзьями, в доме Лымаря его мама вместе с мамой Славика и некоторыми девушками накрывали столы. Минут за сорок до Нового года шумной компанией мы явились на окраину Мартука, где нас уже нетерпеливо поджидали. Вечер сразу набрал темп, в молодости быстро сходятся. Городские парни, оказавшись в центре внимания, были в ударе — шутили, пели, танцевали, Рафик играл на гитаре. В ту пору никто не жаловался

на аппетит, но на столе всего хватало с избытком: жареный гусь и курица, свиные ребрышки — Вуккерты накануне забили огромного хряка, любимый всеми нами холодец, зельц из того же кабана, домашние колбасы, жареная рыба, доставленная Петей Качановым с водокачки у Кумсая. Так что новогодний вечер начался, как и задумали — весело, с шутливыми тостами, розыгрышами, с танцами. Всем хотелось танцевать, ведь была такая музыка! Танец в ту пору означал уединение, а не массовку, и уже определились пары, тянувшиеся друг к другу. Странно, на этом вечере присутствовала только одна сложившаяся пара. А остальным представлялся шанс, да еще какой — Вуккерту удалось пригласить самых известных мартукских красавиц.

Зеленоглазая смуглянка Тома Солохо захватила на вечер цыганскую шаль и колоду карт. Гадание ее тоже запомнилось на всю жизнь, и не мне одному. К ней даже выстроилась очередь, всем хотелось узнать свою судьбу, мы стояли на пороге взрослой жизни и вот-вот должны были разлететься из родных мест. Но странно, почти всем выпадала похожая судьба: дальние дороги, казенные дома, неразделенная любовь и ранняя печаль. Вуккерт, заметив, как погрустнели девушки и его друзья, шутя, отобрал карты у Тамары и сказал, переводя все в розыгрыш: «Вы, мадам, не умеете гадать, лучше спойте нам», и протянул ей гитару, мы все знали, что она замечательно поет. Но прекрасная цыганка не поддержала игры и грустно, со слезами на глазах сказала: «Я не виновата, что вам выпадают такие карты, я не вольна над вашими судьбами, карты редко врут».

Прошли годы, и всем стало ясно, что красавица Солохо, которую я больше никогда не видел, умела гадать. Все так и вышло: дальние дороги, чужие города, казенные дома, несбывшиеся мечты, разбитая любовь и печаль, разлитая по всей жизни — и ранняя, и поздняя. Но это ясно теперь, когда жизнь на излете, а многих уже давно нет…

Случались на вечере неожиданные курьезы. Слава Афанасьев, как сурово выразился Вуккерт, серьезно нарушил «контракт» и был отлучен от радиолы, к его неописуемой радости. Славик быстро захмелел и стал через раз ставить «Караван» Эллингтона, уж очень понравилась ему мелодия, которую он слышал впервые. В общем, покайфовал Слава от души. Он с удовольствием появился в зале и стал приглашать на танцы всех красавиц подряд. Славик наверняка прекрасно понимал, что в другой ситуации пригласить таких девушек у него не было никаких шансов. Теперь, по прошествии стольких лет, я думаю, что мы недооценили Славика, он переиграл мудрого

Вуккерта, ведь тот предупреждал его ни в коем случае не беспокоить девушек и не надоедать городским парням, а заниматься исключительно музыкой. Наверное, Слава больше всех оценил тот вечер, он сократил дистанцию своего взросления и своего вхождения в число «избранных» Мартука на несколько лет. Славик Афанасьев, ставший известным зубным техником, всю жизнь прожил на широкую ногу, никогда не имел проблем с деньгами, но они не принесли ему счастья. Он тоже умер очень рано по той же причине, что Роберт и Рашат.

Неожиданно в разгар застолья у девушек возник жгучий интерес к персоне Бориса Палия. Поистине, женщина — вечная тайна, непредсказуемая, не знаешь — как, чем вызвать ее интерес. Боре в тот вечер это удалось с лихвой. На столах, по нашим меркам, имелось все, чего только душа пожелает. Мама Славика, конечно, расстаралась, но и наши девушки вместе с хозяйкой дома тоже много чего напекли, нажарили, натушили, настрогали. Отсутствием аппетита не страдал никто, кроме обиженного Славика, многое и девушкам пришлось по вкусу, о ребятах и речи нет. Несмотря на горящие глаза и накалявшиеся страсти, все вокруг уплетали за обе щеки, но девушкам, даже на этом активном фоне, бросился в глаза аппетит нашего друга Бори. Мы, конечно, знали о его возможностях, но впервые оказались за столь богатым столом, где не нужно было себя ограничивать или думать, что кому-то чего-то не достанется. Девушки даже затеяли азартную игру, соперничество — они наперебой любезно, с улыбкой стали обращаться к нему: «Боря, Боренька, пожалуйста, съешь это, попробуй то, это я пекла» — и протягивали то аппетитное ребрышко, то куриную ножку, то грудку гуся или утки. Кто-то подкладывал ему, глядя ласково в глаза, блинчики, фаршированные мясом, кто-то подсовывал домашние соленья для аппетита, иная спешила подлить ему рюмочку, не дожидаясь очередного тоста. Короче, сияющий Боря затмил всех, оказался в центре внимания. Наверное, девушек разбирало любопытство — когда же он остановится. Они даже на время о танцах забыли, облепили нашего друга, окружив его вниманием и заботой. Что, конечно, вызвало у нас жгучую зависть, кому не хотелось получить из этих прекрасных рук хоть пирожок какой-то и услышать при этом: «Съешь, милый, съешь».

Вуккерт, знавший аппетиты Палия, даже ехидно заметил: «Не думал, что порок так легко возводится в добродетель» — но его никто не слышал. Спас ситуацию Володя Колосов, он вынес на большом блюде из вокзального ресторана, откуда была и большая часть посуды,

плов, посыпанный рубиновыми зернышками граната, этому его научила мать Славика. Володя чуть ли не силой вернул девушек на свои места, приговаривая при этом: «Плов ждать не любит, плов едят горячим, баранина быстро остывает». Он требовал отведать свое творение, из-за которого он пропустил новогодний бал в школе. Чего-чего, а плова, да такого аппетитного, никто не ожидал, для каждого Володя припас по замечательной косточке. В комнате запахло восточными приправами, в рисе мелькали какие-то черные зернышки, и Володя небрежно давал нам пояснения — это барбарис, это зра, это дашнабадские гранаты, и мы вмиг перенеслись на Восток. Я тут же включил на всю мощность соответствующее моменту популярное в ту пору «Арабское танго» знаменитого Батыра Закирова. Забегая вперед, скажу: я не предполагал в ту минуту, что лет через семь-восемь буду общаться с Батыром Закировым накоротке, а позже наши сыновья станут одноклассниками.

Так закончилась получасовая слава Бориса Палия, и виной тому — плов. Наверное, больше никогда Боря не испытывал к своей персоне такого внимания, да еще такого количества красавиц. Это был его звездный час, его окружал такой гарем! Всю жизнь, попадая на богатые застолья, я мысленно говорил себе — вот сюда бы Борю! Особенно часто я стал повторять эту фразу, когда открылись границы и на морских курортах Испании, Италии, Греции и на Лазурном берегу, где я отдыхал с супругой, нам предлагались щедрые, порою фантастические шведские столы. Шутливая фраза стала семейной, и моя Ирина, никогда не видевшая Борю, иногда в восторге от роскоши столов опережала меня — вот сюда бы Борю! Бори нет уже почти десять лет, и эта фраза оборвалась с его смертью. Но к Боре мы еще вернемся, он все-таки заслуживает отдельной страницы.

Под утро случился еще один курьез. Кто-то громко затарабанил в окно, мы с Вуккертом кинулись к двери, подозревая, что чья-то матушка решила проверить, чем заняты их детки — время было суровое, надзор за нами был. Распахнули дверь, а там огромный милиционер в белом полушубке, строго спрашивает: «У вас все дома? Никто не потерялся?» Мы в один голос — у нас все дома, заходите. А из-за его спины выглядывает улыбающийся Роберт. Оказывается, среди ночи Тамара засобиралась домой, ей строго наказали вернуться не позже трех часов, Роберт вызвался ее проводить, ушли по-английски, не попрощавшись. А на обратном пути он заблудился. Тамара жила далеко, на другом краю села, возле Чипигиных.

Плутал, наткнулся на милицию, зашел, представился, фамилия в области на слуху, и его решили проводить, чтобы не замерз, не заблудился, ночь выдалась холодная. Мы пригласили нежданного гостя в дом, появление милиционера вызвало оживление, интерес, усадили его за стол. Парень оказался компанейским, веселым, он очень красочно поздравил нас с наступившим 1958-м годом. Кто-то пошутил, что хорошо начинаем новый год, с поздравления власти, а это, мол, добрая, проверенная примета. Подняли бокалы и за это.

Но вернемся к Боре Палию. Он — мой одноклассник, как и многие в этом повествовании. Учился неважно, пошел работать после семилетки, получил аттестат в вечерней школе, как и большинство в ту пору. Та школа так и называлась — школа рабочей молодежи, в масштабе страны она сыграла огромную роль. Боря отличался упорством, а если точнее, какой-то неистовой упертостью, даже если был и не прав. Как говорили у нас в ту пору — он был себе на уме. Жили мы на одном краю села, их усадьба выходила огородами в степь, прямо на мусульманское кладбище. У них были большой дом, огромный двор, переходящий в необъятные огороды, и даже сад. Двор был полон птицы: кур, индюков, гусей. Держали они и свиней, в загоне всегда хрюкали три-четыре кабана, а рядом с сеновалом вместе с баранами стояли две коровы. Наверное, для того, чтобы содержать столько скота и птицы, его отец всю жизнь работал грузчиком на элеваторе. Сколько помню, у них всегда во дворе на цепи бегали огромные волкодавы, даже в калитку не войдешь, оттого никто из нас никогда не бывал у него дома, а что видели — только через забор. Прямолинейный Вуккерт не раз по-большевистски говорил о Палиях — последние в СССР куркули, пора раскулачивать! Такие шутки бывали у нашего лидера, понимай как хочешь.

В начальной школе мы учились во вторую смену и зимой возвращались домой уже затемно большой шумной компанией. Однажды после уроков Боря нас удивил, сказав, что остается на открывающийся кружок шахматистов, который организовал директор школы М. И. Горох, математик. Не успели мы рты закрыть от удивления, как Боря объявил нам пренебрежительно, как-то непривычно для своего статуса, свысока, мол, директор пригласил его лично, сказав ему, что шахматы очень развивают умственные способности. Мы поняли, что решение Боря принял не сегодня, в руках у него блестела новая, сияющая лаком складывающаяся шахматная доска. Выходило, что он скрыл от нас новость о кружке, никого не пригласил, а вдруг

кто-то захотел бы составить ему компанию? Мы все посчитали, что Боря поступил нехорошо, да еще выпендривается перед нами, словно уже успел крепко поумнеть от шахмат, а мы перед ним стоим, как дебилы. Первым нашелся, как всегда, Вуккерт, он вроде с большим интересом переспросил: «Я не понял, что шахматы развивают, улучшают?» Боря, не ожидавший подвоха, важно ответил: «Ум, конечно!» — и постучал себя по лбу. Тогда Вуккерт, уже не ерничая, сказал: «Боря, если мозгов нет, то никакие шахматы не помогут, не трать зря время»,— и постучал Борю по стриженой голове под гомерический хохот нашей компании.

Шахматы Боре очень быстро разонравились. Боря останется в памяти мартучан как выдающийся спортсмен, страстный поклонник и пропагандист спорта. Лет до сорока пяти он играл в футбол на соревнованиях и страшно обижался, если его пытались заменить. В лыжных гонках он участвовал вместе с молодыми до пятидесяти лет. Всерьез, профессионально, бегал, прыгал, стрелял, играл в волейбол, баскетбол, гонял на велосипеде. Он и в пятьдесят был силен, как в юности, а телом крепок, как профессиональный боксер. Если в шахматы он пошел тайком, один, то в другие виды спорта кого он только не втянул, говорят, у него и теща делала зарядку. Боря вел здоровый образ жизни, пил редко, хотя аппетит не утратил, помню его по своему юбилею, который я отмечал с земляками. Любимой темой у него стал разговор о долголетии, о здоровье — его сбережении, улучшении, сохранении. Боря вполне мог читать лекции на эту тему и в качестве примера демонстрировать самого себя. Он мог бы на глазах у аудитории по сотне раз отжаться или подтянуться на турнике или кольцах, сделать сотни приседаний и даже продемонстрировать шпагат. Он не сомневался, что проживет до ста лет. У меня есть знакомые олигархи, не говоря уже о простых мультимиллионерах, но поверьте, даже среди этих баловней судьбы я не встречал ни одного, столь озабоченного здоровьем, долголетием, как Палий. Вот какие феноменальные кладовщики работали на нашем элеваторе, олигархам не чета. Боря с его упрямством одолел заочно единственный в стране Институт профсоюзов в Ленинграде. Получил редчайшую профессию, редчайший диплом. Я убежден, что девяносто девять процентов руководства профсоюзами республики, области, не говоря уже о районном масштабе, не имели столь вожделенного диплома. Профсоюзам принадлежало все: квартиры, путевки, лечение, заграничные поездки — Боря правильно выбрал институт. Но, имея такой диплом, исхитрился

всю жизнь проработать завскладом на элеваторе, а пост этот он занял задолго до поступления в институт. Вот где зарыта тайна — почему?

Перед отъездом Вуккерта в Германию я срочно приехал в Мартук попрощаться со своим другом детства, человеком большого природного ума, оставившим яркий след в жизни поселка. Мы обходили с ним памятные нам места и возле парка, а он рядом с элеватором, наткнулись на Борю. Боря тут же принялся показывать бицепсы, торс, спрашивать меня — перестал ли я пользоваться лифтом по прошлому его совету? Стал настоятельно советовать мне качать пресс, что было абсолютно верно. Вуккерт, понимая, что Боря забирает драгоценное время прощания, утром он уже уезжал, с грустной улыбкой мудреца перебил его: «Боря, дорогой, отстань от гостя, я знаю точно, он не пресс качает, а мозги. Пойми, Боря, человек с головы кормится». Утром, когда мы прощались у калитки, Шпак, словно продолжая вчерашний разговор, одарил меня еще одной вуккертовской сентенцией: «Береги, дорогой друг, голову, с головы кормишься».

Замечательная мысль, я ее часто повторяю другим. И все-таки мы Борю любили, он был верный товарищ, не интриган, на него можно было положиться в любой потасовке — не дрогнет, не побежит. А главное, он всегда хотел перемен, другой жизни и, как мог, стремился к этому. Он тоже уезжал из Мартука, работал до армии с Витей Будко в Рудном, не прижился там, как и Витя, вернулся домой, обзавелся семьей, как говорили у нас — бросил якорь. Он женился на Люде Епифановой, она работала в парикмахерской, я ее не помню, она моложе нас, но двух ее непутевых братьев помню хорошо, они тоже рано покинули Мартук.

Вспоминая Роберта, мы говорили о стилягах. Если в городе еще можно было спорить, кто был первым стилягой, а кто вторым, то в Мартуке эта тема закрыта. Первыми были мы с Витей Будко, а третьим приобщился к нам Боря. Сколько нападок, насмешек, издевательств, официальной неприязни от властей пришлось нам выдержать — не высказать. Казалось, вся работа местного комсомола сконцентрирована на нас. Боря был невысок, коренаст, плечист и с ногами кавалериста. Другой вряд ли бы отважился надеть узкие брюки или длинные остроносые туфли, снова вернувшиеся в моду через пятьдесят лет, ноги у него, действительно, были колесом. Но Борю это не смущало, он был стоек, ему нравилась новая мода. У него была роскошная велюровая шляпа, и очень ему шел светлый китайский плащ с погонами, который он носил с ярким красным шарфом. А еще Боря

заразительно смеялся, его смех слышался за два квартала. Теперь такого искреннего смеха я не слышу уже много лет, даже на концертах юмористов, а тот смех, что вы слышите по телевизору — это подложка, монтаж. Сейчас любая глупая шутка сопровождается таким радостным смехом от звукооператора — мерзость невероятная, давно следовало запретить это как фальшь, а заодно и «фанеру» на эстраде.

У Бори был старший брат Леня, он тоже заслуживает внимания. Не зная об их родстве, вряд ли можно было подумать, что это братья, они отличались кардинально. Леня высок, строен, широкоплеч, с тонкими чертами киногероя, красавец. Положа руку на сердце, не могу назвать второго такого в ту пору, даже наш любимец Валера Парамонов рядом с ним тускнел, столь колоритен был Леня. Леню можно сравнить только со Славой Маринюком, знаменитым сердцеедом, но у того была рафинированная, салонная красота, да и ростом, статью Слава, конечно, уступал Палию-старшему. Леня был брутален, как говорят нынче, настоящий мачо, но он вряд ли об этом догадывался и не использовал столь выдающиеся природные данные. Хотя мы предполагали, что он — любимец местных вдовушек и навсегда засидевшихся из-за войны невест. Сегодня Леня не сходил бы с обложек самых знаменитых глянцевых журналов и был бы лицом какой-нибудь парфюмерной фирмы, например, «Живанши», «Ив Сен Лоран» или любимого мною давно «Герлена».

В ту пору мы совсем не задумывались, не интересовались тем, кто какой национальности, откуда и как оказался в этих краях. Конечно, сегодня жаль, что мы не расспрашивали родителей, бабушек, дедушек о своей родословной, о своем прошлом. Мы четко были ориентированы на будущее, на светлое завтра и строили коммунизм, тогда он не казался нам несбыточной мечтой. А позади, мы считали, оставалось лишь темное, бесправное прошлое, и оно не заслуживает нашего внимания. Жаль, конечно, что мы так думали, жили только будущим. Судя по фамилии, Палий принадлежали к казакам, которых советская власть уничтожила как сословие, и они, конечно, не упоминали нигде о своих казачьих корнях. Появились они в наших краях, скорее всего, в столыпинскую реформу. Недавно отметили круглую дату этой реформы — столетие, срок, по историческим меркам, незначительный. В пятидесятые годы, о которых мы ведем речь, в Мартуке еще были живы мужики рождения 1880-го и даже 1870 года, надгробья с такими датами я много раз встречал на русском кладбище, когда впервые в шестидесятых побывал на могиле Толика Чипигина. Эти мужики,

наверняка, хорошо помнят свой переезд на бескрайние благодатные земли Казахстана. Ясно помню деда Пантелеймона Палия, которому было далеко за восемьдесят, вот он, скорее всего, и был родоначальником рода Палий на казахской земле. Отец Бори 1911 года рождения, участник войны, родился уже в Мартуке.

К чему я затеял экскурс в историю, в казачье прошлое семьи Палий? Объясню, это, на мой взгляд, самая неожиданная страница в моем повествовании. Дед Пантелеймон Палий, познавший в молодости казачьей жизни, казачьего уклада, передал в генах только одному внуку, Лене, что-то неистребимо казачье. Судите сами.

Представьте себе 1958 год, идет третья послевоенная пятилетка, уже четыре года осваивается целина, трижды был невиданный урожай, резко изменивший жизнь моих земляков. Появились работа, достаток, кругом строились, даже стиляги собственные в Мартуке появились. Удивительное, переломное время. Я вижу как на экране нашу танцплощадку в парке. Ни в одном фильме, ни одному режиссеру не удалось передать тот невообразимый колорит времени, смешение всего и вся. В ту пору еще никуда не делись блатные со своей униформой — с невероятной шириной брюками клеш, распахнутыми на груди рубахами апаш, непременными тельняшками под ними. Встречались юноши, молодые мужчины в жарких двубортных костюмах из бостона, удлиненных, по-гангстерски приталенных. Щеголяла молодежь и в скрипучих хромачах, за голенищами которых порою таилась финка, по-местному — пика. Много было ребят в вельветовых куртках на молнии, парней в широченных сатиновых шароварах на казачий манер. И все до одного — непременно в головных уборах: кепках, фуражках, шляпах, кубанках, тюбетейках, картузах, особым шиком почитались форменные фуражки военных, в первую очередь морские и летные. Немыслимо, но человек без головного убора в ту пору считался изгоем. Помню, подружки моей сестры Сании, обсуждая какого-то парня, вынесли ему приговор, сказав: «Да у него и кепки-то приличной нет». Странно, все это как-то быстро рассосалось, и человек без головного убора получил все права в обществе. Правда, вмиг остались без работы мастера по кепкам, фуражкам, папахам, шапкам — таких даже в маленьком Мартуке было человек двадцать.

Много встречалось на танцах и таких, кто был одет во что попало, а точнее, во что мог, что имел. Это я только о мужских гардеробах, а каким разнообразием фасонов, стилей отличалась девичья, женская половина танцплощадки — не перечесть. Женские фантазии

во все времена безмерны, особенно при бедности. Не зря говорят в народе: голь на выдумку хитра. Очень колоритно выглядела женская обувь: и шпильки, и танкетки, и босоножки, и лаковые довоенные лодочки, доставшиеся от бабушек, и кожаные чувяки с небольшим каблучком, неимоверно модные сегодня в Европе, тогда их во множестве шили местные сапожники, коих было гораздо более шапочников. Преобладали ситцевые юбки невероятных расцветок: юбки-клеш, юбки-солнце, цыганского кроя, венгерского — ситец в те годы стоил копейки, а портних, белошвеек, просто мастериц всегда хватало. Обязательно надо вписать в этот калейдоскоп и нас, стиляг, и наших последователей и подражателей обоего пола. Леня всегда приходил к концу танцев и всегда крепко подшафе, исключений не помню. Ни буфет на вокзале, ни чайную у мельницы, ни ресторан напротив Парамоновых, ни «Тихую гавань» у почты Леня не любил и не посещал — как все Палии, он был скуповат. Дома ему вряд ли позволяли так напиться, выходило одно — он уже успел проведать какую-то даму сердца. Леня, конечно, был жених хоть куда, чуть больше тридцати, о его фактуре я уже сказал — вылитый мачо, работу, по тем временам, имел престижную — шофер райпотребсоюза, и для него не существовало слова «дефицит». Кстати, у него первого появилась роскошная чешская «Ява» вишневого цвета, вся в хроме и никеле, таких мотоциклов и в городе-то было два-три, и все у сынков высокого начальства. Вторая «Ява» в Мартуке появилась только спустя два года, у сына судьи, нашего доброго приятеля Юры Акимова, чья мать Нажия-апай в молодости тоже слыла красавицей. Рад, что вспомнил достойную семью, лучшего судьи, чем Акимов, в Мартуке больше никогда не было, народ до сих пор вспоминает его добром.

Наверное, вы чувствуете, как я откладываю и откладываю встречу с Леней на танцах. Потерпите, она того стоит. Появлялся Леня на танцплощадке всегда неожиданно, когда легендарная билетерша Соня Музафарова, помнившая безошибочно, кто пришел на танцы по билету, а кто, одолев высокий забор, и никогда не церемонившаяся даже с самыми крутыми блатными, покидала свой пост. Не думаю, что Леня специально поджидал ее уход на темных аллеях парка, но получалось так всегда. Если в тот день на танцах оказывались люди, впервые прибывшие в Мартук, а таковые всегда случались, они застывали в оцепенении, не понимая, что это могло означать. Столь колоритно выглядел Палий-старший. Он появлялся в скрипучих сияющих лаком хромовых сапогах, сшитых непревзойденным

мартукским сапожником Петерсом, в которые были заправлены синего цвета галифе из тонкого довоенного сукна, сшитые самим знаменитым Порублевым. Галифе тоже не простые, а самые щегольские, с максимальной шириной в ляжках, да еще обшитые на заду тончайшей кожей, которую Лене раздобыл Гимай-абы, работавший на кожзаводе. На галифе, опережая нынешнюю моду лет на пятьдесят, Леня надевал навыпуск алую шелковую косоворотку с перламутровыми пуговицами, подпоясанную узким кавказским ремешком с накладками из серебряных пластин по всей длине. Ремешок, бросавшийся в глаза красотой и изяществом, Леня получил в подарок от чеченцев, строившихся рядом, он всю неделю после работы подвозил им глину для самана. Поверх косоворотки, несмотря на жару, он надевал приталенный шерстяной пиджак в полоску вполне модного кроя. В довершение всего на голове была лихо заломлена настоящая казачья фуражка с красным околышем, а из-под лакового козырька выбивался чуб. Фуражку Леня то ли откопал в сундуках своего деда Пантелея, то ли сшил на заказ, в Мартуке и такие мастера имелись. Ну, ни дать ни взять — вылитый Григорий Мелехов, хотя «Тихий Дон» тогда был только в романном варианте. А вот кинокартина «Кубанские казаки» прошла недавно, и в Мартуке ее смотрели по нескольку раз, кстати, это один из первых советских цветных фильмов. И не знавшим Палия казалось, что это артист из фильма заявился на танцы, иного они предположить не могли. Пошатываясь, Леня продирался сквозь танцующих к дальней ограде, где скромно подпирали забор девушки-перестарки, хотя вряд ли кому из них было за двадцать пять. Нам, молодым волчатам, они казались старухами, молодость вообще жестока ко всему. На бледном лице лихого казака горели огнем, страстью очень выразительные глаза, многие девушки очаровывались Леней в эти минуты. Но мы-то хорошо знали, что этот взгляд выражал только одно — презрение к мужчинам. Его взгляд говорил: ничтожество, сброд, хамло, рвань, босяки — смотрите, учитесь, как надо одеваться, какую одежку должен носить настоящий мужчина. Иногда он натыкался на нашу компанию, останавливался на миг, оглядывая нас всех поочередно, включая Борю, что-то беззвучно бормотал — разобрать не представлялось возможным. Эдакая песня без слов, Марсель Марсо, которому еще только предстояло стать знаменитым мимом. Но мы понимали Леню без слов — чучела огородные, обезьяны, шуты гороховые. Пороть вас надо, правильно делают, что стригут ваши набриолиненные коки и режут ваши дурацкие штаны. В эти минуты

мы ясно представляли, какие жаркие бои происходят в доме у кладбища, и гордились Борей, отстаивавшим и свои, и наши права на моду.

Леня остро чувствовал, что остается один или два танца, и быстро оглядывал ястребиным взором из-под лакового козырька казачьей фуражки затихших девчонок у забора, делавших вид, что не замечают казака-охотника. Каким бы он пьяным ни был, Леня всегда выбирал лучшую в тот вечер. Мы, конечно, с любопытством наблюдали за ним, всегда готовые прийти ему на помощь. Но Леня ни к кому не задирался, да и в Мартуке считалось дурным тоном обижать пьяных. На любой танец, какой бы ни звучал в конце, танго, вальс, линда, Леня шел приглашать. Вот тут режиссеру надо включать камеру. Леня молча подходил к выбранной жертве, делал, покачиваясь, какой-то немыслимый реверанс, очень похожий на те, что делали мушкетеры, размахивая шляпами в глубоком поклоне у ног возлюбленных, а затем протягивал руку, не сближаясь. Наверное, Леня в эти минуты был убежден, что он дает нам, мартукским варварам, еще и уроки хорошего тона. Странно, что никогда ни одна девушка не отказывала ему. Леня далеко и высоко откидывал левую руку с зажатой ладонью партнерши, как в аргентинском танго, и начинал свой танец-марш.

Сейчас создан знаменитый клип с десятью танцами из известных фильмов, есть там и знакомый всем танец Траволты с Умой Турман из «Криминального чтива», думаю, попади танец Палия с любой из партнерш в этот цикл, они смотрелись бы не хуже, чем кинозвезды, уверяю вас. Медленно-медленно, несмотря на любой ритм, он вкрадчиво семенил с партнершей по касательной наискосок через всю танцплощадку, и все пары невольно расступались перед ним. Если они кого-то задевали, Леня неожиданно вежливо говорил: «Пардон», ни от кого в Мартуке я не слышал этого слова, и продолжал дрейфовать, пока не натыкался на забор. Затем разворачивался и отправлялся в обратную дорогу тем же путем, тем же макаром. Завораживающее зрелище! Порою Леня сильно кренился, как подбитый дредноут, казалось, вот-вот рухнет, но такого никогда не случалось. Если оставалось два танца, он и второй танцевал только с той же девушкой, ничего не говорил, не шутил, не шептал на ушко, не соблазнял. Но всегда уходил с танцев со своей партнершей под ручку. «Волшебник»,— сказал однажды завороженно наблюдавший за ними Вуккерт. Боря в эти минуты никогда не танцевал, стоял бледный, сжав кулаки, только тихо шептал: «Позор… Какой позор… Убью!» Чем не казачьи страсти, гены они и есть гены.

Завершая страницы о братьях Палиях, обязан вернуться к Боре. Помните, я написал, что он имел редчайшее образование, редчайшую профессию, связанную с профсоюзами. Я намеренно ввел вас в заблуждение, сказав, что Боря оставил после себя тайну, почему он, имея высшее образование, всю жизнь проработал на элеваторе в скромной должности. Нет никакой тайны, я знаю — почему, мы с ним не раз говорили об этом. Эту тайну я сберег для высокой, достойной концовки рассказа о своем друге легендарном Боре Палие, она добавит новые штрихи к его сложившемуся портрету спортсмена.

По степени прямоты суждений, критическому отношению к власти, системе Боря вряд ли сильно отличался от Шпака, которого я здесь много и от души цитировал. Боря не родился в шелковой сорочке с золотой соской во рту, ничего ему не досталось в жизни на блюдечке с голубой каемочкой. За все, что он достиг, включая образование, Боря заплатил трудом, упорством, всего он добился сам. Не было у него ни толкачей, ни покровителей, да и подличать, подхалимничать, угождать он не умел.

СССР рухнул в 1991 году, но он начал заметно разрушаться уже при Брежневе, как раз тогда, когда Боря получил диплом, открывавший ему дорогу в эшелоны власти. Конечно, еще студентом Боря приглядывался к профсоюзам, с которыми ему предстояло работать. Он никогда не обобщал, не делал политических выводов, скорее из-за врожденной осторожности, чем от трусости. Но еще тогда я понял с его слов, что профсоюзы прогнили гораздо раньше и глубже, чем партия. Это сегодня стало понятно всем, что власть обслуживает только саму себя, блюдет только свои интересы. Но Боря понял это сам, раньше других. Кумовство, блат, казнокрадство, корысть, личная выгода, протекция своему — только этим была занята верхушка профсоюзов на любом уровне. Там и намека на защиту интересов рабочего класса, трудового люда, интеллигенции не просматривалось, Боря изучил их вблизи, как под микроскопом. Особенно он огорчился, увидев жизнь коллег изнутри. На заочном отделении учились в основном функционеры, уже стоявшие во главе профсоюзов на разных уровнях, диплом им нужен был, чтобы не потерять сытую кормушку, и для того, чтобы карабкаться еще выше. Боря рассказывал, как они шиковали во время сессий в Ленинграде, в каких роскошных гостиницах жили, какие траты себе позволяли, какие гулянки закатывали, на которых поначалу и Боря бывал, но быстро потерял к ним интерес.

Конечно, и в области, и в районе знали, где учился Боря, в ту пору такой учет вели, кадровый голод ощущался во все времена. Но никто и не подумал куда-то его приглашать, кадры подбирались по иному принципу, и им вряд ли был нужен энергичный правдолюб Боря Палий. Я часто вспоминаю Василия Шандыбина, депутата первого созыва российской Думы, простого слесаря, яркого трибуна. Шандыбин говорил что думал, предлагал то, что нужно государству, народу. Власти такой депутат оказался не нужен, и они быстро лишили его мандата. Российская Дума — как говорят в народе, явление вообще уникальное, половина депутатов — миллионеры и миллиардеры, и рвутся они туда по одной причине: спрятаться от закона, чтобы сохранить и приумножить свой ворованный капитал. Вот таким шандыбиным мне и видится Боря в профсоюзах, если бы ему там нашлось место. Но место ему не светило ни при каких обстоятельствах, да и он сам трезво оценивал ситуацию. Помню, он сказал мне однажды: не хочу лезть в грязь, мараться. Может быть, не по-бойцовски, но зато открыто и честно.

Несколько личных рассуждений о профсоюзах. Уже скоро двадцать лет, как на постсоветском пространстве появились новые государства, и ни в одном из них нет настоящих профсоюзов. Если бы тот институт, что окончил Боря, действительно был Институтом Профсоюзов и готовил кадры, занятые главным — отношениями труда и капитала, для чего и существуют профсоюзы, то его выпускники сегодня были бы на вес золота. Архиважная профессия для каждого государства. Теперь запоздало становится ясно, что и профсоюзы, и их институты оказались фальшью, фикцией. Все надо строить сначала.

***

Я рано стал заниматься боксом, но дальше первого разряда, звания чемпиона города, Оренбургской железной дороги, ЦС «Локомотива» не пошел, меня манили иные просторы. Моим первым тренером в 1956 году был Николай Ли, чуть позже я немного занимался у Александра Перегудова. Актюбинский бокс, на мой взгляд, обязан ему многим. Сама фигура, облик Александра Перегудова притягивали молодежь к боксу. Он был высокий, стройный, я тут же сравнил его с американским актером Грегори Пеком, они были удивительно похожи, помните «Римские каникулы» с Одри Хепберн?

Он, как киногерой, был красавец, необычайно элегантен, красиво одевался — франт, одним словом. Думаю, это он, Перегудов, привил в Актюбинске высокотехничный, элегантный бокс, где ставка делалась на технику, движение, скорость, молниеносные нырки, уклоны. В Казахстане есть несколько ярких, заметных боксерских школ, одна из них — актюбинская. Наших боксеров настоящие любители бокса всегда узнают по стилю. У Перегудова было много выдающихся учеников, назову только одного из своего времени — блистательного Кайрата Нургазина, кстати, первого в Актюбинске мастера спорта по боксу, он получил звание ровно пятьдесят лет назад, в 1958 году. Этим я хочу отметить, что большой бокс в Актюбинске имеет глубокие, давние традиции, потому мы и видим сегодня своих чемпионов мира, Олимпийских игр, таких как Галим Джафаров, Ермахан.

Николая Ли, моего первого тренера, конечно, хорошо знают и помнят в Актюбинске, и я хочу поведать вам краткую историю этого талантливого тренера, нашего земляка, актюбинца. Лет пятнадцать назад я смотрел по телевизору трансляцию из Нью-Йорка боев профессионалов за звание чемпиона мира в весе до семидесяти одного килограмма. В этой категории боксеры блистают техникой, но и нокаутирующий удар имеют. В перерыве между раундами мне показалось знакомым лицо одного из тренеров-секундантов. Он был далеко не молод, совершенно седой, но очень подвижный человек, чья манера нырять в ринг, покидать его отличалась таким изяществом и напомнила мне кого-то до боли знакомого. Я стал внимательно вглядываться в экран, особенно в перерыве, когда показывали красный угол, где давал наставления понравившийся мне тренер. И вдруг, когда он, стоя ко мне спиной, сделал какое-то движение, разговаривая со своим учеником, я почувствовал, что это Николай Иванович Ли, мой первый тренер. Я высказал догадку своей супруге Ирине, на что она скептически улыбнулась и сказала: «Ты, наверное, забыл, что боксом занимался сорок лет назад. Разве может человек так долго пребывать в спорте, даже тренером?» Конечно, в ее словах был резон, но что-то мне подсказывало, что это мой тренер, это его почерк, стиль, присущий только ему всю жизнь, как ДНК. Я стал внимательно вслушиваться в голос диктора, когда он в перерыве между раундами рассказывал о боксерах и тренерах, и вдруг прозвучало: Николай Ли! Я не ошибся! Жив был мой тренер, на коне, и его американский ученик в тот вечер стал чемпионом мира. Долгих лет вам, дорогой Николай Иванович Ли!

***

Лет пятнадцать назад, когда мои книги выходили миллионными тиражами, издавались один за другим собрания сочинений в России и на Украине, на меня, наконец-то, обратили внимание и в Казани. И моя жизнь, мое творчество и биография стали предметом пристального внимания, изучения. Татар удивляло все: мое строительное образование, мое казахское происхождение, моя любовь к родным степям, ответная любовь земляков, мое увлечение театром, музыкой, спортом, огромная коллекция современной живописи и, конечно, мои неслыханные для Татарстана тиражи книг, бесконечное переиздание моих романов. Откуда он взялся такой? Из Мартука? Из Казахстана? Чей он сын? Чей он зять? Кто стоит за ним? У нас в Казани отродясь не было среди писателей таких меломанов, театралов, известных коллекционеров живописи. Но от фактов не отмахнуться — романы изданы по десятку раз каждый пятимиллионным тиражом, собрания сочинений можно найти на сайте www.mraul.ru, а в знаменитой Интернет-библиотеке www.lib.ru можно найти не только все мои произведения, но и то, что о них говорят в мире. И в меня стали вглядываться дотошно, появился и знаток моего творчества — писатель Рафаэль Сибат. Он знает все мои произведения, начиная с самых ранних. Это он сказал обо мне емкую фразу: «Рауль Мир-Хайдаров для нас, татар, неоткрытая Америка. Колумбы нужны, Колумбы». Рафаэля Сибата тоже удивляло: откуда у сельского мальчишки, выросшего в бедном поселке в доме с земляным полом, где не было ни одной книги, где свет появится только в 1959 году, такая тяга к искусству, литературе, музыке, живописи? Его интересовало, что сделало меня писателем, почему мои книги издаются гигантскими тиражами, почему в век равнодушия к книге у меня есть свой читатель? И, представьте себе, он все-таки нашел ответ на все эти «почему». И я согласился с ним — он узрел корень, начало всех начал.

Культуру человека формирует среда, семья — убежден Сибат, но какая была у меня среда в нищем Мартуке или послевоенном провинциальном Актюбинске? Конечно, не она способствовала тому, чтобы вырастить человека рафинированной культуры, не говоря уже том, чтобы он стал писателем, творцом собственного мира, который будет очаровывать миллионы читателей. Рафаэль Сибат уверенно сказал: «Рауля Мир-Хайдарова воспитало, создало кино!» Да, да — кино, которое так рано появилось в моем детстве и с которым я никогда не расставался. Кино дало мне то, что не могли мне дать моя семья,

моя среда, окружающая меня реальность. Как сказал рано ушедший из жизни Рафаэль Сибат: «Рауль был талантливый зритель, он видел в кино то, что нужно было видеть. Он углядел главное, что сформировало в нем не только мировоззрение, но и вкус, культуру. Именно из фильмов он узнал, какая великая музыка наполняет мир человека, какие шедевры — литературные, живописные, архитектурные — созданы человечеством за века. Из кино он узнал о большой любви, узнал, что такое долг, честь, как и предательство, трусость». Как я говорил, кино в то время было высоко гуманистическим. Кино ценило и воспитывало человеческие идеалы, не путало добро и зло, оно формировало человека духовного.

Процитируем еще раз Рафаэля Сибата: «Раулю Мир-Хайдарову выпал единственный шанс — узнать, увидеть мир через кино, сделать кино своим учителем, ориентиром в жизни, и он не ошибся. Кино вывело его в большую жизнь, большую культуру, большую литературу. Он выдернул козырного туза из колоды под названием «жизнь».

***

Мое поколение четко ориентировали не на личный успех, а на то, чтобы быть полезным Отечеству, народу. Оставить след в жизни, важный для общества и потомков, крайне трудно, это удается лишь выдающимся личностям. Это люди, создавшие основополагающие, фундаментальные ценности мира: в религии, философии, морали, эстетике, праве, медицине и, конечно, в технике. Тут вклад личности понятен каждому — это люди, давшие нам свет, радио, телевидение, компьютер, Интернет, пенициллин и т. д. Или такие, как Мухтар Ауэзов, написавший великую книгу «Путь Абая», где миру широко и ярко представлены казахи. В этой книге все о казахах, это энциклопедия их быта, культуры, истории, тут вековые мечты и чаяния народа. Редкий случай, когда художественное произведение стало самой историей народа, столь много вложено в эту эпопею. Если назвать десять главных книг человечества, в список которых в первую очередь входят Коран, Библия и Талмуд, то труд Мухтара-ага, безусловно, в этой десятке. Его книга — достойнейшая визитка казахского народа. Как жаль, что у нас, у татар, нет такой всеобъемлющей книги о нашей нации, как нет ее, к сожалению, у многих и многих народов.

Я привел конкретный пример, что значит «оставить след в жизни». Остальным гражданам, коих миллиарды, включая и меня, очень трудно оставить след во времени, то есть в истории. Даже

при жизни нелегко быть оцененным по достоинству. Но у каждого из нас есть реальный шанс остаться в памяти своих современников, и это зависит не от окружения, а от тебя самого, твоих душевных качеств: как жил, каким человеком был, каким другом. Для меня это, может быть, даже важнее, чем стать известным за пределами села. Спорное утверждение, но никого не буду переубеждать, для меня важна оценка земляков. К чему столь длинная преамбула в конце? К тому, что я уже слышу голоса некоторых недовольных мартучан: «Нашел о ком писать, о братьях Гайфулиных, пьяницах, о каком-то Копченом — Коле Карабаеве, загубившем свою жизнь, о каких-то девицах, упорхнувших из родного гнезда полвека назад и ничего не сделавших для Мартука. Про меня надо было писать, про меня!! Я ведь в начальниках всю жизнь проходил, потому как партбилет имел, а теперь вот и в новую партию записался на всякий случай. Зачем писать о Палие, имевшем диплом во власть, но оставшемся на элеваторе?»

Вот бы мне тогда тот диплом, наверное, подумали с завистью многие даже сегодня. Уверен, история с дипломом Бори Палия будет обсуждаться в Мартуке долго. Но я должен признаться, если бы Боря пошел работать в профсоюзы, он уже не представлял бы для меня интереса и не было бы о нем в этих воспоминаниях таких душевных страниц. Карьеристов пруд пруди кругом. Его моральный выбор — поступок, достойный памяти. Признаюсь дальше, карьерный рост тех, кто рвался к креслу, должности, думая только о собственной шкуре и выгоде, ни для меня, ни для литературы интереса не представляют. К сожалению, карьеризм, в худшем понимании этого слова — распространенное явление. А в памяти народной остаются совсем другие люди. Неожиданный пример, который иллюстрирует мою позицию. Я хочу рассказать о Толике Солохе, брате очаровательной гадалки, предсказавшей всем нам в доме Гены Лымаря дальние дороги, казенные дома и раннюю печаль. Кстати, я запоздало признателен Тамаре за название романа «Ранняя печаль», посвященного Мартуку. Толя погиб на том самом красивом озере у водокачки в Кумсае. Он пытался спасти девушку, которая, срывая лилии, выпала из лодки и запуталась в гибких и крепких стеблях дивных цветов, они утонули оба. Мы всей школой проводили их в последний путь. Толя Солоха ничего не успел сделать в жизни, но своим поступком он остался в памяти людей рыцарем, настоящим мужчиной. Такое не забывается. На таких, как Толя Солоха, и держится мир.

Конечно, я слышу и голоса некоторых завистливых татар, тоже из мелкого-мелкого начальства: «Гимай Гайнутдинов? Какой он герой? Почему о нем? Нашел о ком писать, о малограмотном работяге, всю жизнь пропахавшем на тяжелой, грязной, малооплачиваемой работе». Да-да, все верно, это о Гимае-абы, только надо добавить: о фронтовике-разведчике, орденоносце, достойнейшем человеке, воспитавшем пятерых прекрасных сыновей. Это он нокаутом остановил бахвалившегося амурными подвигами в Мартуке в годы войны с вдовами своего родственника, начальника Шайхи Гайнутдинова, развлекавшегося, оказывается, зачастую на пару с другим татарским уклонистом от армии Мухаметзяном Шакировым. Гимай-абы защищал не только свои честь и достоинство, но и честь всех тех, кто не вернулся с войны. Я рад, что в мартукском музее в одном из моих альбомов есть фотография дорогого Гимая-абы, он часто бывал у нас дома, дружил с моим отчимом-фронтовиком. На фотографии Гимай-абы заснят со своими детьми, супругой, жаль, что старший сын Раззак, которого помнят как хорошего футболиста, лет десять назад умер. На фотографии вы увидите, какое у Гимая-абы благородное лицо, какой открытый, честный взгляд. Таким он и остался у меня в памяти.

***

Я много ссылался в воспоминаниях на память, но это память индивидуальная, личная, а есть и народная память, в ней откладываются события глубинные, важные. Пример? В этом году страна отмечала шестьдесят семь лет начала Великой Отечественной войны, дату, незабываемую и для Мартука, у нас не вернулись девять из десяти призванных на фронт. Теперь уж кто вспомнит — кто воевал, кто уклонялся, не мог этого знать и я в силу возраста. А память народная, оказывается, все помнит, все хранит. Года три назад я делал поминки своим друзьям, знакомым, просто землякам, у кого в Мартуке не осталось родственников, чтобы помянуть их по мусульманскому обычаю. Идею поминок и списки, кого хочу помянуть, я согласовал с нашим муллой Зияутдином-хазратом. Мой поминальный список оказался не мал, но пришлось и добавить кое-кого по ходу молебна. Отмечали в мае, в дни Победы, за столом были фронтовики, и, слово за слово, речь зашла о далеком 1941 годе. Рядом с муллой сидел человек из города, который, оказывается, в день объявления войны косил сено с моим отцом напротив 35-го разъезда в районе Кумсая. Это к ним прискакал гонец из Мартука с печальной вестью и с приказом моему

отцу явиться к вечеру на сборный пункт. Тогда этому парню было четырнадцать лет. Этот человек, Шамиль-абы Шарипов, читавший мои книги, оказывается, давно искал встречи со мной. На следующий день мы с Шамилем-абы поехали на то самое поле и сфотографировались. Ничего на этом пустынном поле не изменилось, если не считать, что текущий рядом Илек иссяк, обмелел, погибает. Но вернемся к поминальному столу. Конечно, после такого неожиданного воспоминания Шамиля-абы все разговоры пошли о войне. Кто с кем, когда уходил на войну. Вот тогда, тоже случайно, выяснилось, кто из татар воевал, а кто с партбилетом в тылу остался. Я несколько раз переспросил у фронтовиков: вы не путаете, может, они позже вас призвались? Те укоризненно посмотрели на меня и почти в один голос ответили: такое никогда не забывается. Война — особое чистилище для мужчин. Поистине — никто не забыт, ничто не забыто!

***

О ком еще хочется написать? Конечно, прежде всего о соседях. О Бектимировых, сейчас один из внуков Рскали-ага и Науши-апа учится в Англии, в Кембридже, туда он попал, выиграв международный конкурс. Уверен, мы будем иметь в лице Нурлана ученого с мировым именем. Очень хочется рассказать о большой семье Исановых, бабушка Сарби-апай больше полувека принимала роды у всех мусульманок, сколько поколений мартучан прошло через ее руки! Адик Исанов, Юра и Булат тоже заслуживают отдельного разговора. Нельзя обойти вниманием соседа Мустафу-ага Сулейменова, бухгалтера райпотребсоюза, его дочерей-красавиц Алиму и Розу. Роза — моя одноклассница, стала врачом, после института осталась в Алма-Ата. Сулейменовых, кажется, тоже не осталось в Мартуке. О Жанбасыновых: Агымбай учился со мною, а его брат Абай — с моей сестрой Санией, общались и наши матери, обе рано овдовели в войну. Совсем не написано о станционных семьях, о начальнике станции Смолове, его сыне Александре. О Павкиных, чья дочь Нина — единственная, кто защищал меня, когда мне угрожало исключение из пионеров. У нее были младшие братья, очень сложные ребята, одного из них рано убили. Конечно, хочется написать о прекрасной семье Верещак. Леша — мой одноклассник, а младший, красавчик Коля, стал зятем Григорьевых. Люду Верещак я случайно встретил в 1968 году в Джамбуле, она работала на вокзале билетершей. Жаль, из большой семьи никого не осталось в Мартуке. Обязательно надо бы написать о Жорике Бапиеве, почти

единственном знаменитом лыжнике из казахских ребят, о его красавице-сестре Батиме, работавшей в бухгалтерии райпотребсоюза. Она отличалась не только красотой, но и характером. Батима в юности нравилась многим, и мне тоже. Батима часто возникает у меня перед глазами: в голубом бархатном жилетике, и две длинные черные косы до пояса. У нее счастливая судьба. Она вышла замуж за хорошего парня, приезжего — Усена Жаманшалова, он у нас возглавлял комсомол, потом райком. Многие мартукские женихи, наверное, до сих пор не могут простить ему, что он украл лучшую невесту Мартука шестидесятых годов. Жорик, которого я знал больше по спорту, к сожалению, умер рано, по той же причине, что и Рашат.

О братьях Музафаровых, старшем — Марсеттине-абы, чьей женой была легендарная билетерша тетя Соня, среднем брате Фархетдине по кличке Птын — знаменитом футболисте, левом хавбеке, и о младшем Мише, единственном из оставшихся в Мартуке Музафаровых. Вот о ком мне хочется написать отдельно и с уважением.

***

Хочется добавить еще несколько важных штрихов к портрету соседа Убына-ага Берденова. Убын-ага, безусловно, обладал высокой поэтической душой, не зря же он назвал своего старшего сына Лермонтом, в честь Михаила Юрьевича. Не менее интересное имя и у его младшего сына, он и по сегодня живет в Мартуке и зовут его почему-то Женя, но его настоящее имя — Тесей, оно из греческой мифологии, очень красивое имя. Многие ли из нас дают такие роскошные имена своим детям? А Убын-ага ввел в обиход своего народа два редких имени, не всякий профессор-филолог догадается внести такую лепту в историю казахских имен.

Кто помнит Убына-ага, тот без раздумий скажет о нем — большой вольнодумец, правдоруб, правдоискатель, за справедливость на плаху пойдет. Я сам не раз слышал, как он выговаривал местному начальству: я хозяин земли, это земля моих предков! За такие слова тогда запросто можно было голову потерять, но, слава Аллаху, сия чаша миновала его. Умер Убын-ага своей смертью, у себя дома, в своей постели, раны добили танкиста раньше времени. Богатырского вида, богатырского здоровья, казалось, был этот могучий человек. Я очень жалею, что мой сосед-фронтовик не дожил до независимости Казахстана, он был одним из тех, кто еще шестьдесят лет назад, вернувшись с войны, искал свободу своему Отечеству.

С Убыном-агаем связана еще одна яркая культурная страница в жизни Мартука, опять же — эксклюзивная. В пятидесятые годы Москву и Алма-Ату связывала только железная дорога. Убын-ага состоял в каком-то родстве со знаменитой Куляш Байсеитовой, уже в ту пору народной артисткой СССР. Она возвращалась из Москвы после гастролей домой в Алма-Ату. Любой поезд в ту пору подолгу стоял в Мартуке, и мы видели многих известных людей своего времени живьем на нашей станции. Я не уверен, что Куляш Байсеитова давала обещание Убыну-агаю остановиться у него в гостях в Мартуке, но, зная характер своего соседа-орденоносца, предполагаю, что он попросту вынес ее из купе на своих могучих руках, пообещав отправить в Алма-Ату на другой день. Но, как бы там ни было, великая певица остановилась в Мартуке. И с вечера до глубокой июльской ночи во дворе Берденовых шел той, кипели три-четыре самовара, один из нашего дома. Искатели правды редко бывают богаты и благополучны, Убын-ага, хотя и имел работу как фронтовик и орденоносец, жил тяжеловато. Я бывал у Лермонта чуть ли ни каждый день, и двери этого дома всегда были распахнуты настежь. Но казахи дружны, поддержат и с тоем, и с похоронами, а тут выпал такой случай встретить высочайшую гостью, да и старался Убын-ага, как обычно, не только для себя. Соседи Бектимировы, Жангалиевы, Сулейменовы, Жумагуловы снесли в дом Берденовых лучшую посуду, самовары, курпачи, бархатные подушки, войлочные кошмы, ковры, а, главное, что было в доме из еды. К приезду Куляш Байсеитовой дом было не узнать. Во дворе под деревьями расстелили кошмы, покрыли их красивыми курпачами, коврами, набросали бархатных подушек, накрыли богатый, по тем временам, дастархан. Во дворе в нескольких казанах, для которых нашелся и баран, на открытом огне что-то жарилось, варилось, тушилось. Думаю, это Рскали-ага Бектимиров вымолил барана в колхозе в счет будущих трудодней. Рскали-ага пользовался большим авторитетом в Мартуке, позже и орден Ленина имел.

А в тихой бархатно-черной ночи под высоким яркозвездным небом Мартука был далеко-далеко слышен голос великой певицы, уважившей и наш поселок, и своего родственника Убына Берденова. Убын-ага, спасибо вам и через пятьдесят семь лет за тот праздник, что вы устроили своим землякам. Пусть земля будет вам пухом, и пусть земляки чаще вспоминают вас. Вы, ваши дела, ваши помыслы — достойны памяти!

И последнее. Те, кто искренне заинтересовался и Убыном-ага, и знаменитой Куляш Байсеитовой, ступавшей по земле Мартука, наверное, спросят, где же в ту пору стоял дом Берденовых? Дом стоял на углу Украинской, где сейчас яблоневый сад Рафхата Шакировича. Дом после Берденовых несколько раз переходил к разным хозяевам. В 1994 году я лично купил эту землю из-за территории у своей родственницы Сафии-апа. Тогда же я приобрел в Москве и привез в Мартук редкие селекционные сорта яблок и других фруктовых деревьев, цветов, кустарников, и в ту же осень заложили сад, и все замечательно прижилось. Сегодня сад в золотой поре, выходит, я невольно заложил сад в память Убына-ага и Куляш Байсеитовой. Если будете проходить мимо этого прекрасного сада, подойдите к забору и вспомните Убына-ага и великую Куляш Байсеитову — они заслуживают этого.

***

Интересный молодой человек появился в Мартуке в 1960 году, он модно одевался, увлекался спортом, имел высокий разряд по боксу. А главное, он оказался общественно активным — занимался в самодеятельности, хорошо пел, выступал на концертах. Я тогда подумал, вот наконец-то появился лидер у казахской молодежи, верил, что вокруг него сплотятся местные ребята. Но… к сожалению, этого не случилось. Наверное, потому, что уж очень влекла этого парня работа во власти. Он быстро вступил в партию, рано оказался в райкоме инструктором, там и проработал всю жизнь. Жаль, какая была поначалу яркая, самобытная, талантливая личность! Я имею в виду Анатолия Табанова. Он сейчас на пенсии, мы иногда видимся с ним, он не потерял прежнего чувства юмора, общителен, как в молодости. Ему есть о чем рассказать мартучанам, человек он наблюдательный, зоркий. Я от души желаю своему ровеснику здоровья, благополучия в старости, он — наш, родной, мартукский.

***

Конечно, подробнее надо бы о Чипигиных. У Толика были братья, старший Володя и младший Федор, хорошо я знал их отца, мать. Толя умер рано, и о том, что он был незаурядной личностью, знают очень мало людей, к сожалению. Он — прирожденный лидер, вожак. Как и Вуккерт — остроумец, за словом в карман не лез. Хочу рассказать случай, чтобы вы оценили его сметку. Толя имел

заметный дефект левого глаза, он им почти не видел, но и с одним глазом он оказывался зорче многих. В одну весну, когда стали призывать в армию его ровесников и кругом на танцах разговоры были о том, кого в какие войска призывают, кто-то задает ему нелепый вопрос: Толя, а тебя в какие войска призвали? Другой бы, наверное, сконфузился, осекся, но Чипигин нашелся сразу, на полном серьезе твердо объявил: «Прокопов сказал, Чипигин, ты остаешься дома, будешь бить немцев здесь, на месте». Конечно, большинство поняло шутку, но нашлось трое-четверо ребят, поверивших Чипигину и даже позавидовавших ему. Я сам тому свидетель.

Родные места, родные люди, одна фамилия цепляет другую и мгновенно обрастает историей. Одна может тянуть на рассказ, другая — на повесть, а большинство — на роман. Столь сложны, противоречивы, но всегда достойны внимания судьбы моих земляков.

Прокопов, якобы разрешивший Толе Чипигину бить немцев на дому — военком нашего поселка. Видный мужчина, полковник, очень строгий. Он, наверное, пустил бы себе пулю в лоб, если бы знал, что его единственный сын станет наркоманом, пьяницей, бомжом. От бомжа Прокопова-младшего лапа беды протянулась и к моим родственникам. Правнучка властной слепой старухи Мамлеевой и внучка моей тети Хатиры-апай стала сожительницей и собутыльницей Прокопова-младшего. Такого альянса, такого вырождения рода можно было ожидать от кого угодно, только не от Прокоповых и Мамлеевых, столь высоконравственных людей я в своем детстве больше не встречал. Поистине, пути Господни и судьбы людские неисповедимы.

***

Хочется закончить воспоминания на высокой ноте, отдать должное всем жителям Мартука. Задача почти неразрешимая, но я постараюсь, у меня припасен на этот случай редкостный пример. В начале девяностых, когда из-за безответственности наших горе-руководителей рухнула великая страна, одна из двух супердержав мира, вмиг оборвались хозяйственные связи на одной шестой части мира — от Калининграда до Владивостока. Кто остался без топлива, кто без света, кто без хлеба, а большинство окраин лишились всего сразу, даже надежды потеряли. Но жить надо при любых условиях, и каждый спасался как мог. Та зима, о которой я хочу напомнить, пришла в Мартук рано, раньше обычного, и таких трескучих морозов не случалось давно. Но дело не в морозах, к ним у нас привыкли. В тот год

Мартук остался без угля, ждали его все лето, но так и не дождались, хотя обнадеживали. В ту зиму сожгли все заборы, спилили во дворах большие деревья, лесополосы вокруг села поредели крепко. В один из декабрьских дней, незадолго до Нового года, на станцию к вечеру завезли несколько вагонов угля для отопления административных зданий. Власти не смогли сразу организовать вывоз угля на объекты, и он остался до утра. Конечно, весть об этом быстро распространилась по поселку. С наступлением темноты многие жители села, у которых было отчаянное положение — нетопленная изба, больные старики, дети — потянулись на станцию. Кто с ведрами, кто с мешком, кто с корзиной, кто с санками, кто со старым корытом на бечевке — за углем, чтобы хоть день-два побыть в тепле, приготовить еду, вскипятить чай. Мне ситуация эта хорошо знакома, так мы жили в войну и после войны, я с десяти лет отирался на станции, добывал уголь возле паровозов или собирал шлак в отвалах. Сегодня у моих земляков не было и таких вариантов, паровозы давно отбегали свое, а горы шлака давно пустили на строительство. О цене угля в нашем детстве я написал в рассказе «Станция моего детства». Там цена кучки угля была явно завышена и стоила нескольких детских жизней.

Понимаю, какой-то нетерпеливый читатель уже кривит губы и говорит: какая невидаль, такие случаи, когда растащили уголь, дрова, зерно, хлеб или иное добро, в дни лихолетья не редкость. Но я прошу нетерпеливых немного подождать. Согласен, такое происходит повсюду и случалось, к сожалению, тысячи и тысячи раз. Но у нас в Мартуке все произошло по-другому, подобного развития событий я не встречал ни в мировой литературе, ни в мировом кинематографе, ни в прессе, даже не слышал ничего похожего. Понятно, мои земляки пошли ночью на станцию по крайней нужде, загнанные обстоятельствами в тупик, в эпоху безвластия, анархии, всеобщего озлобления, при отсутствии перспектив для себя, для семьи даже на ближайшие дни, месяцы. Но, как бы ни был им нужен уголь, тепло, они хотели сохранить свое лицо, им не хотелось выглядеть ворами перед односельчанами, даже если все их преступление составляло несколько ведер угля. У меня не поднимается рука написать хоть одно слово осуждения в адрес тех, кто в ту ночь отправился за чужим углем. Эта ночная сцена на станции моего детства еще крепче сроднила меня с земляками. Пятьдесят шесть лет назад за добытый мною уголь у паровоза меня хотели исключить из школы, из пионеров. Как грустно и печально история повторяется даже

в таких мелочах! Понятно, что никто моих земляков поход на станцию не организовывал, не подбивал, слишком быстро развивались события, все случилось спонтанно, в одном порыве. Приготовьтесь. Вот главное, ради чего стоило писать, что в корне отличает поведение моих земляков от людей, принимавших участие в таких событиях, мы ведь уже говорили, что подобное в мире повторялось тысячи и тысячи раз. Мои земляки и тут нашли выход из патовой ситуации. Все пришли за углем в масках, разумеется, не в театральных, каждый скрыл свое лицо чем смог. И это не все. Никто не обронил ни одного слова, каждый молча набивал свой мешок, корзину, свое ведро и так же молча уходил в темноту. Есть фильм Витауса Жалакавичуса «Никто не хотел умирать», в нашем случае напрашивается «никто не хотел воровать». Никто не хотел быть свидетелем и очевидцем чужой беды. Молодцы мои земляки! Я горд вами, что вы не уронили своего достоинства, своего лица даже в такой драматической ситуации. Вот почему я всегда утверждал и буду утверждать, что мартучане — особые люди, у них иной полет, иная высота.

Москва,
2006–2008

Чти отца своего

Повесть

Часть I

Какая раньше была у них сирень!» — с сожалением думал Исламов, оглядывая темнеющий в сумерках сад. Крепкий высокий забор из отборной половой доски, стянутый по краям кованой металлической полосой, не вызывал желания подойти поближе. Того и гляди раздастся грозный окрик: «Чего надо?» или кинется на забор, гремя цепью, огромная собака.

А в сад заглянуть ему очень хотелось. Когда-то давно хрупкая сероглазая девочка, жившая здесь, сказала с неожиданной для ее возраста тоской: «Как рано светает в мае»… И, виновато улыбаясь за понятное только ей одной, смахнула горячей ладонью набежавшую слезу. Наверное, что-то грустное привиделось ей сквозь время, она отвернула от него взволнованное лицо и вдруг добавила: «Я наломаю тебе букет, и пусть сирень напоминает обо мне. Сегодня воскресенье, мы не увидимся целый долгий-долгий день,— в мае так поздно темнеет…»

Счастливый, он не понял ее неожиданной печали…

Милая, славная Наталья, что напророчила, то напророчила. Сирень напоминает о тебе всегда, да жаль, в тех краях, где его носило, редкая она гостья, да и отцветают кусты — не успеешь оглянуться.

И дом, и забор были отстроены заново, не только просторно и добротно, но и с некоторым шиком — в архитектуре сквозило

что-то нездешнее, местные так не строили. Взять тот же забор… У всех — крашенные масляной краской, а этот после морилки крыт лаком,— красивее, да и подновлять ежегодно гораздо проще.

«Растет ли по-прежнему сирень?..» — мучил его вопрос. Хаотично разросшаяся, заполонявшая при прежних хозяевах даже огороды сирень вряд ли могла понравиться новому, видимо, крепкой хватки хозяину.

Постучать? Спросить? Но о чем? Что Наталья живет в иных краях, он знал. Ее родителям отгрохать такое и не по возрасту, и не по средствам.

Ее отец, единственный по тем давним годам музыкант в поселке, казалось, жил лишь от свадьбы до свадьбы, от праздника до праздника. Уж на гулянках он был орел, молодел на глазах, и плакать, и смеяться заставлял его трофейный аккордеон,— не одно поколение Озерного выросло под его музыку.

Да, поколения… Сменяют они друг друга… Кто сейчас помнит его, Гияза Исламова, в Озерном? Разлетелись по свету друзья-подруги, с неокрепшими крыльями кинулись кто куда. Одной газетной строчки было достаточно тогда, чтобы поманить в иные края,— а они все так спешили повзрослеть, успеть на большие стройки. Родное Озерное даже рядовой работой в те годы могло обеспечить не всех — ни завода тебе, ни фабрики, а главное, казалось им тогда, что там, куда они приедут, совсем иная, ничуть не похожая на их поселковую, жизнь.

А помнит ли он сам друзей, односельчан? Не многих. Как-то выпали, выветрились из памяти их имена и лица, да и развела, разбросала их жизнь далеко.

Раньше, когда Гияз был много моложе, приезжая домой, ходил на речку, на танцы. В маленьких поселках на танцы в парк, особенно летом, ходят даже семейные, и к возрасту столь критически, как в городе, не относятся. А теперь, когда тебе уже за сорок,— и тебя признать сложно, и ты никого не узнаешь,— сколько ни ходи по центральной улице Озерного, мало кто тебе обрадуется, как прежде. Да что там обрадуется, в иной раз за день «здравствуй» не услышишь.

Разве вдруг какая-нибудь грузная женщина с тяжелой авоськой окинет тебя долгим и внимательным взглядом, и ты потом весь вечер мучаешься: «Кто такая?» А если вдруг вспомнишь, то невольно ахнешь: что стало с ней, былой озорницей и певуньей?!

И обязательно глянешь в старое домашнее зеркало, которое помнит тебя молодым, и сам себя постараешься приободрить успокаивающе: «Еще не вечер».

Вроде особых причин для тревоги и не было, но вот тоска гложет его уже неделю, и мать замечала это, когда он возвращался домой. Наверное, и сегодня приметит — материнское сердце не обманешь. Но пока не спрашивала ни о чем, наверное, видела — светла его печаль, понимала, что не мешает иногда и погрустить сыну; там, в огромном городе, может, и дух перевести некогда, не то чтобы дни юности своей в памяти перебирать дотошно.

Мать, словно специально дожидалась, встретила его у калитки.

— Мама, помнишь, какая была сирень у Козыревских? — спросил Гияз, мыслями находясь в том далеком майском дне.

— Как не помнить, сынок, помню. Ведь и у нас во дворе растет сирень. Неужели не заметил? Наталья после смерти родителей приехала продать старый дом, тогда она и принесла нам несколько саженцев, сказала, если примутся, будет память о ней.

— Все принялись? — спросил нетерпеливо Исламов.

— На удивление. Теперь уже другие берут у меня саженцы, и когда спрашивают, как называется сорт, я говорю: «Наталья». Сперва вроде бы в шутку сказала, а теперь рада, что так получилось. Да кроме «Натальи» другая сирень у нас Озерном и не приживается.

— Значит, Наталья память о себе оставила,— не то сказал, не то спросил Гияз.

Но мать ничего не ответила, только глянула в темноту, в сторону отцветших кустов сирени.

После долгого, до звезд, ужина во дворе Гияз ушел к себе в комнату.

Дом, как и у многих в Озерном, у Исламовых был отстроен заново. Последние лет двадцать в селе все годы выдались урожайными, чему немало завидовали соседние районы. А его отец, Нури-абы, слыл первым комбайнером не только в районе, но и в области. В самый урожайный год его портрет в жатву напечатали в центральной газете в рубрике «Передовики России». А осенью на ВДНХ премировали отца именной «Волгой». Но машина для их семьи была не в диковинку. С тех пор, как Гияз помнил себя, у них во дворе всегда стояла какая-нибудь полуразвалившаяся «эмка» или «победа», а то и трофейный «мерседес». Отец в этих краях был и механиком известным, к нему даже из города приезжали за помощью и советом. На таких,

как отец, можно сказать, держалась вся техника Озерного. Может, оттого здесь вовремя пахали и вовремя убирали, и слыло их Озерное в округе удачливым на урожай.

Поработал с отцом на комбайне и Гияз, да не одно лето,— считай, с пятого класса стоял уже за штурвалом, ел свой заработанный хлеб. В студенческие годы, хоть и учился далеко, в Омске, когда на каникулах многие уезжали на хлебоуборку в Казахстан, на целину, Исламов отправлялся домой, потому что местный райком комсомола присылал в институт приглашение Исламову-младшему.

Отец уговаривал его: возвращайся после окончания института домой или куда поближе, для строителя в Оренбурге работа найдется. Но Гияз под различными предлогами отказывался, потому что в годы его молодости рвались не под отцовское крыло, а, наоборот, уезжали подальше: и свет повидать, и себя показать.

Отца он уважал. Да и как не уважать: войну прошел «от и до» и на Рейхстаге за всех Исламовых четырежды расписался, потому что полегли на фронте трое младших братьев Нури-абы. Да и в мирное время не однажды отмечали орденами труд Исламова-старшего. И хоть был он беспартийным и не мог похвалиться большой грамотой, однако много лет подряд избирался депутатом областного совета, чем гордился, пожалуй, больше всего.

В доме Исламовых и к труду, и к орденам привыкли, и потому, наверное, давно, еще школьником, Гияз определил для себя по-мальчишески наивно некую точку отсчета своей взрослой жизни: заработать первый трудовой орден в тридцать лет.

Надо же, напридумывал — орден в тридцать лет! — усмехнулся Гияз, вспомнив о былом.— Такое удалось из моих однокурсников только Силкину.

Вошла мать, присела рядом на диван.

— Я не помешала тебе, сынок?

— Нет, конечно. Посиди со мной, мама.

— Когда ты приезжал на похороны отца, мне и поговорить с тобой толком не удалось. Я и себя не помню в те дни, не знаю, как и пережила… Но сердце и за тебя болело, какой-то ты был неухоженный, озабоченный. Неважные, видно, были у тебя дела в Ташкенте в первые годы. Ты ведь и письма писать перестал, как бывало прежде, все звонками да поздравительными телеграммами отделываешься.

Слава богу, теперь, кажется, все иначе. Сестры вон говорят, особенно младшая,— она ведь у нас первая модница в Озерном,— мол,

наконец-то столица обтесала нашего братца: такой модник стал, костюмы, рубашки с иголочки…

Фарида с Халияром, когда ты ушел, весь гардероб твой перемерили. Охали да ахали: «Фирма! Настоящая фирма!» Спрашиваю, что за штука такая — фирма, а они смеются, говорят: тебе, мама, не понять, старая уже. Вот Гияз наш, мол, соображает по этой части, все по высшему разряду. Но мне-то все равно, есть эта фирма у тебя или нет, лишь бы здоров да весел был. Но приятно, что дети о тебе так хорошо говорят, ведь они вообще мало кого признают, какая-то иная цена людям пошла…

Вот об этом хотела сказать тебе, сынок. Спасибо, обрадовал ты мое сердце своим приездом. Из тебя, как из отца твоего, не больно что вытянешь, не слишком вы разговорчивые. Ну, да ладно, лезть в душу не стану. Захочешь — сам расскажешь, а то я совсем ничего не знаю о твоей жизни в Ташкенте — И, поднявшись с дивана, показала на перевязанный шпагатом сверток: — Когда переезжали в этот дом, собрала твои старые бумаги, фотографии, письма. Тогда, на похоронах, было не до этого, а сейчас возьми, посмотри, может, что и сгодится…

Когда мать ушла, Гияз оглядел просторную комнату. Дом строился продуманно, с размахом: и вода в доме, хоть холодная, хоть горячая, и собственное паровое отопление на солярке. Отопление было хитрое, не совсем понятное даже Гиязу, инженеру. Отец на такие штучки-дрючки, как он любил выражаться, был мастак. Дом был построен в двух уровнях, и чтобы поднять здание в полтора этажа, Нури-абы пришлось завезти немало земли под основание, чем подивил он не только соседей, но и все Озерное. Но Исламов-старший только усмехался в усы и говорил: потерпите, увидите, дом будет что надо. Прошагав пешком пол-Европы, как крестьянин и как хозяин не мог он не заметить много разумного и полезного в укладе чужой жизни. И как только появилась возможность, первый достаток, начал он строиться, ибо был убежден: хорошо и основательно в спешке не делается ни одно дело. Из отстроившихся по-соседству, пожалуй, лишь у Исламовых двор был просторным, ухоженным, не загроможденным постройками — баней, сараями, сараюшками, столь привычными для сельского уклада. Все подсобные помещения вместе с бетонированным подвалом, куда Нури-абы по старинке завозил по весне лед с реки,— целую машину хрустальных, просвечивавших насквозь, аккуратно

напиленных кубов,— все находилось в цокольном этаже здания. В нынешний приезд Гияз заново знакомился с домом, потому что два года назад пробыл здесь всего три дня. Да и до того ли тогда было? Все мысли были — об отце. Отца он любил и, только потеряв его, с сожалением понял, как мало общался с ним в своей взрослой жизни. Да что там общался — все отдалялся и отдалялся. И сейчас, восхищаясь домом от души, Гияз вовсе не приценивался к нему в качестве наследника, как показалось одной из сестер. Нет, никаких мыслей о наследстве у него не было, и сердцем и умом понимал — для отчего дома он отрезанный ломоть, и ни на что здесь не имеет права. Разве только иногда приехать в этот дом, пожить отпускной месяц в комнате с окнами в сад, которая была задумана и построена отцом как комната для сына.

Да и где было понять сестре, что, восхищаясь домом и не скрывая этого, он восхищается отцом, его сметкой, жизнестойкостью, золотыми руками и словно запоздало общается с ним. Сам находясь уже в том возрасте, когда думают не только о себе, но и о своем поколении, о том, что оно оставит после себя, Гияз сравнивал себя с отцом, с его поколением. И каждый раз убежденно говорил: да, крепкое поколение. И нам, живущим рядом с этими уходящими на скромные пенсии людьми, надо бы почаще задумываться над этим и воздавать им должное, пока не поздно.

Говорят, мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Как это много и как мало: поколение отца не только прошло войну и подняло страну из разрухи. Оно воспитало и поставило на ноги детей, а годы были, не приведи Господь…

Нури-абы вырастил не только сына, но и трех дочерей, и всех поставил на ноги. Гиязу дал высшее образование, дочерей замуж выдал. Не удалось только Нури-абы на свадьбе сына погулять, о чем он, не скрывая, сожалел.

И дом ставил отец не на зависть людям, и не потому, что хотел выделиться, а потому, что был убежден: вернется сын — и заживут они все вместе. Первым в любом деле трудно,— и сколько же насмешек пришлось выслушать отцу, пока строил дом. А теперь вот, рассказывала мать, когда начинает кто-то строиться, идет к ним поглядеть, а иные и планчик набросают… Да и в колхозе после отца уже не один механик с дипломом сменился, а люди при случае все вспоминают: «А вот при Исламове…» И, конечно, поминают добром… Вот хотя бы и дерево…

Сад у Исламовых был как сад, не хуже, чем у других. А в степном ветреном краю вырастить сад дело не простое. За всю жизнь Нури-абы три раза ездил на курорт, и всегда в Цхалтубо. Правда, и путевок Исламову-старшему на выбор никто не предлагал, да и не был Нури-абы привередой, вот и побывал в Цхалтубо трижды с интервалом в пять лет. И, возвращаясь из дальних краев, обязательно привозил диковинные саженцы. Жаль, что мало прижилось в Озерном, краю суровом в сравнении с экзотическими субтропиками. Но голубая ель, за которой ухаживали всем домом, как за маленьким ребенком, прижилась.

И по сей день росла во дворе Исламовых эта красавица-ель, которую наряжали на Новый год на радость всей соседской детворе.

Сколько бы ни сопоставлял Гияз свою жизнь с отцовской, сравнение было не в его пользу. А ведь не за горами время, когда придется подводить итоги, и не поможет уже спасительная формула — все еще впереди, успеется. Часто стала тревожить другая мысль: не опоздал ли?

В тесной Европе заросли, потерялись во времени и, наверное, давно распаханы могилы братьев из рода Исламовых, и нет уже отца, остался сейчас из Исламовых ты один! Где воздвигнутый тобой дом? Тобой посаженная ель? Будь отец жив, наверное, не вытерпел бы, спросил: как ты живешь, сынок? Почему нет в тебе гордости за свой род? Что оставишь после себя? Конечно, мы не графы, не князья и не дворяне, чьи родословные раньше изучались на протяжении веков, но ведь род наш дал тебе жизнь, нарек именем и наделил памятью. И жизнь человеку дана для поддержания жизни на земле, для продолжения рода своего. Да, отец бы спросил… А что ответить?..

Такие ранившие душу мысли одолевали в ту ночь Исламова, и, засыпая, он думал: «Успел отец и след на земле, и память в сердцах людских оставить. А я?»

Проснулся он поздно с непонятным беспокойством. Подошел к распахнутому в сад окну. Приятная утренняя свежесть улетучилась, хотя солнце поднялось не так уж высоко: видимо, день предстоял жаркий. Дома, в Ташкенте, он по утрам пробегал несколько кругов вместо зарядки. Но здесь, хоть было время и желание, как-то не решался. Взрослый человек, бегающий с утра в спортивном костюме по улице, мог вызвать в Озерном только одну мысль: «С жиру да от безделья человек бесится». Это и останавливало.

В летней дощатой душевой, где с вечера предусмотрительно был залит полный бак воды, Гияз принял душ, и утреннее беспокойство, как легкое июльское облачко, пропало.

Во дворе, дожидаясь его, стоял самовар,— видимо, уже давно, потому что труба лежала рядом, но самовар, заправленный углем, потихоньку кипел. Гияз вспомнил, как любил в детстве сваренные в этом старом медном самоваре яйца всмятку, казалось, у них был какой-то особенный вкус.

— Доброе утро, сынок. У меня завтрак готов. Только давай передвинем стол под яблоню, больно уж солнце сегодня припекает.

За завтраком он спросил у матери, кем работает Халияр. Мать, словно отмежевываясь от чего-то недостойного, махнула в сердцах рукой:

— А, жакяй!

Гиязу стало понятно, что подробнее расспрашивать не имеет смысла. Хотя он совершенно не понял, чем занимается муж младшей сестры. Что это такое — жакяй?

По-русски сказала мать, по-татарски или на странной смеси этих двух языков, имевших равное право в доме, потому что два других зятя были русские? Он начал лихорадочно припоминать, что бы это могло означать на родном языке, который успел за эти годы изрядно подзабыть.

Припомнилось похожее по звучанию слово «кажя», означавшее «козел», но он не мог с полной уверенностью утверждать, что именно это имела в виду мать.

«А, козел!..» Ну, что ж, в духе времени и весьма походило на Халияра. Но в устах матери? В татарском языке нет жаргона, тем более в языке народа простого, сельского. А может, это дань моде, с поправкой на время? Гияз искоса посмотрел на мать и вдруг от души, как не смеялся уже много лет, рассмеялся. «А, козел!..»

Чуть позже, когда он доставал газеты из почтового ящика, пришла сестренка, и он тут же, у калитки, спросил ее:

— Фарида, кем работает твой Халияр? — Его так разбирало любопытство, что он уже собирался идти разыскивать сестренку.

— Он жокей! — ответила, гордясь, маленькая женщина, похожая на старшеклассницу,— только бантиков не хватало.

— У вас что, ипподром открыли? — удивился Гияз.

— Фу!..— как-то брезгливо скорчила свое красивое личико сестренка. Наверное, представила своего холеного Халияра

на взмыленной лошади.— Да нет же. При чем здесь ипподром? Он диск-жокей. Понимаешь — диск-жокей! — И Фарида, просияв, лихо и вместе с тем очень изящно вскинула вверх руку и сделала шаг вперед, словно вступила в яркий свет юпитеров. Наверное, так начинал или заканчивал программу ее «жакяй».

— О боже, дискотеки вам только в Озерном не хватало! И сюда это сумасшествие добралось…— в сердцах сказал Гияз.

— Ишь, жалельщик какой выискался! — накинулась на него сестра, вмиг став похожей на красивую хищную птицу,— наверное, из нее могла бы выйти неплохая актриса.— Живешь у себя в Ташкенте: рестораны, бары, театры, а нам, значит, ничего!

Гияза снова начал разбирать смех, как за завтраком, и, чтобы не огорчать сестренку,— слишком уж серьезно она все воспринимала,— он шутливо ответил:

— Ты права, прямо-таки изнемогаю от ночных клубов, не знаю, как без них жить…— И шагнул за калитку, хотя вроде никуда уходить не собирался.

Он шел вдоль разогретых безлюдных палисадников и беззвучно смеялся: «А, козел, а, жакяй…»

Ушел он, не замечая времени, довольно далеко: впереди, за окраиной, густела лесополоса, убегавшая к железной дороге. Эта лесополоса, высаженная на его памяти, когда он только пошел в школу, теперь превратилась в настоящий лес. Конечно, не такой буйный и неоглядный, как в глубине России или Белоруссии, но для степного края достаточно большой. Живое рождает живое. В пору его юности, когда деревья только-только поднялись, никаких там зверушек, птиц, кроме воронья и воробьев да, пожалуй, кукушки, не было. Помнится, кто-то говорил, кажется, уже в десятом классе, что видел там ежа, но даже этому тогда никто не поверил.

А сейчас! Говорят, и зайцы, и лисицы, и волки, барсуки, бурундуки, даже кабаны и сохатые появились, а ведь никто лес ими не заселял. Появились и все — загадка, чудо природы.

Лес, кажется, тоже изнывал от жары. Сухо шелестела листва деревьев, вставших стеной у дороги; зеленая эта стена сдерживала знойный суховей из неоглядных казахских степей. Не слышно было даже птичьего гомона — тишина, ожидание вечера, прохлады, жизни. Гияз углубился в лес, нашел чистую поляну, приглянувшуюся ему зеленой, нетоптаной травкой, и, сбросив спортивную куртку, присел.

Далеко впереди, разъезда за два, послышался шум поезда. Нет, это был не грохот приближавшегося состава, а удивительно чистый, ритмичный звук, растворенный в необъятном просторе и тишине, какую можно услышать лишь там, где люди живут не скученно, где впереди у летящего состава десятки и десятки километров свободного пространства, не загроможденного громадами строений вдоль дороги.

И звук этот, тревоживший сердце каждого жителя маленьких селений,— ибо с дорогой связаны явные и тайные мечты и надежды,— рождал в душе ожидание смутных, неясных, но радостных перемен.

Звенящая тишина леса, ровный и чистый звук приближавшихся и удалявшихся поездов, словно отфильтрованный в огромном многоствольном органе леса, настраивал Гияза на воспоминания: о бесшабашном детстве, о неуверенном и бедном студенчестве, когда таких, как он, ребят, выходцев из маленьких местечек, подобных Озерному, долго, почти до третьего курса, называли «колхозниками». Иные вкладывали в это слово понятное только им пренебрежение, имевшее различные оттенки, вплоть до презрения, другие бросали просто так, по привычке, следуя плохой традиции, но и в том, и в другом случае было обидно. Помнится, после первого курса он как-то рассказал об этом отцу, но рассказал очень путано, краснея и сбиваясь. Однако Нури-абы понял.

Он внимательно посмотрел на сына и, поглаживая усы, что делал обычно, когда был сердит и недоволен, спокойно ответил:

— Тут уж, сынок, никто вам не поможет. Джигиту, настоящему джигиту, оскорбительного никто и никогда не скажет. Просто вы еще никто…

И, помолчав, заметил: ни место рождения — город ли, деревня ли,— ни национальная принадлежность не дают никакого особого мандата в жизни. Только делом утверждается человек на земле, а отсюда и отношение к нему.

Так же убежденно говорил Нури-абы о силе знаний, образования, но этого Гияз, к сожалению, совсем не запомнил. А вот сейчас, с высоты своего возраста, захотел вдруг понять — почему отец так страстно мечтал, чтобы сын выучился, стал инженером. Ведь отцу, хоть он и работал не покладая рук, тащить одному большую семью,— а тогда с ними жили еще бабушка и дедушка,— было непросто. Ох, как приходилось крутиться Нури-абы, тут не только автомобили ремонтировать научишься, любое ремесло одолеешь. Отправляя старшего сына, готового помощника, на целых пять лет

в далекий Омск и снаряжая его не хуже других, он брал на свои плечи новый груз забот. И думал ли он, что, посылая сына учиться, навсегда теряет его? А может, ему этот «поход» за знаниями представлялся чем-то вроде паломничества в Мекку, откуда возвращаются «с особой печатью на челе», и печать эта «действительна» до конца дней твоих? Или, как многие из его поколения, не имевшие дипломов и систематического образования, был убежден, что только просвещение избавит народ от продолжающих жить пороков: пьянства, невежества, корысти, лени, карьеризма?

А, может быть, та ответственность перед страной и народом, с которой он связывал образование, привлекала отца?

Мысли Гияза незаметно потекли по иному руслу. Ответственность? Чья? Тех, кто учится? Тех, кто учит? Тех, кто учитывает и распределяет специалистов ради нашего блага? Раздробилась мысль, и мелкие осколки ее были гораздо острее, больнее — это уже волновало самого Гияза.

Вот он — диск-жокей Халияр, дипломированный агроном, и года не проработавший по специальности.

За ним шла сестренка Фарида, юрист с высшим образованием, тоже и дня не служившая Фемиде. Кресло секретарши в райисполкоме показалось ей более заманчивым и удобным. Список этот, даже из ближайшей родни, не говоря о знакомых, товарищах, соседях, мог он продолжать до бесконечности. Дома, в Ташкенте, у него была знакомая, работавшая секретаршей у какого-то большого начальника в Госплане республики, и несколько раз так получалось, что он обедал с ней и ее подружками в прекрасной столовой Госплана. Обеды эти запомнились Гиязу не только из-за белизны скатертей и безупречно подобранных букетов живых цветов на столах, и даже не выбором и вкусом блюд,— запомнились исключительно из-за общения. Он, единственный мужчина, обедал в компании элегантных молодых женщин и девушек, подружек своей знакомой. Они мило шутили, говорили об умных и серьезных вещах, и суждения эти были тонки, не лишены юмора и изящества. Казалось, брось в костер беседы любую тему, огонь не погаснет, даже не дрогнет пламя, все было доступно пониманию и суждению очаровательных собеседниц.

Как-то он высказал знакомой восхищение ее подружками: мол, простые секретарши, а такой интеллект, начитанность, широта кругозора, диапазон интересов и так далее и тому подобное. На что его знакомая ответила не без гордости и кокетства:

— Обижаешь, Исламов. Все мои подружки с высшим образованием, кое у кого и по два диплома, а за некоторыми даже аспирантура числится и знание иностранных языков, между прочим.

А Исламов то ли был не в духе, то ли нескрываемое самодовольство знакомой показалось обидным, вдруг завелся:

— А мне кажется, непозволительно и расточительно иметь секретаршу с высшим образованием, тем более с двумя дипломами. Нисколько не умаляя и не принижая вашего труда, считаю, что для секретарши достаточно годичных курсов. А держать специалистов на должностях секретарш, машинисток в такой организации как Госплан, где должны знать, для чего готовятся кадры, я считаю не только безнравственным, но и преступным.

На этом памятные для Исламова обеды кончились. И только какое-то время спустя он понял, почему девушки с дипломами охотно идут секретаршами к руководителям «с возможностями». Да, зарплата там не бог весть какая, но, кстати, и не намного меньше, чем у начинающего педагога или инженера, а возможностей у секретарш куда больше. Ну, хотя бы прекрасный кабинет, столовая по первому разряду, шанс получить квартиру, контакты с торговлей, да мало ли что еще…

Ох, как волновал этот вопрос Гияза, он даже встал и пробежался по поляне, как по тесной комнате. Словно передразнивая его, то же самое проделала рыжая белочка, давно наблюдавшая за Гиязом, но Исламов, занятый своими мыслями, не замечал ее.

Собираясь в отпуск, Гияз хотел одного — отключиться. И уж, во всяком случае, не думал, что этот вопрос будет его здесь занимать. И надо же… Теперь он касался не только его, но и ближайших родственников, сестры, зятя. Нет, он не собирался, как старший брат, читать ни Халияру, ни Фариде нравоучения и приводить примеры благородного служения делу, потому что не поймут они его. Он уже успел заметить, что они говорят на разных языках. Гияз давно уже сделал вывод: образование сейчас многие стремятся получить вовсе не для того, чтобы выбрать специальность и определить свою жизненную цель, а просто оно стало престижным, тешащим самолюбие и тщеславие родителей, да и самих детей. Вот почему Халияр и Фарида скорее всего удивились бы, если б кто-то пожалел, посочувствовал, что не заняты они делом, которому отдано пять лет учебы в институте. Главное, на их взгляд,— диплом — у них есть. Учиться где угодно, на кого угодно, лишь бы получить диплом. Понятно, когда рвутся в медицинский, в консерваторию, в журналистику,

размышлял Гияз, тут хоть какая-то внешняя привлекательность есть, призванием, хоть и ложным, объяснить можно. Но когда шестьдесят процентов на факультете «Водопровод и канализация» составляют девушки, внешне мало уступающие молодой Софи Лорен, трудно поверить, что мечтой их была, а делом жизни станет канализация.

Иногда Гияз завидовал отцу: тот был депутатом, мог говорить с трибуны и пользовался этим при случае. Как хотелось ему иногда, после горьких размышлений, открыто, громко поставить проблемы, провозгласить их с трибуны. О чем бы он сказал тогда? О чем спросил бы? Наверное, спросил бы у того же Госплана, почему иные таксопарки на треть состоят из работников с высшим образованием? А торговля, сфера обслуживания, общепит — каков в ней процент таких людей?

Кто-то ведь должен знать, куда девается ежегодно громадная армия высокообразованных людей, выпускников вузов, не работающих по специальности. А ведь девается, если их набирают в вузы вновь и вновь. Наверное, спросил бы, так ли нам нужны ежегодно тысячи филологов, журналистов, музыкантов, искусствоведов, театроведов. Задал бы несколько «почему» Комитету по профессионально-техническому образованию молодежи, который, делая в общем-то большое дело — приглашая ребят в ГПТУ,— перво-наперво объявляет: от нас прямая дорога в институт. Хотя задачей ГПТУ, конечно, является не подготовка абитуриентов в институт. Не потому ли и смекнули вчерашние горе-троечники, что легче на годочек после школы «завернуть» в ГПТУ, получить у добрых дядей надлежащие аттестаты, а потом уже от имени рабочего класса можно смело штурмовать двери столь желанных вузов, где еще пять лет от сессии к сессии они, бия себя в грудь и называясь рабочими от станка или от мартена, будут получать бесконечные разрешения на переэкзаменовки — и так до самого выпуска, до получения диплома.

Наверное, он напомнил бы и о том, что если образование у нас бесплатное, то это не совсем личное дело обучающегося, деньги-то идут из общей кассы государства, и обществу не все равно, во что они «вкладываются», на прихоть или на цель расходуются. Да разве только в них, деньгах, дело? Настало время подсчитать и другое: на пять лет изымается из трудовой сферы взрослый человек, пять лет общество кормит его в надежде, что он сторицей вернет затраченное. А если он сразу после института в диск-жокеи, секретарши, официантки, таксисты? Никто не спорит, прекрасные

и нужные профессии, но при чем здесь высшее образование за счет народа и пять лет сидения на шее общества? И это тогда, когда каждый забор пестрит листками, взывающими: «требуются», «требуются», «требуются»…

Наверное, он бы не только задавал вопросы с этой трибуны, но и рассказал бы, как теряется, принижается в последние годы инженерный труд. Личного опыта, собственной судьбы для примера было бы достаточно…

Нет, не принес лес Исламову покоя: не удалось отдохнуть, перевести дух. И, еще более взволнованный, вспугнув на прощание белку, зашагал он по шпалам обратно к Озерному.

Приближаясь к поселку, Гияз вспомнил, что нечто подобное волновало в последние годы и отца, наставника многих комбайнеров района.

Однажды в составе делегации передовиков сельского хозяйства Нури-абы был за границей. Показывали им там разные фермы, молочные комплексы, комбикормовые заводы и птицефермы. Непонятно зачем, но повезли и на стекольный завод. То ли завод оказался под рукой, то ли слишком известные изделия выпускало это ничем не примечательное на вид предприятие.

Водили по цехам, чистым и светлым, полностью автоматизированным, водили по цехам, где кое-где мелькали люди, и в тех, и в других — ряды и ряды поточных линий, по которым, чуть позвякивая, уходила на склады готовая продукция. Наконец, привели на территорию, где трудились стеклодувы,— работа, в которой мало что могут изменить время и автоматика; здесь и рождалась продукция, прославившая завод на весь мир. Не было тут внешнего блеска, стерильной чистоты, да и не нужна была она здесь.

Нури-абы, конечно, слышал о работе волшебников-стеклодувов, но видеть своими глазами… В мгновение ока выдуваются шары, вазы причудливой формы — успевай только смотреть за мастерами, жидкое текучее стекло вмиг застывает радугой — не зевай! Факиры, тысяча и одна ночь!

При каждом мастере работали ученик и подмастерье, да без них и немыслима работа любого виртуоза. Подмастерьям этим, как объяснили делегатам, по четырнадцать-пятнадцать лет. Цех горячий, копоть, сажа, мальчишки в прожженных кое-где рубашках выглядели замурзанными. В делегации было несколько солидных женщин, мало похожих на передовиков сельского хозяйства и неизвестно

как попавших в группу к колхозникам. Они-то и испортили Нури-абы настроение. Ни само стекло, ни виртуозное владение мастерством стеклодувов их нисколько не волновали, они были озабочены одним — как бы не испачкать здесь свои светлые пальто. А когда осмотр закончился, они, конечно же, не могли не высказать своего мнения.

— Бедные дети, бледные дети. Посмотрите, какие они грязные, уставшие…— причитала одна.

— А стекло-то горячее, обжечься можно,— вторила ей другая.

— Слава богу, у нас такого нет и в помине. Труд охраняется законом, раньше восемнадцати в такие цеха и на порог не пустят,— гордо заключила первая.

— А я не вижу здесь ничего страшного,— перебил Нури-абы.— Когда же учиться, как не в такие годы? В четырнадцать не грех и лишний раз нагнуться, и услужить старшему, и переспросить не зазорно, гордость еще позволяет. Такой школе цены нет, лет за пять-шесть, глядишь, и готовый мастер выйдет, который все знает, все умеет: и как уголек разжечь, и как готовую продукцию упаковать,— все им приходится одолеть, и не на словах, а на деле. Вы посмотрите, какие молодые у них мастера, большинству до тридцати далеко. А работа каждого — загляденье, хотя без ОТК работают.

К труду чем раньше приучать, тем лучше. А мы своих до восемнадцати опекаем разными указами да инструкциями, а они уже в учениках ходить стесняются — через год-другой у него своя семья, глядишь, будет. Вот и отделываемся краткосрочными курсами, а потом до хрипоты спорим, почему продукция у нас некачественная.

— Вы неправы, неправы! — накинулись на него женщины.— Вы в корне не понимаете нашей политики о всеобщем среднем образовании. Разве вы, человек с депутатским значком, не знаете: дети у нас единственный привилегированный класс!

— Слова это все, слова,— ответил раздраженно Нури-абы.— К какому же классу, по-вашему, нужно отнести старость, если она, увы, и в детстве не успела попользоваться такой привилегией? А детство — пора долгая, и, действительно, оно должно быть радостным, только наша задача не затягивать его бесконечно и уметь видеть разницу между пионером и четырнадцатилетним комсомольцем.

Спор этот продолжался у них еще в гостинице и испортил Нури-абы впечатление от интересной и полезной поездки.

На другой день, в субботу, топили баню. Летом делают это не часто: река под боком, казенная баня на соседней улице, во дворе теперь

у каждого летний душ, да и хлопотное это дело. Баня была затеяна матерью в честь приезда Гияза, он-то в новой бане не парился ни разу, да и всех детей ей захотелось увидеть за столом. Две другие дочери — Гульфия и Альфия жили отдельно, в разных концах поселка. Еще отцом была заведена традиция — в банный день собираться всем за родительским столом. В этот день загодя мать ставила тесто на мясной пирог с рисом — балиш, Нури-абы доставал из подвала, со льда, холодный кумыс.

Топить баню пришел старший зять, Алексей, муж Гульфии, рослый молодой парень, работавший еще вместе с отцом в колхозной мастерской. Халияр был дома, но, как понял Гияз, толку от него было мало,— мать посылала его в магазин за покупками, заставляла убирать во дворе.

Алексей, человек немногословный, видимо, баню с Нури-абы готовил не раз, и сейчас делал все не торопясь, основательно, в известной только ему последовательности. Гияз с удовольствием помогал ему, представляя отца за такими немудреными житейскими хлопотами. Баня, как пояснил Гиязу Алексей, сочетала в себе, казалось, не сочетаемые системы: и русскую, и модную в последние годы финскую, даже какая-то глубокая и толстостенная бочка стояла в парилке, представляя, как с усмешкой пояснил Алексей, японскую систему…

Он объяснил Гиязу и ритуал купания, заведенный тестем. Первыми в готовую баню идут женщины, потом мужчины и парятся до тех пор, пока не скажут им, что стол накрыт. Пельмени и пироги Нури-абы любил, что называется, с пылу, с жару. А затем самовар — до звезд, до полуночи.

Когда сестры, шутя и озоруя, прихватив с собой детей, пошли в баню, мать почему-то отказалась, сказав, что пойдет перед сном одна,— баня Исламовых долго держала тепло. Зять Федор мечтательно сказал: «Эх, пивка бы…» И все почему-то разом глянули на Халияра. Достать — это по части Халияра,— тут же определил Гияз.

— Далековато до пивзавода, на велосипеде не меньше часа потеряю, а мне тоже хочется попариться,— сказал Халияр, поглядывая на тещу.

Мать ничего не ответила, но ушла в дом и вернулась с ключами от гаража и машины. Халияр прямо-таки кинулся к ней. Из подземного гаража медленно выехала на дорожку белая «Волга», та самая, которую отцу вручили на ВДНХ. Гияз видел ее впервые.

— Красавица! — вдруг вырвалось у Федора. Он знал, что Гияз машины раньше не видел и, живя уже неделю, ни разу не спрашивал о ней, на речку ездил на велосипеде, по Озерному гулял пешком.

— Батька, бывало, усадит нас, зятьев, на эту машину, и с ветерком куда-нибудь на речку, в лес. Теперь ты, Гияз, старшой, прокати-ка нас с шиком по Озерному, давно машина не показывалась на улицах, кое-кто уже поговаривает, мол, продали и пропили зятья исламовскую машину. Да и нам в машине, может, вспомнится доброе время, когда был жив батька Нури,— сказал вдруг Алексей, приглашая Федора и Гияза к машине.

Халияр нехотя вылез из кабины и передал ключи.

Федор с Алексеем сели вместе на заднее сидение, Халияр обошел машину и плюхнулся рядом с Гиязом, буркнув:

— Я покажу, как ехать.

— Нашел кому показывать,— сказал сзади сквозь смех Федор.

Гияз включил зажигание, и машина плавно тронулась с места. Мать открыла ворота и улыбнулась Алексею, помахавшему ей из приоткрытого окна.

«Наверное, Алексей был любимым зятем у отца»,— почему-то подумал Гияз и, обернувшись, улыбнулся ему.

Халияр пропадал на заводе долго, и Гияз уже засомневался, добудет ли тот пива. Все-таки суббота, лето…

Но Алексей, улыбаясь в усы, которые отпустил на манер тестя, сказал:

— Халияр у нас в Озерном знаменитость, диск-жокей, а большинство его танцоров работают на пивзаводе. Да к тому же Фарида через райисполком пробивает открытие пивбара, и Халияр, наверное, будет там заведующим, так что на пивзаводе он уже свой человек.

— Ну и агроном…— успел только сказать Гияз, как в воротах показался улыбающийся Халияр с ящиком пива.

Странно, но эта недолгая поездка за пивом в отцовской машине как-то сблизила Гияза с мужьями сестер.

На другой день, вспоминая послебанное застолье, прошедшее шумно, весело,— и пирог, и пельмени удались на славу,— он все-таки чувствовал в разговорах какое-то напряжение, исходившее от сестер.

Мать умело гасила готовую вот-вот вспыхнуть перепалку, переводя беседу в другое русло, а то превращая все в шутку, смех. Гияз давно уже откололся от своей семьи, и ее язык был не вполне понятен ему, но не все было так смешно, как казалось,— это он ощущал.

Меньше всего он понимал сестер. Помнил их негромкое детство — для них он действительно был тогда старшим братом, и разница в возрасте, казалось, никогда не будет преодолена. В мусульманских семьях старшинство почитается, а семья Исламовых была с традициями, с культом мужчины-кормильца, продолжателя рода. Правда, сестры выросли без брата, разве что в каникулы он бывал дома на правах гостя, где сестры жили хозяйками. И хотя в доме постоянно упоминалось, особенно в студенческие годы, его имя, отсутствовавший брат превращался почти в миф, нечто бестелесное, а потому, на их взгляд, существо бесправное.

В какие-то минуты ему казалось, что они хотят спросить его без обиняков, в лоб: зачем приехал? Что тебе надо? Что есть в тебе от Исламова, кроме фамилии? А, может, еще жестче звучали бы их вопросы?

Но ему от таких размышлений становилось стыдно,— в чем же я подозреваю своих единокровных сестер? — и он гнал прочь эти мысли.

«Я, усталый, издерганный горожанин, запутавшийся в жизни, приехал домой перевести дух и, может быть, здесь понять, что потерял, что приобрел, поразмыслить, как мне жить дальше, ведь мне уже сорок, и я не успел ни дерева посадить, ни дома своего построить, ни сына вырастить. Думал здесь понять себя и род свой, ведь я не какой-нибудь безродный обсевок, перекати-поле — корни-то мои не отсохли совсем. Пусть что капля в море — Озерное, не на всякой карте отыщешь, но и здесь живут люди и знают они — я сын Нури Исламова, и думают, наверное, что и я не зря топчу эту землю».

Так примерно хотелось сказать Гиязу сестрам своим о себе, но ведь не спрашивали по-людски, а все какие-то каверзные, недобрые вопросы, намеки, укольчики… и все с подтекстом, понимай, как хочешь. А мать чует подвох в словах дочерей, которым она, увы, уже не указчица, мечется и разрывается между дочерьми, с которыми старость доживать, и сыном, которого случайно, а, может, и не случайно занесло в отчий дом.

Вот если бы жив был отец! Как поздно мы произносим столь сакраментальную фразу! Лишь когда осознаем, что никому и никуда не убежать, а от себя тем более.

Так, задумавшись, Гияз долго стоял во дворе рядом с машиной, которую почему-то не поставили на ночь в гараж. И вдруг Фарида,

наблюдавшая за ним с открытой террасы, сказала, обращаясь к нему, но так, что слышно было в доме:

— Не можешь, дорогой братец, машиной налюбоваться? Прав Федя: красавица, милее родни любой. А для сердца мужского — магнит многотонный, не одного тебя притягивает, так что любуйся, не таись, долго сдерживался…

Гияз стоял рядом с «Волгой», но машины не видел, мысли были о другом, о себе. И оттого он сначала не понял, о чем это сестра, но вдруг взгляд его уперся в сияющий никелем бампер, и он словно очнулся.

Цепь вчерашних сестринских недомолвок замкнулась. Он понял их беспокойство и суету: решили, что он приехал делить отцовское наследство и что машина, конечно, достанется ему. Оттого и злобятся: им кажется, что «Волга» уже тю-тю, потому и не находят себе места, готовы родного брата обвинить в чем угодно…

Вдруг мелькнула мысль: «Слава богу, не дожил отец до этих дней». Кощунственная мысль, но она отвлекла, дала силы не ответить на гадость сестры гадостью.

Плевать на машину! Даже две «Волги» не могли бы принести ему счастья, ибо мучает его сейчас совсем другое, и этого другого сестры понять не смогут. Вот отец… Он бы понял…

«Волга» вам, значит, не дает покоя…» — крутилась неотвязная мысль, но ничего путного, враз решающего эту проблему в голову не приходило. Оставаться во дворе или возвращаться в дом, где из комнаты в комнату, словно подглядывая за ним, сновали сестры, с которыми он сейчас должен сесть за один стол завтракать? Вновь выслушивать их недомолвки, скрытые упреки у него не было сил — боялся сорваться, нагрубить. И эта ссора, больше нужная сестрам в их каких-то неведомых и непостижимых для его ума планах, огорчила бы мать, которая после смерти отца и так сильно сдала. Нет, не мог он доставить сестрам такого удовольствия. И вдруг пришла идея, которая если не решала проблемы, так, по крайней мере, избавляла его от общества сестер на все воскресенье, а уходить сегодня, как он понял, они не собирались.

Он быстро прошел к себе в комнату, торопливо побросал в дорожную сумку какие-то необходимые вещи и вернулся к машине.

«Съезжу-ка я в Оренбург, погуляю, может, в дороге решу, что мне делать, как быть». И он, никого не предупредив, выехал

со двора. «Пусть помаются, куда это я с машиной запропастился»,— подумал он и впервые за тягостное утро улыбнулся…

Дома, в Ташкенте, в одном подъезде с ним жил судья, человек общительный, справедливый, хлебосольный. Все свободное время он проводил во дворе, и благодаря его стараниям двор у них был зеленый, ухоженный, что, в общем-то, неудивительно для Ташкента. И все же был он особенный и совсем не походил на обычный жэковский двор. Под тенью виноградников стояли у них айваны, столы, за которыми время от времени шумели свадьбы и иные застолья. Была и печь на три казана, где каждый желающий мог приготовить на открытом огне плов или казан-кебаб, а это совсем не то, что готовить на газовой плите — и все это благодаря стараниям и энергии их завдомкомом Закирджана-ака. Гияз переехал в этот дом, считай, на все готовое, двор уже имел свое лицо, и поначалу он стеснялся пользоваться благами ухоженного двора. Но Закирджан-ака, увидев его как-то вечером на балконе, пригласил на айван, на чайник кок-чая. С того дня он и сдружился с судьей. А когда Гияз в одно воскресенье, никого не предупредив, переложил печь-времянку на капитальную, увеличив число казанов до четырех, и облицевал ее разноцветным кафелем, стали его называть правой рукой, помощником Закирджана-ака, что весьма льстило Гиязу. Из-за общих интересов по двору,— а дел там было немало,— Гияз часто общался с судьей. Иногда Закирджан-ака приходил с работы расстроенный. Переодевшись в полосатую шелковую пижаму, сохранявшую до сих пор непонятную привлекательность для восточных людей, судья по привычке выходил во двор с лопатой или кетменем, а чаще всего со шлангом для полива двора и сада. Поначалу он копошился, что-то делал, но обычно в такие дни в конце концов усаживался где-нибудь на одной из многочисленных садовых скамеек или шел к любимому айвану. Не выпуская из рук кетменя или опершись на него, сидел долго, погрузившись в свои безрадостные думы. Если с балкона своего третьего этажа Гияз видел такую картину, он немедленно бросал все свои дела и бежал вниз. Он знал — у старика больное сердце. Отвлечь его от дурных мыслей Гиязу никогда не удавалось, но дать ему выговориться было необходимо, Исламов умел и любил слушать. Судью не волновали пустяки, мелкие неудачи, старик был по-восточному мудр и несуетлив, и боль его становилась болью Гияза.

— Знаешь, дорогой Гияз,— говорил судья, поворачивая к нему взволнованное лицо,— я ведь родился и вырос в столице,

здесь учился. Ташкент долгие годы не был таким громадным, многолюдным, как сейчас, и потому я знал многих, да и меня, пожалуй, знали. В свое время я был самым молодым судьей в городе. Занимался и я в жизни серьезными делами, это сейчас, последние десять лет, взялся вести дела гражданские. И удивительно, за эти годы резко подскочил процент дел о разделе имущества, ведутся нескончаемые тяжбы между наследниками, между родными братьями и сестрами, между единокровными детьми. Вы думаете, почему я сегодня такой расстроенный, хотя давно уже моя работа других чувств не вызывает? Скажу вам откровенно: потому, что я вел дело о разделе имущества человека, которого знал лично, общался с ним, уважал. Удивительный был человек,— и судья назвал фамилию, которая ничего не говорила Гиязу.

И, отвлекаясь, уходя в воспоминания, Закирджан-ака рассказывал о человеке, о времени и о себе, если судьбы их как-то переплетались.

— Знаешь,— продолжал он, возвращаясь в день сегодняшний,— я ведь и детей его знал, некоторые на моих глазах выросли. Говорю им: как же вы дошли до жизни такой? С родной сестрой ковер поделить не можете, и отцовские золотые часы для вас не память, а предмет скандала! Даже по таким мелочам не могут разойтись по-человечески, а что уж делается, когда тяжба идет из-за дома, машины, дачи, крупных денежных вкладов? Враги ведут себя благороднее, чем родня в таких случаях. Думаете, до суда не пытались их мирить? Друзья, соседи, сослуживцы, родственники, махалля — никто им не указ, да и судья тоже. Сколько раз давали мне отвод, мотивируя это тем, что я веду дело на эмоциях, а не на фактах. А факты у них у каждого свои. Иногда я думаю: как хорошо, что ушедший не видит этой мышино-змеиной возни, недостойной людей, и что бы он сделал, если б предвидел подобное? Облил бы керосином да сжег бы эту машину, облигации, дачу? Растолок бы в порошок серьги и кольца, из-за которых дети его стали заклятыми врагами? Вот что занимает меня, дорогой мой сосед…

Судья порою надолго замолкал,— наверное, у него перед глазами вставали процессы, так измучившие его больное сердце. Старик признался однажды с горечью, что после иного дела, точно спортсмен-марафонец, теряет в весе до пяти килограммов.

В последний раз, незадолго до отъезда Гияза, весной, когда уже буйно распустился их сад и дел во дворе — обрезать и белить

деревья, поднимать виноградник и красить забор — было предостаточно, вновь захандривший Закирджан-ака опять разговорился с Гиязом:

— Ну ладно, еще можно понять скандалы в простых семьях, где люди не очень образованные, тонкие… Но ведь умирают люди знаменитые, известные не только в республике, иногда на весь Союз, и порой происходит то же самое. Поберегите имя отца, матери, рода своего, наконец,— кто только и на каком только уровне ни обращается к наследникам, и слушать никого не хотят в своей алчности, и обрастает доброе имя родителя, как снежный ком, сплетнями, домыслами, выдумками. Был большой человек — и нет его, один анекдот остался — детки родные или родня постарались. Наверное, читали в «Известиях» — умерла известная балерина, удивлявшая весь мир своим талантом. Прославила народ свой, республику. И та же история, только тут матери родной и родне ее неймется, все хотят счеты с зятем свести. Не желают понять, что дочь их была женой этого человека, матерью его детей, а потом уже известной балериной. Город мирил, республика мирила, а теперь уже вся страна через уважаемую газету хочет если не помирить, так хоть прекратить склонять имя талантливого человека на всех перекрестках. Как думаешь, удастся? — спрашивал неуверенно умудренный жизнью судья Гияза, а тот только пожимал плечами в ответ.

Нет, не зря припомнился Гиязу на проселочной дороге, пока он выбирался на шоссе Актюбинск — Оренбург, Закирджан-ака. Расстроенный судья чаще всего говорил об одном и том же, только менялась ситуация и иные люди были втянуты в тяжбу.

Слушая Закирджана-ака, Гияз то ли по молодости лет, то ли из-за отсутствия подобного жизненного опыта почему-то всегда думал, что такое происходит только в больших городах, где люди живут отчужденно, каждый сам по себе. Выходцев из маленьких селений, как бы долго они ни прожили в городах, часто тянет на сравнения с родными местами, хотя там, в отчем краю, они не были уже по многу лет. Вот и Гияз почему-то в таких беседах мысленно тянулся к Озерному и, конечно, с полной уверенностью думал — там такого быть не может, у нас другие люди. Память из прошлого оставляет нам чаще всего доброе. Да и что могут делить люди в Озерном, думалось ему. И виделось село с покосившимися от времени хатами, осевшими, почерневшими от снежных зим и осенних ливней плетнями — Озерное его отрочества. Какие уж тут вклады, машины, дачи?

А подумать, что нечто подобное может произойти с ним? Нет, такое никогда не приходило в голову, хотя наслушался он этих невеселых историй достаточно.

А, может, уверенность его в высокой нравственности людей из глубинки была не только его заблуждением? Вон сколько книг в последние годы написано о селениях, подобных Озерному,— и чаще всего в тех книгах самое светлое — о родных местах: и люди там лучше, и вода слаще, и что ни девушка — красавица, что ни парень — золотые руки. А душа у каждого — чище родниковой воды. Откуда же тогда в городах берутся подонки, если более половины жителей их — выходцы из подобных Озерных? Нельзя же всерьез утверждать, что их покалечил город… Наверное, жизнь так стремительно меняется, что даже писателям, инженерам человеческих душ, не удается что-то в ней уловить и предупредить род человеческий: «Люди, берегите друг друга!»

Так думал Гияз на полупустынном шоссе в воскресное утро. Стрелка спидометра металась за отметкой «140», но скорости он не чувствовал. Мысли его перескакивали от Озерного к Ташкенту, от прошлого к будущему, и каждый раз, словно бумеранг, возвращались к дню сегодняшнему.

Родимая земля, отчий дом — нет, не вызывали они у него разочарования, просто жестче стал взгляд. А все прошлое восприятие казалось киношным, книжным, надуманным. Жизнь-то во сто крат сложнее любой проблемной книги. Ну, ладно, не получился отпуск, и родная земля не придала сил, на которые вообще-то рассчитывал, опять же по книжной аналогии. Но нет худа без добра. Ты, кажется, понял: твое место там, в Ташкенте, и никто тебе теперь не поможет, не подскажет — пути свои мы выбираем сами. Жизнь все-таки в этом предоставляет шанс — надо быть объективным. Разве, чтобы понять это, не стоило приезжать и даже в чем-то разочароваться?

Впереди показался мост, весь в строительных лесах,— видимо, в половодье повредило фермы,— и Исламов сбавил скорость. В приоткрытое окно ударил свежий запах реки, и он напомнил Гиязу Илек, реку его детства. Он осторожно переехал мост и невольно притормозил.

Впереди, насколько хватало глаз, змеилась в зеленых берегах тихая утренняя река. Медленно несла она свои воды, журча на перекатах, темнея в редких затонах, шелестя молодой осокой на заболоченном мелководье, и тонкий, едва заметный пар, словно туман,

поднимался кое-где над водой, а с высокого берега тень столетних вязов темным зонтом перекрывала слабую в узких берегах жемчужную полосу воды.

Низкий берег ее, покрытый густым тальником, переходил в луга,— видимо, широко по весне разливалась река. И пойма эта, повторяя изгибы реки, тоже уходила далеко, но конец ее Исламов все-таки видел. В лугах недавно прошел первый укос, потому что тут и там стояли небольшие копешки сена, а трава уже снова пошла в буйный рост — чувствовались близость и щедрость реки.

Было тихо, безлюдно, лишь вдали, как и в Озерном, слышался шум далеких поездов, и звук этот над просыпавшейся рекой будил в душе отрадные, чистые воспоминания.

Глядя на раскинувшиеся внизу луга, Гияз видел, как в детстве, ночное, костры, стреноженных коней, шаловливых жеребят, слышал храп породистых скакунов и нетерпеливое ржание кобылиц в ночи. Только не мог ясно представить мальчишек из соседних казачьих станиц и татарских аулов, для которых эти луга, наверное, были общими, слишком мала и слаба река, чтобы одарить людей еще одним лугом. Нет, не мог он представить мальчишек транзисторно-магнитофонного поколения в тихом ночном. Хотя знал точно: не перевелись в этих станицах и аулах лошади, и каждую весну и осень то в татарском ауле на сабантуе, то в станицах на празднике урожая устраиваются скачки и джигитовки, на которые съезжается народ отовсюду, даже из города…

И джигитуют, конечно, парни, ох, какие лихие парни, и школой для них становится ночное. Пока не исчезнут на земле кони, всегда будет ночное, один из самых удивительных и волнующих моментов отрочества, а значит, не переведутся на земле лихие джигиты. Просто другое время — другое ночное, наверное.

Он стоял долго, и одна картина перед глазами сменялась другой, он то заглядывал в прошлое, то видел будущее, и думалось здесь на просторе, у реки, легко. В поднявшейся траве он разглядел след конной косилки, а потом увидел съезд в луга. Ехать дальше ему расхотелось. Куда? Зачем?

На высоком берегу, за вязами, угадывалась большая казачья станица. «Сегодня воскресенье, базарный день, наверное, еще успею»,— подумал Гияз, почувствовав, как проголодался. Он развернул машину и поехал по проселочной дороге вдоль высокого берега: где-то дорога должна была свернуть к селу. В казачьей станице Гияз бывал не раз,

отец брал его на базар, а однажды Нури-абы чинил английский двигатель на старой казачьей мельнице, и жили они вдвоем на постоялом дворе станицы целую неделю. Гияз тогда никак не мог взять в толк, почему местных называют казаками — ведь говорили они на русском языке, как и их соседи в Озерном, да и внешне ничем от них не отличались, разве только стар и млад носили фуражки с лаковым козырьком и красным околышем. Еще запомнилась станица сплошь белыми ухоженными хатами, ни одной развалюхи, как у них в Озерном, и вишневыми садочками. И почему-то запала в память фраза,— отец сказал ее кому-то, когда они вернулись после ремонта мельницы, наверное, спрашивали о казачьем житье-бытье: «У казаков порядок строгий: лес береги, реку береги, луга береги — потому и крепко живут».

Тогда, мальчонкой, он не понимал, почему нужно беречь реку, лес, луга, пашню,— казалось, они сами по себе, всегда были и будут. При чем здесь человек?

Станица, в которую он въехал минут через десять, ничем не напоминала казачье село, в котором он был тридцать лет назад,— ныне оно было похоже на Озерное,— время безжалостно нивелирует наш быт, стирая самобытное, индивидуальное. Судя по вывескам, станица ныне превратилась в районный центр.

По пыльной разбитой главной улице райцентра, которую неведомо когда и невесть как заасфальтировали, Исламов, не расспрашивая никого, выбрался к базару. Лишь базар, уже мало-помалу начинавший расходиться, терявший напряжение и азарт, напомнил Гиязу казачью станицу его детства. У ограды стояли подводы, брички и даже пароконный крытый фургон, на манер ковбойских, с которого продавали визжавших поросят. Гияз поставил машину в разноцветный ряд «жигулей» и поспешил к торговым лавкам. Но, как ни спешил, не смог не замедлить шаг у старинной, изгрызенной степными аргамаками, коновязи. Где, в каком месте и когда еще увидишь стоянку для лошадей? Наверное, нынешние дети и не подозревают, что для них были раньше специально отведенные места, как сейчас для автомобилей и велосипедов.

У коновязи на привязи стояли, испуганно кося глазами и нервно перебирая тонкими ногами, несколько лошадей.

На двух из них были высокие казачьи седла, роскошные, старинной работы, и сбруя, вся в черненом серебре, отчего казалась она невероятно тяжелой, и даже стремена были серебряные, высоко подтянутые.

«Иметь таких лошадей и так содержать их могут лишь истинные казаки, каких уже мало осталось»,— подумал Гияз. И, словно подтверждая его мысль, к серому в яблоках коню подошел сухощавый и мускулистый старик. Конь, чувствуя хозяина, потянулся к нему губами, затанцевал.

— Ну, милый, успокойся,— сказал тот, теплея глазами, и старческий голос выдал его преклонный возраст.

В коротенькой, кое-где прожженной, а может, простреленной черкеске с пустыми газырями, сохранившейся со времен его молодости, в щегольских хромовых сапогах и круто заломленной новой казачьей фуражке старик выглядел лихо. Вдруг ястребиными глазами он выхватил у коновязи Гияза, и в этом взгляде, инстинктивном, цепком, был извечный страх хозяина за любимого коня, он словно почуял вблизи цыгана-конокрада, как, наверное, всегда безошибочно чувствовал их в молодые и удалые годы.

Старик не ошибся, Гияз любовался именно его рысаком. «А, пеший татарин,— сказал старик как бы разочарованно, сгоняя с лица тревогу, но, словно дразня и укоряя, продолжил: — Смотри, любуйся, у вас таких красавцев уже нет, не тот пошел нынче татарин…— И после паузы грустно заключил: — Да и казак тоже…»

Конь, почуяв в голосе старика неподдельную печаль и будто желая прервать неожиданный разговор, шагнул к хозяину. Старик нежно обнял его красивую голову и, прижавшись к мягким ноздрям своего любимца, уже не замечая Гияза, приговаривал: «Терек… ну же, Терек». На тонкой старческой руке, поглаживавшей шею коня, болталась казачья нагайка.

И единственный раз в жизни Исламов, пожалел, что не имеет фотоаппарата и не умеет фотографировать.

На базаре в продовольственной лавке он выпросил пустую коробку из-под кубинского рома. Шум, толчея, смех, шутки, громкий разговор взбудоражили Гияза, заразили азартом, и он, балагуря, как и все вокруг, быстро накупил всякой всячины. В молочном ряду купил банку домашней простокваши и знаменитой казачьей брынзы, тут же рядом взял десяток яиц. Уже продавались первые помидоры и огурцы, но, видимо, цены кусались, покупателей в этих рядах не было, и потому торговки ему обрадовались. На выходе с базара он прихватил и хлеб — целый каравай, пышный, еще теплый. В сельские пекарни еще не пришла механизация-автоматизация, и хлеб мало чем отличался от домашней выпечки. Когда

он вспомнил у моста про базар, у него затеплилась тайная надежда купить здесь икры и рыбы, настоящий белужий бок. Из той давней поездки, когда отец ремонтировал двигатель на казачьей мельнице, у него в памяти осталась сцена, про которую он часто рассказывал, но мало кто ему верил.

Когда Нури-абы починил мельницу и сделал пробный помол, мельник здесь же на мельнице,— не последнее место в селе! — организовал угощение. По такому случаю зарезали барана, чтобы работала мельница долго и надежно на радость станичникам. Резал барана и свежевал тушу сам Нури-абы. На застолье, кроме мельника, были приглашены какие-то уважаемые старики и староста, хотя и негласный, неофициальный, но имевший реальную власть над казаками. Здесь на мельнице Гияз впервые и попробовал икру, которую ели большими деревянными ложками из глубоких липовых мисок, и рыбу — розовую, жирную, вкусную, которую мальчик поначалу принял за какое-то диковинное мясо, такими большими и толстыми были куски. Все хвалили работу отца, выпивали за здоровье мастера. Тут же за столом и рассчитались с ним. Во дворе мельницы стояла наготове запряженная пароконная подвода, на которой их привезли из Озерного и на которой должны были доставить домой. Когда отец с сыном вышли к подводе, мельник вынес связанного за ноги барана.

— А это тебе, мастер, от меня лично,— и положил его в телегу, устланную свежескошенным сеном.

Староста что-то шепнул вознице и, усевшись вместе с ним, загадочно улыбаясь, велел трогать. Где-то на краю села телега остановилась, и староста пригласил Нури-абы с Гиязом в неприметный подвал.

Длинный низкий подвал, крытый толстыми, в два наката бревнами, был темен, и возница со старостой зажгли сразу два больших керосиновых фонаря. Внутри стоял ледяной холод, хотя льда не было, видимо, где-то совсем рядом проходили подпочвенные воды,— раньше в том, где строить и как, знали толк, хотя вроде и не учились столько, как сейчас. Лампы медленно разгорались, отгоняя тьму шаг за шагом, и Гияз вдруг увидел десятки огромных рыб с него ростом и поболее, которые висели на железных крюках головами вниз. Староста обходил, трогая и как бы обнюхивая каждую. И вдруг, найдя достойную его внимания, остановился, вынул из-за голенища сапога длинный нож, быстрым, ловким движением вырезал из спины три длинных

толстых куска и молча протянул отцу. Затем он направился к боковой стене и поставил фонарь на широкую деревянную полку. Полки в два ряда уходили в темноту, на них лежали большие черные шары, величиной с футбольный мяч.

Возница подал не то небольшое ведро, не то бочоночек, и староста все тем же ножом как масло разрезал один шар пополам, рукой уложил в ведерко, заполнив его до краев, и передал все это ошеломленному Гиязу.

— Это от общества, от мира казачьего, мастер,— и староста низко поклонился отцу.

Но сколько Гияз ни выглядывал сейчас, ни открыто, ни тайком рыбой и икрой на базаре не торговали. А сколько ее было в этих краях, когда-то он видел сам. И теперь запоздало он понял отцовскую фразу: реку берегут…

Зато, выискивая продаваемую тайком икру, он наткнулся на цыган,— нет, не конокрадов, последние казачьи кони вряд ли их интересовали. Цыгане бойко торговали самодельными свитерами и пуловерами с фальшивой эмблемой далекого штата «Монтана».

Все купленные Гиязом продукты были аккуратно размещены в коробке, которую расторопная хозяйка хлебной лавки быстро и ловко перевязала шпагатом из-под бубликов. Не спеша, довольный покупками и живописным казачьим базаром, опять же мимо коновязи, у которой теперь одиноко стояла, опустив голову, старая пегая кобылица, направился он к стоянке. Издалека он увидел у своей машины плотное кольцо людей.

«Наверное, выезжая, кто-то крепко зацепил меня». Но эта мысль не вызвала у Гияза ни злости, ни огорчения. «Вот если бы ее угнали, я бы обрадовался»,— подумал он и рассмеялся. Станица положительно возвращала ему утерянное настроение. Он с трудом пробился к своей машине и, поставив коробку на капот, достал ключи.

— Ты хозяин? — спросил какой-то возбужденный казак и, схватив его за руку, затараторил: — Я первый, я первый покупатель, я первый подошел…

Его не перебивали, но двое крупных мужчин молча оттирали его от Исламова, пытаясь обратить внимание Гияза на себя. Но тот мертвой хваткой вцепился в локоть татарина.

— Покупатель чего? — спросил растерянно Исламов, стараясь освободить локоть, в чем ему услужливо пытались помочь все те же двое крепких мужчин, по всей вероятности, не здешние.

— Да ты, брат, шутник,— нервно рассмеялся, не выпуская локтя, взволнованный казак.— «Волги», дорогой, вот этой красавицы белой.

— А кто вам сказал, что она продается? — наконец освободив, не без чужой помощи, локоть, спросил, приходя в себя, Исламов.

— Ты что, псих? На самом видном месте базара поставил машину, надраил как на парад, а теперь — не продается? Хитер, брат. Цену хочешь нагнать? — сказал возмущенно казак, и толпа вокруг зашумела.

Гияз понял, что поставил машину на автомобильном базаре, издали очень похожем на аккуратную автостоянку. «Конный базар, сенной базар, птичий базар,— мелькнула мысль,— а теперь вот и автобазар. У каждого времени не только свои песни, но и свои базары».

— Извините, я приезжий, проездом. Не знал. Машина не продается,— ответил уже раздраженно Гияз.

Толпа медленно стала редеть.

Гияз открыл багажник, рядом с ним, слева и справа, склонились головы все тех же крепких мужиков.

— Молодец, разогнал шушеру. Мы берем машину, очень понравилась, на экспорт, наверное, сделана.

— Не на экспорт, а персонально,— перебил Гияз, закрывая багажник.

— Тем лучше, за версту видно, особенная,— продолжали обрадованно крепыши.— Тридцать тысяч даем, мелочиться не будем, по душе нам машина. По рукам?

— Не продается машина, я же сказал,— ответил устало Гияз и открыл переднюю дверцу.

«Волга» медленно тронулась с места… В приоткрытое окошко всунулась голова одного из настырных покупателей.

— Тридцать пять даю, дорогой, последняя, красная цена,— умолял он, цепляясь за руль.

— Не продается,— ответил Гияз и рванул машину так, что все вокруг шарахнулись в стороны.

Только выехав за околицу станицы, он сбросил скорость и повернул к мосту. Здесь на лугах, у реки, он и решил провести день.

Не шел из головы базар: цыгане, вряд ли представлявшие, в какой стране находится штат Монтана, и занятые столь странным ремеслом; старый казак, хозяин красавца Терека, его долгая и, конечно, не простая жизнь, торги на автомобильном базаре…

— Тридцать пять тысяч…

Но цифра, произнесенная вслух, не будила в нем никаких чувств, хотя он и понимал: деньги охо-хо какие, иной человек за всю свою жизнь такие вряд ли заработает — библиотекарша, медсестра, например, да и рядовой инженер, пожалуй. Стоило ему только захотеть, и без особых угрызений совести он мог распоряжаться такой суммой. Но даже абсолютная реальность стать владельцем многих тысяч — стоило лишь повернуть назад — не вызывала в нем ни сожаления, ни сомнений, потому что он был убежден, что прав никаких на эту роскошную машину, вызывавшую зависть многих, не имеет, даже являясь единственным сыном и наследником Нури Исламова.

Он съехал по следу косилки в луга и долго ехал вдоль берега, выбирая удобное место и для себя, и для машины; мест красивых было много, оттого и выбрать оказалось трудно. Вскоре он нашел поляну, которая, по всей вероятности, служила местом отдыха косарям в сенокос, а уж кто лучше местных краше место отыщет, потому он и остановился. Привлекла его и копанка — слабый родничок, с любовью обложенный битым кирпичом. Сколько поездил Гияз на своем веку, а копанки встречал только здесь, в родных местах. Невдалеке он увидел и старое кострище, которое явно использовалось не один раз, и это тоже обрадовало его. Осмотрев окрестные кусты, он нашел треногу, закопченный казанок и даже запас привезенных из станицы дров. Но дрова Гияз решил не трогать, времени у него было предостаточно, никуда он не спешил, нигде его не ждали, и он намеревался поискать сушняк на берегу и в тальниках.

С реки в сторону луга тянул слабенький, едва ощутимый ветерок, влажный, вязкий, с запахом воды, мокрого берега, а над цветущим лугом и молодыми стогами стоял густой запах трав, запах горячего лета, и казалось, здесь, у копанки, где расположился Гияз, эти запахи реки и луга соединялись, растворялись один в другом, рождая неповторимый аромат, круживший голову, пьянивший душу — и никуда уходить отсюда не хотелось. Солнце уже стояло высоко, время перевалило за полдень, но здесь на лугу у реки жара не чувствовалась — приятное, мягкое, покойное тепло, располагавшее к созерцанию, любованию, покою. Но вот с покоем как раз ничего и не выходило, хотя он всячески гнал мысли о сестрах, зятьях, отчем доме. Вдруг почему-то вспомнил слова Федора, сказанные им вчера в машине, когда они за пивом ездили: «деловая», «деловой»… Это он о Фариде с Халияром. Нет, Федор сказал без зависти, но и без осуждения,

а может, сдержался при нем? Закружилась мысль вокруг двух, в общем-то, обычных слов… Деловая, деловой — как бы они поступили сейчас, на базаре, окажись в отцовской машине? Скорее всего, превратили одну «Волгу» в четверо «жигулей» — всем сестрам по серьгам, как говорится. Тем более, что деловая Фарида в райисполкоме сидит, сама списки на получение машин печатает. Как-нибудь, если не в один заход, то в два-три наверняка вклинилась бы в очередь и вырвала бы машину сначала себе, потом сестрам…

Халияру, например, как лучшему диск-жокею района — чем не подходящая формулировка при распределении,— а может, даже лучшему бармену, учитывая перспективу роста и открытие пивбара. Себе — как единственной женщине-юристу в районе — вполне убедительно. Ну, а оформить машину на Федора с Алексеем и вовсе не составит труда, были бы деньги,— рабочий класс! Тут уж Фарида как юрист нашла бы что сказать: и его величество, и гегемон, и землепашец-кормилец — в глубинке очень реагируют на такие слова.

Скорее всего, так бы оно и случилось. А затем бы наступил черед дома. Фарида уже вот-вот получит казенный коттедж на главной улице поселка, где живет все начальство и интеллигенция Озерного. Перевезет мать к себе или к сестрам — что делать старой женщине одной в огромном особняке? — а дом пойдет с молотка. От этих мыслей Гияз аж сплюнул и, крикнув на ветер: «Не выйдет!», показал кукиш в сторону Озерного.

Удивительно, но этот всплеск ярости отогнал прочь тягостные мысли. Запалив небольшой костерок, он сварил в казанке яйца, часть всмятку, часть вкрутую. С аппетитом, от которого давно уже отвык, пообедал.

Потом долго и с удовольствием купался в реке, название которой так и не удосужился узнать у кого-нибудь, загорал на песчаных дюнах, напоминавших ему Палангу.

Солнце стало клониться к западу, и от стогов потянулись, все удлиняясь, лохматые, причудливые тени. Возвращаться было рано, да и не хотелось покидать этот райский уголок. И Гияз, чуть разворошив стог, расстелил старое одеяло из машины, служившее вместо чехла, и прилег.

Запах стога напомнил ему сеновал в старом доме, куда зимой загоняла ребятню стужа или метель. Забившись в тепло сеновала, в кромешной тьме рассказывали они друг другу страшные истории о колдунах и колдуньях, нечистой силе, привидениях. Удивительно,

как популярны были тогда подобные истории в маленьких местечках! Незаметно он заснул — сказалось вчерашнее послеобеденное застолье, да и сегодняшний непростой день.

Проснулся Гияз глубокой ночью, прямо над ним в высоком летнем небе сияли звезды — такого высокого неба и столько звезд сразу он не видел давно. Он долго лежал, не ощущая прохлады, потому что ночь оказалась на редкость теплой. Ночное небо с падающими и угасающими звездами, яркими созвездиями, названий которых, кроме Большой Медведицы, он не знал, было таким же притягательным, как река, лес, луга, он не мог оторвать глаз от звезд, казалось, они струили на него покой и нежность. И тут неожиданно пришел ответ на мучившие его все эти дни вопросы. Гияз понял, что ему надо делать. От удивления он даже вскочил, ощутив в себе необыкновенную силу и бодрость, вроде и не ночь стояла кругом. Он снова разжег костер, поставил казанок и заварил мяту, так делали они в детстве в ночном или на рыбалке.

Наверное, его яркий костер в ночи был виден с высокого казачьего берега, где еще гуляли влюбленные, а может, даже и в космосе. Ведь говорят, подними голову — тебя разглядят космонавты. И как бы посылая привет в космос, он поворошил угольки костра, и тысячи искр, земных звезд, взметнулись к небу. Если бы действительно его разглядели космонавты, наверное, они бы позавидовали Гиязу: ночь, тишина, даже не слышно цикад, только изредка в реке плеснет большая сонная рыба, да чуткая лягушка от страха, на всякий случай, плюхнется с широкого и удобного листа кувшинки в воду, и костер, от которого глаз не оторвать, и вечное таинство огня…

Сушняк кончился, костер догорал, но уходить не хотелось, и он пошел к реке. Бесшумно, словно боясь вспугнуть сон всего живого в ней и вокруг нее, несла она свои воды к Уралу. Только бессонный озорной ветерок, неподвластный реке, вдруг шуршал береговым камышом, снимал дрему с усталых ракит, склонивших свои ветви к самой воде, словно ища и прося у реки заступничества. Остывший за ночь прибрежный песок ласкал, успокаивал босые ступни и словно приглашал пройтись, наглядеться — когда еще такое увидишь, разве что во сне. Он прошелся вдоль берега по мелководью — вода, вобравшая долгое летнее солнце, была теплее, чем днем. Он быстро разделся и поплыл — осторожно, бесшумно,— кощунственно было будить тишину… Машина, стоявшая под стогом сена, пропахла

разнотравьем, лугом. Включив дальний свет фар, так, что стали видны дремлющие, чуть поникшие к ночи цветы, одинокие и сиротливые стога, Гияз медленно выехал на дорогу. Проехав мост, включил приемник — разноголосый эфир ворвался в салон машины, но он легко нашел музыку, наверное, она передавалась для таких полуночников, как он. Быстрой езды, как он и предполагал, не получилось, хотя дорога была уже знакомой и ни одного огонька навстречу. Степь, травленная и перетравленная пестицидами-гербицидами, кстати и некстати паханная и перепаханная, перерезанная гулкими шоссе, автострадами, железной дорогой, пропахшая бензином и круглосуточным дымом с оренбургских нефтепромыслов, искореженная телегами, трейлерами, изрезанная многими нитками нефтепроводов и газопроводов, подземными кабелями телеграфных, телефонных иных коммуникаций,— не погибла и жила неожиданной для Гияза активной жизнью.

Иногда дорогу переползали какие-то змеи, ужи, полчища лягушек. То вдруг в свете фар плясал ослепленный тушканчик, не зная, куда скакать. Дважды перебежали дорогу тощие, линялые лисы. Однажды ему пришлось даже остановиться: через шоссе, видимо, на водопой, трусило стадо сайгаков, и среди них неокрепший, молодой приплод. Бедным животным, к сожалению, был знаком луч автомобильной фары браконьера, и Гияз, чтобы не разогнать их, чтобы не растерялись в ночной степи, в опасной близости от дороги беззащитные сайгачата, долго стоял у обочины, погасив свет. Особенно много было зайцев — они, кажется, даже не боялись машины, видимо, придорожная жизнь приучила. Но если ослепительный луч фар прихватывал их, они, как и тушканчики, растерянно метались по шоссе. Вдоль железнодорожной лесополосы часто встречались ежи,— странно, что они делали по ночам у путей? Увидел он и барсука у норы возле переезда — тот не испугался, не юркнул под землю, а, виляя жирным задом, заковылял в темноту. У пшеничных полей было царство сусликов — вот кого не берет ни пестицид, ни гербицид, жиреет себе на здоровье и плодится несметно. Здесь же, на пшеничном поле, вблизи леса, повстречались ему совы — большие, ленивые, старые. Удивительно, еще утром ехал по этой же дороге, ничего не видел, не замечал, даже не предполагал, и вдруг ночь открыла для него затаившийся от людских глаз неожиданный мир. Поразительная ночь! Даже ради этого дня, ради случайного путешествия стоило возвращаться в отчий дом.

Стало светать, начали меркнуть и гаснуть звезды. Незаметно очищались от ярких созвездий огромные полосы небосвода, еще минуту назад бархатно-черный подклад неба вмиг посерел, чтобы с первыми лучами зари ярко, по-летнему заголубеть.

Въезжал он в Озерное со стороны старого кладбища, где был похоронен отец. Мусульманские кладбища просты и непритязательны. Нет там буйства зелени и роскошных памятников, зачастую нет и кладбищенского сторожа. Кладбище было обнесено глиняным дувалом, от времени дувал крепко осел, был частично размыт затяжными осенними ливнями и весенними паводками и местами рухнул. Мать говорила, что какой-то казах, чабан, завещал крупную сумму денег на новый забор для кладбища, но дети второй год опротестовывают в судах завещание, утверждая, что отец был невменяем, да только ни один свидетель, кроме родни, не хочет брать грех на душу и подтвердить это. Чти отца своего!

Гияз оставил машину у входа. Уже рассвело, и легкие, дымчато-снежные рассветные облака, которые исчезают с первыми жаркими лучами солнца, заполонили вместо звезд по-утреннему свежий небосвод. Пала роса, и кусты чахлой серой полыни были влажны, выжженная солнцем трава не хрустела под ногами, и вытоптанные дорожки, разбежавшиеся веером от входа по громадному кладбищу, еще не пылили.

Могила Нури-абы была скромной, как и прочие, только оградка, выкованная в колхозной кузнице, была шире, выше, затейливее и казалась надежнее, чем остальные. Оградка была выкрашена металлическим лаком — черным, блестящим. Что ж, Федор постарался, делал для учителя, тестя, мастерового, от сердца, что называется. Большой букет роз из домашнего сада, что принес сюда Гияз в день приезда, увял, спалило немилосердное степное солнце. Он открыл калитку, убрал высохшие цветы и тут у изголовья могилы увидел тонкие, неокрепшие, но дружно пошедшие в рост стебли татарника, целый куст. Самый тонкий, слабый стебелек кончался алым, распустившимся недавно, может, даже сегодня, цветком. Последний дар земли, нежнейший цветок невзрачного, но большой жизненной силы татарника, покачиваясь, словно шептал: спи спокойно, Нури Исламов, мастеровой, землепашец…

…Озерное медленно просыпалось, хлопали калитки, скрипели несмазанные ворота, гремели ведра в колодцах, проспавшие хозяйки спешили с подойниками к коровам, переулками уже выгоняли

скот в стадо. Гияз аккуратно, не гремя, распахнул ворота и заехал во двор, заводить машину в гараж не стал — не хотел тревожить сладкий утренний сон домашних. С тех пор, как умер отец, корову не держали — кому добывать сено, ухаживать, доить? Мать часто болела, а Фарида отродясь не держала подойник в руках, да и зачем? С молоком проблем не было, в райисполкомовском буфете его всегда купить можно.

Гияз осторожно прошел к себе в комнату. Окно спальни, как обычно перед сном, было распахнуто в сад, постель аккуратно расстелена, а на прикроватной тумбочке стоял графин с водой и опрокинутый вверх дном высокий стакан. Гияз торопливо разделся и нырнул в постель, тишина дома манила ко сну.

Проснулся он неожиданно, как и заснул, судя по солнечному зайчику, гулявшему в комнате, спал недолго. Из сада, где обычно в затишке стоял поутру самовар, потянуло дымком — так случалось каждый раз, когда вдруг среди деревьев пробегал, озоруя, какой-то шальной ветерок. Мать всерьез уверяла, что у них в саду гнездо молодых шаловливых ветров. У него в запасе было всего три-четыре часа, и он легко, не задумываясь и не нежась, встал.

— А, сынок, доброе утро,— только и сказала мать, словно ничего не случилось и не отсутствовал он невесть где целые сутки.

Жизнь с отцом научила ее не задавать вопросов мужчинам — сочтут нужным, скажут.

Машины во дворе не было, видимо, Халияр загнал ее в гараж. Пока он не скрылся в душевой, мать успела спросить:

— Тебе яичницу или оладьи, сынок?

— И оладьи, и яичницу,— сказал он, улыбаясь, и ответ его успокоил прятавшую тревогу мать.

Мылся он долго, пока не кончилась в баке вода, вспоминая вчерашнюю безымянную речку, воды которой безжалостно разбирали на полив прибрежные колхозы. Жалко было ее, пропадет, наверное, если не поможет человек: почистит родники, перестанет без надобности и учета забирать воду. А если пропадет эта речушка и ей подобные — пропадет хилеющий год от года Урал-батюшка, некогда могучая река, кормилица казачьих станиц и татарских аулов.

За завтраком торопливо, сбивчиво мать сказала:

— Гияз, сынок, дни отпуска бегут, а ты совсем не интересуешься своими делами, сестер беспокоит твое… как сказать… даже не знаю… Они хотят спросить, что ты надумал?

— О чем ты, мама?

— Да о машине, о доме. Мы с тобой никогда не говорили на эту тему, не было ни повода, ни времени, да и ты не интересовался ни в письмах, ни сейчас. Наверное, догадываешься, что дом и машину отец завещал тебе. Отец говорил, что ты единственный Исламов, продолжатель некогда большого рода, знаешь ведь, всегда это тревожило и беспокоило отца, он жалел, что ты один сын, хотя дочерям грех на него жаловаться, любил он их. Всех выдал замуж, помог отстроиться, встать на ноги. И все-таки наследником тебя считал. Но сестры твои решили, что машины для тебя вполне достаточно. Я уж и так, и эдак, говорю, мол, негоже против воли отца идти, а они словно чужие, все считают-пересчитывают, сколько может стоить дом. А воду-то мутит Фарида, любимица отцова. Когда она в Москве училась, ни в чем отказа не знала, вот и вышла своевольница. Вижу я, как Федор с Алексеем мучаются, стыдно им тебе в глаза смотреть. Сдерживают своих жен, говорят, мол, нехорошо все это, да Фарида с Халияром подкручивают Гульфию и Альфию, да так ловко, и где только научились, ведь молодые совсем.— Мать украдкой смахнула краешком платка набежавшую слезу.— Слава богу, что Нури всего этого не видит, ведь он о таком и подумать не мог,— тяжело вздохнула мать.

— Дом, значит, хотят продать? — не то спросил, не то сказал для себя Гияз, и завтракать ему расхотелось.— Чтобы чужие люди жили, чужие внуки рождались в нем,— продолжал он, выходя из-за стола,— чтобы наш дом стал домом Иванова или Валиева, или кого там еще? Испокон веку дом носит имя хозяина! Ведь не для чужого дяди, не для больших барышей ставил дом отец.

— Сказал бы ты, сынок, об этом не мне, а сестрам, может, и одумались бы, пожалели имя отца. На всех же углах будут склонять имя Исламовых, не хотелось бы мне на старости лет такого позора.

— Не бывать этому,— Гияз обнял вздрагивающие плечи матери.— Дом, как ты сказала, принадлежит мне, и я его никогда не продам. Дом, это я сейчас только понял, главное дело отца, и он должен для всех нас, настоящих и будущих Исламовых, быть прибежищем в этом мире, мне кажется, таким мыслил свой дом отец.— И после долгой паузы, обращаясь то ли к матери, то ли к себе, сказал твердо, как будто принял решение, не подлежащее обсуждению:

— Нельзя жить одним днем, сиюминутной выгодой, и кто-то должен брать на себя ответственность, даже если это и не всем по нутру. А насчет сестер… Бог с ней, с машиной, пусть распоряжаются

как хотят. Машин у отца во дворе было немало, и не в машине душа его. Может, утихнут страсти, и поймут родные сестры мои, что не корысть привела меня сюда.

— Ты решил вернуться домой, сынок? — с надеждой спросила мать.

— Не знаю, мама. По крайней мере, до сих пор я об этом не думал.

— Зачем же тебе тогда дом, возьми машину. Ты молод и, наверное, в большом городе машина нужна, да и денег, говорят, она теперь стоит немалых. С ума все от этих машин посходили.

— Мама, ты меня не поняла. Ни дом, ни машина мне не нужны. Но раз так случилось, что я должен распорядиться судьбой дома, я оставляю его за нашей семьей. Ведь для отца было неважно, буду в нем жить я или кто-нибудь из внуков. В этом доме должен продолжаться его род. Вернусь ли я? Не знаю. Но в нашем доме должны жить внуки Исламова. Если Фарида с Халияром уйдут, прошу тебя, не оставляй дом, возьми на постой квартиранток, девушек, учительницу или практиканток каких. Пока ты будешь в доме, я буду знать, что комната с окнами в сад всегда ждет меня.

— Я теперь совсем запуталась, сынок, выходит, тебе от отца ничего не досталось и ничего не надо? Отказываешься от машины? Даже от доли после продажи? Как понять вас, детей моих — одним отдай хоть все, не откажутся, другому ничего не надо? Ох, сынок, чую сердцем, что-то в жизни у тебя не так, что-то гложет тебя, не в радость тебе ни машина, ни деньги. Если бы жив был твой отец!

«Отец, наверное, хотел бы передать мне главное: ответственность за дом, за род, за тебя, мама, за сестер, за землю, за будущее — ту ответственность, которая, увы, пока оказалась мне не по плечу…» Но вслух он об этом не сказал, вслух сказал другое:

— Мама, я сегодня уезжаю.

Мать чуть не выронила чайник.

— Как сегодня, в понедельник? Не попрощавшись с сестрами? — засуетилась она, не зная, чем бы задержать сына.— Никто в понедельник не пускается в путь, говорят, удачи не будет, примета такая есть,— говорила она, не веря в силу и убедительность своих слов.

Чем-то Гияз был похож на отца, скажет — не отступится. «Исламовы все такие»,— любил повторять Нури-абы, и мать сейчас это почувствовала.

— А я уеду по-английски,— попытался отшутиться, увести мать от грустных мыслей Гияз.

— Как это по-английски? — переспросила удивленно мать.

— Не попрощавшись. Взял да уехал незаметно. У них так принято…

— У них, может, и принято, а по мне — не по-человечески так, тайком. Волк, что ли? — обиделась мать.

— Знаешь, есть вещи, которые нужно делать не откладывая, по-мужски, ты должна понять меня, мама…

Мать ничего не ответила и, смирившись с его решением, ушла в дом собирать сына в дорогу, как много раз, и зачастую неожиданно, приходилось ей собирать в путь мужа.

Гияз тоже вернулся к себе в комнату и стал складывать вещи. Когда чемодан уже стоял у двери, в глаза ему бросился пакет на диване, что третьего дня назад принесла ему мать. Он совсем забыл про него.

Перевязанный крест-накрест шпагатом пакет был объемистым и тяжелым. «Если в этом доме что и принадлежит мне, так, бесспорно, этот сверток,— подумал он и уложил его в дорожную сумку.— Почему мать отдала мне письма, фотографии, может, что-то хотела этим сказать, о чем-то напомнить?.. Будет над чем поразмыслить в долгой дороге»,— мелькнула вдруг мысль.

У него было еще достаточно времени, и он решил пройтись по Озерному, попрощаться. Когда еще он заглянет сюда? На этот вопрос Гияз не мог ответить даже самому себе.

Гулял он долго: был на речке, обошел безлюдную, обветшавшую школу, прошел мимо дома Натальи, так и не рискнув заглянуть за высокий забор — росла ли там сирень?

Когда он вернулся домой, стол во дворе был накрыт заново, вместо будничной клеенки белела туго накрахмаленная скатерть. Мать как раз несла к столу самовар.

— Давай, сынок, выпьем чайку на дорожку,— сказала она с грустью, и Гиязу стало очень жалко ее.

Разговор не получился, каждый думал, наверное, о своем.

— Пора,— сказал Гияз, вставая из-за стола.— Нужно еще билет купить…— И пошел в дом за вещами.

До самой станции он шел и останавливался: со стороны могло показаться, что у него тяжелые вещи, но это было не так. Каждый раз, останавливаясь, он смотрел в сторону дома, и как бы далеко ни ушел, отовсюду была видна голубая ель — дерево отца…

Часть II

Сразу за Озерным на железной дороге велись ремонтные работы, и поезда шли с ограничением скорости. Гияз бросил вещи в пустое купе и долго стоял в коридоре у открытого окна. Поезд словно специально затягивал прощание, дожидаясь встречных у светофоров, и потом неспешно набирал ход. Перед Гиязом проносились поля, дороги, перелески, овраги, холмы… Здесь, в этих местах, с бескрайних полей он с отцом много лет убирал хлеб и помнил хлебную ниву до горизонта. И тут впервые за эти дни пришли к нему совершенно новые мысли.

Как сложилась бы его жизнь, останься он в Озерном? Был бы он счастлив? Прожил бы дольше отец, стань Гияз ему надежной опорой и оправдай его надежды? А сестры? Любил бы он их, любили бы они его, как и определено природой? Что дал бы он Озерному, родной земле, какой бы след оставил? Сожалел бы о том, что не кинулся в мир сломя голову, как кидались и исчезали навсегда многие его сверстники? Наполнил бы свою фамилию новым звучанием, или так и остался бы навсегда лишь сыном Нури Исламова?

Вот сколько вопросов вызвали в нем медленный ход поезда и родные места, проплывавшие за окном. И мелькнула в памяти тоже, наверное, кем-то выстраданная строка:

Что принесли ему чужие дали?
Что дали сердцу тысячи дорог?

Гияз прошел к себе в купе, распахнул дорожную сумку, вынул спортивный костюм — современный вариант пижамы в дороге — и опять на глаза ему попался пакет, переданный матерью. Он некоторое время раздумывал, но потом достал его и положил на купейный столик. Вагон был новенький, с иголочки, наверное, вышел в первый рейс. Просторное двухместное купе с яркой, цвета сочной зелени

обивкой диванов и удобного кресла у столика располагало к приятному путешествию, бесшумно работал кондиционер, из репродуктора лилась негромкая мелодия. «Полнейший комфорт,— усмехнулся Исламов,— вот еще бы и настроения чуток». И как ни было уютно в прохладном купе, его тянуло в коридор, к окну.

Проехали Актюбинск, и потянулась выжженная, ровная казахская степь, скудные, однообразные пейзажи. Чтобы видеть и понимать степь, а значит, и любить ее, нужно на ней родиться, сказал когда-то Гиязу вот так же в дороге, в поезде, какой-то старик-казах, случайный попутчик.

Он долго стоял в прохладном безлюдном коридоре вагона, вглядываясь в послеполуденную, знойную степь, в эти часы казавшуюся вымершей; все живое затаилось, замерло в ожидании спасительной ночи. Хотелось думать о Ташкенте, о своем преждевременном возвращении из отпуска, о том, как провести оставшиеся дни и какие неотложные дела ждут его там, дома. О Даше, которой не сказал ни слова о своем отъезде. Тут же у окна спохватился, что не везет подарка Закирджану-ака, и это расстроило его. Но мысли эти были вялые, разрозненные. И вдруг Гияз поймал себя на том, что все время возвращается мыслями к свертку, лежавшему на купейном столике.

«Будет чем заняться в дороге»,— решил он как бы вскользь, мимоходом, но равнодушие это было показное, мысли все настойчивее кружились вокруг свертка, и он вернулся в купе.

Взяв пакет в руки и внимательно осмотрев, Гияз понял, что перевязан он очень давно и без расчета, что скоро попадет к адресату. Это несколько успокоило его. Ему почему-то казалось, что мать связывала пакет с его нынешним приездом и что-то хотела этим сказать или напомнить. Шпагат был старый, растрепанный, узлы от времени затянулись, и развязать их оказалось непросто. Пришлось прибегнуть к помощи ножа. От резкого движения тупого лезвия пакет вырвался из рук, и на яркую зеленую обивку дивана посыпались фотографии, открытки, записки, телеграммы, письма, много писем.

Он стоял растерянно над разлетевшимися по всему дивану бумагами, фотографиями и не решался взять ни одну из них в руки.

«Неужели я столько писал?» — мелькнула мысль. Среди писем попадались и адресованные ему, и даже несколько нераспечатанных. Конверты, цвет бумаги, печать, выцветшие чернила, любая деталь — все это носило отпечаток времени — времени его молодости, его надежд.

«Да, вот она, моя жизнь, зафиксированная такой, какой была, без желания покрасоваться, показаться лучше»,— думал Гияз, не пытаясь привести в порядок, хоть как-то систематизировать, хотя бы хронологически, письма и фотографии. Если уж начал ворошить свою жизнь, не мешает поглубже копнуть те времена, когда казалось, что все еще впереди, и первый орден в тридцать лет — тоже.

Одно письмо упало отдельно и лежало адресом вниз. Гияз взял его первым.

«Здравствуйте, дорогие папа, мама и милые мои сестренки…» — начиналось письмо, старательно написанное на хорошей, как говорили тогда, лощеной бумаге.— О выпускном бале, вручении дипломов я уже подробно писал, и, надеюсь, письмо это, последнее из Омска, вы получили. А пишу вам с места моего назначения, из города, где мне предстоит работать. Работать инженером. Папа, ты слышишь: ин-же-не-ром! Ты ведь так хотел, чтобы Гияз Исламов стал инженером, хотя, честно говоря, отец, я всегда завидовал и завидую твоим знаниям, приобретенным опытом, и твоим умелым рукам. Должен признаться, что хоть я и окончил институт, все равно ощущаю громадный разрыв между знаниями и делом. Это я уловил еще на практике. То ли практика хочет обойтись без накопленных человечеством знаний, упрощая все до предела, то ли знания оторвались от жизни и живут сами по себе, но единства, союза науки и производства не чувствую. Боюсь, это может помешать мне, ведь я не собираюсь работать как-нибудь. Стоило ли тогда столько учиться, получать диплом с отличием?

Кстати, мой красный диплом ни у кого, кроме вас, и еще, пожалуй, Натальи, не вызвал ни восторга, ни удивления. Скорее даже наоборот. В отделе кадров женщина, оформляя меня и моего однокурсника Юру Силкина, увидев мой диплом, не преминула поддеть: «Умный, значит». И главный инженер, беседуя с нами, тоже как-то странно посматривал на меня и, заканчивая беседу, сказал: «А у кого какие знания, мы еще посмотрим». И теперь я чувствую, мне по поводу и без повода будут устраивать всякие экзамены, и мои промашки незамеченными не останутся. Но вы не переживайте, здесь без работы не останется даже человек с моим дипломом, стройка на стройке, три треста, десятки СМУ — не пропаду. Дали жилье, отдельную комнату в итээровском общежитии — все новенькое: и само общежитие, и обстановка, даже приемник с проигрывателем есть в каждой комнате. Но больше повезло Силкину, моему однокурснику. Нас распределили в один трест.

Так вот, о Силкине: он-то уже женат и даже отец прекрасной двойни и потому переживал, как быть с семьей, где жить? А ему сразу квартиру, и даже на выбор — двухкомнатную или трехкомнатную. Ну, зачем ему трехкомнатная, в футбол, что ли, играть, взял двухкомнатную. Рад, ждет семью. Вообще трест «Заркентсвинецстрой» солидный: строит и комбинат, и город одновременно, с квартирой, как я понял, в дальнейшем проблем не будет. Дали подъемные, сто сорок рублей, оклад прораба, оплатили проезд, суточные, так что я при деньгах. Говорят, прорабы, кроме оклада, получают разные премии, надбавки, так что буду зарабатывать — будь здоров! Куплю кое-какие зимние вещи и костюм, а потом начну высылать вам деньги, пригодятся на строительство дома.

В следующем письме расскажу о самой работе, о городе.

До свидания, обнимаю и целую всех, ваш сын и брат Гияз.

Да, пишу за настоящим письменным столом. Удобный, красивый, медные ручки».

«Прекрасное время, когда даже письменный стол был в радость и казенная полированная мебель вызывала восхищение»,— подумал Гияз и улыбнулся.

Однообразный пейзаж за окном, уютное купе, сумка с домашней снедью и гора писем на диване напротив, каждое из которых, как волшебная машина времени, может вернуть тебя в прошлое — только протяни руку…

Вязкие степные сумерки сквозь толстые стекла пробились в купе, и в углах уже затаилась темнота. Гияз включил свет. Под грудой писем виднелся угол большой фотографии. Исламов подумал, что это снимок их школьного выпуска, и достал его. Кого ему хотелось увидеть в той дали — себя, Наталью, давно забытых одноклассников? Но он не угадал. Фотография, сделанная профессиональной рукой и в свое время обошедшая немало газет, запечатлела футбольную команду «Металлург», победителя пятой зоны чемпионата СССР по классу «Б». Была когда-то и такая классификация. Наискосок в правом нижнем углу четким каллиграфическим почерком шла надпись жирным красным карандашом: «Гие Исламову — первому болельщику «Металлурга», нашему другу — на память о нашей победе, нашей молодости» — и размашистая подпись капитана команды Джумбера Джешкариани.

Гияз перевернул фотографию, вся обратная сторона в разноцветных автографах футболистов. Фотография была сделана сразу же

после игры, когда были добыты желанные два очка, делавшие «Металлург» недосягаемым для противника.

Джумбер с аккуратным пробором, в тщательно заправленной футболке сидел, улыбаясь, в первом ряду на корточках, у ног его покоился кубок, который он слегка придерживал рукой, а вокруг него стояла счастливая команда.

Как меняются иногда с годами наши вкусы, пристрастия, привычки! Того, кто предположил бы, что Гияз Исламов когда-нибудь разочаруется в игре, перестанет ходить на футбол, подняли бы на смех. А впрочем, такого человека просто не нашлось бы. Как детскую считалку, без запинки,— разбуди его даже среди ночи,— он мог назвать поименно дубль любой команды класса «А», не говоря уже об основном составе. Иногда зимой, когда ни о каком футболе не могло быть и речи, вдруг среди ночи чудился ему репортаж. Схватив с прикроватной тумбочки транзисторную «Спидолу»,— они тогда только появились и были редкостью,— начинал крутить ручки настройки: ведь он ясно слышал шум трибун, тугой звук летящего мяча, трель судейского свистка.

Гияз принадлежал к тем поклонникам игры, которые, однажды в послевоенном детстве услышав из картонных тарелок черных репродукторов рваную скороговорку Синявского, полюбили эту игру на всю жизнь. Синявского не слушали в одиночку. Гияз помнит, как в Озерном у ребят постарше в день большой игры с утра не сходило с уст: Бобров… Хомич… Пайчадзе… Они заранее сговаривались, где, у кого будут слушать репортаж. Черная тарелка выносилась на улицу, где на завалинке уже загодя дожидалась компания, обсуждавшая предстоявшую игру. Мальцы поначалу не подходили — знали, шугнут, надо дождаться начала репортажа, а еще надежнее — острой атаки, тогда не заметят, не отвлекутся. Что могли понимать семилетние пацаны в футболе, да еще на слух, но, завороженные голосом, страстью комментатора, неподдельным вниманием старших, авторитетных ребят, выстаивали оба тайма, рискуя еще и подзатыльник заработать, если проигрывал любимый «Спартак».

Он и Глорию заразил футболом. Она многое в жизни любила и делала страстно — и футбол, по сути своей тоже страсть, нашел в ней благодарную почитательницу. Как любила она их поездки вдвоем или вместе с «Металлургом» на игры «Пахтакора» в Ташкент, где играли в те годы знаменитые Красницкий, Стадник, Абдураимов… Как она умела болеть! Это надо было видеть, слышать! Нет, она

не вскакивала, не кричала до хрипоты, не свистела, но минут через десять все вокруг нее наэлектризовывалось. Ее симпатии становились симпатиями окружающих, к ее репликам, хлестким, остроумным, прислушивались. И чутье у нее было поразительное, она чувствовала нерв игры и редко когда ошибалась в прогнозе. Как она радовалась победам или огорчалась поражениям «Металлурга» дома, в Заркенте, где играли их друзья! Джумбер, мокрый, злой, грязный, увидев в раздевалке Гияза, чуть теплел яростными глазами и говорил: «Гия (в команде его почему-то величали на грузинский манер), пожалуйста, уведи Глорию, стыдно в глаза ей смотреть за такую позорную игру».

А уж как счастливо, гордо несла команда с поля победу: каждый игрок, проходя мимо их трибуны, мимо их постоянных мест, словно гладиатор, клал победу, как драгоценный трофей, к ее ногам, и она, принимая, одаривала их не менее щедро — улыбкой, искренней радостью. Когда команда возвращалась с выездных игр с поражением, Джумбер, выслушав упреки Глории, отвечал шутя:

— Глория — талисман наш, там некому было дарить победу. Зачем мужчине победа, если некому ее дарить…

Гияз прекрасно помнил тот далекий осенний день, поразительно ясный, светлый, скорее похожий на весенний, хотя с гор уже несло предзимней свежестью. Его с Глорией буквально тащили сняться с командой, но Глория была неумолима.

— Это ваша победа, ребята,— говорила она, сдерживая волнение и слезы, целуя их мокрые, грязные лица, не замечая, что ее белое платье становится похожим на футболку Джумбера, отдавшего для победы все.

Познакомил его с Глорией футбол, а если точнее — Джумбер, но это одно и то же.

Странная вещь человеческая память: иное мы вспоминаем в цвете, в красках, с шумами, звуками, запахами и, что удивительно, вглядываясь в прошлое через время, иногда замечаем то, чего не было дано видеть тогда.

Заркент… В названии города для Гияза была понятная, слышная только ему музыка. У каждого есть город, при упоминании о котором вдруг вздрогнешь, и что-то внутри оборвется, и на миг сладко закружится голова. Город может быть любой: большой и маленький, старый или молодой, известный, знаменитый и тихий, с негромким названием, но не в этом дело — он должен стать твоим, частью твоего сердца. И, наверное, в таком городе должны закончиться твои последние дни,

чтобы не разрывалось сердце от воспоминаний. Это единственное место, где хоть одна живая душа да останется свидетелем твоей молодости и удач, где хоть однажды предстоит услышать: «О, ты был орел, а какая у тебя была девушка, теперь таких уже нет…»

Наверное, кое-кто скептически улыбнется — Заркент? Ну и вкусы! Да, в справочниках по обмену жилплощади он котируется невысоко, а впрочем, зачем объяснять, оправдываться? Просто это не твой город, даже если ты и живешь в нем. Жаль человека, у которого нет своего города, это все равно что быть обреченным на бездомность.

Тогда Заркент, ощетинившийся в жаркое азиатское небо стрелами башенных кранов, строился денно и нощно, и то, чего не было вчера, могло появиться завтра.

К приезду Гияза в городе уже обозначились кое-какие контуры. В центре, на небольшом естественном возвышении, чуть в стороне от главной улицы уже высился красавец-кинотеатр «Космос» с небольшим уютным скверик и фонтаном. Место это пользовалось у горожан большой популярностью и долгие годы, пока город не разросся и не появились другие, не менее примечательные ориентиры, служило местом свиданий. Но, пожалуй, особой гордостью Заркента в те годы был стадион. Недалеко от центра в огромной парковой зоне ему было отведено удобное место.

Хорошо спроектированный и умело построенный, изящный стадион на десять тысяч мест, с зимними спортивными залами, Дворцом водного спорта привлекал горожан, средний возраст которых тогда едва-едва превышал двадцать четыре года. Но этот небольшой стадион в молодом узбекском городе металлургов, городе, которому еще предстояло строиться и строиться, часто упоминался центральной прессой, особенно спортивной. Дело в том, что это был третий в стране стадион, имевший гаревые дорожки, и ранней весной самые именитые гонщики, большей частью из Уфы, съезжались в Заркент на сборы. И каждое воскресенье соревнование: что ни имя, то многократный чемпион мира, многократный чемпион Европы, многократный чемпион СССР, и перед каждой фамилией заветные для каждого спортсмена три буквы: «з.м.с.» — заслуженный мастер спорта. Такими афишами нечасто балуют болельщиков и большие столичные города. И красный шарфик Габдурахмана Кадырова, известный на весь мир, не одну весну развевался на заркентском ветру. Что творилось на стадионе, когда в последнем, решающем заезде встречались Игорь Плеханов, Борис Самородов, Габдурахман

Кадыров и кто-то четвертый — прорывавшийся в финал с лидерами соревнования. Асы были в силе, более одной дорожки не уступали, иной расклад был похож на сенсацию. Да и четвертым чаще других оказывался уже не раз уходивший и возвращавшийся на трек не менее именитый стареющий Фарид Шайнуров, или совсем молодой, невиданной отчаянности, словно коня поднимавший на дыбы мотоцикл, Юрий Чекранов — Чика, как ласково называли его в Заркенте. Побеждал чаще всего Борис Самородов.

По-девичьи изящный и по-девчоночьи стеснительный Габдурахман Кадыров, виновато улыбаясь в толпе своих поклонников, разматывая свой знаменитый шарфик, оправдывался — не вышло. Хотя ниже второго места опускаться себе не позволял, да и это второе зачастую определялось фотофинишем.

«Потерпите, я зимой возьму свое, не подведу вас»,— обнадеживал кумир и отвергал платочки девушек. Гарь надушенными платочками не снимешь. И пока «гонялся», не было ему равных в спидвее, гонках на льду, так и ушел непобежденным, семикратным чемпионом мира и двенадцатикратным чемпионом СССР, и красный шарфик короля спидвея долго вспоминали на ледяных аренах многих европейских столиц.

Позже Глория как-то сказала Гиязу: ей хотелось, чтобы в новом Доме молодежи большую стену фойе украшало мозаичное панно «Мотогонщики», и не абстрактные лица гонщиков, а именно как было в жизни: Самородов — Кадыров — Плеханов, летящие к виражу, к первой дорожке, посередине — обязательно Габдурахман с легендарным развевающимся шарфом.

И стоило ли удивляться, что кумирами молодого города были спортсмены? Что гонщики! Они, как мираж, покрасовались в своих кожаных комбинезонах и немыслимых расцветок ярких шлемах известных фирм, вихрем пронеслись — и лица не разглядеть — и в один день, загрузив свои бесценные машины, которым уделяли больше времени, чем поклонницам, уезжали, оставив лишь сладкий запах особой заправки и гари на стадионе.

Истинными кумирами были футболисты…

Глория… Он хотел найти ее фотографию, но тут же передумал. Зачем, стоит ему захотеть, и она встанет перед глазами. И вдруг с мыслью о Глории Исламову почудился в купе запах весеннего заркентского ветерка, там он особенный, потому что с трех сторон Заркент окружен горами и только к Ахангарану и Ташкенту выходит

широкой, вольной степью. А в горах розово цвели миндаль и орех, и словно усыпанные большим снегопадом, стояли старые яблоневые сады — много гектаров,— и запах цветущего миндаля и яблонь, запах буйно зазеленевших гор тогда заполонял низину, дурманя и без того горячие молодые головы.

Да, познакомились они весной. Гияз уже работал старшим прорабом. Он отчетливо помнит и то, что день был субботний, рабочий, тогда о пятидневке только поговаривали. Начальник управления, строитель со стажем, по субботам разносы не устраивал, для этого хватало каждодневных и обязательных планерок. В конце совещания, смотря на своих мастеров и прорабов, поглядывавших в распахнутые настежь окна, сказал с притворным недовольством: «Вижу, вижу, что у вас весной на уме: футбол да этот, как его, спидвей. Весь город с ума посходил. Ладно, все. Бегите и вы». И отпустил минут на сорок раньше обычного. Линейщики, как мальчишки, рванулись к двери, вмиг устроив затор, кто-то из нетерпеливых даже выпрыгнул в окно.

Они, молодые, и не догадывались, что идея стадиона, как наиглавнейшего объекта для молодого города, принадлежала их суровому начальнику. И футбол он любил не менее своих горячих подчиненных, да только времени, как ни крути, на все не хватало. Строительство такого важного государственного объекта, как свинцово-цинковый комбинат, абы кому не поручат. Начальник стоял у распахнутого окна, глядя, как его ребята, не дожидаясь маршрутных автобусов, дружно штурмуют идущие в город машины. «Пока у них есть такой азарт, интерес, комбинат мы обязательно построим»,— думал хозяин опустевшего кабинета. А строить за первой очередью — вторую, за второй — третью, это на годы и годы. Не всякий выдержит двенадцатичасовой рабочий день и каждодневную ответственность за объект, за людей. Да и молодость должна остаться в памяти не одной стройплощадкой, уж это он знал.

Гияз помнил, как добирался на машине чужого СМУ до общежития, как спрыгнул почти на ходу, как летел на свой третий этаж, одолевая в три прыжка лестничный пролет, словно предчувствовал, что сегодня в его жизни должно произойти что-то важное, исключительное. Как просто было в молодости: принял душ, надел свежую сорочку, отутюженный костюм, глянул в зеркало — и куда усталость непростого дня девалась, куда только отодвинулись заботы, немалые для их лет и должностей. У каждого времени — свой стиль, манеры, жаргон, кумиры, своя мода, и если кто попросил бы Гияза назвать

самую характерную черту молодежи его юности, он, не задумываясь, ответил бы — аккуратность и, пожалуй, постоянное стремление стать лучше, чем ты есть.

Законодателями мод в молодом городе слыли футболисты, ребята из Тбилиси, Москвы, Ташкента… А команда ориентировалась на своего капитана, беззаветно преданного футболу, классного игрока, человека предельно аккуратного, с врожденной грузинской элегантностью и вкусом. Небритый, со спущенными гетрами, мятой рубашкой футболист — картина, привычная ныне даже для международных матчей, а у Джумбера на рядовой матч в грязных бутсах, бывало, никто не выйдет.

Включив проигрыватель, Гияз одевался под музыку и вспоминал девушек-отделочниц, штукатуривших сегодня потолки главного корпуса. Казалось, после такой тяжелой работы не могло остаться никаких желаний, только бы добраться до общежития, отдохнуть. Ан нет, молодость брала свое: в конце дня девушки работали, пританцовывая и напевая веселую песенку собственного сочинения, где припев кончался озорным: «О, суббота! О, суббота!»

А за окном субботний вечер уже вступал в свои права, из парка доносилась музыка, медленно пустело общежитие, зажигались уличные фонари. Поспешил и Гияз, у него уже были свои любимые места отдыха, к тому же он знал — приехали мотогонщики, на завтра афиши обещали большие гонки, и он догадывался, где сможет увидеть знаменитых гостей.

В начале шестидесятых досугу молодежи стало уделяться больше внимания, тем более поветрие это не могло не коснуться жизни такого города молодых, как Заркент. Дома молодежи, молодежные клубы, Дворцы спорта, Дворцы счастья, театры-студии, молодежные театры, вокально-инструментальные ансамбли, молодежные кафе — многое из привычного и обыденного ныне зародилось тогда. И Заркент, имевший своих молодых архитекторов и молодых строителей, на средства от комсомольских воскресников построил на общественных началах летнее молодежное кафе, удивлявшее всех приезжих архитектурой, смелым строительным решением и интерьером. Приближаясь к «Жемчужине», Гияз услышал звуки настраиваемых инструментов. Уже издали гигантская приоткрытая раковина, освещавшаяся яркими прожекторами, сулила праздник и веселье. Краски и свет являлись одними из многих компонентов в архитектурном решении «Жемчужины». Кафе поначалу было задумано архитектором

как массовое, ведь город — общежитие на общежитии, и летним, потому что девять месяцев в году в Зарканте прекрасная погода. Зачем же людей загонять в железобетонные клетушки и стеклянные аквариумы, пусть отдыхают на воздухе, дышат, танцуют. Гигантская раковина «Жемчужины» не покрывала собой и трети посадочной площади кафе, отлитой из мраморно-гранитной крошки и отполированной до зеркального блеска. Площадь эта разделялась на сектора медными пластинами различной толщины, утопленными в еще не застывшей массе и после шлифовки оставившими на поверхности четкую золотую линию. Каждый сектор заполнялся крошкой определенного цвета и имел в середине своей экзотический цветок из тех же золотистых линий. И чтобы в ненастье, в редкий дождь или неожиданный весенний ливень не попавшие под козырек жемчужной раковины отдыхающие не считали себя обойденными, в каждом секторе в определенной точке «росло» по диковинному, точно из каких-то неведомых стран, стилизованному дереву с причудливыми громадными листьями, «защищавшими» и остальные столы.

Гияз остановился на слабом световом пятачке у входа и оглядывал столы. Сегодня здесь собрались многие его знакомые: и ребята из СМУ, и отделочницы с его участка, и даже Силкин обещал прийти с женой, если удастся к кому-нибудь пристроить близнецов на пару часов. И вдруг его окликнули:

— Гия, иди к нам.— От столика под экзотическим деревом ему приветливо махали Джумбер, Тамаз Антидзе и Роберт Гогелия, крайние нападающие «Металлурга».

Гияз улыбнулся, поднял руку, приветствуя друзей. Приближаясь, он заметил за столом девушку, сидевшую напротив Тамаза и спиной к нему. Высокая шея ее казалась хрупкой, незащищенной, потому что тяжелые, жгуче-черные волосы были собраны в тугой узел на затылке.

— Вы не знакомы? — спросил Джумбер, перехватив заинтересованный взгляд Гияза.— Глория, познакомься, пожалуйста. Гия — наш друг и начальник в одном лице, что случается в жизни крайне редко.

— Глория.— Девушка, привстав, кокетливо протянула ему через узкий стол руку, а Гияз, наклонившись, поцеловал ее у тонкого запястья.

Наверное, давно, тоже по весне, в Озерном Наталье привиделся сквозь время этот вечер, а может, и эта девушка в черном, когда она смахнула украдкой слезу и подарила Гиязу букет сирени.

— Так, значит, вы — тренер, зашли посмотреть, как ваши подопечные проводят досуг? Доложу: у Тамаза уже пятая сигарета, вот они все в пепельнице лежат.

— Такая красивая, говорят, умная, а оказывается, обыкновенная ябеда,— перебил ее, улыбаясь, Тамаз и достал из пачки еще одну сигарету.

— Я не тренер, Глория.

— Джумбер, опять твои штучки? Ты ведь сказал, что Гия — ваш начальник.

— Он и есть, дорогая, наш главный начальник. Кормилец наш… — и Джумбер с Тамазом, не сговариваясь, разом обняли Гияза.

Видя растерянность девушки, которой показалось, что ее разыгрывают уже втроем, Гияз поспешил все объяснить, чтобы она не обиделась:

— В каком-то смысле я и есть их начальник. Хоть и вижу их нечасто: вот здесь в «Жемчужине» по вечерам или у «Космоса», и, конечно, на поле в игре. Но наряды на зарплату нападающим ежемесячно закрываю я, эти трое орлов числятся рабочими на моем участке. Джумбер в этом месяце — плотник шестого разряда, он капитан, лидер. Тамаз с Робертом проходят по пятому, рангом ниже, потому что забивают маловато.— И, продолжая шутить, подлаживаясь под общее настроение, сказал, обращаясь только к Глории: — Если они сегодня ведут себя недостойно и не оказывают должного внимания единственной девушке за столом, я их непременно понижу в разряде. Удар по карману — самый эффективный удар, так считает мой начальник.

— Глория, я вижу у вас на глазах слезы… Не бойтесь, Гия добрый и слишком любит футбол, чтобы пойти на такой шаг…

За столом дружно рассмеялись шутке Джумбера.

Неразговорчивый Роберт за спиной Джумбера подавал официантке какие-то знаки, и вскоре она явилась с большим блюдом темно-бордовой черешни.

— Так вы строитель? — спросила почему-то обрадованно девушка.

— Да, старший прораб.

— А мы с вами отчасти коллеги, я ведь архитектор. Но я всегда воюю со строителями — миром ничего не выходит. Они говорят, меня в тридцать хватит инфаркт… Она вдруг попросила Тамаза поменяться местами и, сев рядом с Гиязом, мечтательно

продолжала: — Как было бы здорово, если бы я создала что-то необычное, выдающееся для нашего города, а вы бы построили. Мне кажется, вы бы не стали доводить меня до инфаркта, вы бы понимали меня,— закончила она вдруг совершенно на другой ноте.

В глазах ее Гияз уловил грусть. «Странная девушка»,— мелькнула мысль у Исламова.

— Глория, нечестно при нас, твоих старых поклонниках, говорить такое. А вдруг Гия зазнается?

За столом опять воцарилось непринужденное веселье. Недалеко от них, в соседнем секторе, за несколькими столами сидели гонщики и, вероятно, технический персонал, сопровождавший именитых спортсменов.

— Покажите мне Кадырова,— попросила вдруг Глория

— Вон, смотри, киты сидят отдельно, за столом рядом с оркестром,— подсказал молчавший до сих пор Роберт

За большим столом сидели человек семь. Те, что постарше, были в костюмах, при галстуках, а те, что помоложе,— в джинсах, пуловерах с яркими эмблемами и однотонных рубашках — лет на пятнадцать опережая нашу нерасторопную моду. Чувствовалось, что мир они повидали. Держались тихо, с достоинством.

Заиграл оркестр. Тамаз, извинившись, пошел пригласить девушку, сидевшую за соседним столом.

— Я бы так хотела потанцевать с Кадыровым. Говорят, общение со знаменитостью приносит удачу. А я суеверна. И тоже хочу быть знаменитой! — закончила Глория серьезно, глядя куда-то вдаль. Видимо, мысли ее были не здесь.

— Если хочешь потанцевать, пригласи,— спокойно сказал Джумбер, не обратив внимания на тон, каким были произнесены ее слова.

— А вдруг откажет? — с неподдельным испугом сказала Глория, и это еще больше удивило Гияза.

— Тебе? — с удивлением спросил Джумбер и заулыбался.— Хотел бы я видеть того парня, который тебе откажет!

— А, была не была! — сказала она озорно, и немыслимо было поверить, что минуту назад она робела и сомневалась.

— Посмотри, Гия, как они танцуют, беседуют, словно старые друзья. Разве скажешь, что Глория ростом выше Габдурахмана? Удивительное умение держаться. Смотри, Гия, не влюбись, такая девушка — и счастье, и погибель для нашего брата…

Закончили они вечер вместе с гонщиками, и Глория до конца оставалась единственной девушкой за столом. Провожали гостей до гостиницы всей компанией, и гонщики всю дорогу допытывались у Глории, за кого же она завтра будет болеть. Она, не задумываясь, отвечала, что, как и все в Зарканте,— за Габдурахмана, ответом своим смущая и без того стеснительного Кадырова. У гостиницы нехотя распрощались,— гонщиков ждал трудный день. Джумбер, обращаясь к Гиязу, попросил:

— Гия, пожалуйста, проводи Глорию, я сегодня за тренера, негоже самому опаздывать на отбой, да и завтра у нас ранняя тренировка. И ты, если не проспишь, приходи.

Гияз при случае проводил время на тренировках, принимал участие в двусторонней игре.

Они шли по обезлюдевшим, тихим улицам, и Глория вдруг спросила:

— Гия, тебе нравится «Жемчужина»? Я имею в виду архитектуру, интерьер?

— Замечательное кафе. Я мало где бывал, Глория, если признаться, но в Омске, например, где я учился, такого заведения, роскошного и доступного молодым, нет.

— Почему же ты не поздравил меня? — спросила она вдруг, словно обидевшись.

— С чем? — спросил растерянно Гияз.

— Разве месяц назад ты не был на открытии «Жемчужины»?

— Мне не удалось, хотя я и знал об этом событии. Работал во вторую смену.

— Ах, вот оно что,— сказала она неопределенно.— А кто архитектор, слышал?

— Только краем уха, какая-то армянская фамилия.

— Караян?

— Да, да, солидная фамилия, звучная, наверное, известный архитектор.

— Тогда разрешите представиться — Глория Караян.— Девушка остановилась и, шутливо раскланиваясь, протянула руку.

— Ты дочь этого архитектора? Пожалуйста, поздравь отца — достойная восхищения работа.

— Гия, еще одно оскорбление, и я уйду…

Гияз даже сбился с шагу, ошарашенный…

— Ты… ты архитектор «Жемчужины»? Такая…

— Продолжай, продолжай… Какая же? Хотел сказать — сопливая. Ох уж эти строители…— но в ее голосе не было осуждения, напротив, она не скрывала радости, что смогла ошеломить Гияза.— Добавлю к сведению: Караян, может, и напоминает армянскую фамилию, но во мне нет армянской крови… Мои далекие предки — известные в Европе зодчие, в Россию были приглашены полтора века назад, и вот через несколько поколений во мне проявились их гены.

Гияз все еще не мог прийти в себя.

— Как же тебе это удалось, Глория?

— Тебе правда интересно? — Глория взяла его под руку.— Тогда слушай…

Я была здесь полгода на преддипломной практике. Город понравился мне как архитектору, потому что практически все здесь начиналось с нуля и был редкий шанс проявить себя. Город понравился мне, я — «Градострою», где проходила практику, и мне предложили по окончании института вернуться в Заркент. Молодой город, молодые жители. И вот тогда-то мне и пришла в голову эта идея. Она должна была отражать запросы молодых. Передо мной стояла задача создать нечто среднее между привычной танцплощадкой, фактически уже выродившейся или деградирующей, и салоном, хотя в салоне меня привлекали только атмосфера праздника и столы, за которыми можно отдыхать, беседовать между танцами. Но главную идею мне подарил сам город: жаркий климат, обилие фруктов и жажда, постоянная потребность в газированной и минеральной воде, мороженом… Ты, наверное, обратил внимание на то, что в «Жемчужине» нет традиционных стоек с дорогостоящими аппаратами для кофе «эспрессо», как и вообще нет кофе, напитка нетрадиционного для Узбекистана. Зато я предусмотрела цех мороженого и газированной воды, и «Жемчужина» не зависит от завоза. Тут я взяла на себя функции не только архитектора. Я ведь, как и все, потребитель, и еще молодой, и попыталась защитить интересы молодых. Оттого и предусмотрела этот цех, ведь торговля, заполучив точку, рано или поздно не захочет иметь дело с завозом копеечной воды и мороженого, а загрузится дорогим коньяком. А тут у цехов определенная мощность, хочешь не хочешь, приходится торговать. Все это я знала, еще не представляя себе самого кафе, но это оказало мне огромную помощь. Азарт охватил меня по-настоящему, когда я наткнулась на место, словно специально для меня приготовленное. Каждый вечер я приходила на пустырь и мысленно представляла свое кафе, но все было не то… Если что мне

и нравилось, оно оказывалось громоздким, дорогостоящим. Я знала, что конструкция должна иметь минимальную стоимость и быть отстроенной максимум за полгода. Я не наскучила тебе, Гияз?

Но, видя, что он слушает внимательно, воодушевленно продолжала:

— Я ходила на пустырь ежедневно, на заре, на закате, в полдень и в сумерках. И там мне пришла другая, не менее важная идея. Если сам город подарил мне функциональное решение, то место одарило уверенностью, что мечта моя сбудется. И вот почему…

Я подумала — кто я такая? Не улыбайся, Гия, меня часто одолевают сомнения. Кто будет рассматривать мой проект? Кто его одобрит? Кто включит его в список строительства и на какой год? Однозначно и уверенно я не могла ответить ни на один свой вопрос. Но знала, что на пробивание проекта в лучшем случае ушли бы годы. А мне хотелось проявить себя сейчас, немедленно, был у меня такой творческий зуд. И я решила сделать проект на общественных началах как личный дар городу, а затем вынести свою работу на суд горкома комсомола, на суд молодежи, а в том, что я сделаю что-то стоящее, я уже не сомневалась.

Перед неожиданным в ночи красным светофором на перекрестке Глория вдруг сказала, сбиваясь на шутку:

— Такая вот я тщеславная…

— Но тщеславие — это не всегда дурно,— поспешил успокоить ее Гияз, не понимавший в данный момент, чего ему больше хочется — слушать девушку или смотреть на нее.

— Проект на общественных началах предполагал и общественную стройку. За финансирование я не боялась: молодежь заработает деньги на воскресниках, если будет знать, на что пойдут деньги. Мне оставалось месяца два до окончания практики, когда я уже знала, какой должна быть «Жемчужина». Своей идеей я поделилась со своим руководителем, который меня понял и поддержал. Он и предложил мне вернуться в Заркент после окончания института. Мне выделили отдельную комнату, где я запиралась с самого утра и иногда просиживала до глубокой ночи.

Опять же меня выручила моя рациональность. Я поняла, что сделать проект меньше, чем за шесть месяцев, мне не под силу, а в горком я хотела сходить до отъезда. Я сделала эскизный проект, макет, много рисунков: общий вид на огромном листе, отдельно саму раковину, в общем, подготовила выигрышные детали, все в цвете.

— Да ведь это одержимость какая-то! — с восхищением воскликнул Гияз.

И Глория улыбнулась ему с благодарностью за понимание.

— Так оно и было… За неделю до моего отъезда главный архитектор организовал мне встречу с секретарем горкома комсомола. Тот оказался строителем, и я сумела заразить его своей идеей. Секретарь горкома только спросил, смогу ли я так же убедительно, как у него, выступить перед городским активом комсомола. Я ответила, что готова отстаивать свою идею на любом уровне. Молодые коллеги из «Градостроя» помогли мне организовать стенды, по этой части у них был опыт. Но я знала, что показать мало, надо убедить. Я написала для себя речь, десять страниц машинописного текста, где старалась пояснить, что каждая деталь моего кафе существует не сама по себе, а придумана мною именно для Заркента, для среднеазиатской зоны. Например, полы. Почему наливные из мраморно-гранитной крошки? Потому что с этим материалом в Узбекистане нет проблем, потому что полированные полы гигиеничны, а главное — они держат прохладу. Если за полчаса до открытия обдать их водой из шланга, они обретают цвет, свежесть и весь вечер остаются прохладными, что немаловажно, если даже вечером в Заркенте далеко за тридцать. В общем, я взяла зал не столько проектом, сколько своей уверенностью… Мне задавали много вопросов — в зале сидели строители,— и я на все отвечала, смелея от вопроса к вопросу, ведь себе я на них ответила уже давно. Я даже знала, сколько нужно организовать воскресников, чтобы профинансировать стройку. Конечно, понравились активу и эскизы, и макет. На этой встрече были футболисты, там я и познакомилась с Джумбером. Реальность и близость сроков взволновали зал. Тут же на активе избрали штаб стройки. Молодые архитекторы и проектировщики вызвались довести дело до конца, ведь предстояло, как говорится, начинать с нуля: рабочие чертежи, сметы, расчеты.

Домой я улетела счастливая, окрыленная. Весь год ко мне в Ленинград звонили из штаба стройки: деловые разговоры, консультации. На зимние каникулы горком за свой счет вызвал меня в Заркент, и я визировала чертежи, привязывала план на местности. А по окончании института даже вела авторский надзор за отделкой. Вот такая была работа! Не проще твоей, правда?

Гияз ошеломленно молчал. Вот так девушка! Какая хватка! И он как бы заново увидел Глорию: красивая, элегантная и удивительно женственная.

Гиязу не хотелось расставаться с девушкой, хотелось слушать ее, ведь, говоря о делах, она говорила о себе.

— «Жемчужина» стала твоей дипломной работой?

— Самое смешное, что нет. Я о ней даже не упомянула в Ленинграде. Вот обещал приехать на днях специалист по цветной фотографии из Ташкента, он заснимет «Жемчужину», и я отправлю снимки в институт. Обязательно сделаю это. Там есть залы, где демонстрируются работы выпускников. А дипломная работа моя признана неактуальной, ненужной, еле-еле зачли защиту.

— Что же ты такое сотворила? — с интересом спросил Исламов.

— Ну, эта история покороче. Учти, я никому об этом не рассказывала. Знаешь, как я впервые попала в Узбекистан? С институтской сборной по волейболу поехала на студенческие игры в Ташкент. Ну, конечно, нам показали и Бухару, и Самарканд. Тогда я влюбилась в Узбекистан, потому и напросилась на практику в Заркент. А, думаешь, что меня больше всего поразило, как будущего архитектора, в Узбекистане? Гур-Эмир, Бибиханум, медресе Кукельдаш или старый базар в Ташкенте? А вот и нет. Более всего я была поражена… местной лепешкой. Да, да, обыкновенной лепешкой. Ничего вкуснее в жизни не ела. Горячая, румяная, и словно веснушки на ней — кунжутные семена. Белая, пышная, а пахнет — дух захватывает! Ты знаешь, какой самый стойкий запах на восточном базаре? Запах специй и приправ, зелени, фруктов? Нет, не угадал, я проверяла — запах лепешечных рядов. На любом базаре я найду лепешки, не спрашивая, где ими торгуют. Я была так поражена, что не могла не поинтересоваться, как они пекутся. Изумление мое было, видно, столь неподдельным, что меня пригласили в гости. И там я впервые увидела тандыр.

Лепешка, тандыр, Ташкент натолкнули меня за два года до окончания института на тему моей дипломной работы. Тогда у меня была бездна времени, и я продумала не один вариант, но даже лучший, на мой взгляд, забраковали, назвали фантазией. Заключение по проекту было почти комичным: «Не отвечает растущим жизненным потребностям советского человека». Как будто я для французов старалась.

Видимо, воспоминание о дипломной работе сильно взволновало Глорию. Гияз чувствовал, что обида не оставила ее до сих пор.

— Знаешь, Гия, в чем моя слабая сторона как архитектора? Ни за что не догадаешься. Мне всегда хочется, чтобы создаваемый

мною объект был доступным для многих. Вот «Жемчужина» — массовое заведение. Никогда не думала, что во мне так сильно развито социальное отношение к своему труду. Я бы никогда не смогла вложить душу, например, в органный зал, хотя знаю и люблю органную музыку. Отдыхая с родителями на Рижском взморье, не пропускала в Домском соборе ни одного концерта. Знаю и то, какая это выигрышная тема. Публика, посещающая органные концерты, оценила бы по достоинству работу архитектора, и имя мое могло бы стать известным. Да, я тщеславна. Я хочу стать известной, знаменитой, но самовыражение, которое оценит лишь избранная публика,— это не для меня. Знаешь, когда уже заканчивали отделывать «Жемчужину», я вдруг поняла, что, вероятнее всего, никто из посетителей никогда не спросит, чья это работа. И это открытие нисколько не огорчило меня. Мне хотелось другого — чтобы здесь отдыхала душа, радовался глаз, чтобы человек здесь чувствовал себя раскованно.

— Глория,— нетерпеливо перебил ее Гияз,— но ты добилась своего. Разве это не награда?

Она кивнула, соглашаясь, и замолчала, думая о прошлом. Гияз коснулся ее локтя, как бы приглашая к продолжению разговора. Глория вновь оживилась.

— Тогда в Ташкенте меня поразила лепешка. Стоимость ее — десять копеек, а за чайник чая в любой узбекской чайхане берут три копейки. Пятнадцати копеек достаточно человеку в Узбекистане, чтобы перекусить, если рядом есть чайхана. Из подобных функциональных задач и родилась моя идея маленькой автономной пекарни-магазина. Такие пекарни я мысленно видела в студенческих общежитиях, на стадионах, в крупных кинотеатрах, на вокзалах, в аэропортах и даже в жилых массивах, где к определенному часу были бы свежие лепешки, лаваши, хачапури, чуреки,— неважно, как это называется. И непременно чай для тех, кто решил отведать здесь же, прямо из печи, горячий хлеб, и, опять же, все обошлось бы копеек в пятнадцать-двадцать. Тогда сама по себе отмерла бы необходимость пропаганды беречь хлеб. Эти пятнадцать копеек и сгубили меня… Меня чуть ли не в крохоборстве обвинили, в непонимании растущих потребностей нашего человека, наших возможностей. Особенно вывело из себя дипломную комиссию сделанное мною в конце замечание, что я согласна добавить к чаю вологодское масло и черную икру, хотя это было бы уже из другой оперы. Я же не игнорировала нашу мощную хлебопекарную промышленность, хоть меня и обвиняли

в этом оппоненты, я только хотела, чтобы люди могли без лишних хлопот купить горячий хлеб. И, быть может, мои маленькие, не обезличенные пекарни-магазины с тетей Дашей или дядей Кудратом заставили бы хлебопекарную промышленность по-новому посмотреть на себя и понять, что наше отношение к хлебу зависит и от нее. Вот такое фиаско я потерпела на защите. Но, думаю, мои предки за меня не очень бы краснели, я держалась молодцом и ни на минуту не усомнилась в своей идее, просто, наверное, мое время еще не пришло.

Гияз и не заметил, что они давно уже стоят у какого-то подъезда.

— А вообще-то мы уже шесть раз обошли мой квартал,— рассмеялась Глория.— Вот здесь я живу, на втором этаже,— она показала на ближайший дом.— К себе не приглашаю, поздно уже. До свидания. Рада знакомству с тобой, Гия.

И она, торопливо попрощавшись, скрылась в темном подъезде, а Гияз стоял у ее дома, пока не загорелось и не погасло окно на втором этаже.

Он шагал по сонным, безлюдным улицам Заркента, снова и снова вспоминая сегодняшний удивительный вечер и неожиданное знакомство. Так, в раздумье, он не заметил, как вновь очутился у «Жемчужины». Горели редкие фонари, освещая тускло блестевшие полы, на миг Гиязу почудились музыка, смех, как несколько часов назад. Он прошел внутрь, теперь уже иными глазами рассматривая «Жемчужину». Вдруг он скорее почувствовал, чем заметил, что в красном круге для танцев орнамент из золотых линий, напоминавший экзотический цветок, был несколько странным, с секретом, что ли. Обнаружил Гияз и то, что, при общей похожести, в каждом из четырех кругов для танцев цветы были разные. Вглядевшись в них повнимательнее, как в криптограмму, Гияз увидел искусно зашифрованные в линиях цветов четыре варианта монограммы из букв «Г» и «К». Глория ему ничего об этом не говорила, но он ясно читал ее автограф: «Глория Караян»…

…А поезд мчался в ночи, прорезая степную тьму мощным прожектором тепловоза. Мелькали огнями полустанки, разъезды, маленькие станции, мимо которых экспресс проносился без остановок. И людям на этих разъездах казалось, наверное: вот она, другая жизнь, промелькнула, просияв яркими огнями, обдав запахом нездешних благодатных мест. И думалось им, возможно, что едут в прохладных вагонах, беседуя о чем-то высоком, счастливые

люди, и там, в конце пути, их ждут верные друзья, любимые, дела исключительной важности, в общем, жизнь, похожая на красивые цветные фильмы. Лица же дежурных, дающих «добро» на сквозной проход по главному пути, размывались скоростью, как смазанная в фокусе фотография, и невозможно было что-либо разглядеть на этих лицах, выдубленных жарким солнцем и степными ветрами. Вот уж дежурные-то никому и ничему не завидовали, привыкли и к поездам, и к самым разным пассажирам; скорее всего — не завидовали, потому что даже свой ежегодный бесплатный билет, гарантирующий им право проезда в любой конец огромной страны, они использовали редко. Их одолевали свои заботы: захромала кобылица, злой коршун утащил цыпленка, опять не завезли муку на разъезд, протекает крыша, третью зиму дымит печь, и давно уже нет писем от сына, который, вкусив городской жизни, вряд ли вернется сюда, на глухой полустанок… Вот так, пытаясь переключиться на чужую жизнь, Гияз одиноко стоял в коридоре…

Среди хаоса разбросанных по дивану бумаг выделялась пачка писем, по-девичьи аккуратно перевязанная алой лентой. Он догадался — его письма к Наталье. Сейчас уже он не помнил, возвратила ли она их ему или переслала в Озерное на дом, зная, что они рано или поздно все равно попадут к нему. Судя по количеству, письма были только из Заркента. Из Омска или не сохранились, или, наоборот, хранились у нее. Те письма были частью ее жизни, их любви, в каждой строке сквозила обнаженность чувств.

Нет, сейчас никакая сила не заставила бы его перечитать хоть одно письмо из той пачки с алой тесемкой. И не потому, что он знал, помнил, о чем писал.

Как-то Глория, в пору их счастливых отношений, рассказала ему о Жане Кокто… Без повода и причин, просто читала в те дни о нем. Оказывается, после смерти поэта биографы разыскали — или они отыскались сами, не в том суть — четыре удивительно нежных любовных письма, написанных в один день… четырем женщинам. Ни одна из этих женщин не отказалась от письма, более того, каждая считала, что письмо адресовано только ей и полностью отражает суть их отношений и любви большого поэта, хотя текст писем был идентичным, словно под копирку написанным.

Но ведь он не Жан Кокто, и он любил Глорию.

Даже сейчас Гияз не мог объяснить себе, почему тогда, постоянно думая о Глории, он продолжал почти с полгода еще писать нежные

письма Наталье. Может, слова адресовались ей, а чувства — Глории? Сейчас он запоздало стыдился своего малодушия, очень похожего на предательство. И не спасало, и совсем не оправдывало его то единственное письмо, наверняка лежащее в этой же пачке, где он неожиданно сообщил Наталье, что влюбился и женится. Хотя тогда об этом у них с Глорией и речи быть не могло: никаких перспектив, сплошная неопределенность, но девушка уже прочно вошла в его жизнь, ему казалось — навсегда.

На миг мелькнула мысль о том, что в пачке должно быть и ответное письмо Натальи, но он тут же погасил в себе любопытство. О чем оно — легко было догадаться, какие она избрала слова — теперь это уже не имело значения. Гневные обвинения, презрение, мольба, унижение? Любой вариант означал горе, крушение девичьих надежд, и стоило ли любопытствовать, унижая ее еще раз. Он вернулся в купе и взял в руки пачку.

Действительно, верхнее, нераспечатанное письмо было от Натальи. Он постоял в нерешительности, раздумывая, как поступить, и вдруг, одним движением опустив створку вагонного окна, резко швырнул письма под откос, в густые заросли придорожного джингиля. Пусть долгие осенние дожди выбелят слова обмана, пусть ветры разорвут ложь в клочья и разнесут по молчаливой степи, пусть немилосердное азиатское солнце сожжет слова невыполненных клятв и обещаний. А если случится, что пожелтевшие письма почти двадцатилетней давности, написанные уже потерявшими цвет чернилами, и попадут кому-то в руки, так пусть тот в искреннем негодовании помянет недобрым словом некоего Гияза Исламова…

…Сон не шел, мысли не давали покоя… Гияз вроде бы уже и сожалел, что забрал пакет из дома, но, с другой стороны, бумаги эти волновали, притягивали. Словно в них, кроме жизни его самого, друзей, Глории, таилось еще что-то такое, чего он не понял тогда в своей судьбе. Пробежал мимо, проглядел, что ли.

Следующее письмо, написанное торопливо, несколько неряшливо, начиналось так:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Теперь я начальник участка. За полтора года это, конечно, рост, но в условиях нашей стройки, нашего города — вполне закономерный. Вы просите подробнее написать о моей работе? Подробно не получается — все нет времени, но чтобы понять ее суть, скажу, что прорабы уходят на пенсию в пятьдесят пять, а стажа прорабского

достаточно пятнадцати лет. Льготы как в шахте или у мартена, одним словом — вредный цех.

Мои товарищи частенько в шутку пугают друг друга инфарктом. Оказывается, самый высокий процент смертности от сердечных заболеваний среди прорабов, и чаще всего они умирают от сердечного приступа… Умирают, правда, и артисты на сцене, но мои коллеги уверяют, что гораздо реже. Простите за мрачный юмор. Все мои друзья молоды, энергичны, так что думать нам об инфарктах рано, да и некогда, вот если бы выспаться дня три подряд! Да, вот, отец, еще одно сравнение, и тебе станет понятной моя работа. Это очень похоже на хлебоуборку, когда на счету каждый день, каждый час. Такое же напряжение, такие же требования, такая же тьма начальства, все наперебой требуют: давай, давай, жми.

Но есть и существенное отличие… Хорошая уборка две-три недели длится, самая плохая — от силы четыре-пять, и все, баста! Впереди праздник урожая, сабантуй и долгая зима…

А стройка — такая, как наша, особо важная — сплошная хлебоуборка. Сдадим одно — давай другое, дашь другое — налегай на третье. И так будет всю жизнь, как уверяют меня мои старшие рано полысевшие коллеги.

А попробуй я, прораб, заговорить с рабочими таким тоном и на таком языке, как разговаривает со мной мое управленческое или трестовское начальство, они, рабочие, чего доброго, подали бы на меня в суд. А все потому, что наш главный начальник — матерщинник, каких свет не видел, как говорят, ас в этом деле,— отсюда, как эпидемия, расходятся круги; одни изощряются в охотку, другие подражая, третьи из подхалимажа, но и то, и другое, и третье отвратительно».

Гияз отложил письмо и не то с горечью, не то с сожалением улыбнулся. Он помнил, прекрасно помнил свое назначение начальником участка, помнил и то, что хотел написать отцу, но не написал. А не написал он о том, что открыл для себя новый социальный тип. Нет, конечно, такой точной формулировки у него в ту пору еще не было. Она пришла позднее — социальный тип. А тогда это был просто тип — Юра Силкин. Гияз искренне радовался своему назначению — это открывало возможность для роста, но в ту радостную минуту он перехватил взгляд Юры Силкина и прочел в нем иронию и… сочувствие. Силкина профессиональный рост занимал менее всего. Более того, он сделал совершенно неожиданный для Гияза ход.

«Представляю, как он смеялся надо мной в душе! Теперь-то я уверен, что он поступил сознательно, просчитав все варианты»,— подумал сейчас Исламов.

В прорабах Силкин проходил ровно полтора месяца, то есть успел сдать один материальный отчет (а он на двадцати страницах, тысяча наименований), закрыл наряды рабочим своего объекта, подписал форму два (выполненные работы) у заказчика (большого искусства, дипломатии требует этот этап прорабской работы) и, видимо, сразу просчитал прорабскую жизнь на много лет вперед. Тогда он пришел к начальству и начал плакаться: у меня, мол, двое детей, жена не работает, пустая квартира, и на сто сорок прорабских рублей никак не свести концы с концами. А потому разрешите с годик бригадиром поработать, то есть рабочим. Стройка большая, толковых бригадиров днем с огнем не сыщешь, да и парня вроде жалко, разрешили Силкину бригаду организовать — как раз новый объект начинали.

И вскоре Силкин преобразился: раздобрел, приосанился, ходил в белых рубашках. Работа-то четко нормированная — с девяти до шести, меньше шестисот не получает. В больших коллективах положен освобожденный бригадир, а работа его почти дублирует работу мастера, прораба, только юридической и материальной ответственности — никакой.

Бригадир из него получился выдающийся, начальство не могло нарадоваться; чтобы к нему в бригаду попасть, конкурс надо было выдержать, прямо как в институт,— всякого Силкин к себе не брал. Пользуясь случаем, ободрал всю стройку, всех умельцев вокруг себя собрал. Люди знали: у Силкина зашибить деньгу можно. Что-то кондовое, кулацкое поперло из молодых мужиков и производило странное впечатление: вроде хорошо работают, но готовы соседу горло перегрызть. Видно, «кулак» — не совсем отжившее понятие и совсем не деревенское. Напрашивался Силкин поработать и на участке Гияза, но тот отказался, знал уже, как большая-то деньга делается — Силкин всю выгодную работу приберет к рукам. Инженер все-таки, не ленится наперед в чертежи и сметы заглянуть.

И самое удивительное — стал Силкин уж очень активным, и что ни собрание, то он с речью, и через слово у него: «мы, рабочие…», «трудовой люд…» Вскоре ему и в президиумах место отыскалось, где восседал он важно, со значением. На объекте в белой сорочке он мало походил на бригадира, но в президиумах — ни дать, ни взять рабочий-передовик. И как только ему это удавалось?

Да, то было время открытий для Гияза.

Он вновь перевел взгляд на пожелтевшие страницы недочитанного письма.

«Мама, теперь отвечу на твои вопросы. Я здорово загорел, вылитый узбек. Большинство рабочих у меня из местных, и я с ними быстро нашел общий язык, даже выучился говорить по-узбекски. Ем хорошо, на столовые здесь грех жаловаться, много овощей, фруктов. Предпочтение отдаю узбекской кухне: плов, шурпа, шашлык, манты. А какие здесь лепешки, мама! У меня, как и у всех, на участке работает много женщин, и всегда две-три легкотрудницы додекретных. Жара стоит неимоверная, и я жалею их, держу у прорабского вагончика — командного пункта, как говорят рабочие. Так вот, они раздобыли где-то старый двухведерный самовар, и теперь он целый день там пыхтит. Пока я только этим самоваром и знаменит на всю стройку. Ко мне частенько братья-прорабы на чайник чая забегают, и благодаря самовару я знаком чуть ли не со всеми.

Пью я только зеленый чай, поначалу казалось невкусно, а потом втянулся, понравилось, и, главное, он утоляет жажду. Частенько хожу на танцы в кафе».

Тут его взгляд опять словно споткнулся. Эти слова — «танцы в кафе» — наполнили душу чем-то теплым, нежным.

Работа у них была двухсменная, а в особых случаях — трехсменная. С рабочими понятно — у них восьмичасовой рабочий день, любая переработка только с разрешения профсоюза и с двойной оплатой каждого часа. Но сколько бы ни было смен у него на участке, за все несли ответственность он и два его прораба. Произойдет ли авария, случится ли брак в работе или несчастный случай, в любое время — в полночь, на рассвете, не имеет значения,— спрашивали с них. Вот они и крутились как могли. В прорабском вагончике одну половину оборудовали под спальню, там у них постоянно стояла заправленная раскладушка; белье им общежитский комендант менял, как положено, раз в неделю. И не у него одного так было. Работа сложнейшая, глаз да глаз нужен… Напряжение, нервы…

С работы в общежитие Гияз возвращался к восьми вечера, переодевался — и в «Жемчужину», до которой ему было минут десять ходу пешком. Около девяти он был уже там, ужинал с друзьями, танцевал, а ровно в половине двенадцатого за ним заезжала дежурная машина и — с корабля на бал — на объект. Иногда так не хотелось уходить, еще бы посидеть с друзьями, но… труба зовет, раскладушка ждет. Эта

раскладушка была неисчерпаемой темой их разговоров. Одна девушка грозилась как-нибудь нагрянуть ночью на объект, проверить, почему это он, словно Золушка, ровно в полночь исчезает с бала. Танцы, общение с друзьями и давали тогда силы тянуть рабочий воз.

И сколько же молодой радости было в заключительных строчках письма!

«Мои отделочницы придумали шуточную песенку «О, суббота!» и начинают петь ее с пятницы, я тоже ее тайком напеваю, подозреваю, что это делают и все мои коллеги, включая начальника,— в субботу нет вторых смен.

До свидания. Целую, ваш сын и брат Гияз».

…В эту ночь он заснул на рассвете, и приснилась ему, впервые за долгие годы, собственная свадьба. Как в цветные слайды, вглядывался он в свою жизнь. Только сон, самый волшебный, бесценный дар природы, дает нам такую возможность — увидеть себя, свои поступки со стороны, но, к сожалению, это только взгляд в прошлое, в котором ничего изменить нельзя.

Глория только вернулась из Дубровника, морского курорта на Адриатике, где проводился международный конкурс молодых архитекторов. Ее проект отеля на морском берегу для молодоженов, совершающих свадебное путешествие, получил в Югославии Гран-при, а организаторы конкурса вручили ей еще и специальный приз как самой очаровательной участнице конкурса.

Одна итальянская фирма тут же подписала с Глорией контракт о покупке ее проекта. Когда бойкие итальянцы спросили, что навело ее на мысль о таком необычном отеле, она ответила:

— Никакой тайны, синьоры, мне хотелось, чтобы мое свадебное путешествие закончилось у моря, в таком отеле.

— Как вас зовут? — спросил вдруг представитель фирмы.

— Глория.

— Глория? — переспросил итальянец и вдруг радостно воскликнул: — Глория! Прекрасное имя для отеля, лучше не придумать. Смею вас заверить, синьорина, мы построим с десяток таких отелей в Италии и на Лазурном берегу во Франции, и ни одной линии не изменим в проекте, фирма гарантирует.

Щелкали фотоаппараты, и итальянцы тут же протягивали моментальные цветные фотографии, прося автограф.

Когда представитель фирмы протянул ей фотографию, Глория вдруг сказала:

— Я очень признательна вам за то, что отель будет носить мое имя, но можно, чтобы хоть где-нибудь была моя монограмма? — И тут же на обратной стороне фотографии, не отрывая фломастера, вывела одну из тех монограмм, что были зашифрованы в «Жемчужине».

Деловой итальянец тут же спросил: может быть, синьора и вывеску подскажет, и кто-то услужливо протянул ей альбом и фломастеры. Глория, не раздумывая, необычайной для латыни вязью написала свое имя, а слева проставила свою монограмму.

— Фон? — нетерпеливо спросил итальянец. Шел профессиональный разговор…

— По темному бордо золотом, монограмма — белое с черным, символы добра и зла, ожидающие молодых, любая буква на выбор.

Все было сделано за минуту, экспансивный итальянец аж присвистнул от удивления и радости.

В ту же ночь Гиязу доставили в общежитие международную телеграмму, наверное, не столь частую в Зарканте. Было в ней всего несколько слов: «Гия, любимый, я победила!»

Никогда за три года их знакомства она к нему так не обращалась. Встречал Гияз Глорию в аэропорту в Ташкенте, и такой счастливой он уже больше никогда ее не видел. Успех отмечали с друзьями в «Жемчужине». Провожая ее по опустевшим улицам, Гияз решился сказать то, на что долго не мог собраться с духом.

— Глория, выходи за меня замуж.

Она остановилась, словно это было для нее неожиданностью, растерялась, как когда-то давно, в «Жемчужине», приглашая на танец Габдурахмана Кадырова. Долго не отвечала, то ли взвешивая предложение, то ли, как обычно, ушла в себя, погрузившись вдруг в свои прожекты. Но нет, ничего она не взвешивала, и не архитектура занимала сейчас ее мысли. Она действительно растерялась. Поглощенная работой, отнимавшей у нее все время и силы, Глория как-то мало думала, что она может стать женой, матерью, хозяйкой.

— Гия, милый,— вдруг сказала она грустно, и в глазах ее он увидел слезы.— Я ли тебе нужна? Ну, посмотри на меня хорошенько, какая я хозяйка? Сумасбродная, неуравновешенная особа, помешавшаяся на архитектуре. Ты же намучаешься со мной, хотя я всем сердцем желала бы сделать тебя счастливым. Очень сомневаюсь, что наша семья будет счастливой. Но что бы я ни говорила, я счастлива сейчас, мне еще никто не делал предложения,

другие оказались умнее тебя…— Растерянность у нее прошла, она вновь уходила в тень спасительной иронии.

Гияз почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Это что — отказ?

— Ты мне ничего не ответила,— сказал он дрогнувшим голосом.

— Ах, была не была! — Она вмиг преобразилась, повеселела.— Раз уж сам напрашиваешься на погибель, вот мое условие: если через неделю ты не передумаешь и повторишь свое предложение, я выйду за тебя замуж. Должна же я, Гия, дать тебе шанс на спасение.

И, неожиданно поцеловав его, Глория убежала. Гияз не стал догонять девушку, ему тоже хотелось побыть одному.

Неделя выдалась сложной: сдавали градирню, приходилось работать в три смены. В прорабской прибавилась еще одна раскладушка. Нелегкой оказалась и суббота. После приезда Глории они не виделись ни разу. В субботу, предчувствуя, что планерка может затянуться, Гияз позвонил Джумберу. Ничего о своих намерениях капитану не сказал, только попросил заказать в «Жемчужине» большой стол.

В «Жемчужину» Гияз немного опоздал, но не из-за планерки, а из-за цветов: белых роз на вечернем базаре не нашлось, пришлось ехать к знакомому цветоводу на дом, и розы срезали прямо с кустов, на длинных ветках с тугими нежными бутонами.

Когда он появился в кафе, вечер уже начался. В их привычном секторе, за большим банкетным столом, накрытым белоснежной скатертью, что обычно было не принято в «Жемчужине», уже веселились его друзья. Окинув взглядом стол, Гияз благодарно улыбнулся Джумберу. Они часто отмечали компанией свои маленькие радости и удачи, и это застолье никого не удивило, разве что стол сегодня был богаче, праздничнее. Глория сидела рядом с Джумбером, и только ее прекрасное белое платье делало незаметной нервную бледность ее лица, но Гияз увидел это сразу. Он подошел к девушке и вручил ей цветы. Принимая их, она ответила ему незаметным благодарным пожатием и шепнула среди шума: «Спасибо, милый».

— Глория, что, еще один проект? — спросил Тамаз.

— Ты бы так часто голы забивал,— ответил ему Джумбер, и все за столом засмеялись.

— Хотел бы я знать, по какому поводу так красиво сидим? Гия, ты стал начальником управления? Или тебе удалось зачислить нас

в бригаду Силкина, рекордсмена по зарплате в Зарканте? — спросил Джумбер, желая знать, ради чего он сегодня так старался.

— Стареешь, капитан, не ты ли говорил: главное — выдержка, терпение. Просто пробить по воротам и дурак сможет, а пробить, когда надо и куда надо — только мастер. Не дал ты мне пробить, когда надо, а вообще-то мне самому не терпится сказать.— Гияз встал и, окинув взглядом собравшихся, уже серьезно продолжил: — Друзья мои, я сделал предложение Глории, и сегодня мы хотели оповестить вас, что мы женимся!

Какой гвалт поднялся за столом, даже оркестр на миг сделал паузу! Роберт молниеносно, как и на поле, метнулся из-за стола, и пока кто-то кричал: «Шампанского!» — уже возвращался к столу с бутылками. От стола к столу покатилось: «Гия женится, Глория выходит замуж…»

Глория сидела по другую сторону стола, рядом с Джумбером и Тамазом, и когда их с Гиязом хотели посадить рядом, Тамаз заартачился:

— Ни за что не отпущу ее от себя. Знаем мы хана Гию, больше никогда не разрешит посидеть рядом с прекрасной девушкой. А вообще, пусть он нам выкуп или калым платит, это ведь мы с Джумбером познакомили его с нашим лучшим архитектором. Глория, скажи!

Глория тут же нашлась:

— Только поэтому мы с Гиязом и решили, что вы будете нашими свидетелями в загсе и шаферами на свадьбе.

— Ну, если так, сдаюсь, даже уступлю свое место Гие,— и друзья обменялись местами.

Подходили знакомые и малознакомые люди, поздравляли Гияза и Глорию, интересовались, когда свадьба. Тамаз, перехвативший этот вопрос, отвечал:

— Следите за вечерними газетами, возможен экстренный выпуск…

Когда волна поздравляющих схлынула и за столом воцарилось относительное спокойствие, Джумбер, обращаясь к Гиязу, спросил:

— И все-таки — когда?

Гияз неопределенно пожал плечами.

И тут обыкновенно молчаливый Роберт заявил:

— Думаю, в следующую субботу — в самый раз. Во-первых, откладывать нет никаких причин, во-вторых, в среду последняя игра первого круга, и у нас двухнедельный перерыв. Значит, мы, твои

друзья, располагаем временем и можем гулять на свадьбе, не оглядываясь на тренера. Себя назначаю главным распорядителем,— хоть раз в жизни похожу в высокой должности,— и только потому, что осенью я выдавал замуж сестренку, у меня по этой части есть опыт. Джумбер, Тамаз, подтвердите.

Друзья согласно кивали головами.

— Где проводить, надеюсь, вопроса не возникает — конечно, в «Жемчужине»,— продолжал Роберт.

— Злые языки будут утверждать, что Глория ее специально для себя построила,— перебил Тамаз.

Но Глория отпарировала:

— Нет, Тамаз, «Жемчужину» я создала для того, чтобы встретиться здесь с Гиязом.

— К вам, молодожены,— продолжал Роберт,— просьба одна: чтоб ко вторнику был полный список гостей…

— Роберт, дорогой, прошу тебя только об одном, не женись раньше меня, хочу, чтобы ты и на моей свадьбе был распорядителем,— Тамаз обнял друга.

Такой суматошной недели у Глории с Гиязом никогда в жизни больше не было. Во вторник Глории на работу позвонил секретарь горкома комсомола, тот самый, что поддержал идею «Жемчужины». Слегка пожурив ее за то, что скрыла от комсомола предстоящий факт изменения биографии, он объявил, как нечто решенное и не подлежащее обсуждению, что свадьба будет комсомольско-молодежной. Глория пыталась отговориться, мол, у горкома и без свадеб дел невпроворот. Но секретарь был неумолим: доказывал, что она — член горкома комсомола, знаменитость их молодого города, да и жених, судя по отзывам, хороший прораб, возглавляет передовой участок,— короче, для комсомольской свадьбы лучшей пары не сыскать.

В среду, после игры, Роберт за столом в «Жемчужине» сказал Глории с Гиязом:

— Для начала примите первый свадебный подарок — нашу сегодняшнюю победу. Теперь мы с легким сердцем можем гулять на свадьбе, промежуточный финиш за нами, по итогам первого круга мы лидеры в зоне. А сейчас я передам слово директору «Жемчужины», моему заму, нашему другу Бахтияру,— и под шутливые аплодисменты Роберт сел на свое место.

— Друзья мои, на Востоке говорят: сколько о халве ни говори, во рту слаще не станет. Поэтому я много говорить не буду,

только заверю вас, что все будет на высоте. Это и для нас, коллектива «Жемчужины»,— экзамен, первая свадьба в кафе. Если архитектор Глория сделала нашему городу такой подарок, разве город останется неблагодарным, это не в обычаях нашего края.

… Свадьба во сне то и дело перебивалась их прекрасными днями на море.

Два дня спустя после свадьбы собрались компанией у Глории дома, куда переехал Гияз. Слушали музыку, вспоминали веселую, шумную свадьбу.

И тут Джумбер предложил:

— А не поехать ли вам в свадебное путешествие, чтобы заодно убежать от жары?

Тамаз не преминул вмешаться:

— Думаю, итальянцы не успели отстроить отель. Глория ведь не предупредила, что по возвращении осчастливит Гию.

— Не в пример тебе, Тамаз, я даю только мудрые советы, и потому у меня шестой разряд плотника-штукатура, а у тебя только пятый. Верно я говорю, Гия?.. Так вот… У нас две недели перерыва между играми, и я собирался дней на десять слетать в Гагры, на море. Там у меня родной дядя живет в двухэтажном особняке, прямо на берегу моря. Не махнуть ли нам туда вместе?

Так они с Глорией оказались на море и провели там отпуск за два года. Это были самые счастливые дни их совместной жизни.

Джумбер, в студенческие годы проводивший отпуск в Гаграх, прекрасно знал не только сам город, но и все маленькие городки-курорты в округе, и пока был с ними, успел показать многое и познакомить со своими гагринскими друзьями. Пицунду они открыли для себя случайно, уже после отъезда Джумбера. В те годы на мысе Пицунда, что рядом с Гаграми, крупное строительство только разворачивалось, и знаменитый ныне мировой курорт только поднимался из фундаментов.

Глория сразу оценила размах предстоявшего строительства, правда, сами запроектированные шестнадцатиэтажные корпуса ее не очень радовали,— слишком обычно и однотипно, на ее взгляд, не на чем глазу задержаться,— зато пространственное решение она находила замечательным. Вся зона продувалась насквозь морскими ветрами, реликтовый сосновый лес вплотную подступал к корпусам. Прогулочные дорожки, аллеи, скульптурные композиции на развилках дорог, площадях, летние рестораны и кафе очаровали ее. Она быстро сошлась с архитекторами, большинство из которых приехали

из Тбилиси, и они часто проводили с ними вечера в Гаграх. Уже создавались необычные гипсокерамические, покрытые яркой цветной глазурью, сказочные драконы, спруты, осьминоги, задиристые петухи, важные павлины, сонные совы, волшебные терема, горницы, сакли — автобусные остановки от Гагр до Пицунды — работа уже знаменитого тогда Зураба Каргаретели, с которым у Глории с первого дня знакомства установились дружеские отношения.

Бывало, что Каргаретели вдруг загорался какой-нибудь идеей, и не было сил удержать его за столом, не говоря уже о том, чтобы убедить его дождаться утра. Тут же находилась машина, и она в ночь несла к Пицунде творца, которому необходимо было немедленно проверить свою мысль. «Одержимый»,— говорила Глория о Каргаретели и, конечно, подразумевала, что только таким и должен быть созидатель.

Возвращались они в Заркент через Тбилиси. В Грузии, в Тбилиси они оба оказались впервые и, уезжая, увозили в своих сердцах нежную любовь к этому удивительному краю и его людям…

…Проснулся он рано, хотя и спал всего два-три часа,— привычка, выработанная в молодости в Заркенте, срабатывала до сих пор. Двери соседних купе еще не открывались, и проводник обрадовался Гиязу,— теперь ему было с кем словом перекинуться. Но Гияз, обменявшись с ним двумя-тремя ничего не значившими фразами о погоде, расписании, ближайшей стоянке, попросил чайник чая и вновь скрылся в купе.

Поутру кондиционер был отключен, и он опустил створку окна. Близость пустыни уже ощущалась, свежести той, что в Озерном, не чувствовалось, хотя день только начинался. Взгляд его то и дело задерживался на диване,— наверное, надо было собрать письма и фотографии, сложить их, но каждый раз какая-то новая мысль отвлекала его.

Неизвестно почему вдруг вспомнилась сейчас телеграмма: «Гия, задержусь в Ташкенте еще на три дня. Проект завалили, буду бороться». Такие телеграммы от Глории он получал не раз, и не только из Ташкента: он знал о каждом ее проекте, взлелеянном в муках бессонными ночами, точно дитя. На этот раз речь шла о Доме молодежи, который Глория сдавала три года спустя после свадьбы.

Дом молодежи давался ей трудно, браковался вариант за вариантом, каждый из которых забирал уйму сил и бездну времени. Дважды

она летала в Тбилиси, показывала работу Каргаретели и его друзьям-архитекторам. Возвращалась из Грузии окрыленная, с блокнотами, полными записей, советов, рекомендаций. Говорила: вот, кажется, все — нашла. Но через неделю уже почти законченная работа браковалась, советы казались ей банальными, ненужными, запоздалыми, блокноты летели в мусорное ведро…

Глория вдруг почувствовала, что Заркент, предоставляя ей шанс выразить себя, в то же время лишал ее профессиональной среды, той атмосферы, которая нужна каждому творческому работнику. Живя вдали от признанных центров архитектурной мысли страны, она, тем не менее, стала ощущать, что в их профессиональном цехе происходят какие-то серьезные перемены. Она уловила это по проектам, которые неожиданно получали широкую огласку, тем самым становясь неким эталоном. И это новое веяние в архитектуре, быстро набиравшее силу и мощь, как весенний горный ливень, застало Глорию врасплох. Она не находила иных слов, кроме возмущенных: бездарность, безликость, коробки, стандарт… С работы она возвращалась так же поздно, как и Гияз, часто с охрипшим голосом,— без боя архитекторы все же не сдавались.

— Гия, милый,— говорила она, волнуясь,— ну как я могу утверждать проект нового жилого массива, если потолки требуют занизить до двух с половиной метров! И это у нас, в Заркенте, где и так дышать нечем, жара сорокаградусная все лето. Люстру можно использовать вместо супницы на столе. А совмещать санузел с ванной у нас, в Средней Азии, где много детей, большие семьи, где ванна служит семье и прачечной,— это же полный абсурд!

Глория горячилась, забывала об ужине.

— А что скажете вы, строители? Архитекторы с ума посходили? В здравом ли мы уме, спросите? В здравом, да что толку, не завизирую проект я, это с удовольствием сделает другой.

Гияз запомнил из той поры термин, многое изменивший в судьбе Глории,— «архитектурные излишества».

Жена его выработала для себя несколько главных принципов, которые считала обязательными для своих работ в Средней Азии. Она не представляла ни одного проекта без зеленой зоны — не тех формальных клумб и посадок «Зеленстроя», которые, в общем-то, имеются в каждом проекте, а той солидной парковой архитектуры, которая со временем убережет строение от пыли и зноя, главных разрушителей в Азии, и создаст вокруг него необходимый микроклимат.

Не мыслила она свою архитектуру и без воды: фонтанов, арыков, каналов, всяких лягушатников, питьевых фонтанчиков,— здесь она опиралась на традиционное восточное зодчество, всегда чтившее воду, и как элемент архитектуры — тоже. Чтобы раз и навсегда решить для себя вопрос с водой,— а собиралась она работать в Узбекистане всю жизнь,— Глория копалась в архивах, объездила не только прославленные Хиву, Самарканд и Бухару, но и малоизвестные города Китаб, Коканд, говорила со старцами. И создавала затем оригинальной формы хаузы, нечто вроде нынешних бассейнов, но имевших еще и эстетическое назначение.

Ее парковая зона с фонтанами и хаузами предусматривала места отдыха: для уставших, любопытных, гуляющих и, конечно, для влюбленных. Скамейки, лавки, айваны, для одного человека, для двоих, для компании, которые Глория создавала с неиссякаемой фантазией и смелостью, поражали не только формой, материалом, но и тем, как она умудрялась их расположить. Они у нее словно вырастали из земли, как грибы, естественно, будто только тут им и место. Зная любовь народов Востока к фонтанам и видя, что по вечерам возле них собираются люди, она придумала вокруг фонтана, в зоне, куда не долетают брызги, разрезанное кольцо-скамейку, где можно было, никому не мешая, отдыхать у воды. Удивляла она и своими шатрами-беседками для влюбленных. Легкие, ажурные, по весне оплетенные виноградником, вьющейся зеленью, чайными розами, они словно сошли на землю со страниц восточных сказок.

Глория сетовала, что у нас, к сожалению, мало архитекторов по парковой культуре, и получи она когда-нибудь солидный заказ, где понадобится возле сооружения разбить настоящий сквер, сад, парк, она и знать не будет, к кому обратиться, кого пригласить для совместной работы. Очень об этом жалела и часто говорила: пока строится город, заложить бы где-нибудь загородный парк, чтобы он спокойно поднялся, пока город подступит к нему. И для себя, уверенная, что это непременно пригодится когда-нибудь, изучала и парковую культуру. Часто ездила в Ташкент, в Ботанический сад, в институт Шредера и многое узнала о деревьях, кустарниках, цветах Средней Азии. По крайней мере, она точно знала, сколько нужно лет, чтобы выбранные ею деревья создали вокруг здания достойный ландшафт.

Но и деревья, и вода, которым Глория придавала такое большое значение, все же служили, так сказать, антуражем для главного — самого здания. В Глории, несмотря на молодость, на женский

романтизм, кое-где проскальзывавший в работах, чувствовались прежде всего мужская рациональность, мужской расчет. Гияз помнит, как однажды за столом в Гаграх Зураб Каргаретели сказал: «Стоит мне взглянуть на безымянный проект, я всегда безошибочно скажу — мужская это или женская работа». Друзья Зураба, тоже архитекторы, тогда рассмеялись и сказали, что такое чутье дано не ему одному. Сколько раз Глория, отправлявшая на архитектурные конкурсы свои работы, получала ответы, начинавшиеся словами: «Уважаемый товарищ Караян…» А ведь в жюри этих конкурсов наверняка тоже сидели люди, уверенные, что без труда отличат мужскую работу от женской.

Эту мужскую хватку в Глории Гияз уловил сразу, в первый же вечер их знакомства, когда она рассказывала ему о «Жемчужине», и позже не раз убеждался в этом, когда они поженились и он уже жил интересами жены, зная об архитектуре больше, чем иной дипломированный специалист, потому что у Глории был еще и талант педагога, умеющего раскрыть самую суть проблемы. Но Глория, несмотря ни на что, оставалась настоящей женщиной. И Гияз понял, что в ее архитектуре обязательно будет присутствовать что-то такое, что неподвластно ни одному талантливому мужчине — должно же было как-то выразиться ее неповторимое сочетание женственности, обаяния, вкуса и характера. Ведь она работала неистово, отдаваясь делу целиком, забывая порой о муже, о семье, о доме. Эта рациональность, чувство ответственности перед грядущими поколениями, полнейшее отсутствие конъюнктурных соображений, погони за сиюминутной выгодой позволили ей выработать главные принципы, которым она следовала в любых обстоятельствах. По ее убеждению, в Средней Азии для зданий, строившихся по индивидуальному проекту, для сооружений, определявших лицо города, годились только материалы, менее всего подверженные действию солнца и пыли: высококачественный светлый кирпич, камень, желательно полированный, и металл… тонкие листы красной меди, цинка, свинца, алюминия и их сплавов. Каждый из этих материалов годился сам по себе, но Глория считала, что лучше их сочетать. Работая, она не витала в облаках, не закладывала в проект того, чего днем с огнем не сыщешь,— все это имелось в достатке в Средней Азии, кроме хорошего кирпича. А цветной металл, непривычный для нашей архитектуры, за которым Глория видела будущее, она решилась использовать только потому, что жила в Зарканте, где он производился. Она иногда говорила с грустью, что опоздала в архитектуру

лет на десять. Проектируя Дом молодежи, Глория, конечно, знала, что наступило время блочного строительства, бетона, подвижной опалубки, новых облицовочных материалов, время стекла. Время серийного строительства, эра домостроительных комбинатов. Знала и часто с карандашом в руках убеждала, что дешевые, на первый взгляд, материалы дают только сиюминутную выгоду, с годами на ремонт во много раз больше уйдет, чем на материалы, рассчитанные на десятилетия. «Скупой платит дважды — это сказано об архитектуре»,— уверяла она.

О стекле в одной из своих статей Глория высказалась резко и определенно: для Средней Азии с ее жарой и солнцем оно противопоказано. Да и в других климатических зонах… Пройдут первые восторги, и во весь рост встанет проблема отопления: на ее взгляд, обогревать стеклянные здания — все равно, что отапливать улицу. А человек в аквариуме, по ее мнению, подвергается насилию архитектора. С этой статьей у нее тоже были неприятности: Союз архитекторов обвинил ее в непонимании современных задач градостроительства, недооценке новых материалов, за которыми будущее архитектуры. Гияз помнит, как Глория написала тогда ответ, состоявший из одной фразы: «Во все времена перед архитектором стояла и будет стоять одна задача: строить красиво, добротно, на века». Но Гияз, вызвавшийся отнести письмо на почту, ответ не отправил, ибо уже знал: молодым дерзости не прощают.

Сейчас в коридоре, у окна вагона, спустя много лет вспоминая борьбу Глории за свой взгляд на архитектуру, Гияз понимал, что во многом она была права, хотя и тогда нисколько не сомневался в правильности ее взглядов и идей.

Ему припомнились многие здания Ташкента, отстроенные после землетрясения. За какой-то десяток лет бетон и облицовка выгорели, постарели — и тут ничем помочь уже нельзя. С многих высотных зданий падают изразцы облицовки, казавшиеся тогда такими заманчиво дешевыми, а теперь замена одной плитки на недосягаемой высоте оборачивается сотнями рублей, кажется неразрешимой технологической задачей.

Гияз хорошо помнил работу Глории над Домом молодежи, ведь она приступила к ней сразу после свадьбы. Все три года, что жена трудилась над этим проектом, ни одна встреча у них в доме не заканчивалась без разговоров о нем. Тамаз шутил, что если Глория будет так интересно рассказывать об архитектуре, то она отобьет у футбола

всех болельщиков. А Глория не без грусти отвечала: мне бы как вам, футболистам, стадион заполучить, вырваться к народу, я бы отстояла каждое свое детище. Иногда кто-нибудь намекал ей: вот если бы у тебя был покровитель, учитель…

На это Глория всегда говорила: я желала бы, чтобы моим покровителем стали массы. И она всегда терзалась оттого, что у нее нет массовой аудитории. Может, она не могла забыть свой первый проект, когда напрямую вышла на молодежь города и убедила ее в состоятельности своей работы?

В Дом молодежи она заложила рваный и шлифованный камень, высокосортный светлый кирпич и почти все цветные металлы Заркента, но больше всего красной меди, потому что считала: медь — металл Востока. Глория к тому времени объездила весь Узбекистан и уверяла, что почти не встречала современных зданий, где летом не обливались бы потом — тогда бытовых кондиционеров и в помине не было. Вопрос о том, как обеспечить зданию прохладу, волновал ее больше всего. Шутила, что, например, в концертных залах, больших и малых, принимая здание, комиссия обращает внимание на полы, потолки, лестницы, на что угодно, кроме главного — слышимости. Оттого «звонкие» залы можно по пальцам пересчитать, спросите у певцов. Обращала внимание и на то, что в современной архитектуре исчез целый элемент — крыша. Это и натолкнуло Глорию на идею. Поначалу она хотела сделать обыкновенную крышу из оцинкованного железа, как зеркало отражающего солнечные лучи. Но Дом молодежи она представляла себе романтическим зданием, хотела, чтобы уже внешним видом он притягивал молодежь, потому и от традиционной крыши отказалась. А идею, считай, подал Гияз: почему бы ей на крыше не сделать кафе?

«А действительно — почему бы и нет?» — подумала она, ибо рациональность используемой площади была одним из главных ее принципов. Кафе она набросала быстро, но главное — придумала крышу-шатер над ним, а значит, и над всем строением. Кафе она сделала на восточный манер: крыша-шатер из легкого хромированного цинка опиралась на множество столбов, украшенных затейливой национальной узбекской резьбой — ганчем. Глория честно признавалась, что этот элемент она позаимствовала из полюбившейся ей самаркандской мечети. Крыша, по ее задумке, решала сразу две проблемы: отражала самые жаркие, прямые лучи солнца и способствовала возникновению постоянного аэродинамического потока

воздуха, охлаждающего здание. Оттого и родилось название кафе «Ветерок» — в жарком краю это ох как важно.

На этом Глория не успокоилась и, опять же по предложению Гияза, увеличила толщину стен против сложившегося современного норматива, а в стенах положила трубы, по которым летом циркулировала бы холодная вода, охлаждая здание. Интерьеры, лестницы, освещение Глории давались легко: фантазия ее была щедра. Гияз, слушая ее неожиданные решения, потихоньку их записывал, и записи эти не однажды оказывались кстати. Тогда Гияз понял, что архитектурная мысль похожа на поэтическую строку: не запиши вовремя — не вернется.

Большую стену холла должно было украшать мозаичное панно «Мотогонщики». Глория все-таки не забыла страсти на гаревой дорожке. Панно обещал выполнить сам Зураб Каргаретели, неравнодушный к скорости. Гиязу нравился весь проект: и кафе, и крыша, и концертный зал, но больше всего холл, где со второго этажа на рваные камни заструится водопад, у края бирюзового хауза зажурчит фонтан, а в прозрачных шахтах сквозь здание будут бесшумно двигаться лифты, поднимающие из холла гостей в «Ветерок».

Раньше Гияз, слыша выражение «родиться вовремя», не придавал ему никакого значения,— может, потому, что чаще всего оно упоминалось всуе и касалось времен романтических, когда хотелось быть мушкетером или скакать рядом с Чапаевым, а девушки мечтали о балах во дворцах и чтобы из-за них дрались на дуэлях, а поутру воздыхатели присылали им корзины роз… А ведь это выражение, скорее всего, родилось вдогонку чьей-то трагической судьбе. Гияз понимал, что людей, отстающих от своего времени, тьма, и они нисколько не страдают от этого, потому что их большинство, а людей, опережающих время, единицы, и судьбы их — великие или трагичные, если некому их понять, поддержать, ведь даже время не всегда подтверждает их правоту.

Хотя он закончил институт и жил в Омске, некогда признанном культурном центре Сибири, целых пять лет, особым культурным багажом похвастаться не мог. Да и многие ли его товарищи, сокурсники, положа руку на сердце, могли назвать себя культурными людьми? Так, внешние приметы: кое-что читали, кое-что видели, научились завязывать галстуки, а вся культура в основном черпалась из затрепанной книжки «Правила хорошего тона», большей частью пропагандировавшей манеры салонов, канувших в Лету, с которыми легче попасть

впросак, чем прослыть человеком воспитанным. А ведь они были людьми с высшим образованием! Конечно, у его поколения было много причин недополучить чего-то по части культуры: и объективных, и субъективных — две трети студентов жили только на стипендию, и мысли чаще всего были о том, как не бросить институт, хотя оправданием это, конечно, теперь служить не может. А может, они прятались за модной тогда формулой «физики — лирики»? Технари — зачем, мол, нам, поэзия, живопись, музыка, скульптура? Жаль, что не разглядели тогда в этой, казалось бы, безобидной формулировке большого вреда. Главным, как теперь понимал Гияз, было отсутствие духовности в стенах самого института и общежития. Конечно, учились там и другие студенты, как они сами себя называли — элита, именно они-то и нарекли ребят, подобных Гиязу, «колхозниками». Но эти подвижничеством себя не утруждали, а жили сами по себе, общаясь с себе подобными. Среда — носитель культуры, она весомее любых мудрых трактатов. Это он понял там, в Зарканте, случайно попав в компанию Джумбера. Кроме ребят из Тбилиси, имевших высшее образование,— а за Джумбером и Робертом и музыкальная школа числилась,— были здесь врачи, музыканты, педагоги — молодая интеллигенция молодого города. Но больше всего он почерпнул от Глории,— сама жизнь с нею ежедневно обогащала его как личность.

В их библиотеке были книги о людях, родившихся не вовремя… Родиться не вовремя… Это вовсе не значит, что надо оперировать лишь веками и эпохами,— для человека может хватить и одного десятилетия, того самого, к которому его талант набрал силу, к которому он подошел с программными работами, идеями. Бороться и ждать десятилетия дано далеко не каждому, человек может и не отступить, а надломиться.

Проект Дома молодежи Глории утвержден не был: как корабль на айсберг, он наскочил на только что вышедшее постановление «об излишествах в архитектуре». И, как часто бывает, в этом, в общем-то, справедливом и своевременном деле начались перегибы, вплоть до упрощенчества, примитивизма. Выбор, павший на нее, как понимала Глория, оказался случайным, чьих-то козней она тут не усматривала — просто судьба. Конечно же, в ее проекте, с позиций нового постановления, излишеств хватало с избытком.

Смелое, изящное, красивое? Все это комиссии казалось непозволительной роскошью. А затея с охлаждением здания? Иначе

как барство и не воспринималась. Лифты, водопады, внутренние хаузы, фонтаны? В Доме молодежи? В Зарканте, который и не на всякой карте обозначен? Все было отвергнуто практически с ходу, без обсуждения. Как ни странно, дольше всего споры шли о «Мотогонщиках»… Гонщики в Доме молодежи города металлургов? Глория пыталась объяснить, что скорость, гонки — символы молодости, времени, века. Один из руководителей комиссии великодушно сказал, что панно — это не главное, изменить, мол, нетрудно, и подал бесценную, на его взгляд, идею — дать во всю высоту стены улыбающегося металлурга с кочергой в руке на фоне огненной меди,— и сам засветился от восторга и выдумки своей, как заркентская медь. На что Глория, не сдержавшись, резко ответила: это все равно, что изобразить вас рядом с ванной и с мухобойкой в руках, потому что медь добывают в Зарканте химическим способом, в гальванических ваннах, очень похожих на домашние, только размером побольше, и выложены они винипластом, против агрессивной среды, так что никакой героики в добыче меди нет, правда, раствор красивого изумрудного цвета ядовит. Этот выпад задел председателя комиссии, маститого скульптора, автора многих композиций мужчин с кайлом или молотом, женщин с веслом или подойником — с чем только пожелает заказчик, лишь бы «отражало» сегодняшнюю жизнь.

Веди себя Глория иначе, может, и не был бы тогда провал проекта столь драматичным для нее. В душе она прекрасно понимала цели и задачи нового постановления, осознавала, на что в первую очередь должны быть направлены усилия архитекторов на данном отрезке времени. Многие, очень многие еще жили в коммунальных общежитиях, а в Средней Азии и в саманных, глинобитных домах. Понимала, соглашаясь с необходимостью срочно решить эту проблему, но никак не могла взять в толк, почему надо отказываться от проектов, в которые изначально заложены такие элементарные, можно сказать, определяющие элементы, как добротность, прочность, красота, удобство.

Об этом своем убеждении говорила она и при защите проекта, но, видимо, потрясенная тем, что ее идея терпит крах, Глория перешла в своей прямолинейности и запальчивости все дозволенные границы. Перешла на личности, обвинив председателя комиссии чуть ли не в бездарности, и закончила зло и непримиримо, что абсолютно уверена — время ее проекта обязательно придет.

Речь эта дорого обошлась Глории: ее обвинили во всех смертных грехах архитектуры, по всем пунктам руководящего постановления.

Тот год для них, четвертый после свадьбы, вообще выдался неудачным. Ранней весной, когда только начался футбольный сезон, получил серьезную травму Тамаз, весельчак и балагур, светлая и щедрая душа их компании. Три месяца он пролежал с переломом в институте травматологии в Ташкенте и выписался инвалидом. Страшно было видеть осунувшегося Тамаза с палкой в руке, которая, как уверяли врачи, нужна будет ему всю жизнь. На проводах в «Жемчужине», похожих скорее на поминки, хотя каждый и пытался казаться веселее, чем был, неодолимая, как плотный смог, грусть зависла над столом. Провожая Тамаза, они чувствовали, как распадается их некогда дружная компания, уходит их молодость. Они вступали в новый этап жизни, где меньше ожиданий и куда как меньше надежд, где пропадают куда-то лучшие друзья; где не обрадуешься шальному полуночному звонку и уже начинаешь оглядываться назад, чего еще вчера не случалось, а если и случалось, то не вызывало грусти и боли.

Тамаз, охваченный таким же настроением, понимавший, что со многими из тех, с кем прошла его молодость в этом городе, он видится в последний раз, тем не менее, пытался шутить.

— Нет худа без добра, ребята. Вот обрадуются дома, что я наконец-то оставил футбол и отдам свои силы Фемиде, я ведь юрист… Для начала собственную пенсию у бюрократов отсудить придется, я же не по пьянке, а на глазах у десятков тысяч людей покалечился: считай, практикой минимум на полгода обеспечен. И прошу вас, друзья, согнать печаль со своих лиц, если со мной и случилась не совсем приятная штука, я ничуть не жалею о том, что отдал футболу лучшие свои молодые годы. О, футбол — великая страсть! Футбол для меня — это все равно, что для тебя, Глория, архитектура…

Рано поутру Тамаз уехал, и больше уже никогда в полном, прежнем составе их компания не собиралась. Медленно, по одному и парами, выбывали они из-за стола встреч и странно исчезали, словно проваливались в омут, и это в небольшом-то городке.

В том же году сдавали последнюю, третью очередь гигантского комбината, и, как всегда перед пуском, работали день и ночь. Гияз по-прежнему руководил участком, но теперь уже вдвое большим, хозрасчетным, по объему работ превосходившим иные строительно-монтажные управления Заркента. При его стаже и опыте вполне можно было бы и самому возглавлять какое-нибудь из многочисленных СМУ, но руководству было виднее: начальник участка на таком ответственном объекте был куда важнее и нужнее, чем иной работник

рангом повыше. Жди,— говорили ему,— твое от тебя никуда не денется. А он никуда и не спешил, чувствовал себя на своем месте, понимал, что занимается настоящим мужским делом.

Сдача комбината в эксплуатацию — событие государственной важности, и к этой дате готовились не только строители, но и весь город. Монтажники постарались, завершив строительство на год раньше срока, и потому ожидались крупные денежные премии. Хотя Гиязу такая премия тоже не помешала бы — собирались с женой после сдачи проекта Дома молодежи вновь взять отпуск за два года и уехать в Гагры, куда их приглашали грузинские архитекторы, друзья Глории,— думал он о другом.

Ходили упорные слухи о том, что многих строителей будут награждать орденами и медалями, а может, кого-то и к званию Героя Труда представят. Чем ближе подходил срок, тем чаще назывались фамилии тех, кому могут достаться награды. Упоминался в этом устном списке и Исламов.

Однажды в управлении инженер по кадрам — новая, не та, что когда-то, увидев его диплом, спросила: «Умный, значит?» — шепнула ему тайком, что на него готовят документы. Ни об этом разговоре с инженером по кадрам, ни о том, что он очень хотел бы получить награду, Глории он не говорил. Хотя юношеская мечта, родившаяся в Озерном — заработать первый свой трудовой орден к тридцати,— никогда не выходила у него из головы. Орден казался Гиязу самым весомым отчетом перед отцом. Когда документы передали в горком, из этого тайны не делалось, все знали, что к наградам из их управления представлены Зульфия Батырова, бригадир отделочниц, показавшая дорогу на стройку десяткам девушек из своего родного кишлака, и Исламов. Оба начинали стройку еще с первой очереди комбината.

Однако документы Исламова вернули обратно. Нет, не потому, что сочли его недостойным или не заслуживавшим ордена, просто сказали — нужно рабочего. Видимо, по другим управлениям и трестам с руководителями, представленными к правительственным наградам, вышел перебор, вот и разыграли лишнего. А может быть, просто дело случая. В оставшиеся дни спешно готовили документы на Силкина — известного бригадира, депутата горсовета.

Вот так странно через столько лет вновь переплелись судьбы бывших однокурсников. Орден, высокий орден Трудового Красного Знамени, достался Юрию Силкину. И обида Гияза оттого была долгой. Силкин процветал, переехал в двухэтажный коттедж с садом,

года два уже ездил на личной «Волге» и в составе рабочих делегаций республики уже не раз бывал за границей.

Его неудача, как считал Исламов, потянула за собой неудачи жены. Глория, знавшая из рассказов Гияза о его отце и погибших братьях, о взгляде мужа на себя как на единственного продолжателя рода и фамилии, понимала, что означает для него ребенок, сын, Исламов-младший. Но как бы она не разделяла мечты мужа о ребенке, работа заслоняла собой все. Она все обещала: подожди, вот закончу Дом молодежи и стану примерной женой, хозяйкой, стану матерью, сделаю перерыв в работе. Уезжая защищать проект, она призналась мужу, что беременна. Вот почему, получив ту телеграмму, Гияз забеспокоился о ее здоровье и помчался в Ташкент. Глорию тронуло его внимание, и она, улыбаясь сквозь слезы, сказала: «Глупый, у меня только второй месяц, и волнения мои ничуть не повредят Исламову-младшему». В том, что у них будет сын, они не сомневались.

Из Ташкента они вернулись ни с чем. Казалось, жена смирилась с поражением. Гияз успокаивал ее: «Вот недельки через две, как только пройдет пуск, уедем надолго в Гагры, отдохнем, а там видно будет».

Но через два дня после возвращения Глория неожиданно оформила отпуск и объявила, что едет в Москву, пообещав непременно вернуться к празднику пуска. Как ни уговаривал Гияз, удержать ее от поездки не удалось,— она сказала, что хочет бороться до конца. Пуск, ожидая высоких гостей, откладывали дважды. Глория не возвращалась, звонила редко, вести были неутешительные. Гияз сдавал объект государственной комиссии и вырваться к жене, как ни хотел, не мог. В Заркент Глория вернулась через полтора месяца, худая, нервная, прилетела без телеграммы. Весь ее вид говорил о том, что дела неважные, с порога она бросилась ему на шею и горько, навзрыд, расплакалась. Плакала она долго — гордая, не позволившая себе расслабиться в Москве, здесь дала волю чувствам. Гияз подхватил ее на руки, отнес на диван и там, на его руках, обессилевшая, она задремала. Среди ночи вдруг очнулась, словно и не спала, и сказала опустошенно:

— Гия, я убила в Москве твоего сына…

Гияз, уже чувствовавший, что случилось что-то непоправимое, едва сдержал в себе дикий крик и, задыхаясь от горечи, нашел в себе силы успокоить забившуюся вновь в рыданиях больную жену. Всю

жизнь потом он благодарил судьбу за то, что в тот час не бросил ей, отчаявшейся, усталой, ни одного горького упрека. Три дня она не поднималась с постели, не выходила из дому. Гияз оформил отпуск и был постоянно рядом. Как только Глория немного пришла в себя, решили уехать к морю. В Гаграх они сняли квартиру на другом конце города, подальше от гостеприимного дома Дато Джешкариани, дяди Джумбера,— с таким настроением лучше не огорчать людей, хорошо относившихся к ним, решили они. Избегали они и людных мест. Днями пропадали на пляже, не вспоминая, как некогда были веселы и счастливы в этих краях, никуда не выезжали, хотя знали окрестности не хуже местных, даже о Пицунде не заговаривали. По вечерам ходили в один и тот же ресторан, где хозяйка их квартиры работала официанткой, а у них на террасе в углу был столик, на который вечерняя смена всегда ставила табличку: «Заказано».

Странно, раньше казалось, что только веселье помогает убить время, а теперь вечера убывали незаметно, хотя за столом не плескался смех, и музыка, звучавшая на другой террасе, не срывала их с мест. В обоих словно что-то оборвалось, и они, как немощные старики, старались поддержать друг друга. Удивительно, что и темы для разговоров они выбирали нейтральные, плавно обходя свою жизнь. В то лето, любуясь каждый вечер с террасы морским закатом, они много говорили о литературе, впрочем, рассказывала Глория, а Гияз слушал, не смея оторвать глаз, как тогда, в первый раз, в «Жемчужине», от прекрасной женщины, начинавшей возвращаться к жизни.

Домой они вернулись в сентябре, когда в Заркенте спала изнурительная жара и установилась долгая теплая осень — удивительно красивое время в Узбекистане. Вернулись тихо, никого не предупреждая, не оповещая, и гостей по случаю возвращения, как прежде, собирать дома или в «Жемчужине» не стали. Футбольная команда играла на выезде, и они об этом знали.

Как-то ночью раздался телефонный звонок, звонил из Павлодара Джумбер. Как они обрадовались этому — проговорили, наверное, целый час. И ведь звонок ничего радостного не принес, скорее наоборот. Джумбер сообщал, что Роберта срочно забирают в «Пахтакор»,— у них получил травму правый крайний, и тренерский совет остановил выбор на нападающем «Металлурга». Команда прилетала из Павлодара после обеда, и у Роберта оставался единственный вечер в Заркенте, на другой день он с «Пахтакором» должен был улететь на игру с тбилисским «Динамо». Джумбер просил организовать прощальный вечер.

Компания теряла еще одного лидера. Хотя Роберт шел на повышение, застолье радостным не получилось. Понимали все, и в первую очередь Роберт, что приглашение сильно запоздало, единственной отрадой было то, что через три дня он выйдет на поле в родном Тбилиси.

Игра Роберта дома, в родном городе, стала лучшей его игрой. Джумбер, смотревший матч по телевизору у Исламовых, не скрывал слез. Впервые играя за «Пахтакор», в незнакомой команде, Роберт творил невозможное, невероятное, ему удавалось все. И опытные партнеры, почувствовав, что у новичка пошла игра, все пасы адресовали ему, забившему два мяча. Каждый раз, когда показывали на миг трибуны стадиона, им казалось, что мелькало лицо их друга Тамаза, которого и предупредить не успели, что Роберт будет играть против тбилисцев. Гияз прекрасно понимал, каково сейчас их другу: с одной стороны, он доказал, что может играть по-настоящему, но, с другой — играть-то пришлось против своих. И еще Исламов подумал о том, что не только Роберту, но и многим, очень многим грузинским парням не нашлось места в родной команде — уж слишком богата эта республика футбольными талантами. Вот и приходится им искать счастья в других клубах. Игру друга Джумбер прокомментировал коротко: «Каждый из нас, кому не посчастливилось играть дома, в Грузии, должен был сыграть только так, на пределе своих сил… или умереть на поле.— И, прощаясь с ними в тот вечер, рано седеющий капитан сказал: — Вокруг столько людей, а мне кажется, что нас в городе осталось трое…»

Беды как-то сплотили Глорию и Гияза, их совместная жизнь стала обретать семейные черты — странно, наверное, звучат эти слова на пятом году брака, но что было, то было. Те пролетевшие стремительно годы у каждого из них были до предела заполнены одним — работой. Глория и по ночам вдруг вскакивала к кульману, если приходила какая идея, а у Гияза на объекте раскладушка так и стояла наготове, только уже третья или четвертая по счету — слишком уж хрупкими они выпускались или не были рассчитаны на издерганных прорабов, которые и спать-то спокойно не могли. Работа, работа, работа… А если когда выпадало свободное время, старались общаться с друзьями, принимать гостей и не упускали случая посетить Ташкент. Гияз оставался по-студенчески неприхотлив, на домашних обедах и уюте не настаивал, он понимал Глорию, гордился ею, работа ее вызывала у него огромное уважение, и он тайком думал, что сын его непременно станет, как и мать, архитектором.

Нельзя сказать, что Глория охладела к архитектуре, нет, просто стала вовремя, как и все, возвращаться с работы. Из квартиры исчезли кульман и десятки листов ватмана с эскизами, и комната стала похожа на комнату, а не на мастерскую проектного института. А однажды в доме появились даже диковинные цветы в горшках. Возвращаясь с работы, Глория заходила на базар, и к приходу мужа из кухни доносились аппетитные запахи. Гияз был приятно удивлен, что жена его так замечательно готовит. На дом работу она теперь не брала.

Изменилось кое-что и в работе Гияза. Хотя официально комбинат и сдали, не все строители ушли с объекта, еще с полгода сидели на недоделках,— странный, узаконенный норматив, непонятный даже самому Гиязу, инженеру. Не совсем было ясно и то, куда перекинут его хозрасчетный участок, сложившийся ударный коллектив: то ли на строительство завода бытовой химии, то ли сернокислотных цехов на базе отстроенного комбината. И по тому, и по другому объекту не была готова проектная документация, строители все объекты сдавали досрочно. Опять же непонятная для Исламова ситуация: бумага задерживала дело. И Гияз тоже стал вовремя возвращаться с работы и тоже занялся домом: наконец-то поставил рамы на балконе и настелил там же деревянные полы. Работа, откладывавшаяся годами, была сделана за неделю, и они оба были поражены этим. Тогда-то они и решили своими силами сделать в квартире ремонт, и у Глории вновь засветились огоньки в глазах.

Хотя Гиязу только исполнилось тридцать, он чувствовал, что так, на износ, как вкалывал на строительстве комбината, работать у него уже нет сил, и подумывал взять объект поспокойнее, как поступали многие его коллеги, но ничего об этом Глории пока не говорил. Они чаще стали бывать в Ташкенте, даже наконец-то нашли старушку, у которой могли останавливаться. В ту весну они приохотились ездить в новый органный зал и, конечно, не пропускали ни одной игры «Пахтакора», болели за Роберта.

— Зная, что вы на трибунах, я увереннее чувствую себя на поле,— говорил им тот после игры.

В то лето их компания распалась окончательно. «Металлург» сильно обновился, шла смена поколений, из прежнего чемпионского состава доигрывали двое — бессменный капитан и вратарь. Сменился и тренер, и с ним пришло полкоманды. У Джумбера не сложились отношения ни с тренером, ни с новичками,— у них было разное отношение к футболу. В Зарканте впервые появились на поле патлатые,

нечесаные футболисты, игравшие в спущенных гетрах, в рубахах навыпуск, на шее у каждого болталась какая-нибудь чепуха, называвшаяся талисманом. По игре Джумберу трудно было предъявлять претензии, хотя он уже потерял в скорости. Но пришла футбольная мудрость, обострилось тактическое чутье, а главное — он забивал по-прежнему много, хотя и потерял свои крылья — Тамаза и Роберта, а новые нападающие не очень-то баловали его пасами, и за этим он чувствовал козни не только молодых, но и тренера. Видимо, так оно и было, Гияз с Глорией в футболе все-таки разбирались. На очередной игре дома в разгар второго тайма, когда команда вела в счете, Джумбер забил гол, тренер подошел к полю и условным знаком показал, что собирается заменить Джешкариани. Джумбер поначалу не понял — менять его? Глория с Гиязом увидели, как смертельно побледнел капитан,— это было рядом с их сектором. В ту же секунду он подбежал к кромке поля и, схватив тренера за грудки, прохрипел:

— Только попробуй, только попробуй!..— и, не оборачиваясь, побежал к центру круга.

Пожалуй, кроме Исламовых и скамейки запасных, никто и не понял, что произошло.

— Вот, друзья, настал и мой черед проститься с футболом,— сказал им после игры капитан.

Джумбер, устраивавший другим пышные проводы и встречи, от прощального вечера в «Жемчужине» отказался. Его отъезд они отмечали дома, втроем, в только что отремонтированной квартире, и просидели до утра. После отъезда Джумбера Исламовым долго казалось, что Заркент несколько померк. Джумбер словно предчувствовал кончину футбола в Заркенте. Осенью класс «Б» упразднили, и уже больше никогда настоящий футбол сюда не заглядывал. Перестали по весне приезжать и гонщики, но здесь все объяснялось проще: гаревых дорожек понастроили повсюду, и не было резона тащиться через всю страну в заштатный городок…

Шли месяцы, в их упорядоченной семейной жизни время катилось стремительно… Гияз, радуясь, что Глория как будто обрела покой, постоянно думал: вот еще бы сына для полного счастья. Но никогда Глории об этом не говорил, хотя догадывался, что и она думает о том же. Он знал, что жена зачастила к врачам. Шло время, но радостного стыдливого признания он так и не услышал…

Однажды среди ночи Гияз проснулся, почувствовав, как Глория, прижавшаяся к его плечу, беззвучно плачет. Он не подал вида,

что проснулся, подумал, может, приснилось что. Но когда это случилось во второй раз и он попытался ее успокоить, с ней случилась истерика. Не владея собой, обезумевшая от точившего ее горя, она кричала:

— Я убила нашего ребенка, почему же ты не прогонишь меня прочь? Я сломала тебе жизнь! У тебя никогда не будет сына, Исламов! Я знаю, знаю, ведь ты мечтаешь о нем день и ночь. Прогони меня! Прогони!

Гияз, целуя безумные глаза жены, успокаивал ее как мог, и в эти минуты искренне сожалел, что когда-то так настойчиво внушал ей мысли о сыне, о роде Исламовых, перед которым он якобы в долгу. Сейчас он отказался бы от десяти своих будущих сыновей, чтобы только в душе Глории вновь поселился покой, он чувствовал, что она погибает, и не знал, как ей помочь.

После этого случая Гияз стал еще внимательнее к жене, наотрез отказался от ночных смен, боялся оставлять ее одну, наедине с гнетущими мыслями. Как он хотел тогда, чтобы Глория поняла, что дороже нее для него нет никого на свете! Иногда это ему удавалось, и она преображалась на месяц-другой, ходила веселая, возбужденная, покупала наряды, и они чуть ли не каждую субботу выезжали в Ташкент. В отпуск туристами съездили в Болгарию, где Глория восхищалась отелями на берегу моря. Здесь она опять стала много рисовать, у нее рождались новые идеи. Гияз радовался вновь проснувшемуся у Глории интересу к архитектуре, он готов был пожертвовать сложившимся семейным уютом, вновь превратить квартиру в проектную мастерскую, лишь бы она по ночам не плакала, не мучилась своей виной. Тогда в Болгарии появились первые дискотеки, а в ресторанах играли первоклассные оркестры, и Глория, как когда-то в «Жемчужине», каждый вечер с удовольствием танцевала. А когда они возвращались обратно из Варны в Одессу пароходом, в танцевальном зале на верхней палубе кто-то из отдыхающих позавидовал Гиязу — какая у него веселая, беззаботная жена. Гияз про себя обрадовался: слава богу, кажется, она пришла в себя.

Через неделю после приезда из Болгарии Гияз, вернувшийся с работы с цветами, нашел на столе записку.

«Гия, милый, не ищи меня. Из нашей жизни ничего хорошего не выйдет. Постарайся начать все сначала. Вины твоей ни в чем нет, я благодарна тебе за все. Если можешь, прости и прощай.

Целую, Глория».

Гияз несколько раз прочитал записку, не осознавая страшного смысла слов,— если бы не знакомый почерк, подумал бы, что это чья-то злая шутка. В доме ничего не изменилось, кругом чисто, прибрано, цветы в горшках политы… Он распахнул гардероб — вперемежку с его вещами висели два ее стареньких платья и плащ. Не было чемодана и ее любимой дорожной сумки. Он кинулся к шкатулке, где у них хранились деньги и документы,— паспорта Глории не было. «Хоть бы деньги забрала»,— подумал мельком. Он упал на тахту и заплакал — громко, навзрыд, как не плакал с детства…

Прошел месяц, другой… Гияз никому не говорил, что Глория ушла от него, впрочем, и говорить-то было некому, в последнее время он мало с кем общался. Он еще и сам до конца не верил в случившееся, ему казалось, что у нее вновь какой-то срыв и скоро все пройдет, образуется, и она вернется домой. Почерневший от дум и бессонных ночей, он летел с работы, каждый раз надеясь, что Глория там. Если он знал, что задержится, оставлял в двери записку: «Глория, я буду во столько-то». Однажды, поднимаясь по лестнице, он не увидел своей записки на месте и чуть не задохнулся от радости. Но радость оказалась напрасной — записку, наверное, забрали озоровавшие мальчишки. По ночам ему вдруг казалось, что позвонили, и он, радостный, вскакивал, а потом от огорчения никак не мог заснуть до утра.

Первые месяцы Гияз не пытался разыскивать Глорию, боялся скомпрометировать, что ли, и еще был уверен — она непременно вернется. На третьем месяце эта уверенность пропала, и он лихорадочно начал искать жену по известным ему адресам, но ниоткуда утешительных вестей не поступало. По вечерам он перестал выходить из дому, думал: а вдруг Глория позвонит или позвонят люди, которых он просил сообщить хоть что-то о ней. Только через год пришла вдруг телеграмма из Норильска, состоявшая из нескольких слов: «Не мучай себя, не ищи меня».

Уже через неделю Гияз был в Норильске, прочесал весь город, поднял на ноги милицию, но следов Глории и там не обнаружил. Может, она попросила кого телеграфировать с другого конца света? Скорее всего, так оно и было, не иголка же в стоге сена, а человек, да и Норильск по тем годам был не так уж велик.

Прошло два года. Увяли цветы в горшках — запоздалое увлечение Глории, и некогда счастливый дом — свидетель радостного смеха и веселых застолий — словно онемел…

Только работа, где он был нужен, и проникшее в кровь чувство ответственности за нее поддерживали в Гиязе интерес к жизни. Разговоров о повышении Исламова уже никто не вел, говорили — сломался мужик. Хорошо еще, новый объект — завод бытовой химии не требовал такого напряжения, как строительство самого комбината, к тому же Гияз был уже теперь строителем тертым, как любил говорить их начальник. Недоброжелателей на работе у него, казалось, не было, а друзья, зная его беду (город-то маленький, захочешь — не утаишь, да и Глория была в Зарканте человеком известным, к тому же имела прямое отношение к строительству), всячески старались поддержать его.

Коллектив у него на участке был сложившийся, работали лет восемь вместе. Но в один далеко не прекрасный день ситуация резко изменилась — начальником управления стал Силкин. Вышло это не случайно. В последние годы на особо важные совещания, планерки строителей с участием высоких начальников из министерства и главка приглашались бригадиры, передовые рабочие. От их управления рабочих чаще всего представлял Силкин. На такие совещания в любую жару он всегда приходил в куртке-спецовке, на которой красовался орден. Надо отдать ему должное, Силкин достойно представлял интересы своего управления, не от одного выговора спас собственное начальство. Как и в любом деле, у строителей существует своя этика: нельзя откровенно подводить коллег, ставить их под удар, а строительство — это сплошная зависимость друг от друга, одного управления от другого. И то, что не мог, сообразуясь с этикой, сказать начальник управления или главный инженер в присутствии высокого начальства своему коллеге-смежнику, всегда мастерски, как бы по простоте душевной, говорил Силкин. Когда замминистра или другой начальник, обращаясь к Силкину, спрашивал: а что народ скажет, у смежников начинали трястись поджилки. Силкин был инженер, и был не так прост, как казалось, да и годы не прошли для него даром. Выступал он толково, дельно, но больше, конечно, кидал камни в чужой огород, отводя угрозу от своего управления, давая своему начальству возможность перевести дух, передислоцировать силы и заставляя смежников сдать выгодный по объемам и срокам фронт работ, в чем таилась и корысть его знаменитой бригады. Другого такого бригадира на стройке не было, и его не раз пытались сманить в другие управления, но Силкин своего управления держался крепко, видимо, считал, что от добра добра не ищут.

Конечно, не до всего Силкин доходил сам, перед иными горячими совещаниями начальство тщательно инструктировало его и целые отделы готовили для него расчеты, поэтому выступал он во всеоружии и нужной линии держался строго, на это у него был нюх. Для вящей убедительности в разумных пределах допускалась самокритика,— все больше о бережном отношении к минутам, граммам, из которых, мол, складываются миллионы…

Исламову каждый раз в таких случаях хотелось сказать: да оставьте вы в покое минуты и граммы, сберегите лучше сами миллионы. Выступая часто и по делу, Силкин годами был на глазах высокого начальства. С иным начальником управления замминистра едва кивком головы поздоровается, а с Юрием Ивановичем непременно за руку, да еще о делах и самочувствии спросит. А уж если сам замминистра за руку здоровается, то управляющие разве только на руках не носят.

За много лет работы Гияз так и не смог привыкнуть к подхалимажу, чинопочитанию, ведь вроде занимались серьезным мужским делом суровые, на первый взгляд, люди. Не мог привыкнуть и к подножкам. Он-то хорошо знал, что такое «подставить под удар» — в строительстве каждый удар нокаутирующий.

Так вышло, что на одном крупном совещании в горячей перепалке замминистра сказал вдруг одному управляющему: считайте, что с завтрашнего дня вы не работаете в этой должности, и, оглядев длинные столы, приказал начальнику СМУ принять дела. Растерявшийся начальник Гияза, понимая, что рушится судьба управляющего, не нашел ничего лучшего, чем спросить, кому же он должен передать дела. И тут смежники отыгрались за долгие годы унижений и подвохов.

— Силкину Юрию Ивановичу…— загалдели они дружно, словно сговорившись, зная, что замминистра благоволил к бригадиру.

— Юрий Иванович, вы что, институт успели одолеть? — спросил замминистра.

Опять же, не дав Силкину рта открыть, опомниться, смежники дружно ответили:

— Конечно, одолел, Сергей Петрович, он все одолеет.

— Что ж, прекрасно, мы ценим, когда практики получают образование.— Замминистра посчитал, что Силкин заочно за эти годы закончил институт.— У меня возражений нет, лучший бригадир, депутат горсовета, орденоносец. Принимайте, Юрий Иванович, дела, раз начальники управлений так за вас хлопочут. Такие добрые отношения только на пользу дела.

Так в какие-то полчаса решилась судьба трех человек, бумерангом ударившая и по четвертому — Гиязу.

Месяца три, пока Силкин осваивался, привыкал к креслу, Исламова он по пустякам не дергал. Надо сказать, что с назначением Силкину повезло, вроде как в инженеры не рвался, ну, а в начальники — это совсем другое дело, о таком повороте судьбы он и не мечтал, был убежден, что диплом никогда не понадобится. Вообще-то он тяготился уже своим бригадирством, многие проблемы, на которые у других уходит жизнь, он решил к тридцати, и материальных стимулов, которые бы подстегивали его честолюбие, уже не было,— молодой город щедро одарил Силкина всем, чем мог, и даже избрал своим депутатом. До тридцати, занятые своими жизненно важными проблемами, люди редко задумываются о власти, о ее гипнотизирующей силе, поражающей и того, кто ею владеет, и тех, кто вынужден этой силе и власти подчиняться. Но вот потом… Безграничная власть Силкина над своей большой бригадой его уже не устраивала, не тот масштаб. Обрядившись в личину рабочего, он выиграл во многом, но, оперившись, набрав силу, обретя положение, своим практическим умом опять высчитал, что все-таки ограничил свой потолок, бригадирство для рабочего — предельная высота. А тут вдруг сразу — начальник управления, с таким общественным положением, что инженеру в его годы и в самых смелых мечтаниях не привидится. С этой точки можно было штурмовать любые высоты: управляющий, а там — чем черт не шутит — может, и сам министр по-отечески передаст ему когда-нибудь свой пост. А почему бы и нет? Голос у него, Силкина, зычный, статью вышел дай бог всякому, нервы и здоровье в порядке, не то что его ровесники-прорабы, в день по две пачки сигарет выкуривают и без люминала заснуть не могут, то и дело за сердце хватаются. Образование у него прекрасное, институт закончил солидный, дневной. Повезло и с управлением: можно догадываться, какое он получил наследство, если его начальник без колебаний, вмиг был назначен управляющим. И главный инженер, и начальники отделов работали со дня основания СМУ и дело свое знали. Тут хоть спи на работе, а дело будет идти. Но Силкин спать не собирался, свой шанс он решил не упускать, к тому же его жена уже тяготилась Заркентом, мечтала вырваться в большой город. Повезло ему и с временем: горячка, царившая во время строительства комбината, прошла, тогда-то в любой день можно было сломать себе шею, а теперь у него впереди

месяцы относительно спокойной жизни, необходимые для того, чтобы вникнуть в новую работу.

Как только втянулся, почувствовал, что дела пошли, Силкин как бы заново увидел, что самый большой и ответственный участок возглавляет его однокурсник Исламов — свидетель его далеко не выдающейся учебы в институте, свидетель его расчетливого бегства от трудностей прорабства, свидетель многих своекорыстных дел в их многолетней работе в одном управлении. Силкин понимал: хоть он и начальник, указчик Исламову, но далеко не авторитет, а ему так хотелось всеобщего уважения! Ведь не мог он, распекая на планерке молодого прораба, сказать в присутствии Исламова: чему, мол, вас учили в институте, потому как сам никогда особыми знаниями не блистал, и знал об этом в Зарканте один-единственный человек — его подчиненный Гияз Исламов.

Гияз, еще не пришедший в себя после исчезновения Глории, первое время просто не замечал пристального внимания Силкина к своему участку. И на первые его выпады тоже никак не реагировал, думал, что новый начальник укрепляет свой авторитет, начиная с него как бы для острастки молодых. Но нападки участились и уже бросались в глаза посторонним. Только спустя полгода Исламов понял, что он как кость в горле у Силкина. Чем лучше шли дела в управлении, тем хуже он относился к Гиязу. Уже друзья говорили Исламову: да плюнь ты на это управление, не даст он тебе жизни,— что за человек Силкин, они знали по его знаменитой бригаде.

Может быть, будь рядом Глория, будь у него в душе покой, он дал бы Силкину бой. А впрочем, не сломайся он так очевидно, вполне вероятно, что тогда, на той счастливой для Силкина планерке, могла прозвучать и фамилия Исламова. И тогда уже точно кончились бы счастливые деньки Силкина, будь он трижды депутат и орденоносец. У Исламова были свои взгляды на отношения между людьми, и на отношения между его коллегами-смежниками — тем более. А уж про шесть сотен в месяц Силкин забыл бы до конца дней своих. Может, об этом тот и догадывался, и потому давил так настойчиво и целенаправленно, верно рассчитав, что сейчас, после бегства своей знаменитой красавицы-жены, Исламов не боец…

Иногда Гияз думал, что, может быть, за работой, вечной занятостью он не заметил, как что-то неуловимо изменилось в жизни, как стала меняться, а, по его мнению — искажаться шкала ценностей. Откуда-то появились новые герои, вызывавшие скорее недоумение,

чем восхищение. Он до сих пор не мог понять, как можно было, находясь в здравом уме, забраковать проект Глории — только из-за того, что он попал под какой-то временный указ. И карьера «Великого Силкина», как заглазно называл его на стройке народ, тоже была непонятна Исламову. Но ни на секунду он не позавидовал бывшему однокурснику, понимал — с такой завистью неизвестно до чего можно докатиться. Уроки отца крепко сидели в нем.

Не стал он ни воевать с Силкиным, ни переходить в другое управление — в какой-то момент он почувствовал, насколько тяжело и душно ему в этом городе, где все напоминало о Глории, а жить в ее квартире становилось мучительнее с каждым днем. По-прежнему Гияз вздрагивал от каждого случайного звонка, редко выходил из дому по вечерам, боясь упустить какую-нибудь радостную весть. Но вестей от Глории не было. Он понимал: нужно что-то делать, но с уходом Глории у него словно отняли силы и парализовали волю.

Как-то вечером Исламов, как в старые времена, задержался на работе, получив очередную накачку от Силкина, и, возвращаясь домой, сошел на остановке возле «Жемчужины». В кафе он не был года четыре, хотя постоянно слышал, как его молодые рабочие упоминали «Жемчужину» в своих разговорах. Прежние официантки сменились, с улыбкой, как раньше, его не встречали, да и в нем, начинавшем седеть мужчине, нелегко было признать Гию Исламова, завсегдатая «Жемчужины», некогда появлявшегося здесь каждый вечер с красавицей-женой в шумной грузинской компании.

С первых же минут Гияз понял, что время не пощадило и «Жемчужину». Раньше она, как и задумала Глория, была вечерним праздничным кафе. Официантки приходили на работу к шести, отдохнувшие, энергичные. Приводили зал в порядок, освежали из шлангов полы, наводили кругом блеск, ставили на каждый стол цветы, и в семь кафе гостеприимно распахивало двери. Теперь эта «точка» открывалась с утра, официантки день работали, два отдыхали, как на заводе, так что к вечеру — при заркентской жаре — каждая походила на выжатый лимон. Зачастую дневной план к этому времени был выполнен, и вечерние клиенты, специально пришедшие после трудового дня отдохнуть, приятно провести время, оказывались как бы ни к чему, лишними. «Жемчужина» пережила уже и ремонт: нежно-коралловая раковина теперь тускло темнела грязной коричневой краской, освещение, служившее архитектурным решением, исчезло — наверное, в ходе кампании по экономии энергии. Исчезли

мороженое и вода, вместо них бойко торговали дорогими коктейлями и коньяком в разлив. Стол, за которым обычно собиралась их компания, оказался свободным, и Гияз, заняв свое привычное место, огляделся. Посетителей по-прежнему было много, кафе, при всех издержках, пользовалось популярностью. И вдруг Гияз увидел то, что наверняка обрадовало бы Глорию, а может, она так это и представляла через время. Медь — красная и желтая, ее любимый архитектурный материал, который она сумела-таки использовать в своем первом проекте, радовала глаз, жила какой-то новой жизнью. Высокая литая ограда из тяжелой красной меди, с традиционными элементами восточного орнамента, от времени покрылась кое-где зеленоватым налетом, и от этого здорово выиграла, словно успела побывать в далеком прошлом и основательно запылиться. Она странно, ненавязчиво, но настойчиво бросалась в глаза, а ведь раньше Гияз не замечал этого прекрасного литья, узоров, навевавших мысли о Востоке, времени, старине. Преобразилась и медь, которой каждый день касались сотни рук: стойки у баров, окантовка мраморных столов, тяжелые замысловатые дверные ручки сияли, как отполированные.

Оркестр наигрывал бодрые, жизнерадостные ритмы; музыка, пропущенная через мощные усилители, оглушала даже на огромном свободном пространстве, где раскинулась «Жемчужина». Глория словно предвидела и этот электронный взлет музыки. Заказы оркестру сыпались со всех сторон, что было не принято в их время, и на весь зал неслось: «Для нашего дорогого друга Ахмета исполняется…» Какой-то Ахмет в этот вечер гулял широко. Оркестр, щедро им финансируемый, не умолкал ни на минуту, и во всех четырех секторах азартно отплясывали. Когда толпа танцующих на время редела и яркий свет уцелевших мощных юпитеров попадал на цветы в танцевальном круге, словно золотое сияние возникало вокруг, так отшлифовались в танце цветы. Вскоре к нему за стол подсадили компанию молодых людей, отмечавших экспромтом день рождения девушки. Гиязу показалось, что он уже где-то на стройке видел ее. Гостеприимство, общительность — одна из особенностей восточных людей, и вскоре Гияз тоже поднимал бокал за здоровье именинницы. На какой-то очередной особо изысканный музыкальный заказ Ахмета молодые пары сорвались из-за стола, а напротив него осталась невзрачная девушка, всем своим видом выказывавшая желание потанцевать, и Гиязу ничего не оставалось, как пригласить ее. Танцуя, он невольно смотрел себе под ноги, девушка даже спросила, не потерял ли он чего.

— Не кажется ли вам странным этот цветок? — спросил он.

— Да, пожалуй, в нем есть какая-то тайна,— ответила партнерша, вглядевшись в него.

— А вы внимательнее, внимательнее посмотрите…

— Кажется, вот эти линии цветка напоминают сплетенные буквы «Г» и «К». Да, я отчетливо вижу эти буквы. Вам они что-нибудь напоминают? — спросила она тревожно.

— Нет, нет, просто я тоже разглядел монограмму, наверное, мастер о себе память оставил, долго не вытоптать,— ответил Гияз, и ему захотелось домой.

Возвращаясь давним маршрутом от «Жемчужины» к дому, Гияз мысленно прощался с городом. Он твердо решил уехать.

А через месяц и обмен подвернулся. Так он оказался в одном дворе с Закирджаном-ака.

Часть III

Скорый из Москвы пришел в Ташкент с опозданием.

Оживились, засуетились в конце пути пассажиры: стоя у окон, гадали вслух, кто придет их встречать. Исламов был спокоен, и даже опоздание его не очень огорчало: никто в Ташкенте его не ждал, и ни один букет на перроне ему не предназначался. Сошел он последним.

Рабочий день еще не кончился, во дворе дома никого не было, и это его обрадовало, общаться сейчас с кем бы то ни было ему совсем не хотелось. Быстро, бесшумно проскользнул он в свою квартиру. Запах давно не проветривавшегося помещения, застоявшегося воздуха ударил ему в нос, он поспешил распахнуть настежь окна и двери и только потом включил кондиционер.

Квартира, случайно доставшаяся ему по обмену, Гиязу понравилась сразу, и содержал он ее в образцовом порядке, как выразилась некогда Даша. Он не стал ей тогда объяснять, что все его пристрастие к чистоте и уюту объясняется, увы, просто и даже прозаично — он боялся опуститься, боялся запить. После ухода Глории он потерял интерес ко всему, и немудреные заботы по дому оказались своеобразной спасительной соломинкой, за которую он ухватился. Потом, через год, это стало привычкой, нормой, хотя, надо признать, неумехой он никогда не был и прежде. Поразил Гияза не столько спертый воздух в квартире, а то, что за время его отсутствия Даша ни разу не была здесь — краткая его записка на кухонном столе — «Я уехал в отпуск, буду в конце месяца» — уже успела пожелтеть и запылиться. Значит, она не знала и не интересовалась, где он, что с ним,— это оказалось для него неожиданностью. У Даши были ключи, она приходила сюда, когда хотела, впрочем, где-то в душе она, наверное, считала эту квартиру своим домом, хотя и имела собственную. Иногда Гияз, возвращаясь с ночной смены, обнаруживал, что Даша ночевала у него. На кухне его ждал горячий завтрак, прикрытый полотенцем, в холодильнике лежали новые припасы, квартира сияла чистотой и свежестью. Иногда на столе белела записка: «Гияз, пожалуйста, никуда не уходи вечером, я взяла билеты», или: «Гияз, мы приглашены в гости». Как-то незадолго до его отъезда в отпуск, в воскресенье, Даша испекла праздничный торт, по этой части она была большая мастерица, украшали торт маленькие свечи и цифра «18». Гияз, заинтригованный, гадал, что бы это значило, но с этой цифрой или датой ничего не мог увязать. Даша, видимо, внутренне готовая к мужской забывчивости, или, сказать точнее, к его невнимательности, так как знала, что Гияз еще не избавился от переживаний, связанных с прежним браком, не очень обиделась, что он забыл дату их знакомства. Ни о другой женщине, ни о его прошлой семье, ни о шоке, в котором пребывал Гияз, они никогда не говорили, хотя женским умом Даша догадывалась, что в жизни у Исламова произошло что-то серьезное, выбившее его из колеи. Но, однажды сама обжегшись, Даша считала, что разбирается в мужчинах, и, уверенная в успехе, не торопила события. О том, что он был женат, она знала, даже знала на ком — на некоей Глории Караян. В комнате над диваном в тяжелой старинной, под бронзу, раме висел большой портрет, выполненный маслом, очень похожий на работу старых мастеров. Но Даша понимала, что это лишь манера исполнения, а на портрете

изображена девушка-современница, чуть постарше ее. Она догадывалась, что это, по всей вероятности, и есть Глория Караян, но расспрашивать о портрете не решалась, потому что в первый раз, когда она осталась здесь, Гияз строго сказал, чтобы она никогда не допытывалась о его прошлой жизни, он сам расскажет ей обо всем, когда посчитает нужным. Тогда такое условие ей даже понравилось: зачем ей было его прошлое, ее интересовало только будущее — их будущее. Она верила: время, как бы долго оно ни тянулось, исцелит любого. Кроме того, как и всякая женщина, она верила в свои возможности, молодость, жизненный опыт. Да и Исламов, казалось ей, особой загадки из себя не представлял: типичный однолюб, порядочный в отношениях с женщинами, как и вообще в жизни. Почта его была у нее на виду, и даже по телефону, кроме диспетчерши, никто ему не звонил. В общем, Исламов ее устраивал, нужно было только ждать…

Шло время, тянулись месяцы. Вроде они и были вместе, но к себе в душу Гияз ее так и не впускал, долгожданного признания так и не последовало. Часто, находясь в квартире одна, Даша подолгу стояла перед портретом. Красота девушки гипнотизировала, и ей иногда вдруг хотелось сорвать картину и выбросить ее из дома. Но каждый раз Дашу что-то останавливало, женским чутьем она понимала: если ей и придется жить здесь, то только непременно с этой загадочной незнакомкой, в тайну которой она все же когда-нибудь проникнет.

Автопортрет, вызывавший любопытство Даши, Глория написала в студенческие годы, случайно купив на стипендию в антикварном магазине старинную прекрасно сохранившуюся раму. Рама-то и определила стиль, манеру картины и вообще натолкнула на мысль об автопортрете. Картина очень нравилась и самой Глории, и Гиязу, и он действительно не согласился бы убрать ее со стены, посчитав это предательством по отношению к Глории, к своей прежней жизни.

Неотвязные думы о Даше были Гиязу сейчас непривычны, хотя там, в Озерном, он о ней думал часто. Достав из сумки спортивный костюм, он переоделся и принялся за уборку. Убирая, включил проигрыватель, классическая музыка, к которой приохотила его Глория, вселяла в душу покой. Теперь, когда он жил в столице, фонотека его пополнялась постоянно — слава богу, ажиотаж не коснулся симфонической музыки. Даша, поначалу подшучивавшая

над его вкусами, потихоньку привыкла к увлечению Гияза и теперь уже сама иногда дарила ему пластинки, радуясь, когда видела, что угодила ему.

Покончив с уборкой, Гияз решил сходить на базар, благо он располагался рядом, в соседнем квартале. Жизнь в Средней Азии научила его многому, и прежде всего самостоятельности. Вести дом, хозяйство для него не составляло никакого труда, даже было как-то в охотку. И потому, встречаясь в отпуске, в командировках с мужчинами из других мест, он поражался беспомощности многих в вопросах быта. А ведь они жили в тех краях, где мужчина традиционно высоко чтил женщину. Чтить-то чтил, но… Что же это за помощник, если он ничего не умеет, мысленно улыбался Исламов, обнаружив еще один парадокс. По привычке, по старинке многие думают, что в Средней Азии женщина находится под властью мужа, принижена им, что ли. Но здесь мужчина никогда не растеряется, если жена уедет в гости, командировку, отпуск. Вернувшись, она не застанет дом в запустении, а детей голодными. Мужчина на Востоке и покупки сделает, и еду приготовит, и в доме, и во дворе, и в саду порядок наведет, а жену встретит накрытым столом. И выходило, что в жизни слова все-таки взяли верх над делом; мужчина, умевший все и помогавший делом, а не словом, и теперь считался, пусть и по старинке, принижающим женщину, а тот неумеха — ее почитающим. И как от души веселился Исламов, когда наткнулся однажды на строки Амира Хосрова Дехлеви, которым века и века: «О любви говори, говори, пой, но подарки дарить не забывай». Во второй половине строки — о подарках — Исламов полагал, что речь идет и о помощи жене.

Вечером, после ужина, когда в доме царил привычный порядок, Гияз, раскладывая вещи из чемодана и сумки, вновь наткнулся на бумаги и фотографии. Не читая, он рассортировал письма из Омска, Заркента, Ташкента. Из Ташкента их оказалось всего ничего — четыре тощих конверта. Отыскав первое, он перечитал его.

«Здравствуйте, мои дорогие!

Наверное, вы удивились моему новому адресу на конверте. Да, в моей жизни произошли крутые перемены, отныне я живу в Ташкенте. Причин для переезда из Заркента набралось более чем достаточно, и потому не буду утомлять вас подробностями, у вас и своих забот невпроворот. Скажу только, что я жив-здоров и уехал по собственному желанию. Квартира по обмену попалась удачная, в хорошем районе, двор утопает в зелени. Как только обживусь,

устроюсь на работу, приглашу в гости. Ташкент все-таки столица, есть на что посмотреть. С работой, надеюсь, проблем не будет — Ташкент строится как никакой другой город в стране. Правда, это несколько другое строительство — гражданское, а я ведь отдал годы строительству промышленному, где совсем иные масштабы, темпы, да и климат в коллективах иной, как предупреждали меня коллеги перед отъездом из Заркента. Это то же самое, сравнивали они, что шофер с большого грузовика, большой трассы перейдет работать на такси — вроде одна и та же профессия — шофер, а специфика работы совсем другая. Но не так страшен черт, как его малюют, одолеем. Вообще-то мне хотелось бы набраться опыта и построить дворец невиданной красоты,— о том, что существуют удивительные проекты, я знаю.

Сейчас появилась новая песня, а в ней такие слова: «Начни с начала, начни с нуля». Стараюсь шагать в ногу со временем и начинаю все с нуля.

Обнимаю. Гияз».

За окном стояли легкие июльские сумерки, из сада и со двора, щедро политого Закирджаном-ака, несло свежестью и запахом земли. Удивительный аромат к ночи исходит от райхона, травы, чем-то напоминающей русскую мяту, чабрец. Райхон в жизни восточного человека занимает особое место, он украшает даже крошечные уголки городских двориков, его употребляют для приправ, на салат, украшают им комнаты молодоженов. «Райхон для меня — это запах родины»,— сказал когда-то Гиязу Закирджан-ака.

Телефон не беспокоил, никого Гияз не ждал, никуда не торопился, и вновь мыслями возвращался в прошлое, словно прокручивал утвержденный к прокату фильм, в котором уже ничего изменить нельзя…

…В Ташкенте он устроился на работу в ремонтно-строительное управление при производственном объединении, выпускавшем технику, прорабом. На это были две причины. Первая — работа находилась рядом с домом, объявление о приглашении в РСУ он прочитал на своей автобусной остановке. Второе — его привлекало сочетание: ремонтно-строительное. Первая часть была совершенно незнакома Гиязу, прежде он занимался только строительством и монтажом, а ремонт для него был делом новым. Но если уж собрался перейти на гражданское строительство, не мешало бы одолеть и ремонтные работы, так решил он, начиная новую жизнь.

У производственного объединения в Ташкенте было две территории, его РСУ занималось пристройкой цехов, реконструкцией, а чаще всего ремонтом бытовых и служебных помещений. Годовой объем работ ремонтного управления не составлял и месячной программы бывшего хозрасчетного участка Гияза. Бригад в его прорабстве оказалось две. В первую же неделю Гияз понял, что коллективы эти сложились давно, и бригадиры держали своих рабочих в строгости. И опять всплыл в памяти Силкин — уж больно похожи были бригады, умелец к умельцу, грех жаловаться, хотя самим бригадирам до Юрия Ивановича было далеко. А может, просто масштаб не тот? Время покажет, думал Исламов. Вспомнил он и пословицу, произнесенную друзьями перед его отъездом: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», и он приглядывался к новому коллективу, чувствуя, что и за ним внимательно наблюдают: и рабочие, и коллеги. Особенно коллеги, ведь никто из них не имел за плечами такого опыта, как Исламов, в активе которого были медно-обогатительный комбинат, огромный комплекс с сернокислотными цехами и заводом бытовой химии. Этим можно гордиться всю жизнь. Хотя Исламов никогда, ни разу не упоминал о прежних делах, чувствовалось, что о его работе знают. Может, близость Заркента сказывалась, а может, то, что немало инженеров, как и он сам, перебралось оттуда в Ташкент. Внимание коллег тоже было неоднозначным. Молодые смотрели на планерках с интересом, отмечая, как точны, инженерно обоснованны редкие реплики Исламова. Те, кто постарше, с высоты своего житейского опыта словно ощущали какой-то подвох, и в их глазах Гияз читал: «На черта тебе сдалось наше хилое РСУ, при твоем-то опыте? А может, ты не просто пришел к нам, уже давно кем-то решено отдать тебе этот уютный кабинет с кожаным креслом, и ты приглядываешься к нам?»

Управление жило относительно мирно, план выполнялся всегда, а значит, премии шли регулярно. Штурмовщина, нервотрепка, как на большой стройке, случались редко, похоже, это было местечко, которое обычно принято называть «теплым». Праздники, памятные даты сослуживцы отмечали дружно, в этом деле чувствовался многолетний опыт, слаженность, на торжества эти и застолья Гияза приглашали радушно.

В сравнении с прежней работой у него появилась бездна свободного времени. На объекте нужно было появляться с утра и в конце дня, чтобы быть в курсе дела. Догляда особого за рабочими

не требовалось, принимали в бригаду не всех, это он понял сразу, да и сама работа не требовала постоянного инженерного надзора. Первые недели он старался целый день быть на объекте, но заметил, что рабочие не привыкли к этому, не понравилось его присутствие и бригадирам. Наверняка подумали: не доверяет прораб. Впрочем, скоро оба бригадира недовольно намекнули, что не нуждаются в мелочной опеке. Он попытался чаще заглядывать в контору, но там насторожились еще больше, чем на стройке.

Один из бригадиров, узнав каким-то образом, что Исламов живет рядом, сказал однажды:

— Гияз Нуриевич, что вам здесь делать в таком пекле целый день? Идите домой спокойно, если что случится или понадобитесь вдруг, я мигом к вам или по телефону вызову.

Гияз ничего не ответил на это предложение, но принял его к сведению. И странно, хоть и руководил он теперь таким необычным способом, дела шли нормально, план выполнялся, объекты сдавались в срок. Документация велась тут гораздо проще, не говоря уже о ее количестве. Через полгода Гияз вдруг обнаружил, что и получает теперь не меньше, чем там, в Заркенте, когда работал начальником участка, а эта работа, на его взгляд, была совершенно не сравнима с предыдущей ни по объему, ни по требованиям, ни по срокам, ни по качеству, ни по вложенным знаниям. Только сейчас он понял, почему не очень задерживаются на крупных, важных стройках прорабы,— оказывается, и в их трудной профессии существуют спокойные, теплые места, где без нервотрепки, ночуя дома, можно получать те же деньги. Открытие это не обрадовало Гияза, мыслями он еще был там, в Заркенте, с теми, с кем проработал более десятка лет, с умными, толковыми инженерами, которым покой разве что во сне мог присниться. У него даже появилось ощущение, что он как бы предает своих товарищей, прячется от трудностей за их спинами.

Шло время. О Глории не было никаких вестей, хотя периодически его охватывала страшная тоска по ней, и он вновь лихорадочно пускался на поиски: писал письма, слал телеграммы, звонил знакомым. Гияз выписал журнал «Архитектура» и внимательно одолевал статью за статьей, надеясь: вдруг где-нибудь всплывет ее имя, но все труды оказывались напрасными.

А однажды, когда близился его первый отпуск в Ташкенте, ему приснилось море, Гагры, их прежние счастливые дни с Глорией… Весь день он думал об этом сне и о приглашении Зураба Каргаретели,

который настойчиво звал Гияза в Пицунду посмотреть на воплощенные в жизнь проекты и обещал к тому же некий приятный сюрприз. Как утопающий хватается за соломинку, Гияз уцепился за идею, которая становилась навязчивой. А вдруг этот сюрприз — Глория?!

Промаявшись неделю, он решил ехать к морю: и отдохнуть не мешало, а главное, в нем поселилась надежда… Бригадиры, узнав об отпуске, сказали, что следует отметить отъезд, иначе, мол, плохо будет отдыхаться. И добавили: вот вы уже год работаете, а с нами ни разу за столом не сидели, все с начальством в конторе, мол, обижаются ребята. В строительстве инженер к рабочему гораздо ближе, чем в каком-либо другом производстве. Это можно даже сравнить с боевой обстановкой, где офицер делит с солдатами все тяготы военной жизни и отличается от них только лежащей на нем ответственностью. Гияз согласился с удовольствием, самому такой шаг сделать было трудно, а отказываться, конечно, не стоило — приглашали от души, он чувствовал.

К тому же в последние месяцы у него наладились с коллективом деловые, теплые отношения. Как-то в управлении хотели его бригады передать временно на другой участок, так оба бригадира уперлись — от Исламова никуда. Пришлось отменить уже заготовленный приказ, ибо сила таких бригадиров в том, что они не сами уходят со стройки, а уводят за собой всю бригаду.

Однажды к неожиданному приезду зарубежной делегации в одном из объединений понадобилось срочно отремонтировать актовый зал. Работа досталась Исламову, и Гияз почувствовал в этом срочном и ответственном задании какой-то подвох со стороны своего начальства — мол, посмотрим, на что ты способен. Но Исламов виду не подал. Его догадку бригадиры подтвердили кое-какими недипломатическими репликами. Но Исламову сказали, чтобы не переживал, мол, будет зал готов вовремя. И работали весь световой день, и субботу прихватывали, объект сдали к сроку и в лучшем виде. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь: руководство объединения отметило участок специальным приказом, грамотами и крупной премией…

Прощальный обед организовали в чайхане. Есть в Ташкенте такие уютные заведения на берегах речушек, в парках. Айван чайханы выходил к берегу, тонул под тенью многолетних чинар. Готовить на Востоке умеет каждый второй, а в бригаде оказались первоклассные кулинары. Застолье удалось, просидели допоздна. Оба бригадира увязались провожать Гияза до самого дома, а там захотели

посмотреть, как живет их начальник. Когда уходили, отметили, какая неказистая дверь у Исламова. Прежние хозяева, наверное, не раз меняли замки, изрезали ее всю, пни посильнее — замок и вывалится.

— Ну и прораб,— укоризненно покачал головой один из них.— Сразу чувствуется, Гияз Нуриевич, что в гражданском строительстве вы не работали. Оставьте ключ, сменим вам дверь, а то как бы не вернуться в пустую квартиру.

Гияз словно впервые увидел свою дверь — она и впрямь на честном слове держалась — и, не раздумывая, отдал запасной ключ.

Прилетел он в Адлер утром. Несмотря на ранний час, здесь царило оживление. Загорелые, отдохнувшие курортники не без грусти покидали Черноморское побережье, а вновь прибывшие выделялись не только отсутствием морского загара, но и прежде всего азартом, нетерпением — скорее бы добраться к месту отдыха, к морю. Толпа таких нетерпеливых внесла Исламова в первый автобус, следовавший на Гагры.

Города в наши дни стремительно меняют облик, преображаясь до неузнаваемости, и только маленькие курортные городки, определившие свой стиль, свое лицо давным-давно, почти не поддаются напору безудержного времени. Разве что каждая новая эпоха оставляет на нем свои еле заметные следы: духаны называя чайными, чайные — закусочными, закусочные — кафе, кафе — барами, бары — дискотеками и так до бесконечности, а суть остается одна и та же.

И, может быть, прелесть этих городков именно в том и состоит, что, меняя косметику от сезона к сезону, они остаются навсегда неизменными, своеобразными, храня старые тайны в тени кипарисов, в тишине гротов, на узких горных тропинках, на шумных галечных пляжах… Не верьте, если скажут, что море давно слизало ваши следы, а эхо разнесло по горам ваш счастливый смех — вернитесь, и вы поймете — все осталось точно таким же, каким вы оставили его вчера, позавчера, много лет назад…

Гиязу тоже все показалось прежним, хотя он не мог не заметить множества новых лавок, лавочек, иных заведений, но они могли и исчезнуть так же незаметно, как и появились. Хотя заведения эти и отличались внешним лоском, подобающим известному курортному городу, но все же опытный глаз строителя без труда подмечал временный характер подобных сооружений.

Город еще с первой совместной поездки с Джумбером Гияз знал хорошо, безошибочно ориентировался в его крутых улицах, оттого

и квартиру нашел быстро такую, какую хотел, недалеко от центрального парка, чтобы по вечерам отовсюду возвращаться пешком, не завися от транспорта.

Вечером, отдохнувший, успевший искупаться в море, он собрался пройтись по тем местам, где в первый приезд любил бывать с Глорией. Посмотрев на себя в зеркало, заметил, что в последний год седины заметно прибавилось, но эта мысль не огорчила его.

Проходя мимо телеграфа, Гияз невольно остановился. Он знал: стоит ему отбить телеграмму в Тбилиси, и вскоре его друзья Джумбер, Тамаз, Роберт будут здесь, рядом с ним. Ему так хотелось увидеть их, посидеть, как когда-то, всем вместе за столом и вспомнить молодость, Заркент, «Металлург»… Но словно неодолимая пропасть возникала перед Гиязом: что бы он сказал им о Глории? Ушла, потерялась, не удержал, не уберег, не отыскал, не защитил? Не было слов, и нет этому оправдания. Гияз знал, что и для них Глория была больше, чем другом — она была частью их жизни, молодости, она была их талисманом. И какой бы сильной ни оказалась радость встречи с друзьями, не меньшей была бы и печаль, узнай они о судьбе Глории. Так и не завернув на телеграф, он прошагал дальше.

Странно, но некоторые летние кафе на воздухе, где они с Глорией проводили вечера в компании грузинских архитекторов, исчезли, а другие успели потерять лицо и прежнюю свою популярность, и Гияз еще раз отметил, что у каждого времени свои развлечения. В этот вечер он понял, что и искать Глорию следует, если вдруг она приехала отдыхать к морю, в новых местах.

И побежали чередой быстро таявшие дни отпуска. Несколько раз он проходил мимо дома, где они останавливались с Глорией первый раз. У калитки стояли повзрослевшие племянники Джумбера, он помнил каждого из них по имени, но окликнуть не решался. Видел однажды и самого дядю Дато, по-прежнему стройного, с неизменной сигаретой в зубах. Дато Вахтангович, прежде чем сесть в машину, даже задержал на секунду взгляд на нем, но в Гиязе трудно было признать прежнего Гию Исламова, жившего в этом доме в далекий медовый месяц. Так и разошлись. В другой раз, вечером, возвращаясь поздно, он вновь завернул к этому дому. Во дворе, ярко освещенном, как в памятные ему дни, шумели гости, и ему даже почудился голос Джумбера. Не таясь, он близко подошел к воротам и хотел войти, если еще раз услышит голос друга. В приоткрытую дверь было хорошо видно сидящих за столом, и он на всякий случай заглянул — Джумбера среди них не было.

Погода стояла на зависть, море не штормило, квартира попалась удобная, хозяева оказались гостеприимными, только дни убывали чересчур быстро, лишая его последних надежд. В какой-то из вечеров, ужиная в ресторане у моря, Гияз обратил внимание на то, что в зале много свободных мест для разгара сезона, на что официант ответил: большинство бывалых отдыхающих по вечерам уезжают развлекаться в Пицунду, где уже третий сезон открыт замечательный комплекс.

«В Пицунде, ну конечно, в Пицунде!» — подумал взволнованно Гияз, и угасавшая надежда вспыхнула вновь. На другой день, пораньше, Гияз отправился в Пицунду. Поехал он специально автобусом, чтобы спокойно разглядеть сказочные остановки Зураба Каргаретели, часть из которых он когда-то видел в работе, часть в проектах и рисунках. Двадцать четыре остановки насчитал Гияз, и ни одна не повторялась, радуя глаз и сердце фантазией. Среди буйной субтропической зелени у дороги яркие, волшебные персонажи из сказок, уберегавшие ожидающих от зноя и ненастья, поражали воображение даже тех, кто видел их уже не однажды. Работ было много, и вряд ли кому приходило в голову, что это труд одного человека, но Гияз-то знал это и в душе гордился человеком, оставившим такой след на земле.

К встрече с Пицундой Гияз был готов. Для него, строителя, уже виденное однажды в чертежах и проектах представало живым. Гуляя по широкой набережной, он вспомнил, что именно пространственное решение поразило тогда Глорию — строители уберегли реликтовый сосновый лес, и он вплотную подступал к набережной и высоким корпусам. «Если она на море, то встречу я ее только здесь, в Пицунде»,— решил Гияз, оглядывая бронзовую скульптурную композицию на развилке набережной. Вечер вступал в свои права, веселые нарядные люди заполняли набережную и прогулочные дорожки в лесу, отовсюду слышалась музыка.

Летних ресторанов, кафе, баров, дискотек, варьете в Пицунде оказалось так много, что Исламов растерялся: куда пойти, где искать Глорию? В иные заведения и попасть непросто: нужно было выстоять очередь. Гияз вспомнил, что в проекте каждого из высотных корпусов, на крыше, на самой верхотуре, планировалось открытое кафе, откуда обозревался морской простор и весь мыс Пицунда, и он, не раздумывая, завернул в подъезд ближайшего высотного здания. Скоростной лифт быстро поднял его на шестнадцатый этаж, но и здесь ему пришлось стоять в очереди, желающих попасть в кафе

было с избытком. Кафе оказалось огромным и без «архитектурных излишеств», проще некуда, как сказала бы Глория, но отдыхающих привлекали панорама, свежий морской воздух, да и места для танцев было предостаточно, чем не могли похвастаться другие заведения. Отыскивая свободный столик, Гияз понял, почувствовал, что Глории здесь нет и не могло быть, он знал ее вкусы. Эта мысль огорчила и обрадовала его одновременно, по крайней мере, из поля поиска выпадали крыши всех высотных зданий.

Место отыскалось у самого парапета. Гияз сел лицом к морю, происходящее в зале теперь его не волновало, даже появилась мысль встать и уйти, но, представив, что вновь придется выстаивать где-нибудь очередь, чтобы поужинать, он решил остаться, тем более, что сразу подошел официант и предложил свежую форель.

Солнце медленно опускалось в море, по всем приметам суля погожий день. Прогулочные катера, маленькие теплоходы уходили и возвращались с моря на причал Пицунды, как некогда пристала к этому берегу и, может, даже в этой бухте шхуна аргонавтов, приплывших за золотым руном Колхиды.

Незаметно подступила ночь: вязкая, влажная, звездная — ночь Колхиды. Вдали, за нейтральными водами вдруг, словно огромные новогодние ели, выстроившиеся в ряд и в несколько ярусов, зажглись яркие огни. То шли в Ялту огромные, трехпалубные теплоходы: турецкие, греческие, шведские…

Лето, море, круиз, праздник — иногда Гиязу даже казалось, что он слышит музыку с чужих кораблей и далеких палуб, но это только казалось — его оглушала музыка, гремевшая за спиной.

Посвежело, с моря заметно потянуло ветерком, и он почувствовал себя зябко, неуютно, хотя веселье в зале только разгоралось. Гияз рассчитался. Внизу по ярко освещенным аллеям гуляли отдыхающие, по всей вероятности, жившие в этих высотных корпусах и гостиницах — спешить им было некуда. Отовсюду зазывно гремела музыка, из-за стеклянных стен иных ресторанов пастельно просвечивали танцующие в ярких летних одеждах: куда ни глянь — праздник. Не было праздника только в душе у Исламова, хотя внешне он вполне походил на довольного курортника. Не спеша, отмечая в вечернем освещении то, чего не увидел при свете дня, покидал он курортную зону. На самом выходе, у шлагбаума, где у водителей требовали предъявить специальный пропуск для въезда на территорию отдыха, слева вдруг грянула музыка. Казалось, что все заведения уже остались позади,

но Гияз ошибся, это и был главный ресторан Пицунды «Золотое руно», и оркестр после антракта начал второе отделение.

Ресторан был вечерний, и поэтому, когда Гияз проходил тут часа три назад, он был еще закрыт для посетителей. Ресторан оказался легким, изящным, часть столиков располагалась прямо под деревьями, словно на пикнике, а сам ресторан хорошо вписывался в густую субтропическую зелень, свисавшую прямо над столами на верандах. В саду на столиках стояли стилизованные керосиновые фонари, на веранде на стене висели тщательно выделанные белые овечьи шкуры — наверное, подразумевалось, что это «золотое руно». Они, несомненно, вызывали зависть у модниц и наводили на мысль о том, что на дубленку хватило бы в самый раз. Но за шкурами был особый досмотр, их берегли пуще легендарного руна, хотя об этом знали только завсегдатаи. Ресторан имел свое лицо, чувствовалось, что постарались и те, кто задумал его, и те, кто построил.

На слабо освещенной эстраде неистовствовал оркестр, взвинчивая и без того наэлектризованный зал. На тесной площадке танцевали те, кто сидел за ближайшими столиками, остальным оставалось только завидовать и ждать своей очереди, которая могла и не наступить. Гияз прошел вдоль столиков, выискивая свободное место, как вдруг откуда-то из глубины веранды, уходившей в сад, его окликнули:

— Гия, иди к нам!

Гияз подумал, не ослышался ли он, но опять из-за столика, на котором слабо горела свеча, раздались возбужденные весельем приветливые голоса:

— Гия, дорогой, иди к нам!

Ноги вмиг стали ватными, и тысяча догадок промелькнула в одну секунду: кто бы это мог быть? Джумбер, Тамаз, Роберт, старые друзья-архитекторы? Окликнули его, конечно, грузины, они сразу, не сговариваясь, переиначивали его имя на свой лад. Он пробирался медленно, обходя шумные столы, но душой уже летел туда, откуда раздалось неожиданное приглашение… а вдруг?

— Гия, у нас мало света, или ты успел уже так хорошо гульнуть, что не признал нас? — спросил, улыбаясь, Тенгиз, сын хозяйки дома, где он остановился.

За столом вместе с Тенгизом сидели три девушки, снимавшие большую комнату на первом этаже, и приятель Тенгиза, сосед Заури. Иногда, возвращаясь вечером, Гияз заставал эту компанию в саду, однажды даже засиделся с ними за полночь.

— Пожалуй, света действительно маловато,— ответил устало Гияз.— А насчет гульнуть, я как раз недогулял сегодня, это хорошо, что я встретил вас. Хорошо бы выпить бутылку «Киндзмараули»…

Официант уже стоял за спиной Тенгиза.

— Слышал, что сказал наш друг Гия? Огня и вина…

То, с чем долгие годы Гияз не хотел согласиться, смириться, он осознал только сейчас… В какие-то мгновения здесь, в шумном «Золотом руне», наступила вдруг такая пронзительная ясность мысли, как будто он освободился от наркоза, и в эти минуты пульсировало в мозгу только одно: Глория потеряна навсегда, а перед глазами вставала единственная ее телеграмма: «Не ищи меня!»

…Оставшиеся дни, которых было не так уж много, он провел в компании со своими соседями, и все эти дни Гияз прощался с Гаграми, ибо знал, что больше сюда не вернется. Потому что никогда не надо возвращаться туда, где был по-настоящему счастлив!

Прилетел он в Ташкент в субботу, в полдень, чтобы успеть не спеша подготовиться к выходу на работу. Во дворе готовили плов, этакий стихийный мальчишник. Собрались мужчины поутру, обсуждая последние газетные новости, и подумали вдруг: а не организовать ли нам пловешник?

Соседи встретили Гияза шумно, обрадовались. Гияз был рад, что, помня о них, привез кое-какие подарки и виноград «изабеллу», сорт редкий для Средней Азии, так что все оказалось кстати. Он оставил все это на айване и поднялся к себе, чтобы, как говорится, смыть с себя пыль дорог. Еще на лестнице он увидел, как сверкнула свежим многослойным лаком дверь его квартиры, а поднявшись, остановился в растерянности. Дверь была замечательная: настоящая, дубовая, на четырех редких ныне медных петлях, чтобы не скрипела. Чтобы не обрезать ее по высоте, пришлось сверху убрать два ряда кладки, зато теперь дверь смотрелась великолепно. Глазок, замки, все было врезано аккуратно, отыскали где-то и тяжелую бронзовую ручку, очень подходившую к лакированному дубу.

Даже дверные откосы были отделаны дубовыми пластинами и обрамлены цельной буковой обналичкой. Гияз суетливо достал ключи. Тщательно подогнанная дверь легко, без усилий открылась. В комнате стоял свежий воздух, чувствовалось, что здесь совсем недавно были люди. Прихожая, как и у многих, у него была темная,

и Гиязу пришлось включить свет. На миг он засомневался, к себе ли попал, но, увидев привычные вещи, успокоился.

И все же квартира стала совершенно неузнаваемой. Оставив чемодан у двери, Гияз обошел свое жилище. Чудеса, да и только. На балконе и на кухне поменяли на полах линолеум. Ванную, туалет, кухню до потолка выложили бело-голубым ангренским кафелем, в таком исполнении он нисколько не отличался от чешской или югославской плитки. Щербатую малогабаритную ванну заменили на новую, большего размера, для чего пришлось разобрать часть стены, где проходили трубы вентиляции, которыми никто и никогда не пользовался. Пол в ванной и туалете выложили боем мрамора, которого у них в РСУ не было, наверное, собрали отходы на чужих стройках. Прихожую отделали под кирпич, да так ловко, что Гияз невольно провел рукой по стене. Потолки кругом сияли белизной — и не водная эмульсия (как делают сейчас), а настоящая меловая побелка! Стены в зале и спальне обклеили обоями мягких тонов, поверху кругом отбили четкую филенку темно-красного, контрастировавшего с обоями, цвета. Затерханные, затоптанные, потемневшие паркетные полы были частично перебраны, вновь тщательно несколько раз отшлифованы машинкой, отциклеваны и, видимо, дважды, если не трижды, покрыты хорошим лаком. Красота! На балконе, который преобразился больше всего, стены оклеили моющимися обоями под дуб и в торцах заново переделали полки, доставшиеся Гиязу от прежних хозяев,— получилась еще одна замечательная комната. Внутренние двери перевесили, подогнали, и теперь они легко и плотно закрывались без скрипа. Всю деревянку в доме и рамы на балконе выкрасили блестящей белой эмалью. И нигде не оставили следов ремонта — все чисто, аккуратно, даже запах лака и краски успел выветриться.

«Вот это ремонт, вот это сервис,— думал Гияз, не находя буквально ничего, к чему можно было бы придраться.— Если б так всегда и всем: оставь ключ, уезжай в отпуск и возвращайся в обновленную квартиру — никаких денег было бы не жаль за такую услугу». Он бы еще долго оглядывал свою квартиру, если бы Закирджан-ака не окликнул его из сада. Пора было спускаться к плову.

В понедельник по старой привычке он поднялся рано. После первых восторгов от ремонта пришла отрезвляющая мысль: а как же рассчитываться? В кармане после отпуска остались жалкие гроши — и до получки не дотянуть, он уже там, на море, решил, что перехватит рублей сто у Закирджана-ака, а тут вдруг такой ремонт

отгрохали. «Сколько же с меня причитается? — прикидывал Гияз, вновь, уже оценивающе, осматривая работу.— И как оценивать вроде и недорогие материалы, но сплошной же дефицит, даже линолеум финский?» Как ни считай, меньше тысячи не выходило, а если учесть дефицит, сроки, качество, меньше, чем полторы тысячи, заплатить было бы грех, одна входная дверь с установкой, отделкой внутренних и внешних дверных откосов стоила не менее двухсот рублей даже по казенным расценкам. А работа, как ни крути, была классная, образцово-показательная, они ему словно экзамен на мастерство сдавали. Даже сейчас, придирчиво присматриваясь, он не смог ни к чему придраться: шов ко шву, не разглядеть ни одного подтека, скола, ни одной воздушной подушки на обоях — ювелирная работа, да и только. И вдруг явилась спасительная идея — расплатиться по частям. Он сразу успокоился.

На работе все шло своим чередом, участок его не отставал, нареканий особых не было, план, намеченный перед отъездом, бригады выполнили давно и перешли на новый объект месяца на два раньше, такие сроки и объемы в РСУ были редкостью. Гияз приехал к концу месяца — ответственный для прораба срок: нужно было закрыть наряды, заверить выполненные объемы у заказчика, сдать материальный отчет. Рабочие встретили его радушно, заинтересованно расспрашивали об отдыхе, море, Пицунде, где никто из них не был. Но больше их интересовало, как живут там люди, какие цены на продукты, велики ли заработки у строителей. По ответам Гияза выходило, что живут везде одинаково, разве что у грузин мандарины по осени дешевле, так ведь в Узбекистане своих преимуществ немало: овощи, фрукты, считай, круглый год. А зарплата? Расценки везде одни и те же, и фонд заработной платы у строителей одинаковый. Где лучше строят? На это Гияз ответил, не раздумывая,— у нас. Незапланированный перекур мог затянуться и дольше, но бригадиры дали понять, что пора кончать разговоры, летний день бежит, не углядишь, да и у прораба, мол, дел невпроворот.

Обычно наряды он закрывал с одним из бригадиров. На этот раз идти с ним в прорабскую вызвался Тарханов, человек опытный, владевший почти всеми строительными профессиями. Мужик он был крепкий, горластый, властный, знавший себе цену. Гияз обращался к нему уважительно, величал только по имени-отчеству. Битый бригадир, чужого ему не надо, но за свое постоит… Была в нем какая-то старообрядческая жилка, которую Гияз до конца

еще не раскусил, но чувствовал в Тарханове предельную честность, такого не приведи господь обмануть.

— Спасибо, Федот Карпович, за ремонт, даже не ожидал, что так можно отделать квартиру. Картинка, да и только,— подойдя к прорабской, поблагодарил Гияз.

— Ну, и слава богу, что угодили, что по душе пришлась работенка наша. И то ведь надо сказать, что с душой делали, Гияз Нуриевич. Вы к людям с открытым сердцем, и они так же к доброму человеку. Ждали вас и волновались, сегодня даже никто насчет нарядов не поинтересовался, спроси, говорят, понравилось ли?

— Понравилось, очень понравилось. Да вот только не знаю, как я с вами рассчитываться буду, я ведь и не мечтал о таком царском ремонте. Я тут прикинул, сумма немалая, можно, я в несколько раз рассчитаюсь?

— Как так рассчитаюсь? — удивился Федот Карпович, и впервые Гияз увидел его растерянным. Неожиданно бригадир быстро вышел из прорабского вагончика и, убедившись, что поблизости никого нет, вернулся улыбаясь.— Как рассчитаюсь? По-честному, так с нас, Гияз Нуриевич, охо-хо сколько причитается, нам чужого не надо, мы по совести живем, потому и решил народ уважить вас.

Теперь уже, ничего не понимая, растерялся Исламов, даже побледнел и как-то неловко присел на стул. Тарханову показалось, что у начальника нелады с сердцем, и он испугался.

— Господи, да не волнуйтесь вы по пустякам. Теперь-то вижу определенно, вы наших дел до конца не знаете. Ну, и хорошо. Ну, и ладно, жить в ладу с совестью большое счастье. А мы тут в шахер-махерах, что в дерьме, по горло увязли, прости господи,— Федот Карпович в сердцах махнул рукой и на всякий случай еще раз выглянул за порог.— Где же вы столько лет проработали? Работу-то, вижу, знаете, инженер, поседели вон от нее, а в жизни… дверь сменить себе не могли…

— В Заркенте я работал, Федот Карпович, только на другой стройке, очень непохожей. Промышленное строительство называется.

— А я, Гияз Нуриевич, всю жизнь по шабашкам, вроде чему-то научился и на руки грех жаловаться, но так большого дела и не видел. У нас тут на мели свои законы, одно утешает меня: не я их выдумал. Плюнуть, уйти не хватает духу, привык, да и поздно прибиваться к другому берегу, годы не для подвигов

уже, так по течению и плывем…— Тарханов тяжело вздохнул и продолжил: — Расскажу я вам про наши болотные законы… Уж лучше сделаю это я, а то где-нибудь еще в скандал влипнете… Вот вы по-новому и взглянете на нашу работу, может, и поймете, почему вас с этим актовым залом хотели подловить.

…Ремонтно-строительные управления — очень любопытные организации: копни любую, одна и та же история — завышение объемов выполненных работ. К примеру, вы директор больницы, школы, почты, не имеет значения, хотите сделать текущий ремонт. Здание потеряло вид, хочется обновить, к празднику там какому, к юбилею — все-таки, как раньше говорили, присутственное место должно иметь лицо. А работ-то, положа руку на сердце, кот наплакал. Отсюда мытарства и начинаются. Кто ж возьмется за такую малость? И начинают вам навязывать: вот если бы еще то сделать, это обновить, мы бы, может, и подрядились. А вам куда деваться? В другом месте разговор такой же — нож к горлу, да и не положено вам в другой район обращаться. Короче, обложили вас еще до того, как вы задумались о ремонте. А у вас свое начальство, которое за ремонт спрашивает, в бесхозяйственности вас обвиняет, да и деньги вам спустили только на этот год, и неизвестно, дадут ли вам их в следующем. Помыкаетесь, прослезитесь, что денежки тю-тю, и говорите: что ж, согласны, уговорили, мол, готовьте договор, смету, документацию. Вот тут-то из нашего сметно-договорного отдела, где сидят самые тертые мужики, идет к вам инженер и начинает считать-обсчитывать: это обеспылить, это обезжирить, зашкурить, покрасить трижды, перебрать чердак и полы, хотя на самом деле заменят десять листов шифера и три половые доски. Нынче все на доверии стоит, кто ж из интеллигенции полезет на чердак шифер проверять. Так и накрутит наш сметчик на основании законных ценников и инструкций приличную сумму. А под эту сумму и фонд заработной платы, и, естественно, материалы на обозначенный объем, да какие получше, подороже.

Чтобы заказчик не роптал, перво-наперво самому начальству кабинет отделают, тут уж ни материалов, ни сил не жалеют — дают товар лицом. Оттого и расплодилось шикарных кабинетов, иной ремонт из-за этого кабинета и затевается, я уж нагляделся, будь здоров. Да еще начальнику, затеявшему ремонт, подписывающему договорные документы, кое-что перепадает: то ремонт ему дома сделают, то материал для дачки подбросят… Не ручаюсь, что везде так, но где я работал, было так, головой отвечаю…— Федот Карпович

вздохнул.— Да и по конторам, организациям, больницам, когда хожу — вижу, везде так, на одно лицо ремонт, лишь бы глаза замазать, как говорит наш брат-строитель.

Ну, материалам место найдется легко, иной дефицит прямо со склада в розничную торговлю, в строймагазин — вмиг расхватают, никакой ОБХСС не уследит, материала-то днем с огнем не сыскать, а люди строятся, ремонт делают. Но чаще по-другому поступают: материал прорабы сами пускают в дело, берут частные подряды на ремонт квартир, дач, от желающих отбоя нет, потому как качество и сроки гарантированы, сами видели. Дело само напрашивается, и дурака обстоятельства подтолкнут: материалов в избытке и рабочая сила есть. Заказчику ведь не делают и пятой доли того, что оговорено, а значит, высокая зарплата гарантирована наперед. В нарядах и чердак переберут на шестьдесят процентов, и полы вскроют, и вновь перестелят, обновив на три четверти, и обеспылят, и обезжирят, и лаком в пять слоев покроют, как надобно по строительным нормам и правилам, тут уж на бумаге ничего не упустят, и ручную работу зачтут, и коэффициент за особые услуги приплюсуют, и уборку здания после ремонта перед сдачей, как положено. Вот тут-то, дорогой Гияз Нуриевич, собака и зарыта…

Федот Карпович закурил свой неизменный «Беломор» и, еще раз на всякий случай выглянув за порог, продолжил:

— Вот на этом-то и покупает начальство нашего брата-работягу: гарантией высокого заработка всегда, при любых обстоятельствах. Мы-то не дураки, сравниваем с большой стройкой… Если и вырабатывают там нашу среднюю зарплату, то какой ценой? Там ведь объем не припишешь, все по проекту, по сметам, твердым расценкам. Отштукатурив десять метров, не напишешь пятьдесят, а здесь можно даже и больше: залатаем огромную стену в десяти местах, затрем, освежим — докажи, что не всю ее штукатурили. А сто заштукатурить — кишки вылезут. Да вы сами разве не видите, что объемы работ и фонд заработной платы на ремонте намного выше, чем в капитальном строительстве? А мы, старые зубры, это знаем хорошо, вот и стеклось нас столько в незаметные РСУ. Вы, наверное, подумали, Гияз Нуриевич, мол, зашибаем мы прилично, судя по нарядам, но это не совсем так.

Где я ни работал, и в этом управлении тоже,— правила одни. Каждый месяц прораб, закрывая наряды, говорит мне, например: Карпыч, по десятке в день ваши, остальные вернешь. Мол, нужно

дать заказчику, чтобы подписал объемы; в банк — тому, кто занимается контрольными обмерами; на склад — за кое-какой дефицит; в контору — ведь объемы, фонд заработной платы организовали те пройдохи из сметно-договорного отдела; а еще и тем, кто пропускает наряды, списывает материалы — короче, всем сестрам по серьгам. Но и нам хватает, считаем, что прорабы нас не обижают. Зато в те месяцы, когда с работой не густо, не наша забота — по десятке в день обеспечь, или мы в следующем месяце свое гарантированное заберем, на этот счет строго — я своих в обиду не даю. И выходит, каждый месяц я с Коляшей собираю с каждого иногда по тридцатке, иногда даже по пятьдесят, по-всякому бывает, а нас посчитай сколько, и все прорабу. А уж кому он несет, с кем делится — не наше дело. Пакостно, конечно, Гияз Нуриевич, но так и живем.

Правда, когда делаем ремонт частнику, в рабочее время, прораб нас не обижает, часть и нам перепадает, а зарплата идет сама собой. Оттого у нас неумехи и лентяи не задерживаются, работать-то надо уметь: частник только за хорошую работу платит.

И вот пришли вы к нам, Гияз Нуриевич, погонять нас не стали, да и не нужно было, дело-то мы знаем, посмотрели старые наряды, старые заработки и, не спрашивая ничего, меньше никогда не закрывали. Я, конечно, каждый месяц, как положено, соберу и жду с Коляшей сигнала — мол, неси. А его, сигнала, все нет и нет, а сумма уже большая собралась, никогда не думал, что так быстро набегает, а собирать продолжаю, думаю, осторожный, бес, попался, враз хочет куш взять, не мелочится. А в бригадах, конечно, ни гу-гу, да и народ у нас с Коляшей не любопытный, сами набирали. Так, почитай, год и прошел, но когда ремонт актового зала вам всучили, а перед этим хотели нас на другой участок кинуть, забрать, значит, от вас, смекнул я: не в одной, выходит, компании вы с конторой, не в одной упряжке с начальством. Да и как же вам быть с ними в компании, если вы ничего не несете, не берете. Правду сказать, остерегались они вас долго, думали: в начальство вы тут метите али подосланы откуда. А когда вы в отпуск собрались и решили мы с вами посидеть, захватил я все-таки деньги, думаю, а вдруг? Ну, когда мы с Коляшей провожать вас пошли и попали к вам в дом, сразу поняли — другой вы прораб, непривычный для нас, одним словом. Наутро с Коляшей долго ломали голову — как быть с деньгами-то? Решили собрать народ и сказали, так, мол, и так: не брал, не просил — и раздали каждому его долю. Деньги-то взять взяли, но не радуются, не расходятся.

Говорят мне: что же ты, старый козел, хорошему человеку в дорогу хоть сотни три-четыре в карман не засунул, отдыхать человек, мол, на море поехал. Короче, работали в тот день кое-как, а к вечеру собрались, про вас говорили,— наверное, там на море, вам икалось… И тут один смурной — мы от него никогда путевой мысли не слышали, Петька Морозов, кафельщик — и говорит: а что, братцы, если мы ему ремонт на хате сделаем, честь по чести? О том, что я двери собирался сменить у вас, он слышал. И добавляет с сожалением: чую, мол, долго он у нас не задержится, не дадут, так хоть память ему о нас останется, о работе своей в РСУ.

На том и порешили. И работа-то шла, Гияз Нуриевич, как по маслу, весело, легко, от души делалась, а вы говорите — рассчитаюсь, от всего сердца ребята старались. А уж магарыч с вас, конечно, причитается, уж этот должок не снимается с вас.

Федот Карпыч от волнения снял свой легендарный картуз, который, говорят, еще до войны сшил на заказ, и вытер огромным платком вспотевшую лысину,— наверное, никогда в своей жизни он так долго не говорил.

Гияз сидел ошеломленный, потерянный — ему и впрямь стало нехорошо, стыдно перед пожилым человеком, словно все это он затеял. Так вот откуда перевыполнение, выработка, производительность труда, экономия материалов и фонда заработной платы, гарантированные премии — одна ложь рождала другую, одно преступление порождало цепь новых преступлений.

— Да не кручиньтесь вы, Гияз Нуриевич, вы-то тут ни при чем, система налажена давно, и вам ее одному не сломать. Вот поработали с вами годок, и на душе чище стало. Зачем нам, рабочим, рисковые дела, планы, проценты, нам дай работу и заплати ту же десятку, только честно — горы свернем. А на халтуре, думаете, душа лежит работать, хотя вроде и не бесплатно? Попробуй, ответь каждому: почему в рабочее время, откуда материалы, да и шкурниками нас, конечно, хозяин считает, хотя мы толком и не знаем, сколько с него содрали.

Да и от каждого звонка в квартиру вздрагивать: кто пришел, с чем пришел — удовольствие небольшое. И в подъезд с оглядкой нырять, как жулики какие, чтобы лишний глаз не приметил, что тут в рабочее время строители околачиваются. За этот год и по сторонам озираться перестали, отучились, спасибо и на этом, Гияз Нуриевич.

Видя, как сник Исламов, Федот Карпович сказал:

— Я уж после обеда зайду, а то и завтра наряды-то одолеем, есть время, а табеля, бумаги я вам оставлю на всякий случай.

И потихоньку вышел из прорабской. Настроения от разговора у него, видно, тоже не прибавилось, и потому, придя на объект, устроил разнос рабочему на растворном узле за грязь, за развал вокруг, даже к спецовке придрался, чего с ним никогда не случалось.

Исламов после ухода Тарханова еще долго не покидал прорабскую… Нет, не работал, мысли его кружились вокруг неожиданной исповеди Федота Карповича — тоже, чувствовалось, наболело у человека. Конечно, Исламов далеко не мальчик, не на луне живет и не новичок в строительстве. Кое-что знал, кое-что слышал об авантюрах поменьше или, наоборот, покрупнее, но чтобы действовала четко отлаженная система очковтирательства, хищений, поборов — такое в голове не укладывалось.

Расскажи ему об этом кто-то другой, не Федот Карпович, вряд ли поверил бы, а этот врать не станет, да и зачем ему.

Перебирая в памяти весь прошедший год, Гияз теперь припоминал какие-то реплики, недомолвки… Как часто он ощущал, что при его появлении разговор круто меняется. Давая ему месячные задания, главный инженер дважды заранее предупреждал, что у него по объекту будет большая экономия материалов, но пусть Гияза это не удивляет, так как на более важных объектах идут со значительным перерасходом. Тогда это не насторожило Исламова, он знал: такое возможно в строительстве, и взаимовыручка необходима. Сейчас он понял, что влипни эти деляги где-нибудь с его «сэкономленными» материалами, отвечать пришлось бы ему: списал-то он их по своему объекту, а реальные материалы остались на складах, в помощь коллегам, «идущим с перерасходом». А ни о каком перерасходе, как теперь понимал Гияз, не могло быть и речи: даже остерегаясь и побаиваясь его, нового человека, упускать куш все же не стали.

Так, в раздумье, просидел Исламов до самого обеда, но ничего путного, толкового в голову не шло, а из разговора с Федотом Карповичем запала в память не раз повторенная им пословица: «Плетью обуха не перешибешь».

Прошел месяц, другой. Гияз так ничего и не предпринимал, да и что он мог предпринять, когда, считай, сам по уши влип в грязь? Как бы он ответил на вопрос: «А за какие такие заслуги вам ремонт бесплатно сделали и откуда взяли все эти дефицитные материалы? За доброту, за порядочность? Так не бывает. Порядочных людей

немало, а квартиры их дожидаются ремонта годами. Так что не стоит втирать очки, товарищ Исламов». Сорвать обои, выломать дверь, вернуть на место старую щербатую ванну? Глупее ничего не придумаешь. Назад ходу, как ни оглядывайся, нет, раньше зоркость надо было проявлять. Так и маялся день за днем. Одно утешало, что Тарханов по собственной воле, по воле бригады сделал ремонт. А если бы специально по подсказке из конторы, чтобы втянуть и его в грязные делишки, чтобы не было ходу назад? От этой мысли становилось жутко…

Но в конторе о ремонте не знали, это он чувствовал,— такой козырь немедленно был бы пущен в ход. Он-то не предпринимал ничего, зато слишком активно начали действовать против него. Время приглядки к нему кончилось, теперь руководству РСУ стало ясно: никакой он не претендент на командные посты, тайной миссии на Исламова никто не возлагал, да и могущественной руки у него нет. За год никто о нем не спросил, не поинтересовался, ни одного звонка сверху… Так, случайный человек, хороший инженер, «но без ориентиров», как выразился о нем заглазно начальник. «Будь как все или гуляй на все четыре стороны»,— в открытую так пока никто не говорил. Но ему все труднее стало сдавать материальные отчеты, наряды его срезались якобы из-за отсутствия фонда зарплаты. Материалы со склада он получал в последнюю очередь, часто при этом ему отказывали, да и с транспортом его подводили постоянно. Если бы не Тарханов с Коляшей, учинявшие без него время от времени скандалы и на складе, и в транспортном цеху управления, да и в самой конторе, дела на участке были бы совсем плохи.

«Мы за тебя постоим, только держись!» — подбадривал Гияза Федот Карпович. В то, что они его не подведут, Исламов верил. А попытка настроить против него бригаду была, да Тарханов на компромисс с начальством не пошел. Но руководство РСУ, набившее руку на «липе», и тут нашло, как на полгода отстранить Исламова от объекта, чтобы не мешал да поменьше видел.

Директор объединения получил в центре города новую пятикомнатную квартиру, и там нужно было сделать ремонт: какое нынче жилье сдают, всем известно. А уж по меркам директора приходилось начинать все сначала, одни стены его устраивали, да и те частично следовало переложить.

Гияз спросил у главного инженера, дававшего ему задание: а как быть со сметой, материалами, проектом, как платить людям? Главный инженер сначала рассмеялся: какой проект, какая смета?

«Вот тебе адрес, завтра в девять тебя там будет ждать жена директора, она тебе весь проект и объяснит». Но потом, видимо, что-то взвесив, сказал: «Конечно, ты учет работ веди, потом составишь смету, договор на ремонт, и директор все оформит через кассу, как положено. А насчет материалов не беспокойся, чего не найдешь у нас, возьмешь со складов объединения или обменяем в другом месте — у объединения всегда есть на что обменять любой дефицит. Твоя забота — вовремя дать указания снабженцам, чтоб не простаивали люди. А догляд за тобой будет почище народного контроля»,— предупредил его главный инженер, видимо, жену директора он знал хорошо.

На другой день, придя по указанному адресу, Исламов встретился с Кларой Васильевной, женой директора, которая опоздала почти на час. Женщиной она оказалась энергичной, деловой,— как позже узнал Гияз, Клара Васильевна возглавляла один из областных отраслевых профсоюзов. Она открыла дверь, и вместе с Исламовым они вошли в квартиру.

Хотя дом был ведомственный — строило его для себя Министерство строительства республики, и неизвестно, как отхватил себе здесь квартиру директор их объединения,— качество работ не выдерживало никакой критики, да и проект, на взгляд Гияза, был не совсем удачным.

— Уж для себя могли бы и проект отобрать, и постараться,— сказала вслух Клара Васильевна, имея в виду министерство.

Они переходили из комнаты в комнату, и везде хозяйка тяжело вздыхала, и Гияз понимал ее. В квартире были две ванные, два туалета, две лоджии,— казалось, радуйся, но и тени улыбки не было на лице хозяйки. Да и чему радоваться, когда везде царило запустение, какая-то изношенность, словно здесь долго жили очень неряшливые люди? А ведь только неделю назад этот девятиэтажный дом сдали с оценкой «отлично», об этом и газета писала — мол, вырос в центре города еще один красавец дом, похожий на огромный трехпалубный корабль. На фотографии в газете он и впрямь смотрелся великолепно. Но отретушированная фотография — одно дело, а дом со щелями — совсем другое. И Гиязу невольно вспомнился его приезд домой из отпуска, когда он открыл дверь и ахнул: наверное, так по идее и должны были сдавать новоселам жилье, чтобы первым восклицанием у открывшего дверь было не «ох», а «ах!»

Но Клара Васильевна быстро взяла себя в руки, да и временем она, очевидно, не располагала.

— Пожалуйста, записывайте,— решительно сказала она Исламову.— Все дверные и оконные переплеты и рамы на лоджиях выломать и заменить на дубовые или буковые, на худой конец, на рамы в лоджиях можно пустить красную сосну, чтобы в доме никогда не было малярных работ — у меня на краску аллергия.

Отопление, эти жестяные гармошки, которые тут же потекут, срезать и поставить обычные, чугунные, разумеется, углубив в стенах. Ниши поглубже. Газовую плиту, мойку вынести на южную лоджию, там будет кухня. А стену между кухней и столовой разобрать и сделать настоящую просторную столовую, стены обшить деревом. В зале непременно камин, я специально для этого выбрала девятый этаж, чтобы можно было пробить потолок. Если на этот счет у вас будут затруднения, у меня есть специалист, решетки отольют на заводе.

Дальше… Всю сантехнику: ванны, унитазы, умывальники снять, заменить на импортные, желательно финские или шведские, и чтобы по цвету они не повторялись. Да, чуть не забыла. В туалетах непременно поставить рукомойник «тюльпан», это я видела недавно в одном хорошем доме, мода нынче такая, вы можете и не знать об этом, молодой человек,— сказала торопливо Клара Васильевна и огляделась вокруг.— Щитовой паркет снять. Закажите вьетнамский, красного дерева, он немного жестковат в работе, говорят, но смотрится замечательно. Неплохо бы в зале сделать наборный паркет из финской березы, но, видимо, достать будет трудно, вы на всякий случай закажите, может, добудут, да и я постараюсь по своим каналам отыскать, у нас как раз Дворец текстильщиков начали отделывать. Все подоконники, решетки на батареях, естественно, дубовые, никакой малярки, только лаком, у меня на краску, я говорила, аллергия. Солнцезащиту не забудьте, на всех окнах и на лоджиях, и не пластмассовую — она выгорает,— а дюралевую, итальянскую. Чуть не пропустила: пол в ванных и туалетных мраморный и разных цветов, не очень толстый, чтобы не холодило сильно. И ванны, конечно, керамические, желательно одну квадратную, на манер бассейна, очень красиво такая ванна смотрится, непривычно, они пока мало у кого есть. Кафель кругом до потолка, опять же, чтобы цвета нигде не повторялись, одну ванну непременно черным кафелем выложить и зеркалами отделайте, муж обожает черный цвет.

Вот это вам пока задание на первое время. Кажется, я предусмотрела все грязные работы, чтобы потом не мешать чистовой отделке, о которой разговор пойдет отдельно. Как вы считаете?

Гиязу нечего было добавить, Клара Васильевна знала, чего хотела, и мыслила поэтапно, как настоящий строитель. Она просила в случае осложнений звонить немедленно, в любое время дня и ночи. «Со сроками не тороплю»,— сказала она, видимо, знала, что хорошая работа быстро не делается.

Когда Исламов в тот же день после обеда вернулся на квартиру уже с Федотом Карповичем и Коляшей, те неожиданно обрадовались. Оказалось, двое из бригады строились, и то, что не устраивало Клару Васильевну, вполне подходило для них, тем более бесплатно. И каково же было удивление Исламова, когда он в понедельник, заглянув в квартиру сделать какие-то обмеры, увидел, что все ненужное снято с величайшей осторожностью и аккуратностью. Даже кафель сняли, очистили, вывезли. Голые стены зияли пустыми глазницами окон, а кругом — чистота, порядок. Когда Исламов спросил у Тарханова, как удалось сделать такое за два дня, тот рассмеялся и ответил, что они, мол, семьями навалились, день и ночь работали, боялись, вдруг хозяева передумают. «Заинтересованность — огромная сила»,— закончил философски Федот Карпович.

В конце каждого месяца, пока шел ремонт на квартире директора объединения, Гияз составлял наряд на работы в каком-нибудь цеху на разных территориях. Закрывал его как обычно: не больше и не меньше. Однажды, кажется, на исходе третьего месяца, когда уже многое вырисовывалось, когда почти вылезли из грязи, установив всю деревянку в доме, покончив с отоплением и сложной сантехникой, наряды у него срезали. Объяснили, что он слишком уж хорошо платит своим бригадам, балует народ. Когда эту новость прораб принес утром на объект, бригада, конечно, зароптала,— и Исламову пришлось звонить Кларе Васильевне. Клара Васильевна, не оставлявшая ремонт без надзора и уже успевшая подружиться с Тархановым, быстро оценила работу мастеровых и потому срочно приняла меры. А потом, до самого конца ремонта, лично интересовалась, сколько заплатили бригаде, оттого, наверное, и выходила у них самая высокая зарплата по управлению, и рабочие повеселели. Странно, поначалу работа, которую Федот Карпович называл халтурой, раздражала Гияза, но чем больше он вникал в нее, тем больше втягивался, это была практика, школа, которой не хватало Исламову как гражданскому строителю. Теперь, по окончании ее, он мог без страха идти в любое отделочное управление.

На квартире он находился целый день, потому что ежечасно возникали проблемы, которые требовалось решать немедленно. А какое было удовольствие видеть каждый законченный этап работы! В этом и была главная притягательность. Находясь все время с бригадой, он постигал такие секреты, которых ни в одном учебнике не отыскать, ведь работали с ним мастера своего дела. Тот же Петька Морозов, кафельщик, так выложил ванную комнату, похожую на бассейн, с глубокой квадратной голубой ванной, что Клара Васильевна целый час не выходила из нее: все охала и ахала, не могла скрыть восторга. Потеряв сразу всякую солидность, она пообещала Морозову по окончании работы путевку куда только душа пожелает, и притом за счет профсоюза. И бригада несколько дней спорила, куда ему попроситься, чтобы не прогадать,— то ли в Ялту, то ли в Сочи, а бригадир Коляша настаивал на Байкале.

А какие материалы Гияз увидел в эти месяцы, какую сантехнику! Он даже и предположить не мог, что такая красота существует и бывает на их же складах, где раньше он ничего подобного не видел.

Как ни поторапливала Клара Васильевна, темпы были невысокие: то одно сдерживало, то другое. Долго не находилось подходящей фурнитуры для стеллажей на лоджиях, для встроенных шкафов в нишах, потом не было ручек и замков для многочисленных дверей, но все же в конце концов проблемы как-то разрешились. Кое-что даже пришлось переделывать. Все комнаты были уже оклеены обоями, как вдруг Клара Васильевна добыла испанские, имитировавшие старинные, набивные, ручной работы шелка. И каких расцветок! Когда она внесла рулоны, развернула один, другой, все ахнули — какие краски, какая фактура, никогда не подумаешь, что бумага! Тарханов, чувствуя, что Кларе Васильевне неловко просить все переделать заново, выручил ее, сказав:

— Что ж, хозяйка, переделаем, такие обои раз в жизни попадаются, да и то не всякому.

Фронт работ в квартире сужался, и Гияз потихоньку выводил рабочих на объект. Кто-то, наверное, рассчитывал: намучается на ремонте от капризов хозяйки и сам сбежит, но у Исламова с Кларой Васильевной отношения сложились сразу, да и работа шла, грех было жаловаться. Полгода, пока шел ремонт, Исламов ждал, когда же сам директор объявится, глянет на свою будущую роскошную квартиру, может, кроме ванн из черного кафеля, у него есть и другие пожелания? Но тот так и не заглянул ни разу на свой

девятый этаж, где уже для пробы зажигали камин и с высотного дома к небу непривычно потянулась такая «деревенская» струйка дыма.

«Занят, наверное»,— решил Исламов. Когда этой мыслью он поделился с Тархановым, Федот Карпович долго смеялся и, по-свойски похлопывая Гияза Нуриевича по плечу, сказал:

— Так ты ничему и не научился у нас. Зачем же ему ходить, глаза людям мозолить? А что он в курсе дел, не сомневайся, иначе откуда такой дефицит? Клара Васильевна? Да она только бегает по его звонкам. Не видел, не слышал, не знаю, не ведаю, моей ноги там не было — лучший ответ, если какая неприятность выйдет. На жену, на руководство РСУ свалит, в подхалимаже их обвинит, в худшем случае выговором отделается, а скорее всего — пожурят и простят. А приди он, начни давать задания — тут уж, брат, конец непредсказуем, можно и партбилета лишиться. Выговор, дорогой Гияз Нуриевич, он снимается, а ремонт — это на всю жизнь.

Тарханова он понял — так, наверное, оно и есть, но про себя подумал: «Что-то я здесь все не тому учусь и не к тому привыкаю».

По окончании работ, как и договорились полгода назад, Исламов принес главному инженеру смету на ремонт.

— Восемнадцать тысяч шестьсот рублей! — воскликнул главный инженер, глянув сразу на итоговую цифру.— Да ты с ума сошел! Кто же такую сумму оплатит, ты что ж, начальства не знаешь? На, возьми и сделай по-божески — рублей шестьсот-семьсот.

Вот тут-то они и сцепились в первый раз! Исламов наотрез отказался что-либо переделывать, сказал: если вам это нужно, вы и переделывайте, и ушел, оставив смету на столе.

Позже эту смету переделали до шестисот семидесяти рублей, но и эту ничтожную сумму директор оплачивал в кассу по частям, трижды, да еще на полном серьезе упрекал: что же вы, решили меня по миру пустить, шестьсот семьдесят рублей! И руководство на чем свет стоит кляло Исламова, хотя он-то был при чем? Слава богу, директор хоть на ремонт не жаловался.

И вновь начались перебои с материалами для его участка, с транспортом.

Как-то после обеда Гияз выбрался в контору, решив наконец объясниться с главным инженером. Того на месте не оказалось, секретарь сказала, что скоро будет. Исламов остался ждать — он настроился на крупный разговор.

Неожиданно по управлению суматошно забегали: звонили из райкома, просили кого-нибудь из руководства срочно прибыть к первому секретарю. Как назло, ни начальника, ни главного инженера, ни секретаря парторганизации, ни одного начальника отдела на месте не оказалось. Секретарь так и сообщила, сказав, что все на объектах, а в конторе есть только начальник участка Исламов. Через десять минут, видимо, что-то с кем-то согласовав, позвонили вновь, сказали: можно прислать и начальника участка.

Жизнь складывается у людей по-разному: одни не вылезают из кабинетов высокого начальства, другие в них никогда не бывали. Вот и Исламов выше, чем в кабинете начальника СМУ, никогда не был, да и ни к чему было. А тут вдруг вызвали в райком партии. Кабинет с роскошным ковром, импортной мебелью, холодильником «ЗИЛ», стоявшим на виду, цветным телевизором, дорогой стереосистемой, фикусом в кадке, расписными чайниками на столе удивил Гияза. Он представлял себе место работы секретаря райкома несколько иначе. Такая домашность, обычно не свойственный кабинетам уют как-то покоробили Исламова.

И сам хозяин был под стать кабинету — весь так и светился добротой и радушием. Он и чаем тут же угостил Исламова. Задав несколько традиционных вопросов о житье-бытье на восточный манер и особенно не вслушиваясь в ответ, вдруг спросил:

— А мост через реку Салар вы видели?

Гияз ответил, что живет в Ташкенте не так уж долго, может, видел, а может, нет, а в чем, собственно, дело? Хозяин кабинета на миг задумался.

— А впрочем, не имеет значения: видели, не видели. А мост перед вашим объединением вы, надеюсь, видели?

— Конечно, я под ним каждый день хожу на работу.

— И вас он устраивает?

— Не понимаю. Вполне устраивает. Мост как мост, думаю, построен надежно. Насколько я знаю, железнодорожные мостостроители — лучшие строители в стране, на наши мосты поступают заказы со всего света, это общеизвестный факт. Традиция мостостроения в России сильна еще с прошлого века,— как на экзамене отвечал Гияз.

— Я не о том,— нетерпеливо перебил хозяин кабинета.— Мост через Салар, о котором я говорю, чистенький, аккуратный, весь в мраморе, и решетки ограждения там такие красивые. Я хотел бы, чтобы

у меня в районе мост был не хуже, даже лучше. Надеюсь, с вашей помощью мы перещеголяем соседний район, товарищ Исламов,— и он весь расплылся в улыбке, видимо, несказанно довольный принятым решением.

Ситуация для Гияза была настолько нелепая, что он едва сдерживался, чтобы не расхохотаться: мосты-то были совершенно несравнимые. Тот, саларский,— для автотранспорта и пешеходов, а этот — железнодорожный, с двухпутной колеей, с интенсивным движением. Но ответил он серьезно:

— Видите ли, у моста, как у всякого искусственного сооружения, есть хозяин, в данном случае Министерство путей сообщения, и наверняка мост выполнен в соответствии с проектом, где эстетика тоже учтена. Без ведома хозяина отделывать громадный мост мрамором, гранитом, крепить к фермам, порталам, быкам, просверливая или каким другим путем, плиты нельзя, ибо нарушается главное — несущая способность моста, гарантия его безопасности. К тому же, даже получи я такое разрешение от МПС, что совершенно невероятно, наша маломощная организация, РСУ, не располагает фондами на мрамор или какой другой ценный материал, строго фондируемый камень. Да и любая работа, не говоря уже о такой, делается по проекту. Эта задача по плечу лишь специализированной организации. А кто будет финансировать столь дорогостоящую затею, этот вопрос тоже надо решить. Так что вынужден вас огорчить: в ближайшее время нам перещеголять соседей никак не удастся.

Куда делись доброта и радушие с лица секретаря!

Два завотделами, присутствовавшие при этом разговоре, разделяя гнев хозяина, готовы были испепелить Исламова взглядами.

— Вы еще молоды, товарищ Исламов, чтобы понимать, кто чему хозяин. Можете быть свободны! И скажите своему начальнику, чтобы завтра явился ровно в девять!

На том и распрощались.

В контору РСУ после райкома Исламов не пошел, не стал предупреждать и начальника. Решил, что хозяин роскошного кабинета сказал это просто так, сгоряча, чтобы последнее слово осталось за ним. Ведь с мостом ситуация яснее ясного, чистая маниловщина. Но все оказалось хуже некуда. К обеду его вызвал с объекта начальник управления.

— Ну, будет вам, Гияз Нуриевич. Руководство с утра громы-молнии мечет,— предупредила секретарь.

— Садитесь,— сказал начальник, когда он вошел в кабинет и плотно закрыл за собой двойные двери,— разносы шеф устраивал шумно.

Потом начальник долго и устало молчал, обхватив голову руками.

— Вот если бы вы пришли часа два назад, я не знаю, что бы я с вами, Гияз Нуриевич, сделал, а сейчас улеглось, успокоился. Конечно, я понимаю, вам непривычно слышать подобный бред: облицевать мрамором чужой мост, да еще с нашими возможностями, но поверьте, я в этом кресле и не такие приказы получал. Одного не пойму, откуда вы такой взялись? Отчитать секретаря райкома как мальчишку, в голове не укладывается! Вы же давно работаете в строительстве и языком нашим профессиональным прекрасно владеете. Разве вы не знаете классическую фразу: «Ладно, исполним» или сродни ей — тоже классическое: «Будет сделано!»?

Попили бы чаю, выслушали бы человека с почтением, ответили «Будет сделано!» и, поблагодарив за приглашение, ушли. Если выполнять все, что им на ум взбредет, своими делами заниматься некогда будет. Слышали вы, наверное, узбеки в таких случаях говорят: «К тому времени или ишак сдохнет, или арба развалится». Так и с нашим мостом: год твердили бы, что МПС разрешения не дает, год — что проектный институт ищем, чтобы заказ разместить, а потом финансирование попросили бы у райкома, так сама собой и заглохла бы идея — и никаких проблем.

А то, гляди,— самого секретаря повысят или снимут. Этого, скорее всего, снимут, ходят такие слухи. Но пока-то он хозяин положения и мне вполне убедительно может это продемонстрировать.

Потом, эта смета на восемнадцать тысяч рублей,— начальник скривился, словно его заставили проглотить лимон.— Вы что, с луны свалились? Мы уже не рады, что шестьсот-то начислили за ремонт. Казалось бы, в его же интересах, на всякий случай, так нет, директор до сих пор недобрым словом нас поминает…

Наверное, Гияз Нуриевич, вам у нас нелегко — не та у вас школа. Но и нам с вами трудно, на разных языках говорим. Учитесь жить по-нашему, или давайте мирно разойдемся, не будем доводить друг друга до инфаркта. И последнее: не учитывай мы ваши способности, опыт как инженера и, скажем прямо, влияние в коллективе, особенно среди рабочих, разговор был бы иным, гораздо более коротким. Так что, пожалуйста, подумайте…

…Но уже до этого разговора, еще когда он возвращался из райкома, Гияз решил для себя, что он действительно не туда попал. Собирать дань с бригады Тарханова и Коляши, как и с любой другой,— об этом не могло быть и речи. Но даже в том случае, если бы его избавили от этой повинности, ремонтировать чужие квартиры, дачи, строить тайно финские сауны, а процентовать это как ремонт комнат отдыха рабочих, стоять навытяжку перед женой какого-нибудь высокого начальника — нет, это было не для него. Как и выполнять нелепые приказы. Мост в этом случае оказался последней каплей, переполнившей чашу терпения. И нынешний разговор у начальника, как понял Гияз, был последним предупреждением. Нет, переучиваться он не собирался.

Утром он отнес заявление об увольнении. Жалко было расставаться с рабочими, на ремонте квартиры Клары Васильевны он крепко сдружился с ними. Федот Карпович на прощание сказал:

— Коли будет хорошая работа, зовите, пойдем, не подведем…

***

Уволившись с работы, Гияз растерялся. Он принадлежал к тому типу людей, что хорошо знают свое основное дело, в котором могут проявить ум, характер, волю — все, что отпущено им природой, но вот за пределами дела пасуют перед бытовыми неурядицами, сменой обстановки. У таких людей в трудовых книжках, как правило, одна, от силы две записи, не считая записей о наградах и поощрениях. Он и думал раньше, что всю жизнь проработает в Зарканте, хотя жизнь у строителей, в общем-то, кочевая. Но он попал в такой город, который в промышленном плане рос и расширялся бы еще десятки лет,— Гияз был знаком с перспективным развитием этого региона. Черная и цветная металлургия вместе с химией рождали десятки ответвлений, начиная от производства лаков и другой бытовой химии и кончая широким ассортиментом минеральных удобрений для сельского хозяйства. Под каждое такое производство нужно было строить и строить, Исламову хватило бы работы до пенсии.

Он ткнулся в одно управление, в другое — свободных мест не было. Предлагали мастером, но в его годы и с его опытом начинать вновь на побегушках и на мизерном окладе Гиязу казалось унизительным. Обжегшись в одном РСУ, он уже избегал этих контор, а ходил по строительным управлениям, в тресты не заглядывал, потому что не знал канцелярской работы, да и чиновничья жизнь

его не прельщала, он был строитель, прораб. И если другого пугали масштабы, размеры промышленных комплексов, миллионные объемы, то Исламов, наоборот, столкнувшись с гражданским строительством, растерялся от мелкоты, однообразия работ. В иных управлениях — лучших, как он полагал,— скептически посматривали на его последнюю запись в трудовой книжке и отказывали сразу. Видимо, прорабы из РСУ доброй репутацией не пользовались.

Конечно, Гияз знал о многих крупных стройках в стране, и не однажды приходила ему в эти дни мысль податься туда, где он почувствовал бы себя на месте, где был бы занят достойным мужским делом. Но опять же страх перед бытовыми неурядицами, переездом, общежитиями останавливал его, хотя душа и рвалась к делу, и он скучал по своей прежней беспокойной работе.

Удерживала его и квартира: все-таки уже не мальчик, пятый десяток разменял, а жилье и строителям не сразу дают. Истекал месяц после увольнения из РСУ. Гияз продолжал безуспешные поиски, и уже в отделах кадров ему напоминали, что нужно скорее устраиваться, иначе, мол, прервется стаж. Будь Гияз более искушен в житейских делах, он не обратил бы внимания на эти напоминания — подумаешь, прервется стаж, велика трагедия, до пенсии о-хо-хо сколько, поди, наработает еще. Но эти напоминания сбивали его с толку, заставляли суетиться. Он даже чуть не устроился начальником участка в одном управлении, уже написал было заявление, но в самый последний момент попросил денек — посмотреть объекты, поговорить с рабочими… Управление пристраивало новые учебные корпуса в одном из вузов Ташкента, объект был из числа тех, что называют в народе «долгостроем». Ознакомившись со сметами, осмотрев сами корпуса, Гияз понял сразу, что тут выбрали деньги наперед года на два-три, да в таких объемах, что хищения в РСУ показались бы детской забавой. Совать голову в петлю за кого-то было бы просто глупо, к тому же и то, что построили, уже нуждалось в капитальном ремонте.

В тот день, забрав свое заявление, расстроенный Гияз возвращался домой на такси. Путь оказался неблизким — слово за слово и разговорился Исламов с таксистом. Гияз обратил внимание на вузовский значок шофера и удивился: судя по нему, тот, скорее, должен был летать, чем ездить. Шофер на это ответил, что он действительно окончил авиационный институт, но факультет не летный, а самолетостроения, и работал на авиационном заводе начальником смены в крупном цеху. И в двух словах поведал свою историю: ни суббот,

ни воскресений, ни зарплаты приличной, как у хорошего рабочего, и с работы раньше десяти никогда не возвращался домой. А дома двое детей, которых, считай, и не видел. Уходил на работу, когда они еще спали, приходил, когда они уже заснули. В общем, скандалы в семье все восемь лет, что работал на заводе, дошло дело до развода — или семья, или такая суматошная работа. Хотел там же на заводе слесарем или токарем устроиться, не разрешили,— пришлось уволиться.

— Не жалеешь? — спросил Исламов заинтересованно.

— А что жалеть,— ответил таксист,— нас таких в таксопарке треть, так и называют — дипломированная колонна.— Получаю гораздо больше. Дома по часам, жена про базар и тяжелые авоськи забыла, все попутно завожу сам. Вижу город, общаюсь с людьми, сплю без люминала. Переработал — получил. Сдал смену — ни о чем не думай, не тревожься. Хожу чище и лучше одетый, чем на заводе. О чем жалеть? О восьми годах, что коту под хвост, за которые вслед никто доброго слова не сказал?

Рассказал и Гияз о своих проблемах и, главное,— о цейтноте, через два дня истекал месячный срок трудоустройства.

— Если горит, давай к нам, а дальше видно будет, все-таки на колесах подыскать дело по душе легче. А может, глянется тебе наша работа, не ты один с дипломом, немало таких в нашем парке, а твоих коллег, наверное, больше всего,— сказал словоохотливый таксист, выслушав Исламова.

Так Гияз оказался в одном из таксопарков Ташкента.

Человек с высшим образованием за станком, за рулем, за буфетной стойкой — ныне явление не новое, к сожалению, даже привычное. Вот уже, радуясь и умиляясь, пишут в газетах о бригадах строителей, состоящих из кандидатов и докторов наук, подрядившихся в свои отпуска построить коровник или там телятник. В любом случае не от хорошей жизни это происходит,— коровник все-таки должны строить настоящие строители, а не дилетанты, и за три-четыре-пять недель отпуска коровника не построишь, опять же, если не числиться где-то в кандидатах, а на самом деле его строить. Поэтому сложившиеся рабочие коллективы из людей с высшим образованием — явление новое. Пожалуй, мало кто предполагает, что они существуют, но они есть.

Сергей Александрович — так звали инженера-самолетостроителя — как и пообещал Гиязу, ввел его в колонну. Традиция помогать

новичкам утвердилась здесь давно, основу ее заложили еще первые дипломированные специалисты, ставшие профессиональными шоферами. Да и колонной руководил юрист, сам в свое время отработавший на такси почти пять лет. Специально, гласно никто не укомплектовывал колонну дипломированными специалистами, но так сложилось — годами сюда стекались именно люди с образованием и молодежь, учившаяся на заочном или вечернем отделениях. Колонна эта была в таксопарке передовой: план выполняла всегда, чрезвычайных происшествий не имела, все переходящие призы и знамена обычно завоевывала, оттого, наверное, и смотрело руководство таксопарка сквозь пальцы на то, как она формировалась. Образовательный ценз в данном случае был не помехой для работы. Гиязу повезло сразу: в первый же его рабочий день колонна проводила на пенсию бывшего горного инженера, имевшего подземный стаж и в пятьдесят пять уходившего на отдых из таксопарка. Он и передал Гиязу ключи от своей машины. Так началась у Исламова новая жизнь.

Машину он водил с детства и разбирался в ней неплохо, всегда помогал Нури-абы, а теперь вот отцовские уроки пригодились. Смущала его работа с пассажирами, но новые друзья уверяли: ничего, привыкнешь, главное в работе таксиста — терпение, сдержанность.

Смена за сменой, день за днем — казалось, даже время побежало быстрее, стремительнее — теперь в его жизни на всем лежал отпечаток скорости. И как в калейдоскопе замелькали пейзажи, новостройки, окраины — жизнь таксиста полна впечатлений, успевай только запоминать. Гияз работал и приглядывался к своему новому коллективу, где, как он чувствовал, его приняли радушно. Большинство таксистов в колонне были примерно одного с ним возраста, пожилых или слишком молодых не было,— видимо, каждый из них успел хлебнуть и другой, не шоферской жизни. Может, оттого в колонне и старались бережнее относиться друг к другу и обращались тут даже к тем, кто помоложе, по имени-отчеству. Некоторые из шоферов не потеряли связи с прежней работой. Гияз слышал, как кое-кто из руководства парка обращался к таким с просьбой помочь выбрать свои фонды на бензин, запчасти, резину, а то и помочь со стройматериалами на ремонт автобазы к зиме. Отличались от остальных и ремонтные мастерские колонны. Тот же Сергей Александрович, самолетостроитель, не зря восемь лет и конструктором, и технологом, и начальником смены на заводе отработал,— такие приспособления-полуавтоматы придумал, приборы диагностики сконструировал — в считанные

минуты все неисправности как на ладони у ремонтников! А уж о взаимовыручке и говорить не приходилось, оттого, наверное, и рвались в эту колонну шоферы, да не всякого брали.

За несколько месяцев работы Исламов ни разу не видел, чтобы начальники колонны или парка повысили на кого-то голос, не слышал перебранок или скандалов, характерных для любого производственного коллектива. Однажды он спросил об этом у Сергея Александровича. Тот ответил, но ответил, как понял Гияз, давно сложившимися фразами:

— Мы досыта этого нахлебались до того, как сюда попали. Здесь хотим работать спокойно. Если в колонне заведется какой-нибудь горлопан, на первый раз предупреждают или переводят в другую колонну. Законы коллектива суровы, но справедливы: соблюдаются интересы большинства, и никакая администрация не заступится за такого. Насчет руководства… Колонной руководят вчерашние таксисты, чего же им горло драть? Да и мы народ понятливый, дело свое знаем. А уж если начнет кто зазнаваться, портить сложившуюся обстановку, то ему долго не удержаться на месте,— людей, достойных заменить такого, в колонне предостаточно. Это тот самый случай, когда коллектив имеет реальную силу.— И, улыбаясь, закончил: — Гляди, лет через десять, может, и ты будешь начальником колонны.

Все было бы хорошо, если бы Гияз не задумывался о том, что попал сюда случайно и на время. Он знал, что некоторые, проработав год-два, возвращались на прежние места, но таких было мало, большинство застревало на годы, десятилетия, до пенсии. «А какой из меня через десять лет строитель? — думал Гияз.— Разве что строить коровники, как те кандидаты наук?»

Однажды он потратил целый месяц, пытаясь составить для себя список, кто из нынешних коллег какое имел образование. Список оказался обширным и пестрым, и что удивительно, там не фигурировало ни одного врача, ни одного фармацевта. Люди этой профессии неожиданно выросли в глазах Исламова: уж они-то не могли похвалиться ни большой зарплатой, ни легкой учебой, не говоря уже о работе. «Вот,— думал Гияз,— чем следовало бы заняться статистическим управлениям: определить, из каких конкретно вузов больше всего специалистов не работает по профессии, и сразу стало бы ясно, какие специальности не следует плодить, какой вуз недорабатывает, а какой и вовсе прикрыть следует».

Пытаясь понять, оценить свое нынешнее положение, Исламов внимательнее приглядывался к своим коллегам, особенно к людям с техническим образованием,— они казались ему понятнее, да и работу их прежнюю он ясно себе представлял. И удивительно, за исключением трех-четырех человек, показавшихся ему средними, безынициативными, причем таковыми они виделись на любой работе, в любой среде, обстановке, остальные виделись ему людьми незаурядными. И вновь он поделился своими мыслями со сменщиком, Сергеем Александровичем, с которым теперь работал в паре.

— Ничего удивительного,— объяснил бывший конструктор, с первых дней взявшийся опекать Гияза, хотя и был моложе него.— Средний, он никуда и ниоткуда не побежит, тем более к нам, у нас пахать надо, сам видишь. У среднего не возникает ни проблем, ни выбора, потому что у него нет знаний, а нет знаний — нет принципов, нет инженера. Подаются с мест сильные, уверенные, что не пропадут, что свой кусок хлеба заработают всегда и везде. Так что, дорогой Гияз, ты не ошибся, больше здесь людей сложных, инициативных, толковых, за иными приходят с прежней работы — зовут, упрашивают,— бывает, что некоторые и возвращаются…

Однажды поутру он проезжал по Чиланзару — пассажиров не было. Как вдруг, увидев его машину, навстречу кинулась девушка.

— Пожалуйста, к ресторану «Хорезм», я опаздываю. Важная иностранная делегация у нас завтракает. Если можно, поскорее, я хорошо заплачу,— сказала она, торопливо усаживаясь рядом.

Когда машина рванулась с места, пассажирка успокоилась и, достав из сумочки зеркальце, внимательно оглядела себя. Поймав на себе взгляд Гияза, она кокетливо спросила:

— Ну, как?

Гияз, подлаживаясь под ее настроение, ответил:

— Полный порядок! — и для пущей убедительности показал большой палец.

— Спасибо! — ответила девушка и, рассмеявшись, уже внимательнее оглядела Гияза.

Когда подъехали к ресторану, она протянула ему пять рублей и быстро вышла.

— Одну минуточку, я дам вам сдачу,— засуетился Гияз.

— В другой раз. Вы меня здорово выручили, спасибо. А если уж очень захотите вернуть мне сдачу… Я работаю здесь метрдотелем,

зовут меня Дашей. И лучше, если такая мысль придет вам к концу моей смены, заодно и домой отвезете.

Чувствуя, что водитель любуется ею, она улыбнулась Гиязу, помахала ему рукой, как старому знакомому, и пошла, небрежно размахивая сумкой. «Хорезм» находился в центре города, в оживленном месте, и Гияз, за день несколько раз проезжая мимо, вспоминал Дашу. Было в ней что-то такое, что ему сразу понравилось.

Однажды вечером, недели через две, когда дневной план был уже выполнен, он заехал домой, побрился, надел свежую сорочку и незадолго до закрытия ресторана подъехал к «Хорезму».

Ресторан был популярен в городе. Гияз знал об этом,— попасть туда оказалось непросто. Но Исламов не растерялся, шепнул швейцару: «Я за Дашей» — и двери для него широко и приветливо распахнулись. Даша увидела его первой и, выйдя к нему из-за колонны, сказала:

— Здравствуйте, молодой человек, что же вы так долго не заглядывали? Я уж собиралась в таксопарк звонить, чтобы вернули сдачу вместе с таксистом. Да жаль, запамятовала, из какого вы парка, а в Ташкенте, мне сказали, их одиннадцать. К тому же боялась: вдруг другого пришлют, а мне другого не надо,— и, улыбаясь, взяла его под руку.— Надеюсь, поужинаете у нас?

— С удовольствием.

Даша провела его к небольшому сервированному столику недалеко от оркестра. Оставив минут на пять, вернулась вместе с официанткой. Та поставила поднос с едой на служебный столик, а уж Даша подала все на стол сама.

— С радостью составила бы вам компанию, но, сами понимаете, служба,— и, пожелав Гиязу приятного аппетита, оставила его одного.

Когда Гияз в первый раз пригласил Дашу к себе в гости, она поразилась количеству книг в его доме, но более всего удивилась пластинкам — сплошная классика.

— Странный таксист,— сказала она тогда шутя и, беспечная, как бывает в начале знакомства, не стала расспрашивать ни о чем.

Роман с Дашенькой на время отодвинул мысли о работе. Почти каждую ее смену он заезжал за ней на работу, а иногда по ее настоянию и обедал в «Хорезме» — она шутя говорила, что считает своим долгом следить за его здоровьем.

Даша была на десять лет моложе Гияза, жизнерадостна и энергична, и хотя не считала, что вся жизнь — праздник, пыталась по возможности

украсить ее. Женское чутье подсказывало ей, что у Исламова произошло в жизни что-то серьезное, если не трагичное, выбившее его из колеи, и она, как могла, пыталась заботиться о нем. Где-то она вычитала или услышала фразу — «Женщинам нравятся сильные мужчины в минуты слабости»,— и считала, что у нее сейчас как раз тот самый случай. И хотя Гияз ей ничего не рассказывал и просил не расспрашивать ни о чем, она была уверена, что у него непременно была какая-то романтическая история… Странный портрет удивительно красивой девушки в зале, Гайдн, Вивальди, книги… Нет, он положительно ей нравился…

Как-то через полгода, когда у нее уже были ключи от его квартиры,— она очень любила бывать в его доме, по-женски поддерживать в нем порядок,— Даша провела ревизию его гардероба.

Сама она одеваться любила, да и доступ к дефициту имела: в «Хорезме» часто бывали работники торговых баз, а в центральные магазины она ходила как к себе домой,— там работали ее подружки, с которыми она окончила торговый факультет института. На ее взгляд, Гиязу не мешало бы приодеться посовременнее — вещей у него было немного, да и те куплены случайно, без выбора: видимо, хозяину было не до того. Но среди старых вещей ей попались когда-то очень модные рубашки и пиджаки — здесь чувствовалась женская рука. И Даша тут же увязала этот факт с той, другой женщиной, у которой, безусловно, был незаурядный вкус. Вдруг Дашу почему-то обуяла такая ревность, что она решила удивить и порадовать Гияза.

В письменном столе у Исламова, она знала, лежали деньги, и Даша, взяв их, тут же поехала на базу. Чтобы долго не объясняться, она сказала директору, что выходит замуж и ей хотелось бы одеть жениха помоднее…

Вечером, радостная, возбужденная, она заставила Гияза примерить все обновки, счастливая от того, что все подошло, понравилось и так невероятно преобразило ее таксиста. И когда Гияз сказал ей просто так, не вкладывая особого смысла в слова: «Ну, зачем тебе эти хлопоты?» — Дашенька действительно чуть не заплакала, у нее заметно повлажнели глаза, и она, обняв его, зашептала:

— Гияз, милый, я хочу, чтобы ты у меня был самый-самый, лучший-лучший. Если б ты только знал, какое наслаждение для женщины делать что-то для любимого человека: убирать его дом, стирать его рубашки или преподносить сюрпризы, как сегодня. Ты ведь,

правда, доволен? Но мне кажется, что мужскому уму такое понять не под силу,— и она рассмеялась.

С этого дня Дашенька следила, чтобы он был одет всегда на уровне… Вот почему в Озерном Халияра и Фариду так восхищали его вещи, что они даже приняли его за «фирмача».

Как-то в конце зимы, месяца за три до поездки в Озерное, Гияз обедал в чайхане таксистов на Чиланзаре. День выдался по-весеннему теплый, солнечный, хотя на календаре и был февраль. На улице жарили шашлык, кипели трехведерные самовары на ангренском угле. Таксисты расположились на воздухе — за столиками, которые сами вынесли из чайханы, а пришедшие пораньше заняли айваны. У кого с планом был порядок, могли себе позволить задержаться в чайхане чуть дольше обычного. Здесь, считай, каждый день говорили о новых назначениях, перемещениях. У Гияза в тот день дела были так себе, да и своих ребят из колонны не видел, поэтому задерживаться не собирался и приткнулся сбоку на айване, где уже сидела большая компания в ожидании шашлыка. Уловив в разговоре знакомые фамилии, он прислушался. Разговор шел о директоре того объединения, откуда он уволился. Люди возмущенно говорили, что директор за десять тысяч отремонтировал свою новую квартиру, а внес в кассу всего тысячу рублей, что в РСУ его объединения выявлены крупные приписки, хищения материалов, что рабочие рассказывали народному контролю о ежемесячных поборах. Всплыла тут и фамилия секретаря райкома, теперь уже бывшего, пожелавшего когда-то выложить мост мрамором, будто других, более важных проблем в районе не было.

Гияз вдруг почувствовал, что новость, каким-то боком касавшаяся и его, нисколько его не волнует, словно все это было не с ним и не в его жизни. И вдруг Исламова пронзило открытие: уже очень давно он живет чужой жизнью!

Чужая жизнь… Оттого, наверное, и нет покоя в душе. Эта мысль прочно засела в голове, и, может, поэтому внешне спокойная и благополучная жизнь, Дашенька с ее сладким вниманием стали не в радость. С этой мыслью он и уехал в отпуск, и там, в Озерном, тоже не находил себе покоя, все маялся вопросом — как живу, зачем?

Незадолго до отпуска как-то попал он в Чирчик, промышленный город неподалеку от Ташкента. Высадив командировочного пассажира у гостиницы, порожняком возвращался обратно. Впереди и сзади него, занимая почти всю неширокую дорогу, шли

мощные трейлеры-панелевозы, КамАЗы с прицепами, груженными длинномерной арматурой, цементовозы с раствором,— чувствовалась близость большой стройки. Гияз и сам не заметил, как невольно свернул вслед за вереницей этих машин и оказался на стройплощадке огромного комбината «Капролактам», готовившегося к сдаче. Конечно, об этой стройке он знал, слышал. Гияз поставил машину в сторону, чтобы не мешала никому и не бросалась в глаза, и пошел пешком.

Предпусковая пора на стройке самая напряженная, но зато и самая азартная,— близость завершения, желание увидеть свое детище во всей красе придает людям дополнительные силы. Гияз помнил это. Он шел, переходя из корпуса в корпус, слушая обрывки разговоров, и все ему было понятно. Он шел, как музыкант вдоль классных комнат консерватории, и даже за закрытыми дверями слышал, где и какой инструмент сфальшивил, из какой комнаты лилась совершенная мелодия — такая, что он невольно замедлял шаг.

Возле одного из корпусов, где шел монтаж технологического оборудования, монтажники спорили о чем-то с молоденьким прорабом. Большой лист чертежа, изрядно затрепанный, они чуть ли не рвали друг у друга из рук.

— О чем спор? — не удержался Гияз.

Обе стороны, видно, приняв его за начальника, в один голос стали доказывать свое. Гияз глянул на чертеж, подумал и неожиданно сказал:

— Отчасти правы обе стороны, но вот беда: на этой копии чертежа, на мой взгляд, вот в этом месте пропущен монтажный проем. Срочно позвоните в техотдел, пусть поднимут подлинники, только точно укажите эти два сечения. Такое, к сожалению, бывает, брак в работе чертежниц переходит в железобетонный брак из-за двух неверных карандашных линий.

Даже не поблагодарив, монтажники тут же сорвались к прорабскому вагончику, где, видимо, у них был телефон.

Когда Гияз минут через двадцать возвращался назад, молоденький прораб бросился к нему навстречу.

— Спасибо. Все точь-в-точь: пропустили чертежницы проем, а теперь мне долбить перекрытие, потеряю день. А вы случайно не проектант? Сразу догадались.

— Нет. Я ваш коллега, прораб. Не волнуйтесь, сдадите один комбинат, второй,— придет и к вам опыт, уверенность, тогда научитесь

находить в проектах ошибки. А на этот брак проектного института непременно составьте рекламацию. Каждый должен отвечать за свою работу…

Как и в Озерном, и потом в поезде, Гияз вновь мысленно прокрутил свою жизнь в Ташкенте до конца, без остатка: особых удач, как ни напрягался, не было,— лишь поводы для раздумий. «Застрял на полустанке»… Гияз где-то слышал такую фразу, она как нельзя лучше подходила к нынешней его жизни.

***

Утром он позвонил в таксопарк — выходить ему нужно было в ночь. Это обрадовало Гияза, он любил ночные смены: зеленый Ташкент в ночном освещении приобретал неповторимое лицо. Если бы он был художником, обязательно написал бы ночной Ташкент: зной, на его взгляд, притуплял ощущение формы и цвета. Жаль, на полотне невозможно было передать шелест дремавшей листвы и шум арыков в ночи. Может, оттого древние восточные поэты так часто описывали луну, спутницу ночи, и темень садов?

Сергея Александровича в парке уже не было, видимо, заехал немного раньше, а товарищи из колонны работали в других сменах, так что шумной встречи, какие обычно бывают после выхода из отпуска, не получилось. Да и не готов был к ней Исламов, мыслями он все еще находился там, в отчем доме, в Озерном.

И выход в третью, малочисленную смену, оказался кстати. Ощущал он странную, неожиданно возникшую вину и перед новыми товарищами. Они-то считали его своим, надеялись, что долго еще им идти вместе по дороге жизни. И хоть нелегка была эта дорога, он сильно сомневался, что это его путь. Свой среди чужих? Чужой среди своих? Поди разберись, в чем его вина, которой он и сам не мог понять.

Темные, скудно освещенные улицы района, где располагался таксопарк, были безлюдными, кое-где в зажженных окнах мелькали силуэты, ночь и тишина уже опустились на город.

Неожиданно Гиязу захотелось увидеть или хотя бы услышать Дашеньку, и он остановился у первой же телефонной будки. Автомат не работал, не работал и второй, и третий… Недолго думая, он развернул машину к Чиланзару.

Подъезжая, еще издали Исламов увидел ярко светившиеся окна ее квартиры, единственные огни в огромном сонном доме,— она

словно ждала его. Эта мысль обрадовала его, и он легко взбежал на четвертый этаж.

На звонок ему тотчас открыли, словно стояли за дверью и считали его шаги на лестнице в притихшем доме.

— Ты? — удивилась Дашенька. Несмотря на поздний час, она была нарядная, с аккуратной прической.

Гияз растерялся, не зная, что сказать, и по привычке машинально хотел войти в квартиру, но Дашенька преградила ему дорогу.

— Гияз, прости, нельзя! Я выхожу замуж. Мой жених должен сейчас прийти, с минуту на минуту. Я даже подумала, что это он позвонил. Извини, Гияз, что так вышло, но ведь ты не делал мне предложения, даже не намекал. А он военный, решительный, сразу предложил мне руку и сердце. Женщина может устоять перед многими соблазнами, но перед предложением выйти замуж… И, наверное, мне с тобою было бы нелегко. Ты все пытаешься что-то понять, разобраться в жизни. А зачем? Живи просто, жизнь так коротка…

Но Гияз, хотя и смотрел на Дашеньку, уже не слышал ее торопливых слов. Спустившись вниз, минут пять в каком-то оцепенении он сидел в машине, и только энергичные шаги высокого военного, с удивлением поглядевшего на такси у подъезда, отвлекли его. Он вдруг улыбнулся, вспомнив шуточные слова из песни своей молодости:

Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло…

Потихоньку, стараясь не шуметь в сонном квартале, он выехал на дорогу. На перекрестке маячил одинокий пассажир, но Гияз проехал мимо. Как тогда, в Гаграх, в «Золотом руне», он вдруг ясно понял то, чем мучился все эти годы в Ташкенте. Какая бы у него ни была удобная, хорошо оплачиваемая работа, заниматься он может только настоящим, большим делом. Его дело, его место было там, на большой стройке. И только там он мог добиться того, чтобы фамилия его зазвучала столь же весомо, как у отца в Озерном.

И еще он осознал, наконец, что для этого надо… быть не просто трудягой, честным человеком, надо стать борцом. Честность-то — она должна быть с кулаками, а иначе не переведутся силкины, не переведутся ремонтные конторы, подобные той, откуда он так бесславно ретировался, не переведутся таксопарки, укомплектованные такими же,

как он, созерцателями с дипломами в карманах. Надо предъявлять требования и добиваться результатов — делом, борьбой. Решено — стройка зовет его… А столица, большой город?..

Твой город там, где у тебя есть дело по душе. Как просто и ясно все стало, но чтобы понять это, нужна была такая долгая дорога к отцу, к родному дому.

Странная выдалась ночь, словно праздничная,— загулявших, припозднившихся было много, но Гияз, забывший выключить зеленый огонек, ехал мимо. И гнал, гнал машину по улицам, словно прощался с Ташкентом навсегда. Уже не раз у него в кабине раздавался голос диспетчера:

— Семнадцатый, семнадцатый, ответьте диспетчеру, где вы?

Но Гияз молчал.

Поблуждав по городу, Исламов свернул на берег Анхора и тут, распахнув дверцу машины, залюбовался светлевшей полосой реки в бетонных берегах. Вдруг в тишине, словно на всю набережную, зазвучал голос диспетчера:

— Всем радиофицированным такси: всю ночь не отвечает машина ТНС номер 85–04, водитель Гияз Исламов. О нахождении машины просим срочно сообщить в диспетчерскую четвертого таксопарка. Внимание, внимание: пропала машина…

Сначала Гияз, занятый своими мыслями, не понял, что говорят о нем. Только когда запрос повторили в третий раз, он поспешно поднял трубку.

— Таня, это семнадцатый, Исламов. Спасибо, со мной все в порядке, еду в парк.

И какая-то теплая волна захлестнула его: о нем думали, за него беспокоились. Он развернул машину и, выехав на дорогу, сразу попал в зеленую волну. Когда уже въезжал в таксопарк, в эфире вновь раздался голос диспетчера, но в нем уже не было тревоги:

— Всем! Всем! Всем! Машина нашлась… С Исламовым все в порядке! Все в порядке…

Малеевка — Коктебель — Дурмень,
1985

Седовласый с розой в петлице

Повесть

Странно, но тот случайный пьяница, едва не попавший под колеса машины, не выходил из головы Павла Ильича уже вторую неделю. Нельзя сказать, чтобы он постоянно думал о нем, но и забыть его не удавалось, и хуже всего, что вспоминалось произошедшее неожиданно и некстати, отвлекая от дел и сея в душе непонятное беспокойство. Тогда, в среду, он задержался в операционной допоздна,— доставили со скоростной трассы Джизак — Ташкент водителя, врезавшегося на предельных ста двадцати километрах в час в бетонную опору высоковольтной линии. Задремал-то пострадавший, наверное, всего на секунду — и вот результат: искореженная машина, не подлежащая ремонту, целый контейнер вдребезги разбитых цветных телевизоров, да и сам шофер вряд ли остался бы жив, если бы не доставили срочно в клинику и не окажись Павел Ильич на месте, хотя в тот день и обещал вернуться домой пораньше — у жены был день рождения.

Операция оказалась долгой и трудной, собирали парня, что называется, по частям,— и возвращался домой Таргонин уже затемно. Шофер дежурной машины травматологии, дожидавшийся хирурга, сочувствуя бедолаге,— все-таки тоже водитель,— сказал своему коллеге со «скорой помощи»:

— Повезло парню, что попал на стол к самому Таргонину. Он соберет, на шоферов рука у него особенно легкая, я учет веду.

В машине лежал большой букет роз, тщательно срезанных садовником Каримджаном-ака,— территория травматологической клиники утопала в них. Шофер догадывался, что у Павла Ильича какое-то торжество, и, судя по времени, он явно опаздывает, поэтому, едва профессор хлопнул дверцей, рванул с места так, что шины заскрежетали по асфальту.

Несмотря на поздний час, на ташкентских улицах машин хватало, но «Волга» с красным крестом на боковых дверцах шла ходко, ловко пользуясь своим преимуществом, да и шоферы на таких машинах — знатоки своего дела, понимают, что иной раз и от нескольких минут может зависеть жизнь человека, потому на малой скорости не ездят — привычка, а может, и необходимость, чтобы всегда быть в форме, начеку.

Уже подъезжали к центру, где в одном из тихих, утопавших в зелени кварталов жил профессор, и тут едва не случилась беда… В темном безлюдном переулке, освещенном лишь фарами быстро ехавшей машины, из-за густых кустов сирени вдруг прямо под колеса автомобиля шагнул, покачиваясь, пьяный с бутылкой вина в руках.

Все произошло так неожиданно, в доли секунды, что Павел Ильич не успел даже испугаться, ощутить надвигавшуюся беду, но, что странно, успел вглядеться в пьяного. Это было похоже на крупный и назойливый кадр в кино, когда зритель успевает оценить и осмыслить не только выражение лица актера, его одежду, но даже запомнить интерьер, в котором действует герой. Спас от беды водитель, его немыслимая реакция: машина резко взяла вправо, едва задев крылом полу распахнутого пиджака незнакомца. Раздался удар разбитой бутылки, и на переднее стекло брызнули капли вина. Машина, избежав, казалось бы, неминуемого столкновения, проскочила на несколько метров вперед и встала. Разозленный водитель хотел было выйти, но Павел Ильич остановил его жестом — не надо. Когда машина тихо тронулась с места, Таргонин невольно оглянулся, но кромешная тьма уже поглотила пьяного, и только площадная брань в адрес водителя да звук бьющегося об асфальт стекла — горлышка бутылки, которое, видно, со злости швырнул прохожий,— свидетельствовали о реальности произошедшего.

— Пришлось бы возвращаться с этим негодяем снова к операционному столу, да и то если бы живой остался,— нервно бросил шофер.

Хирург ничего не ответил. В ушах у него все еще стояла злобная брань пьяного незнакомца, и голос его казался Таргонину странно знакомым.

Застолье в доме было в самом разгаре. Домочадцы и друзья Таргониных, давно привыкшие к тому, что хозяина дома не раз уводили из-за праздничного стола, начали отмечать день рождения хозяйки, не дожидаясь профессора. Дежурная медсестра предупредила — у Павла Ильича срочная операция.

Случай на дороге выбил Таргонина из колеи, и он вдруг почувствовал, как устал,— четыре часа у операционного стола после напряженного рабочего дня — не шутка!

Расстроился он еще и потому, что планировал после дежурства заехать на базар, купить для жены любимые белые гвоздики и флакон французских духов, которые ей давно хотелось иметь. Собирался и помочь жене по дому, и сам в кои-то веки встретить гостей, а все пошло кувырком. Обидно было, что в день рождения жены приходится отделываться букетом из больничного сада, хотя и за это спасибо медсестрам,— это они попросили садовника уважить профессора, понимая, что ни на какой цветочный базар он уже не успевает.

За столом на вопросы, посыпавшиеся со всех сторон, Павел Ильич коротко ответил:

— Да, операция оказалась трудной, но, надеюсь, больному не грозит даже инвалидность. Впрочем, загадывать не будем…

О случае с пьяным в соседнем переулке он не сказал ни слова. За щедро накрытым столом уже царил свой порядок, и запоздало брать на себя роль хозяина дома показалось Таргонину нелепым, да и сил на это у него не осталось, и потому он сидел тихо, стараясь подладиться под общее настроение,— правда, не очень ловко, чем, конечно, вызвал недовольство жены. Павел Ильич не мог настроиться на веселую волну, потому что то и дело перед его глазами возникал человек, появившийся внезапно из-за темных кустов сирени, его лицо. Почему он так подробно, до мелочей запомнил его, хотя лица того парня — водителя, которого оперировал час назад, как ни силился, припомнить не мог? И почему ему показался знакомым голос ночного забулдыги? Он снова и снова мысленно вглядывался в пьяного. Высокий, немного выше самого Павла Ильича, да и по возрасту они, наверное, были ровесниками, что-то около сорока пяти. По фигуре угадывалось, что природа щедро одарила незнакомца силой и здоровьем, хотя алкоголь уже крепко подточил и то и другое, но видимость их еще сохранялась.

Пожалуй, это был тот редкий тип алкоголиков с амбицией, которые презирают окружающих,— об этом говорило не только его надменное лицо, но и одежда. Некогда модный дорогой английский костюм — такой был в свое время и у Таргонина — теперь имел вид засаленный, потертый, но из кармашка кокетливо торчал грязный носовой платок. Однако в глаза прежде всего бросался не этот платочек, а новенький, модный узкий галстук, завязанный на английский манер косым узлом. Изящный, редкий узел, красивый галстук на мятой, давно не стиранной рубашке — только человек с больной, изощренной фантазией мог придумать такое сочетание.

Таргонину как врачу одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это не напившийся по случаю, а алкоголик, и, может, уже безнадежный. Крупные черты его лица можно было назвать даже красивыми — время и образ жизни не смогли до конца стереть данную природой привлекательность. Только ранние, не по возрасту глубокие морщины избороздили некогда холеное, самодовольное лицо — оно и тогда, в свете фар, показалось Таргонину капризным, высокомерным. Неожиданную импозантность этому лицу придавали волосы — густые, некогда, видимо, черные как смоль, слегка вьющиеся, из тех, что сами без особых усилий укладываются в любую прическу. Сейчас они были покрыты ровной жемчужной сединой, и оттого придавали опустившемуся человеку некую значительность, а может, на чей-то взгляд, даже благородство. Запомнились Павлу Ильичу и усики, тоже «благородно» седые, но странно кокетливые, как платочек в верхнем кармане пиджака. Чувствовалось, что когда-то незнакомец уделял своей внешности немалое внимание. Время от времени Павел Ильич перебирал в памяти своих знакомых, дальних и близких, но среди них не было человека, и отдаленно напоминавшего седовласого пьяницу. Ему хотелось рассказать обо всем жене, поделиться с ней этим наваждением, но он не решался. Заранее знал, что она скажет в ответ: «Дался тебе, Паша, этот пьяница. Теперь развелось их без счета — и с благородной осанкой, и с благородными манерами. Да и зачем он тебе, у тебя своих дел мало?»

Но что-то вновь и вновь возвращало профессора к ночному происшествию. У него появилось даже навязчивое развлечение — Павел Ильич пытался вспомнить большие застолья, в которых ему приходилось участвовать: он пытался увидеть тех, с кем сидел когда-то за столом. Сколько он ни вспоминал, и там незнакомца отыскать не мог, и все же ощущение, что их что-то связывает, не оставляло профессора.

Он даже припомнил, как года три назад, возвращаясь домой после работы через сквер в центре города, приметил кафе, возле которого всегда было многолюдно. Как показалось Таргонину, там собирались каждый день одни и те же люди. Он подумал тогда: наверное, это своеобразный клуб, где встречаются по интересам. Сейчас их развелось предостаточно: чего только не коллекционируют, не говоря уже о тех, кто держит породистых собак, попугаев, обезьян, крокодильчиков, рыбок… А теперь вот горнолыжная эпидемия и альпинизм захлестнули Ташкент, так новоиспеченные горнолыжники и альпинисты, говорят, тоже облюбовали себе какое-то кафе. Но эти, возле «Лотоса», на них походили мало, хотя компания собиралась чисто мужская. Когда Павел Ильич поинтересовался о «Лотосе» у коллеги по работе, тот, странно улыбнувшись, ответил: действительно, мол, там клуб встреч по интересам, причем возник он в Ташкенте раньше прочих и никогда своего существования не прекращал,— но объяснять подробнее ничего не стал, что еще более подогрело любопытство Таргонина.

Однако удовлетворить это свое любопытство профессору удалось нескоро. Как-то вдруг навалилась зима,— а в Ташкенте последние пятнадцать лет она постоянно снежная и холодная,— и в один день парк опустел: «Лотос» закрыли до теплых погожих дней. Выглядело кафе теперь сиротливо, казалось каким-то голым, неприглядным, и Павел Ильич впервые подошел к нему поближе. Определение «кафе» вряд ли годилось для этой торговой точки. Большой приземистый стеклянный гриб, непонятно почему названный именем нежного цветка, имел все-таки одну особенность: яркую и искусно выполненную световую рекламу, редкую в Ташкенте, и оттого бросавшуюся в глаза. Ни внутри, ни снаружи ни одного посадочного места, ни столов, ни стульев, ни стоек. Более того, внутрь посетителям доступа не было, там властвовала хозяйка заведения, и весь стеклянный «гриб» был заставлен ящиками, коробками, металлическими «сигарами» с колотым льдом. Общалась хозяйка с посетителями через узкую прорезь в пожелтевшем стекле. Вряд ли «Лотос» притягивал посетителей комфортом или интерьером, да и ассортиментом он их тоже не баловал — Павел Ильич об этом знал точно.

В теплых краях смена погоды происходит быстро, иногда в два-три дня, и как-то в середине февраля, когда остатки снега еще серели на клумбах и в глубине парка, а в воздухе уже носились волнующие запахи весны, Павел Ильич, возвращаясь домой

привычным маршрутом, увидел вспыхнувший огнями рекламный лотос на выцветшей красной крыше знакомого кафе. Да, «Лотос» открыл новый сезон, и вокруг него — это было видно издали — царило необычное оживление. Публика, похоже, была та же, что и осенью. Первым желанием Таргонина было подойти, влиться в эту возбужденную толпу, послушать, о чем в ней говорят,— но он сдержался, возникло вдруг ощущение, что он ворвется в чужой дом, где идет застолье. «Потом как-нибудь»,— решил Павел Ильич и не без сожаления и какой-то неожиданной для него зависти к «вольным казакам», коротавшим вечера в мужской компании, направился домой, где его по вечерам ждал письменный стол.

Потом закружила работа, лекции в институте, встреча, хоть и короткая, в Алма-Ате с коллегами… Домой он чаще всего возвращался на служебной машине и про «Лотос» с его мужской компанией как-то позабыл. Но в начале апреля, когда сквер пышно зазеленел, вспыхнул розово цветущим миндалем и белой, нежно пахнущей сиренью, Павел Ильич, даже если и возвращался на служебной машине, подъехав к скверу, отпускал ее и дальше уже шел через парк пешком. Каждодневный его маршрут пролегал таким образом, что в поле зрения попадал «Лотос» — вначале, издали, его призывная световая реклама, а затем уже и сам гриб с подновленной, ярко-красной железной крышей. Любопытство однажды все же взяло верх, и Павел Ильич свернул к кафе. Издалека он внешне мало чем отличался от здешних завсегдатаев: у многих в руках были портфели, дипломаты, и чувствовалось, что большинство приходят сюда прямиком со службы, так что Таргонин со своим кейсом не выделялся среди посетителей стеклянного грибка. Обслуживание здесь оказалось молниеносным: не успел Павел Ильич, протягивая рубль, сказать, чтобы ему дали бутылку минеральной воды, как хозяйка со сбившейся набок прической точным жестом опрокинула в стоявший наготове тяжелый граненый стакан початую бутылку вина и наполнила его до краев, не обронив на влажную стойку ни капли. Ее ловкий, натренированный жест восхитил Таргонина, и поэтому он безропотно взял стакан, забыв о минералке. Скорее всего, из-за этого привычного здесь стакана в руке никто не обратил на него особого внимания. Зато сам Таргонин был весь внимание. И хотя с первых минут он понял, что это за заведение, любопытство его не покидало и даже усилилось. Вокруг «Лотоса» сформировалась совершенно незнакомая ему среда со своими законами, и сказать, что тут собирались одни пьяницы и люди, мучившиеся

похмельем,— значит сделать поспешный вывод, хотя, наверное, были здесь среди прочих и те, и другие. О, народ здесь собирался прелюбопытный! А какие разговоры тут велись: о нефтедолларах и Арабских Эмиратах, об Уотергейте и еврокоммунизме, об экстрасенсах и тамильской хирургии, об агропромышленных комплексах и компьютерах, об успехах «Пахтакора» и поражениях сборной…

Павел Ильич услышал даже чье-то высказывание о балете Мориса Бежара, которому некто противопоставлял штутгартский балет Джона Кранко, но затем спорщики пришли к согласию и переключились на разговор о симфоническом оркестре Герберта фон Караяна. Действительно, клуб, и беседы куда интеллектуальнее, чем у них в клинике или в институте — там страсти разгорались все больше вокруг быта.

Таргонин, набравшись терпения, рассматривал завсегдатаев, которых видел раньше лишь издали. Была у них некая общая для всех примета — ни на ком не было ни одной новой вещи, словно они дали зарок, что начиная с определенного дня не станут тратить на подобную чепуху ни времени, ни денег. А приглядевшись повнимательнее, по той же одежде можно было установить приблизительно и дату, когда каждый из них дал такой зарок.

Вот тот, например,— в однобортном костюме с высокой застежкой на четыре пуговицы и в коротеньком, смахивающем на детский, галстуке — по нынешним меркам уже давно, ох, как давно — в те годы Таргонин еще учился в институте. Рядом с ним сидел мужчина в костюме с непомерно широкими бортами и расклешенными брюками — так одевались щеголи лет десять-двенадцать назад, когда Павел Ильич защитил кандидатскую. Были тут мужчины и в дакроновых костюмах, столь модных в середине шестидесятых годов и давно уже потерявших свой блеск. Нейлоновые рубашки, твидовые тройки, пиджаки первой вельветовой волны, китайские пуховые пуловеры, остроносые мокасины, туфли на высоких и тяжелых платформах, запонки и галстучные булавки, шляпы, не знающие износа габардиновые и бостоновые костюмы — они говорили внимательному человеку о многом — о времени и о судьбе владельца. И каждая затрепанная, изношенная, лоснившаяся вещь была не просто одеждой или обувью, а свидетельством того, что обладатель ее знал лучшие времена и когда-то чутко прислушивался к пульсу моды. Продолжая галантерейный экскурс, можно было сказать, что всех этих разномастно, разностильно одетых людей отличала странная и непонятная Таргонину

особенность: одежда содержалась ими в чистоте и аккуратности, за ней ухаживали с тщанием, недостойным этих устаревших вещей.

Галстук, как заметил Павел Ильич, был здесь необходимым аксессуаром, он словно служил подтверждением некоего статуса своего владельца, держал его на плаву. Неважно какой: мятый, засаленный, капроновый, шерстяной, атласный, шелковый, кожаный, самовяз или на резиновом шнуре, узкий, широкий, длинный, короткий — все равно, лишь бы при галстуке. Заметил Павел Ильич и то, что в верхнем кармашке пиджака у многих виднеется свежий платочек; бросалось в глаза, что и обувь у большинства начищена, надраена до блеска. Но самое главное, на что обратил бы внимание даже человек невнимательный,— среди посетителей не было ни одного заросшего, небритого, и волосы у всех, особенно у тех, кто носил пробор, были тщательно расчесаны, волосок к волоску. Видимо, существовал в этой среде свой неписаный закон, эталон, ниже которого опускаться было неприлично.

Несмотря на то, что вокруг все двигалось, шевелилось, говорило, радовалось и возмущалось, Павлу Ильичу вдруг подумалось — не маскарад ли это, живые ли рядом люди,— и в памяти всплыло: театр теней… Нечто большее, чем праздное любопытство, тянуло Павла Ильича к «Лотосу», и он еще не раз приходил сюда с заранее заготовленным рублем, так как чувствовал, что более крупная купюра могла вызвать недоверие к нему.

Нельзя сказать, что его совсем не замечали: когда он подходил к стекляшке, с ним молча, но учтиво, а некоторые даже изысканно, раскланивались, а обладатели шляп, люди, как правило, постарше самого Таргонина, делали джентльменский жест, приподнимая над полысевшими лбами головные уборы, потерявшие цвет и форму — эта галантность вызывала улыбку, которую Павел Ильич с трудом сдерживал. Но высшая почесть, оказанная ему,— а может, это было традиционным вниманием к новичку, Таргонин не успел в этом разобраться до конца,— заключалась в другом. Он уже заметил, что у окошка, где так ловко и быстро разливали требуемое, никогда не было суеты и толчеи, никто не пытался подойти без очереди — наверное, здесь это почиталось за дурной тон,— хотя очередь была почти всегда. Так вот, очередь выделила Павла Ильича: стоило ему подойти и тихо пристроиться в ее конец, как к нему оборачивался последний и великодушным жестом приглашал его вперед, так же поступал каждый из стоявших перед ним, пока Павел Ильич, рассыпаясь в благодарностях, не оказывался у вожделенного окошечка.

Удивительно, что общение, ради которого, наверное, стекались сюда со всего города эти люди, не было, на взгляд Таргонина, навязчивым, бесцеремонным — большей частью мужчины держались небольшими группами, но группы эти тасовались чуть ли не каждые полчаса: одни уходили или отпочковывались по непонятным для него интересам, другие приходили. Немало было и таких, как Павел Ильич, в одиночку, молча коротавших время за стаканом вина, и право каждого на такую свободу, вероятно, тоже признавалось здесь, по крайней мере, в собеседники к нему никто не набивался, хотя профессор чувствовал: подай он только знак, изъяви желание — собеседники или компаньоны у него вмиг найдутся. Здесь никто никого не торопил, да и ничто не торопило, как ничто и не удерживало. Каждый созревал сам, в одиночку, чтобы в итоге стать частью целого и уже до конца дней своих застыть навсегда, как в музее восковых фигур, в том одеянии, в котором появился здесь в первый раз.

Не все вокруг «Лотоса» и не сразу стало понятным Павлу Ильичу, но открытия, сделанные путем личных наблюдений, иногда поражали профессора. Он заметил, что у кафе никто не просил и не занимал денег, по крайней мере, открыто. О том, чтобы кто-то собирал копейки,— обычная картина почти для всех питейных заведений,— не могло быть и речи. С рубля за стакан портвейна полагалась на сдачу даже серебряная монетка, о которой знал каждый из завсегдатаев, но никто эту монетку не требовал — это был, как им, наверное, казалось, щедрый жест, еще из той безбедной жизни, которой они некогда жили. Однажды профессор увидел, что по соседней аллее, тоскливо, с завистью посматривая в сторону «Лотоса», прошел вконец опустившийся пьяница, но подойти не решился — сработало некое табу, непонятное Павлу Ильичу.

Как-то дома, когда Таргонин размышлял об этом, его осенило: да «Лотос» же последний бастион, рубеж для этих катящихся вниз людей, и пока они в состоянии приходить сюда, придерживаясь выработанного ими же стиля поведения, они видятся себе достойными уважения людьми. А может быть, еще проще,— они считают себя элитой среди пьющих, ну конечно, элитой, как это ни смешно, как ни грустно, оттого эти галстуки, учтивые разговоры, неестественная галантность, давно ушедшая в прошлое, тщательные проборы в давно не мытых, посеченных редких волосах, и кокетливый платочек в кармашке затерханного пиджака. И единственное для них место на свете, где есть возможность, хоть и призрачная, сохранять

утерянное достоинство,— это «Лотос», он притягателен, как остров для утопающего. Здесь, приобретая на свой мятый рубль, может быть, заработанный в унижениях, стакан вина, пьющий как бы говорит своим многочисленным оппонентам — смотрите, я не бегу в магазин за бутылкой за тот же рубль и не складываюсь на троих в подворотне — для меня главное не выпить, я пришел в кафе пообщаться с интересными людьми — посмотрите, кого здесь только нет!

Да, контингент у «Лотоса» собирался не только живописный, но и разношерстный — действительно, кого здесь только не было! Многие, как и Павел Ильич, заглядывали сюда после службы, о чем говорили потрепанные, под стать хозяевам, портфели, хотя чаще в ходу у завсегдатаев были давно вышедшие из моды и обихода кожаные папки. Порою Таргонину казалось, что здесь собрались последние владельцы подобного антиквариата. Пожалуй, наличие портфеля и папки, так же как и галстука, вселяло в их хозяев некую уверенность, а может быть, являлось даже атрибутом связи с другим миром, в котором они, считай, уже и не жили, а так, заглядывали иногда. Скорее всего, это были специалисты разного уровня, опускавшиеся все ниже и ниже по служебной лестнице. Служили они, вероятно, в каких-то конторах, обществах, товариществах, несчетно расплодившихся в последнее время, потому что трудно было представить их работающими в серьезных учреждениях. Хотя, впрочем, в последнем Павел Ильич не был абсолютно уверен, потому как мало знал жизнь: все его время забирала работа, даже дом, быт всецело лежали на жене. В одном он был совершенно уверен: в медицинских учреждениях подобный тип людей, слава богу, еще крайне редок.

Первое впечатление о широте тем и интеллектуальности бесед возле «Лотоса» у Павла Ильича вскоре развеялось, и вовсе не потому, что завсегдатаи вдруг перестали говорить о еврокоммунизме или тибетской медицине. Тематика разговоров по-прежнему удивляла Таргонина, но он понял и другое: эти беседы носили поверхностный характер, они, так же как портфель или галстук, нужны были им для того, чтобы ощущать себя еще причастными к другой, настоящей духовной жизни.

Узнавать новое, сопереживать, сочувствовать — эти простые человеческие чувства уже перестали быть для них жизненной необходимостью, как для всех нормальных людей. Да и на работе,— если она у них действительно была, ведь наличие портфеля — не обязательно гарантия того,— их уже вряд ли кто слушал и воспринимал

всерьез, равно как и дома, в семье. А им всем ох как нужно было внимание. Гайд-парка у нас нет и не предвидится, а «Лотос» — пожалуйста! Вот и приходили они в этот свой самостийный Гайд-парк, нашпигованные обрывочными эффектными сообщениями из газет и журналов — благо информации в наш век с избытком, а времени свободного у завсегдатаев «Лотоса» было, видно, хоть отбавляй.

Большинство посетителей «Лотоса» держались тихо, мирно, несуетливо, некоторые даже с осторожностью, с какой-то опаской,— видимо, жизнь не раз их била, и повсюду им чудился подвох. Прежде всего выдавали таких глаза: затравленные, жалкие, в которых не читалось ни силы, ни желания вступать в какую бы то ни было борьбу, даже за самого себя. Вольнее, свободнее, что ли, чувствовали себя люди творческих профессий или выдававшие себя за оных. Один наиболее шумный, потрепанный блондин в сандалиях на босу ногу и в легкой курточке из синтетической ткани, прожженной кое-где сигаретами,— представлялся всем журналистом. Он направо и налево сыпал именами известных корреспондентов и редакторов, заговорщически сообщал о каких-то грядущих переменах и перемещениях, известных пока лишь в узких и привилегированных кругах. Говорил, что его наперебой зазывают то в одну, то в другую уважаемую газету, но он, мол, не желает продавать в рабство свое золотое перо ни той, ни другой, поскольку в штате и той и другой сидят, мол, одни подхалимы и бездари, а он не намерен своим талантом способствовать их успеху. Одного трезвого взгляда было достаточно, чтобы понять, что не только в газету, а в любое мало-мальски порядочное учреждение путь этому еще нестарому человеку уже был заказан,— слишком долго пришлось бы думать, прежде чем решиться доверить ему хоть какое-то дело.

Особое оживление вызывало у посетителей кафе появление некоего поэта — чувствовалось, что здесь его любили. Периодически, словно уверяя других, а прежде всего, наверное, себя, что он действительно поэт, он вынимал из своего неизменного разбухшего портфеля потрепанные газеты и какой-то журнал без обложки, судя по объему и формату, явно не литературный, где были напечатаны его стихи. Видно было, что он особенно дорожил этим журналом, где маленькая подборка стихов была дана с фотографией автора. Ходили слухи, что журнал не однажды сослужил поэту добрую службу — по крайней мере, в вытрезвителях, где он требовал к себе особого отношения как к творческой личности. Внешне поэт ничем не отличался

от завсегдатаев «Лотоса»: та же классическая прическа с безукоризненным пробором, костюм, неснашиваемые зимние ботинки на каучуке в любое время года, и непременный атрибут, выделявший его даже из этой живописной толпы,— ярко-красный шейный платок на тонкой, морщинистой шее.

Он тоже никогда не стоял в очереди за портвейном,— толпа почтительно уступала кумиру место у стойки. Выпив, он быстро озлоблялся, что невыгодно выделяло его среди обычно мирных посетителей «Лотоса», и начинал крикливо читать свои стихи, комментируя их непечатным текстом,— такая вольность разрешалась лишь ему одному. Наверное, когда-то он был не без искры божьей, но злоба, душившая его изнутри, не позволила ему стать настоящим поэтом,— так, по крайней мере, казалось профессору. Жесткие, недобрые были это стихи. Частенько Серж — так звали поэта — уходил, позабыв свой портфель, который бережно передавали внутрь стекляшки, где он день-другой, а иногда и неделю дожидался хозяина, воевавшего, очевидно, в это время в редакциях газет и журналов с редакторами. Поэтов, кроме Сержа, было здесь еще несколько, но всем им было далеко до популярности мэтра с эффектным шейным платком,— в очереди за портвейном они стояли на общих основаниях. Поэтому, наверное, испытывая нескрываемую зависть к «удачливому собрату по перу», к его популярности в «Лотосе», молодые коллеги демонстративно игнорировали Сержа: держались между собой дружно, вели сугубо светские разговоры,— это от них Павел Ильич впервые услышал о балете Мориса Бежара. Они же распространяли слух о том, что Серж безнадежно старомоден и что на его рифмах далеко не уедешь. Но все это ничуть не вредило славе первого поэта «Лотоса», даже наоборот,— как ни крути, ни у кого из них не было журнала с подборкой стихов и портретом, где Серж был заснят в шляпе и при галстуке. Да и духа им, пожалуй, не хватало — никто из них ни разу не рискнул почитать свои творения вслух, хотя общество иногда, в отсутствие Сержа, видимо, ощущая эстетический голод, просило об этом. Но друг другу они стихи читали,— Павел Ильич видел это не раз,— допуская порой в свое общество нескольких музыкантов, которых, к удивлению Таргонина, оказалось здесь больше всего. Находились тут даже свои непризнанные композиторы, не было, пожалуй, только дирижера, но за это Павел Ильич твердо поручиться не мог: в этой среде мог быть кто угодно, ведь был же человек с брюшком, к которому вполне серьезно обращались — товарищ прокурор…

За то время, пока Павел Ильич не без профессионального интереса захаживал в «Лотос», он повидал многих посетителей этого заведения. Видел, как вдруг пропадали одни примелькавшиеся лица или даже целые компании, и их место занимали другие, не знакомые Павлу Ильичу, но явно свои, люди в «Лотосе». Как говорится, свято место пусто не бывает. И Павел Ильич как-то мысленно вычислил, куда пропадали, где проводили время те, кто периодически исчезал из «Лотоса». Он был неравнодушен к их судьбе как врач, да и по-человечески ему было их жаль, особенно некоторых, безвольных, но еще не потерявших до конца человеческий облик, из последних сил цеплявшихся за нормальную жизнь.

Как-то профессор обратил внимание на человека средних лет, по прозвищу Инженер, о котором говорили, что он мужик головастый и что некогда вроде был большим начальником. Сейчас, глядя на него, вряд ли можно было предположить, что у него есть постоянная работа, хотя порой казалось, что он чем-то занят, при деле. Об этом свидетельствовал весь его вид: поразительно менялся человек, когда он работал — это улавливал не только Павел Ильич, но и многие другие посетители «Лотоса». В такие дни вокруг Инженера становилось особенно многолюдно, оживленно, и не только потому, что тогда он был при деньгах, но, скорее всего, потому, что Инженер увлеченно говорил о своей работе, планах, громко объяснял, какие реформы он проведет на предприятии, где хозяйство совсем запущено. Павел Ильич порадовался, что человек вернулся к нормальной жизни. Порадовался и за других, с загоревшимися глазами глядевших на Инженера, по-хорошему завидовавших ему. Инженер вдруг пропал, и Таргонину подумалось: как прекрасно, что хоть один на его глазах вырвался из винных пут. Но прошло не так уж много времени, и однажды вечером Инженер вдруг тихо, незаметно, как-то бочком, словно чувствуя вину за то, что не оправдал своих и чужих надежд, снова объявился в «Лотосе». Весь его помятый вид красноречиво говорил о том, что он уже давно забыл о работе и планах, ночевал где попало, а последние дни, вероятно, пропадал на рынках и вокзалах. В этом возвращении к стекляшке завсегдатаи «Лотоса» видели крушение надежд Инженера, да и своих тоже. Но и ценили главное — что и на сей раз ему удалось найти силы, не скатиться на самое дно, привести себя в относительный порядок и вернуться к «Лотосу». Страшный путь, который время от времени проделывал почти каждый из завсегдатаев кафе,— в этом Таргонин уже не сомневался.

Хотя Павел Ильич жил в Ташкенте уже лет десять, круг его знакомых в городе ограничивался только коллегами по службе. Он и соседей-то по дому знал плохо, потому что свободным временем никогда не располагал. Родись Павел Ильич в Ташкенте, учись здесь же в школе и институте, может быть, и встретил бы у «Лотоса» своих старых знакомых. Незаурядных людей, некогда, видимо, подававших надежды, здесь было немало. Частенько он видел здесь жалкого человечка, бывшего пианиста, который уже в восемнадцать лет концертировал с эстрадным оркестром и на концерты которого ходил любой мало-мальски культурный человек в городе. Какое ему прочили блестящее будущее! А теперь, глядя на него, Павел Ильич при всем желании не мог представить его блестящего прошлого, настолько жалок был этот человек.

Но разве он был такой один? Сколько несостоявшихся талантов, загубленных судеб,— думать обо всем этом было тяжело и страшно…

В калейдоскопе завсегдатаев Павел Ильич однажды все-таки увидел знакомое лицо. Пять лет назад Таргонин делал этому парню сложнейшую, прямо-таки ювелирную операцию колена. Молодой человек был известным футболистом, кумиром сотен тысяч болельщиков. Павел Ильич тогда поставил его на ноги и даже не отказался сходить на стадион — посмотреть первую игру парня после операции. Судя по реакции трибун, по возгласам сидевших рядом с профессором болельщиков, играл он замечательно. Таргонин был равнодушен к футболу, никогда не имел желания ни ходить на стадион, ни часами просиживать у телевизора, и потому не мог во всех деталях оценить игру своего пациента. Но два забитых гола произвели впечатление даже на него.

В тот вечер, когда он впервые увидел у стекляшки знаменитого некогда форварда, которого восторженные болельщики и даже местная пресса порой сравнивали с Пеле и Беккенбауэром, Таргонин дома невольно глянул в зеркало, пытаясь определить, сильно ли изменился сам за последние пять лет. Бывший кумир футбольных болельщиков не признал своего спасителя, а взглядами они в тот вечер встретились. Не признал… Бывшему форварду не хватило даже ума слукавить или просто отвести глаза. Это был уже человек конченый. И хотя Павел Ильич встречался со смертью не однажды, впервые, пожалуй, он увидел перед собой живой труп. Этот молодой красавец, некогда отличавшийся богатырским здоровьем и энергией, покорявший сердца многих сотен и тысяч людей своим талантом

и филигранной техникой, навел профессора на неожиданное размышление. Во все времена врачи и знахари пытались найти средства омоложения человека, продления его жизни. И хоть человечество достигло на этом тернистом пути каких-то успехов, все же результаты мизерны, и успокаивает лишь то, что надежда все-таки существует.

Зато каких грандиозных успехов достиг человек в разрушении своего организма, и без какой бы то ни было помощи науки! Ведь природа одарила этого спортсмена уникальным, совершеннейшим организмом — прямо-таки эталон человеческого здоровья видел Павел Ильич перед собой всего пять лет назад. Какой подвижностью, быстротой мышления, реакцией, силой, гибкостью, даже внешней красотой обладал некогда этот еще молодой мужчина, медленно тонувший сегодня в вине! И хотя наркология не была специальностью Павла Ильича и сталкивался он с подобными больными по другим поводам, когда пьянство становилось причиной несчастных случаев, Таргонин, проявляя пристальное внимание к завсегдатаям «Лотоса», пытался нащупать конец той ниточки, за которую можно было ухватиться в борьбе за этих людей, ибо вред они наносили не только себе.

Подобные мысли посещали знаменитого хирурга всякий раз, когда он проходил мимо заведения с ярко-красной крышей и причудливым неоновым лотосом, разливавшим вокруг себя ядовито-зеленый свет. Неизвестно, чем бы кончились эти хождения Павла Ильича, если бы вдруг в клинике и в институте одновременно не поползли слухи, что профессора Таргонина видели в обществе забулдыг. Мало того, кто-то из «доброжелателей» анонимно позвонил жене профессора и красочно расписал, в каком обществе ее Павел Ильич пристрастился проводить вечера. И в тот же день она, к ужасу своему, действительно увидела мужа у злополучного кафе.

Напрасно Павел Ильич пытался объяснить жене, что его приводит сюда профессиональный интерес. Жена в слезах твердила: «Ты что, комсомол, профсоюз, милиция, в конце концов, какое тебе до них дело? Ты и так мучаешься с ними, неблагодарными, за операционным столом»,— а сама пристально вглядывалась в него, не произошло ли с ним чего-то необратимого, хотя как будто и не замечала особого пристрастия мужа к спиртному в последнее время.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история для профессора, если бы не внезапный отъезд Павла Ильича с семьей из Ташкента на целых два года.

Дело в том, что за несколько месяцев до своего первого визита в «Лотос» Павел Ильич получил предложение возглавить хирургическое отделение во вновь открывавшемся крупном госпитале в Найроби, построенном в дар Кении советским отделением общества Красного Креста и Полумесяца. Было время поразмыслить, и Таргонин не торопился, потому что не знал — стоит ли? Он и здесь, в Ташкенте, только-только получил кафедру, и столь долгожданная самостоятельность радовала, начала приносить первые плоды. Да и дети учились в старших классах, не хотелось отрывать их от привычной школы, друзей. Впрочем, и других, менее важных причин оказалось достаточно. Но тут уже проявила неожиданную для нее решительность и энергию жена: в две недели оформили документы, вызвали к внукам в Ташкент бабушку, и Таргонины неожиданно для многих отбыли в Африку.

Там, в Найроби, Павлу Ильичу работы хватало. Временами казалось, что в Ташкенте он просто отдыхал, хотя дома всегда сетовал на отсутствие свободного времени. Он сутками пропадал в госпитале, в первый год у него была там даже персональная палата, где он, по сути, и жил. О «Лотосе» и его завсегдатаях Павел Ильич скоро забыл — не до них было, да и повода особого, чтобы вспомнить, не было. Только однажды, когда истекали последние дни контракта и супруги уже потихоньку собирались домой, африканские коллеги пригласили Таргониных на пикник в родную деревню одного из врачей, и там, да и то на миг, всплыл в памяти «Лотос». Пикник удался на славу, и когда вечером, перед возвращением в столицу, совершали большую прогулку в живописных окрестностях деревни, наткнулись на небольшое озерцо, заросшее ярко-лиловыми лотосами. Крупная чаша тугого цветка отбрасывала тень. От легкой бегущей ряби на тяжелой, застоявшейся воде озерца тень, казалось, жила сама по себе, и что-то хищное, паучье увиделось Таргонину в ее изломах.

Цветы были прекрасны и притягательны, достать их не составляло особого труда, и Павел Ильич попытался сорвать один для жены, но его коллеги испуганно объяснили, что этот вид лотоса чрезвычайно ядовит. И в тот же миг всплыл в памяти краснокрыший «Лотос» в Ташкенте, столь же ядовитый, как и этот редкий африканский цветок…

Наверное, не вернулся бы мыслями к «Лотосу» Таргонин и после возвращения из Африки, не произойди тот случай в темном переулке в день рождения жены. К тому же ему не давала покоя навязчивая

идея, что он был знаком с тем седовласым алкоголиком. Перебирая свою жизнь, пытаясь припомнить, где же могли пересечься их пути, Павел Ильич, конечно же, не мог не вспомнить злополучное кафе.

Но сколько он ни возвращался памятью в то время, когда по вечерам заглядывал в «Лотос», восстанавливая, выстраивая, словно кадры кинофильма, группы, компании, одинокие фигуры, залитые бледно-зеленым неоновым светом, седовласого среди них не было. Слишком ярким, броским, можно сказать, незаурядным,— даже среди столь обширной толпы — выглядел бы не дававший покоя Таргонину алкоголик, но такого, как ясно помнил Павел Ильич, у «Лотоса» никогда не было. Мысль об этом человеке мучила профессора, и он даже рискнул снова побывать в кафе, хотя в свое время, чтобы успокоить жену, клятвенно обещал ей больше никогда туда не заглядывать.

Стекляшка почти не изменилась, только выцветшая крыша была вновь покрашена в грязно-серый цвет, и по вечерам, когда зажигался неоновый лотос, плохо покрашенная жесть под зеленью ламп походила на трясину, покрытую тонким серым лишайником: ступи — и без звука провалишься в бездну. К числу нововведений относились и четыре обшарпанных пластиковых столика, появившихся у платана, в тени которого притаился «Лотос». Хозяйка у заведения была все та же, со сбившейся набок прической, она по-прежнему разливала вино так искусно и ловко, что жалоб со стороны клиентов никогда не поступало. Может быть, по финансовым показателям и культуре обслуживания, а, скорее всего,— из-за отсутствия жалоб, она была передовиком производства, или даже имела значок «Отличник торговли».

Если кафе в общем-то не изменилось, то состав посетителей отличался от прежнего — он явно помолодел, и «пижонов» в велюровых шляпах здесь уже не было, как не было и многих знакомых Павлу Ильичу фигур. Читали стихи, перебивая друг друга, теперь другие поэты, говорили, что Серж по пьянке попал под трамвай; не было, как ни всматривался Павел Ильич, и знаменитого форварда, его бывшего пациента, как не было и не менее известного пианиста. Пропал и Инженер, но, судя по разговорам вокруг, технической интеллигенции прибавилось, и, пожалуй, теперь «технари» не уступали числом музыкантам. Непривычно и странно для Павла Ильича было увидеть здесь женщин, но и они появились тут, правда, выглядели среди мужчин как белые вороны.

Седовласого вальяжного пьяницы, ради которого Таргонин нарушил данное жене слово, среди завсегдатаев «Лотоса» не оказалось. Общество это, на взгляд Павла Ильича, седовласому никак не подходило, он казался на голову выше, чем эти люди, убивающие время в тени платана. «Скорее всего, он из домашних, тихих алкоголиков, тщательно скрывающих свой порок и только изредка срывающихся в буйство»,— решил он, покидая «Лотос».

Странное ощущение своей вины и беспомощности испытал Таргонин после нового посещения «Лотоса». Ему-то казалось, что за то время, что он не бывал здесь, произошли какие-то решительные перемены к лучшему: например, ликвидировали сам гадюшник, или еще лучше — отпала в нем необходимость. Представлял себе Павел Ильич и такую картину: сидит хозяйка «Лотоса» все с той же прической, без которой ее и представить невозможно, от безделья подперев кулаком обрюзгшую щеку, и грустно глядит на безлюдную аллею, а рядом проходят люди и брезгливо шарахаются, удивляясь, как это в самом центре столицы, в красивейшем ее уголке существует подобное заведение.

Более того, виделось Павлу Ильичу, что воспрянувший-таки духом Инженер увел за собой добрую часть своих собутыльников. А если он и надеялся кого здесь встретить, так только поредевший круг постаревших завсегдатаев, могикан «Лотоса». Однако то, что увидел Таргонин после двухлетнего перерыва, вряд ли можно было назвать затухающим процессом. Работу «Лотоса» отличал теперь несвойственный ему прежде динамизм сервиса: было прорезано второе окно, гораздо шире прежнего, и часть клиентов обслуживала дочь хозяйки, очень напоминавшая мать не только внешностью, но и стилем работы. Была у них и помощница, скорее всего, поденщица, собиравшая со столиков стаканы и молча выставлявшая на прилавок груды новых бутылок, чтобы конвейер не сбивался с ритма. Раньше стаканы возвращали сами посетители, теперь эта традиция отмерла, как незаметно отмерли и другие: например, не появляться небритым, не канючить мелочь у посетителей, не ввязываться непрошенно в чужие разговоры… Все это неприятно удивило Таргонина, и больше к «Лотосу» он никогда не сворачивал…

Седовласый пьяница постепенно забылся… Работа, лекции, учебник по хирургии, над которым Павел Ильич работал по заказу Академии медицинских наук, поглощали все время профессора. Кроме того, сын заканчивал школу, предстояли экзамены — и выпускные,

и вступительные, в общем, забот и проблем хватало — только успевай решать. Пришлось даже взять на себя часть дел по дому, например, ходить на базар за продуктами, большего ему жена все-таки не доверила. Таргонины жили всего в квартале от знаменитого в Ташкенте Алайского рынка, и ходил туда Павел Ильич пешком. На востоке мужчины издавна и хозяйство ведут, и обед готовят, и на рынок ходят, и это не считается зазорным, скорее наоборот. Потому, наверное, и Павел Ильич быстро свыкся с авоськами и ничем не выделялся среди прочих мужчин, шагавших на базар или с базара, даже находил в этом какое-то неожиданное удовольствие. По воскресеньям Таргонин вставал раньше всех и, прихватив приготовленную еще с вечера женой вместительную сумку с банками, пакетами, а главное — списком, где значилось, чего и сколько купить, отправлялся на базар. В подъезде он вынимал из почтового ящика свежие газеты и на обратном пути, когда возвращался нагруженным, отдыхал на скамеечке в скверике, успевая иногда прочитать, иногда лишь пробежать их глазами. Сидя в скверике, он то и дело поглядывал на часы, чтобы успеть к завтраку,— приятно было порадовать домочадцев горячими лепешками, свежей сметаной и творожком, ягодами и фруктами, собранными поутру. Путь пролегал и мимо гастронома «Москва», но Павел Ильич заглядывал туда редко — иногда по утрам, когда нужно было купить пачку соли, пакет муки или спички. Но отдыхать с газетой ему приходилось чаще всего на скамеечке, ближайшей к гастроному.

Однажды поутру, когда Таргонин, нагруженный покупками, возвращался домой, он издали заметил, что облюбованная им скамья, обычно всегда в это время свободная, оказалась занятой. На ней расположился, пристально поглядывая на двери магазина,— гастроном должен был с минуты на минуту открыться,— крупный мужчина в мятом светлом костюме, с алой розой в петлице пиджака, несомненно сорванной тут же в сквере: именно такие розы в изобилии цвели рядом, и даже склонялись над скамейкой. Этот яркий цветок в петлице и привлек внимание Павла Ильича. Он невольно вгляделся в лицо мужчины, ибо до сих пор слышал лишь об одном человеке, появляющемся везде и всюду с цветком в петлице,— Пьере Элиоте Трюдо. Но незнакомец, конечно, не был бывшим премьер-министром Канады, он оказался… тем самым ночным прохожим, которого несколько месяцев назад чуть не сшиб на машине шофер, отвозивший домой Таргонина.

Павел Ильич не успел как следует рассмотреть его: мужчина резко сорвался с места и ринулся к магазину — городские куранты

пробили восемь, и гастроном открылся. Стеклянные двери, зеркально отразившие яркие лучи солнца, скрыли его в глубине зала. Бежать вслед с тяжелой сумкой было нелепо, да и что бы Таргонин ему сказал?

«Значит, живет где-то рядом»,— не то обрадовался, не то расстроился профессор. Спроси Павла Ильича, что ему надо от седовласого с розой в петлице, он не смог бы ответить ничего вразумительного. Отчитать за то, что однажды чуть не угодил под его машину? Вряд ли он помнит об этом, потому что, вполне возможно, подобное с ним происходит едва ли не каждый день, ведь Ташкент то ли на душу населения, то ли на один квадратный метр городской площади занимает чуть не первое место в стране по количеству машин — Павел Ильич читал об этом в местной газете. Как же тут бедолагам в таком состоянии от машин уберечься? И сейчас, когда незнакомец в нетерпении, чуть не бегом, кинулся к открывавшемуся магазину, Павлу Ильичу вновь почудилось что-то давно знакомое в осанке и движениях этого человека.

«Раз он здесь живет, значит, не разминемся, встретимся как-нибудь»,— решил Таргонин и неожиданно потерял к нему интерес. Но больше по утрам, в выверенные Таргониным часы, незнакомец у магазина не попадался.

Ближе к осени, когда жена начала варить варенье и консервировать на зиму овощи, Павел Ильич несколько раз ходил вместе с ней на базар среди дня. Однажды, возвращаясь обычным маршрутом, он вновь увидел седовласого на той же скамейке.

Несмотря на жару, был он в том же костюме, и в лацкане пиджака снова кокетливо алела роза. Сидел он на этот раз не один, а в окружении трех мужчин, явно живших неподалеку. Один, в майке, полосатых пижамных брюках и комнатных туфлях на босу ногу, ерзал на скамье, как на горячих углях,— видимо, ему удалось лишь на минуту ускользнуть из-под бдительного ока жены, и он жаждал ускорить какое-то событие. Но остальным, кажется, спешить было некуда, и они потешались над своим худощавым приятелем. При более внимательном взгляде становилось ясно, что эти двое не в счет, они права голоса тут не имели, а властвовал на скамье человек с розой в петлице. Он сидел, широко раскинув руки на ее спинке, словно обнимая сидящих рядом, хотя его по-барски капризное лицо с брезгливой гримасой исключало какие бы то ни было дружеские проявления, и что-то нехотя, зло цедил сквозь зубы нетерпеливому.

— Да спешу я, спешу, Георгий Маркелыч,— услышал Таргонин умоляющий голос, обращенный к человеку с розой в петлице, когда поравнялся со скамьей.

«А, значит, его зовут Георгий Маркелыч»,— подумал Таргонин и невольно оглянулся. Жена перехватила этот взгляд, и тут же на ее лице появилась тревога, словно она спрашивала: «Что, дружков по «Лотосу» встретил?» Но Павел Ильич, успокаивая ее, улыбнулся и, пытаясь скрыть свой интерес, сказал:

— Артист, наверное, бывший. Эстет — роза в петлице, надо же догадаться…

Но жена шутки не поддержала.

— Жену да детей этого нарцисса жаль,— жестко сказала она.— Разбаловало государство некоторых, от пьяниц и пропойц не продохнуть, куда ни ткнись — они. Да еще от собак шагу ступить некуда, хоть из дому не выходи.

Про собак жена Таргонина вспомнила не зря: по бульвару как раз выгуливали их несчетное количество и, конечно, без ошейников, без намордников, прохожие шарахались от наиболее свирепых на вид. Жена, работавшая логопедом, как-то в сердцах сказала, что ни самые трогательные судьбы собачек, о которых так любит писать наша пресса, ни нежная любовь и привязанность к ним хозяев, вместе взятые, не стоят даже одной искалеченной судьбы ребенка, испуганного безобидной собачкой и оставшегося на всю жизнь заикой. Сколько таких детей прошло только через ее руки! Столько горя и слез родителей навидалась она, что Таргонину была понятна ее враждебность к безобидным, по мнению владельцев, собачкам.

Дома ни он, ни жена не говорили о живописном квартете у гастронома «Москва», но вечером, когда Павел Ильич смотрел программу «Время», в памяти вдруг неожиданно всплыло имя того, с розой в петлице,— Георгий Маркелович. «Жорой, значит, звали в молодости»,— по инерции подумал Таргонин и вдруг вскрикнул, пораженный:

— Да это же Жорик Стаин. Ну, конечно, Стаин!

Павел Ильич очень хорошо знал Маркела Осиповича — Стаина-старшего. Совпадение? Но такое редкое отчество… Больше, пожалуй, он и не встречал никого в жизни с таким отчеством…

Конечно, когда мужчине давно перевалило за сорок, да и не виделся ты с ним лет двадцать, трудно признать прежнего знакомого, тем более в человеке опустившемся. Но это Стаин, точно Стаин,

потому и голос его показался тогда в ночи знакомым, и манеры, движения, походка кого-то напоминали. Но больше всего выдавало Жорку его помятое лицо — даже время и нелегкие, наверное, обстоятельства жизни не стерли с него того презрительно-барского выражения, которое смолоду, с юных лет выделяло Стаина среди других. Таких надменных хватало во все времена: одни шутя придавали лицам напускную важность, для других это служило защитной маской, и с возрастом, когда приходил жизненный опыт и человек начинал ценить в жизни истинное, это отмирало само собой, не оставляя даже воспоминаний. А если и случалось это вспомнить, то не иначе как с улыбкой.

Другое дело Жорка Стаин — он, казалось, и родился с таким выражением лица, словно мир за многие века существования не сумел создать ничего достойного его внимания: будь то люди, вещи или сама мать-природа. И, пожалуй, отношение его ко всему окружающему нисколько не изменилось, разве что годы добавили этому презрительному взгляду наглости, бесцеремонности, злобы…

О, в далеком заштатном городишке, где прошли их молодые годы, Жорик Стаин был личностью известной. О его похождениях ходили прямо-таки легенды, а закадычные дружки, коих было немало, цитировали своего кумира, создавая ему славу провинциального философа. И как ни смешно сейчас вспоминать об этом, бытовала среди молодежи и манера поведения — «а ля Стаин». Да что там молодая поросль провинциального городка, которой за каждым нашумевшим поступком Стаина виделся ее собственный протест против скуки, застойной жизни захолустья, если он однажды заставил говорить о себе весь город!

К удивлению многих и, прежде всего, самого Жорки, он не поступил в институт с первого захода. Наверное, помешала этому излишняя самоуверенность или какая-нибудь сумасбродная выходка на экзаменах, но это навсегда и для всех осталось тайной, он и родителям не захотел объяснять, почему провалился. А учился Стаин в школе прекрасно, обладал памятью феноменальной, и уж в том, что он-то поступит в институт, никто не сомневался. Стаин мечтал стать законодателем мод, а проще сказать — модельером, обязательно известным, и, наверное, преуспел бы в этом, потому что вкусом природа его не обделила, да и на машинке он шил на зависть девчатам, хотя об этом распространяться не любил. Одно дело модно одетый Стаин, и совсем другое — Стаин-портной. Тогда, по крайней

мере, он не хотел, чтобы эти два понятия совмещались, а первым он очень дорожил и ревностно поддерживал свою репутацию первого модника. Однажды на школьном вечере он избил одноклассника, который имел неосторожность заметить школьной красавице, слишком уж восторженно высказавшейся по поводу элегантности Жорика,— мол, кому и быть таким, как не портняжке. Еще до окончания школы, класса с девятого, многие ребята знали о жизненной программе Стаина, потому что Ленинград, где он собирался учиться, а позже завоевать его как модельер мужской одежды, не сходил у него с языка. Он и летние каникулы после девятого класса провел там… И вдруг — крушение всех надежд и планов, и это при известности и самоуверенности Стаина! Было много возможностей остаться в любимом городе: большие заводы наперебой зазывали на работу, но этот путь был не для Жорика — он и думать об этом не желал. И Стаин вернулся в город, из которого еще месяц назад не чаял вырваться.

Таргонин, как и многие его одноклассники и знакомые из соседних школ, уже учился тогда на первом курсе медицинского института, одного из двух вузов в их небольшом городке. Он помнил, как моментально разнеслось тогда по институту: «Стаин вернулся! Жорик приехал!» Особенный восторг это сообщение вызвало среди девушек. В тот же вечер Таргонин увидел Стаина на центральной улице, с легкой руки того же Жорика прозванной Бродвеем и иначе среди молодежи с той поры не именовавшейся. Жорка, и без того выделявшийся на «Бродвее», выглядел в тот день, по мнению местных пижонов, которых тогда называли стилягами, просто умопомрачительно: узкие кремовые брюки, коричнево-желтый, в мелкую клеточку твидовый пиджак, однобортный и широкоплечий, с узкими лацканами и застежкой на одну пуговицу, туфли с блестящей пряжкой на боку и на толстой каучуковой белой подошве. Довершали наряд темно-бордовая рубашка и золотистый галстук с рисунком, на котором была изображена яркая блондинка на фоне пальмы с обезьяной.

Надо сказать, что на Стаине, высоком и ладном, к тому же предельно аккуратном, умевшем носить вещи с завидной небрежностью, все это выглядело совсем не так уродливо, как пытались изобразить тогда карикатуристы. Не случайно Жорик был излюбленной мишенью всевозможных листков сатиры, столь популярных в те далекие годы в школе, горкоме комсомола, и даже парке, единственном притягательном месте их тихого городка. Считай, благодаря Стаину и держалась на высоте вся агитационная работа городка против чуждой нам

моды. Павел Ильич даже сейчас, через столько лет, помнил яркий стенд «Окно сатиры» на центральной аллее парка, где местный художник изобразил Жорку с какой-то жутко размалеванной девицей танцующими рок-н-ролл на гигантском диске, естественно, не фирмы «Мелодия», а внизу были и клеймившие позором стихи:

Жора с Фифой на досуге
Лихо пляшут буги-вуги.
Этой пляской безобразной
Служат моде буржуазной.

Жорик жил неподалеку от парка, в районе, именуемом Татаркой, где с незапамятных времен обитала самая отчаянная городская шпана, словно по наследству передававшая дурную репутацию из поколения в поколение. К тому же взрослая часть Татарки — мясники, мездровщики, мыловары, колбасники, кожевенники — работала на мясокомбинате, самом крупном в те времена предприятии города, где директором был Маркел Осипович Стаин. Работа на комбинате ценилась высоко, и отца Жоркиного почитали. А потому на гордой Татарке мужики, одним ударом кулака убивавшие быка, первыми здоровались с Жоркой и не одному сыну-сорванцу драли с малолетства уши, чтобы не задирал Стаина-младшего, а был ему другом, защитником. Да и Жорка, если не по природе, то по беспечности своей щедрый, пользовался любовью на Татарке, потому что не жалел ни карманных денег, которых у него всегда было с избытком, ни своих знаний — и списывать давал, и подсказывал в школе. А уж когда он начал играть в футбол за местный «Спартак», за который оголтело болел и стар и млад на Татарке, и быстро стал самым удачливым его бомбардиром, популярности его не стало предела.

Одного косого взгляда Стаина было бы достаточно, чтобы в тот же вечер исчезла из парка карикатура со стишками. Но Жорку словно забавляла его скандальная известность в городе, и он удерживал шпану, предлагавшую подпалить очередной шедевр парковой администрации. «Зачем же,— отвечал он с ленцой,— пусть висит, жаль, девочка не в моем вкусе, а так нормально. Всем надо жить: мне танцевать рок-н-ролл, комсомолу чуждое и тлетворное влияние Запада осмеивать. Се ля ви, как говорят французы, или еще проще: каждому свое — диалектика жизни»,— и равнодушно шагал к танцплощадке под растерянные и восторженные взгляды своих почитателей и болельщиков.

И уж совсем непонятным было его отношение к школьной стенгазете, которая не раз и не два едко высмеивала Стаина. В их родном городе, как, наверное, мало в каком другом, царил тогда культ силы, и Стаин, живя на Татарке, конечно, почитал его, к тому же и физическими данными природа его не обделила. В школе Жорку побаивались — нет, не из-за его дружков, боялись его самого, драться он умел, причем зло и жестоко. Стоило ему только пригрозить кое-кому из редколлегии, и он бы перестал быть объектом назойливого внимания стенгазеты,— Павел Ильич помнил, какие тихони ее тогда готовили. Но Стаин никого не трогал, проходил мимо стенда, даже не замедляя шага и не повернув головы, словно ему было наплевать, что там о нем опять написали. Теперь, спустя много лет, Павел Ильич запоздало понял, что Стаин, считай, с детства совершенно игнорировал мнение окружающих, оно было для него пустым звуком… Кто знает, может быть, причина — в редкой атрофии каких-то клеток… Профессор Таргонин объяснить этого себе не мог…

В тот вечер, в начале сентября, вернувшись из Ленинграда, Стаин пригласил друзей и одноклассников в летний ресторан все в том же парке. Таргонин тогда впервые сидел в ресторане на открытом воздухе и удивлялся, а может, даже завидовал, что многие уважительно раскланивались с Жориком, а уж официантки с ног сбились, стараясь угодить Стаину-младшему, тем более что Стаин-старший как раз гулял здесь же, в противоположном конце зала. То застолье запомнилось Таргонину. Стаин совсем не производил впечатления человека огорченного или растерянного, хотя собравшиеся за столом понимали, что случилось непредвиденное, и полетела в тартарары придуманная Жоркой роскошная жизнь в Ленинграде. Первый тост Жорик поднял за сидевших вокруг друзей, поздравил их с поступлением в институт и, не скрывая иронии, выразил надежду, что будущие врачи, уж конечно, позаботятся о его здоровье, не дадут пропасть, если что,— в общем, все было по-дружески мило. В конце вечера, когда никому не хотелось уходить,— потому что большинство впервые вот так по-взрослому гуляли в лучшем городском ресторане, и обслуживали их по высшему разряду, упреждая каждое желание,— Стаин, который много пил, но не пьянел, вдруг объявил:

— Знаете, у меня есть еще один тост: я твердо решил покончить с мирской суетой и намерен теперь, уже в следующем году, поступить в духовную семинарию, но в оставшийся мне год я хотел бы взять от жизни все… Так выпьем за веселье и девичьи улыбки!..

Какой поднялся за столом переполох! Все стали наперебой давать Жорику шутливые советы, как себя вести с будущей паствой и прочее и прочее. Неизвестно, чем бы закончился неожиданно возникший горячий диспут о религии, если бы кто-то вдруг не рассмеялся и не сказал:

— Да вы можете себе представить Жорика в рясе?

Засмеялись остальные, настолько не вязалось это со Стаиным. Конечно, все без исключения восприняли сказанное Жоркой как очередную блажь щедрого на сумасбродство одноклассника. Вот что неожиданно припомнилось Павлу Ильичу о Стаине, а вместе с этим вспомнилась и юность, их провинциальный городок, пахнущий по весне сиренью и акацией и белый от тополиного пуха в июне. Далекое время надежд и мечтаний, дерзких планов, время, когда все у тебя и у всех твоих друзей, включая Жоржа Стаина, было еще впереди и жизнь казалась бесконечной и такой долгой…

Что там цветок в петлице! Стаин мог выкинуть и не такое, даже в те юные годы. Нет сомнения, что все, кто присутствовал на банкете по случаю возвращения Стаина из Ленинграда, тут же забыли о духовной семинарии, куда он собирался поступить будущей осенью, забыли, еще не выйдя из-за стола, и иначе, чем за веселый и остроумный розыгрыш, это не приняли. Но через неделю по городу поползли слухи: осуждающие и восторженные, одобряющие и клеймящие позором — в общем, разные…

Той же весной, за полгода до бесславного возвращения Стаина из Ленинграда, в их город, или, точнее, в церковный приход взамен неожиданно умершего батюшки был назначен новый поп. Откровенно говоря, ни церковь, ни мечеть, расположенная на Татарке, никакой роли в жизни города не играли, существовали тихо, незаметно. Вспоминали о них лишь в немногие дни религиозных праздников, да и то в такие дни стекались сюда в основном богомольные старушки и благообразные старички…

Ни церковь, ни мечеть особым архитектурным изяществом не отличались, исторической ценности не представляли никакой, чтобы хоть этим привлечь чье-то внимание. Выросшие почти одновременно в начале века, постройки эти отличались лишь крепостью и надежностью, а главной достопримечательностью являлся парк вокруг, предусмотрительно разбитый по всем правилам садово-парковой архитектуры. Прежний поп жил затворнически, вряд ли кто его видел и знал в городе, кроме редких прихожан. От городской суеты

он оградился добротным каменным забором. Тяжелые ажурные ворота гостеприимно распахивались лишь несколько раз в году, а в будни пройти в церковь можно было через массивную дубовую дверь, при которой неизменно находился мрачного вида коренастый горбун. Не радовал прежнего попа даже парк, за которым ухаживали садовник и прихожане: поп редко гулял по его тенистым аллеям, посыпанным красноватым песком, даже в долгие, необыкновенно красивые летние вечера. Говорят, святой отец тихо пил и оттого избегал лишнего общения. Инертность батюшки не могла не влиять на приход, и он, и без того малолюдный, хирел день ото дня. И вдруг появился новый поп. Прежде всего, он был молод,— наверное, лет тридцати, не более, и, конечно, мало походил на служителей культа, которых все привыкли воображать немощными стариками с седыми окладистыми бородами, в сутанах до пят, замызганных воском, и непременно с дребезжащими козлиными голосками. Этот скорее напоминал актера, снимающегося в роли священника,— высокий, по-спортивному стройный, с густой темной бородой, придававшей ему интеллигентный вид. Черная муаровая сутана с воротничком стоечкой, из-под которой виднелась всегда безукоризненно белая сорочка, напоминала вечерний фрак; такому впечатлению очень способствовали узкие, по моде, полосатые брюки и довершавшие строгий наряд черные туфли на высокой шнуровке. В иные дни молодой батюшка ходил с непокрытой головой, и его густую, чуть тронутую сединой шевелюру не мог взвихрить даже ветерок, прилетавший в город с востока, из знойных казахских степей; но чаще он носил мягкую черную широкополую шляпу, и она очень шла к его бледному, несмотря на очевидное здоровье, лицу. Может, бледность эта бросалась в глаза еще оттого, что огромные глаза, обрамленные по-девичьи длинными ресницами, горели каким-то необычным внутренним огнем, что невольно притягивало внимание каждого.

В довершение всего при нем постоянно была тяжелая, какого-то редкого суковатого дерева трость с ручкой из серебра в виде прекрасной лошадиной головы на длинной изогнутой шее, и эта изящная вещь, некогда явно принадлежавшая какому-нибудь барину, тоже не вязалась с обликом священнослужителя.

Облик обликом, но и распорядок жизни у нового батюшки оказался совсем иной, чем у его предшественника.

По воскресеньям широко распахивались свежевыкрашенные черным сияющим лаком ажурные чугунные ворота, и с утра раздавался

бой церковных колоколов. Правда, этот нестройный медный звон разносился недалеко, ибо деревья старинного парка, разросшиеся за пятьдесят с лишним лет вширь и ввысь, давно переросли самую высокую колокольню храма, и едва родившийся звук угасал тут же, в церковном саду, не долетая к тем, кому был предназначен.

В субботу и воскресенье поп целый день не покидал своих владений, но вот в будние дни… Ровно в десять утра он выходил из дубовой калитки, которую услужливо открывал ему горбун, и пешком направлялся в сторону парка, а через полчаса выходил на «Бродвей», обязательно проходя мимо медицинского института, хотя в центр можно было попасть и по другой, менее оживленной и широкой улице.

Поначалу появление батюшки на улицах вызывало любопытство. Батюшка своей ровной, неторопливой походкой, не сбиваясь с шага, не озираясь по сторонам, а как бы сосредоточенный на своих мыслях, шагал мимо заинтересованных молчаливых горожан. Но так было лишь поначалу — вскоре к его утренним прогулкам привыкли и перестали обращать на него внимание.

Может быть, в семинарии или духовной академии, где учился их батюшка, преподавали предмет сродни актерскому мастерству, ибо владел он собой куда искуснее, чем любой актер. Время первого удивления быстро прошло, и прохожие не всегда мирно и учтиво обращались к нему, если случайно задевали на тротуаре, но батюшка на это никак внешне не реагировал. Казалось, ничто не способно отвлечь его от высоких дум, только внимательный взгляд иной раз мог заметить, как белели пальцы сильной руки, сжимавшей тяжелую трость. Он шел по центральной улице мимо магазинов и лавочек, никогда не заглядывая ни в одну из них, ничего не покупал ни в киосках, ни на лотках, и, выходя на улицу Орджоникидзе, всегда сворачивал налево, к рынку. Поднимаясь вверх по улице, ведущей на Татарку, где в ближних переулках к базару встречались еще в те годы нищие, батюшка молча подавал каждому, будь то православный или мусульманин, серебряную монетку и продолжал свой путь. На базаре он так же молча, ничего не спрашивая, не прицениваясь и не покупая, обходил ряды и даже заглядывал в крытый корпус, где продавали битую птицу и молочные продукты,— словно санитарный врач, только с пустыми руками. Обойдя все закоулки базара, он уходил, едва замедляя шаг у чайной, где собирались городские выпивохи. Странно, но, завидев батюшку, завсегдатаи мигом скрывались за дверью и даже захлопывали ее, хотя тот не проявлял намерений заглянуть туда.

Наверное, новый батюшка, как и все молодые люди, был полон надежд, грандиозных планов, а может, даже и тщеславен, и оттого считал своим приходом весь этот провинциальный городок, медленно заносимый песком из великих казахских степей, а не ту жалкую паству, которая даже в воскресный молебен разбредалась по церковному саду. Ежедневно он обходил уверенным шагом город как свои церковные владения и словно вглядывался в своих будущих прихожан.

Странно, но иногда во время утренней прогулки, и чаще в одном и том же месте, батюшке навстречу попадался главный режиссер местного драматического театра, который по посещаемости мог поспорить с церковью. Правда, служитель Мельпомены в стоптанных ботинках и лоснившихся брюках, уже изрядно побитый жизнью и зачастую под хмельком с самого утра, вряд ли мог тягаться по внешнему виду с батюшкой, вся фигура которого излучала силу и уверенность. Но не исключено, что в эти утренние часы двум столь разным людям приходила в голову одна и та же мысль: «Это мой город, и я завоюю его! Дайте только срок! Вы еще будете плакать благородными слезами духовного очищения»,— и каждый при этом видел свой алтарь, оба представляли широко распахнутые двери своих заведений, расположенных в разных концах равнодушного и к театру, и к церкви города.

Во время своих прогулок святой отец ни разу не остановился, не заговорил ни с кем, если не считать тех минут, когда он подавал подаяние и щедрым жестом осенял кого-нибудь крестом, но этой милости удостаивался не каждый.

Нет, дешевой агитацией он не занимался, в церковь не зазывал, но весь его вид как будто говорил: «Я ваш духовный отец, я пришел, я буду смотреть, как вы живете, в чем видите радость, что есть для вас счастье». Говорят, и в своих проповедях он не упрекал тех, кто забыл церковь, не уговаривал никого вести с собой туда соседа, но что-то было в его речах, если старики и старухи дружно ходили на молебны, а слух о том, что батюшка молод да пригож собой, разнесся далеко окрест, и у люди из близлежащих деревень стали наезжать туда по воскресеньям.

Каково же было удивление горожан, уже привыкших к одиноким прогулкам батюшки, когда однажды он появился на улице не один… а вместе со Стаиным. Да, да, с Жориком. Они прошли обычным маршрутом батюшки, чуть дольше обычного задержались на базаре и возвращались, как всегда, мимо медицинского института.

Шли они словно давние друзья, о чем-то оживленно разговаривая, не обращая внимания на то, что встречные провожают их удивленными взглядами. Они шагали сквозь строй любопытствующих, на этот раз молчаливых,— даже подростки не стали кричать издали: «Поп, поп — толоконный лоб» или напевать весьма фривольную песенку о попадье, потому как Жорика Стаина город хорошо знал и связываться с ним никому не хотелось.

Если главного режиссера местного театра вряд ли кто знал в лицо, кроме его актеров да, пожалуй, отдела культуры горисполкома, то батюшку — отца Никанора — представлять было не нужно: все знали, что в городе новый поп, человек весьма оригинальный. Появление же его теперь каждый день в обществе Стаина-младшего вызвало к нему новую волну интереса. То был конец пятидесятых, и в этом действительно дремотном городишке редко происходили большие события, а потому даже приезд нового попа вызвал интерес,— интерес, конечно, праздный, но все же он был налицо. Эти неторопливые прогулки в одно и то же время и по одному и тому же маршруту двух так резко выделявшихся из общей массы молодых людей, конечно, не могли не обратить на себя внимание. Стаин с попом были любопытной парой, и режиссер, встречая их каждый день по утрам, невольно церемонно расшаркивался с ними и, с тоской глядя им вслед, думал: «Мне бы их в театр, валом бы народ валил».

Жорик рядом с отцом Никанором выглядел ничуть не хуже. И, конечно, ему даже не приходилось прилагать усилий, чтобы особо не отличаться от батюшки, только вместо галстука под белую рубашку Стаин надевал темный шейный платок. Единственной пижонской черточкой в его одежде оставались белые носки к черным мокасинам. Стоило Жорику пару недель не побывать в парикмахерской, и его густые волнистые волосы упали на плечи, сделав его удивительно похожим на молодого семинариста. Странно, но весь облик Стаина в эти часы прогулки преображался: он был само внимание, послушание, кротость. Однако и с прической, и со всей внешностью его к вечеру происходила метаморфоза: стоило Жорику несколько минут поколдовать над собой у зеркала, и появлялся совсем иной человек, в котором ничто уже не напоминало кроткого семинариста — это был типичный самодовольный стиляга с неизменной презрительной гримасой, которая портила его довольно красивое лицо. Не зря, видимо, приглядывался к нему режиссер, в Стаине наверняка умер незаурядный актер.

Жорик Стаин относился к разряду мужчин, избежавших в свое время подростковой угловатости, худобы и прыщавости. Уже в шестнадцать лет это был ладный, красиво сложенный парень, мало кто мог угадать его возраст, а в те годы так хочется выглядеть взрослым, и Жорик старался вовсю.

Он первым в классе побывал на вечернем сеансе в кино, первым побрился, первым стал посещать танцплощадку в парке — и не через дыру в заборе, а официально, с билетом. Впрочем, Стаин был первым во многом, если не во всем, хотя только с возрастом понимаешь, что никакой разницы нет в том, весной ты появился на танцплощадке или осенью, в мае принципиально ходил на последний вечерний сеанс в кино или в июле, но тогда все казалось главным и ценился первый шаг.

Ему очень нравилось быть первым, вызывать чью-то жгучую зависть. Конечно, он раньше своих сверстников закурил, потому что у Стаина-старшего пачек «Казбека» в доме было не счесть — возьми одну, никто не заметит. Да и позволено Жорику, единственному сыну, было все. Пить, наверное, начал тоже первым, хотя утверждать это сложно, но зато по сравнению с другими у него и в этом оказалось неоспоримое преимущество.

Было время, когда той или иной области разрешали открывать свой водочный завод, чтобы поправить экономику, с непременным отчислением средств от продажи в местный бюджет. Производство это донельзя примитивное — было бы разрешение,— оттого они расплодились повсюду, и хотя много чего в областях не было, но водочный завод обязательно имелся. Когда Жорик пошел в первый класс, появился такой заводик и у них в городе, и директором стала его мать, до этого руководившая местным пивзаводом. В подвале у Стаиных водки было всегда вдоволь, и не простой, как в магазине, а особо очищенной, как хвалилась мать постоянным и частым гостям. Водка эта служила пропуском рвавшемуся во взрослый мир Жорику. Если подростков, болтающихся в парке, никто не замечал и никуда не зазывал, то Жорика привечали. Особым шиком считалось тогда среди парней посидеть до танцев на летней веранде кафе, где продавали пиво, а то и пропустить по стаканчику вина. Взрослые ребята с этой веранды не раз приглашали Жорика в компанию и угощали пивом, зная, что за ним не заржавеет. Потом он и сам стал приходить в парк, завернув в газету пару бутылок водки и прихватив круг копченой колбасы, смело подсаживался за стол к взрослым ребятам

с Татарки,— на такую неслыханную дерзость отважился бы не каждый, даже принеси он с собою бутылку, но Жорик Стаин был личностью особой.

И как льстило ему, когда самый лихой закоперщик Татарки — Рашид, на груди которого цветной тушью был выколот орел, распластавший крылья, просил его вдруг после танцев: выручи, мол, Жорик, добудь бутылку. И Жорик, конечно, выручал, ибо гордый Рашид редко о чем просил, а слово его и авторитет были непререкаемы…

Три года назад, когда Павел Ильич впервые наткнулся на «Лотос», он иногда сожалел, что как врач не имеет возможности проследить чью-нибудь судьбу с юных лет, понять, что привело сюда того или иного человека. И вот такая возможность представилась. Он ведь знал о Стаине все или почти все.

Павел Ильич не знал, когда и где принял свою первую рюмку Стаин, но скорее всего дома, за столом, и может, из рук самого Маркела Осиповича. Дом Стаиных на Татарке часто гудел от наплыва гостей, там собирались по поводу и без, и водка лилась рекой — как доставалась, так и лилась. Таргонин хорошо знал об этих застольях, и не понаслышке — его мать работала на пивзаводе. Тогда автоматических линий не было и в помине, и мать еще с двумя женщинами мыла вручную каждую бутылку, шедшую под розлив. Мать Павла Ильича была мастерица на все руки и к тому же веселая, с неунывающим характером. Да и когда ей было унывать, если двое детей-погодков на руках, на мужа в войну похоронка пришла? Мать его была в доме Стаиных своим человеком, без ее рук, считай, не обходился у них ни один праздник,— да что праздник, и на большую стирку мать ходила к ним, и на большую уборку, и на побелку, и на покраску. Мыла по весне окна, мазала замазкой их на зиму,— а что делать, зарплата посудомойки мизерная, а детей надо было поднимать. Правду сказать, и Стаины не обижали, жадными их нельзя было назвать, скорее наоборот.

А позже они оказались с Жориком в одном классе, и Пашка не раз бывал у Стаиных дома, хотя друзьями их назвать вряд ли было можно, у каждого была своя компания — классы тогда были большие, по сорок человек, так что группировок хватало. Жили они в разных частях города: Стаины на Татарке, а Пашка на Курмыше, а тогда водились чаще с теми, с кем рядом жили,— странная, по нынешним меркам, дружба, но так было.

Теперь, пытаясь отыскать истоки алкоголизма Стаина, Павел Ильич дивился тому, насколько весь досуг людей тогда был пропитан вином и водкой, как чудовищно изощрялись при этом и как почиталось у них в городе умение выпивать лихо, с шиком. Однажды Жорик принес в парк три бутылки водки и обещал налить каждому, кто сумеет выпить до дна целый стакан, не расплескав ни капли, причем не дотрагиваясь до него руками. И тут же показал, как это следует делать. Выпив стакан водки и не расплескав ни капли, он поцеловал его дно и, достав соленый огурец из пакета, закусил — все это неторопливо, с улыбочкой,— в общем, Стаин показывал класс, как говорили тогда. Конечно, тут же нашлись желающие хоть захлебнуться, но выпить на дармовщинку. Однако Жорик был бы не Жорик, если бы не постарался хоть в чем-то унизить других. Он, конечно, водки не налил, а, показывая на кран, советовал потренироваться на водичке, тогда, мол, и будет видно, стоит ли рисковать водкой. Расхватали все стаканы в киоске газированной воды и, обливаясь и захлебываясь, демонстрировали перед Стаиным свои возможности, а Жорик сидел на скамье и, похохатывая и издеваясь, подстегивал неудачников. В тот вечер наливать никому не пришлось, потому что появился с компанией самый отчаянный уркаган с Татарки, Рашид, и увел Жорика с бутылками, сказав: «Нечего с водкой цирк устраивать, пойдем, лучше с нами посидишь, если заняться нечем…»

Стаин каждый день в одно и то же время продолжал совершать прогулки с отцом Никанором. Батюшка, человек образованный, эрудированный, рассказывал Стаину о годах своей учебы в семинарии и в духовной академии, о библиотеках с редкими книгами по философии, делился впечатлениями о своей жизни в Киеве, откуда он был родом. Внимание юноши к его речам вселяло в отца Никанора веру в то, что в таком захолустном и безбожном приходе к нему пришла настоящая удача. Он уже мысленно видел своих бывших духовных наставников в семинарии, читающих его рекомендательное письмо, где он просит принять в лоно церкви пытливого ума юношу. Да, быстрым умом, твердостью характера, способностью быть лидером, верой в свою исключительность Стаин вполне мог бы потягаться с любым семинаристом. Отец Никанор понимал это, как понимал и другое: уход в религию заметного в городе молодого человека из благополучной семьи, так легко расстающегося с мирскими соблазнами, мог иметь далеко идущие положительные последствия для его прихода, числившегося в синоде в ряду крайне

неблагополучных. И уже в первый год, отправив посланника от прихода в семинарию, отец Никанор показал бы своим бывшим наставникам, что оправдывает возлагавшиеся на него надежды.

Речам батюшки Жорик, конечно, внимал, но вечером он каждый день приходил в парк на танцы, и в его поведении и внешности, казалось, ничего не изменилось, только на расстегнутой на груди красной рубашке появился тяжелый, искусной работы золотой крест, отделанный ярко-рубиновой перегородчатой эмалью — щедрый подарок отца Никанора. И когда Жорик, разгорячившись, азартно танцевал рок-н-ролл, этот крест бросался в глаза каждому. Павел Ильич и много лет спустя, видя болтающийся на шее молодых людей крестик, наивно верил, что поветрие это пошло от Жорика, потому что уже через неделю в церкви были раскуплены дешевые медные крестики, пылившиеся десятилетиями, и половина танцплощадки щеголяла в них, выставляя их напоказ. Иные спешно выпиливали кресты из бронзы или латуни, делали их массивными, затейливой формы. В комитете комсомола, конечно, отреагировали на неожиданно возникшую ситуацию, и в парке опять появились карикатуры на Стаина: лихо отплясывающий буги-вуги Жорик в сутане, Жорик, прогуливающийся с отцом Никанором. Первая была подписана кратко, но с намеком: «Дорога в мракобесие»; другая опять же с подтекстом: «Не тот путь». Но Жорик, как говорится, и в ус не дул. Подходил к щиту с дружками и весело обсуждал работу художников,— правда, один раз возмутился, что изобразили его слишком коротконогим, и эта карикатура провисела заметно меньше обычного. Но уже на следующей Жорж был изображен импозантно, словно специально позировал карикатуристу,— тщательно была прописана каждая деталь его одежды. Дружки спрашивали у Жорика, не поставил ли он художникам пару бутылок водки за старание, но он загадочно улыбался, не подтверждая и не отрицая сказанного, напуская еще больше тумана вокруг своей личности. Кстати, щит этот, простояв положенное время в парке, исчез и вскоре уже висел в комнате Жорика в новой дорогой раме, а позже Стаин подарил его одной девушке, сокурснице Таргонина, на день рождения. Отец Никанор тоже исчез со щита сатиры, потому что пожаловался городским властям на оскорбление личности, и его персонально больше не затрагивали. Стаина же вызвали в горком комсомола, куда он явился по первому требованию. Жорик уже тогда был большим демагогом по части разговоров о конституционных свободах и гарантиях, а поднатасканный в этом плане более

опытным в идеологии батюшкой и наверняка тщательно подготовившийся к этой встрече, вконец заговорил смущавшихся девушек из отдела пропаганды, по возрасту не намного старше его самого. Он даже пригрозил им, что когда закончит семинарию, непременно вернется в родной город, и уж тогда они повоюют за молодежь. Об этой Жоркиной наглости в городе тоже стало известно.

В общем, скандальная популярность Стаина в ту осень круто шла в гору. На полном серьезе рассказывали даже, что, когда Стаин шел на бал для первокурсников, который ежегодно проводился в медицинском, какая-то дряхлая бабуля, увидев Жорика, вдруг засеменила за ним, запричитала: «Благослови, батюшка!», на что Жорик, ничуть не растерявшийся, спокойно, как и должно, осенил умиленную старушку крестным знамением и продолжил свой путь.

Что греха таить, и Таргонин в свое время прошел через так называемое стиляжничество, и он носил яркие рубашки и чрезмерно узкие брюки, и у него был галстук с обезьяной — кстати, подарок Жорика, и он знал молодежную жизнь города изнутри, а не понаслышке. В те годы, совпавшие с молодостью Таргонина, город словно проснулся от многолетней спячки и за все брался с невидимой энергией и энтузиазмом: будь то спорт, учеба, музыка, мода — прямо ренессанс какой-то. Этот взлет культурной жизни, как и любой взлет, сопровождался всякими отклонениями и ответвлениями, но энергичный ритм жизни тех лет и по сей день поражал профессора.

В какой-то год здесь появились сразу два джазовых оркестра, и главный, самый модный — в мединституте, где учился Таргонин. Сам Павел играл в этом оркестре ударником. Расскажи сейчас профессор об этом кому-нибудь из коллег, вряд ли поверят: Таргонин — джазмен? Откуда только бралось время на учебу, на репетиции? Оркестр с ранней весны и до поздней осени играл на танцплощадке в парке, а зимой в городском Доме культуры.

О, этот оркестр стоило послушать, ведь играли они не из-за денег, хотя и в деньгах была огромная необходимость, а потому что ощущали голод на музыку сами и чувствовали колоссальную потребность в ней других. Нет, у них не было заштампованной, надоевшей всем программы. Каждый раз они пытались играть новое, импровизировали. И Жорик, обладатель лучшей в городе фонотеки, не раз выручал музыкантов: то приносил ноты, что присылали ему друзья из Ленинграда, то давал свои пластинки с записями Луи Армстронга, Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Элвиса Пресли,

Джонни Холидея — кумиров джаза тех лет. Оркестранты, заполучив редкий диск на ночь, пытались разучить музыку на слух, и это им почти всегда удавалось, потому что их художественный руководитель Ефим Ульман слух имел поразительный и уже тогда прослыл в джазовых кругах известным аранжировщиком. Он и расписывал ноты для каждого инструмента. И, уж конечно, для Жорика на танцах исполняли любой его заказ, хотя такой привилегии у них в городе мало кто удостаивался,— Рашид, пожалуй, да еще кто-нибудь из молодых преподавателей, фанатиков джаза, ходивших в парк больше слушать оркестр, чем танцевать.

Медицинский и железнодорожный институты в их городе притягивали и иногородних. Особенно популярным в те годы стал медицинский, в нем учились ребята отовсюду, даже из Москвы и Ленинграда, и, конечно, с Кавказа. Были и среди них большие модники, они тоже по вечерам заполняли парк — единственное притягательное место общения в их небольшом городе. И как-то так сложилось, что приезжие потянулись к Стаину,— может, оттого, что в парке у них иногда случались стычки с местными по всяким поводам, и Жорик, при широте своих связей и популярности, легко улаживал эти конфликты. Да и самому Стаину, видимо, было интересно с ними, и он часто пропадал в общежитиях обоих институтов, где всегда был желанным гостем.

Таргонину было легко вспоминать жизнь Стаина, потому что в те годы он видел Жорика каждый день и каждый день слышал о нем что-нибудь новенькое.

На танцах Жорик, и не он один, никогда не был трезвым, да это ему тогда, наверное, и не удалось бы — отовсюду только и слышалось: Жорик… Жорка… Стаин… Всем он был нужен, всем хотелось перекинуться с ним хоть парой слов, а это означало, прежде всего,— для начала выпить. Не оставляли его в покое даже накануне футбольного матча: выпивал он и в эти дни, молодой и щедро одаренный природой организм выдерживал высокий ритм и накал спортивной борьбы. Жорик после таких матчей иногда шутил над ослабевшими товарищами — кто не курит и не пьет, к нам в команду не пойдет. Тогда, видимо, он и уверовал в то, что водка его мощному организму нипочем и ограничения — не для него, поэтому у него совершенно отсутствовало чувство меры — он никому не мог отказать, если его звали в компанию.

Выпивали в те годы по поводу и без повода, и потому эта черта Стаина вряд ли кому бросалась в глаза, тем более что никто не видел

его особенно пьяным. Тогда и водочная похлебка, и стакан, наполненный до краев, относились к разряду подростковых забав, считались способом мужского самоутверждения. Так что на чисто алкогольной почве Жорик популярности бы не снискал, но вот его дружба с отцом Никанором…

Пока не зачастили долгие обложные дожди, как-то неожиданно перешедшие в снегопад, и не наступила зима, Жорик каждый день прогуливался с батюшкой, но теперь уже часто менялся маршрут. Неизменной оставалась лишь прогулка мимо мединститута, базар как-то отмер сам по себе. От матери Павел знал, что у родителей Стаина были из-за Жорика неприятности на работе, их куда-то вызывали, требовали, чтобы приняли к сыну меры. Опять же от матери он знал, что дома с Жориком говорили, и всерьез, и со слезами, но ничего не изменилось, тот продолжал встречаться с батюшкой и часто приходил от него с подарками: роскошно изданными книгами о житиях святых. Больше всего он дорожил Библией в дорогом кожаном переплете, отделанной серебром,— эту книгу он частенько держал в руках, когда прогуливался с попом.

Зима приглушала жизнь города, и особенно она сказывалась на досуге молодежи. Снежная, холодная, с метелями, приходившими из открытой казахской степи, и ураганными ветрами, иногда валившими прохожих с ног. Парк с почерневшими верхушками лип и тополей, с погребенными под снегом танцплощадкой и летним кафе, белел среди города огромным снежным комом. Поздно светало, рано темнело,— казалось, конца этой зимней спячке не будет.

Но вечерняя жизнь, несмотря на холод и метели, все-таки продолжалась, только нужно было в ней хорошо ориентироваться, а это умел далеко не каждый. Павел же, имевший отношение к джаз-оркестру, был и зимой в курсе всех событий.

Зимой были популярны институтские вечера, к которым долго и тщательно готовились. Что скрывать, институты соперничали друг с другом, и оттого попасть на вечер было делом непростым. Какие давались концерты, как старались оркестры! Дважды в неделю, в субботу и воскресенье, в городском Доме культуры проходили танцы под тот же оркестр, где играл на отливающих перламутром ударных инструментах Таргонин. Зал в Доме культуры был небольшой, не вмещал даже половины желающих, но, несмотря на это, там собирались одни и те же молодые люди. Были зимой в ходу и иные формы

общения, из-за обилия кафе, дискотек, Домов молодежи почти забытые ныне: собирались вскладчину по всяким веским и не очень поводам у кого-нибудь дома, и вечеринки возникали зачастую стихийно. Надо ли говорить, что и на труднодоступные вечера в институты, и в Дом культуры, и на самые интересные вечеринки Стаин имел доступ — везде он был приглашен, везде его ждали, на все у него был билет или пропуск.

В перерыве между танцами, когда оркестр отдыхал, Стаин иногда поднимался к музыкантам на эстраду, чтобы заказать песню или поговорить о новой композиции, а иногда даже оставался после танцев в Доме культуры, где оркестр до глубокой ночи репетировал что-то новое. На эти репетиции Жорик приходил не с пустыми руками, а непременно захватив пару бутылок водки и на закуску хорошей колбасы или окорока, редко встречавшегося в магазине,— у студентов, игравших в оркестре, всегда был отменный аппетит.

Но в ту зиму Стаин частенько объявлял друзьям-музыкантам: мол, скукота у вас сегодня неимоверная, пойду-ка я к отцу Никанору, прокоротаю у него вечер с пользой для души. Прямо из фойе позвонив по телефону батюшке, который имел привычку засиживаться до глубокой ночи, и получив добро, Жорик, попрощавшись, уходил в церковь. Предупрежденный батюшкой горбун, всякий раз недоверчиво открывая дубовую дверь, провожал ночного гостя, запорошенного снегом, в покои священника. Обычно отец Никанор проводил вечера в зале, у камина, не топившегося до того лет тридцать.

По углам и на стенах висели редкой работы иконы, возле каждой из них горела свеча, а то и две, жарко топился камин, длинные языки пламени, вырываясь вдруг за решетку, высвечивали дальние углы плохо освещенной комнаты, хотя где-то под потолком горели и лампочки. Тепло, таинственно было в зале с высокими, уходившими в темноту потолками.

— А, Георгий…— радушно говорил святой отец, вложив резную закладку из слоновой кости в книгу, откладывал ее в сторону и поднимался навстречу из жесткого вольтеровского кресла с высокой прямой спинкой, обтянутой толстой бычьей кожей.

Широким жестом он приглашал Жорика к камину, где уже стояли два низких, с широкими подлокотниками тяжелых кресла, темный бархат обивки которых из-за ярко полыхнувшего вдруг языка пламени из чрева камина озарялся кроваво-красным, обозначая истинный цвет материи. Жорик с удовольствием располагался в кресле,

протягивая замерзшие ноги к самой решетке, и завороженно глядел на огонь, на миг отрешаясь от всего: от церкви, батюшки, джазового оркестра Ефима Ульмана, футбольного клуба «Спартак», за который оголтело болела Татарка…

Отец Никанор никогда не тревожил его в эти минуты, и только когда безмолвно и бесшумно двигавшийся служка ставил рядом уже сервированный низкий столик, Жорик как бы возвращался в реальность и виноватой улыбкой просил прощения за минуты прострации в святом доме.

В графинчике всегда подавалась водка, но особая, настоянная на каких-то травах явно не из здешних мест, но привкус ее нравился Стаину, да и вообще было приятно с мороза, у пляшущего огня, пропустить за хорошей беседой рюмку-другую.

Так сидели они у камина не час и не два, пока Жорик вдруг не спохватывался, что засиделся. Отец Никанор предлагал остаться на ночь, но Жорик, испытывая какой-то непонятный внутренний страх, всегда отказывался, ссылаясь на то, что дома будут беспокоиться.

Только однажды, когда среди ночи разыгралась злая метель и ничего не видно было даже на расстоянии вытянутой руки, ему пришлось остаться — добраться по такой пурге до Татарки было немыслимо, да и батюшка с горбуном вряд ли отпустили бы. Парень в общем-то далеко не робкий, Стаин всю оставшуюся ночь не сомкнул глаз — ворочался на широкой деревянной кровати, прислушиваясь к шорохам в сонном, притихшем доме, к страшной вьюге, завывавшей за высокими окнами. Рано утром, не дожидаясь рассвета, когда пурга неожиданно унялась и святой дом еще не ожил, Жорик встал, тихо оделся и, сам открыв дубовую дверь, вышел на занесенную снегом улицу.

В иные дни в доме Стаиных раздавался звонок: звонил батюшка, справлялся о здоровье и настроении Георгия, как он всегда обращался к Стаину. Этот звонок всегда означал приглашение, и если такое случалось в будние дни, когда не намечалось никаких увеселительных мероприятий, от которых Жорик вряд ли мог отказаться, даже в угоду батюшке, Стаин охотно принимал предложение и уже с вечера направлялся в церковь.

В такие дни батюшка ожидал его к ужину или, как он говорил, вечерять, и заранее предупреждал об этом Стаина. С его приходом вспыхивала в том же зале тяжелая, с потемневшей бронзой ободов хрустальная пыльная люстра под высоким потолком, и оттого сразу

становилось заметно, как чадили свечи у икон. Покрытый белой скатертью огромный стол был уже сервирован старинным серебром, принадлежавшим прежнему батюшке, происходившему, оказывается, из древнего русского дворянского рода: это серебро он передал по завещанию церкви и тем, кто будет продолжать его дело. Но столовое серебро, хоть и представлявшее ювелирную ценность, тогда не интересовало Стаина. Пользуясь обилием света, Жорик обходил многочисленные иконы, которые в иные дни не удавалось разглядеть.

Стаин чувствовал, что батюшке приятен его нескрываемый интерес, потому тот сопровождал его от иконы к иконе, поясняя значение изображенных святых в религиозной иерархии, говорил о времени и эпохе, сопутствовавших рождению этих шедевров, авторы которых за редким исключением оставались неизвестными или обозначались одним ничего не говорящим потомкам именем.

Обходя просторный зал, Жорик замечал и много вполне светских вещей, заполнявших и украшавших его: старинное пианино известной с прошлого века немецкой фирмы «Ибах», бронзовые часы в виде башни с двумя циферблатами тоже вполне тянули на антиквариат, не ценившийся в те годы, по крайней мере, у них в городе; резные шахматы из слоновой кости с массивной доской из палисандра, и тут же, на изящном столике, инкрустированном перламутром, несколько нераспечатанных колод карт, непривычно узких, длинных, невиданной полиграфии, наверняка оставшихся из старых дореволюционных запасов прошлого батюшки-дворянина. Карты эти более всего заставили дрогнуть сердце Стаина. Неравнодушный этот взгляд не остался незамеченным отцом Никанором, и он спросил, не играет ли Стаин в преферанс? Получив утвердительный ответ, батюшка улыбнулся и неожиданно с азартом сказал:

— Прекрасно, как-нибудь обязательно сыграем, а то дьяк, с которым я иногда сажусь за карточный стол, играет слабо, к тому же абсолютно лишен чувства риска, да и жаден больно.

Ужинали долго, опустошая не один графинчик водки, настоянной на травах, затем, как обычно, переходили к камину, в кресла, и оно теперь было как бы у каждого свое. Безмолвный служка подавал туда чай в серебряных подстаканниках. Глядя на огонь, они подолгу вели свои беседы, не замечая, как гасла люстра, и только свечи обозначали простор зала.

Так медленно катилась та беззаботная последняя зима Стаина. Уже никто не отговаривал его от странного решения, все свыклись

с ним и, откровенно говоря, жалели шалопая Жорика. Были, правда, и восхищавшиеся им, а уж в глазах прекрасной половины их городка, у которой он и без того пользовался успехом, Стаин выглядел чуть ли не великомучеником.

Похоже, смирились с этим и дома,— по крайней мере, родителей перестали беспокоить в горкоме, потому что принесли какую-то официальную бумагу о том, что рассматривается вопрос о зачислении Георгия Стаина в Киевскую духовную семинарию. Правда, побеспокоили Стаина еще раз из милиции: почему здоровый парень не работает? Но на этот раз выручил отец Никанор — дал справку, что Стаин служит при церкви на какой-то хозяйственной должности. Хотя вся «работа» его заключалась в ночных беседах с батюшкой, зарплата шла регулярно, и выдавал ее дьяк раз в месяц. В такие дни Жорик гулял особенно широко, посмеивался: на свои трудовые, мол, гуляю.

Частые ночные беседы с отцом Никанором, долгие ежедневные прогулки, чтение религиозной литературы, редких книг по теологии, особенно Библии и Евангелия, не прошли для Стаина даром. Его молодая память, еще не разрушенная алкоголем, быстро впитывала все, и Жорик на память цитировал целые страницы, не говоря уж об интересных абзацах, к тому же он увлекся философской литературой, тяготевшей к церковным учениям и мистицизму.

Бывая на танцах, на вечеринках или на репетиции оркестра, он всегда гладко и к месту вставлял в разговор цитату или приводил высказывание какого-нибудь богослова или святого, читал на память строку из Библии, причем непременно называл стих и главу, из которой она взята. Не исключено, что Жорик иногда извращал смысл стиха, изымая или добавляя какое-то слово, наполнял его новым, необходимым для него самого или ситуации смыслом, ведь никто ни проверить, ни опровергнуть его не мог!

В любой разговор, даже о девушках, музыке, джазе, моде, в любой треп Стаин так ловко вплетал эти цитаты, афоризмы, выдержки, что у неискушенных молодых людей невольно складывалось впечатление о его духовном превосходстве. Даже чтобы заставить выпить кого-нибудь, он всегда находил религиозный аргумент, устоять против которого было невозможно, хотя церковь отнюдь не поощряла пьянство. Даже лихие, остроумные его тосты были теперь насквозь пронизаны религиозным мистицизмом. Щедрое словоблудие Стаина, при его широчайшем общении — от компании Рашида до джазового аранжировщика Ефима Ульмана,— не могло не дать

своих результатов, и среди молодежи их городка еще несколько лет спустя были в ходу церковные словечки, цитатки, что считалось среди неискушенных юнцов хорошим тоном, свидетельством высокого уровня культуры. Особенно его словоблудие почиталось среди девушек, на которых действовал не только тщательно подобранный стаинский текст, но и артистизм, с которым Жорик все это излагал, и не исключено, что в девичьих альбомах, модных в те годы, среди прочих дешевых сентенций были записаны перевранные Стаиным библейские заповеди.

Город уставал от долгой и трудной зимы: от необходимости круглые сутки топить печи,— ведь в ту пору он на три четверти состоял из собственных разностильных домов; уставал от короткого дня, который в иные дни уже с обеда начинал переползать в сумерки; уставал от метелей и ураганов, свирепствовавших обычно два месяца кряду; страдал от перебоев с транспортом — дряхлые, латаные и перелатаные автобусы ходили редко и, честно говоря, горожане не особенно рассчитывали на них, оттого в дальний путь без особой надобности не пускались. И как награда за суровую зиму весна в их краях была на удивление красивой, приходила не спеша, с оттепелями, капелями, проталинками, теплыми нежными ветрами, а придя, по примеру зимы, стояла долго, и только в середине мая, когда отцветали яблони в редких садах и палисадниках и сирень уже не кружила голову молодым, только тогда, да и то не спеша, передавала она полномочия лету. Оттого весну любили, ждали ее, скучали по ней. Всем хотелось скорее освободиться от громоздкой и неуклюжей зимней одежды, развязать разномастные шали, снять сыпавшие повсюду кроличий пух шапки, закинуть на печку до следующей зимы валенки, без которых трудно было обойтись даже записным модницам.

В конце марта, когда от тягучих влажных ветров из степи стали оседать сугробы и снежный ком парка резко опал, оголив голые сучья благополучно перезимовавших деревьев, на центральную улицу — Карла Либкнехта впервые выходили дворники и энергично принимались сгребать остатки снега, словно оправдывая свое долгое зимнее безделье. И если не случался неожиданный снегопад,— бывало и такое в марте,— уже через неделю она, единственная в городе, чернела выщербленным асфальтом дороги и тротуаров.

Уставшие от зимы горожане вряд ли замечали выбоины и колдобины своей главной улицы — она была для них предвестницей весны, ее первым приветом…

В апреле, когда в церковном саду еще лежал снег, а аллеи по утрам сверкали тонким ледком, к обеду превращавшимся в лужицы, отец Никанор вместе со Стаиным снова стали выходить на прогулки. Прогулки эти бывали короче осенних, потому что на соседних с центральной улицах, по которым они ходили раньше, стояла непролазная грязь. Было еще прохладно, и отец Никанор поверх сутаны надевал черное касторовое пальто вполне светского покроя. Стаин же, словно готовясь к весеннему выходу, щеголял в новом демисезонном, сшитом зимой, тоже черном, двубортном, с высокими, до плеч, острыми лацканами и имевшим на груди кармашек, как у пиджака, из которого кокетливо торчал беленький платочек. Появилась у него и черная широкополая велюровая шляпа, которую он надевал каждый раз по-новому, и особенно щегольски она выглядела, когда он гулял без батюшки.

Они так дополняли друг друга, что казались единым целым, и неискушенному человеку вполне могло показаться, что Стаин состоит на церковной службе, а вовсе не на хозяйственной. Оттого, когда Жорик появлялся на улице один, все старухи, встречавшиеся на пути, приостанавливались, и не выгляди Стаин столь недоступным, они не дали бы ему и шагу ступить, но Жорик, когда надо, умел держать дистанцию. Он мог позволить себе лишь погладить по голове ребенка, которого вела за руку старушка. Это расценивалось как милость, и об этом судачили потом на завалинках. Конечно, случалось, и не раз, когда какая-нибудь старушка бросалась к нему, прося благословения, или рвалась поцеловать ему руку, но из этих щекотливых положений он выходил не суетясь, с достоинством, не признаваясь даже экзальтированным старухам, что не имеет никакого церковного сана и не волен никого благословлять. Он раскусил толпу, для которой важен был внешний вид, а не сущность, и потрафлял ее вкусам. Потрафлял щедро, с выдумкой, ибо природой в нем было заложено многое.

Прогулки эти вскоре пришлось совсем оставить, потому что центральная улица день ото дня становилась все оживленнее, многолюднее, и продираться сквозь толпу, словно на базаре, не доставляло никакого удовольствия, приходилось отвлекаться, извиняться. Но к тому времени подсохла главная аллея в церковном саду, и иногда Стаин с батюшкой прохаживались по ней.

В мае произошли события, вновь всколыхнувшие городок… Уже, конечно, не осталось никаких следов зимы. Разъезженные

К ранней весной дороги кое-где подлатали, а лужи высохли сами по себе, и не стало препятствий для прогулок, наоборот, все располагало к ним — запах цветущих лип, тополей, голубой сирени неудержимо вытягивал всех на улицу. И на Карла Либкнехта, особенно после работы, было так многолюдно, как на Первое мая, когда народ расходился по домам после демонстрации. Уже открылся парк, и вырвавшиеся на простор трубы, тромбоны, саксофоны не знали удержу — город вступал в лучшую пору года, лучился смехом, улыбками, надеждами… Наверное, в великом и одновременном своем пробуждении старожилы как-то сразу и не заметили, что Стаин перестал гулять с батюшкой, да и сам отец Никанор уже давно не появлялся на весенних улицах. Правда, в мае тому легко можно было найти оправдание: стоял Великий пост, а в конце месяца наступало главное событие в церковной жизни — Пасха, к тому же первая для отца Никанора в новом приходе.

Что-то происходило и со Стаиным, хотя внешне своих привычек он не изменил. Сыграл первый в сезоне футбольный матч, забив три мяча «Локомотиву», и Татарка, до того слыхом не слыхавшая о бразильской торсиде и итальянских тиффози, спустилась в тот субботний вечер в парк и шумно гуляла до полуночи. За каждым столиком кафе и летнего ресторана, на всех скамейках, где выпивали, захватив из дома закуску, за которой время от времени вновь гоняли пацанов, крутившихся под ногами, только и слышалось: Стаин… Стаин… Жорик…

По-прежнему он был в центре внимания и на танцплощадке, где всегда был окружен толпой юнцов, ловившей каждое его слово. По-прежнему оставался неравнодушен к своему костюму, только неожиданно подстригся — и не то чтобы очень коротко, но поповская грива, умилявшая старух, исчезла с плеч, отчего его лицо стало еще привлекательнее. «Чтобы легче было играть в футбол»,— высказался кто-то, и эту версию Стаин опровергать не стал.

Однажды среди недели Жорик неожиданно объявил оркестрантам, что завтра уезжает.

— В Киев? — спросили джазмены, свыкшиеся с его планами.

— Нет, в Крым, на все лето,— ответил Стаин. И неожиданно добавил: — Завязал с религией, надоело.

Нужно было играть, и разговор прервался, но Стаин не подошел попрощаться, как рассчитывали музыканты, а на следующий день действительно исчез и пропал на все лето. А через неделю в местной газете появилась статья, не оставшаяся незамеченной,— называлась

она длинно и претенциозно: «Еще одна молодая судьба, отвоеванная у церкви». Не менее длинным и путаным оказался и сам текст, включавший в себя пространное интервью со Стаиным. Были там и его рассуждения о церкви и религии, но теперь уже цитаты и афоризмы он выдергивал из других источников, налегая в основном на высказывания основоположников марксизма-ленинизма. С теми же энергией и жаром, с какими еще месяц назад он отстаивал церковные постулаты, Жорик ныне пытался разрушить их. Но не все люди, близко знавшие Стаина, поверили в искренний порыв и мажорный пафос выступления, между строк так и проглядывал ухмыляющийся Жорка. В заключение журналист желал успеха молодому человеку, идущему таким трудным и тернистым путем к утверждению своей личности, и выразил уверенность в том, что люди и организации отнесутся с пониманием к столь необычной судьбе.

Так Жорик предстал жертвой коварной церкви и стал героем, нашедшим в себе силы порвать путы и выбраться из религиозной трясины. Статья эта, как и всякая другая, забылась бы вскоре, если бы через месяц после Пасхи отца Никанора не отозвали из прихода. И по городу поползли слухи: то ли отец Никанор промотал какие-то деньги и церковные ценности с Жориком, то ли в карты проиграл их Стаину. Говорили и о том, что не всегда зимними ночами Жорик приходил к батюшке один,— мол, бывал там и Шамиль, известный на Татарке картежный шулер, бывали и девочки, готовые идти за Стаиным в огонь и воду. И эта последняя догадка была как будто небезосновательной. Именно однокурсница Таргонина, прелестная, но легкомысленная Ниночка Кабанова, вдруг тихо забрала документы и исчезла в неизвестном направлении, сразу после отъезда батюшки. Так, вольно или невольно, Стаин развалил поднимавшийся из застоя приход, и больше уже никогда церковь в их городе не привлекала ничьего внимания.

Павел Ильич также вспомнил, что летом, когда он играл на танцах, прошел среди оркестрантов слух, что пьяный Шамиль хвалился им, как крепко они «хлопнули» с Жориком батюшку в карты, и что молодцом был не он, а Жорик, накануне незаметно унесший запечатанную колоду старинных карт, а уж подточить ее, наколоть и снова запечатать для Шамиля было делом пустячным. На этой ловко подложенной на место меченой колоде батюшка и потерял, мол, приход. Но слух этот дальше оркестрантов не пошел: в те годы о делах Шамиля в их городе лучше было помалкивать.

Таков был этот нынешний седовласый человек с розой в петлице в свои неполные двадцать лет. Но Таргонин не тогда потерял Стаина из виду. И после этого они общались, между ними возникло даже что-то похожее на дружбу, он и на свадьбе Жорика был шафером…

К августу Стаин вернулся из Крыма загорелый, окрепший, даже заматерелый какой-то и с ходу поступил в железнодорожный институт, находившийся в трех кварталах от медицинского, где Таргонин учился уже на втором курсе. К тому времени слухи о церковных делах и похождениях Стаина улеглись, и ничто в его внешности не напоминало семинариста, хотя роскошный золотой крест с огненной эмалью — подарок отца Никанора — он продолжал носить. Элегантное черное пальто и широкополая шляпа «Барсалино», в которые он обрядился осенью, тоже вряд ли напоминали одеяние батюшки, потому что носил он это пальто с ярко-красным шерстяным шарфом, и такого же цвета платочек торчал из нагрудного кармана. Вот только в руках у Стаина часто была та самая трость, с лошадиной головой, с которой гулял раньше отец Никанор.

— Последний подарок церкви,— объяснял Жорик самым любопытным, но в подробности не вдавался и не любил, когда затрагивали эту тему.— Мне больно об этом вспоминать,— говорил он коротко и делал такое мученическое лицо, что у собеседника пропадало всякое желание расспрашивать о чем-то еще.

Однако неприятности у него все-таки были. Те старухи, что некогда с восторгом и обожанием глядели на него, теперь, встречая на улице, испепеляли его взглядами ненависти или откровенно плевали вслед и зло шептали: «Антихрист, безбожник!» А одна даже кинулась на него с палкой, да дружки, находившиеся рядом, перехватили ее. Но Жорик не раз использовал и положительную сторону своего разрыва с религией. После нашумевшей газетной статьи его уже больше никогда не пропесочивали в окнах сатиры, ни в парке, ни в институте, хотя стенды такие обновлялись тогда каждые две недели, и в них не щадили никого. В обоих институтах время от времени проводились кампании то против модной одежды, то против причесок, то против джазовой музыки — и кое-кому, конечно, доставалось: лишали стипендии, выселяли из общежития, заставляли подстричься, грозили отчислением, в общем, чинили много всяких неприятностей, на сегодняшний наш взгляд совершенно абсурдных. Стаину на этот счет везло — то ли боялись, что он опять уйдет в религию, но теперь уже не с улицы, а из института, то ли еще какие были резоны, но его не трогали.

Но больше всех, кажется, рады были родители Жорика, уж какой камень с души он у них снял — не высказать! Ожил Маркел Осипович, уже считавший, что потерял директорское кресло на мясокомбинате, и на радостях купил сыну новую, уже третью модель «Явы». Стаин, распугивая пешеходов, носился на новом мотоцикле по всему городу, а сзади на багажнике у него обычно сидела девушка, тесно прижавшаяся к нему, и ветер трепал ее длинные волосы. Жорик почему-то предпочитал катать блондинок с пышными, разбросанными по плечам волосами. Появился у него тогда и магнитофон, громоздкая «Яуза», из Ленинграда стали регулярно приходить кассеты с записями, и джазовый оркестр Ефима Ульмана постоянно был в курсе музыкальных новинок, что удивляло приезжих студентов, считавших родной город Таргонина безнадежным захолустьем.

К неописуемому неудовольствию Татарки Жорик оставил «Спартак», поскольку, став студентом железнодорожного заведения, автоматически оказывался членом его спортивного клуба «Локомотив». Осенний кубок города по футболу достался железнодорожникам. Но футболу Стаин уделял теперь гораздо меньше внимания, чем институтскому оркестру, с которым до глубокой ночи пропадал на репетициях в актовом зале на третьем этаже. Сам он не играл ни на каком инструменте, хотя и закончил несколько классов музыкальной школы, но обладал абсолютным слухом и шутя исполнял роль то ли дирижера оркестра, то ли его менеджера. Именно он пригласил в него нескольких ребят из города, не учившихся в институте, отчего исполнительский уровень оркестра сразу стал гораздо выше и оркестр смог составить конкуренцию знаменитому оркестру Ефима Ульмана.

Павел Ильич помнил, что с приходом Стаина в железнодорожном возник КВН, где Жорик до самого окончания института был бессменным капитаном, и сражения двух команд — медиков и транспортников — в бестелевизионное время доставляло молодежи много радости. Таргонин и сам бывал на вечерах в железнодорожном, и вечера устраивались не хуже, чем в медицинском. А на Новый год транспортники даже имели преимущество, потому что в городе был еще и Дворец железнодорожников, величественное старинное здание, построенное в начале века одновременно с железной дорогой.

Желание Стаина быть всегда на виду, его неукротимая энергия невольно служили общему делу — вряд ли в обоих институтах был хоть один студент активнее его, и если бы давали приз самому

К большому патриоту вуза, то его, конечно, получил бы вне конкурса именно Жорка. Наверное, не было ни одной комиссии, ни одного студенческого общества, совета, где бы не заседал, а то и не председательствовал Стаин, и все это он делал легко, шутя, с улыбкой, обладая исключительной способностью обходить острые углы и примирять, казалось бы, непримиримое.

Связям Стаина нельзя было не поражаться, и не укладывалось в сознании, как он умел улаживать дела с разными людьми. Конечно, он принадлежал к молодой интеллигенции города, к той ее части, которую любившие вешать ярлыки с усмешкой называли «золотой молодежью», вкладывая в это непонятно какой смысл, поскольку в этой среде были и дети рабочих и служащих, и вчерашние хулиганы — и общим у них могли быть только узкие брюки. Однако представляя эту часть молодежи, Жорик был гораздо активнее, чем многие средние, ничем — ни учебой, ни внешним видом — не выделявшиеся студенты. Но была у него, как у айсберга, и какая-то другая, подводная, что ли, часть жизни. Павел Ильич был бы не совсем искренен, если бы сказал, что никогда за последние двадцать лет не вспоминал о Стаине,— вспоминал, и вот по какому странному поводу, к алкоголю никакого отношения не имеющему.

В последние годы по телевидению, да и в газетах стали часто сообщать, что на Западе некоторые официальные лица, конгрессмены, служители правосудия, на вид вполне респектабельные люди, оказывается, тайно связаны с мафией, преступным миром. И когда по телевизору показывают такого седовласого, вальяжного человека, чья связь с преступным миром несомненна, неоспорима, многие, поддавшиеся гипнозу респектабельности, продолжают категорично утверждать: «Не верю, чтобы такой порядочный человек был заодно с бандитами». Вот в такие минуты перед Павлом Ильичом невольно всплывал Стаин, и особенно одна запавшая в память сцена с его участием.

Однажды в медицинском институте на какой-то праздничный вечер проникла группа хулиганов — тогда их было еще великое множество,— и наверняка вечер был бы не только испорчен, но и кончился неприятностями, не появись в зале Стаин.

Таргонин со своего возвышения за ударными инструментами хорошо видел, как Жорка отвел в сторону двоих здоровенных затеявших бузу парней и что-то им сказал, всего несколько слов — и вся эта куражившаяся братия быстро, без шума исчезла из зала.

Конечно, само проживание на Татарке служило Жорке неким мандатом, чтобы быть среди них своим. Мальчишкой Жорик откровенно таскал из подвала водку блатным и совершенно не скрывал этих связей, а гордился ими и даже афишировал их. Став взрослее, и особенно теперь, будучи студентом, он так откровенно с блатными не якшался, хотя все знали, что Стаин имел у них авторитет. Когда он прогуливался в своей обычной компании, никто из них не подходил к нему бесцеремонно — лишь здоровались мимоходом, едва заметным кивком головы, даже если это были его друзья: Рашид, Шамиль, Фельдман, с которыми накануне, возможно, он всю ночь играл в карты. Они понимали, что, несмотря на какие-то общие дела, у них все же разные взгляды и интересы, и оттого ценили свободу Жорика, жившего совсем иной жизнью. «Танцующего под другую музыку»,— как сказал когда-то Рашид.

Одной из причин непопулярности вечеров в железнодорожном в свое время было то, что сам институт находился в части города, называемой Курмышом, и тамошняя шпана считала его своей вотчиной…

На первом же вечере после поступления Жорика в институт произошла крупная драка, где впервые за многолетнюю историю железнодорожного студенты под предводительством Стаина дали отпор местной шпане. Не сразу, но курмышские хулиганы оставили институт в покое.

Вспомнив сейчас все о том Стаине, о своей юности,— а судьбы их в маленьком городке были тесно переплетены,— Павел Ильич засомневался: нет, наверное, это все же не Жорик Стаин в роли записного шута с розой в петлице. Этот жалкий человек никак не походил на кумира их молодости. Таргонин не знал другого человека, кому от природы было бы отпущено так много, да и жизнь благоволила к нему, какие перед ним открывались перспективы! Казалось, перед его энергией и хваткой не устоят никакие преграды, и голова у него была светлая, а если он и сбивался на темные дела, так это относили к издержкам молодости, тем более такой стремительной и необузданной, как у него. Когда у них в кругу музыкантов или медиков заходила речь о Стаине, никто не сомневался, что перед Жоркой открыты широкие дороги, даже его пижонство и снобизм не принимались всерьез, относились опять же на счет молодой амбиции. И ничто, абсолютно ничто не предрекало такого удручающего исхода, а ведь Жорку окружали будущие врачи, и выпивал он, бывало, с ними,

и с Павлом тоже. Хотя Павел однажды в печальный для Стаина час высказал ему страшную догадку, но тот только отмахнулся от него и даже не обиделся. Но, может, он потому и отмахнулся, что никто из друзей Таргонина, без пяти минут дипломированных врачей, находившихся рядом, не поддержал его.

Случилось это на похоронах сына Стаина. На третьем курсе Жорик женился на девушке из медицинского, приехавшей из Закарпатья. Помнит Таргонин, как через год широко отмечали рождение его сына, пожалуй, эти застолья мало чем отличались от пышной Жоркиной свадьбы. Гуляли, пока Стелла была в роддоме, гуляли в день, когда принесли малыша в дом. Но радость оказалась недолгой: ребенок умер через месяц — слабеньким, да к тому же с дефектом сердца родился внук Маркела Осиповича. Вот тогда-то, в день похорон, и сказал Павел Жорику, что наверняка это последствия его ежедневных возлияний, но никто его не поддержал, и догадка эта никак не задела Стаина. Со Стеллой он прожил еще года полтора, и у нее за этот срок дважды случались выкидыши. Сразу после второго, когда Стелла находилась еще в больнице, Стаин подал на развод, особенно настаивали на этом его родители. Причина всем показалась убедительной,— что поделаешь, если жена не способна рожать. Потрясенная Стелла, бросив институт, уехала домой к родителям. И опять все сочувствовали Стаину, никто и подумать не мог, глядя на такого атлета, что виновником беды является он и только он. Теперь, с опозданием на двадцать лет, Павел Ильич понял, как он был тогда прав в своей догадке.

В те времена, когда Стаин жил со Стеллой, всеобщей любимицей института, Таргонин бывал у них в гостях,— в их гостеприимном и радушном доме часто собиралась молодежь. Пожалуй, редкая неделя выпадала, чтобы не отмечали там какое-нибудь событие. Жорику нравилась новая роль хозяина дома, потому что собирались у него знаменитости: известные спортсмены, местные поэты, необычайно популярные в те годы, молодые преподаватели, недавно получившие кафедру у них в институте, джазмены, часто бывали какие-то командированные из разных мест инженеры, неизвестно откуда узнавшие про вечера у Стаина,— пестрая, но в общем-то однородная публика. Бывал там и Рашид, остепенившийся после женитьбы на девушке тоже из медицинского.

Тогда же Павлу довелось побывать в кабинете у Стаина, куда, впрочем, тот пускал не всякого, и увидеть там на стенках между

стеллажами с книгами с десяток икон в серебряных окладах. Особенно поразили его две большие иконы, складывавшиеся на манер трельяжа. Удивительной работы были эти складни и удивительно хорошо сохранились, хотя Стаин с гордостью сказал, что они семнадцатого века. Тогда интерес к иконам еще не набрал силу, но Жорка словно предчувствовал будущее и дорожил своими сокровищами, но уже не из-за любви и тяги к церкви. Был у него и целый стеллаж старинных книг, по всей вероятности, тоже из библиотеки церкви, но ценными, на взгляд Таргонина, были не роскошно изданные богословские книги, а редкие тома по философии, которых и было больше всего. На внутренней стороне тяжелой дубовой двери кабинета висело распятие из серебра, огромное, массивное, чуть ли не метровое, на книжных шкафах стояли какие-то почерневшие от времени серебряные чаши, тоже, видимо, церковного предназначения. При внимательном рассмотрении можно было найти еще немало любопытных вещей из церкви,— судя по кабинету Жорика, отец Никанор проигрался по-крупному.

После развода со Стеллой Стаин на какое-то время даже запил. «Загулял Жорик с горя»,— говорили тогда сочувственно, и Павел несколько раз видел его сильно пьяным, чего с Жориком никогда раньше не случалось, сколько бы он ни пил. Кто-то из музыкантов даже, помнится, попытался тактично сказать ему об этом, предостеречь, что ли, на что Стаин заносчиво ответил: «Пьяный проспится, а дурак никогда» и неделю не разговаривал с оркестрантами. Эту расхожую ныне пословицу Павел Ильич услышал тогда впервые, и тоже решил, что придумал ее Стаин.

Но загул этот быстро прошел, и иначе как личной драмой Стаина не объяснялся. Как раз в то время Павел оставил оркестр Ефима Ульмана безо всяких на то внешних причин, хотя на его место претендовали многие,— просто Таргонина это не очень теперь интересовало. Прежде всего, они меньше стали играть чисто джазовых композиций, а оркестр все больше и больше становился эстрадным, чтобы неожиданно распасться однажды с появлением вокально-инструментальных ансамблей. Да и как-то вдруг ушли в сторону все интересы, кроме медицины, словно прозвучало откуда-то свыше: «Делу время — потехе час». Может, на его решение повлияло и то, что в областной поликлинике появился новый хирург из Москвы, и Таргонин все свободное время старался проводить в операционной — это его влекло куда сильнее джаза.

Конечно, если не в деталях, то в общем жизнь Жорика Павел Ильич мог восстановить еще до какой-то поры, по крайней мере, до смерти матери, которая, уже поставив детей на ноги, не порывала со Стаиными: за десятки лет она как-то срослась с этим домом, он стал для нее близким. Уехав после окончания института по распределению, Павел, например, знал по письмам матери, что Стаин женился на девушке-ленинградке из какой-то известной артистической семьи и собирается переезжать туда,— так запоздало сбывалась его давняя мечта жить в городе на Неве.

Но уже через три года, когда мать приехала навестить Павла в Чимкент, он узнал, что Стаин недавно снова вернулся домой, к родителям. Возвращение его было связано с неприглядной историей, которая едва не закончилась печально. В Ленинграде Жорик начал попивать, сменил одно место службы, второе, и во время очередного запоя унес и заложил в каком-то ресторане драгоценности жены, выкупить которые так и не удалось, хотя он и пытался. Драгоценности, как оказалось, переходили в этой семье по наследству уже пятое поколение. Пропажа со временем обнаружилась, и родители юной жены подняли скандал. Если бы не вмешательство Маркела Осиповича, который возместил требуемую сумму новым родственникам, не миновать бы Жорику тюрьмы.

Вернувшийся в родной город Жорик был уже не тот, что прежде, хотя и выглядел еще вполне импозантно, и женщины с волнением поглядывали ему вслед. Да и город стал иным: исчезла Татарка, где родился и вырос Стаин, на ее месте поднялся новый жилой массив, где родители Жорика вместо своего особняка с погребом получили трехкомнатную квартиру. Неподалеку нашли газ и нефть, и город рос не по дням, а по часам, росло в геометрической прогрессии и число его горожан,— привлеченные возможностью быстро получить жилье, люди хлынули сюда отовсюду. Разросшийся город обзавелся новыми нарядными проспектами, и улица Карла Либкнехта навсегда утратила значение главной улицы. Потерял для горожан былую притягательность и парк: теперь он казался жалким скверик, куда по вечерам, кроме подростков, никто и не заглядывал, и на культурную жизнь города он не оказывал уже никакого влияния. Пропала навсегда и шпана, сошла на нет ее власть. Рашид по настоянию жены закончил заочно техникум и работал завгаром в таксопарке, и только несколько таксистов-ветеранов знали, какой «популярностью» пользовался он в молодые годы. И конечно, уже нигде и никто

не улыбался при упоминании фамилии Стаина. Большинство из тех, с кем он учился в школе, в институте, друзья по медицинскому разъехались после окончания по направлениям — это удел всех маленьких городков, откуда разлетаются молодые по всему свету.

По иронии судьбы вернулся из той огромной компании, где он был признанным лидером, один-единственный Стаин, которому прочили самое яркое будущее.

Еще через несколько лет Павел Ильич, возвращаясь с моря, где отдыхал с семьей, заехал в родной город навестить мать. Конечно, не обошлось без упоминания о Стаине. Жорик, как оказалось, второй месяц лежал в больнице. История, из-за которой он попал в травматологию, похожая на фарс, могла случиться только со Стаиным. На чужой свадьбе Жорик попытался увести невесту. Правда, невеста выходила замуж вторично и некогда, в юном возрасте, была без памяти влюблена в Стаина. Жених и его друзья-нефтяники, не оценив столь романтического порыва, наломали Стаину бока в прямом смысле слова, и Жорик выкарабкался в тот раз без инвалидности только благодаря своему еще крепкому здоровью. Но чужую свадьбу он расстроил, так же как некогда в юношеские годы разложил церковь в своем городке.

Мать, жалея Жорика, попадавшего из одной неприятной истории в другую, сказала тогда, что редкие старухи, помнившие прогулки Жорика с отцом Никанором, говорят, что это божья кара ему за развал церкви, но эта мысль вызвала у Павла Ильича только улыбку.

Дальше жизнь Стаина, несмотря на широкую географию его проживания, была однообразной и особой оригинальностью не отличалась. Середина семидесятых годов ознаменовалась небывалой женской активностью, феминизацией многих чисто мужских профессий и целых отраслей. Слабый пол тогда же стал инициатором восьми из десяти разводов в стране, и с той же энергией, с какой женщины крушили старую семью, они пытались создать новую в соответствии со своими идеалами. Именно в эту пору начался неожиданно и новый этап в судьбе Стаина. Жизнь забрасывала его из одного края страны в другой.

Однажды, устав от неудач и разочарований в родном городе, где, как он считал, его не понимают, Жорик уехал отдыхать в Крым. Тогда у него появилась первая седина, придавшая его несколько потрепанному лицу новое, значительное выражение, благородную усталость, что ли, от жизни, так нравящуюся активным дамам средних

лет. И нет ничего удивительного, что тут Георгий Маркелович, мужчина с высшим образованием, хорошими манерами, со вкусом одетый, не связанный узами Гименея, стал получать предложения от вполне благополучных женщин, имевших уютные гнездышки в различных и весьма привлекательных городах. И первый брачный рейс занес Стаина во Владивосток. Но и жизнь, в которой все было налажено, не устраивала привыкшего к необузданной свободе Стаина, тем более что феминизация набирала силу, и он точно рассчитал, что женщин, соблазнявшихся его внешним видом и осанкой, на его век хватит, поэтому иногда, не предупредив новую жену, он в одностороннем порядке расторгал брак и, сложив чемодан, к началу курортного сезона двигался к морю. Там каким-то внутренним чутьем он угадывал на пляже, на набережных, в ресторанах главных бухгалтеров, заведующих производством в общепитах, директоров ресторанов и магазинов, в этой среде он всегда пользовался успехом. Конечно, среди дам его сердца были не только работники торговли, общепита, сервиса, которым он отдавал предпочтение, чтобы блистать среди них своей эрудицией — вот когда опять пошли в ход выдержки из Библии и Евангелия, но были у него дамы из сферы науки, и даже одна эстрадная певица. Как капризный форвард, меняющий почти каждый год футбольную команду, менял города и Стаин, к этому времени уже полностью поседевший и несколько раздобревший от хороших харчей и беззаботной жизни.

Женской энергии и предприимчивости нет предела. Восемь из десяти освободившихся от постылого брака не могли ждать милостей от природы, и тогда по инициативе этой части прекрасной половины человечества возникли клубы тех, кому за тридцать, появились первые брачные объявления в газетах, принявшие вскоре характер эпидемии. Ведь никто не станет всерьез уверять, что инициатива эта пошла от мужчин,— до такого и Стаин с его изощренной фантазией не додумался бы. Но Георгий Маркелович сразу оценил преимущество таких клубов, и особенно брачных объявлений. Что море, ограниченное курортным сезоном, да к тому же узким выбором, когда его шансы стали теперь поистине неограниченными! Судя по объявлениям, всем женщинам с достатком от Владивостока до Клайпеды и от Иркутска до Ташкента, по всей необъятной стране, срочно понадобились мужья, лучше, если это будет мужчина средних лет, высокого роста, крепкого телосложения, желательно с высшим образованием и водительским удостоверением, эрудированный, не чуждый веяниям моды,

короче, образца Георгия Маркеловича, исключая… Но свою слабость к алкоголю он и не думал афишировать. Даже в скучных строках брачного объявления, за которыми мог таиться и подвох, Стаин безошибочно угадывал самых благополучных женщин — был у него такой талант, что скрывать, иначе бы он быстро разочаровался в этом и застрял бы где-нибудь окончательно и навсегда. Перейдя на знакомства по брачному объявлению, он долгое время шел круто по восходящей, поскольку к разряду ценностей прежде всего относил материальное благополучие новой жены, хотя отдавал должное и внешней привлекательности. Такая форма жизни, когда он перестал зависеть от курортного сезона, вполне устраивала Георгия Маркеловича. Но он предусмотрительно подстраховывался. В толстой записной книжке у него всегда были зашифрованы три-четыре адреса женщин, с которыми он заблаговременно, на всякий случай, начинал вести нежную переписку. В эту книжку постоянно вписывались все новые и новые координаты, и Стаин, имея крышу над головой, спокойно, ненавязчиво зондировал почву. Для этого он специально отыскал в Москве фотостудию «Совэкспортфильма», где снимаются киноактеры, и сумел, с великим трудом оттеснив кинозвезд, отсняться у лучших мастеров фотодела. Ретушь, тени, искусно подобранное освещение, импортная фотобумага, пленка, десятки выгодных ракурсов — редкая женщина могла устоять и не ответить на послание такого эффектного мужчины, да еще с велеречивым слогом.

Все было бы хорошо, если бы Георгий Маркелович не пил, но год от года удерживаться от этого ему удавалось все труднее, и он зачастую, не выдержав испытательного срока, изгонялся из очередного уютного гнезда. Да и беспроволочный женский телеграф разнес весть о существовании импозантных брачных аферистов, и женщины уже не были столь доверчивы, как в годы первых брачных объявлений, когда мечтали таким легким способом поймать птицу счастья. Тогда Георгий Маркелович стал выбирать объявления поскромнее, рассчитывая на заниженные требования к соискателям. Так, вероятнее всего, он и оказался в Ташкенте…

Чем больше Таргонин думал и вспоминал о Стаине, тем больше мысли эти не давали ему покоя: все-таки одноклассник, земляк, почти друг… Таргонин все время размышлял, что же предпринять, чтобы спасти пропадавшего человека, в этом он видел и свой врачебный долг, и отчасти свою запоздалую вину. Потом как-то вдруг решил: нужно встретиться с ним, поговорить, может, удастся убедить

его показаться известным наркологам, среди них у Павла Ильича были друзья. И, утвердившись в своем решении, Таргонин стал караулить Стаина у магазина, но тот словно в воду канул, не появлялся почти месяц. В одно из воскресений Павел Ильич увидел на скамье у гастронома худого мужчину в пижамных брюках, который когда-то сидел со Стаиным и обращался к нему по имени-отчеству. Он и сейчас выскочил откуда-то в комнатных туфлях, правда, на этот раз был в мятой рубашке с накладными карманами и опять озирался по сторонам, словно поджидал кого-то.

Павел Ильич неожиданно для себя вдруг решил обратиться к нему и сел на скамейку.

— Вы часом не Георгия Маркеловича ждете? — спросил как можно беспечнее Таргонин.

От этого вопроса худой несколько опешил, растерялся, но ответил вопросом на вопрос:

— А вы откуда его знаете? Он говорил, что в Ташкенте недавно и у него нет тут знакомых…

— Я очень давно его знаю и по другому городу,— ответил Павел Ильич.

Видимо, Таргонин внушал доверие, потому что после некоторого раздумья худой упавшим голосом сказал:

— Нет больше Георгия Маркеловича… Две недели назад схоронили. Жил он в нашем доме у одной буфетчицы,— и худой рукой показал на дом рядом с гастрономом.

— Что же случилось? — еще не отдавая себе отчета в том, что Стаина уже нет в живых, спросил растерявшийся профессор.

— Ясное дело, белая горячка… Ни с того ни с сего среди дня кинулся к распахнутому окну на балконе и сиганул вниз головой с пятого этажа. Кричал, говорят, о каких-то зеленых чертиках, гоняющихся за ним. Насмерть, сразу, хотя и крепкий был мужик…

— Он что-нибудь рассказывал о себе? — спросил Павел Ильич уже скорее по инерции.

— Поговорить он любил, и, видать, большого ума был человек, все знал. И, что удивительно, набожный, Библию, считай, наизусть шпарил, говорил, что в молодости духовную академию закончил.

— Не помните, крест он носил, такой тяжелый, с красной эмалью?

— Нет, креста на нем не было, это точно. Мы с ним однажды в финскую сауну на Лабзаке ходили, ну, смех. Мне на что она, сауна,

а он любил всякие такие дела, говорил, приличная публика ходит по саунам. Престиж поддерживать нужно, говорил…— И вдруг, без перехода, достал из нагрудного кармана какую-то вещь и протянул ее Павлу Ильичу.

— Что это? — недоуменно спросил Таргонин.

— О, это редкая вещь, мне ее Георгий Маркелович за три дня до смерти подарил. Складывающийся стаканчик, удобная вещь, незаменимая, всегда при себе можно носить. Теперь таких уже давно не выпускают, сняли с производства. Память, единственная память о нем осталась, я его беречь буду,— и худой вдруг неожиданно заплакал, ссутулив узкие плечи.

Павел Ильич встал и, не попрощавшись, пошел в сторону консерватории, забыв, что ему надо на базар, и перед глазами стоял не Стаин, хотя он и думал о нем, а этот нелепый складывающийся стаканчик, единственное, что осталось от Жорика.

Вечером он позвонил в городскую судебно-медицинскую экспертизу и попросил подтвердить факт смерти. Через час ему ответили, что действительно Стаин Георгий Маркелович, 1938 года рождения, в состоянии белой горячки погиб в результате несчастного случая…

Ялта,
октябрь 1982

Мемуары

Вот и всё… я пишу Вам с вокзала

Из дневников, записных книжек и глубин памяти

Мемуары

И все же придет время,
когда не будет ничего интереснее,
чем подлинные воспоминания о прошлом.

Уолт Уитмен

Чем больше вы пишете
о личном, частном, даже интимном,
тем более оно оказывается нужным большинству.
Важны только правда, искренность,
даже в своих заблуждениях, ошибках.

Гёте в письме Эккерману

Когда жизнь выходит на финишную прямую, невольно оглядываешься назад, пытаясь понять — что сбылось… и не сбылось. Что сделал, успел, а что прошло мимо тебя, упущено по твоей вине? И всегда удивляешься: «как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок»! И ничего уже не изменить, ничего переделать уже невозможно. Что было, то было. Удивляешься памяти, а точнее, ее избирательности. Пытаясь вспомнить что-то конкретное, постоянно натыкаешься на случайное, словно оно — не из твоей жизни. Иные воспоминания приходят с шумами, красками, звуками, запахами прошедшего времени, музыкой той эпохи, как в ретро-кино. Каждый

человек, подводящий итоги на земле, возвращается к своему прошлому — чаще к детству, юности. Большой грузинский поэт Карло Каладзе сказал однажды: «Помню только детство, остальное — не мое».

Но писатель ворошит прошлое все-таки не как все — не только из-за ностальгии, грусти по уходящему времени, он всегда ищет в утраченном нечто важное, то, о чем еще не успел сказать в своих книгах.

Финиш жизни любого человека предполагает наличие у него некоторого опыта существования, а если рассматривать путь писателя, то любопытен не его личный багаж, а его мудрость и опыт, связанный с чужими судьбами, жизнью страны, народа, эпохи. В этом — главное отличие жизни писателя от жизни любого другого человека. Писатель стремится поведать потомкам свои новые открытия, раскрыть какие-то секреты, которые держал, по разным причинам, под семью замками. Хочет поделиться с читателями тайнами, которые открылись только ему. Вот что гложет писателя на исходе жизни — успеть сказать, выговориться, повиниться перед кем-то, крикнуть что-то важное, предупредить о чем-то человечество напоследок. Сказать своему верному читателю последнее «прощай!» Однако писатель, находящийся на финишной дороге жизни, понимает, что времени ни на роман, ни на значимую повесть у него может уже и не быть, и ему срочно нужна иная форма — краткая, четкая, ясно выражающая его мысль.

И тут на помощь мне приходят давние дневниковые откровения, до поры до времени таившиеся от любопытных глаз, старые ежедневники, в которые мимоходом вносились результаты озарений, записные книжки, которых за долгую жизнь скопилось больше дюжины. Заготовки к старым произведениям, записанные собственноручно мысли выдающихся людей прошлого, восхищавшие еще с юности. Пословицы, поговорки, изречения древних философов и мудрецов всех времен и народов, поражавшие меня на протяжении всей жизни и выписанные очень тщательно, что не особенно свойственно мне. Поэтические строки, коих хватило бы на целый том, потому что поэзия в моей жизни всегда занимала важное место, хотя сам я никогда не грешил стихами, но рано понял, что иная поэтическая строка гораздо глубже некоторых крупных произведений. Например: «Окликнешь Христа, отзовется Иуда».

За долгую жизнь у меня набралось много записей в толстых амбарных книгах, коленкоровых общих тетрадях с хорошей мелованной

бумагой. Сохранились сотни, тысячи пожелтевших вырезок текстов из газет и журналов, взволновавших меня когда-то. Бережно хранились, дожидаясь своего часа, письма многих выдающихся людей XX века, с которыми я был знаком и состоял в переписке долгие годы. Каждый из них достоин, по моим представлениям, отдельной книги в серии «ЖЗЛ», но этих книг мне, к сожалению, никогда уже не написать. Жаль. Остается последняя возможность сказать о них в этих кратких записках что-то, достойное их памяти и их деяний.

Не все мои заметки в пыльных конторских книгах, наверное, заслуживают внимания читателей, но… разворошив свое прошлое, запечатленное еще чернилами и перьевыми ручками, понял — в них зафиксировано невозвратное время, другие настроения, другая страна, общество, эпоха, совсем иные мечты и фантазии. Совершенно иные горизонты, другой полет. Там, в моих поспешных записях, сделанных в непонятных для нынешнего читателя амбарных и конторских книгах, живет память о дорогих моему сердцу людях, оставивших надежду, любовь, счастье, да и саму жизнь в другом, XX веке.

Хотя некоторые из этих людей, как я, случайно, по воле Всевышнего, оказались свидетелями новой, не совсем понятной нам жизни, стали ненадолго попутчиками и другого века.

Никогда в истории человечества, на мой взгляд, так не игнорировались знания предшествующих поколений, как это делается сегодня у нас в России. Ненужным становится и положительный, и отрицательный опыт страны и вековой истории народа. Оттого я не ставлю задачи обратить внимание на опыт своего поколения, будь он житейский, культурный, философский, религиозный или любой другой. Понимая, что наша память вряд ли кому сгодится, будет востребована, я лишь хочу оставить потомкам портрет своего поколения на фоне времени, портрет, четко привязанный к XX веку, который назвали одним из жестоких и кровавых за всю историю человечества.

Хочу показать своих современников, друзей, знакомых в поступках, мечтах — какими мы были, чего хотели, чего добивались, к чему стремились, и что у нас сбылось… и не сбылось. А почему — решайте сами. То ли судьба и время были суровы к нам, то ли сами мы оплошали — не нам судить, наше время, считайте, истекло.

***

В 1975 году у меня вышла первая книга «Полустанок Самсона», в том же году я стал участником VI Всесоюзного совещания молодых

писателей в Москве и зимой того же года познакомился в Доме творчества в поселке Малеевка с Мустаем Каримом.

Сегодня, назови любую ярчайшую фамилию, оставившую след в истории государства, назови хоть десять первых имен, прославивших Отечество в веках — все равно никого не знают. Придется подробнейшим образом все объяснять, вплоть до имен-отчеств, не говоря уже о заслугах и пройденном пути героя. Иначе не поймут, не соотнесут ни по времени, ни по географии. Оборвалась связь времен, судя по всему, навсегда.

И мне придется представить человека, внесшего огромный вклад в культуру некогда могучего государства под названием СССР.

Мустай Карим — участник Великой Отечественной войны, орденоносец, закончил войну в 1944 году после тяжелейшего ранения. Принадлежит к поколению поэтов и прозаиков, которое называют фронтовым, хотя уходил он на войну уже признанным в Башкирии поэтом.

После войны талант Мустая Карима раскрылся с невероятной силой — он пишет пьесы, которые идут на лучших сценах страны, регулярно издает поэтические сборники, пишет прозу. За повесть «Такое долгое, долгое детство» отмечен Ленинской премией — высшей наградой в области литературы. А до этого он уже дважды был лауреатом Государственной премии, получил звание Героя Социалистического Труда. Его имя было широко известно в мире, он стал лауреатом многих европейских премий в области культуры, членом известных международных организаций. Он был заметным общественным деятелем страны, многолетним членом Верховного Совета, депутатом всех съездов, начиная с 1949 года.

Мустая Карима связывала глубокая, можно сказать глубочайшая, личная дружба с замечательными сынами России — Константином Симоновым и Александром Твардовским. В семидесятые годы, когда я начал печататься, среди писателей бытовало шутливое определение — «могучая кучка». Наверное, по ассоциации с существовавшей в русской культуре XIX века известной всему миру группой композиторов под таким названием. Входили в нее писатели Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов, Мустай Карим и самый молодой в знаменитой компании Чингиз Айтматов. Теперь-то понятно и без шуток, что это действительно была могучая кучка! Творчество каждого из них оставило яркий след в советской литературе, и их огромное наследие обязательно

когда-нибудь будет вновь оценено по достоинству потомками. Это ясно уже сегодня.

Вот с таким крупным писателем познакомил меня в ту далекую зиму близкий друг Мустая Карима поэт Муса Гали. С Мустая Карима мне и хочется начать свои записи.

В разгар перестройки, когда народ по призыву Горбачева рванул в мелкий бизнес, Мустай Карим однажды грустно и растерянно сказал, как бы обращаясь к себе: «Ничего не понимаю. Человечество веками мечтало, чтобы дети стали учителями, врачами, инженерами, учеными, а сегодня у нас в России все хотят стать лавочниками… Не понимаю… И не пойму».

Мустай Карим не принял перестройку Горбачева с первых ее шагов, не приветил Россию Ельцина. После Ферганы и Сумгаита он предсказал скорый развал страны и невиданную миграцию из национальных республик. Он предвидел многое из того, что произошло: упадок деревни, развал армии, потерю промышленности, падение культуры.

В новой России, когда стали кругом плодиться во множестве президенты, когда озвучились чьи-то тайные планы создания Дальневосточной и Уральской республик, а кто-то предлагал дистанцироваться от России и стать пятидесятым штатом Америки, когда повсюду стал педалироваться национальный вопрос, Мустай Карим написал свое знаменитое стихотворение «Я — россиянин!». Публикация имела невиданный резонанс, оказалась актуальнейшей по времени, судьбоносной для России. Стихотворение вызвало диспуты в обществе. Обращение по зову сердца к народам России в трудное для нее время мудрого и уважаемого поэта остудило многие горячие головы, а для подстрекателей послужило предостережением — не втягивать народ в политические игры из-за собственных амбиций и целей. Как травили старого больного поэта национал-патриоты, знали только сам Мустай Карим, его семья и близкие друзья! Но он ни на секунду не пожалел о своем поступке, о своем душевном порыве. Я думаю, в эти дни он черпал силы, обращаясь памятью к своим рано ушедшим друзьям — фронтовикам Симонову и Твардовскому. Они уж точно сказали бы другу-поэту: «Молодец, Мустай!»

Стихотворению уже почти двадцать лет, суть его забыта, и слава Богу, но фраза «Я — россиянин» живет в обществе, так представляется новое поколение соотечественников дома и за рубежом. Я лишь хочу напомнить, что эти гордые слова вызрели в большом сердце великого гуманиста XX века Мустая Карима.

Представляет интерес и история с Ленинской премией Мустая Карима. Она известна лишь узкому кругу близких ему людей, и вы поймете, почему. Я думаю, он не обиделся бы сегодня на меня, что я затронул закрытую тему, хотя он сам вряд ли когда рассказал бы о ней. Будучи публичным человеком, он избегал публичности, никогда не выпячивал ни себя, ни своих заслуг.

Вручалась Ленинская премия в сверхторжественной обстановке, в лучших залах Москвы — страна умела отдавать должное своим героям. Вручал диплом о присвоении Ленинской премии и лауреатский знак сам Л. И. Брежнев. Потом — концерт по телевидению на всю страну, а позже и застолье в узком кругу с участием первых лиц государства, бывали в жизни писателей и такие почести. К премии прилагалась и весьма солидная по тем временам денежная сумма. За денежным приложением Мустая Карима пригласили недели через две, и почему-то в ведомство М. А. Суслова, которое мало кто из творческих людей любил, скорее — побаивался. Встретили его там радушно, поздравили еще раз, и даже за накрытым столом. Затем лауреат остался один на один с высоким чиновником. В ходе долгих расспросов о житье-бытье, о творческих планах хозяин кабинета неожиданно спросил: «А не хотите ли вы, дорогой Мустафа Сафиевич, передать свою премию кому-то из особо нуждающихся?» Случаи такие в прошлом бывали, поэтому гость не удивился и поинтересовался: «А кому вы считаете нужным помочь в первую очередь?» Чиновник расплылся в довольной улыбке и радостно выпалил: «В данный политический момент весьма целесообразно передать вашу премию нашему другу Ясиру Арафату, он как раз в эти дни находится в Москве». Гость не задержался с ответом: «Нет. Я не желаю передавать премию господину Арафату». «Почему?» — от неожиданности потеряв вальяжность, взвизгнул хозяин кабинета. «Не хочу, чтобы моя премия тратилась на девиц легкого поведения в Париже»,— отрезал поэт.

Представляя страну в высоких международных организациях, Мустай Карим часто бывал за рубежом и, видимо, хорошо знал образ жизни нашего друга Ясира Арафата. Но, видя, как сник чиновник, поэт любезно предложил: «Да вы не расстраивайтесь так из-за Арафата, я готов пожертвовать свою премию действительно нуждающимся, например, детскому дому, желательно в Башкирии».

На том они и распрощались, на передаче кому-либо премии в ЦК КПСС больше не настаивали. Мустай Карим по собственной

инициативе потратил значительную часть премии на один из детских домов в Башкирии.

Прежде чем закончить эту историю, хочу отметить прозорливость, дальновидность Мустая Карима. В пожилом возрасте Арафат женился на молодой актрисе из Каира и вскоре умер. Молодая вдова спешно переехала в роскошный парижский дом супруга и с тех пор живет во Франции. Много лет подряд имя актрисы не сходит со страниц бульварных изданий, пишущих о ее роскошной жизни, приемах, драгоценностях, персональных ложах в театрах, виллах в разных частях света. Выходит, поэт как в воду глядел.

***

Нынешним читателям, наверное, стоит объяснить и то, что представлял собой Дом творчества писателей, ибо он еще не раз будет фигурировать в моих записях как место действия многих событий.

Дом творчества — изобретение чисто советское, а если точнее, сталинское. Нигде в мире не было, нет и, к сожалению, больше никогда не будет подобной заботы о писателях. Это не только моя точка зрения, многие крупнейшие мировые писатели, бывая в наших Домах творчества, позже много раз с восторгом и завистью рассказывали об этом. Дома творчества писателей сошли на нет с распадом СССР. Жаль, очень жаль. Советская власть в начале своего пути не пожелала делить власть с религией, разрушила храмы и уничтожила духовенство, причем все конфессии сразу. Большевики место религии заполнили идеологией, передовым отрядом которой оказались писатели. Вот для них, писателей, и были созданы Дома творчества наподобие санаториев, только туда приезжали не отдыхать, а работать. Если внимательно посмотреть в конец любой советской книги, то на девяти из десяти изданий встретите дату и место написания. Чаще всего это будут: Малеевка, Переделкино, Дубулты, Гагры, Ялта, Коктебель, Пицунда, Дурмень, Лебяжье, Комарово и т. д.

Дома творчества располагались в живописных местах, в отдалении от городского шума. Некоторые из них считались летними, особенно — расположенные у моря, в них царила почти курортная атмосфера, попасть туда в сезон было сложно.

Наиболее рабочая обстановка сложилась в Малеевке — у деревни Глухово в ста десяти километрах от Москвы. Туда съезжались писатели, работавшие над крупными произведениями, жили там месяц-два,

а романисты, переводчики иногда и по три. Дом стоял в лесу в шестнадцати километрах от электрички и жил собственной жизнью.

Дом существовал еще с царских времен, но сразу после войны был отстроен заново по проекту очень талантливого архитектора В. П. Огарева. Архитектор учел все пожелания писателей, и здание получилось самым комфортным из всех Домов творчества. На втором этаже главного корпуса имелась огромная, роскошная, с полками из красного дерева до самого потолка библиотека с тысячами редких книг, справочниками. Библиотека выписывала десятки журналов, включая иностранные, множество газет, оттого пользовалась любовью писателей, которые непременно дарили ей свои книги с автографами. И все эти раритеты, тысячи книг, журналов в одночасье в эпоху Ельцина пропали навсегда.

Величественный главный корпус с колоннами, построенный в стиле позднего русского классицизма, соединялся с двухэтажными крыльями-корпусами зимним садом. Да, да, настоящим зимним садом! С редкими растениями, цветами, карликовыми деревьями, огромными фикусами в кадках. Писатели трижды в день ходили в столовую через эти малеевские сады-оранжереи без зимней одежды.

Между фикусами в кадках и карликовыми деревьями архитектор разместил уютные скамейки из тяжелого дуба, кресла. Мягкий зимний свет из непривычно огромных окон притягивал любителей чтения в живописный сад, особенно — приехавших в гости.

В субботу и воскресенье к электричке дважды в день от главного входа в Дом творчества отправлялся свой автобус, встречавший, а потом и провожавший гостей.

При воспоминании о зимнем саде-оранжерее в Малеевке у меня всегда перед глазами возникает неожиданный уголок с глубоким кожаным креслом и тоненькая девочка-подросток с копной ярко-рыжих волос в ладном спортивном костюме. На коленях у нее всегда лежал толстенный том, который она одолевала за два-три дня! Книги эти не были модными бестселлерами или любовными романами, большей частью — серьезные, философские книги, которых, к стыду своему, не читали многие обитатели чудесного дома. Девочка эта, Юлия, прекрасно ходила на лыжах, лихо прыгала с трамплинов на крутых склонах оврагов, могла по просьбе близких знакомых сделать акробатическое сальто без разбега, на ровном месте. Необычайно контактная, любезная, она пользовалась симпатией и любовью большинства писателей, и все предрекали ей блестящее будущее. Чувствовались

быстрый природный ум, воля, характер, цельность натуры, видно было, что воспитанием дочери занимались, что называется, с пеленок, как рекомендуют древние трактаты и великие мыслители. Не буду больше томить вас: она — дочь известного критика Аллы Латыниной и признанного поэта, бывшего чемпиона Москвы по боксу Леонида Латынина. Юлия Латынина состоялась в жизни, по гамбургскому счету — написала уже с десяток нашумевших романов, по некоторым из них сняты фильмы. Она — яркий журналист, политолог, телеобозреватель, ведет собственные колонки в серьезных газетах, очень активна в Интернете. Подготовленный читатель никогда не пропустит ее статьи. Та отчаянная смелость, которую Юлия демонстрировала на лыжне в детстве, никуда не делась, даже заметно окрепла. Она — еще и бесстрашный правозащитник, авторитетный не только в стране, но и за рубежом, в ее блестящем английском можно не сомневаться. Прекрасную дочь вырастили Латынины!

Сегодня, пытаясь понять феномен Малеевки, где написаны тысячи достойных книг, я думаю, что она оправдала свое существование уже тем, что знаменитые малеевские сады-оранжереи, ее лыжные тропы, тишина ее библиотечных залов, общение с крупными писателями взрастили Юлию Латынину и сотни других достойных сынов и дочерей России, золотой фонд страны. Как говорила моя мама — на пустыре растет только чертополох. Уверен, что сама Юлия часто сравнивает волшебный мир Малеевки с Царскосельским лицеем Пушкина и отдает должное не только родителям, но и среде, в которой выросла.

Меня, впервые попавшего в Малеевку зимой 1975 года, это великолепие сразило наповал, я полюбил ее с первого взгляда. И с 1975 по 1991 год регулярно работал там по два срока — шестнадцать лет подряд! В Малеевку, при всей ее текучести, все же съезжались одни и те же писатели, я знаю тех, кто регулярно бывал там с пятидесятых годов.

На редких ныне встречах писателей мы, старые малеевцы, бросаемся друг другу в объятия, словно потерявшие свой дом погорельцы. Но вернемся к более веселым воспоминаниям.

Жизнь в Доме писателей кипела круглые сутки, буквально. Некоторые труженики пера работали исключительно ночью, днем отсыпались, катались на лыжах, пропадали в библиотеке. В иных комнатах свет загорался в четыре утра, на вахту вступали поэты и прозаики, называвшие себя «жаворонками», к ним относился

и мой друг поэт Сергей Поликарпов. Иногда в некоторых комнатах свет горел до утра, но ночное бдение не было связано с литературой, ночь напролет там играли в преферанс, если случалась компания. Но игроки редко приезжали в Малеевку — скучно, далеко, никому не позвонишь. Другое дело — Переделкино, там любителей преферанса и в самом поселке не счесть, вмиг можно собрать компанию, хоть в Доме творчества, хоть на даче у Александра Петровича Межирова.

Остальные, большинство писателей, жили размеренной, а порою четко организованной жизнью: все по минутам, по часам, особенно пишущие прозу — большая форма требовала организованности. Как объяснил мне несколько позже блистательный романист Илья Штермлер, проза пишется задом, и чтобы удержать его на рабочем стуле, требуется большой талант.

Более вольную жизнь вели поэты, но и среди них встречались большие зануды, педанты, жившие по своей системе, и не дай Бог отвлечь их в минуты трудов, вдохновения, могли и послать куда подальше. Личное время было неприкосновенным. Оттого постояльцы старались знать привычки, ритм жизни коллег или заранее уведомляли их о своих визитах. Телефоны, даже внутренние, в ту пору отсутствовали. Связь с городом держалась через прожорливый телефон-автомат, и возле стеклянной будки с плохо прикрывавшейся и скрипучей дверью всегда собиралась очередь, как и везде — нервная.

Теперь, по прошествии лет, я думаю, что кое-кто приходил туда просто поболтать или застать там нужного человека, оттого этот пятачок кто-то из острословов назвал «нашим Гайд-парком». Я помню, что некоторые очередники вдруг легко уступали кому-то, выборочно, свое выстраданное место.

Однажды крепко пивший талантливый прозаик из Кишинева Владимир Измайлов, которого любили, то ли публично пошутил, то ли высказал собравшимся сокровенную мысль: «Как я иногда хочу тихонько прошмыгнуть в закрытую дверь столовой, которая редко запирается, и похитить из дубового буфета бара, давно растерявшего ключи, пару бутылок особого армянского коньяка, который буфетчица Зоя держит для своего любимца Сергея Островского — не передать!»

— Что же тебя удерживает, раз так страстно хочется? — едко спросил седовласый лощеный профессор Федор Наркирьер, специалист по французской литературе, большой дамский угодник. Про себя профессор вполне серьезно говорил: без меня страна вряд ли бы знала

величие французской литературы и культуры вообще. Во французском посольстве Наркирьера, потомка обрусевших французов, обожали при всех послах.

— Только очередь, вечная очередь, Федя,— фамильярно, не учитывая то ли графского, то ли иного дворянского происхождения профессора, ответил Измайлов, бывший уже с утра в подпитии.

— А ты бы, Володя, попробовал ночью и постучался бы ко мне с добычей. Я — ночная сова, тружусь до утра и неравнодушна к коньяку. Буду не в претензии, если по ошибке прихватишь грузинский «Варцихи», его тоже здесь многие любят,— поддразнивая, посоветовала бойкая поэтесса неопределенного возраста, жившая не в главном корпусе, а в одном из четырех очаровательных двухэтажных флигелей, выстроенных тоже архитектором Огаревым. За место во флигелях бились серьезные писатели.

— Пытался я, и не раз, но и по ночам тут трутся самые говорливые, наговаривают и на пятерку, и на десятку. И тех, кому не спится, тоже полно, народ-то у нас весь нервный, многие бессонницей страдают,— печально подытожил небритый Измайлов, понимая, что свидетели кражи века, если бы она состоялась, непременно найдутся.

По воскресеньям иногда показывали кино, разумеется, не всякое, дирекция отбирала его из длинного списка, предложенного Госкино, вместе с находившимися в Доме творчества интеллектуалами и знатоками кинематографа. Проколы случались редко, но бывали, тогда постояльцы дружно и въедливо интересовались теми, кто подложил свинью уважаемым людям, так что к репертуару относились серьезно.

Кинозал, как и библиотека, располагался на втором этаже, был построен со вкусом и размахом. Иногда там проходили писательские конференции, встречи, посвященные творчеству выдающихся писателей и классиков русской литературы.

В такие дни из Москвы съезжались на специальных автобусах в сопровождении милицейских машин с мигалками делегаты, иностранные гости.

Проблем с билетами в кино не возникало, и очереди, как к телефону, не выстраивались. Приходила даже молодежь из Глухово — мест хватало всем.

В один из таких дней после ужина, задолго до начала сеанса, в холле перед кинозалом и в холле первого этажа возле белого мраморного бюста давно забытого читателями и властями усатого

Серафимовича, лауреата Сталинской премии, автора «Железного потока» (подскажу на всякий случай), чье имя носил Дом творчества, начали собираться разные группы. Наша компания, эпицентром которой всегда был Мустай Карим, стояла чуть поодаль, возле входа в галерею зимнего сада. Все о чем-то оживленно говорили, перебивая друг друга, как вдруг мэтр, словно обращаясь ко всем, сказал на полтона выше, чем обычно, наверное, чтобы услышали все и обратили внимание. Хотя обитатели Дома творчества и без этого всегда с огромным почтением относились к каждому слову, жесту уважаемого аксакала. Позднее такое внимание и уважение выказывали только Роману Аркадьевичу Абрамовичу, второго имени навскидку назвать не могу.

— Как расцвела дружба народов! Слов не нахожу, душу радость заливает,— сказал проникновенно Мустай Карим и сделал неожиданно большую паузу. Наверное, как искушенный драматург, он знал, насколько пауза позволительна, чтобы не потерять к себе интерес.

И тут же, мгновенно, в эту паузу ворвались восторженные голоса наиболее шустрых, державших нос по ветру, коллег. Перебивая друг друга, словно шла запись для Центрального телевидения, они затараторили: золотые слова… мудрые слова… как верно сказано… это наше главное достояние… только дружбой народов сильна страна и т. д.

И тут Мустай-ага легким взмахом руки, подобно великому осетинскому трагику Тхапсаеву, лучшему Отелло всех времен и народов, к сожалению, незаслуженно забытому, прервал разволновавшихся от глубоких патриотических чувств собратьев по перу и, повернувшись лицом к массивной входной двери, из которой то и дело врывались морозные потоки воздуха со двора, продолжил:

— Вот, видите застрявшую у двери на выход компанию, в ней одни украинцы, как они дружно потянулись во флигель к Павло Мовчану, где будут пить горилку и закусывать салом и копченым окороком, аж слюнки от зависти потекли… Хорошо знаком с этим приятным занятием, часто бывал в Киеве. А какие прекрасные песни они потом затянут! Правда, Муса Гали не хуже их поет, хорошо знает украинцев, воевал вместе с ними, Днепр штурмовал… Ушли…

— Посмотрите на раздевалку, где торопливо одеваются молдаване, их всегда много в Малеевке, и все, как один, в папахах под Чаушеску, мало с кем они здесь общаются, делают вид, что не очень понимают по-русски. Не знаю, зачем они сюда приезжают, если сторонятся всех?

На фильм они не пойдут. Им кажется, что лучшее кино в мире — румынское. И вообще, все мироздание пошло из Бухареста. Лучший драматург — Ионеско, лучший отель — Негреско, лучший правитель — Чаушеску. Я воевал в Румынии, пешком прошел ее всю, красивая страна, но страшно бедная, забитая, даже с нашей бедностью не сравнить. А где бедность, о культуре говорить не приходится, тем более о кино. Зря они наше кино игнорируют…

Собравшиеся вокруг Мустая Карима уже не встревали в монолог взволнованного поэта, не понимая, куда тот клонит, хотя новые паузы появлялись не раз.

— Посмотрите наверх, на лестницу, а то они сейчас исчезнут из виду. Там трое прибалтов. Не могу точно сказать, откуда они, кто они: литовцы, эстонцы, латыши, но это неважно. Как скучно, неуютно им здесь, хотя никто их не сторонится, не задирает, они сами держатся особняком. Почему их хохлы не пригласили в гости, может, под горилку и Малеевку запомнили бы иной. Я бы гульнул с прибалтами, уж очень хорошо говорил мне о них Александр Исаевич Солженицын, он с ними на Колыме подружился, утверждал, что эстонцы и латыши — надежные люди.

Раздался первый звонок, но толпа даже не шелохнулась, неорганизованная публика словно ждала персонального приглашения. Мустай Карим, не обращая внимания на звонок, продолжил:

— Посмотрите в центр на шумную компанию у бюста Серафимовича, у них сегодня праздник — приехал из Вологды вон тот могучий бородатый поэт, говорят, новая надежда русской поэзии, мне об этом за столом Семен Иванович Шуртаков радостно сообщил. Отмечать встречу начали уже в столовой, объединив три стола, что крайне редко делается в Малеевке и мало кем одобряется. Я бываю здесь уже почти двадцать лет. Они в кино не пойдут, хотя и не одеты для улицы, ждут кого-то из своих, тоже «деревенщиков», «почвенников», как их называют в либеральных, или прозападных, журналах «Юность» и «Огонек». Сегодня кино их не интересует. Тарковский, на их взгляд, оторвавшийся от родной почвы, мало им интересен, недостоин их внимания, что бы о нем ни писала мировая пресса, да и приезд друга надо отметить.

Раздался второй звонок, громче, нервно, и мимо толпы из зимнего сада к лестнице, ведущей в кинозал, быстро прошла новая компания.

— Эти, как всегда, минута в минуту, очень рациональные люди, представляют московскую либеральную интеллигенцию, их кумиры

Вознесенский, Трифонов, Евтушенко, в нашей глуши бывают редко. В их компании нет разделения на поэтов и прозаиков, держатся крепкой стаей.

У всех них тайная мечта — издаться на Западе или получить приглашение любого их заштатного университета и стать там славистом, чтобы пропагандировать творчество только своих — вот отчего их не любят ни «деревенщики», ни писатели из республик. Каждый мнит себя гением, и среди них действительно много талантливых, способных, а главное, деятельных, работоспособных. Им можно доверить перевод, не схалтурят, не затянут на годы, проследят за публикацией.

В кино они идут с удовольствием, хотя, наверняка, уже видели фильм в закрытом прокате в Доме кино. Главное для них не кино, а то, что после сеанса они дружно потянутся в самый дальний коттедж у леса к Генриху Сапгиру, ибо не доверяют стенам главного корпуса и любого из флигелей. И будут там три-четыре часа под коньяк и кофе обсуждать не только фильм. Уверяю вас, интересные там будут разговоры, очень умные, толковые. Блеснуть в компании интеллектуалов, где понимают и знают всё, или почти всё, дорогого стоит, там слово подтверждено знанием, культурой. Вот куда мне хотелось бы попасть, но не пригласят, а напрашиваться самому не следует — не поймут, зачем, им и без меня хорошо, вольготно, высоко летают, высоко замахиваются.

Тут раздался третий, решительный звонок, и билетерша, свесившись с крутой лестницы, глянула в холл, желая окликнуть опаздывающих, но сдержалась.

Мустай Карим, знавший, что самая большая компания всегда собиралась вокруг него и что без них сеанса никогда не начнут, нехотя закончил:

— А все остальные писатели: татары, башкиры, чуваши, мордва, узбеки, казахи, таджики, киргизы и выходцы с Кавказа, они тут, всегда возле меня.— И, нежно обняв находившихся рядом поэта Шукрулло из Ташкента и казахского писателя Роллана Сейсенбаева, подытожил: — Вот такая дружба замечательная получается у нас в Малеевке! — и повел всех на встречу с «Ностальгией», которую смотрел уже дважды.

На другое утро за Мустаем Каримом приехала служебная «Волга» из Москвы, и он уехал на три дня на сессию Верховного Совета.

Странно, все эти три дня я встречался почти со всеми, кто присутствовал в компании, когда Мустай Карим произнес странную, на мой

взгляд, речь, но никто не вспоминал о ней. Сам заговорить об этом я не пытался, хотя и очень хотел, потому что был гораздо моложе остальных, восточное воспитание в ту пору еще крепко сидело во мне. А остальные, как мне показалось тогда, восприняли это как шутку, розыгрыш, или отнесли на счет парадоксальности мышления поэта.

За три дня отсутствия мэтра я успел выпить в компании Павло Мовчана горилки, что делал и прежде, успел обмыть приезд действительно талантливого поэта из Вологды Коратаева, которого, к сожалению, очень рано сгубила водка. Даже с молдаванами успел выпить вина, к ним меня затянул их земляк тончайший лирик Рудольф Ольшевский, близкий друг Олега Попцова и известного поэта-фронтовика легендарного Григория Поженяна. К Рудику я обязательно еще вернусь, он заслуживает отдельного повествования. Не удалось мне пообщаться только с прибалтами, уж очень они меня заинтересовали, но они на другой день отбыли домой, путевки закончились.

Кто-то из тех, кто был в тот вечер у Генриха Сапгира, на другой день занес мне перепечатанный на машинке экземпляр «Лолиты» Набокова, разумеется, запрещенной и не всякому доверявшейся. Кто-то из них же забрал у меня на вечер редкий по тем временам мощный коротковолновый радиоприемник «Грюндиг», послушать не только вражеские голоса, но и джазовую передачу Луиса Коновера или блистательные литературные передачи Бориса Парамонова, или понаслаждаться стихами запрещенных у нас поэтов: Ходасевича, Одоевцевой, Кузмина, Иванова. Огромное, скажу вам, удовольствие. Кто-то из «либералов» зашел ко мне похмелиться, я как раз относился к тем, кто отдавал предпочтение «Варцихи». Кто-то из них же предлагал составить ему компанию на вечеринке в Доме композиторов в Рузе, куда нужно было топать километра три пешком по темному лесу. В общем, сложившаяся у меня в Доме творчества обычная жизнь продолжалась, никаких национальных барьеров я не ощущал.

Вернувшись из Москвы, Мустай Карим тоже не упоминал ни тот вечер, ни Тарковского, с отцом которого, поэтом Арсением Тарковским, был знаком по госпиталям и лечебным санаториям.

Но что-то острым колом вбилось в мое сознание — не тот человек Мустай Карим, чтобы говорить попусту, видимо, мне даже верхушка айсберга не открылась, а он уже видел его страшное подводное громадье, сгубившее не один «Титаник».

Шли годы, приближалась перестройка, и, оценивая ситуацию вокруг, я все чаще вспоминал тот давний разговор-предупреждение

большого поэта в Малеевке. Впрочем, разлад уже шел открыто и никак не контролировался безвольным пустословом Горбачевым. Сегодня мало кто помнит, что особенно рьяно рвались из СССР прибалты, упоминавшаяся поэтом Молдавия, ныне впавшая в нищету, и крошечная Армения, неосторожно забывшая, что со всех сторон зажата вековыми недругами.

Казалось, с развалом страны тот разговор должен был уйти из моей памяти навсегда, тема исчерпалась до дна, да и своих проблем хватало. Но… предвидения поэтов, коим нет числа, включая и это — Мустая Карима, удивили меня еще раз, когда затрещала по швам уже сама Россия.

В защиту России поднялся поэт со своим знаменитым стихотворением «Я — россиянин», и я ясно увидел тот давний зимний вечер в Малеевке, из которого и родилось это высокое стихотворение в защиту Отечества. Поэт-солдат успел в последний раз подняться в атаку.

***

Цена книги еще совсем недавно, в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, была столь высока, что вам, нынешним, и представить невозможно. Я говорю о цене книги в жизни самого писателя.

Помню одну громкую семейную ссору в Малеевке. Приехавшая проведать мужа жена, не церемонясь, отчитывала его:

— Когда вернешься домой? Знаю, что уже третью путевку собрался просить,— наседала она зло на мужа, тихого интеллигентного вида писателя лет сорока.

— Я ведь повесть закончить хочу,— робко возразил писатель властной супруге.

— Тебе бы только писать, а как же я, дочь? Дел в доме невпроворот, а ты только знаешь книги… книги.

И тут писатель резко переменился, сказал твердо:

— Знаешь, Наташа, если бы я был уверен, что где-то далеко, в сибирской глуши, в деревне, смогу написать роман, я бы, не раздумывая, уехал туда хоть завтра, на романный срок, а это лет пять…

— Ладно, ладно, успокойся, рано тебе еще романы писать,— враз сникла грозная Наталья, поняв, что может потерять мужа навсегда.

В 1983 году у Тимура Пулатова, жившего в то время, как и я, в Ташкенте, и чье имя в те годы стояло в одном ряду с А. Битовым, В. Маканиным, Г. Матевосяном, О. Чиладзе, вышел однотомник

в самом престижном издательстве страны «Художественная литература». И первые дни он гулял с однотомником по городу, принимая поздравления. Повстречался и я ему возле гостиницы «Узбекистан». Он гордо протянул мне небольшую вишневого цвета книгу в твердом переплете, о выходе которой я уже знал — в Москве в «Молодой гвардии» у нас был один редактор С. В. Шевелев. Я глянул в конец книги на выходные данные, обратил внимание на малый тираж, посмотрел на оглавление — что же вошло туда, поскольку знал его творчество как свое, и сказал совсем серьезно, не ерничая: «Теперь и умереть можно, «Худлит» взят!»

На что Пулатов, как и я, не отличавшийся, к сожалению, юмором, тоже вполне серьезно ответил: «Пожалуй, ты прав, не зря прожита жизнь, можно и умереть». Конечно, это надо было видеть и слышать.

Вот о какой цене книги я хотел сказать. Я даже мечтать не мог в ту пору, что когда-то издам свои произведения в столь престижном издательстве, хотя уже выпустил к тому времени несколько книг в «Молодой гвардии» и «Советском писателе», даже переводился на иностранные языки. Но судьба писателя переменчива, одно удачное произведение — и твоя жизнь в литературе может стать совсем иной. Такой роман — «Пешие прогулки» у меня появился в 1988 году, на сегодня он издан двадцать один раз тиражом более трех миллионов экземпляров! Через шесть лет после Тимура Пулатова и у меня вышел большой однотомник в «Художественной литературе» тиражом 250 000 экземпляров! Поистине, пути Господни неисповедимы!

Цена книги… В первую же зиму в Малеевке я сидел одно время за столом с Г. Я. Баклановым, уже при жизни ставшим классиком, одним из самых ярких русских писателей XX века. За столом всегда велись интересные разговоры, чаще, конечно, о литературе, о жизни и быте писателей. Сидел с нами и какой-то угрюмый писатель с Алтая, он как-то обронил с упреком: «Вам, москвичам, хорошо, все карты в руки: и поликлиника своя, и дачи вам не жалеют, и три Дома творчества под боком: твори — не хочу! А мне как быть? Семья, ребенок, двухкомнатная квартира, не особенно распишешься — негде, а по Домам творчества не разъездишься — далеко, никаких денег не хватит». Григорий Яковлевич с любопытством посмотрел на коллегу, но ничего не сказал, а тут алтайца окликнули, и он поспешил из-за стола.

Через неделю кто-то за ужином поинтересовался у Григория Яковлевича, как долго он писал свой первый роман «Июль 41-го», сразу принесший ему известность. Бакланов отнекивался, но потом все же рассказал. Рассказ красочный, живой, в деталях, жестах, с мимикой мэтра, с постоянными комментариями ситуаций, сложно передать на бумаге. Я постараюсь изложить лишь суть — все равно так, как у Григория Яковлевича, у меня не получится.

Послевоенная Москва. Холодная, голодная, плохо освещенная, редко ходит транспорт, безработица, пайки, все по карточкам. Молодой лейтенант, красавец двадцати трех лет родом из Воронежа, высокого роста, статный, орденоносец, студент Литературного института, снимает угол в огромной перенаселенной коммуналке в центре, где даже на кухне негде примоститься ни днем, ни ночью, а на полу даже спят. Коммуналка ни на час не затихает, одни уходят, другие приходят. Нет денег, только те, что начали выдавать за ордена, но и их уже в 1947 году отменят. Ходит в военной форме, армейских сапогах, в шинели, только без погон, так ходила в ту пору треть мужчин Москвы. Но еще на передовой, где он воевал в артиллерии, молодой лейтенант поклялся себе — если останется жив, напишет роман о погибших друзьях, сослуживцах, о войне, которую он знал, видел, потому что прошел ее «от и до», и Всевышний сохранил ему жизнь, наверное, чтобы он написал про этот ад.

То, что он напишет, позже назовут прозой лейтенантов — лейтенантов, вернувшихся с войны. Но негде было писать — вот проблема. И тогда он вспомнил коммуналку дальних родственников, там было гораздо комфортнее, потому что барак находился в далеком заводском районе, куда не ходило метро, и до трамвая надо было шагать и шагать. Поехал, посоветовался с родней, переговорил с соседями — разрешили попробовать на общей кухне с часу ночи до четырех тридцати утра. Раньше там не ложились, а в пять уже вставали на работу. Разрешить-то разрешили, но кому, скажите, хочется видеть ежедневно чужого человека у себя на кухне по ночам? Он это понимал, чувствовал и стал ходить туда только раз в неделю. Друзья-фронтовики, родственники, узнавшие о том, что он пишет роман, начали подыскивать ему новые кухни, иногда на целую неделю выпадала чья-то комната — это казалось роскошью.

А комнаты, кухни, общежития, как рассказывал Григорий Яковлевич, располагались в самых разных концах Москвы, иногда туда

не ходило метро, и он после трамвая или троллейбуса еще час-два шагал на окраину, поглядывая на часы. «Тогда я пешком исходил всю Москву, узнал все ее уголки, тогда научился ценить время»,— говорил Григорий Яковлевич.

Иногда кто-то просил почитать написанное, и кухня быстро наполнялась жильцами — его же рекомендовали как писателя. В таких случаях всегда возникал диспут, споры, вокруг собирались такие же фронтовики, как и он сам, познавшие, почем фунт лиха. Некоторые знатоки уточняли марку артиллерийского орудия, калибр снарядов, что-то советовали, подсказывали, порою радостно восклицали: вот так у нас и было! После разговора по душам мужчины оставляли на ночь папироску-две, а женщины приносили чашку чая и подсказывали, где их чайник стоит на плите, если вдруг чайку захочется.

«Моих письменных столов на чужих кухнях Москвы набралось больше сорока, пока я не одолел роман. Хорошо помню каждый стол, каждую коммуналку, людей, среди которых писал, маршруты, по которым добирался с рукописью к столу. Я всегда боялся потерять рукопись или забыть ее после бессонной ночи в метро или трамвае, и оттого держал еще один вариант, тоже написанный от руки, дома. О пишущей машинке в те годы и не мечталось»,— продолжал Григорий Яковлевич.

Роман он написал за полтора года, днем учился, ночью писал, когда спал — не помнит, главным был роман. Наверное, не я один слушал, затаив дыхание, поседевшего лейтенанта, в котором легко угадывался бравый улыбчивый артиллерист, не мне одному запала в душу история, рассказанная писателем Баклановым. Но самой удивительной оказалась реакция алтайца, тот пожал Григорию Яковлевичу руку и сказал: «Век не забуду, ведь у меня просторная кухня, а мне и в голову не приходило, что на кухне что-то путное можно написать».

На что Григорий Яковлевич мудро ответил: «Главное, чтобы было что сказать читателю, а где, на чем написать — неважно. Успехов, тебе дорогой».

Но у меня Григорий Яковлевич остался в памяти по другому случаю. Встретив его через год, опять же в столовой, где он, припозднившись, ужинал в одиночестве, я подсел к нему, поздоровался, спросил о житье-бытье, поинтересовался, как дела у детей. У него были сын-студент и очаровательная дочь-старшеклассница. Прошлой зимой они каждую неделю навещали его, и мы вместе сидели за столом. Он чуть поведал о сыне, а о дочери сказал, что она выпускница,

готовится поступить в МГУ, и вдруг, посветлев лицом, сообщил с нежностью, тихой радостью: «А Сашенька, кажется, влюблена в первый раз…»

От этих слов, интонации, выражения лица повеяло прошлым, золотым девятнадцатым веком, так, наверное, любили Наташу Ростову, так благородные отцы переживали за судьбу своих нежных созданий. В эти слова было вложено столько любви, нежности, тревоги, дум о счастье дочери — не высказать!

С тех пор прошло много лет, но когда я смотрю какой-нибудь трогательный фильм о любви или слушаю музыку, то часто вижу перед собой удивительной красоты Сашеньку и слышу голос ее отца: «А Сашенька, кажется, влюблена в первый раз…»

Я не знаю, как сложились судьбы детей Бакланова, живут ли они в России, я их никогда больше не встречал, но верится, что Сашеньку полюбил достойный человек и она счастлива.

Григория Яковлевича в последний раз я видел перед самым развалом СССР в писательской поликлинике, он болел, выглядел усталым, а я оформлял инвалидность после тяжелого покушения в Ташкенте за тот самый роман «Пешие прогулки». Очередь к врачу двигалась медленно, и мы успели о многом переговорить.

Григорий Яковлевич возглавлял крупный литературный журнал «Знамя», долгие годы считавшийся крайне ортодоксальным, но с приходом нового редактора журнал потеснил популярные «Октябрь» и «Новый мир». Григорий Яковлевич опубликовал в период гласности много достойных произведений.

Я поблагодарил его за большую рецензию на роман «Пешие прогулки» в «Знамени». В ту пору рецензия была оценкой труда писателя и обозначала его место в литературе, такими публикациями гордились, тираж «Знамени» тогда составлял 300 000 экземпляров.

Расставаясь, он сказал, глядя на мою инвалидную трость: «Высокую цену ты заплатил за «Пешие прогулки», будь здоров, дорогой, желаю новых романов, не хуже первого».

Я написал еще пять романов, и все они издались и по пятнадцать, и по двадцать раз.

***

О цене книги в жизни писателя я сказал достаточно, но, возможно, еще не раз вернусь к этой теме, ведь не зря говорят: книга — это судьба писателя.

Сама же книга стоила дешево, больше половины книг, изданных в СССР, стоили меньше рубля, а цена других не превышала и трех рублей. Это я взял не только из статистики, но знаю по своему опыту, я собрал неплохую библиотеку.

— «Книга — лучший подарок» — сегодня эта фраза звучит как издевательство,— сказал мне недавно один молодой человек. Я не стал вступать с ним в спор. В мое время томик Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой затмил бы и ящик французского коньяка, и ящик шотландского виски. У каждого времени свои ценности.

Книги издавались огромными тиражами, оттого их себестоимость была низкой, хотя мы получали вполне приличные гонорары, конечно, никак не сравнимые с гонорарами коллег на Западе. Известная французская писательница Франсуаза Саган только за две небольшие повести, «Здравствуй, грусть!» и «Немного солнца в холодной воде», получила столько, что хватило на всю ее долгую сверхроскошную и бесшабашную жизнь.

Хорошую книгу, как, например, «В августе 41-го», позже названную «Момент истины», В. Богомолова, издавали в «Молодой гвардии» раз двадцать непрерывно. Некоторые тиражи доходили до полумиллиона, издавали, пока не насытили страну полюбившейся книгой. Но в читающей стране все равно был голод на хорошую литературу, немало книг «съела» и мода на личные библиотеки, и на огромные книжные шкафы, соперничавшие с сервантами, забитыми хрусталем и дорогой посудой. Сегодня это уже не представляется мне большим грехом, как некогда. Воистину, все познается в сравнении.

Задолго до того, как я начал писать (а свой первый рассказ «Полустанок Самсона» я написал за три дня в 1971 году на спор с известным кинорежиссером. Рассказ, к моему удивлению, сразу был принят на радио и опубликован в московском альманахе «Родники»), я лет пять по воскресеньям ходил на черный рынок, специализировавшийся только на книгах и дорогих альбомах живописи. Долго существовала такая странная мода — собирать альбомы живописи, сегодня это даже вообразить себе трудно.

Книжный базар, как ни удивительно, разгоняли особенно рьяно, хотя собирались там вполне приличные люди, много интеллигенции. В Ташкенте существовали и другие нелегальные базары, которые действительно требовали к себе особого внимания, но их разгоняли редко. Видимо, наш базар в идеологическом плане

был гораздо опасней, отчего он часто менял место, возникал стихийно то там, то тут, и хотя мобильных телефонов не было, народ всегда находил его.

Туда приходили знатоки книги, возле которых вмиг собиралась плотная толпа, для нее экспромтом выдавались такие искрометные получасовые лекции о том или ином прозаике, поэте, что и профессиональные университетские литературоведы, встречавшиеся там, аплодировали вместе со всеми необычайным лекторам. А человеком, сорвавшим аплодисменты, мог быть инженер из «Водоканала» или хирург из травматологии.

Знатоков книги было много, но их всех знали в лицо, между собой они не соперничали, их объединяла высокая любовь к литературе. Хорошо знали свой предмет и те, кто продавал и обменивал книги. Среди них встречались такие асы — дух захватывало, когда они рассказывали о той или иной книге. Продавцы особенно не завирались, оценивая книгу в пять или десять номиналов, такая существовала терминология у книжников; тут могли жестко осадить, поправить, и репутация, созданная годами, враз подвергалась сомнению, слух о некомпетентности быстро становился достоянием завсегдатаев.

Появлялись на книжном рынке и владельцы солидных личных библиотек, этих тоже знали в лицо. Ими часто бывали видные адвокаты, юристы, ювелиры, директора заводов, таксопарков, но больше всех среди них оказывалось цеховиков, королей подпольной, теневой экономики, как выяснилось гораздо позже. Для них в первую очередь придерживали новинки и особенно редкие старые, царского времени, прижизненные издания авторов — платили они не скупясь, не торгуясь. Какая пропасть между цеховиками прошлого и нынешними бизнесменами, претендующими на элиту России — даже не сравнить!

Владельцев крупных библиотек знали не только в лицо, но и величали их по имени-отчеству, с ними раскланивались, как со знаменитостями. Никакая эстрадная, театральная, киношная звезда, а приходили сюда и люди этого мира, не могла затмить популярностью известных владельцев больших и интересных собраний. Такие были времена и такая любовь к книге, к тем, кто ее писал, и к тем, кто ее с таким знанием, трепетом собирал.

Там, на нелегальном книжном базаре, мне дважды, с интервалом в полгода, показали двух пожилых людей, никак не принадлежавших ни к цеховикам, ни к номенклатуре, которые отдали за хорошо сохранившееся двухсоттомное собрание Библиотеки всемирной литераторы

(БВЛ), составленной некогда самим М. Горьким, но изданной только в начале семидесятых, однокомнатную квартиру и новую «Волгу». И такая была цена книге.

Новая, самопровозглашенная элита России, быстро обогатившись, стала дружно приобретать фальшивые титулы и звания. Начала открывать, казалось бы, канувшие в прошлое Дворянские собрания, закрытые клубы, наподобие бывшего в Москве Английского. Аферисты стали срочно снабжать казнокрадов и жуликов титулами, званиями, сомнительными регалиями. Другие проходимцы, не успевшие на щедрую ельцинскую раздачу, кинулись обустраивать жизнь и досуг новых господ.

Когда-то в юности я выписал, непонятно зачем, высказывание Томаса Джефферсона, одного из давних президентов Америки, о сущности людей, претендующих на аристократию: «Среди людей есть природная аристократия. В основе ее лежит талант. Но есть и искусственная аристократия, которая держится на богатстве и происхождении».

На мой взгляд, наша «аристократия» даже на искусственную не тянет. Чиновники, разворовывающие казну и денно и нощно пилящие бюджет, берущие за каждую подпись взятки, никогда не будут приняты нацией, народом за элиту.

В новой чиновничье-бандитской России не нашлось места во власти даже гениальным цеховикам, которым больше подходит современное определение — технократы, которые действительно знают, как вытянуть страну из болота нищеты и технологической отсталости. Приди во власть люди, знавшие цену книги, любившие книгу, они не загубили бы страну, ее культуру, искусство, не пустили бы по миру с протянутой рукой писателей, философов, ученых. Не довели бы до нищеты учителя, врача, библиотекаря, инженера. Вот на какую мысль навел меня книжный базар Ташкента.

Вернемся туда еще ненадолго.

Когда появились мои первые публикации в ташкентских газетах и журналах, меня тоже начали привечать на книжном базаре. Сегодня я уверен, что многие из тех, кто бывал на нелегальных воскресных встречах книголюбов, сами писали и стихи, и прозу.

В 1971 году я работал в строительно-монтажной организации московского треста «Монтажхимзащита», имевшего шесть управлений по всей стране, одно из которых находилось в Ташкенте. С начала 1960-х по 1980 год я работал на многих крупных стройках страны

и избороздил Отечество вдоль и поперек. В мае 1971 года я попал в командировку в родной Актюбинск на ТЭЦ. Ремонтировали гигантские котлы и печи, и требовалась наша специализированная помощь. В ту пору пятидневка вошла в норму, и на субботу-воскресенье я отправлялся к родителям в Мартук, слава Всевышнему, они еще были живы-здоровы.

С детских лет я любил посещать книжные магазины, любил их особенный бумажно-типографский запах, яркие, тисненные золотом корешки собраний сочинений, выдававшихся по подписке. Знакомая со школьных лет продавщица Мария Ивановна, мать моего приятеля юности Валерия Парамонова, зная мою страсть к чтению, всегда радовала меня редкой книгой. Порадовала она новинками и на этот раз. Уходя, я приметил на прилавке тоненькую книжку в зеленой обложке. Книжка, выпущенная в 1965 году издательством «Художественная литература» в известной серии «Зарубежный роман XX века», оказалась уцененной и стоила двадцать копеек. Называлась она «Великий Гэтсби». Серия была хорошо известна мне, не зря я уже несколько лет был завсегдатаем книжной толкучки, но фамилия автора и название книги ничего не говорили. Если бы я хоть раз, даже мельком, услышал об этой книге или об авторе — Фрэнсисе Скотте Фицджеральде, я бы помнил, меня до самой старости отличала феноменальная память.

По дороге домой я начал читать книгу и не смог оторваться от нее, пока не одолел до конца. После обеда я вернулся в магазин и, к великой радости Марии Ивановны, купил все двадцать девять оставшихся экземпляров. На другой день перечитал книгу, внимательно изучил предисловие критика А. Старцева, написанное явно с классовых позиций, это я понимал уже тогда. Запомнил на всю жизнь и фамилию переводчицы Е. Калашниковой. С удовольствием произносил вслух фамилию автора, предчувствуя, что он надолго станет близким мне по мироощущению, настроению, взглядам на жизнь.

Никогда я так не торопился вернуться в Ташкент, как после приобретения целой пачки уцененного романа «Великий Гэтсби». Мысленно распределял и перераспределял экземпляры, которые собирался подарить известным книголюбам, знатокам и завсегдатаям запрещенного рынка. Книг было много, и я даже замахнулся подарить потрясший меня роман владельцам крупных библиотек и тем самым цеховикам, которых особенно привечали на подпольном книжном рынке.

Конечно, у меня был и корыстный интерес. Я рассчитывал кое-что выменять на «Великого Гэтсби», а, главное, мечтал сразу стать своим среди фанатов книги. За два воскресенья я раздал все двадцать девять экземпляров тем, кому и предполагал, включая самых знаменитых завсегдатаев.

С обменом ничего не получилось. Презрительно осмотрев штамп уценки, на котором гордо красовалась цена двадцать копеек, книгу возвращали назад без комментариев, не обращая внимание на популярную серию «Зарубежный роман XX века», очень котировавшуюся на рынке. Не реагировали и на мои пылкие комментарии, на звонкую, на мой взгляд, фамилию — Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд.

Представляю, что говорили мне вслед, ведь я предлагал обмен асам торговли, тем, у кого были очень востребованные на базаре книги. Обжегшись два-три раза в разных концах базара, я больше никому не предлагал обменяться, даже с доплатой. Иногда в те минуты, когда мне давали от ворот поворот, я думал: а, может, я ничего не смыслю в книгах? Но стоило мне вернуться домой, прочитать вновь и вновь полюбившиеся мне абзацы — и я еще больше наполнялся гордостью и самомнением от того, что сам, без чьей-либо подсказки, открыл великого писателя. Ведь я дарил и показывал «Великого Гэтсби» людям, которых считал поистине последней инстанцией в оценке литературы, перед которыми искренне преклонялся и мечтал так же, как они, знать книги, авторов.

Прошло еще два-три воскресенья, я продолжал ходить на книжный рынок, часто менявший дислокацию, но сохранявший свой контингент на девяносто девять процентов. Кажется, меня в ту пору не очень интересовали даже самые редкие новинки, я ходил на базар с единственной целью, услышать хоть одно похвальное слово о гениальности открытого мною Фицджеральда, встретить хотя бы одного единомышленника в оценке «Великого Гэтсби». Но… увы!

Разумеется, я расстроился, даже перестал некоторое время посещать клуб интеллектуалов, как однажды высокопарно отозвался о черном рынке один из завсегдатаев воскресных встреч, но в таланте открытого мною писателя я ни на минуту не сомневался. Вспомнил, что у меня уже была похожая история.

В 1964 году в городе Алмалыке я купил книгу японского писателя Дзюмпэя Гомикавы «Условия человеческого существования», огромный роман в тысячу страниц. Прочитал его взахлеб за две-три ночи, поскольку работал прорабом на пусковом объекте,

где строители дневали и ночевали, ибо взяли обязательство сдать самый крупный в стране медно-обогатительный комбинат к очередной годовщине Октября.

Восторгами по поводу этой книги я донимал всех своих читающих друзей, сослуживцев, знакомых, советовал им обязательно прочитать роман. Поскольку роман имелся только в одном экземпляре, я давал его почитать тем, кого удалось уговорить. На пятом или шестом читателе книга была утеряна, о чем я очень долго жалел, и смог купить новое издание только в 1982 году. Переиздала книгу «Художественная литература» в связи с тем, что Ассоциация писателей Японии признала этот роман лучшей японской книгой XX века, и по ее сюжету был снят двадцатисерийный телефильм. Мировое признание Гомикавы пришло гораздо позже моего открытия для себя нового гения Фицджеральда.

Но время лечит, тем более что тогда что ни день читателям открывались новые имена: Генриха Бёлля, Дюрренматта, Макса Фриша, Гюнтера Грасса, Эрнста Хемингуэя, Курта Воннегута, Джона Апдайка, Ирвина Шоу, Сэлинджера, Маркеса, Роберта Пена Уоррена, Ежи Стефана Ставинского, Станислава Дыгата, Ежи Путрамента, Болеслава Пруса, Акутагавы, Франсуазы Саган, Анри Труайя, Кафки, Сартра, Кортасара, Ремарка, Германа Гесса, Томаса Вулфа.

Набирали силу и наши писатели: Чингиз Айтматов, Юрий Казаков, Отар Чиладзе, Юрий Трифонов, Андрей Битов, Тимур Пулатов, Владимир Маканин, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов. Засиял новыми гранями талант моего горячо любимого Валентина Катаева…

Через два года после описываемых событий черный книжный рынок в Ташкенте прикрыли навсегда. Действовали жестко, не церемонясь, кое-кто даже получил тюремные сроки.

В те годы толстые литературные журналы пользовались невероятным успехом, на них нельзя было ни свободно подписаться, ни купить их в рознице. Журналы передавались из рук в руки — фантастические времена! Особой популярностью отличался журнал «Иностранная литература», уже само его название обещало новое, неизведанное, полузапретное, где неожиданно, без анонса, напечатали роман «Ночь нежна» открытого мною Фицджеральда. Могу смело утверждать, что до выхода следующего номера журнала он стал самым популярным в СССР писателем, затмив навсегда Эрнеста Хемингуэя.

А Хэм — особая статья в жизни советского читателя! Его портреты, как фотографии кинозвезд, продавались в каждом газетном киоске, а сувенирные отделы магазинов торговали отчеканенными на меди ликами писателя анфас и в профиль, их до сих пор можно встретить в квартирах пенсионеров от Калининграда до Владивостока. Конечно, и фотографии, и чеканки брутального американца не главное, беда в том, что у старика Хэма появились сотни, тысячи подражателей, и телеграфный стиль, не свойственный русской прозе, заполонил газеты, журналы, книги на долгие годы.

С публикацией романа «Ночь нежна» настал и мой час попить меду. Все двадцать девять книг я подарил очень авторитетным книголюбам — людям, известным в Ташкенте, цеховикам, юристам, профессуре, и семнадцать из них нашли меня сразу после публикации в «Иностранной литературе», потому что в стране мгновенно начался фицджеральдовский бум, а в Ташкенте — охота за романом «Великий Гэтсби», вышедшем в далеком 1965 году.

Вот тогда я увидел, бывая в гостях у известных библиофилов, все знаменитые частные библиотеки Ташкента. Подержал в руках раритеты, о которых только слышал и не смел даже мечтать взглянуть на них. Восторгался прижизненными изданиями классиков XVII–XIX веков в прекрасной сохранности. Не мог оторвать глаз от редчайших иллюстраций, сделанных великими художниками прошлого. В самых смелых своих фантазиях не мог представить, что у нас в Ташкенте хранятся с любовью такие сокровища, которыми могла бы гордиться любая известная библиотека мира.

Если в моих романах вы встретите подробное описание редких и уникальных изданий, прочитаете об удивительной красоте книжных шедевров, то все это я познал благодаря тому, что некогда открыл для себя величие «Великого Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда.

Наверное, внимательный читатель, понимая, какую важную роль в моей судьбе сыграл роман, мысленно спросит: а где же тот экземпляр, счастливо купленный в Мартуке? Может, он потерялся, как роман «Условия человеческого существования»? Нет, он не пропал. Тоненькая книга в зеленой обложке, приобретенная сорок два года назад, вернулась в… Мартук.

Там, на родине, открыт музей, посвященный моему творчеству, в 1996 году появилась улица, названная моим именем — так земляки в Казахстане оценили мои литературные труды. Кстати, там же, в музее, находятся книги, повлиявшие на мое становление как человека

и писателя — те самые, приобретенные еще в молодости: «Большой Мольн» Алена Фурнье, уже упоминавшийся Дзюмпэй Гомикава, «Путешествие» Станислава Дыгата, «Степной волк» Германа Гессе, «Преследователь» Кортасара, «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа, «Три товарища» Ремарка, «Бильярд в половине десятого» Генриха Бёлля. Весь поздний Валентин Петрович Катаев и весь Иван Алексеевич Бунин.

Иногда на встречах с читателями меня спрашивают: «Что дало вам столь раннее знакомство с творчеством таких корифеев, как Фицджеральд, Гомикава, Вулф, Кортасар?»

Все эти книги я прочитал задолго до того, как начал писать. Должен признаться, я никогда не думал стать писателем, хотя читал запоем. Не зарифмовал ни одной строки, зная, что этим грешат девять из десяти молодых людей, но поэзию люблю со школьных лет и всю жизнь дружил со многими крупными поэтами XX века. О некоторых из них я расскажу в этих заметках.

Даже сегодня, на исходе жизни, открыл для себя, благодаря «Литературной газете», удивительных поэтов: Геннадия Русакова и краснодарца Николая Зиновьева.

Писать я начал в тридцать лет, неожиданно, на спор с одним известным кинорежиссером. Вот тут-то знание литературы, лучших ее представителей очень мне помогло. Меня не могли сбить с толку советы, наставления теток и дядек, сидевших в редакциях газет, журналов, издательств. У меня уже имелись ясные ориентиры в литературе, мощные маяки, на свет которых, в меру своих сил, я и плыл.

Бывает, прочитаешь хорошую книгу большого мастера, но со временем она легко, незаметно уходит из памяти. У нее нет никакого соприкосновения с твоей жизнью, планами, мечтами, а если ты сам пишешь — она даже тенью, облаком не коснется твоего творчества. Почти так получилось и с Гомикавой, хотя он меня убедил в том, что герой должен иметь стальной стержень характера — то, что требовал от наших писателей соцреализм. Из-за Гомикавы я безоговорочно принял соцреализм, точнее, мне он не мешал, не противоречил моим убеждениям и эстетическим взглядам. Такого сильного, духовного, бескомпромиссного героя, о коем мечтали отцы соцреализма, создал японский писатель. Это стало моим открытием и глубочайшим потрясением от столь могучей японской эпопеи. Наверное, таков настоящий японский характер, оттого роман назван в самой читающей стране мира лучшей книгой XX века.

Думаю, в советской литературе, где были тысячи прекрасных и сильных героев, лишь один приблизился к герою Гомикавы, я имею в виду Павла Корчагина из незаслуженно забытого романа «Как закалялась сталь» Николая Островского. Понимаю, что подобное сравнение вызовет у многих улыбки, но я, отдавший литературе сорок лет, и сегодня стою на этом. Гомикава одарил меня пониманием сущности главного героя, ибо без достойной личности любая, даже мастерски сделанная вещь, не тронет читателя.

Иное дело с Фицджеральдом. Мне кажется, что он уже сорок лет где-то рядом со мною и часто напоминает о себе. После публикации «Ночь нежна» быстро вышла книга о самом Фицджеральде, написал ее Андрей Горбунов. Летом 1978 года я работал в Доме писателей в Ялте и через две недели увидел его фамилию в списке отдыхающих. Я бросился на поиски, но он уже уехал накануне. Жаль, не встретились, у меня к нему было много вопросов, он написал прекрасную книгу, которую я тоже прочитал не раз. Там для меня оказалось много открытий. Потом книги о Фицджеральде стали выходить одна за другой, в том числе зарубежных авторов, знавших его лично. Из французских источников я узнал, что Хемингуэй в Париже, мягко говоря, часто третировал по пьянке моего любимого писателя. Это еще больше отдалило меня от Хэма, я воспринял рассказанное французами чуть ли не как личное оскорбление.

Было время, когда я знал жизнь Фицджеральда лучше, чем жизнь своих родственников. Особенно — его любимые места в Париже, Ницце, Антибе, Вильфранш-сюр-Мере и, вообще, места на Лазурном берегу, которые он прославил на весь мир и навсегда.

Впервые я попал в Париж в восьмидесятом году, но, сами понимаете, ни временем, ни свободой, чтобы пройтись по следам своего кумира, не располагал. Как только открылись границы и появились зарубежные паспорта, я с супругой Ириной, владеющей французским языком и, как и я, влюбленной в творчество Фицджеральда, не один раз посетил все излюбленные места кумира. И не только во Франции, но и в Швейцарии, куда Фицджеральд привозил на лечение жену Зельду.

Как только появился Интернет, мы разыскали массу новых материалов о Фицджеральде, фильм «Великий Гэтсби» с молодым Робертом Редфордом, фильмы по неоконченному роману «Последний Магнат», а совсем недавно нашли новую экранизацию «Великого Гэтсби». Но, честно говоря, тонкая психологическая проза моего кумира пока не дается кинематографу. Нужны равные таланту

Фицджеральда сценарист и режиссер, и я убежден, что мы еще увидим киношедевры по его нетленным романам.

Последнюю историю, связанную с именем писателя, иначе чем мистикой не назовешь. В 2011 году в Ницце, в которой мы бываем не только из-за любви к Фицджеральду, но и из-за тяги к паломничеству к другому кумиру — И. А. Бунину, прожившему почти три десятилетия рядом, в Граасе на вилле «Бельведер», где он получил сообщение о вручении ему Нобелевской премии, история снова столкнула нас с именами Скотта и Зельды.

На небольшой улице рядом с Английским променадом расположены самые респектабельные магазины и бутики известных Домов моды. Гости, живущие в отелях на набережной, по дороге в старый город и порт никак не могут ее миновать. Ходили по ней годами и мы, и только в этот раз я увидел вывеску магазина, сделанную лет семьдесят назад — тщательно вырезанные массивные буквы из черного тяжелого гранита, сложившиеся в дорогие нашим сердцам имена «Скотт и Зельда».

Столько лет мы проходили рядом и никогда не поднимали глаза чуть выше! Понятно, мы обрадовались, словно встретили старых добрых друзей. На другой день решили зайти узнать от хозяев историю магазина. Нас ожидало разочарование, владельцами оказались арабы, старый салон они купили недавно и не знали, что означает гранитная вязь букв над массивной дубовой дверью — «Скотт и Зельда». Мы с женой переглянулись, но просвещать их не стали — другие времена, другие кумиры, другая культура. Жаль.

Внимательный человек может спросить: «Интересен ли Фицджеральд сегодняшнему читателю, влияет ли он на умы новых поколений, оставил ли он след в искусстве?»

Отвечу издалека. Двадцать лет в России не издают Катаева, Бунина, Трифонова, Айтматова, а они — гордость русской литературы XX века. Влияют ли они на умы людей XXI века? Не влияют. По простой причине — их не издают. Хотя названные мною корифеи литературы в сравнении с Фицджеральдом, как ни крути, ни оценивай — социальные писатели, всех их волновало духовное здоровье общества, человека.

А Фицджеральд прежде всего — певец эпохи джаза двадцатых годов прошлого века, его «Великий Гэтсби» — символ эпохи джаза. Светская хроника Старого и Нового света называла Скотта и Зельду принцем и принцессой своего поколения.

Русская литература задолго до Фицджеральда исчерпала тему «лишнего человека» — вспомните Печорина, Чацкого. Про того и другого, кроме многотомного профессионального литературоведческого анализа, написаны сотни миллионов школьных сочинений — тема не только закрыта, она затоптана.

Фицджеральда вряд ли волновало здоровье общества, он и о своем-то не очень заботился, умер в сорок четыре года, Зельда в тридцать лет сошла с ума. А ведь они принадлежали к первому поколению «золотой молодежи» по обе стороны океана, прожигавшему жизнь без тормозов, безумно тратя налево и направо полновесные доллары, только-только ставшие вожделенной валютой для всего мира.

Скотт и Зельда принадлежали к элите элит как Америки, так и Европы, им было тесно на одном континенте, они олицетворяли капитализм в пору его высшего расцвета и богатства. Творчество Фицджеральда — одна из самых ярких страниц американской литературы прошлого века, его современниками были Вульф и Сэндберг, Хемингуэй и Фолкнер, Форест и Драйзер. Благодаря этой выдающейся плеяде американская литература двадцатых-тридцатых годов стала одной из значимых в мире.

Сегодня, когда пять шестых человечества предпочитает фастфуд и пьет чай и кофе из тяжеленных толстостенных фаянсовых кружек жутковатого объема, а фаянс в эпоху Фицджеральда изначально предназначался только для сантехники, унитазов и писсуаров, эстетика утонченного эстета Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда, конечно, не нужна.

А вот оставил ли Фицджеральд след в искусстве? Безусловно. На мой взгляд — гораздо более весомый, чем многие его знаменитые современники, с которыми он создал славу американской литературе. Творчество большинства коллег Фицджеральда, их яркие имена свелись на нет индустриальным временем и резким изменением сущности общества.

Начнем с литературы, в которой он состоялся как писатель мирового значения. Мы, еще оставшиеся читающие потомки, благодарны ему за то, что он создал четкий слепок раннего капитализма, портрет его краткого романтического периода, когда ежедневно не убивали ни партнеров, ни конкурентов, ни кредиторов. Когда обман, подлог, разбой не были его характерными приметами. Когда дорожили именем, репутацией, платили по долгам. Когда богатые сами представляли культуру, считались носителями

вековых национальных традиций, способствовали расцвету культуры страны.

Написав в двадцать четыре года первый роман (по нашим меркам — небольшую повесть) «По ту сторону рая», имевший бешеный успех и принесший автору надолго финансовую независимость, Фицджеральд громко заявил о себе в литературе.

Как же мне не называть тот период капитализма романтическим, если за рассказы в семь-одиннадцать страниц, которых, несмотря на бесшабашную жизнь, Фицджеральд написал для глянцевых журналов великое множество, он получал до трех тысяч долларов! Гонорары позволяли ему жить на широкую ногу в Париже, он был известен не только своими произведениями, но и роскошным образом жизни.

Вдумайтесь, сто лет назад «мерзкий» капиталист платил писателю три тысячи долларов за рассказ, ровно столько, сколько платит российский издатель сегодня за полновесный роман, который пишется минимум год. Если учитывать, что за сто лет в мире все подорожало в тысячи раз, то оцените разницу между ранним американским капиталистом и российским. Впрочем, таковы пропорции оплаты в России во всем, во всех отраслях человеческой деятельности. Стоило ли ломать даже неэффективный социализм? Российский капитализм похож скорее на рабовладельческий строй.

Как парадоксально ни звучит, прославившись в литературе навсегда, Фицджеральд исчезал время от времени из поля зрения читателей, но он никогда, ни на один день не выпадал из внимания… кинематографа. Да, да — кинематографа. И не потому, что с 1937 года работал штатным сценаристом Голливуда и написал девять сценариев, из которых только один увидел свет — фильм по роману Э. М. Ремарка «Три товарища». Голливуд не держал Фицджеральда на голодном пайке, платил щедро, как прежде журналы и издательства, даже если и отвергал один сценарий за другим. Браковал по одной причине — слишком высоки были требования Голливуда. Не стали шедеврами и все экранизации его романов, ни одна не выдвигалась на «Оскар». Почему же в кино его никогда не забывали и не забудут?

В 1925 году двадцатидевятилетний писатель выпустил бестселлер на все времена — «Великий Гэтсби», и самыми запоминающимися сценами романа стали вечеринки-балы в парке роскошного дома Гэтсби. Вечеринки проводились с невиданным размахом даже для видавших виды снобов и аристократов. Подавалось, сервировалось

лучшее из лучшего. Интерьеры, убранство, обслуживание, музыкальное сопровождение — все вызывало восторг, восхищение, удивление. Невероятное сочетание изыска и роскоши во всем!

Как киноман с шестидесятидвухлетним стажем, благодаря Интернету и поездкам по миру в последние двадцать лет я сумел увидеть тех режиссеров и те фильмы, которые пропустил из-за идеологического занавеса. Оттого могу утверждать, что, начиная с 1925 года, во многих фильмах, где есть желание или необходимость показать роскошную жизнь, везде заметно влияние Фицджеральда, его балов, которые он описывал нам на страницах своего гениального романа. Я мог бы перечислить три-четыре десятка известных фильмов, где явно присутствует Фицджеральд, но ограничусь одним высоким примером. Ф. Ф. Коппола в своем выдающемся фильме «Крестный отец» попытался дать фицджеральдовский бал, но даже у него не получилось. Не удалось передать атмосферу, настроение праздника, изысканную роскошь интерьеров, фантазию ландшафтных архитекторов, утонченность флористов, удививших избалованных гостей диковинными, экзотическими цветами, гирляндами, букетами, клумбами, украсившими этот неземной бал для избранных.

Никакие случайные статисты, заполнившие по воле режиссера воображаемые лужайки и беседки Гэтсби, не в силах передать ауру, царившую по воле писателя в его придуманном раю, ибо на его балах присутствовали интереснейшие из интересных, красавицы из красавиц, родовитейшие из родовитых — люди, отражавшие его время, так как они с Зельдой были среди них Первым принцем и Первой принцессой.

Уверяю вас, сколько будет жить кино, столько и будет попыток воспроизвести фицджеральдовские вечеринки. И я уверен, что когда-нибудь появится режиссер, равный по таланту, мироощущению Фицджеральду, и он снова экранизирует «Великого Гэтсби», и мы обязательно увидим настоящий бал, так мастерски описанный великим Ф. С. Фицджеральдом.

Но Фицджеральд повлиял не только на литературу и кино XX века, более всего, на мой взгляд, он повлиял на жизнь эксцентричных состоятельных людей по всему миру. Думаю, что именно с образом жизни Фицджеральда, его похождениями, тратами, в сознании людей навсегда закрепился термин — «золотая молодежь». Лучших законодателей мод, чем Фицджеральды — Скотт и Зельда, захочешь — не придумаешь. Не думаю, что он сознательно стремился

к особому поведению, эпатажу общества, потому что в его жизни существовала высокая литература, и он четко понимал свое место в ней. Но… хотел ли он этого или нет, после него остался стиль «а ля Фицджеральд», и конца этому стилю не предвидится, ибо вряд ли скоро появится гениальный писатель с повадками блистательного плейбоя.

Как бы наши олигархи ни засыпали Куршавель миллионами и бриллиантами, позволяя себе то, чего не мог позволить Фицджеральд, гулявший на свои гонорары, а не украденные у народа деньги — законодателями шикарной жизни они не стали. Кончили со своими красавицами позором, приводом в полицию, ибо приняли там наших небожителей не за принцев и принцесс, а за сутенеров и проституток. Кроме денег, для красивой жизни необходимо иметь еще «малость» — вкус и культуру. Но и тут без весомого примера о посмертном влиянии Фицджеральда на определенную часть человечества не обойтись.

Когда я начал писать и печататься, у меня время от времени возникало желание замахнуться на что-то подобное из богатой, красивой жизни, хоть краешком похожее на произведение взволновавшего меня писателя. Но каждый раз я быстро трезвел, потому что видел в наших фильмах, театральных постановках, как убого и жалко выглядят там персонажи из высшего света, миллионеры и прочие богатеи — в стоптанных туфлях, коротких и мятых брюках, кургузых пиджаках, рубашках не по размеру, в нелепых галстуках. Пересадить на нашу почву фицджеральдовскую прозу, ее настроение, быт, проблемы — невозможно при любом таланте, мастерстве, фантазии. Другая жизнь, другие проблемы, другие цели, даже другие мечты. На подобное мог замахнуться разве что великий мастер В. П. Катаев, но он эпигоном не был, и Фицджеральд точно не его кумир. А своего учителя, непревзойденного И. А. Бунина, он в конце жизни обошел и по форме, и по стилистике, и по волшебству фразы. Говорю это, преклоняясь перед величайшим талантом обоих.

Не скрою, интерес к чужой, точнее — иной жизни у меня возник после прочтения Фицджеральда. В те годы я запоем читал зарубежную литературу, широко издававшуюся у нас, слушал «вражеские» голоса, отдавая предпочтении не политике, а высокопрофессиональным передачам о культуре, искусстве, джазе. Передачам о крупнейших музеях, библиотеках, оперных театрах мира. Передачам, посвященным известнейшим художникам, дирижерам, исполнителям,

поэтам, прозаикам, выдающимся скульпторам и мировым памятникам культуры. Особенно волновали меня передачи о мире кино и театра, о выдающихся актерах и режиссерах. Я прослушал за эти годы сотни литературных передач Бориса Парамонова и задолго до перестройки знал о Берберовой, Замятине, Гайто Газданове, Набокове, Мережковском, Гиппиус, Одоевцевой, Ходасевиче, Георгии Иванове, Георгии Адамовиче и многих, многих других.

Издав первые книги в Ташкенте и Москве, я, не раздумывая, оставил строительство, ушел на «вольные хлеба» и три-четыре раза в год работал в Домах творчества. С путевками у меня почти не возникало проблем, потому что однажды, в самом начале литературного пути, я прилетел в Ялту, где с упоением писал повесть «Седовласый с розой в петлице», (которая, скажу, забегая вперед, дважды выносилась на редколлегию «Нового мира», но так и не была там опубликована), и моей соседкой на третьем этаже оказалась Ада Ефимовна Шатова, сотрудница Литфонда, ведавшая путевками. Отдыхала она с мужем, военным в высоких чинах, вот она неожиданно и стала моим ангелом-хранителем до конца жизни своей, пусть земля будет ей пухом.

Наверное, как хозяйка путевок она приглядывалась, как работают и отдыхают писатели. Понимая, что появился я в литературе гораздо позже своих сверстников, у которых уже имелось по три-четыре книги, я упорно наверстывал упущенное, работал много даже в курортные месяцы в Пицунде, Коктебеле и Ялте.

Мое трудолюбие бросилось ей в глаза оттого, что просторные балконы не были отгорожены друг от друга глухой стеной и она могла видеть, как задолго до завтрака я уже сидел за тумбочкой на открытой веранде, служившей мне письменным столом, не отвлекаясь ни на соседей, делавших рядом зарядку, ни на море, синевшее далеко внизу, ни на кипарисовый сад, раскинувшийся во дворе. Писал я и в послеобеденное время, когда большинство постояльцев, уморенных морем и жарой, отдыхали. Иногда она заставала меня за работой и в полночь, когда возвращалась из летнего кинотеатра или с прогулок по набережной. Думаю, хорошее отношение ко мне у нее сложилось и оттого, что ее очень донимали шумные соседи справа и снизу. Меня не было слышно вовсе, следуя заветам любимого В. П. Катаева, я никогда не пользовался пишущей машинкой, писал и пишу только от руки. Уезжая, Ада Ефимовна нанесла мне визит, как представитель Литфонда поинтересовалась, доволен ли я условиями Дома

творчества, спросила, что я пишу, и обрадовала тем, что оставила свои телефоны, прощаясь, разрешила обращаться прямо к ней, если возникнут проблемы с путевками.

Спасибо вечное, дорогая Ада Ефимовна, благодаря вам я написал много романов, десятки повестей и рассказов. Я любил Дома творчества, мне в них плодотворно работалось, жаль, что они исчезли навсегда. Наверное, у ее детей или внуков сохранились мои книги, которые я дарил ей с искренней благодарностью.

Но поговорим о вражьих голосах. Зимой в Малеевке, особенно в хорошую погоду, сразу после обеда, а иногда и ночью перед сном, после кино, многие писатели выходили погулять. Кто прогуливался во дворе по тщательно очищенным от снега аллеям, а кто гулял вне территории. Сложился и маршрут до деревни Глухово, где жили многие сотрудники, работавшие в Доме творчества, туда иногда днем писатели бегали за водкой, хотя в обед в писательской столовой работал бар с очень богатым ассортиментом. Гуляли и сложившимися компаниями, и вдвоем, и в одиночку. На прогулку перед сном я выходил, прослушав или «Би-би-си», или «Голос Америки», или «Немецкую волну», или радио «Свобода», где работали перебежчики первой волны из СССР. Ни одной из радиостанций я не отдавал предпочтения, мой интерес зависел от тематики передач. Интересные программы анонсировались заранее, и я их не пропускал, отказываясь и от кино, и от прогулок, даже от интересных посиделок. Заранее ни с кем о прогулке я не сговаривался, мой ночной моцион зависел только от выполнения дневного плана в четыре-пять машинописных страниц. Норма для меня была свята, и я почти всегда выполнял ее.

Выбегая стремительно через зимний сад, я спрашивал у ночной дежурной, кто нынче вышел на прогулку, и спешил на заснеженную улицу, уже зная, кого, где найти. Ибо изучил привычки и Юрия Михайловича Оклянского, и Льва Адольфовича Озерова, профессора Литинститута, и эстета и донжуана Федора Семеновича Наркирьера, и Валентина Дмитриевича Оскотского, написавшего обо мне огромную статью в «Литературном обозрении» и часто упоминавшего мою фамилию в разных престижных списках, что крайне важно было для меня в молодые годы. Искал я на ночных аллеях и своих сверстников, прекрасных поэтов: Игоря Волгина, ныне всемирно известного профессора, крупного специалиста с мировым именем по творчеству Ф. М. Достоевского, талантливейшего Павло

Мовчана, променявшего божий дар на политику, Виктора Гофмана, сына легендарного летчика Генриха Гофмана, Героя Советского Союза, уже в 41-м году бомбившего Берлин, Сергея Поликарпова, первого, с кем сдружился в Малеевке.

Меня распирало от желания сейчас же поделиться впечатлениями о только что услышанной литературной передаче легендарного Бориса Парамонова. Я спешил не только сверить свои оценки, я желал скорее прояснить для себя незнакомые и малознакомые имена, их произведения, которые щедро цитировались, озвучивались профессиональными чтецами и даже именитыми актерами. От передачи к передаче я открывал мало знакомый мне мир высокой литературы, людей, создававших ее.

Разумеется, я слышал, читал, знал и о первой волне русской эмиграции, о прозаиках и поэтах, вынужденных покинуть Россию. Но тут, в Малеевке, общаясь с людьми, которые не только знали творчество русской эмиграции, но и никогда не отделяли ее ни от России, ни от себя, я ощущал глубочайшие провалы в своих познаниях в литературе, от которой был отлучен не по своей воле, не от своей лени или невежества. Я оставил строительство без сожаления и без литературы, вне ее, себя уже не видел. И люди, которых я искал на ночных аллеях сонной Малеевки, как мне казалось в ту пору, могли ответить мне на любой вопрос, касающийся русской литературы, где бы она ни находилась — рядом или «за бугром».

Многим я обязан Льву Адольфовичу Озерову, которого просто обожал, и он, не знаю почему, тоже привечал меня. Наверное, чувствовал, с каким благоговением я отношусь к близким его душе и сердцу именам, или видел во мне благодарного ученика, схватывавшего все на лету. В своих записях я еще вернусь и к Сергею Поликарпову, и к Игорю Волгину, и к Валентину Дмитриевичу Оскоцкому — они заслуживают отдельного разговора, отдельной страницы.

Каждую зиму с 1975 по 1991 год я регулярно жил в Малеевке, чаще всего два срока кряду, и никогда не переставал учиться у достойных людей, которых было гораздо больше, чем я назвал. Я уже давно мог сам учить других, как говорили мне мои профессора, но я не прерывал «занятий». Мои университеты в Малеевке затянулись на десятилетия, и порой я ощущаю, что окончил там несколько факультетов. Это был редкий университет, закрытый навсегда, где выдающиеся профессора семестр за семестром давали знания одному благодарному студенту.

Прервемся ненадолго. Малеевка тоже обогатила мои знания о Фицджеральде. Факты его биографии и творчества, которые я узнал, опять же из вражеских голосов, нужны мне для того, чтобы мои утверждения о влиянии писателя на образ жизни эксцентричных богатых людей, на весь оставшийся после него XX век не были голословными и не держались лишь на моих личных впечатлениях от его гениальных романов.

Время от времени звучали, особенно на «Би-би-си», очень любимом Игорем Волгиным, любопытные передачи политического обозревателя Владимира Максимова о светской жизни, которые я слушал так же жадно, как и передачи Бориса Парамонова. Надеюсь, вы простите мое легкомыслие, но я был молод, желаний — океан, жаждал иной жизни.

Мне было интересно, что выставляет музей Гугенхайма в Нью-Йорке или в своем филиале в Венеции, интересен был и Музей современного искусства в Ка Пезаре, там же в Венеции, не говоря уже о подобном музее в Мюнхене. А как же не прослушать передачу о музее Шагала в любимой Фицджеральдом Ницце? Как не узнать, какие премьеры ожидаются в Ла Скала, Ковент Гардене и Метрополитен Опера, в которых я никогда не бывал и даже не мечтал, что когда-нибудь открою их двери. Мне нравилась новая итальянская машина «Мазерати», потеснившая в престижности чопорные, на мой взгляд, «Роллс-Ройс» и «Бентли», которые я случайно увидел в журнале «Америка». Как же не поинтересоваться тем, что сняли Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Витторио де Сика, Доминико Домиани, Бернардо Бертолуччи, Паоло Пазолини, Акиро Куросава, Ингмар Бергман, Луис Бенуэль, Кшиштоф Занусси, Билли Уайлдер, Альфред Хичкок, Жан-Люк Годар…Кино находилось в золотой поре, кто бы мог представить, что к концу XX века уже не будет ни итальянского, ни немецкого, ни французского кино?!

Нынешним молодым кажется, что только с Абрамовичем и новыми русскими мир увидел роскошные яхты, личные самолеты, часы с турбийоном, цена которых зашкаливает за миллион, в них щеголяют российские чиновники среднего ранга. Все было и прежде, и в гораздо более увлекательной форме, и передачи о жизни небожителей тоже звучали интересно и поучительно. Я слушал программы о многих из них, но в памяти осталась лишь одна, и только потому, что она скроена по фицджеральдовским лекалам. Но сначала — о самом герое передачи, чья жизнь часто вспоминается мне потому, что он мой современник и жив до сих пор.

***

А поведать я хочу о человеке без тормозов, он умел зарабатывать миллиарды и тратил их без оглядки, без сожаления, со вкусом, широко, с шиком. Я имею в виду легендарного плейбоя семидесятых — восьмидесятых Аднана Кашоги.

Он — сириец по происхождению, из простой семьи, отец его служил врачом у короля Саудовской Аравии Абдель Азиза. Первые десять тысяч долларов Аднан заработал в США, куда приехал учиться. Восемнадцатилетний первокурсник становится в Сиэтле агентом завода грузовых машин. В 1956 году ему удалось запродать эти грузовики саудовской армии, был ему в ту пору двадцать один год. Одолел Кашоги только три семестра университета в Чикаго, хотя начинал в Денвере, мечтал стать нефтяником, далеко смотрел. Не сложилось, но нефть, если и не добывал, то продал ее — океан. Уже с первых своих скромных заработков он начал давать запоминающиеся приемы с изысканно накрытыми столами и непременно с красавицами из своего университета. В двадцать лет напористый дилер представляет в Эр-Рияде «Крайслер», «Роллс-Ройс», «Фиат» и две всемирно известные вертолетные компании.

Когда в 1964 году на трон взошел король Фейсал, дела Аднана Кашоги пошли резко в гору. Он стал единственным посредником по продаже американского оружия арабам. К тому времени он только приближался к своему первому миллиарду. Настоящие деньги пошли к нему после арабо-израильской войны 1973 года, когда нефть впервые резко подорожала, а все напуганные арабские страны начали лихорадочно вооружаться. В те годы Кашоги и создал свою финансовую империю, оцениваемую в четыре миллиарда долларов.

Его домом поистине был весь мир — он имел дела в тридцати семи странах! Только огромных имений, разбросанных во всех частях света, у него было двенадцать. Знаменито ранчо площадью 200 000 акров в Кении, куда на охоту на львов, леопардов, слонов приезжали президенты, члены королевских фамилий и простые миллиардеры. Организация такой охоты стоит миллионы долларов и считается высшим шиком среди избранных.

Он имел дворцы в Марбелье, которые Абрамович и Гусинский только-только обживают, дворцы на Канарских островах, столь модных в семидесятых. А невиданной архитектуры апартаменты, обставленные с немыслимой роскошью: в Париже, Лондоне, Каннах,

Мадриде, Риме, Монте-Карло, в прекрасном Бейруте, еще не разрушенном войной, Эр-Рияде, Джидде!

Владел он и двумя этажами роскошного небоскреба на Манхэттене. Его яхта «Набилла» с площадкой для вертолетов была столь роскошна, что затмила яхту «Британия» английской королевы, до того считавшуюся эталоном величия и красоты. Да что — затмила! Ехидные журналисты писали, что в сравнении с «Набиллой» яхта королевы выглядела туристическим паромом для простолюдинов. Его автопарк, состоявший из всех известных в мире супердорогих машин, изготовленных для Кашоги индивидуально, приближался к двум сотням!

Собирал он и живопись, и антиквариат, но это отдельная тема, о коллекции Кашоги мы, наверное, узнаем только после его смерти. Об одежде, обуви, драгоценностях Кашоги как-то и упоминать неловко, все делалось в единственном экземпляре, без права повтора.

В начале восьмидесятых он купил за четыре миллиона долларов самолет, надежный «Ди-Си-8», и переоборудовал его по своему вкусу, потратив для этого еще девять миллионов. Газеты того времени взахлеб писали о соболином покрывале размером три с половиной на два с половиной метра и стоимостью 200 000 долларов в его спальне на борту лайнера. Писали и том, что в самолете, имевшем три спальни, гостей годами угощали только французским шампанским «Шато Марго» 1961 года, не забывая упоминать о столовом серебре и хрустале стоимостью в миллион долларов, разумеется, сделанных для Кашоги в единственном экземпляре известными кутюрье.

Лев по гороскопу, он был тщеславен, самолюбив, щедр до безрассудства. Даже бывшей жене, принцессе Сурайи, которой при разводе дал отступного два с половиной миллиарда, однажды подарил на Новый год рубиновое колье стоимостью два миллиона долларов. В том же году на Рождество он и новой жене Ламии подарил ожерелье из бриллиантов, изумрудов, рубинов стоимостью почти в три миллиона.

В 1985 году Аднан Кашоги отмечал пятидесятилетие, о котором с восторгом писали все глянцевые журналы мира, все скандальные и светские газеты. Правда, в его жизни были приемы гораздо круче, шумнее — так он гулял в молодости. Но и это «тихое» празднество в имении «Ля Барака» на Средиземном море собрало пятьсот именитых гостей со всего света, а таких особ сопровождают еще три-четыре десятка слуг. Торжество длилось три дня, засняты

были сотни километров кинопленки, сделаны десятки тысяч фотографий, разошедшихся по всем мировым изданиям. Даже сегодня эти снимки выплывают то тут, то там, поражая наше воображение.

Кульминацией праздника оказалась поздравительная телеграмма от американского президента, она гласила: «Наилучшие Вам пожелания, Аднан. Ронни и Нэнси Рейган».

Кашоги вообще был накоротке со всеми американскими президентами, и с европейскими тоже, а в королевских семьях и вовсе считался своим человеком.

Для нынешнего читателя хочу добавить свой комментарий: растраченные с шестидесятых по восьмидесятые годы нашим героем гигантские суммы сегодня следует умножать на коэффициент двенадцать — чтобы почувствовать масштаб в современных цифрах. В ту пору доллар был другим, полновесным, да и цены были другие.

Свой комментарий хочу подтвердить сценой из романа тех лет Ирвина Шоу «Вечер в Византии», где тоже показана роскошная жизнь. В Венеции на веранде дорогого ресторана сидят финансовые магнаты, и, чтобы подчеркнуть богатство этих людей, автор пишет: «в стодолларовых рубашках от Кардена…». Ныне рубашки от Китон, Лилиан Вествуд идут уже и по тысяче долларов, а Карден есть Карден.

Кашоги и сегодня жив, в следующем году он отмечает свое 75-летие. Он никогда не был администратором, не имел системного образования, всегда руководствовался только интуицией. В начале девяностых Аднан Кашоги понес огромные потери — время романтических авантюристов закончилось. Денег заметно поубавилось, и он не сорит ими как прежде, да и устал — видимо, возраст сказывается. Но он оставил свой след и в деловом мире, и в светской жизни XX века. Его запомнят как человека, растратившего несметные богатства без сожаления. Запомнят, потому что на смену ему пришли другие богатые.

Невольное сравнение. Миллиардер Гусинский, когда попал в «Матросскую тишину», захватил с собой в общую камеру холодильник, а освобождаясь, забрал его с собой. Почувствуйте разницу, как советует рекламный слоган.

Заканчивая историю феерического пути Аднана Кашоги, с которым я прожил один временной отрезок, отмеренный нам Всевышним, пытаюсь хоть как-то соотнести его жизнь со своей, понимая, что никакой связи, параллелей быть не может, даже теоретически — другие

миры, другая жизнь, другая судьба. Но мысль, не дававшая мне покоя несколько дней, заставила вспомнить реальную историю из моей жизни, и, я думаю, следует рассказать о ней.

История эта может показаться писательским вымыслом, фантазией, чтобы хотя бы тончайшей нитью увязать наше бытие с жизнью легендарного мультимиллиардера Аднана Кашоги. Но что было — то было, и я благодарен памяти, выудившей со своего дна эту историю, которой уже сорок восемь лет. Слава Всевышнему, еще в этом мире находятся люди, о которых пойдет речь, некоторые из них до сих пор еще живут в Ташкенте, с другими я по сей день общаюсь в Москве, Казани.

Осенью 1962 года, когда Аднан Кашоги стал представителем «Роллс-Ройса» и «Крайслера» в Эр-Рияде, я получил в Ташкенте место в общежитии для ИТР Авиационного завода на Чиланзаре. Комендантше я чем-то понравился, и она говорит: «Поселю-ка я вас к хорошим людям!» Хорошие люди оказались дипломниками Казанского авиационного института, приехавшими на практику. Среди них был и сын тогдашнего директора Ташкентского авиазавода Герман Поспелов.

Общежитие оказалось типовой пятиэтажкой, и студенты жили в квартире из четырех комнат, одна из которых была оборудована под холл с телевизором, диваном, сервантом с посудой, а в остальных жили мы. Было нас человек десять. Из местных, кроме Поспелова, был и Геннадий Внучков, позже очень известный в Узбекистане человек. Он стал секретарем парткома завода, секретарем горкома партии. Страхуюсь фамилиями для подтверждения достоверности истории. Герман и Гена жили дома, на Урде, но имели свои кровати и у нас. Дипломные проекты тех лет отличались серьезностью, и они по ночам часто корпели над чертежами.

Ташкент шестидесятых — баснословно дешевый город, сухие вина «Хосилот», «Баян-Ширей», «Ак-Мусалас» стоили по шестьдесят семь копеек, а ведро персиков — три рубля. Сходить в хороший ресторан с девушкой можно было за десять рублей. Фантастическое время!

Днем дипломники работали мастерами в цехах и деньги получали приличные. Мы были молоды, азартны, по вечерам дома бывали редко. Но иногда перед получкой, когда сидели на мели, коротали вечера у себя в холле. Если о походе в ресторан «Шарк», «Зеравшан» или в мою любимую «Регину» не могло быть и речи, то накрыть стол с сухим вином, фруктами проблем не возникало. Заводилой в нашей компании,

ее лидером стал москвич, сын заместителя Генерального прокурора СССР Николая Венедиктовича Жогина Валентин. Жогин-старший работал вместе с Руденко, возглавлявшим Нюрнбергский процесс. Вот откуда тянутся корни моего интереса к прокурорским историям.

Однажды глубокой осенью мы собрались вечером в холле за скромно накрытым столом. Сегодня, через сорок восемь лет, когда я пишу эти строки о застолье на Чиланзаре, мне кажется, что в тот же ноябрьский вечер Аднан Кашоги тоже давал прием, а вокруг него порхали его подруги из университета, который он оставил без сожаления. Время для Аднана означало — деньги.

Вечер поначалу не складывался, и Валентин, чтобы как-то встряхнуть нас, предложил игру — как истратить миллион, если бы он был у каждого из нас. Идею от скуки приняли «на ура». Быстро накрутили бумажки и начали тянуть жребий — мне выпало выступать четвертым. Все трое студентов, выступавших передо мной, были из Казани — не из простых семей и старше меня года на три-четыре, а в молодости это — серьезная разница. Первых «миллионеров» я слушал вполуха, мои фантазии уже вырвали меня из убогой «хрущевки» и понесли в неведомый сказочный мир прожигателей жизни. Голос Жогина вернул меня за наш скромный стол, и я, уже разгоряченный фантазиями, начал…

В Ташкенте стояла слякоть, шел дождь с мокрым снегом — пора сырого предзимья, и я сразу из заводской общаги перебрался на острова Фиджи в далеком и теплом океане, там как раз начинался курортный сезон для миллионеров. Тут я должен оговориться, что мои предшественники «миллионеры» из Казани ни разу не покидали страну, а я подумал: гулять — так гулять. В 1962 году, а это были годы хрущевской оттепели, счастливые сограждане, а точнее — избранные, уже колесили по миру, мог же я и себе позволить хотя бы… теоретически. В ту пору миллион рублей равнялся почти полутора миллионам долларов, об обмене по курсу я объявил сразу, что было встречено восторженным ревом, в котором я кое у кого все же уловил нотки зависти.

На островах среди роскошных пальм, на золотых пляжах я пробыл три недели, одиночество мне скрашивала очаровательная француженка русского происхождения, и вместе с ней я переехал в Европу. Прибыли мы в Зальцбург, где давали ежегодные зимние балы, затем перебрались в Вену, я давно грезил венской оперой и венскими кафе, где звучали вальсы Штрауса. Потом на недавно появившейся

в ту пору роскошной машине «мазерати», которую мне доставили прямо в Вену, мы с Жаннет перебрались в Париж.

Рассказывал я о шикарных отелях, где мы жили, о ресторанах, в которых я никогда не бывал, но ясно их видел, заказывал такие закуски, вина, диковинные блюда, от которых, наверное, у бедных дипломников текли слюнки. Перечислял, какие драгоценности я дарил своей очаровательной спутнице, каким гардеробом обзавелся, какие шикарные швейцарские часы «Шафхаузен» приобрел (через много лет я узнал, что такие часы носит знаменитый немецкий киноактер Клаус Мария Брандауэр).

Фантазии сорвали меня со стула, я кружил по тесному холлу, изображая, какие томные танго танцевал с Жаннет на приемах или в ресторанах, изображал, какие курил сигары (которые сегодня снова входят в моду), это вызывало единодушный восторг, сопровождавшийся возгласами: во дает!

Когда меня утомил слякотный Париж и я собрался переехать южнее, в Венецию, где уже зацвели каштаны, и в знаменитом кафе «Флориан» вынесли столики на улицу — меня вдруг одновременно, словно сговорившись, прервали те, кто должен был выступать после меня. И Жогин, перекрывая гвалт, восторженные крики, сказал: «Рауль, возьми наши миллионы, мы хотим путешествовать с тобой!».

Но тут-то и произошла самая замечательная сцена за весь дивный вечер. Один из казанцев, выступавших передо мной, с нескрываемой обидой, словно их бросили, растерянно пробормотал: а как же мы?

Раздался гомерический хохот, и игра на этом закончилась.

Сегодня, бывая на Лазурном берегу или в Венеции, вспоминаю тот осенний вечер в Ташкенте. Добравшись сюда запоздало, через десятилетия, я не испытываю той радости, которую испытал тогда, в те минуты, когда потешал давних друзей фантазиями о роскошной жизни.

И вспоминаю я не Кашоги и других моих современников, красиво прожигавших здесь жизнь, память возвращает меня в начало века, в эпоху героев Фицджеральда. Вот они умели гулять красиво, со вкусом, достойно. В принципе, они были первыми прожигателями жизни на длинной дороге в целый век. Я прекрасно понимаю, что герои Фицджеральда не могли позволить себе того, что позволял себе Аднан Кашоги.

Нет, я не завидую Аднану Кашоги, своему современнику, я завидую времени, когда он посещал эти благословенные места. Его и мое

время было другим, оно вписывалось в рамки культуры, приличия. Нынче богатство стало агрессивным, злобным, вульгарным. Выскажу парадоксальную мысль: слишком много стало богатых, имею в виду только миллионеров. На днях объявили, что и у нас, в нищей России, их уже больше трехсот тысяч, это выявленных налогоплательщиков, а в реальности опять нужно умножать на десять. А сколько их, богатеев, в зажиревшей Европе, Америке и вообще в мире? И все они спешат в Старый Свет, оттого затоптаны самые желанные, романтические места, воспетые поэтами, художниками. Думаю, что нынешнее время даже богатеям не в радость, и мне невольно приходит на память строка Тимура Кибирова: «Грядет чума, готовьте пир». Кстати, это — эпиграф к моему бестселлеру — роману «За все — наличными».

И все-таки, пытаясь рассказать вам об Аднане Кашоги, о давнем воображаемом путешествии по свету с полутора миллионами в кармане, когда я не слышал еще о великом плейбое ни слова и когда у нас обоих все было впереди, я вдруг понял, что время сроднило меня с ним. Все в мире упирается в определенные сроки, и я желаю легендарному Кашоги, так красиво поражавшему мир в XX веке, здоровья и успехов в оставшейся жизни.

Передачи об Аднане Кашоги я слушал в нескольких вариантах, на многих радиостанциях и от разных авторов. Никто, видимо, не хотел уступать столь волнующую западного обывателя тему другому — современную сказку «Тысяча и одна ночь», у которой был реальный принц. В комментариях о жизни Аднана Кашоги участвовали люди, тесно соприкасавшиеся с ним: архитекторы, дизайнеры, известные сомелье, рестораторы с мировым именем, включая месье Бокюза, Дюкасса и самого Мишлена, композиторы и дирижеры, которым была поручена музыкальная часть вечеринок. А главные люди на этом балу, чьим замыслам подчиняются абсолютно все — режиссеры-постановщики, которым доверяют проведение самых крупных торжеств. Режиссеров, умеющих организовать балы для небожителей, разыскивают по всему миру, и требования к ним гораздо жестче, чем к оперным дирижерам «Метрополитен Опера» или режиссерам в Голливуде, создающим фильмы с бюджетом в сотни миллионов. Они мало известны общественности, но их гонорары превышают ставки великих теноров и кинозвезд. Они званы на все значительные светские мероприятия, их задабривают заранее, на всякий случай — вдруг пригодятся. Вот эти люди, участвовавшие в передачах о Кашоги, все как один ссылались на желание Аднана, чтобы эти вечера затмили фантазию

Фицджеральда, которого он, оказывается, боготворил, как и я. Позже я наткнулся на пространное интервью Кашоги влиятельному парижскому журналу, где он признался, что всю жизнь ориентировался на вкус великого Фицджеральда и его героя Гэтсби. Кашоги жалел, что писатель не дожил до тех дней, когда он начал давать по всему миру свои знаменитые приемы, на которых Ф. С. Фицджеральд был бы его самым желанным гостем.

Заручившись признанием легендарного Кашоги, закроем тему, начатую с романа «Великий Гэтсби».

Как Фицджеральд повлиял на меня как писателя? Однажды большой поэт Мустай Карим, прочитав мою повесть «Чти отца своего», прислал мне письмо. Он писал: «точно передано настроение потерь, убывающая дружба, расхождение путей с близкими…». Эти строки говорят о том, что я пытался ухватить что-то важное из творчества моего кумира.

***

Год 1964-й — я уже три года живу в Ташкенте. Перед матчами любимого «Пахтакора» мы с друзьями собираемся по традиции в баре ресторана «Ташкент», от которого до стадиона десять минут хода мимо прекрасного сквера имени Гагарина, раскинувшегося вдоль текущей с ледниковых гор реки Анхор.

Бар в отеле не имеет свободного доступа, проход через гостиницу, где дежурят вальяжные швейцары в шитых золотом мундирах, и через ресторан, где на входе стоят бесцеремонные вышибалы. Но Ибрагим Юсупов — балетмейстер и Нариман — аптекарь, о которых, в свой черед, еще много будет сказано, тут свои люди, завсегдатаи. Для них любезно распахиваются в Ташкенте любые двери. За столом мы пока втроем, перед нами изящная хрустальная ваза с фисташками и две охлажденные бутылки белого сухого вина «Баян-Ширей», вино только пригубили, дожидаемся запаздывающих друзей. Ибрагим, как всегда, азартно жестикулируя, рассказывает о предстоящей премьере балета на музыку композитора Кара-Караева «Тропою грома». В это время со стороны ресторана в бар вбегает высокий юноша лет восемнадцати, в кепи-аэродроме, в ярких голубых брюках и пестрой, навыпуск, рубашке и плюхается в глубокое кожаное кресло у нас за столом. Одним движением руки он срывает с головы свое модное кепи и бросает его под стол, и тут же, без суеты, берет бутылку, наполняет стоящий перед ним чужой пустой

бокал и разворачивается к Ибрагиму лицом — весь внимание, уважение. Все это незваный юный гость проделал за секунды, с блеском, артистично, никто со стороны, даже если бы и видел, не подумал, что за столом появился чужак. Ибрагим, не изменяя тональности, продолжает рассказывать о грядущей премьере. Не прошло и пяти минут, как юноша встал, поблагодарил за вино и, очень галантно раскланявшись, не спеша покинул бар, но уже через гостиницу.

Я спросил: кто это? Ибрагим, не желая отвлекаться от любимой темы, обронил: Ромка-Курятник, у него сестра такая красавица! Но тут подошли запоздавшие друзья, и продолжения разговора о Ромке-Курятнике и о балете Кара-Караева не получилось — футбол торопил.

Чуть позже я несколько раз встречал этого юношу из известной еврейской семьи с набриолиненным коком у кинотеатров «Искра» и «Молодая гвардия», украшавших ташкентский «Бродвей», там всегда тусовалась «золотая молодежь» столицы. Но даже среди элитной толпы Ромка-Курятник выделялся — рослый не по годам, одетый с вызывающей яркостью, с нескрываемой надменностью к окружающим на лице.

После печального землетрясения в Ташкенте не стало ни «Бродвея», ни «Искры», и я больше никогда не встречал Ромку-Курятника и даже не слышал о нем… Что бы это означало? И почему он тогда бесцеремонно ввалился к нам, взрослым, авторитетным молодым людям в баре за стол? От кого, почему убегал? Это осталось для меня тайной. Но… забытая тайна откроется мне спустя сорок лет, когда я буду жить в Москве.

Наткнувшись случайно в криминальной хронике известной газеты на сообщение о Ромке-Курятнике, я, конечно, вспомнил далекие шестидесятые годы, Ташкент, футбольный день в баре знаменитого ресторана и юношу-стилягу с надменным выражением лица, вечно торчавшего на «Бродвее» у рекламных афиш сгинувшей навсегда «Искры». Я с грустью подумал, что есть тысячи, сотни тысяч достойных людей, но о них никогда не появится печатная строка, даже некролог. А о смерти Ромки-Курятника написали все центральные газеты России, о бульварной прессе и говорить не приходится. Сообщение гласило: «Сегодня, на рассвете, в Москве, рядом со своим домом убит известный в криминальном мире 55-летний Роман Александрович Беренштейн, по кличке Ромка-Курятник. Убитый возвращался из казино, где всю ночь играл по-крупному в карты, и уехал под утро

на своем «Мерседесе» с солидным выигрышем». Дальше в статье с большим портретом рассказывалось о жизненном пути выдающегося картежника, начинавшего свой путь в жарком Ташкенте. Курятник, оказывается, рано перебрался в Москву и быстро стал в столице известным каталой, авторитетным человеком в уголовном мире. В статье говорилось, что последние годы он часто выступал в роли третейского судьи, разводил конфликтующие стороны, где спор шел на миллионы долларов. А такое доверяется только очень авторитетным людям. Намекалось, что и смерть его связана с каким-то судебным решением, а не с картами. Картежный выигрыш и пистолет, который Ромка-Курятник успел все-таки достать, остались при нем, что подтверждало версию милицейских экспертов.

Вот так запоздало открылась еще одна ненужная мне тайна чужой жизни.

***

В 2009 году я возвращался из Китая с супругой Ириной, куда ездил на операцию из-за последствий старого покушения. В ту пору прямых рейсов в Урумчи не было, и летели мы через Астану. Кстати — летайте, при возможности, только с «Эйр Астана», самолеты у них — новые «Боинги», летчики — английские и немецкие, не приученные экономить на керосине, и взлетать в грозу и ураган по первому окрику прижимистого начальства не станут. Да и диспетчеры у них в основном европейцы. А уж как кормят, какой выбор напитков предлагают на борту казахи — и сравнить не с кем, я летал часто и французскими авиакомпаниями, и английскими, и швейцарскими, правда, можно сравнить лишь с сингапурскими и катарскими, если кому посчастливилось летать с ними.

В Астане проживает много моих земляков-актюбинцев, поэтому встречали и провожали меня близкие друзья — Серик Бимурзин и Арынгазы Беркинбаев, чей предок Бердисалы Беркинбаев сто сорок лет назад основал наш родной город Актюбинск. Прадед моего друга Арынгазы поставлял казахских скакунов для кавалерии царской армии и не раз встречался с самим государем, фотографии сохранились. Портрет Бердисалы Беркинбаева кисти великого В. Верещагина выставлен в Эрмитаже. Встречал меня вместе с Арынгазы и легендарный Серик Бимурзин, тоже актюбинец, очень незаурядная личность: плейбой, денди, восьмикратный чемпион мира по кикбоксингу, полковник милиции в отставке. Кстати, в январе 2011 года на открытии

зимних Азиатских игр в Актюбинске мы с Сериком несли факелы с олимпийским огнем. О Серике можно писать и писать, но не буду по уважительной причине — на выходе книга о нем, не хочу раскрывать секреты. А вот об Арынгазы просто обязан сказать, людей с такой родословной и биографией, к сожалению, немного.

У Арынгазы три старших брата, с пятилетнего возраста он никогда не общался со сверстниками, а постоянно увязывался за братьями, и хотя они часто пытались избавиться от него, это им редко удавалось. Арынгазы всегда находил их, будь они в ресторане или на танцплощадке, он знал всех их друзей и подруг.

Курить он начал в пять лет — курил только «Казбек» или «Герцоговину Флор», любимую Сталиным за редкий сорт табака. Хромтауский судья мог себе позволить такие дорогие папиросы, его пятилетний сын, позже одноклассник Арынгазы, каждый день таскал у отца нашему герою две-три штуки. Но через месяц Арынгазы бросит курить навсегда — не понравилось.

В первом классе Арынгазы влюбится на всю жизнь, старшие блатные ребята, жившие по соседству в шахтерском бараке, сделают ему наколку тушью на тыльной стороне правой руки — «Алия». Через год Арынгазы крепко разочаруется в своей ветреной пассии и скажет ей, что она недостойна его любви. На что шустрая Алия ехидно заметила: «Разлюбил — не разлюбил, а я у тебя буду красоваться на руке всю жизнь, и жена твоя всегда будет ко мне ревновать». Такая перспектива сильно испортила настроение дерзкому мальчику, и он приуныл на целую неделю. Он даже подумывал носить перчатку на правой руке. А как же писать в перчатке? В первом классе пишут много, даже предмет «Чистописание» есть. В общем, не вышло. Выручили опять же блатные, один старик, бывший заключенный, прошедший печально известный Карлаг — карагандинские лагеря, сказал отчаявшемуся мальчишке: «Есть способ, но вряд ли ты его выдержишь. Не всякие мужчины на зоне решаются на этот шаг, даже тогда, когда в этом есть жизненная необходимость. Присказка — «наколка важнее паспорта», родилась не на воле».

«Я выдержу»,— не моргнув глазом, сказал повеселевший мальчуган. Нашли опытного татуировщика, и он целый месяц выжигал серной кислотой недостойную Алию с руки семилетнего мальчика. С тех пор старшие блатные ребята в Хромтау здоровались с ним за руку первыми. В пятнадцать лет его известность перевесит славу всех старших братьев, вместе взятых — тоже не совсем простых ребят.

Характер, настоящий характер, он всегда вынесет человека на поверхность жизни. Арынгазы получит высшее образование, станет заслуженным мастером спорта по вольной борьбе, совсем молодым будет одним из руководителей Хромтау, а дальше жизнь понесет его только по восходящей — Актюбинск, Астана…

В начале девяностых годов Арынгазы организует чемпионат мира по вольной борьбе в Актюбинске, построит мемориал Котебару-батыру, когда будет возглавлять район в Кандагаче. Женится на красавице блондинке Лизе — немке из Чимкента, уедет с семьей на три года в Германию учиться банковскому делу и бизнесу. Овладеет немецким языком в совершенстве, и это откроет ему двери в большой мир. Вырастит двух прекрасных дочерей, на свадьбе которых мы, конечно, побывали, есть у него внуки, внучки. Одно жаль — недавно ушла из жизни любимая Лиза, умерла она у нас в Москве, в больнице. В память о ней он построил из белого камня удивительной красоты мавзолей. Вот какой у меня друг, называющий меня старшим братом. Успехов тебе, дорогой брат Арынгазы, семейного счастья, счастья твоим детям, внукам, твоему народу.

Но вернемся в аэропорт Астаны.

Поскольку я — почетный гражданин Казахстана, улетали мы через VIP-зал. Рейс выпал ранний, и зал, когда нас провели туда, пустовал, но уже через двадцать минут у входной двери появилась шумная компания, и я понял сразу, что провожают какого-то высокого гостя. Я не ошибся — провожали… Юрия Николаевича Григоровича. В те дни в Астане проводился большой балетный фестиваль, и Юрий Николаевич возглавлял жюри, знал я это из газет.

Провожали высокого гостя два заместителя министра культуры Казахстана, известный хореограф Булат Аюханов, который с труппой танцовщиков «Балет Алма-Аты» объездил весь мир, с ними еще несколько балетмейстеров уже нового поколения, которых я, к сожалению, не знал. Один из высоких чиновников, увидев меня в пустом зале, поспешил к нам с супругой. Разрываться ему между нами и московскими гостями, видимо, не хотелось, там, вдали, стоял накрытый в честь Григоровича стол, и он, любезно взяв нас с Ириной под руки, сказал: «Я хочу представить вас, нашего земляка, дорогому гостю». Когда он представил меня Юрию Николаевичу и мы обменялись любезностями, я сказал мэтру: «Дорогой Юрий Николаевич, а я вас знаю с 1964 года, нас познакомил ваш ученик, теперь уже лет тридцать народный артист СССР — Ибрагим Юсупов».

«Ибрагим! — воскликнул с восторгом, как-то по-молодецки, очень устало выглядевший балетмейстер,— любопытно, любопытно, расскажите подробнее».

Мы сели за изысканно накрытый стол, и нам тут же разлили французское шампанское «Тайтингер». Юрий Николаевич поднял бокал: «Давайте выпьем за Ибрагима, он — мой ученик, очень талантливый, поставил много достойных балетов. Помните балет на музыку Кара-Караева «Тропою грома»?». И мы выпили за друга моей ташкентской юности Ибрагима Юсупова.

— Ну, а теперь подробнее про наше знакомство, вы меня заинтриговали.

— В 1964 году в Москву впервые прибыла из Парижа балетная трупа «Гранд-опера», они привезли два одноактных балета, «Сюита в белом» и «Коппелия», в заглавных партиях танцевали Клерр Мотт и Пьер Бонфу. В обоих спектаклях танцевала и балерина Вера Бокадоро, француженка, она тоже ваша ученица, училась с Ибрагимом на одном курсе.

Тут Юрий Николаевич зааплодировал и сказал с грустью:

— Как давно это было! Сорок пять лет назад…

Осушив еще раз бокалы, теперь уже за здоровье самого мэтра, я продолжил:

— О гастролях мы с Ибрагимом знали еще за месяц до их начала — в декабре. Бокадоро позвонила Ибрагиму в Ташкент и попросила его обязательно приехать в Москву, я думаю, у них в ГИТИСе был роман. Поскольку балетоманов в Ташкенте было немного, а я ходил не только на все балетные спектакли, но и посещал прогоны, репетиции, знал по именам всех солистов и даже весь кордебалет, Ибрагим предложил мне вдвоем слетать в Москву. Надеюсь, вы понимаете, от такого предложения нельзя было отказаться — французский балет, «Гранд-опера» впервые в СССР! Как бы я ни был рад приглашению, все же спросил: «А билеты? Как мы попадем в Большой театр?» О том, что такое билеты на обыкновенные балетные премьеры в Москве, я знал лучше Ибрагима. «Не беспокойся, прорвемся, Вера обещала контрамарки»,— заверил меня Ибрагим.

В день открытия гастролей во время репетиции французской труппы мы с Ибрагимом пришли к служебному входу Большого театра, где нас поджидала счастливая Вера Бокадоро. Вот она, Вера, и устроила нам встречу с вами, и мы из ваших рук получили контрамарки на служебные места.

Чувствуя, что Юрию Николаевичу приятно вернуться в свою молодость, я продолжил:

— А вот на премьеру «Спартака» в вашей редакции, который уже почти полвека не сходит с балетных сцен, я пришел сам.

Я напомнил Юрию Николаевичу и его провожатым, какие дивные декорации и костюмы создал к «Спартаку» театральный художник Сулико Вирсаладзе — отец выдающейся пианистки Этери Вирсаладзе. Отметил и музыкальную мощь гения Арама Ильича Хачатуряна, написавшего неувядаемую музыку к балету, и зрители впервые услышали ее на премьере «Спартака». Оркестром в тот день дирижировал несравненный Натан Рахлин.

Тут подоспел тост хозяев стола, они предложили поднять бокалы за бессмертный балет «Спартак», до сих пор идущий в первичной редакции Григоровича на казахских сценах.

Юрий Николаевич выглядел и растроганным, и радостным, и счастливым, ему было приятно, когда говорили о его любимом балете, принесшем ему мировую славу. Поистине, со «Спартаком» он стал признанным балетмейстером мирового масштаба.

Понимая ситуацию, я продолжил:

— Наверное, теперь мало кто знает, что впервые после вас, Юрий Николаевич, «Спартак» поставил с вашего разрешения Ибрагим Юсупов. «Спартак» Юсупова, скроенный по вашим лекалам, рождался на моих глазах.

— А кто танцевал Спартака? — перебил меня нетерпеливо Юрий Николаевич.

— Васильев.— Увидев сомневающиеся глаза многих, я вынужден был повторить: — Да-да, как и у вас — Васильев, только Васильев наш, ташкентский, по габаритам он — близнец московского Спартака. Васильев в России, оказывается, балетная фамилия, я встречал Васильевых и в Перми, и в Ленинграде, и в Краснодаре. Красса танцевал Игорь Ильин, вскоре перебравшийся в Ленинград. А в женских партиях блистали тоже известные балерины: Галия Измайлова и совсем юная Бернара Кариева.

— А кто оформлял декорации, снова Сулико Вирсаладзе? — спросил меня, как на экзамене, Григорович.

— Нет, оформлял известный художник из Еревана Ашот Мирзоян, но его рекомендовал сам Арам Ильич Хачатурян, и Ибрагим не мог отказать маэстро, хотя у него на примете был молодой ташкентский художник. Жаль, вы, Юрий Николаевич, не смогли приехать

на премьеру ташкентского «Спартака», вас очень ждали, в афишах тех лет сохранилось сообщение, что вы будете на премьере.

— Да, я не только обещал, но и действительно хотел приехать — я ведь консультировал Ибрагима с первых репетиций, он приезжал ко мне советоваться, а уж звонил каждую неделю. Мне важно было знать, видеть, как примет «Спартака» зритель далеко от Москвы. Но не получилось слетать в Ташкент, важный правительственный концерт неожиданно объявился в честь какого-то заморского президента, сейчас уже и не помню какого.

— А кто дирижировал оркестром? — словно продолжая экзамен, спросил меня увлеченный воспоминаниями Григорович.

— Захид Хакназаров — в ту пору, несмотря на молодость, уже известный в стране дирижер. Конечно, и дирижер, и оркестранты превзошли себя, потому что на премьеру прилетел сам маэстро Арам Ильич Хачатурян.

Похвалюсь запоздало, Ибрагим поручил мне все три дня пребывания композитора в Ташкенте сопровождать высокого гостя повсюду. Мне даже по звонку сверху оформили на работе отпуск на эти дни. Три дня рядом с Хачатуряном! Я помню эти дни, как будто это было вчера. Арам Ильич дважды посетил репетиции оркестра и делал какие-то замечания и дирижеру, и оркестрантам.

В Ташкенте в ту пору проживало много армян, даже мэром Ташкента был армянин — легендарный строитель С. Саркисов. В те дни, находясь рядом с Арамом Ильичом, я перезнакомился с армянской элитой Ташкента.

Премьера прошла с грандиозным успехом, артистов и самого Арама Ильича не отпускали со сцены как никогда долго. Доволен был и Арам Ильич, я на всякий случай сидел неподалеку от него и слышал его восторженные реплики по ходу спектакля.

Кстати, о Клерр Мотт и Пьере Бонфу, которые первыми открыли французский балет советскому зрителю. Еще в Москве, той же зимой 1964 года, Вера Бокадоро свела Ибрагима с ними, и Ибрагим тогда пригласил их станцевать главные партии в своей «Жизели». Знаменитая танцевальная пара посетила Ташкент дважды — настолько им понравились и труппа, и оркестр, а, главное, неизбалованный и благодарный зритель.

Вылет самолета по каким-то метеоусловиям откладывался, и мы продолжали сидеть за богато накрытым столом, французское шампанское у гостеприимных казахов не кончалось, хотя это был

особый, золотой «Тайтингер». В какой-то момент я даже заподозрил, что погода здесь не при чем, наверное, хозяева почувствовали настроение великого балетмейстера, который, возможно, к сожалению, в последний раз посещает Астану, восемьдесят пять — это все-таки много, и Григорович не очень хотел вставать из-за стола, где ему было так душевно и уютно, и так неожиданно напомнили ему о его жизни, о его главных работах.

— Кто вы по профессии? — спросил меня вдруг Юрий Николаевич.

— Строитель, обыкновенный инженер-строитель,— ответил я и заслужил удивительную улыбку Григоровича.

Юрий Николаевич неожиданно обратился к одному из руководителей культуры Казахстана:

— Теперь я верю вашим словам на вчерашнем банкете, что в Казахстане любят балет и знают мое творчество основательно, спасибо еще раз.

Хозяин стола не растерялся:

— Дорогой Юрий Николаевич, вы же видите, наш казахский простой строитель, случайно встреченный, а как знает, любит балет, так что уж говорить о учителях, врачах,— за столом раздался гомерический хохот, и тут же нас с Юрием Николаевичем пригласили на посадку.

Вернувшись в Москву, я передал Ю. Н. Григоровичу через директора Большого театра Анатолия Иксанова свой роман «Ранняя печаль», где есть главы о театральном Ташкенте, Ибрагиме Юсупове и нашей давно прошедшей юности.

В заключение еще одна короткая сцена о балете. В те же годы Ибрагим Юсупов преподавал в балетном училище, которому недавно исполнилось девяносто лет, их в СССР было всего шесть. Однажды нас с Ибрагимом пригласили на день рождения, и я должен был зайти за ним в училище. Пришел я туда с огромным букетом для именинницы и с полчаса наблюдал за уроком. Закончив занятия, Ибрагим выставил своих учениц в ряд и показал им упражнение, которое они должны были отрепетировать дома. Я подошел к одной из девочек, которой было не больше двенадцати лет, и, отдав ей букет, поцеловал ее в щечку и сказал, что она будет великой балериной.

Когда мы остались одни, Ибрагим отругал меня за букет и сказал, чтобы я не портил ему учениц, а эту он, мол, хоть завтра готов отчислить. Я, конечно, не согласился с Ибрагимом и попросил

его подождать лет пять-семь, в балете все становится ясным очень быстро. Девочку эту звали Валя Ганнибалова, балетоманы со стажем хорошо помнят приму-балерину Кировского театра Валентину Ганнибалову. Лет через пятнадцать после случая в училище она приехала с сольными концертами в родной Ташкент, и тогда, вручая ей на сцене цветы, я спросил: «А помните, однажды в детстве вам подарили букет и предсказали, что вы будете великой балериной?». Она обняла меня и сказала: «Дорогой Рауль, предсказания такие никогда не забываются, я помню ваши слова всю жизнь. Вы дали мне веру, которой мне тогда не хватало».

***

Когда годы твои на закате и ты говоришь иногда: «В жизни складываются самые невероятные ситуации» — наверное, опираешься прежде всего на свой опыт, на то, что произошло именно с тобой. Мой невероятный случай интересен тем, что в него, через много лет, вплелась и моя отроческая любовь. Мы встретились с Валей Домаровой взрослыми, уже с некоторым накопленным печальным опытом в личной жизни, у себя на родине, в Мартуке. Я возвращался из Болгарии, где отдыхал на «Золотых песках», а она после каких-то неудач в жизни вернулась домой, чтобы перевести дух и определиться, как жить дальше.

Начну со второй встречи, первая, думаю, вскружила голову нам обоим.

Весь день у меня не выходило из головы первое недавнее свидание с Валей, волновало и предстоящее. О чем я только не передумал в тот долгий летний день, переворошив основательно всю свою жизнь! Я торопил время и хотел, чтобы скорее наступил вечер.

Я так растрогался, что решил сделать Вале что-нибудь приятное, пошел в поселковый универмаг и купил флакон французских духов.

Зашел я и в гастроном и попросил бутылку армянского коньяка «Ахтамар».

Вечером в назначенный час я поспешил с подарками на Советскую. Валя ждала меня в палисаднике с гитарой, но сегодня она была в огненно-красном платье, и такого же цвета бант на голове сменил черный муаровый в блестках.

Когда я вручил подарок, она обрадовалась и сразу кинулась мне на шею, осыпая поцелуями. Она была как-то странно возбуждена, и я подумал, что Валя успела выпить, видимо, волнуясь перед предстоящей встречей.

Желая пошутить насчет выпивки, я склонился к ней и еще раз поцеловал, но запаха спиртного, к удивлению, не ощутил, и эту странную возбужденность, лихорадочный блеск в глазах отнес на счет волнения. Мы прошли мимо высохшей лужи на веранду летнего домика, где опять нас ожидал накрытый столик, и три новые свечи загорелись сразу, как только мы уселись друг против друга.

После случившегося вчера мы оба чувствовали себя скованно, от Вали исходила какая-то нервозность. Вроде она была по-прежнему мила со мной, говорила приятные и волнующие слова, но меня не покидало ощущение, что она все время куда-то проваливается, ускользает от меня, и я попросил ее спеть.

Она охотно взяла гитару, будто чувствовала, что песня успокоит ее, но нервное напряжение сказалось и на репертуаре — почему-то завела блатную песню.

На веранде откуда-то тянуло сквозняком, и все три бледных язычка пламени заплывшего воском шандала сдувало в сторону, поэтому я хорошо видел склонившееся над гитарой лицо Вали.

Я никогда не любил блатных песен — ни в юности, ни, тем более, теперь,— и потому при первой же паузе, когда она стала подтягивать струны, взял у нее из рук гитару и предложил:

— Давай лучше выпьем, поговорим, как вчера…

Но она угадала мое настроение и не без сарказма ответила:

— А ты, Рауль, оказывается, сноб. А я вот такая — люблю блатные песни, к тому же, они сегодня очень популярны,— и вдруг добавила ехидно: — ах, я забыла, ты же не тянул срок и вряд ли знаешь жизнь…

Я не обратил внимания на слова Вали, зная ее характер, подумал: «Хочет, чтобы последнее слово осталось за нею».

Повесив гитару на гвоздь у двери, Валя вернулась к столу и, сделав передо мной неожиданно изящный пируэт, игриво взъерошила мне волосы.

— Гуляй, милый мой Рауль. Люби, наслаждайся, пока я твоя…

Я решил, что у нее начинается непонятный для меня кураж, и налил ей чуть меньше обычного. Но я ошибся насчет куража: куда-то вдруг подевалась исходившая от нее нервозность, она стала, как вчера, мила, ласкова, и я успокоился.

Вновь мы сидели друг против друга, и пламя от чадящих свечей словно подогревало наши взгляды, летавшие через

стол,— мы вспоминали что-то давно забытое, детское, школьное, но крепко связывающее нас. Сегодня она тоже курила — зеленая пачка сигарет «Салем» и зажигалка лежали рядом с ее прибором,— но реже.

В этот вечер Валя удивила меня еще раз. Успокоившись, она попросила принести холодной воды, а когда я вернулся от колонки во дворе с полным кувшином, то увидел, что курит она не ментоловые «Салем», к специфическому дыму которых я уже привык, а что-то другое,— как некурящий человек я остро реагировал на запахи. К своему удивлению, я увидел в ее руках папиросу, ныне так редко встречающуюся, и хотел спросить, с чего она перешла на грубую беломорину, но в последний момент сдержался: зная ее причуды, побоялся вновь испортить ей настроение.

Курила она как-то необычно, откинув красивую голову на высокую спинку кресла и прикрыв от какого-то внутреннего удовольствия глаза, и я снова, как и вчера, любовался ее изящной шеей с тремя тяжелыми нитками искусственного жемчуга, открытыми плечами, уже по-женски округлыми, нежными. Высокая грудь, стиснутая в корсете платья, при каждой затяжке волнующе вздымалась, и мне даже доставляло наслаждение любоваться ею, когда она курила. Делала она это красиво, небрежно, не глядя сбрасывала пепел в пепельницу длинными ухоженными пальцами…

Потом мы вернулись в ее комнату в летнем домике. Сегодня в углу горел слабыми огнями торшер, и я успел рассмотреть ее жилье, по-женски уютное, особую прелесть комнате придавали розовые обои. Заметив мой удивленный взгляд, устремленный на торшер, Валя сказала, ласково глядя мне в лицо:

— Надеюсь, ты не возражаешь?

Но сегодня что-то было и так, и не так. Поначалу я думал, что всему помехой свет, но вскоре Валя сама выключила его, ничего не объясняя. При всей ее форсированной страсти, возбужденности, я ощущал в ней быстро нараставшие вялость, апатию, безразличие. Когда комната была освещена, я несколько раз видел близко ее глаза — вот они сегодня точно были другими, они смотрели как бы мимо меня, и в них виделась пугающая пустота.

Вдруг, оттолкнув меня, она капризно приказала:

— Рауль, принеси, пожалуйста, сюда столик и открой вторую бутылку «Ахтамара», я хочу видеть тебя веселым, твое серьезное лицо смущает меня…

Я хотел возразить, но, встретившись с ее взглядом, по-восточному приложил правую руку ладонью к сердцу и, склонив в покорности голову, шутливо ответил:

— Как прикажете, сегодня я ваш раб…

Я ощущал, что все катится к какой-то развязке и я никак не могу повлиять на события.

Валя вдруг надумала выпить на брудершафт и налила коньяк в бокалы для воды — не до краев, но полбутылки опорожнила в них точно. Я думал, что выпитое приблизит события к какому-то скандальному финалу, но опять произошло невероятное — отставив пустой бокал в сторону, она жадно впилась в меня поцелуем.

Задыхаясь в ее объятиях, я с улыбкой думал, что мне никогда, наверное, не понять женщин.

Когда я успокоился, Валя, вдруг наклонившись в мою сторону, спросила то ли в шутку, то ли всерьез:

— Мир-Хайдаров, а ты купал когда-нибудь женщин в шампанском, дарил им миллионы алых роз или настоящий жемчуг и бриллианты?

Я попытался отшутиться, но она настойчиво, с обидой повторила:

— Я же спрашиваю тебя всерьез.

Трезвея от неожиданного поворота событий, я устало ответил:

— Это же из блатного фольклора… Да и зачем женщине купаться в шампанском? Я думаю, это даже вредно, лучше уж с мылом…

И тут она взорвалась, словно пороховая бочка:

— Эх ты, с мылом!.. А вот и не вредно! Я купалась, и не раз…

Я, не до конца осмыслив ее выкрик и, конечно, не принимая его всерьез, ляпнул:

— А что потом с шампанским делают, после купания?

Последовавшая реплика наконец заставила меня поверить в серьезность полусумасшедшего разговора:

— Да, я купалась в шампанском, а мои друзья, и тот, кто устраивал для меня этот праздник, черпали вино бокалами из ванны и пили за мое здоровье — таковы традиции, так восхищаются красотой и прекрасным телом. Это так здорово, но я вижу, тебе никогда этого не понять, не дано! Жил всю жизнь от получки до получки…

— Ты это всерьез? И кто же он, столь тонкий ценитель женской красоты и шампанского из ванны? — спросил я, не надеясь на ответ, все еще думая, что это ее очередной розыгрыш,— я слышал от ребят о ее экстравагантных выходках в последние годы.

Но она гордо, с вызовом ответила:

— Дато Гвасалия. Тот, кто по-настоящему меня любил и баловал. Не зря он имел кличку Лорд: цветы дарил корзинами, духи — дюжинами, и это жемчужное колье — тоже его подарок…

А я-то принимал жемчуг на ее шее за искусственный или даже за чешскую бижутерию… Но это теперь ничего не меняло: я протрезвел окончательно. Легонько отодвинув ее в сторону, вмиг потеряв интерес к ней, я потянулся к выходу.

— Ты куда? — спросила она удивленно.

Я не ответил.

Ночная свежесть несколько остудила меня. Домой я не пошел, чувствовал, что все равно не уснуть, решил погулять по сонному Мартуку — через день я должен был уезжать. Дойдя до парка, где я видел студентку Валю восемь лет назад крашеной блондинкой, я вдруг рассмеялся, и этот неожиданный смех снял тяжесть с души. Я представил тесную ванную комнату, унылую советскую сантехнику и тусклый кафель, вечно щербатую, уже с завода, эмаль, блатных и воров с бокалами и стаканами в руках, толпящихся у заполненной до краев шампанским ванны и плескающуюся в ней Валентину… Зрелище, действительно, получалось смешным, если не сказать убогим, особенно в том случае, когда ванная комната могла быть еще и совмещенной с туалетом.

И вдруг все четко и ясно встало на место: и грубая папироса в ее холеных пальцах, и стеклянные глаза, глядящие мимо, и страсть, мгновенно переходящая в апатию, и странный блатной репертуар, и жемчужное колье, и даже ванна с шампанским…

Сегодня я знаю, что Валя через два года после той летней ночи вновь вернулась домой. Вернулась с мужем-наркоманом, работавшим механиком в каких-то мастерских, но больше известным скандалами в больнице и аптеках из-за наркотиков, однако в ту пору уже многие знали, что колется и она. С такими наклонностями, да еще с завышенными притязаниями на свое положение в обществе, в маленьком местечке прожить трудно, и они скоро покинули дом на Советской, а я больше о ней никогда не слышал.

Но однажды, через несколько лет, за тысячи километров от Мартука, мне пришлось вспомнить и про жемчужное колье, и про ванную с шампанским.

Жизнь непредсказуема, одни тайны уходят с их владельцами навсегда, другие запоздало, внезапно открываются во всей своей сути.

Однажды я был командирован на Кавказ — в Баку и Тбилиси. Там, в поезде Баку — Тбилиси, со мной произошла любопытная история.

Командировка эта походила на приятное путешествие, в Баку я попал на концерт оркестра Рауфа Гаджиева, где в те годы работал знаменитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобискери. К поезду я пришел заблаговременно — не любил предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое место в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну в коридоре.

Вагон заполнялся потихоньку, и я стоял у окна, никому не мешая. К поезду я явился прямо с концерта и мало походил на командировочного.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город…

Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. Пассажиры потянулись в ресторан или стали накрывать столики в купе, а я все стоял у окна, внимательно вглядываясь в селения, где люди жили какой-то неповторимой и, вместе с тем, одинаковой со всеми жизнью. Замечал одинокую машину с зажженными фарами, торопившуюся к селению, где, наверное, шофера ждала семья, дети, а может, свидание с девушкой, чей неведомый дом мелькнет мимо меня через минуту-другую яркими огнями окон и растворится в ночи. Мои попутчики сразу же принялись за ужин. По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних купе занимала разношерстная компания: юнец и убеленный сединами моложавый старик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как и я, все время стояла у окна, но, в отличие от меня, как показалось, делала это не по собственному желанию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец с девушкой — армяне, остальные — грузины или осетины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, пожалуй, не уступали тбилисским пижонам, что фланируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли можно было принять за пассажиров мягкого вагона.

Компания, которая садилась в поезд не обремененная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже начала суетиться насчет ужина. Юноша с девушкой высказали желание посидеть в ресторане и получили чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо, они окинули меня восторженным взглядом, а девица даже попыталась изобразить что-то наподобие улыбки.

За окнами совсем стемнело, и продолжать стоять у окна стало неинтересно. Мои попутчики давно поужинали, а я раздумывал: то ли вернуться к себе, то ли последовать в ресторан, как вдруг один из компании, тот, кого я принял за осетина, вежливо, можно сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, пригласил разделить с ними скромное угощение. Я так же вежливо поблагодарил, но, сославшись на отсутствие аппетита, головную боль и желание побыть одному, отказался.

Не прошло и минуты, как появился другой и пригласил не менее вежливо, но более настойчиво. Навязчивость, с которой меня зазывали, начала раздражать, и я поспешил ретироваться в купе. Едва я расположился у себя, распахнулась дверь и показалась седовласая голова моложавого старика, который попросил меня в коридор на минутку.

Старик оказался краснобаем и мог бы дать фору любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах гостеприимства и вине, которое приятно разделить в пути с новым человеком. В общем, я понял, что из немощных, но цепких рук старика мне не вырваться — а тот и впрямь то крутил пуговицы на моем пиджаке, то хватал за рукав,— и я сдался. Когда в сопровождении Георгия Павловича — так старик отрекомендовался — я появился перед компанией, раздался такой вопль искреннего восторга, что, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Меня усадили поближе к окну, напротив Георгия Павловича. На столике высилась ловко разделанная крупная индейка, а рядом — зелень, острый перец, помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и свежий бакинский чурек.

— Что будем пить? — спросил старик, и я показал на белое абхазское вино «Бахтриони».

Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и трапеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и добавлялись то ветчина, то жареное мясо, то быстро убывавшая зелень, что мне, заметившему корзину на откинутой полке второго яруса, откуда все это доставали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следовали сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет «налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а затем слова благодарности на русском и грузинском языках. Но даже в этой немногословной беседе участвовали из хозяев только трое: те, что приглашали меня, и Георгий Павлович, имевший над компанией очевидную патриаршую власть.

Остальные двое, немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, следили за столом, за тем, чтобы не пустовали стаканы, и ловко распоряжались содержимым волшебной корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? — спросил вдруг старик среди неожиданно возникшей или ловко организованной паузы.

— Инженер, еду в Тбилиси в командировку,— вяло ответил я, предчувствуя, что интерес ко мне тотчас иссякнет, потому как был убежден, что такая ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил вам,— обратился Георгий Павлович к своим спутникам.— Учитесь: школа, высший пилотаж, я в его годы не знал такой славы. А как он держался в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и только… Пейзаж, закат, пленэр… А как разговаривал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите — Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни ваших спутников,— перебил я старика.

— В глаза не видел! — воскликнул с улыбкой Георгий Павлович, и купе минут пять сотрясалось от смеха.

Я, ничего не понимая, смотрел на своих собутыльников и видел, с каким восторгом, боясь упустить хоть один мой жест, глядят на меня странные попутчики. Такого внимания к собственной персоне я никогда не испытывал.

— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и на зоне, и на свободе легенды ходят,— откликнулся тот, кого старик назвал Дато.

— Вы что-то путаете, я — Мир-Хайдаров, инженер из Ташкента,— не понимая, разыгрывают меня или же в самом деле принимают за какого-то Марселя, ответил я, трезвея.

Купе снова зашлось смехом. Георгий Павлович, вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Мир-Хайдаров…

По Мартуку, Актюбинску я хорошо знал жаргон блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака паспорт, я протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как ловкие пальцы старика вертели паспорт так и эдак. Георгий Павлович даже поднял его к носу и тщательно принюхался, казалось — попробуй он даже на зуб, никто бы не улыбнулся. Но мне было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему,— сказал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт.— Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавелся… Дато считал, что ты без ксивы. Он ведь с тобой в одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, и я не понимаю ваших шуток,— сказал я, поднимаясь.

Старик мягко, но настойчиво усадил меня обратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое — знаться тебе с нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком много незнакомых лиц для такой важной птицы, как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радостях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, кров… Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджоникидзе,— и он ловко, одним движением, сунул в верхний кармашек моего пиджака заранее заготовленный листок. На том мы и расстались, они — довольные встречей, а я — удивленный донельзя: за кого же меня приняли?

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных попутчиков уже не было — то ли они разошлись по разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. Но они еще раз напомнили о себе…

Гостям Тбилиси советуют побывать на Мтацминда, откуда открывается живописная панорама раскинувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, летние кинозалы, ресторан. Устав от прогулки и продрогнув на ветру, гулявшем на горе, я решил заодно и поужинать на Мтацминда.

В зале и на открытой веранде ресторана веселье плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший по составу, чем некогда в моей любимой «Регине», и два солиста, сменяя друг друга, не успевали выполнять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аромат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших многолюдные столы, пахло азартом и праздником. Я с трудом отыскал свободное местечко за столиком, где коротала вечер такая же командировочная братия, как и я сам.

Официант всеми доступными способами выказал свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: будь его воля, подобных мне он и на порог не пустил бы. Лениво подергивая сытыми щеками, он вполуха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь зубы ронял:

— Нет… нет… кончилось… не бывает… никогда не будет…

Я понимал: любое мое возражение еще более усугубит незавидное положение незваного гостя, и потому милостиво сдался и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку белого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, подветренным сыром, холодным хачапури и бутылкой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, заторопился к другому столу, где кутили лихо.

Едва я пригубил вино, оказавшееся без меры кислым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля и того же официанта — с таким сладким выражением лица, что в первый момент я даже и не признал его, хотя между нами только что состоялся долгий и «содержательный» разговор.

— Извините, вышла промашка,— частил метрдотель и зло косился на официанта, а тот, сама невинность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что впору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из моих рук фужер и брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цветов, словно это было не вино, а отрава.

— Может, отдельный столик накрыть? — зашептал мне на ухо завзалом, поглядывая на соседей, но я отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с фруктами, сочной зеленью, лобио с орехами, сыром сулугуни и другими грузинскими закусками, не знакомыми мне, а метрдотель собственноручно налил в невесть откуда взявшийся тяжелый хрустальный бокал золотистое «Твиши». Видя это волшебное превращение, достойное цирка, соседи на другом конце стола с любопытством поглядывали на меня.

Я прикинул, что ужин обойдется раз в пять дороже, чем предполагал, но вино оказалось дивное, закуски великолепные, оркестр на высоте, и настроение у меня поднялось. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего озорства, то ли оттого, что увидел в зале за дальним столиком Казбека и Дато, я, пригласив какую-то девушку на танец, назвался… Марселем.

Может, я сам приглянулся девушке, а может, понравилось мое имя, весь вечер она щебетала: «Марсель… Марсель…» Чужое имя не раздражало меня, а порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то закончившийся без особых приключений, я прожил не только под чужим именем, но и ощущая себя тем таинственным

Марселем, перед которым так щедро расстилаются столы и вмиг принимают любезное выражение лица официантов…

Спускаясь на фуникулере на проспект Руставели, где жизнь, казалось, не замирала до утра, я вдруг, вроде некстати, вспомнил давнее свидание с Валей в Мартуке.

Вокруг кипела ночная жизнь Тбилиси, по ярко освещенному проспекту навстречу шли прекрасно одетые люди, которые то и дело раскланивались со своими знакомыми, казалось, весь город состоял только из друзей и приятелей, и думать ни о чем грустном не хотелось. Но Валя, державшая в руках гитару с ярко-красным шелковым бантом на деке, не шла из головы. Я настойчиво гнал от себя навязчивое видение, но оно не уходило, мешало, назойливо напоминало о чем-то…

И вдруг все стало на свои места. Дато Гвасалия… Дато Гвасалия! Да это же тот, кто купал Валю в шампанском, подарил ей жемчужное колье!

«Не может быть! — возразил я себе.— Где та Валя, а где — этот Дато?.. Нет, это невозможно…»

Но память услужливо вернула голос Георгия Павловича: «Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия…» Нет, ошибки быть не могло, совпадало все. Я поспешил назад к канатной дороге, чтобы вернуться на Мтацминда,— знал, что в грузинском ресторане гости рано не расходятся.

Когда я вернулся в зал, веселье еще продолжалось, но столик, за которым гулял Лорд с друзьями, оказался пуст. Уже знакомый метрдотель, вновь увидев взволнованного гостя, подошел тут же и учтиво обратился:

— Чем могу помочь?

— Лорд давно ушел? — спросил я небрежно.

— Нет, недавно, вы наверняка разминулись на фуникулере. Если возникли проблемы — тут есть люди, хорошо знающие Дато, они и Марселю ни в чем не откажут. Да и мне Дато велел принимать вас всегда по-королевски…

— Спасибо, мне нужен только Лорд,— поблагодарил я метрдотеля и хотел распрощаться, но тот предложил распить с ним бутылку вина, если гость простил его за недоразумение в начале вечера. Пришлось уважить.

Возвращаясь в полупустом вагоне канатки, я думал: «А если бы я застал на месте Дато Гвасалия по кличке Лорд, что сказал бы,

о чем спросил? О том, купал ли он в шампанском мою отроческую любовь Валю Домарову и дарил ли ей жемчужное колье?» От нелепости этой картины я вдруг от души рассмеялся, как некогда на тихой улице в Мартуке, когда представил тесный совмещенный санузел и грязную ванну с плескавшейся в шампанском Валентиной…

Я редко вспоминаю Валентину, и уж тем более не презираю и не осуждаю ее. С высоты жизненного опыта понимаешь, что каждый выбирает свой путь сам. Но я никак не мог понять, почему судьбе было угодно, чтобы среди сотен миллионов людей я встретился с неким вором по кличке Лорд, сумевшим увлечь романтикой блатной жизни девушку, некогда мечтавшую стать балериной. Возможно, этим «почему» я буду маяться до последних дней своих…

***

В последнее время, бывая в Европе, особенно во Франции, Англии, Швейцарии, Германии, ловлю себя на мысли, что я не так толерантен, либерален, демократичен в Европе, как у себя дома, в России. Больше того, трижды на дню вспоминаю, с сожалением, о порядках, которые совсем недавно бытовали в Старом и Новом Свете.

Наверное, чтобы сделать такое признание, нужно, чтобы тебя крепко достали африканские, арабские, цыганские и другие иммигранты, нахлынувшие в Европу в неконтролируемых масштабах. Достали и достают своим хамством, отсутствием бытовой культуры, наглостью, претензиями, вороватостью — на каждом шагу с утра до вечера в любой европейской столице. Во всех ночных поездах Европы предупреждают, что вас могут обворовать.

Уверен, быстро растворяющаяся сегодня среди этнических маргиналов политкорректная Европа, с ее некогда рафинированной культурой, никак не может соседствовать и сосуществовать с теми, кто еще вчера жил в родоплеменном или феодальном обществе, с теми, кому лучшей музыкой всех времен и народов кажется барабанная дробь тамтамов. Зря Европа заигрывает со своими могильщиками.

***

Сегодня, в новой России, которой от роду всего-то двадцать лет, о прошлой советской жизни ходят такие небылицы, что диву даешься, а ведь еще здравствуют те, кто хорошо помнят ее, и нас еще много, почти полстраны. Не стоит за тридцать сребреников изгаляться над историей своего государства, своего народа, своих отцов и матерей.

Мы оставили вам, молодым, достойное наследство, а вы на наших глазах пустили его по ветру. Следует напомнить, что эти доживающие свой век поколения поголовно имеют прекрасное среднее образование, полученное в той самой школе, о которой до сих пор с завистью вспоминают повсюду в мире. А те из нас, кому посчастливилось получить высшее образование, освоили космос, построили лучшую в мире авиацию, гражданскую и военную, от которой остались рожки да ножки. Построили самый могучий на планете флот, включая атомные ледоколы и невиданной мощи и дальности подводные лодки, скоростные суда на воздушной подушке, немыслимый по количеству и качеству рыболовный флот — все потихоньку, по-жульнически продали за бесценок за рубеж, все теперь плавает под чужими флагами, хотя построены суда на кровные рубли советского народа.

Благодаря атомным ледоколам мы первыми освоили Арктику, застолбили место там нынешним и будущим потомкам. С нуля создали мощнейшую нефтяную и газовую промышленность, десятки ведущих в мире институтов, как научно-исследовательских, так и для подготовки специалистов. Ныне эта индустрия одна наполняет скудный бюджет нашего некогда действительно могучего государства и плодит олигархов на зависть всему миру. Построили невиданной мощи энергетику — ТЭЦы, ГРЭСы, атомные электростанции, вырабатываемого электричества хватало на всю огромную страну, на все 360 миллионов населяющих ее людей, а сегодня не хватает на 140 миллионов россиян, лишившихся навсегда заводов, фабрик, всей промышленности.

В конце концов, наш СССР один, на равных, противостоял всему Западу и его титану — Америке. Это совсем близкая история, и забывать о ней не стоит.

Много нелепиц льется и со страниц газет, и с экранов телевизоров о духовной жизни страны, хотя потери и тут настолько очевидны, что и в полемику вступать не хочется. Мы даже балет, который и в шутку, и всерьез действительно был впереди планеты всей — свели на нет. Мы навсегда потеряли наши библиотеки — поистине, наше национальное достояние, они не пополняются уже два десятилетия и ветшают от времени. Кажется, судьбой библиотек озабочена только одна «Литературная газета» и ее редактор Юрий Поляков.

Мы теперь не самая читающая страна, мы — самая не читающая! Совсем недавно показали по телевизору сюжет из Владивостока, наверное, его запомнили многие. Брали интервью у юной китаянки,

студентки нашего университета, очень искренней, восторженной девочки, она сказала: «Россия — богатая, красивая страна, но уж очень, очень отсталая…» Правдивей и не скажешь — устами ребенка глаголет истина, от которой никуда не деться. Приехали…

Подумать только — за двадцать лет профукать все: сельское хозяйство, промышленность, культуру, образование, науку, транспорт, здравоохранение, армию, флот! И этот скорбный список можно продолжать и продолжать, но не буду сыпать соль на собственные раны. Больно об этом думать и страшно это осознавать.

Недавно где-то прочитал, а потом еще и услышал по телевизору от какого-то прыткого молодого человека, говорившего с апломбом наших вечных, пожизненных депутатов, что писателями могли стать только члены КПСС. Неправда. Как член Союза писателей с 1975 года утверждаю, что треть писателей никогда не состояла в партии, я и сам ни дня не был ни в старой, ни в новой, ни в новейшей.

Еще этот «знаток» прошлой жизни утверждал, что за писателями повсюду существовал надзор, что наши телефоны прослушивались, а в Домах творчества чуть ли не в каждой комнате стояли «жучки». Если бы такой надзор существовал, то три четверти из нас были бы изгнаны сразу, не раздумывая. О том, как я постоянно слушал вражеские голоса, уже писал. Тут никакие «жучки» не нужны, стоило постоять на любом этаже почти у каждой комнаты поздно вечером у двери и узнать — кто какие передачи слушает. Проведя десятки лет бок о бок со своими коллегами в Домах творчества, заверяю вас, что большинство пишущих — это люди с самостоятельным мышлением, далеко не гладким характером. Они не очень-то фильтровали свои взгляды, суждения, и мы знали — кто есть кто, что из себя представляет тот или иной писатель. Внешнее поведение писателя зависело только от его культуры, а разница в культуре, признаюсь, была такая огромная, что бросалась в глаза.

«Это еще тот народец!» — как мне сказал однажды с восторгом о коллегах Михаил Александрович Дудин. От него у меня навсегда сохранилась мудрая строка: «Есть радость ясная в начале, обида темная в конце».

О том, как мы выпивали, слушали вражьи голоса, вы уже знаете. Расскажу еще об одном писательском «пороке» — азартных играх, ничто человеческое не было чуждо труженикам пера.

Зимой 1979 года писатель, журналист-международник Ярослав Кириллович Голованов побывал в очередной раз в Париже

на каком-то большом научном конгрессе. Даже столь яркого и популярного человека, как Голованов, мне придется подробно представить читателю, ибо, как я уже сказал, связь поколений оборвалась навсегда. Новому поколению даже имя самого Сергея Королева ничего не говорит, в лучшем случае подумают — отец певицы Наташи Королевой, бывшей жены композитора Игоря Николаева.

В ту пору стоило сказать: Гагарин, космос, Терешкова, как невольно напрашивалась в этот ряд его фамилия — Ярослав Голованов. Прославился Ярослав Кириллович тем, что был в первом отряде космонавтов еще до полета Юрия Гагарина в космос, его рекомендовали в команду как талантливого ученого, связанного с ракетостроением и космонавтикой. Я знал Ярослава Кирилловича много лет, у меня в личной библиотеке хранятся несколько его книг с дарственной надписью. Он писал интереснейшие этюды об ученых, и не только о наших, его эрудиция, информированность поражали, он свободно владел английским, говорил неплохо по-немецки. Но главное в нем даже не это, Ярослав Кириллович был невероятно коммуникабельным, контактным человеком, привораживал к себе с первого слова, с одной улыбки, ему невозможно было в чем-то отказать. Женщины обожали его до самой старости, хотя я не могу сегодня в памяти представить его старым, до последних дней своих он заседал в жюри молодежного конкурса КВН. Вот теперь-то, наверняка, вы вспомните его улыбку и его реплики, всегда остроумные, неожиданные, великодушные.

В космос слетать ему не удалось, хотя его и готовили, и не один раз — но не судьба. За долгие годы пребывания в команде он подружился со многими космонавтами: с Гагариным, Титовым, Терешковой и Николаевым, гулял у них на свадьбе, перезнакомился со всеми крупными учеными, подготовившими наш космический успех. Побывал много раз на Байконуре, провожая и встречая в казахских степях космонавтов. Видел отложенные и неудачные старты. Интерес к космосу, космонавтам в ту пору оказался таким огромным, искренним — не передать! Поймут меня лишь те, кому довелось жить в те далекие годы триумфа советской науки и ее космонавтики, когда мы безоговорочно были признаны миром космической державой номер один.

Пропаганде нашей науки, невероятного рывка первых космонавтов во Вселенную и посвятил свое писательское и журналистское творчество Ярослав Голованов. Он был востребован временем, его читали, его выступлений ждали в трудовых коллективах, институтах, на телевидении.

В «Комсомольской правде», спецкором которой он был многие годы, в объемах его не ограничивали, печатали огромные подвалы его очерков, этюдов, интервью, статей о выдающихся достижениях нашей науки и ее творцах. У власти не было тайн от народа, и народ гордился своими учеными, знал их. Уверен, в том, что лучшие наши технические вузы с 1963 года по 1980-й невиданными конкурсами абитуриентов обязаны не только техническому взлету страны, который признавали даже враги, но и тем увлекательнейшим статьям, что писал Ярослав Голованов в газете, имевшей миллионные тиражи.

Ярослав Кириллович отличался и хорошим чувством юмора. Помню, он рассказывал в Малеевке об одном случае с ним в редакции «Комсомольской правды». Но тут следует еще немного проинформировать читателя, чтобы он вник в ситуацию. Знание космических проблем с позиции ученого, доктора наук, пробывшего среди космонавтов долгие годы, знание иностранных языков, умение держать своим выступлением огромную аудиторию открывало Ярославу Кирилловичу путь на все крупные международные симпозиумы, съезды, встречи, выставки, презентации крупных научных трудов, в ту пору их проводилось великое множество и в самых интересных городах нашей планеты. Заманчивые маршруты, которые, зачастую, он сам себе и придумывал, как спецкор номер один по науке в «Комсомольской правде», позволили ему объездить весь мир, буквально. В ту пору, кроме крупных дипломатов, мало кто мог похвалиться подобными возможностями, но Ярослав Кириллович своими возможностями не кичился.

Теперь мы вплотную подошли к обещанной истории.

Однажды поздно ночью Ярославу Кирилловичу позвонили из Лондона и пригласили на давно ожидавшуюся конференцию по освоению космоса в мирных целях. Об этом мероприятии в газете знали и дали своему собкору «добро» на поездку, ждали лишь официального приглашения. Время отлета подпирало, и Голованов к десяти уже подъехал в редакцию. Дела у него оказались только в отделе кадров и бухгалтерии. Мультивиза, несмотря на годы холодной войны, у него имелась, и в любую страну он мог вылететь, при необходимости, тотчас — так работала «Комсомольская правда», таков был авторитет главного печатного органа ЦК ВЛКСМ.

Работа в крупной газете не ограничивается временем «от и до», здесь своя специфика. Порою сдача очередного номера в типографию затягивается и до полуночи, всякие непредвиденные обстоятельства

возникают. Например, приходит к концу дня важное экстренное постановление ЦК КПСС, и готовую к печати газету верстают заново. А «Комсомолка», если кто помнит, была ежедневной газетой, выходила шесть раз в неделю, по ранжиру она числилась третьей, после «Правды» и «Известий». Ярослав Кириллович, как спецкор номер один, был освобожден от каждодневных появлений в редакции, от регулярных летучек, он работал по индивидуальному плану, но, естественно, когда нужно, являлся на работу по первому зову редакции.

Наверное, накануне газету сдавали допоздна, и в огромном здании на редакторском этаже еще абсолютно никого не было. Сотрудники должны были появиться с минуты на минуту, и наш герой решил спуститься этажом ниже в буфет выпить чашку кофе. Когда Ярослав Кириллович направился к лифту, то увидел, что в просторном коридоре навстречу ему идет компания сплошь из руководителей комсомола, во главе с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Евгением Тяжельниковым. Замы Тяжельникова, как и Голованов минуту назад, торкались в каждую дверь, но везде было закрыто, и кругом ни души, кроме направлявшегося им навстречу издалека Ярослава Голованова. Когда они поравнялись, Тяжельников с пасофом обратился к своей свите: «Не зря мы с вами решили заехать в «Комсомолку» с утра и теперь знаем — кто любит свою работу, отдает себя целиком газете, понимает, что такое трудовая дисциплина». Затем, обращаясь уже к Голованову, сказал: «Здравствуйте, Ярослав Кириллович,— и, крепко обняв его, продолжил с волнением: — с удовольствием читаем в ЦК ваши публикации, книги. Мы всегда вас ценили, но с сегодняшнего дня будем ценить вас вдвое,— потом быстро поправился,— втрое больше! Пожалуйста, звоните, заходите ко мне в любое время без согласований. Теперь я знаю, кто больше всех работает в «Комсомолке».

Как вспоминал Ярослав Кириллович, он стоял молча, скромно потупив взор, с трудом удерживая душивший его смех. В первый раз за долгие годы работы спецкором он пришел в газету к началу рабочего дня и получил почести один за всех тех, кто действительно трудился день и ночь.

Заканчивая историю, Ярослав Кириллович сказал: «На каждом совещании, касавшемся прессы, а у ЦК ВЛКСМ были еще десятки газет и журналов в республиках, Тяжельников всегда хвалил «Комсомолку», ставил столичную газету в пример, всегда упоминал мое трудолюбие и рекомендовал всем журналистам брать с меня пример».

Ярослав Голованов имел много высоких правительственных наград, всяких поощрений, не буду их перечислять, чтобы даже запоздало не вызывать зависть. И все они посыпались на него после встречи в пустом коридоре «Комсомолки» с Е. Тяжельниковым.

Поистине, пути Господни к славе, успеху, материальному благополучию — неисповедимы.

Такая долгая, но любопытная, на мой взгляд, преамбула понадобилась мне только для того, чтобы вы почувствовали масштаб личности, которая могла затеять рулетку в Доме творчества как раз в те дни, когда разгорелся сыр-бор вокруг только что вышедшего на Западе скандального альманаха «Метрополь», созданного Василием Аксеновым. Кстати, многие печальные события, тяжело коснувшиеся двух авторов легендарного альманаха, происходили в Малеевке на наших глазах, потому что Инна Львовна Лиснянская и Семен Израилевич Липкин в эти зимние месяцы как раз находились здесь. Жили они через комнату от меня, на первом этаже главного корпуса. Не я один, наверное, запомнил зловещие черные «Волги», приезжавшие недели две подряд в «Малеевку» из Москвы. Наведывались к моим соседям разные, но одинаковые на лица функционеры, наверное, не только из Союза писателей, но, как я запомнил, чаще других наведывался Гинзбург из большого Союза писателей, что на улице Воровского.

Но об этом подробнее в другой раз, особенно про Семена Израилевича и Инну Львовну. Позже, лет через десять после «Метрополя», я прожил рядом с ними в Переделкино почти девять лет, и мы очень тесно общались. Похвалюсь, у меня есть книги с их автографами, я был зван с супругой Ириной на юбилеи Семена Израилевича и Инны Львовны, проводившиеся в Переделкино, познакомился с их детьми, живущими вне России. От Семена Израилевича я узнал много о татарских классиках — Мусе Джалиле и Хасане Туфане, с которыми, оказывается, Семен Израилевич близко общался еще до войны в конце тридцатых, переводил их. Не лишне напомнить, что главный эпос татар «Идегей» перевел Семен Израилевич в конце сороковых, и тут же этот перевод был запрещен на сорок лет, как националистический. Не могу не поделиться с читателем, что С. И. Липкин — бывший морской офицер, провоевал на Северном флоте всю войну.

Его уже давно нет с нами, но дела его, переводы живут до сих пор, и он навсегда останется в благодарной памяти татар, казахов, туркмен, азербайджанцев. Почему я так их выделяю? С. И. Липкин перевел

у этих народов главные литературные памятники, сохраненные в веках. У казахов он перевел эпос восемнадцатого века «Кобланды-батыр», не затерявшийся в устном виде, но дошедший до нас в нескольких вариантах. В советское время, в 1964 году, академик Герасимов вскрыл захоронение великого батыра и по черепу воссоздал портрет народного героя — высокого, крепкого, с волевым лицом. В 2007 году в новом Казахстане аким Актюбинской области Е. Н. Сагиндиков построил на месте захоронения батыра величественный мемориал и при нем — музей, посвященный Кобланды-батыру. Уникальное монументальное строение редкой национальной архитектуры, над которым работали лучшие казахские архитекторы, находится в степи возле райцентра Кобда, в трехстах километрах от Актюбинска. В музее достойное место отведено и Семену Израилевичу — его портрет в форме морского офицера выбит в редком итальянском граните, и рядом отчеканено стихотворение Инны Львовны, посвященное мужу посмертно.

В исторической памяти казахского народа Семен Липкин останется навсегда, в этом я не сомневаюсь, казахи не страдают потерей памяти!

Надеюсь, читатель великодушно простит мне эту неожиданно возникшую в памяти историю с Инной Львовной и Семеном Израилевичем, прервавшую рассказ о возвращении Ярослава Голованова из Парижа.

Вернулся из Парижа спецкор «Комсомолки» не с пустыми руками, привез подарки не только домочадцам и друзьям, но и не забыл нас, малеевцев — в Малеевке он тоже слыл завсегдатаем. Привез он… рулетку, настоящую рулетку, но не такую громоздкую, какие мы видели в фильмах о загнивающей западной жизни — из редких пород дерева с дорогим зеленым сукном, сияющую хромом и никелем. Он привез мини-рулетку, которая в мгновение ока раскладывалась на любом столе и без сукна, и, если помещение позволяло, человек десять-двенадцать могли играть комфортно, правда, всегда возникала проблема со стульями.

В первый же вечер появления в Малеевке Голованов перед самым началом кино нашел меня с поэтом Виктором Гофманом в холле второго этажа и, отведя в сторону, ошарашил нас сообщением:

— Вы не возражаете, если я завтра открою казино в Малеевке? И готовы ли вы прожигать жизнь за игровым столом?

Мы всегда ожидали от жизнелюба Голованова, человека неуемной, космической фантазии, любого подвоха, розыгрыша, но только

не рулетки в самом дальнем коттедже, где проживал и легендарный Генрих Сапгир. Честно говоря, мы растерялись, хотя о провокации не думали, от Кириллыча подлянки мы не ожидали — не тот человек.

Ярослав Кириллович, видя нашу нерешительность, спросил с ехидной улыбкой:

— Слабо, значит, юным дарованиям в запрещенные игры играть?

Последнее обожгло нас как кипятком, мы разом встрепенулись, запетушились.

— Обижаете, Ярослав Кириллович, играть мы готовы всегда и даже с удовольствием, но кто же обучит нас, темных, мы ведь, как вы, по Парижам и Лас-Вегасам не шастаем.

Повеселевший Голованов расхохотался:

— А я подумал — вы сдрейфили, испугались черных машин с Лубянки, что зачастили в Малеевку, и горит моя затея, даже если и вы, гуляки, дрогнули. А игра нехитрая, правила в ней твердые, как соберемся завтра у меня, я всем сразу и объясню на поле боя.

И после прозвучавшего звонка, приглашавшего писателей в кинозал, добавил:

— Можете, если хотите, привести еще два-три человека на игру, я уже уговорил кое-кого на премьеру,— и побежал вниз по лестнице, в кино он не собирался.

Мы с Виктором Гофманом поспешили в зал, в разные его концы, согласно приобретенным билетам. Фильм, французская комедия, вызвал неожиданный интерес у обычно инертной и равнодушной к чужому творчеству писательской публики, и зал оказался полон. Трем-четырем припозднившимся молдаванам даже не досталось билетов, но администрация великодушно разрешила бесплатно пройти в зал со стульями из холла.

Фильм оказался с тонким юмором, с прекрасной игрой актеров, сюжет не позволял отвлечься ни на секунду, и я напрочь забыл о завтрашнем приглашении на премьеру рулетки в единственном оставшемся со старых времен скрипучем деревянном коттедже у самого леса, я даже помню его номер — десять. Может быть, я забыл об этом не только из-за искрометности фантазий авторов фильма, от которых зал то и дело содрогался от гомерического хохота, а оттого, что мое место оказалось рядом с двумя очаровательными девушками — дочерями строгого и авторитетного академика Александра Ивановича Овчаренко из института имени Максима Горького.

Обе они в ту пору оканчивали институт, но держались особняком от молодежи. Виктору Гофману ни разу не удалось заманить их на вечеринку, которые в дни студенческих каникул проводились чуть ли не каждый вечер в каком-нибудь дальнем коттедже, чтобы не мешать писателям, предпочитавшим главный корпус. Сестрички очень различались между собой не только ростом, но и внешностью. Младшая, Елена — шатенка, высокого роста, как модель Евангелиста, всегда улыбчивая. Старшая, Ольга — смуглая, зеленоглазая, строгая, как отец, смотрела на своих сверстников, да и на меня с Гофманом, несколько свысока, словно знала нечто недоступное для нашего понимания.

Ольга, кстати, оказавшаяся рядом со мною плечо в плечо, нравилась мне, в моем воображении она, казалось, явилась к нам прямо из Серебряного века, которым я бредил в ту пору. Наверное, будет несправедливо, если я не скажу об их судьбе, хотя бы вкратце.

Обе состоялись, как и Юлия Латынина, по гамбургскому счету. Ольга Александровна рано стала доктором наук, давно уже в своей сфере — авторитетнейший академик, как и отец. Написала несколько умных книг, по которым просвещается уже пятое поколение студентов и аспирантов. Сегодня она, кажется, возглавляет какой-то важный, по прежним меркам, гуманитарный институт. Я думаю, и Ольга, и Елена, обе превзошли надежды своих родителей, очень достойных людей.

Елена состоялась, как ни странно, на другой площадке, тут и родительский пример, и связи никак не сгодились, да и среда, в которой она состоялась, признаем, куда более агрессивная, конкурентная, чем научная, где реализовалась зеленоглазая Ольга. Елена закончила факультет журналистики МГУ, рано и толково печаталась в старое время, а потом, спустя годы, стала собственным корреспондентом в Америке, сменив на этом посту великого, непревзойденного, без славословий, Мэлора Стуруа. С которым я имел честь быть знакомым, благодаря моим тбилисским друзьям: академику Саргису Цаишвили, поэтам Резо Амашукели и Гураму Гвердцетели, романисту Отару Чиладзе и Мито Гулисашвили — переводчику моей книги «Чти отца своего» на грузинский язык.

До последних дней существования привычных для нас «Известий» (май 2011 года), оказавшихся сегодня в руках людей, мягко скажем, далеких от газетного дела, но прибирающих к рукам все, что только можно, Елена Овчаренко была одним из руководителей

самой интересной газеты России за последние двести лет. Женщин у руля таких крупных, влиятельных газет вспомнить навскидку не могу, даже при всей своей информированности. Я уверен, что новая, уже третья по счету, газета «Известия» непременно возродится, и я увижу на ее капитанском мостике Елену Александровну Овчаренко, которую помню по исчезнувшей навсегда прекрасной Малеевке.

Вот с какими девушками я сидел рядом накануне открытия «игорного сезона» в Доме творчества по соседству с деревней Глухово. И немудрено, что предложение Ярослава Кирилловича оказалось забыто.

После фильма от распиравших меня эмоций, от интересного приглашения на рулетку, которое я все-таки вспомнил, от приятного соседства в кино я не вернулся за письменный стол, хотя и намеревался еще раз перечитать написанные днем пять страниц — меня тянуло к людям, к общению.

И тот поздний январский вечер остался в памяти навсегда. Мягко, лениво, как в кино, падали крупные снежинки, даже не дул обычный в это время северный ветер. Тропинки, аллеи, подходы к коттеджам оказались тщательно расчищенными, фонари горели все до одного необычно ярко, тепло, приветливо. В ту пору экономить электричество, не говоря уже о том, чтобы горевать о его недостатке, никому не приходило в голову, хотя, оказывается, мы тогда жили в глубочайшем застое. А сверху, как по волшебству киношного режиссера, светила полная луна в окружении бриллиантово примороженных звезд — идеальная рождественская открытка. Много лет спустя такая открытка попалась мне на глаза в альпийской Швейцарии.

Казалось, весь Дом творчества вышел в тот вечер на прогулку, попалась мне навстречу и семья Овчаренко, с которой я галантно раскланялся. Я искал глазами Льва Адольфовича Озерова или Валентина Дмитриевича Оскотского, перед ужином я прослушал очередную литературную передачу Бориса Парамонова и у меня возникли вопросы к ним. Но вдруг я вспомнил просьбу Голованова — пригласить кого-нибудь на рулетку, не могли же мы играть втроем. Хотя Ярослав Кириллович ни о чем нас не предупреждал, я понимал, что не всякого можно пригласить в компанию, все-таки, рулетка — игра на интерес. Неважно, копейка или рубль, статья одна и та же, как обронил однажды легендарный Алимжан Тохтахунов, по кличке «Тайванчик», а если точнее — «Тайванец», поскольку я знаю его с юношеских лет,

когда он подавал большие надежды вырасти в выдающегося футболиста, такого, как Лионель Месси, например. Но не срослось, не судьба. Травма — я свидетель тем временам и обстоятельствам. Алик Тохтахунов получил свой первый и единственный срок только за то, что играл в карты на деньги.

Воспоминание о судьбе Алика несколько притормозило мои поиски партнеров, но уж так хотелось сыграть в рулетку!

И тут меня, остановившегося задумчиво у припорошенной снегом голубой ели возле коттеджа Федора Семеновича Наркирьера, где любили останавливаться и Волгин, и Поликарпов, окликнули. Я поднял голову и увидел Игоря Волгина, он спускался с крыльца на прогулку. Судя по лицу, по улыбке, день у него получился удачный — писалось. В эту минуту я забыл о проблеме с рулеткой и стал с жаром рассказывать Игорю о прослушанной передаче Бориса Парамонова. Все возникшие у меня вопросы я переадресовал ему и тут же получил обстоятельные ответы. Именно в тот вечер я почувствовал в нем такую глубину знаний, прямо-таки бездну бездн, что невольно стал относиться к нему как старшему, но не так почтительно, до обморока, как к Мустаю Кариму.

Так получилось, к счастью, что Игорь Леонидович никогда не выпадал из поля моего зрения, хотя мы крайне редко виделись после потери Малеевки, и я могу утверждать, что он, подобно английскому истребителю «харриер», обладающему мощным вертикальным взлетом, всегда поднимался все выше и выше и, даже достигнув признания в мире, не перестает удивлять мировую науку и меня, его старого поклонника, как поэт и ученый. Слушая выступления Игоря Леонидовича, читая его статьи, книги, понимаешь, что пределов совершенству нет. Но так я могу сказать только о нем одном, другие, никогда не останавливающиеся в росте, как он, мне не попадались, хотя я пристрастно вглядывался во многих очень способных, подающих огромные надежды людей. Но, к сожалению, большинство талантов, подобно ярким кометам, быстро сходят с орбиты.

Заканчивая прогулку, я опять вспомнил о завтрашнем вечере у Голованова и спросил Волгина без всякой надежды, на всякий случай, не очень рассчитывая, что это может его заинтересовать:

— Игорь, не хочешь завтра в рулетку поиграть?

Он посмотрел на меня так, словно я его разыгрываю, и переспросил с нескрываемой издевкой:

— В рулетку? Где же казино, в Глухово?

Пришлось подробно рассказать о затее Ярослава Кирилловича.

— Голованов? Это серьезно… А играть как собираетесь — понарошку, на фантики, или всерьез? — в нем заговорила природная осторожность. Он-то мгновенно понял, что к чему. И про черные «Волги», что приезжали сегодня, он, конечно, знал, потому как дружил и с Инной Львовной, и с Семеном Израилевичем, и про ответственность за азартные игры тоже ведал, даже не зная судьбы Тайванца. Игорь как бы читал мои недавние мысли, он и в молодости был мудр.

Я, поняв, что промахнулся, ответил, сохраняя достоинство:

— Конечно, на интерес, мы же взрослые люди, чтобы в фантики развлекаться.

Волгин вдруг остановился, как-то по-новому, заинтересованно глянул на меня и сказал с неожиданным азартом, которого я никак не предвидел.

— А что, прекрасная затея! Рулетка, зимняя ночь за окном, плотно зашторенные занавески, условный стук в дверь, ставки, азарт, выигрыш, проигрыш, восторг, отчаяние, крушение надежд, шальное богатство! Интересно, очень интересно!

Перед ним мгновенно сложился неведомый мир, мир, который, наверное, волновал его давно — но я понял это только спустя… три года.

— Спасибо, что пригласили.

На этом мы и расстались. Я оглянулся — на дальних к коттеджам дорожках уже погасли фонари, даже луна, владычица ночи, исчезла за единственной объявившейся на небе тучкой, на сонных аллеях Малеевки никого уже не было. Удивительный день закончился.

На другой день, сразу после ужина, я пришел с Игорем в коттедж номер десять. Оказывается, Голованов занимал там самую большую комнату, очень уютную, на момент нашего прихода ничто там не напоминало зал для рулетки, хотя мы с Волгиным и озирались по сторонам. За нами с интервалом в десять минут появился Гофман с сыном Петра Лукича Проскурина — очень популярного в те годы писателя, он имел миллионные тиражи любимых народом книг. На мой взгляд, кроме «могучей кучки» писателей, о которой я уже упоминал, существовала и тройка былинного масштаба великих русских богатырей-романистов в лице Петра Проскурина, Михаила Алексеева, Анатолия Иванова. Хотелось бы, хоть и запоздало, вдогонку истории, застолбить за собой термин — «три богатыря русско-советской литературы».

Увидев Проскурина-младшего, которого видел впервые, я испугался — знал крутой нрав Петра Лукича. Хорошо знал и его очень активную, властную жену, татарку, родом с Дальнего Востока, где Проскурин в молодости работал на лесоповале. Тесть Проскурина руководил там местным писательским союзом, дружил с Николаем Задорновым — очень крупным романистом, оставившим важные для русского сознания исторические романы. Но сегодня фамилия Задорнов больше ассоциируется с его знаменитым сыном сатириком Михаилом Задорновым.

Кстати, в 1978 году, в июле, я работал в Коктебеле и жил в двухэтажном особняке, вожделенном для писателей, потому, как только туда подавалась горячая вода. Моим соседом на втором этаже 19-го корпуса оказался Николай Задорнов, удивительный по масштабам видения прошлого, настоящего и будущего России писатель. Я счастлив, что не раз общался с соседом за бутылкой чудного массандровского вина «Красный камень». Сегодня я вижу, как многое сумел передать сыну писатель, историк, гражданин Николай Задорнов.

Но вернемся к жене и тестю Проскурина. Писательская молва утверждает, что тесть крепко помог любимому зятю в начале пути. Я считаю — хорошо, что так получилось. Будем справедливы — Петр Лукич был талантлив от Бога, а о его работоспособности ходили легенды, он писал в день по пятнадцать страниц на машинке! В трудолюбии, производительности Проскурин уступал только одному писателю-отшельнику, который даже на парикмахерскую жалел время — Валентину Пикулю. Пусть земля им обоим будет пухом.

Я понимал отчетливо, случись какой скандал, связанный с азартными играми, в который мы втянули студента — сына Проскурина, я бы точно вылетел из Союза писателей, и к гадалке не ходи. Времена были строгие, ответственные, за проступки надо было отвечать. Конечно, и Гофман мог пострадать, но его не дал бы в обиду влиятельный отец, возглавлявший несколько судьбоносных комиссий в Союзе писателей. Вот за Голованова я не переживал вовсе, он так высоко летал, с таким людьми общался-знался, включая и первых лиц государства — аж дух захватывало!

Но не мог же я, распахнув дверь, сказать сыну Проскурина: «Гуляй, Вася, такие страсти не про тебя, иди зубри латынь». Скажи я это ему, что вообще-то было бы мудро, скандал мог случиться еще до того, как мы увидели саму рулетку, парень был весь в отца — горячий, гордый, с гонором.

Пока мы с Игорем приглядывались, Проскурин-младший приметил на тумбочке в углу у кровати бутылку виски и рядом несколько граненых стаканов, как ни странно, подходящих для заморского напитка, это был еще один щедрый подарок Кириллыча. Виски тогда в свободной продаже, кроме магазинов «Березка», торговавших на валюту, не было. Юный гость, понимая, что виски предназначено сегодняшним игрокам, лихо отвинтил пробку, весело вскрикнул и даже, кажется, припрыгнул при этом: «О, «Баллантайн»!» — видимо, он хорошо знал этот сорт: Петр Лукич, его отец, много печатался за рубежом и «Березками» пользовался широко. Затем жестом бывалого бармена плеснул понемножку во все четыре стакана и очень ловко преподнес каждому из нас. Игорь успел мне шепнуть: «А этот малый — не промах, мне он нравится: как прекрасно, свободно держится, не то что ты — стоишь как истукан, а точнее, как бедный родственник на пиру, хотя, я вижу, Голованов благоволит к тебе, пригласил лично».

Не знаю, чувствовал ли Игорь мои страхи относительно Проскурина-младшего, но его слова раскрепостили меня, я тут же повеселел и стал по-иному смотреть на самого юного участника сегодняшней игровой премьеры.

Жаль, я не запомнил его имени, он, действительно, оказался замечательным парнем, надо отдать должное проницательности Волгина. Пока мы смаковали глоточками крепчайшее виски, я слышал, как в тесной прихожей щелкали замки роскошного кожаного чемодана Голованова, сплошь обклеенного стикерами известных авиакомпаний и знаменитых отелей. Чемодан Ярослава Кирилловича вызывал у многих пижонов жгучую зависть и интерес, и, как рассказывал сам спецкор, несколько раз в аэропорту какие-то грузины предлагали ему немыслимые деньги за это желтое, бычьей кожи, чудо. «Понты дороже денег»,— как говорили в дни моей прошедшей молодости.

Как только Ярослав Кириллович бросил на массивный письменный стол, дружно передвинутый нами от окна на середину комнаты, две легкие плоские коробки немалого формата, раздался, как и нафантазировал накануне Волгин, условный стук в дверь, и хозяин комнаты поспешил ко входу встречать новых гостей. Мы все обернулись к прихожей, но я успел заметить, что Игорь шагнул к окну и более тщательно зашторил занавешенное окно.

Четверо молодых мужчин, приехавших на черной «Волге», оказались нашими соседями — двое из Дома творчества кинематографистов

в Рузе, а двое — из Дома композиторов. Мы часто наведывались к ним в бар, у них он, кажется, работал круглосуточно. Топать приходилось по лесу, по прямой километра три, но в молодости это не расстояние. Атмосфера и в Доме композиторов, и в Доме кино напоминала зимние курорты в Домбае и Чегете. Такой чопорности, строгости, как у нас в Доме писателей, у них не было. Они к нам приходили редко, разве что проведать друзей или знакомых, или тех, с кем сотрудничали для кино или театров.

Голованов помог гостям раздеться, небрежно побросав их щегольские итальянские и французские дубленки, вызывавшие не меньшую зависть, чем его чемодан, прямо на это кожаное чудо, лежавшее на полу, и представил нас, сказав приятные слова в адрес каждого. Так же подробно он аттестовал композиторов и киношников. Очень жалею сегодня, что не запомнил их фамилии, особенно двух молодых людей из Дома композиторов. Мне кажется, я уже лет тридцать вижу их на телеэкране, встречаю в Концертном зале имени Чайковского или в Большом зале Консерватории, который, слава Богу, наконец-то замечательно отреставрировали.

Конечно, они крепко изменились, забронзовели, но время не щадит никого, перед временем равны все — и глупцы, и гении. Если я не путаю, они оба стали заметными композиторами в современном мировом искусстве, а уж в российском — без сомнения, что, может быть, даже выше, на мой взгляд. Хочу это подтвердить реально существующим, но малоизвестным фактом.

В Дагестане высоко в горах в крошечном селе, кажется, Дарго, живут более двадцати чемпионов мира и Европы по борьбе, об остальных чемпионах и речи нет, оценка по гамбургскому счету. В этом селе мудрецы-аксакалы на полном серьезе говорят: что там чемпионат мира — детские забавы, ты вот попробуй выиграть первенство в Дарго, победишь — весь мир будет у твоих ног. В летопись села вписываются только те чемпионы мира, кто побеждал у себя дома, в Дарго.

Но вернемся в коттедж номер десять. Я, кажется, знаю, кто они — наши гости, но утверждать точно, называть их фамилии не могу, а жаль — компания из сплошь состоявшихся в искусстве людей, некогда игравших в запретную рулетку,— это важная часть биографии творческого человека тех лет. Надеюсь, они случайно наткнутся на мои скромные записи и найдут меня, и тогда, возможно, я и открою их имена.

Обязательно надо отметить, что и Голованов, и запоздавшие гости, все пятеро, были старше нас, уже успевших хлебнуть «Баллантайн».

Голованов, как и утверждал, в мгновение ока раскинул содержимое обеих красочных коробок на двухтумбовом дубовом столе, и перед нами появилась рулетка в миниатюре, правда, в пластике под полированный гранит и красное дерево, с первоклассным картоном, имитировавшим благородное зеленое сукно из Манчестера.

Как выяснилось, киношники и композиторы знали правила игры, и они вышли в коридор покурить, что, как показалось мне, вызвало недовольство Голованова. Ярослав Кириллович в течение десяти минут объяснял оставшимся правила игры, на самом деле ясные и простые, исключающие, на первый взгляд, спорные моменты. Все слушали молча, не перебивая мэтра, но, несмотря на всю простоту правил, Волгин все же задал Голованову несколько очень тонких вопросов, например — каждый ли вправе стать крупье? Хозяин комнаты, не ожидавший вопроса, с любопытством посмотрел на Игоря и ответил: «Не каждый».

Затем, после короткой паузы, продолжил: «В настоящем казино ответственность за выигрыш клиента несет владелец заведения, а не крупье. В нашем случае крупье как бы представляет заведение, и оттого им может быть только человек относительно состоятельный, чтобы гарантировать выигрыш каждому. Хотя, надо признать, крупный и постоянный проигрыш крупье случается не часто, обычно проигрывают друг другу игроки. Вот недостачу выигрыша игрокам приплачивает крупье, а если проигрывает большинство — ставки отходят к заведению, в нашем случае — к крупье. В данной ситуации любой из вас, становясь крупье, играет как бы против всех. Сегодня, для начала, его роль я беру на себя, и только потому, что ставка на одну позицию не должна превышать двадцати копеек, а позиций таких много. Следующая игра может состояться со мною в роли крупье, только если я сегодня не окажусь в жестоком проигрыше и не стану банкротом. В таком случае кто-то из вас должен взять на себя роль крупье»,— и Голованов многозначительно посмотрел на вернувшихся к столу композиторов и киношников, видимо, людей, по нашим меркам, состоятельных.

Через минуту Ярослав Кириллович голосом мажордома объявил: «Господа, пожалуйста, делайте ваши ставки»,— и игра началась.

Признаюсь, «господа» крепко резануло мой слух, сегодня вы даже представить не можете, как было рискованно играть в «господ», даже

понарошку, не говоря уже о нашем случае. Тут, наверное, и Голованова, заварись какая каша, не спасли бы никакие заслуги и связи, и даже общение с первыми лицами государства. Кому многое дается, с того и много спрашивается — к сожалению, забытая прежде времени популярная присказка в России. «Господа», в любом контексте, идеологически были несовместимы с правящим коммунистическим режимом. Уж я точно понимал, даже физически ощущал это своим рабоче-крестьянским происхождением.

Конечно, игра в рулетку имела элемент зрелищности, мне нравилось, как Голованов, только объявив выпавший номер, а делал он это артистически и каждый раз по-новому, мгновенно, как профессиональный крупье, ловко, элегантным жестом, используя длинную лопаточку, отгребал фишки проигравших к выигравшим, а если что оставалось на сукне, то бишь картоне, с прибауткой, шуткой, философской фразой пододвигал к себе. Хозяин рулетки был столь профессионален, быстр, точен, внимателен, любезен, артистичен, что Проскурин-младший в перерыве, когда допивали остатки виски, сказал нам с Игорем по-свойски: «Ярослав так часто мотается по свету, не подрабатывает ли он, при таком таланте и знании языков, где-нибудь в Монте-Карло или Лас-Вегасе крупье, надо бы проверить». Мы с Игорем переглянулись, парень был наблюдателен, дерзок не по годам.

Игроки быстро освоились, кто-то ставил на две-три позиции, кто-то на пять и больше, а Проскурин-младший сыпал фишки кругом, где было свободно, не раздумывая, но особенно не выигрывал и не проигрывал, хотя однажды после перерыва и сорвал большой куш при таких минимальных ставках. Проигрывали киношники и композиторы, они и настаивали разрешить делать ставки по рублю, видя очевидный успех крупье, но Голованов был строг, игра переходила в острую фазу. Были и небольшие перерывы, время стремительно приближалось к полуночи. В перерывах кто-то выходил покурить, Голованов не курил и запрещал делать это в своем рабочем кабинете, как он сам его назвал, остальные дружно выпивали, закусывали. Гости из Рузы пришли не с пустыми руками, принесли две бутылки «Столичной» водки в новых длинных, изящных бутылках и закуски — дивную югославскую ветчину в большой полуторакилограммовой жестяной коробке и уже нарезанную сырокопченую колбасу, не менее килограмма. В те годы такая колбаса подавалась только в ресторанах и продавалась в спецмагазинах. Еще привезли

какой-то замечательный заморский сыр, тоже нарезанный и завернутый в специальную тонкую бумагу для продуктов. Глядя на царское угощение, Волгин шепнул мне: «А буфет-то у них побогаче будет».

В общем, премьера успешно катилась все дальше, никто не спешил уходить. После одного из перерывов заезжие гости все-таки уговорили хозяина рулетки разрешить делать ставки по рублю, чему очень обрадовался наш горячий студент. Он даже зааплодировал в знак одобрения, но Ярослав Кириллович мгновенно его остудил: «А это вас, молодой человек, не касается, вы будете продолжать играть на прежних ставках». Какой всплеск эмоций продемонстрировал Проскурин-младший — не высказать! В нем таился, оказывается, еще и актерский талант, но Голованов был тверд, и студент остался, хотя и грозился уйти. Игра пошла поживее.

У меня игра шла с переменным успехом, мне, если откровенно, нравился сам процесс, а, главное, атмосфера азарта вокруг. Хотя и играли по мелочи, страсти кипели. Видимо, страсть не очень зависит от сумм, но, судя по фильмам, это не так, хотя с высоты своих лет я придерживаюсь собственной версии. Я с удовольствием наблюдал, можно сказать, даже восхищался, как ловко управляется Ярослав Кириллович с непростым хозяйством, любовался тем, как небрежно разбрасывает фишки по сукну студент. Остальные как-то выпали из моего поля зрения, хотя время от времени я слышал голос Виктора Гофмана, человека тоже азартного, но выдержанного, в нем страсти, наверное, кипели.

Потерял я из виду и Волгина, вот его совсем не слышал и не видел, хотя у стола он стоял рядом со мной. Только однажды я увидел его руки — тонкие, холеные, с гибкой кистью, как у пианистов или выдающихся карманников. Руки, характерные и для большинства крупных картежников, я не раз видел такие в компании, где играл Тайванец. Впрочем, я видел и тех, и других, и третьих — одинаково талантливые руки занимались разным делом.

Руки Игоря бросились мне в глаза, потому что он поставил по три монеты на… «чет» и «нечет». Я подумал, что он ошибся, хотел обратить его внимание на несуразность ставки, но меня окликнул крупье, чтобы я поторопился со ставкой. И я снова потерял на время Игоря из виду. Только дважды, как сквозь сон, через пелену сознания слышал, как крупье обращается к нему: «Господин Волгин, пожалуйста, сделайте ставку, вы задерживаете коллег». На что Волгин отреагировал очень серьезно: «Извините, я пропущу этот кон, мне нужно

кое-что обдумать». Никто чудачества Игоря не комментировал, может, и не слышали, даже студент, очень едкий на язык парень. Я тоже не считал нужным вникать в смысл слов уважаемого мною поэта, я как раз трижды подряд выиграл и был занят собой. Я, как и киношники с композиторами, ставил уже по рублю. Именно после моих удач казна возле крупье заметно истаяла.

Случайно уронив фишку, я увидел, как Игорь, не замечая меня, с невероятным вниманием и интересом, словно от этого зависело нечто важное, судьбоносное, глядел не на зеленое сукно, где Голованов передвигал фишки уже на чувствительные суммы, а на наших гостей из Рузы. Вот гости интересовали его всерьез, они играли страстно, переходили от одного края стола к другому, придумывали невероятные для меня комбинации, которые один в один повторял за ними в следующем туре Проскурин-младший и часто выигрывал при этом, а сами авторы «великих» комбинаций продолжали проигрывать и проигрывать. Я забыл на время про игру, Игорь волновал меня больше — почему «чет» и «нечет» одновременно, и что значит его столь пристальное внимание к чужим страстям, эмоциям? Зачем ему, поэту совершенно иной формации, повышенное внимание к пагубным страстям, давно вдоль и поперек изученным литературой, хоть в прозе, хоть в поэзии? Он, наверное, рисует, подумал я вдруг радостно, и хочет написать картину «Страсти греховные», иного объяснения я в тот миг не предполагал. Название картины я намеревался подарить ему при случае, если застану его за мольбертом.

Игра неслась стремительно, приближалась полночь — конец оговоренного времени игры, и все понимали, что Голованов ни на минуту не продлит игру. Кириллыч был одним из самых принципиальных людей, которых я знал.

Студент, не мудрствуя особенно, продолжал дублировать ходы киношников и композиторов и почти всегда выигрывал, три моих крупных выигрыша тоже перетекли к нему. «Фартовый парень»,— сказал о студенте один из киношников с заметной долей зависти. Они ведь видели, что студент идет по их следам, и были бы не прочь воспротивиться, но правила игры не запрещают этого, случись какая претензия, Голованов непременно стал бы на сторону юноши.

В какой-то момент я вновь увидел на картонном сукне белоснежные манжеты эстета Волгина, он тоже ставил по рублю, но теперь… на «красное» и «черное». Но никто за чужими ставками не следил, каждый думал о своих ходах. А я так запутался в своих предположениях

К о тактике Игоря, что подумал: я так устал, и мне померещилось: «красное» и «черное» одновременно, такого не должно быть ни при каком раскладе, ни при какой фантазии, Волгин всегда производил впечатление очень разумного человека.

Игра в рулетку захватила Малеевку всерьез. На следующий день пришли играть двое кавказцев, начали с претензий: почему не пригласили их вчера? Голованов, быстрый на ответ, съязвил, что их и сегодня не приглашали.

Мгновенно наметился скандал, как теперь принято выражаться — на межнациональной основе. Молодые кавказцы горячились: мы не хуже вас, Тбилиси — почти Париж, и в Тбилиси, мол, с царских времен игра в рулетку не прерывалась ни на день и стала чуть ли не национальной игрой — вот в таком, приблизительно, ключе. За всех нас отбивался от грузин хозяин комнаты, но если что, мы бы Кириллыча не дали в обиду. Но скандал очень быстро уладил Гофман, переводивший грузинские стихи. Разумеется, эмоциональные поэты подсыпали перца в игру. Правила рулетки они действительно знали. О ставках их никто не предупредил, они с места в карьер стали ставить по пятерке на кон. На замечание крупье не ставить больше рубля один из них дерзко ответил: «Мои деньги, сколько хочу — столько и ставлю»,— но, как вы понимаете, у Ярослава Кирилловича с ответом не заржавело: «Сколько хотите ставьте у себя в Тбилиси, а у нас правила свои. Не нравится, вот — Бог, а там — порог».

Гостям, видимо, так хотелось играть, что они согласились и больше ни разу не выступали, хотя порывались раз десять, наверное, высказать что-нибудь жесткое, а, может быть, даже врезать разок ехидничавшему весь вечер в их адрес Проскурину-младшему. Тот постоянно называл их «наши парижане»: вот парижане, пусть парижане, и просто — парижане. Студент наш был не только дерзок, но и смел, он не мог не видеть в глазах «парижан» иногда очень злые огоньки. Я попытался вмешаться, хотел сказать, чтобы он оставил грузин в покое, но Игорь меня остановил: «Не лезь, так Проскурины куют характер, я ведь тебе еще вчера отметил, что он стоящий парень».

Забыл сказать, что в обед в столовой я столкнулся с Игорем у буфета, и первый вопрос, который от него услышал, был: «Сегодня играем?». У меня мгновенно мелькнула мысль: странно, такой разумный человек, а как быстро, с первого раза, подсел на игру, глаза у него горели страстью, таким я друга еще никогда не видел. Я ответил: только

что виделся с Ярославом Кирилловичем, и игра состоится, как и вчера, после ужина. Игорь, обрадованный, негромко попросил буфетчицу: «Милая Зоя, пожалуйста, заверни чего-нибудь вкусненького из дальних закромов родины, у меня сегодня важные гости. Уважь». Я тут же отправился к своему столу — строптивой Зое свидетели ее симпатий к Игорю были не нужны.

Не приехали на игру щедрые гости из Рузы, но от них был гонец, кинорежиссер, он тоже приехал на черной «Волге» и, как вчера его коллеги, привез и выпить, и закусить. В тот вечер многие впервые попробовали французский коньяк «Наполеон», вот он-то изредка бывал в продаже в «Елисеевском» на Горького, но стоил очень дорого, хотя исчезал в течение часа. Принес и я на закуску знаменитую на Востоке колбасу казы из конины. Она пошла «на ура», затмила и югославскую ветчину, и сырокопченую колбасу.

Все было, как и вчера — игра, перерывы, перекуры. И снова — девять человек, Проскурин-младший привел с собой друга. Если вчера игра набирала темп плавно, то сегодня понеслась с места в карьер. Монеты ставили редко — только новый игрок, приятель студента, и я, даже осторожный Волгин ставил рублевые фишки. Наш студент, помня успех на премьере, пытался повторить его, снова густо устилая картонное сукно фишками, но вчерашних лоцманов из Рузы, торивших ему путь к успеху, не было. Проскурин-младший два-три раза попытался повторить ходы кинорежиссера, но скребок крупье то и дело сгребал его ставки выигравшим, а иногда их пригребал к себе Кириллыч.

Захватила игра и меня, но не в смысле выиграть-проиграть, я особенно не горячился, держал себя в узде. Я вдруг так кстати вспомнил легендарного Фицджеральда, человека страстного, увлекавшегося не только картами, но и рулеткой, и подумал: вот же новая тема, не отжатая в нашей литературе — азарт. И стал пуще прежнего вглядываться в сгрудившихся возле письменного стола Голованова азартных игроков.

Я давно хотел вырваться из привычных для меня тем строительства, где проблем, характеров и героев хватало. Я написал повести: «Дамба», «Сезонные работы», «Искусственные сооружения» — названия, с позиций сегодняшнего дня — просто жуть, а я ими тогда так гордился. Человек труда и при социализме мало интересовал литераторов, хотя А. Гельман за пьесу «Премия» получил Ленинскую премию, а «Сталевары» Г. Бокарева даже поставили на сцене МХАТа.

Но я, уйдя из строительства, понимал, что мне надо кончать с этой темой, иначе допишусь до того, что меня прозовут «певцом строительных площадок». Я всегда помнил высказывание своего любимого писателя Валентина Петровича Катаева, который утверждал, что настоящий писатель начинается только тогда, когда выйдет за границы своей биографии. Как ни крути, а двадцать лет строительства и были моей биографией.

Критика в ту пору отличалась зубастостью, не прощала промахов, Алла Латынина назвала Александра Проханова, любимца издательства «Молодая гвардия», «соловьем Генштаба». Хотя, на мой взгляд, Проханов и сегодня остается одним из крупнейших русских писателей, которого судьба Отечества заботит больше, чем политиков и даже людей, стоящих у власти. Работоспособности Проханова позавидовали бы сегодня и Проскурин, и Пикуль, будь они живы. А как публицист по твердости своих убеждений Проханов стоит вровень со Станиславом Говорухиным и легендарным Сергеем Кургиняном, в одиночку отбивающимся в телестудиях от стаи либералов, старающихся очернить, опошлить наше прошлое.

Неожиданно я отметил для себя: хорошо, что почти наполовину сменился состав — новые люди, новые страсти. Сегодня для меня интерес представляли молодые грузины, на них держался весь нерв игры, они применяли раз за разом новые ходы, новые комбинации, похитрее и сложнее, чем у вчерашних киношников и композиторов, но успех от них отвернулся.

Стоявший рядом со мною, как и вчера, Волгин, видя, что я откровенно наблюдаю за игрой поэтов из Тбилиси, шепнул: «Мне кажется, игра не любит злых людей, играть нужно легко, небрежно, не ставя больших задач и целей — так, как играет Проскурин-младший». Игорь произнес это с убеждением, хотя видел, что студент сегодня чаще проигрывал, чем выигрывал. Я не стал возражать Волгину, хотя не разделял его точку зрения. Как я понял, он складывал свою концепцию понимания игры, а точнее, его интересовало поведение людей, моментальная смена настроения, а отсюда — и поступков. Но зачем ему это надо? Меня он крепко заинтриговал, потому что он виделся мне неким эталоном литератора и человека. Не собирается же он открыть казино, да это было бы невозможно ни при каких обстоятельствах — социализм прочно, на века, стоял за плотно зашторенным окном, глядевшим в темный лес.

Тогда в полный политический голос еще не зазвучали ни А. Солженицын, ни А. Зиновьев, ни Е. Буковский, самым заметным и авторитетным оппонентом коммунизма на Западе выступал профессор А. Авторханов, чеченец, родом из Надтеречного района, автор многих фундаментальных статей и книг, доставлявших немало хлопот идеологическому отделу ЦК КПСС и его главному теоретику М. А. Суслову. Вот передачи Авторханова глушились с особым рвением. Я слушал два его интервью, которые он давал Тенгизу Гудаве, давнему грузинскому диссиденту из Кутаиси, работавшему на радиостанции «Свобода». Его артистический баритон я и сегодня узнал бы из сотен. Авторханов своим глубокомыслием, аргументацией, парадоксальными примерами заставил меня кое о чем задуматься, хотя тогда я был уверен: насчет скорого краха социализма он крепко ошибался.

Я уже строил в голове план рассказа или повести, и в нем нашлось место этим горячим парням из Тбилиси, одетым по моде, дорого, стильно, что резко выделяло их из среды обитателей Малеевки. Я невольно стал проникаться симпатией к своим будущим героям. Не любить своих героев означало для меня одно — загубить вещь, это было моим собственным открытием в литературе, и я его всегда придерживался. Я уже мечтал, что посмотрю за игроками день-два и по свежим впечатлениям начну писать — работа над повестью подходила к концу.

Но, забегая вперед, признаюсь: молодые щеголи из Тбилиси больше не приходили на игру, а вскоре досрочно покинули Малеевку, уехали погулять в Москву. И мои планы написать повесть с их отъездом рухнули, не начавшись. Я искренне жалел об этом, и пока они жили рядом, встречаясь с ними на прогулке, в столовой, библиотеке, вежливо, на грузинском языке приветствовал их. К тому времени моя футбольная страсть свела меня с великим Славой Метревели, входившим в сборную мира, Зауром Калоевым, так блистательно игравшим головой, особенно после угловых, Гурамом Цховребовым, Мишей Месхи, да и всей командой «Динамо» Тбилиси, с игроками которой дружил много лет.

Больше я этих щеголей не видел ни в Малеевке, ни в Переделкино, но спустя много лет мы встретились в Пицунде, на грузинской территории. Хотя мы все за эти годы серьезно изменились, узнали друг друга сразу и бросились в объятия, словно старые добрые друзья.

В тот же день они накрыли в мою честь шикарный стол в ресторане «Инкит», расположенном напротив Дома творчества. Грузинское застолье всегда поражало меня, я был во многих известных домах в Тбилиси, но тут поседевшие поэты превзошли себя. Представьте — на обоих концах стола молодые поросята, форель, жаренные на вертеле на углях куры, шашлыки из молодого барашка, индейки, поданые целиком, горы горячих хачапури, разнообразные травы, салаты, приправы, овощи, фрукты и невероятные цветы — хоть натюрморт пиши, жаль — не догадались заснять стол, любой кулинарный журнал сегодня напечатал бы фотографию на обложке. Но что было — прошло.

Фишка в том, что вся эта живность часа три назад бегала и хрюкала в загоне, плавала в огромном аквариуме, кудахтала в просторном птичьем вольере на задворках ресторана. Грузины специально повели меня до застолья в подворье ресторана, им хотелось поразить меня, и я не сопротивлялся. Хотя директор «Инкита» Заур Твамба был моим старым приятелем, я знал, как у него поставлено дело, и очень удивился, когда он мне показывал ресторан в первый раз — клиент сам выбирал, что ему отловить в аквариуме, что поймать в загоне. Заур несколько раз принимал меня в родовом имении в поселке Лыхны, но это уже отдельный рассказ.

На вечер пригласили почти всех грузинских прозаиков и поэтов, отдыхавших в Пицунде, среди них были и те, кого я уже упоминал, но центром стола оказался Мэлор Стуруа, тоже прибывший на отдых в этот день. Стуруа был еще не стар, энергичен, элегантен, в джинсовом костюме, так подходившем его поджарой фигуре, говорил он так же ярко, как и писал. За грузинским столом всем предоставляется слово, и мои давние партнеры по игре с жаром рассказывали и об азарте запрещенной рулетки, о заснеженной Малеевке, припомнили и виски «Баллантайн», и югославскую ветчину. Вспомнили они и крупье Голованова, и Виктора Гофмана, вспомнили и задиристого Проскурина-младшего, и даже про «парижан» ввернули эффектно, обыграв ситуацию, что вызвало за столом необычное оживление и многократный смех. Вот какой след в их памяти оставила малеевская рулетка.

Но я снова отвлекся, извините — несет на волнах памяти, вернемся в теплую, очень уютную комнату Ярослава Кирилловича, на время ставшую для нас казино.

Голованов от «господ» и не думал отказываться, наверное, он считал, что без подобного обращения рулетка становилась пошлой и вульгарной игрой на интерес.

«Господа!» — больше всего понравилось грузинам, наверное, это обращение и удерживало их от агрессивных действий против Проскурина-младшего, которому Ярослав Кириллович все-таки сделал замечание — вести себя тактичнее и не задирать его гостей. Внушение было благосклонно принято грузинами, но никак не отразилось на поведении студента, язвить он продолжал по-прежнему и даже пару раз клюнул Гофмана.

Почти с нескрываемым ликованием принял «господ» и новый игрок, друг Проскурина-младшего, тот аж светился лицом. Может, он действительно был голубых кровей — дворянин, барон, принц или еще как их там? Хотя в ту пору происхождением никто не козырял, таились. Разве что грузины через одного объявляли себя вне Грузии князьями древних родов.

Абсолютно равнодушную и нейтральную к «господам» позицию занял Проскурин-младший, узнай об этом Петр Лукич, никогда не открещивавшийся от серпа и молота, осудил бы сына точно, за рулетку, может, и простил бы, но за «господ» всыпал бы крепко.

При каждом обращении «господа, делайте ставки» вздрагивал, кажется, я один, но внешне это было мало заметно, я умело скрывал свой непроходящий страх, мне казалось — я предаю нечто принципиальное, важное. Я пытался понять, что же думает на этот счет Игорь, но спросить не решался, любой ответ мог поставить нас обоих в неудобное положение. Хорошо, что я понимал это. Какой-то внутренний голос шептал мне: к вашей далеко не благородной затее играть на интерес Волгин не имеет никакого отношения.

Охваченный собственными планами, я фиксировал происходившее вокруг как на кинокамеру. Старался запомнить реплики выигравших и проигравших, мысленно записывал комментарии Ярослава Кирилловича, сегодня он был особенно в ударе, сыпал редкими и мудрыми изречениями, которых я никогда не слышал. Я пытался закрепить в памяти портреты своих будущих героев, уж очень колоритными были люди в игре. Я даже решил, что напишу рассказ до отъезда и подарю его Волгину, рассказ точно бы помог ему создать групповой портрет людей, охваченных страстью. В том, что Игорь ходит на игру только как художник, я уже не сомневался, мы все были натурой для его произведения, оттого он радовался новым и новым лицам, что приходили играть в рулетку. По-прежнему у него повторялось «чет» и «нечет», «красное» и «черное» одновременно, но однажды я видел, как он трижды подряд ставил на зеро,

Ка ставки были очень приличные. Так поступают самые отчаявшиеся, крепко проигрывающие, но никакого отчаяния на лице Волгина я не заметил. Я понял, Игорь хотел увидеть разочарование всех игроков разом, ведь если бы выпало зеро, все ставки отошли бы к Волгину. Жаль, Игорь не выиграл, интересная получилась бы картина, и название ей придумывать не надо — «Зеро», всем понятно. Но этот не состоявшийся в реальности сюжет я решил обязательно использовать в своем рассказе.

На третий день у нас резко изменился состав. Гофман закрутил роман со студенткой из МГУ, потерял интерес к рулетке и больше не приходил. Уехал на два дня в Москву Проскурин-младший — тоже по сердечным делам, на день рождения своей девушки, о чем он нас вежливо предупредил накануне после игры. Не пришел и его товарищ, о грузинах я уже говорил. Пропали игроки из Дома композиторов и Дома кино; жаль, конечно, но кончилась и югославская ветчина, и сырокопченая колбаса, к которой мы быстро привыкли.

Я тоже находился в сильном сомнении: идти, не идти? Поздно вечером выступал на «Свободе» с лекцией блистательный Борис Парамонов, а накануне я пропустил передачу о художнике Хаиме Сутине и очень жалел об этом. Его картины есть у нас на Волхонке, 12. Совсем недавно, до рулетки, я слушал замечательную передачу этого же автора о Модильяни, о котором у нас совсем еще мало знали, хотя выставка его работ там же, на Волхонке, уже была. Свои сомнения насчет игры я высказал Игорю днем, он очень неодобрительно посмотрел на меня и сказал убежденно: «Ломать компанию даже из-за Парамонова не стоит — неприлично, надо было вчера, при расставании, предупредить, как Проскурин-младший. Голованов может обидеться». Потом он, неожиданно сбавив тон, спросил меня с любопытством, о чем или о ком будет передача Парамонова. Я с грустью назвал тему. Игорь вдруг легко рассмеялся, словно снял с меня проблему, и сказал: «Не горюй, об этом я тебе сам расскажу не хуже Парамонова».

Не знаю, как прознали про игру писатели, но на третий вечер игроков собралось больше чем обычно — двенадцать человек, и все из нашего Дома творчества. Конечно, стало тесновато, но как-то притерлись. Я опять вспомнил про рассказ и на всякий случай продолжал вглядываться в новых героев, тема-то у меня была, да сюжет интересный, драматический никак не складывался.

Не видел я уныния от нового состава и на лице Волгина, он даже оживился пуще прежнего, наверное, теперь Игоря привлекал чисто русский характер играющих. Пришли пятеро сибиряков, земляков Валентина Распутина, и двое с Алтая, жутко азартные люди, очень похожие на киношных шаманов, они мне напомнили вчерашних грузин, по темпераменту, разумеется.

Самым странным для меня оказалось в тот вечер то, что из семи писателей, представляющих, по неофициальной терминологии, «почвенников», «деревенщиков», а проще — людей труда, тружеников села и города, певцов мартенов и элеваторов, ни один из них никак не среагировал на «господа!». Не отреагировали ни в шутку, ни всерьез, были равнодушны, как вчера и позавчера Проскурин-младший. Может, они в душе считали себя господами? Чужая душа — потемки, поистине. Вот бы поговорить на эту тему с Игорем! Но вдруг я понял: лучше спросить об этом Григория Яковлевича Бакланова или Льва Адольфовича Озерова. Ситуация с «господами» заводила не меня одного, затронула она и такого тонкого человека, как Голованов. Сегодня Ярослав Кириллович с «господами» даже перегибал. Открыто, но тонко провоцировал, однако новые гости и ухом не вели — их интересовала игра, ставки. Играли они, как картошку сажали — глубоко копали, тщательно присыпали, без шуток, розыгрышей, подначек, как уже сложилось в нашем казино. Очень не хватало энергетики Проскурина-младшего, интересно, ехидничал бы он в адрес писателей, близких по духу Петру Лукичу?

Разумеется, в сложной ситуации находился и Волгин, но по его лицу нельзя было ничего понять, он, как английский лорд, выглядел невозмутимым, предельно корректным, играл свою игру, мысленно набирал портреты для своей будущей многоплановой картины, или, как поэт и потомственный москвич, не исключаю — и дворянин, изучал характер, поведение людей, не очень близких ему и по географии, и, если уж откровенно, по культуре.

Волгин принадлежал к людям редчайшей, рафинированной культуры, за ними я уже тогда наблюдал в Домах творчества внимательно, делая в дневниках пометки, но о них — позже, в отдельной главе. Они заслуживают этого. Извините за рекламный слоган, я сказал то, что хотел.

Игра шла вроде как обычно, страстей хватало, но страсти были другие — предсказуемые или поверхностные: выиграл-проиграл. Исчез магнит игры, флер, не хватало электрической искры, вмиг

менявшей ситуацию. Не хватало высоты игры, вот, оказывается, чем отличались первые дни рулетки. Не чувствовалось естественного куража у крупье, куда-то пропали его афоризмы, философские высказывания о природе человека, которые ныне были бы уместнее всего. Голованов выигрывал и выигрывал, но это не доставляло ему радости. Странно, сегодня ставки редко гуляли от одного края стола к другому, чаще они сгребались в пользу крупье, хотя выигрывал и я.

Удивительно, никто не сказал ни с восторгом, ни с горечью, ни с завистью, ни ехидно, как Проскурин-младший: «Фартовый день у вас, Ярослав Кириллович!» Не сказал и я, хотя порывался. Я жалел о том, что как раз в эти минуты мог бы слушать полуторачасовую передачу блистательного Бориса Парамонова. Я явно терял интерес к игре и компании, меня держал здесь только Игорь, искавший непонятно что, его загадка «чет-нечет» продолжала меня волновать, хотя, кажется, я уже почти разгадал ее.

Я, наверное, ушел бы с этого вечера совсем расстроенным, если бы не сделал немаловажное открытие в загадке Волгина, не фундаментальное, но приближающее меня к отгадке «чет-нечет». Как я об этом раньше не подумал? Ведь я знал Игоря давно. Знал его болезненную щепетильность, касающуюся денег. Игорь никогда не завидовал чужим гонорарам, ничьим Госпремиям, никогда не говорил о них, не помню, чтобы брал взаймы, относился он к деньгам равнодушно, вот точные слова о нем и деньгах — равнодушие.

Сказав себе — он равнодушен к деньгам, я понял разгадку «чет-нечет». Такие деньги — добытые в азартной игре, унижали бы его, жгли бы ему руки, он не хотел выигрыша, ни маленького, ни большого, это противоречило бы его духовной сущности. Вот почему он играл одновременно на «красное» и «черное». Сделав такое логическое открытие, я аж задышал свободнее и оглядел внимательно и даже ласково стоявшего, как всегда, рядом Волгина.

Я, кажется, успокоился окончательно, но, когда уходил, нашлась новая, покруче, загадка. А почему он тогда ходит сюда с таким интересом? Что его так держит среди людей, чуждых его культуре, его духовным запросам? Все началось с начала, новый вариант загадки очень интриговал меня.

Утром зашел ко мне Виктор Гофман, занес с почты отложенные для меня газеты, которые я регулярно покупал, находясь в Малеевке. Я предложил ему выпить чашку кофе и налил рюмочку грузинского коньяка «Варцихи», который ценил так же, как и армянский

«Ахтамар». Кофемания тогда уже лет десять как охватила страну, и покупка банки элементарного быстрорастворимого кофе превращалась в проблему, теперь и представить себе это трудно, хотя получали мы самый низкопробный кофе из Индии. Но я перед тем, как перебраться в Малеевку, всегда минимум неделю жил в гостинице «Пекин», там на третьем и шестом этажах находились замечательные буфеты, куда посторонним вход был строго запрещен.

В буфетах «Пекина» водилась и икра, какая хочешь — хоть паюсная, хоть зернистая, не говоря уже о красной. О сервелатах, окороках и рыбе ценных пород, хоть холодного, хоть горячего копчения, о заливных из осетрины, стерляди и говорить как-то неудобно. А какие изумительные грузинские вина предлагались: «Тетра», «Твиши», «Ахашени», «Киндзмараули», «Бахтриони», «Мукузани» — многие, скорее всего, и не слышали о них. Наверное, и господин Онищенко их не пробовал. Болгарские сигареты «БТ» и «Фемина», редко появлявшиеся в продаже, здесь лежали без особого движения, иногда радовали и «Мальборо», и «Винстоном», и «Кентом». И, конечно, кофе — не индийский, чаще всего немецкой кофейной компании «Чибо» или австрийской «Юлиус Мейл», нередко из Бразилии, Перу, Эквадора — стран, где растет лучший в мире кофе.

Я не ладил с буфетчицей Зоей в Малеевке, но у меня и не было в этом особой необходимости — коньяки стояли на полках свободно, большинство предпочитало водку. За неделю, что я жил в «Пекине», девочки в буфетах собирали мне в Малеевку пару коробок деликатесов, куда входило пять-шесть банок, обязательно стеклянных, кофе. Но и я баловал девочек из буфета: среди зимы привозил, передавал в подарок роскошные ташкентские дыни, килограммов по восемь-десять, огромные гранаты божественного вкуса, такие нынче и на президентский стол вряд ли попадают.

Внизу у входа в «Пекин» и возле лифтов, и возле парадной лестницы дежурили крепкие отставники из органов. Но именно там, в буфете, я познакомился с актерами Валентином Никулиным, Виктором Суховерко и Олегом Далем. С Валентином Никулиным поддерживали связь до самого его отъезда в Израиль. Старый «Современник» находился через дорогу от «Пекина». Кстати, рядом с «Пекином» расположились еще четыре театра и Концертный зал имени Чайковского — для меня, театрала, меломана, лучшей гостиницы было не придумать. В «Пекине» я жил регулярно по три-четыре раза в году в течение двадцати шести лет, начиная с 1963 года.

В моем музее на родине, в Казахстане, висит замечательная цветная фоторабота знаменитого Глеба Щелкунова, он снял по моей просьбе глубокой ночью сияющий огнями «Пекин». Я распечатал ее в большом формате и на паспарту под небьющимся голландским стеклом поместил текст, что в «Пекине» прошла значительная часть моей жизни.

В «Пекине» я соседствовал с легендарным театральным режиссером, блистательным человеком Николаем Акимовым, он гастролировал со своим ленинградским коллективом в Москве. Я посмотрел все его спектакли, что шли рядом, в Театре сатиры В. Плучека. В дни гастролей Николай Акимов неожиданно умер в «Пекине» от сердечного приступа, я помогал выносить его тело из гостиницы.

Здесь я сидел за одним столом с молодым Михаилом Козаковым, в ту пору он был женат на грузинской красавице Манане и приходил навестить остановившуюся в гостинице новую родню из Тбилиси. Теперь мало осталось в живых тех, кто слышал из уст Козакова утверждение — жениться надо только на грузинках, лучших жен не найти! До этого у него уже имелся негативный опыт семейной жизни. Брак с Мананой тоже оказался недолговечным, и он больше никому не советовал искать невест в Грузии.

Здесь, в «Пекине», я познакомился с музыкантами вокально-инструментального квартета «Орэра», где пел Вахтанг Кикабидзе, до «Мимино», до славы ему было еще очень далеко.

В «Пекине», в ресторане, я видел зарождавшийся роман Олега Ефремова с Анастасией Вертинской. Они приходили задолго до спектакля и сидели возле огромного окна справа за большим столом. К ним никогда никого не подсаживали, оба были в зените славы, узнаваемы, любимы.

Да, чуть не забыл, в «Пекине» часто обедал Вячеслав Кириллович Иваньков, больше известный миру как Япончик. Слава был молодой, хорошо одевался, обожал джаз, редко повышал голос, чистоте, правильности его речи мог позавидовать даже аспирант филологического факультета. У него тоже был свой столик, именно столик на двоих, в самом дальнем от входа углу зала, тоже справа, рядом с эстрадой. Многие известные певцы, музыканты прошли через эстраду ресторана «Пекин» — говорю это как знающий человек, как свидетель того времени. Кстати, столик Япончика не был виден не только от входа, но даже с середины зала. «Пекин» имел, наверное, самый большой зал в Москве, слева находились и два банкетных зала. Там почти каждый

день проходили мероприятия, в основном банкеты после защиты докторских и кандидатских диссертаций. Я представляю, как жалеет о прошлом московская профессура — вот они истинно были главными завсегдатаями всех известных столичных ресторанов. Лавочка по защите диссертаций закрылась навсегда. По числу научных степеней мы опережали весь мир в десятки раз, сейчас все гораздо проще и дешевле — покупные звания, включая и звания академиков, обходятся без банкетов.

Но закончим о Вячеславе Кирилловиче.

Недалеко от «Пекина», рядом с Академией общественных наук при ЦК КПСС, находился большой комиссионный магазин, специализировавшийся на музыкальной технике — проигрывателях, магнитофонах, усилителях, звуковых колонках и инструментах для музыкантов: аккордеонах, саксофонах. Огромный двухзальный магазин — социализм вообще славился масштабностью, размахом, монументальностью. В фильме «Берегись автомобиля» с Андреем Мироновым есть сцена, где он покупает японскую магнитолу для своей «Волги», которую угоняет Деточкин-Смоктуновский, снята она там, на Садово-Кудринской, 7.

Магазин и его окрестности облюбовали московские фарцовщики — там продавали японские часы, столь модные в семидесятые-восьмидесятые годы, любую аппаратуру, музыкальные центры, новейшие проигрыватели для любителей виниловых пластинок. Фанаты музыки, утонченные меломаны со всей страны съезжались к этому магазину приобрести невиданную аппаратуру, звуковые колонки и записи.

Я бывал там часто, потому что это было единственное в стране место, где продавались музыкальные записи высокого качества, обманов не помню, хотя с аппаратурой случались накладки. Там было интересно, как некогда на запрещенном книжном рынке в Ташкенте, тут тоже просвещали насчет новых групп, исполнителей, выхода новых альбомов. Разные туда ходили люди, с разными интересами, я почерпнул там много полезного, интересного, благодаря этой нелегальной толкучке я собрал прекрасную фонотеку, которую пополнял каждый раз, приезжая в Москву. Постоянных покупателей фарцовщики знали в лицо, знали их интересы, предпочтения, можно было даже заказать записи и пластинки по телефону. К чему я это? К тому, что все фарцовщики, отиравшиеся возле магазина, платили Япончику ежедневную дань, которая собиралась на месте доверенными людьми и доставлялась к столу Япончика в «Пекин».

Но вернемся к забытому Гофману и кофе, которым я его угощал. Я уже упоминал о двух прекрасных буфетах — наверняка они снабжались по особому списку, поскольку основными постояльцами «Пекина» являлись иностранцы.

Зря Запад не ценил социализм, вот при нем иностранцев у нас любили, почитали, их не били, не грабили, не унижали, не убивали, им даже не хамили. А уж кормить — ешь не хочу! Валюту заморским гостям меняли по грабительскому курсу, и даже рубля ни за доллар, ни за марку, ни за франк, ни за английский фунт не давали. И все равно им казалось, что у нас все баснословно дешево — так оно и было! Только сегодня мы поняли, что такое «дорого»!

Сейчас кофе в пластиковом стаканчике за столом без скатерти в аэропорту Шереметьево стоит на треть дороже, чем кофе, поданное в чашках из лиможского фарфора, да еще с мини-пирожными в мишленовском ресторане Ниццы «Вивьер». Я храню оба эти чека для суда над российским капитализмом, который, думаю, все-таки должен состояться.

В то утро я угощал Виктора Гофмана, главного донжуана Малеевки, кофе «Юлиус Мейл» из Вены. Он даже не спросил про ночную рулетку, а с увлечением стал рассказывать о вчерашней передаче Бориса Парамонова, которую я пропустил. Больших мук для меня в то утро нельзя было придумать, он сыпал соль на мои душевные раны щедро, пригоршнями. В конце концов эту соль он еще и растер жестким вафельным полотенцем, назвав мне интересные передачи, которые должны были пройти сегодня, завтра и, кажется, даже послезавтра. Я думаю, сделал он эти сообщения без злого умысла, Виктор тоже был человеком тактичным, мягким, да и поводов досадить мне у него не было.

После ухода Гофмана я долго сидел на диване, не прикасаясь к газетам, не возвращаясь за письменный стол. Извечный вопрос — «Что делать?» требовал немедленного ответа. Моя отлаженная жизнь в Доме творчества рухнула всего за три дня. Сидел я долго, но встал с ясным пониманием ситуации — с игрой надо было кончать немедленно. Чуть позже, двадцать лет спустя, кинорежиссер Сергей Говорухин, словно прочитав мои мысли в то утро, сказал: так жить нельзя! Я решил во время короткой послеобеденной прогулки, которую изредка совершал, сообщить о своем решении Игорю. Что подумает Голованов, меня уже не волновало — слишком многое я терял, к тому же желающих занять мое место хватало, а на роль крупье я не тянул и не претендовал.

С чистой совестью и ясной головой я вернулся за письменный стол и стал дописывать повесть, за которую впоследствии получил премию ташкентского комсомола.

Тут я должен честно сказать, что мои «строительные» повести в начале творческого пути — не совсем уж о строительстве, хотя главный герой у меня был не актер, не режиссер, не журналист, не директор завода, не секретарь райкома или обкома — типы, обожаемые писателями, а всегда — инженер, прораб или главный инженер. Кстати, в большинстве своем — умнейшие люди, трудоголики, профессионалы, иных не держали, строительство — это отрасль, где нужен результат в конкретный срок. Я сравнивал их с режиссерами (хотя те строят иллюзорный, вымышленный мир, да и тот дается только самым талантливым из них), но и этих талантов на всю страну и десятка не наберешь, а главных инженеров — тысячи и тысячи, и плоды их труда стали главной основой нашего капитализма. Я вот строил «Норильский никель», а плоды пожинают сегодня Потанин и Прохоров.

Запоздало признаюсь: мои «строительные» сюжеты служили мне добротной ширмой, я ведь понимал, что бульдозеры, скреперы, бетон, цемент, арматура, сколько их ни экономь, как быстро их ни укладывай, мало волнуют читателя. О том, что я читал сам, что я любил — уже говорилось. Внутри каждой подобной повести, где, действительно, работала строительная техника и был подан яркий строительный фон (его очень любили редакторы, а особенно их высокое начальство, потому что еще более высокое начальство требовало от них литературу о людях труда), я, словно в кощеевом яйце, прятал лирическую историю удачной или неудачной любви в нутро какой-нибудь, условно говоря, бетономешалки.

Эти истории, большей частью, несли печать моей биографии или биографии моих друзей, они случались на моих глазах — жизнь предоставляет сюжеты куда сложнее шекспировских. Как говорил мне один сердитый читатель — разуй глаза, посмотри вокруг! Вот эти житейские истории о простых и непростых человеческих отношениях и судьбах мои читатели «выковыривали» из текста, словно изюм из булок, прощая мне строительный антураж. Откуда я это знаю? У меня было много творческих встреч с читателями, при Союзе писателей существовала структура «Бюро пропаганды», обязывавшая нас встречаться с людьми, кстати, эти встречи оплачивались.

Получал я и много писем от читателей, преподавателей литературы и директоров школ. Уже после первой моей московской книги

«Оренбургский платок» в школах Куйбышева, ныне Самары, писали по ней сочинения, а чуть позже, после второй, третьей книги стали защищать кандидатские и докторские диссертации по моим произведениям.

Некоторые писатели, особенно московские поэты, приезжая в Ялту, говоря на жаргоне артистов, устраивали там «чес» по санаториям. Целые бригады московских поэтов приезжали на «чес» и к нам в Ташкент, но, кроме москвичей, никто больше этим не занимался.

Сегодня в школах вряд ли пишут сочинения по моим романам, там и для классиков места не осталось, а вот защита кандидатских и докторских по моим произведениям продолжается. Теперь мое творчество вызывает жгучий интерес у юристов, правоведов, политиков, экономистов, их привлекает моя тетралогия «Черная знать», включающая романы «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман о московских казнокрадах, об оборотнях во всех структурах высшей власти — «За все — наличными».

Тут темы затронуты актуальнейшие и сегодня, да и сами диссертации заслуживают внимания. Судя по обстановке в стране, мои романы, видимо, еще долго будут востребованы обществом, к сожалению.

Приняв решение, после ухода Гофмана я успокоился и работал продуктивно до самого обеда, хотя время от времени отвлекался и думал, как бы тактичнее объяснить Игорю, что рулетка меня больше не волнует. Тут требовалась тонкая дипломатия, я чувствовал, что Игоря там что-то еще держит и он опять попросит меня составить ему компанию, и я снова не смогу ему отказать — огорчать ни его, ни себя не хотелось.

Обед у писателей проходил всегда шумно, может, тому способствовал буфет, работавший только в эти часы, там постоянно толпились труженики пера, особо страждущих пропускали без очереди — не то, что у телефона. Мне нравился этот дружный стук вилок, ложек, разговор за столами, сливавшийся в гул, чей-то неожиданно громкий смех где-то сзади, а может — сбоку, официантки, носившиеся по залу, которых то и дело громко окликали, просили поторопиться, особенно те, кто спешил на электричку. Зал кипел, бурлил, ничего подобного представить было невозможно ни за завтраком, ни за ужином. «Отчего бы это?» — думал я.

Игорь обедал на другой половине зала и, закончив трапезу гораздо раньше меня, проходя мимо, спросил: «Не хочешь после обеда

прогуляться немного, до Глухово и обратно?». Я молча кивнул головой, все складывалось для меня наилучшим образом.

По дороге в Глухово к нам в компанию навязалась студентка, знакомая Игоря, она торопилась в магазин за лыжной мазью, стояли прекрасные, солнечные, без ветра дни. Обратно, не дожидаясь лыжницы, мы возвращались вдвоем, и Волгин, не забыв о своем обещании, рассказывал о Георгии Иванове, то, о чем мне уже поведал утром Гофман. Признаюсь, Игорь говорил подробнее, с деталями, и очень важными, о которых не упоминал Гофман, наверное, их не было в передаче Бориса Парамонова. Я был под таким впечатлением, ощущал такую благодарность Игорю за блестящую лекцию, что решил сегодня не портить ему настроение и не сообщать о принятом мною решении.

Заслушавшись, я и не заметил, как подошли к главному корпусу. Вдруг нас сзади громко окликнули. Мы дружно повернулись и увидели спешащего к нам в распахнутой дубленке Ярослава Кирилловича, даже издали было видно, что он очень возбужден. Как только мы поравнялись, он, явно куда-то торопившийся, сказал:

— А я заходил к вам обоим, хотел сам сообщить, что игра сегодня не состоится.

— Почему? — очень расстроенно спросил Волгин.

— Меня срочно вызывают в Москву, через пару часов за мной подойдет машина из газеты. Завтра по приглашению американцев я должен вылететь на мыс Канаверал, там будет конференция о ракетах-носителях, а затем — запуск новой ракеты, на который я приглашен с космонавтом Береговым. Предложение, от которого не отказываются, к тому же я должен выступать по этой проблеме. Так что ждите меня через неделю.— Довольный предстоящей поездкой в Нью-Йорк, который он обожал, Голованов удалился.

Волгин и не пытался скрыть огорчение, хотя никак не комментировал внезапный отъезд нашего крупье. У меня же бешено билось от радости сердце — обошлось без объяснений. Хотелось кричать: «Свободен!» — но я, скрывая свое истинное настроение, быстро попрощался, сказав, что мне пора за стол.

На ходу расстегивая дубленку, что-то беззвучно напевая, с шальными от радости глазами я пролетел зимним садом, впервые не спросив у юной леди Юлии Латыниной, сидящей на привычном месте, какой фолиант она сегодня дочитывает, чуть не сбив толстопузого чиновника в форме прокуратуры, мрачно выкатившегося из комнаты моего

соседа Семена Израилевича, я плюхнулся на свой диван, на котором еще четыре часа назад мучился вопросами: что делать, как быть?

Все уладилось без малейших усилий с моей стороны — как тут не петь, не плясать, как не пропустить рюмочку! Что я и сделал — приготовил тот же, что и Гофману, австрийский кофе «Юлиус Мейл» и налил рюмку «Варцихи» — жизнь вернулась в привычные берега.

В этот вечер, выписав свои пять страниц, я удобно расположился на диване и до полуночи настраивал свой мощный коротковолновый «Грюндиг» на любимые радиостанции — как, оказывается, прекрасно жить своей жизнью! Я не вышел даже на прогулку перед сном, не хотел видеть Игоря расстроенным, не хотел разговоров о рулетке, о чужих страстях.

Да, чуть не упустил. Голованов, оказывается, успел предупредить только меня с Волгиным. После ужина сибиряки и алтайцы, наткнувшись на закрытую дверь Голованова, дружно ввалились к Игорю в коттедж с вопросом: где сегодня играем? Волгин объяснил, что «казино» закрыто на неделю по форс-мажорным обстоятельствам — крупье улетел в Америку. Но они ему почему-то не поверили и компанией направились ко мне, думая, что игра перешла в мою, гораздо более просторную, комнату. Услышав мое объяснение, братия «почвенников» и «деревенщиков» расстроилась не меньше Игоря. Прозвучали и претензии, они с обидой сказали в адрес Ярослава Кирилловича: мог бы и оставить рулетку, и без него бы справились. На что я, без комментариев, развел руками и дал понять, что очень занят.

Странно, но ни на следующий, ни в последующие дни Игорь, с котором мы постоянно встречались в столовой, библиотеке, почте, на прогулках, ни разу не вспомнил о бурных днях, проведенных в малеевском «казино», не возникал разговор и о Голованове, ни в роли крупье, ни как о специалисте по космонавтике. Слава Богу, страсть быстро выветрилась — думал я, радуясь за Игоря. Я несколько раз заходил к нему под разными надуманными предлогами, хотя прежде визитов никогда ему не наносил — хотел увидеть его за мольбертом. Но всегда заставал Волгина только за письменным столом, где перед ним высились эверестом толстенные, огроменные тома старинных книг, вовсе не поэтических. Наверное, о великих художниках — думал я, но спросить не решался. Но скоро и это мое любопытство пропало, мольберт, по моим предположениям, находился дома или на даче, о которой он однажды мельком обмолвился. Подарить название картины Игорю, которым я очень

гордился — «Страсти греховные», я тоже не спешил, понимал, что потеряется элемент сюрприза.

Если Игорь быстро забыл рулеточные страсти, то я вдруг обнаружил, что сибиряки и алтайцы очень недружелюбно посматривают на меня и Волгина. Я не мог понять — почему, пока они пару раз не наведались ко мне поздно вечером, после ужина, по каким-то пустячным делам. Только тогда я понял, что они думали — рулетка у меня с Игорем, и их просто не приглашают на игру. Когда я рассказал об этом Волгину, он даже от души расхохотался, оказывается, и к нему они приходили. Догадка моя подтвердилась, но мы ее не комментировали, словно сговорились, что рулетка для нас — давно пройденный этап.

Прошла неделя, Голованов не вернулся, вестей о себе не подавал. Приехал он через два дня после объявленного срока. Прибыл на своей машине, белой «Волге», за вещами. Оказывается, его доклад привлек внимание французов. Французы как раз основательно обустраивали свой полигон на мысе Куру в Тихом океане и попросили Ярослава Кирилловича выступить у них в Космической академии с расширенным докладом. Конечно, об отдыхе, лыжах, рулетке не могло быть и речи. Мы даже по рюмочке на прощание не выпили, хотя он привез нам с Игорем подарок — бутылку не знакомого нам виски «Джек Дэниелс».

С отъездом Голованова жизнь окончательно вошла в прежнее русло, я старался скорее закончить повесть. Дома в Ташкенте сразу по приезде я должен был представить в издательство рукопись новой книги, аванс за которую, и весьма солидный, я использовал на поездку в Москву, жизнь в «Пекине», расширение фонотеки, щедрое пополнение библиотеки в «Лавке писателей» на Кузнецком мосту.

Обязательно надо признать, хоть и запоздало, что нам, писателям, при социализме платили хорошо, все познается в сравнении. За один и тот же рассказ мы могли получить гонорар несколько раз: на радио, в газете, альманахах и издательстве. Открою старые тайны: писатели из республик в финансовом отношении даже имели перед москвичами преимущество. Если книга, ранее выпущенная в республике, затем издавалась в Москве, она оплачивалась как первое издание, что, понятно, вызывало жгучую зависть наших столичных коллег.

Тут нужен пример. В 1988 году, во время расцвета горбачевских кооперативов, у меня в «Молодой гвардии» вышел роман «Пешие прогулки».

К этому сроку любимые Горбачевым кооперативы имели многомиллионные прибыли. Появились первые рублевые миллиардеры, один из первопроходцев-кооператоров, Артем Тарасов, коммунист, даже заплатил около миллиона партийных взносов. Кооператоры, на мой взгляд, крепко приложили руку к уничтожению нашей экономики. Дельцы в сговоре с красными директорами мгновенно перевели дефицитные фонды всех предприятий в свои кооперативы.

Именно кооперативы превратили в ничто советский рубль, получив все от того же Герострата право обналичивать безналичные деньги, а их у государства был океан. Только из-за существования наличного и безналичного рубля в СССР никогда не было инфляции, цена на товары держалась и по сорок, и по пятьдесят лет! Все рекорды книги Гиннеса ничего не стоят в сравнении с подобным рекордом.

Кооперативам мы обязаны и невероятному, тысячекратному взлету организованной преступности и быстрому сращиванию криминала с властью, правоохранительными органами и судебной системой. Роман «Пешие прогулки» — как раз о таких дельцах и теневой экономике, и о преступности тех лет. Американская пресса называла меня в ту пору «исследователем мафии и специалистом по теневой экономике», десятки кандидатских и докторских диссертаций защищены по этой книге, актуальной и по сей день.

Первый серьезный кооператив по изданию книг создал Юлиан Семенов, назывался он «ДЭМ». Книги Юлиана Семенова по тем временам пользовались огромной популярностью, и он в первую очередь ликвидировал дефицитный спрос на свои книги собственным издательством. Кто-то в «Молодой гвардии», где Юлиан Семенов был одним из любимых авторов, наравне с В. Богомоловым, А. Прохановым, А. Битовым, подарил ему мой роман «Пешие прогулки», который, по его же словам, он прочитал, не отрываясь, за вечер. В те дни я находился в Москве, в «Пекине», где меня нашел его главный редактор Вадим Борисович Козьмин-Бороздин, потомственный дворянин, эстет, знаток живописи, мы с ним поддерживаем связь по сей день. Он сообщил, что со мною срочно хочет встретиться Юлиан Семенов. Я спросил: зачем? Он подробно объяснил мне и про «ДЭМ», и про то, что мне очень повезло. Утром, к десяти, я приехал в гостиницу «Украина», где на четвертом этаже находился офис Юлиана Семенова. Было заметно, что он меня ждал, первые капиталисты, на первых порах, принимали нужных людей щедро — коньяк, виски, шампанское, кофе.

В нашей первой очной встрече я имел явное преимущество: он меня не знал, а у меня уже было сложившееся мнение о Юлиане Семенове, как личности и писателе. Пару раз на юге я сидел с ним в одних компаниях, где он не давал никому рта раскрыть, разумеется, он меня не запомнил, хотя я сидел неподалеку от него. Дважды в Пицунде в Доме творчества мы жили на девятом этаже в «люксах» в разных концах коридора, тогда никто не завидовал его соседям. Юлиан Семенов был шумным, если не сказать — крикливым, беспардонным, редко с кем здоровался. Мог прийти в бар, ресторан в майке, мятых грязных шортах, небритый, взъерошенный. Тогда мерзкая, на мой взгляд, трехдневная щетина еще не была в моде, чтобы оправдывать элементарную неряшливость. В столовую он приходил в обнимку с большим графином вина, который грузины доставляли ему каждый день.

Я, разумеется, читал все произведения Юлиана Семенова, с которым меня часто сравнивают, чего я категорически не приемлю — он писал о том, какие негодяи находятся у власти там, «за бугром», что, конечно же, поощрялось и вознаграждалось. Я же писал о наших казнокрадах из наших высших эшелонов власти. А это, как говаривал часто сам Юлиан Семенов, ссылаясь на одесский фольклор — две большие разницы. Портрет с натуры можно было бы писать и писать, но не хочется, скажем для ясности — далеко не Волгин.

Юлиан Семенов поинтересовался: над чем я сейчас работаю, какие у меня планы? Я ответил, что через месяц-два буду сдавать в «Молодую гвардию» второй роман — «Двойник китайского императора», продолжение «Пеших прогулок». Я предположил, что книг по этой теме будет несколько, и, скорее всего, они сложатся в тетралогию под общим название «Черная знать». Название серии ему очень понравилось, тогда только-только входила мода на серии книг популярных авторов, и он вполне искренне поздравил меня с удачным названием.

Потом, расхаживая по просторному номеру, сказал проникновенно, доверительно: «Вы для нас представляете интерес — нам, моему издательству, нужна свежая кровь, незатасканные имена, новые темы, другая география. Какую книгу ни возьми — все происходит в Москве или возле Москвы. Я предлагаю вам сотрудничество на годы, наконец-то вы увидите настоящие деньги. Я умею ценить таланты и готов платить вам по максимуму». Но сумму авторского вознаграждения все не называл. Тогда я, неблагодарный счастливчик, спросил робко: «Юлиан Семенович, много — это сколько?»

Вопрос мой явно застал его врасплох, подобной дерзости от провинциала из Ташкента он не ожидал. Перестал вышагивать, задумался и сказал свысока, словно предлагал мне фицджеральдовские гонорары: «В любом случае, вам такие гонорары до сих пор и не снились, я готов платить вам… по пятьсот рублей за авторский лист».

Я не обрадовался и не бросился благодарить мэтра за щедрость, а молча достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо последний договор с издательством «Художественная литература», подписанный Георгием Андреевичем Анджапаридзе, где цифрами и прописью значилось: «пятьсот рублей».

У Юлиана Семеновича отвисла челюсть, и он крепко пожалел о том, что так дешево распинался передо мной почти час, к тому же этому был свидетель — его соучредитель, компаньон В. Б. Козьмин-Бороздин. Менторский тон, все набиравший силу, сразу сдулся, Юлиан Семенов устало плюхнулся в просторное кресло и сказал: «Не ожидал, что вы уже печатаетесь в «Художественной литературе», поздравляю».

Юлиана Семенова удивила не цифра, его потрясло знаменитое издательство, платившее мне такие высокие гонорары. Но что такое «Художественная литература» того времени — не объяснить, это могут понять, оценить только сами писатели. За шестьдесят лет существования этого издательства там едва ли напечатался даже один процент всех ушедших и живущих ныне советских писателей, а нас были сотни тысяч. В этот день мы о гонораре не договорились, Юлиан Семенов взял тайм-аут до утра.

Не буду вас томить, книгу у Юлиана Семенова я не выпустил, хотя о гонораре мы на другой день по телефону договорились, а на третий день я уже увидел обложку своего романа — производство у него, надо отдать должное, было отлажено на западный манер. Сорвалось издание, тираж которого был определен в полмиллиона, из-за, мягко говоря, нерешительности, осторожности Юлиана Семенова.

Понимаю, читатель уже оскорблен до глубины души, в его глазах, как прежде и в моих, Юлиан Семенов виделся рыцарем без страха и упрека, советским Штирлицем или Джеймсом Бондом, или, говоря по-нынешнему — мачо. Для многих Семенов был брутальнее Хемингуэя, которому явно подражал, а я тут со своими претензиями-обвинениями: нерешительность, осторожность, да и еще и акцентируя на «мягко говоря». Но не спешите бросать в меня камни и упреки.

Чтобы понять ситуацию, нужно знать еще одну абсурдность прежней нашей системы. Я написал роман, Юлиан Семенов хотел его издать, еще не вышедшая книга по опционным (предварительным) контрактам уже была продана крупным оптовикам, вопрос с тиражом, гонораром — решен. Какие могут быть в этой ситуации страхи, нерешительность, осторожность — спросит дотошный читатель? Существовало одно «но» — писатель… не имел прав на собственную книгу, права принадлежали издательству, выпустившему роман, в моем случае — «Молодой гвардии», где Юлиан Семенов, напомню, ногой открывал двери. Формально «ДЭМ» должен был просить у «Молодой гвардии» разрешение на издание моей книги. Но на дворе было уже совсем другое время: частные издательства издавали все, что хотели, не всегда согласовывая даже с авторами, не то что с другими издательствами.

В тот же день, когда меня пригласили утвердить обложку, Юлиан Семенов показал мне письмо, адресованное в «Молодую гвардию», где он просил разрешения издать мой роман. «Мне не откажут, не сомневайтесь»,— сказал он самодовольно, подписывая прошение. «Конечно, не откажут,— ответил я, не скрывая насмешки,— но раз вы сами напрашиваетесь, с вас затребуют пятнадцать-двадцать процентов от прибыли». А про себя я подумал: он что — такой лопух или придуривается? «Что вы предлагаете?» — спросил Юлиан Семенов растерянно, не замечая моей насмешки. «Предлагаю издавать без уведомления «Молодой гвардии», я точно знаю — в планах этого года у них не предусмотрено переиздание «Пеших прогулок», и ваше издание никак не нарушает их финансовых интересов». «Резонно, резонно»,— поддержал меня молчавший Козьмин-Бороздин. Окрыленный поддержкой Вадима Борисовича и растерянностью Юлиана Семенова, я предложил еще один беспроигрышный вариант для «ДЭМа».

«Хотите, я дам вам письменное обязательство, можем даже заверить его нотариально, что беру на себя решение проблем, связанных с «Молодой гвардией». В случае чего, все шишки упадут на меня. Предупреждаю, никаких бумаг с печатью я вам не обещаю, потому что и не подумаю клянчить разрешение на издание собственного романа».

Нависла долгая унылая пауза. Я чувствовал, что Козьмину-Бороздину, компаньону Семенова, идея пришлась по душе, но он молчал — последнее слово, как я понял, здесь оставалось за самоуверенным

человеком, подражавшим одновременно и Джеймсу Бонду, и старику Хэму, уже вышедшему из моды.

Наконец он сказал: «Может быть, вы и правы, молодой человек, но я хотел бы находиться в правовом поле,— и, обращаясь к главному редактору, продолжил: — Вадим Борисович, отправьте срочно с нарочным мое письмо к Юркину, директору издательства, я ему позвоню, чтобы не тянули с ответом, я вижу — у нас все готово к печати».

Случилось как я и предполагал, да тут и особого ума не надо было иметь — «Молодая гвардия» запросила по минимуму — пятнадцать процентов с прибыли, а с полумиллионного тиража это очень большие деньги, книга продавалась оптовикам по три рубля. Я знаю, что Юлиан Семенов что-то пытался делать, куда-то звонил, уговаривал Машовца и Юркина пойти ему навстречу, но все уже почувствовали вкус денег. Конечно, я жалел о не вышедшей в «ДЭМе» книге, издавали они красиво, на добротной бумаге, да и гонорар причитался солидный.

Но меня уже осаждали другие издатели, люди без роду, без племени, без яркого имени, как у Юлиана Семенова, но деловые, цепкие, с невиданной хваткой, смотревшие далеко вперед. Что ни месяц, появлялись и серьезные издательства: «Голос», «Вече», «Росмен», «АСТ», «Эксмо». Особенно обхаживали меня книжные короли с Украины: гиганты «БАО» из Донецка, «Грампус Эйт» из Харькова, «Южная Пальмира» из Днепропетровска, потому что все мало-мальски известные писатели попали в кабалу московских издателей на десятки лет вперед, а свободных, кому еще принадлежали их авторские права, вроде меня, оставалось совсем мало.

В ту пору я мог чуть ли не каждый месяц заключать договоры на издание «Пеших прогулок», но, как человек, знавший изнанку жизни, догадывавшийся о фирмах-однодневках еще до того, как они появились, за версту чувствовавший кидал и аферистов, давал разрешение на издание только тем, кто мог заранее полностью оплатить весь тираж, хотя я знал, что с тиражами обязательно будут химичить, и в договоре четко оговаривал, что книги должны печататься только в одной, и серьезной, типографии.

Да, чуть не забыл, пока вел переговоры с Юлианом Семеновым, в нечитающем Ташкенте роман «Пешие прогулки» выпустили тиражом… 250 тысяч! Затем эти же двести пятьдесят повторили в «Художественной литературе». Так что я не очень горевал о «ДЭМе»,

только каждое новое издание книги дарил В. Б. Козьмину-Бороздину, тем самым посылая свои приветы упавшему в моих глазах навсегда Юлиану Семенову — администратору и издателю.

Два слова о «ДЭМе» — естественно, он никак не мог конкурировать с такими зубрами, как «Эксмо», «АСТ», и быстро зачах, хотя начинал первым.

Люди, работавшие, писавшие в тепличных условиях, по тайным заказам спецслужб и идеологического отдела ЦК КПСС, перед которыми открывались двери не только всех архивов, но и издательств, в условиях дикого российского капитализма не могли преуспевать по определению. Это я понял при первой же встрече с легендарным Юлианом Семеновым.

Извините за отступление, но я и это должен был сказать. Вернемся снова в Малеевку, к ее снегам, сугробам, ночным прогулкам, зимнему саду, вечерним застольям, если помните — у нас с Игорем осталась бутылка виски «Джек Дэниелс».

Дни в Домах творчества всегда бежали быстро — работа за письменным столом, лыжные вылазки в хорошую погоду, вечерние прогулки, ночные передачи Бориса Парамонова, интересные посиделки в разных компаниях: от татаро-башкирских до всевозможных московских, среднеазиатских, кавказских, украинских, молдавских, а тут еще и неожиданно ворвавшаяся в нашу жизнь рулетка, так что я и не заметил, как мои дни в прекрасной Малеевке подошли к концу. Напомнил мне об этом Игорь на послеобеденной прогулке, он сказал с грустью: послезавтра у меня кончается срок путевки, и нет возможности продлить ее хоть на неделю, а что делать с бутылкой, подаренной Ярославом Кириллычем? Я предложил отметить его отъезд у меня, в этом плане я имел гораздо больший опыт. Он не возражал. Я спросил, могу ли пригласить Льва Адольфовича Озерова, который уезжал в один день с Игорем. Возражений не было.

Проводы Игоря и Льва Адольфовича мне запомнились надолго. Когда я говорю: какое удовольствие, радость быть в компании умных, энциклопедически образованных людей, людей рафинированной культуры — я имею в виду и этот вечер, когда впервые пили виски «Джек Дэниелс» и закончили бутылкой армянского коньяка «Наири».

Какие удивительные разговоры вели между собой Озеров и Волгин, словно решили напоследок еще раз просветить меня,

закрепить мое образование. Двадцать двухчасовых лекций университетских профессоров по официальной программе не могли бы дать мне и десятой части знаний, открытий, которые я черпал в обыденной беседе двух просвещенных людей. Гуляйте почаще с умными людьми!

Игорь уехал, и я не видел его года два, то ли не совпадали наши сроки в Домах творчества, или он был занят иными делами — именно тогда мы бились за свое место в литературе, как говорил Валентин Дмитриевич Оскотский, «искали свое лицо».

Как-то в самом начале лета, когда Москва похорошела от новой зелени и все ее скверы, бульвары заполонили уставшие от долгой зимы москвичи, я прилетел сдавать очередную книгу в издательство «Советский писатель». Жил я, как обычно, в «Пекине» и на улицу Воровского впервые пошел пешком — так хороша, свежевымыта была после ночного дождя любимая Москва. До встречи с Арнольдом Освальдовичем Таммом оставалось часа полтора, и, проходя мимо Дома литераторов, я решил пообедать.

Дубовый зал ресторана даже в такую рань оказался полон завсегдатаями, ни одного свободного столика, повсюду небольшие компании, пары. За столами сидели очень уважаемые писатели, и подсаживаться к ним я не посмел — помнил татарскую пословицу: когда коровы воду пьют, телята лед лижут. Правда, из-за одного большого стола, возле камина, мне приветливо махнули, приглашая. Я вежливо, издалека, поздоровался, но к столу не пошел, хотя там сидел мой земляк и приятель романист Роллан Сейсенбаев, о котором уж точно будет даже целая глава. Я понимал: пройди я за этот стол, на встречу в «Советский писатель» вряд ли попаду, я знал широту натуры Роллана, а пропустить встречу с Арнольдом Освальдовичем было не в моих интересах, второго приглашения пришлось бы ждать долго, как говорится — хлеб за брюхом не ходит, да и разговор там желателен был бы на трезвую голову. Я уже хотел пройти в другой зал, как вдруг от столика у стены под высоким стрельчатым окном меня окликнул Волгин. Я не мог увидеть его сразу, он сидел спиной к залу, предоставив обзор великолепного ресторана своей спутнице. Сидел он с молодой, очень красивой, эффектной, элегантно одетой женщиной, чье лицо мне показалось знакомым. Игорь предложил присоединиться к ним. Стол у них был богато накрыт, а в серебряном ведерке охлаждалось шампанское «Абрау-Дюрсо», и пока я делал заказ, Волгин наполнил бокалы. У Игоря со спутницей, на мой

взгляд, было хорошее настроение, и они отмечали что-то важное в своей жизни, это всегда чувствуется. Поскольку бокалы были подняты без тоста, я спросил: «За что пьем?» Игорь, улыбаясь, почти шутя, ответил: «За благополучный развод». Я настолько опешил, что недоуменно машинально спросил: «С кем?». На мой вопрос ответила его прелестная спутница, так же мило, с улыбкой, как и Игорь: «Со мною». И я тут же узнал знаменитую балерину из Большого театра — что-что, а балет я знал хорошо, дойдет очередь и до балета в этих записях, и до французской Гранд-опера, и до Большого театра, где я любил бывать.

Наверное, я был так растерян, обескуражен и даже смешон, что вмешался Игорь: «Да, мы отмечаем развод, разве ты не знаешь, что подобное случается в жизни? Хотя у вас, на Востоке, наверное, в таких случаях вместо развода заводят и вторую, и третью жену, ваша религия и мораль позволяют это…»

Вот только тогда я понял: они не шутят, не разыгрывают меня, и я являюсь свидетелем драмы глубоко уважаемого мною человека. Передо мною сидела голливудская пара — мечта любого кинорежиссера, снимающего фильм о любви, любви вечной, принц и принцесса, они так замечательно смотрелись вместе, и, как мне показалось, так дополняли друг друга, и вдруг ядерный взрыв — развод! Почему? Зачем? Остановитесь! Но я ничего не мог ни спросить, ни посоветовать, тем более — удержать их, да и в утешители не годился.

Незадолго до этой встречи я как-то подумал об Игоре: если бы он работал под псевдонимом в спецслужбах или был бы большим авторитетом в криминальных кругах, то и тут, и там ему дали бы одно имя — «Лорд».

Он и сейчас сидел как лорд, не выдавая тревоги, боли, наверное, разрывавших его сердце, пытался шутить. Я думаю, он сожалел, что так опрометчиво пригласил меня за свой стол в столь драматическую минуту своей жизни, я тогда не созрел еще до понимания публичных проводов прошедшей любви и слишком эмоционально принял приукрашенное показным равнодушием сообщение о разводе.

Мы подняли бокалы без тостов, и впервые вкус шампанского не доставил мне удовольствия. Подсаживаясь к ним в компанию, я успел сообщить, весьма кстати, что через час мне назначена важная встреча в издательстве «Советский писатель», и очень обрадовался, когда официантка быстро принесла мой заказ — грибной жульен

и севрюгу по-польски, которые так замечательно готовили в нашем ресторане. Это немного разрядило обстановку за столом, и мы вместе продолжили прерванный обед.

Я бывал в разных ситуациях, но в такой, где ничего не мог сказать, предложить, посоветовать, ободрить — никогда. Меня мог выручить только юмор, да и то только одесский или, на худой конец, французский, но с этим, к сожалению, у меня всегда было туго, и я сидел как истукан — как однажды выразился обо мне Игорь в день открытия «казино» в Малеевке. Честно говоря, от волнения, от неординарности ситуации я не совсем запомнил, как ушел из-за этого стола. Конечно, я распрощался, сказал что-то приятное известной балерине, поблагодарил за приглашение, даже поцеловал ей на прощание ручку — вот это помню точно.

На встречу с Таммом пришел минута в минуту, издательство находилось в двух кварталах, рядом с изумительной церквушкой восемнадцатого века на Новом Арбате.

Потом еще почти года два я не видел Игоря — заботы, проблемы, романы, которые отнимали не время, а саму жизнь. Я продолжал ездить по Домам творчества, но наши пути ни в лесу, ни на море, ни зимой, ни летом не пересекались. Хотя я не терял творчество Игоря из виду — встречал его поэтические подборки в известных журналах, книги стихов, выходившие регулярно, их обсуждали авторитетные критики, развод не выбил его из колеи, это радовало меня больше всего. Творческих людей, поэтов особенно, сломать легко.

Но у людей творческих, даже у тех, от кого уже ничего не ожидают, случаются и высочайшие взлеты, так происходит с художниками, композиторами, певцами, музыкантами, артистами, режиссерами, и особенно часто — в литературе.

Как рассказывала мне Мэри Лазаревна Озерова, через чьи руки прошла вся знаменитая проза журнала «Юность», начиная с Василия Аксенова, Анатолия Гладилина и кончая Диной Рубиной, повесть «А зори здесь тихие» она получила по почте от пятидесятидвухлетнего никому не известного автора — Бориса Васильева. Еще не дочитав до половины, она позвонила домой Борису Полевому, главному редактору журнала, чтобы он завтра непременно приехал в редакцию ознакомиться с выдающейся повестью. Борис Полевой, тоже не дочитав до конца, связался с автором по телефону, и к Васильеву тотчас послали машину. Через три часа Борис Львович выходил из «Юности»,

оставив накрытый в его честь стол — на первом этаже здания, где располагалась редакция «Юности», находился первоклассный болгарский ресторан «София».

Уходил Борис Львович из редакции журнала не с пустыми руками, он получил в конверте оплату по высшей ставке за не дочитанную до конца повесть, а главное, он покидал «Юность» с полной уверенностью в своей дальнейшей литературной судьбе. Повесть поставили в уже сверстанный номер, выкинув кого-то, и через две недели, когда вышел журнал, Борис Васильев проснулся известным писателем, любимым народом с первой же публикации. К чему я это? Потерпите немного. Нужен небольшой экскурс в историю.

У нас был Серебряный век, были Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Бунин…— они и вызвали в просвещенной Европе неподдельный интерес к русской литературе, русской культуре. Советская власть пыталась навязать Западу свою шкалу ценностей, пробовала внедрить в сознание европейцев и американцев, да и всего мира, Пушкина, Толстого и дальше по списку М. А. Суслова, но насильно мил не будешь — пословица русская.

Нравится это кому или нет, но самым читаемым, изучаемым, издаваемым в мире русским писателем оказался Федор Михайлович Достоевский, которого, между прочим, не очень охотно печатали в СССР до самых шестидесятых годов прошлого века. Слишком провидческими казались власти его некоторые романы, особенно «Бесы». Я не специалист по Достоевскому, я — просто читатель, но мне кажется, что ни один писатель в мире, включая и лауреатов Нобелевской премии, не изучается так тщательно, разносторонне, масштабно, как Достоевский. Трудов о нем так много, что и представить невозможно, а некоторые написаны так ярко, глубоко, что их интересно читать так же, как и самого автора. Редкостный факт!

Каково же было мое удивление, когда накануне круглой даты в жизни великого писателя в серьезных литературных журналах, газетах, альманахах, книгах рядом со статьями маститых академиков, посвятивших жизнь изучению произведений Достоевского, появились статьи молодого исследователя Игоря Волгина. И статьи Игоря Леонидовича открыли новый взгляд на творчество Достоевского, изученное, казалось бы, вдоль и поперек. Стало понятно всем, и прежде всего научной общественности не только в России, но и за рубежом, что появился новый яркий литературовед, специалист по творчеству великого русского писателя. Затем у Игоря Леонидовича пошли одна за другой статьи, книги, ни одна

серьезная конференция в мире по творчеству Достоевского не проходила без его участия, без докладов Игоря Леонидовича Волгина, с которым я когда-то играл в подпольную рулетку.

С публикациями о Достоевском и открылась мне жгучая тайна — почему Волгину так нравилась игра? Он уже тогда всерьез подступался к Федору Михайловичу, оттого — эвересты огроменных и толстенных книг на его письменном столе — прижизненные издания Достоевского.

Любому читателю известно, что великий писатель сам был игрок. Игра, страсть много дали Федору Михайловичу и многое у него отняли. В ту пору ни Волгин, ни кто-либо другой, кроме счастливчика Голованова, не мог слетать в Монте-Карло, сходить в казино, чтобы испытать или увидеть неподдельные страсти. И когда неожиданно Волгин получил от меня предложение сыграть в рулетку, он с радостью согласился. Выпал-таки ему шанс на заре интереса к Достоевскому испытать самому страсть игры и увидеть страсть других. Как просто и ясно раскрылась так мучившая меня тайна.

Долгих лет жизни, дорогой Игорь Леонидович, плодотворного и созидательного творчества, новых открытий в жизни и творчестве всемирно любимого Федора Михайловича Достоевского — на радость все новым и новым поколениям.

***

На предыдущих страницах часто упоминался роман «Пешие прогулки», который принес мне не только успех, много радостей, но и много бед, сделал меня инвалидом, эмигрантом. Я обязательно должен был написать об этом покушении, хотя о нем написал в «Литературной газете» сам Аркадий Ваксберг, а в американской газете «Филадельфия инкуайер» Стивен Голдстайн посвятил мне целый «подвал» под названием «Исследователь мафии». Но все равно ходят слухи среди моих завистников, что я это придумал сам — не было никакого покушения. Особенно сильны такие разговоры в Татарстане, что мне обиднее всего. Я хотел рассказать об этом сам, но несколько лет назад и. о. Генерального прокурора России О. И. Гайданов, бывший в те далекие годы Прокурором Узбекистана, издал книгу «На должности Керенского, в кабинете Сталина», уже имеющую на сегодня несколько изданий и очень популярную в Интернете. В этой книге есть несколько страниц о том покушении, и я думаю, будет правильно, если я предоставлю слово прокурору самого высокого ранга.

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ
бывшего и. о. Генерального прокурора России Олега Гайданова
«На должности Керенского, в кабинете Сталина»,
издательство «Эксмо», стр. 325, о писателе Рауле Мир-Хайдарове

Весной 1988 года, в разгар антикоррупционной компании в Узбекистане, мне положили на стол письмо главного редактора журнала «Звезда Востока» Сергея Татура и рукопись романа «Пешие прогулки», с просьбой дать правовую оценку, а если говорить открытым текстом, то дать разрешение на публикацию. То были годы гласности, у всех появились широчайшие права: пиши, что хочешь, публикуй, что желаешь. Цензура отменена, хотя и в советское время не Прокуратура решала, что публиковать, а что — нет. Но в 1988 году каждый страховал себя, свое кресло, и прокуратуре пришлось заниматься и литературой.

В тот же день, поздно вечером, дома, я открыл рукопись и читал до завтрака. Странно, но фамилия автора мне показалась знакомой. Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного в работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и …криминального мира, чем автор этого романа. Первым моим впечатлением было, что это написал мой коллега, прокурор высокого ранга, в годах, с колоссальным опытом работы в коридорах власти, который в перестройку, в эпоху гласности, решил громко хлопнуть дверью. Позже один из моих коллег, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР, прочитав роман, тоже в рукописи, по моей просьбе, с печалью и светлой завистью сказал: «Мне кажется, что это я написал эту книгу». Похвала людей такого ранга дорогого стоит. Вкратце я бы так охарактеризовал прочитанное: остросюжетный политический роман с детективной интригой, написанный на огромном фактическом материале. В нем впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые столь масштабно показана коррупция в верхних эшелонах власти, показано сращивание криминала со всеми ветвями власти. Автор писал о том, чем я и мои коллеги занимались четвертый год подряд, словно он присутствовал на всех наших закрытых совещаниях, знал почти все наши планы, и даже был осведомлен о наших врагах, о яростном противодействии наведению порядка в крае.

Конечно, мне захотелось встретиться с автором. Жил он, оказывается, рядом с Прокуратурой, но на тот момент находился в Крыму, в Коктебеле, куда уехал на два месяца. Чуть позже я узнал,

что там он писал второй роман на эту же тему под названием «Двойник китайского императора». «Пешие прогулки», безусловно, оказались ко времени, актуальнейшими по проблемам, и сомнений — печатать или не печатать, у меня не возникало. Однако, мучила мысль — отчего журнал не решился публиковать увлекательнейший роман без помощи прокуратуры? Очень быстро выяснилось, что у романа много недоброжелателей: и среди литературных функционеров, и среди чиновников высокого ранга, и, конечно, среди партийного аппарата.

И пока автор находился в Крыму, я два месяца прилагал усилия, чтобы роман дошел до читателя. Пришлось подключать единомышленников в ЦК, Совмине, КГБ, и роман увидел свет. Вернувшись из Коктебеля, автор явился ко мне. И тут выяснилось, что мы — земляки. Он немного старше меня, и в далекой юности мы защищали цвета одного спортивного клуба «Локомотив», он был чемпионом города по боксу, и я понял, отчего мне показалась знакомой его фамилия. Но я не рассчитывал за 2000 километров от родного Актюбинска встретить земляка, единомышленника, человека государственного мышления, писателя. Звали автора — Рауль Мир-Хайдаров. И с тех пор, уже 20 лет, мы дружим семьями, наши пути, наши судьбы на виду друг у друга. В тот же день, по его просьбе, он получил от меня эксклюзивное право на доступ к официальным материалам по борьбе с организованной преступностью и к архиву уголовных дел. Отсюда, из стен Прокуратуры Узбекистана, берут начало многие его сюжеты, отсюда вышли герои его романов. На основе полученных материалов и своих знаний он написал серию больших газетных статей под названием «Заржавели весы у Фемиды» и «Одолеет ли прокурор мафию?». Публикации эти совпали с выходом книги «Пешие прогулки», появились они почти одновременно в Москве и Ташкенте, и местный тираж составил 250 000!!! Забегая вперед, скажу, что этот роман вышел на сегодня 19 раз тиражом более 3 000 000 экземпляров. Выход романа и серия заметных газетных выступлений, ярких интервью сразу сделали Рауля Мир-Хайдарова известным писателем. Всесоюзное радио тут же записало роман, и он изо дня в день, месяцами, звучал в эфире. Появились у него не только друзья, почитатели, покровители, но и враги. Стали поступать анонимные угрозы, его стали шантажировать по телефону, угнали машину. Появились подметные письма с требованием остановить работу над новым романом, отрывки из которого уже печатались в газетах. Когда стало понятным, что автор не остановится, на него было совершено

покушение. Опять же, можно сказать, первое покушение в СССР по политическим мотивам. Тяжелое покушение, он только чудом оказался жив. О покушении мне сообщили среди ночи, и уже через час я был в институте травматологии. Началась борьба за жизнь самого писателя. Нам было понятно, что оставшегося в живых писателя могут ликвидировать и в самой больнице, поэтому мы с генералом МВД Э. Дидоренко выставили круглосуточную охрану у его палаты, а позже часто меняли этажи и комнаты. Через время мы собрали консилиум врачей из клиник МВД, КГБ и военного округа и строжайше запретили лечащим врачам делать операцию на позвоночнике. Мы не доверяли местным врачам, и большинство лекарств к писателю доставлялись из названных выше клиник.

Там же, в больнице, с переломанным позвоночником, с доской на груди, карандашом, Рауль Мир-Хайдаров дописывает второй роман «Двойник китайского императора», который уже летом 1989 года выходит в Москве. После покушения жизнь в Ташкенте для него становится невозможной — его перестали печатать, в русском драматическом театре им. М. Горького запретили главному режиссеру театра Вячеславу Гвоздкову постановку пьесы, написанной по роману «Пешие прогулки» драматургом В. Баграмовым, угрозы и шантаж приняли новые и более изощренные формы. Работу следственных групп в Узбекистане по приказу М. Горбачева свернули, перестройка заглохла, меня самого перевели в Казахстан, и Рауль Мир-Хайдаров эмигрирует в Россию. Не имея собственной крыши над головой, он восемь лет живет в Переделкино, в Доме творчества писателей, снимая по коммерческой цене, как в гостинице, комнату № 106, на которой, наверное, когда-нибудь появится мемориальная табличка. Когда я появился в Москве, я часто бывал в этой комнате в гостях у писателя. В этой комнате он написал романы «Масть пиковая» и «Судить буду я». Все четыре романа, запечатлевшие хронику смутного времени, составят тетралогию «Черная знать», и каждый из этих романов будет издан по десятку раз. Общий тираж тетралогии составит 5 миллионов книг! В этой же комнате напишется роман о российской мафии, о новых русских, о крупных политических и финансовых аферах в Москве — «За всё — наличными». Здесь он напишет повесть о любви «Горький напиток счастья». Напишет и пронзительно-грустный ретро-роман о нашей юности, о нашем родном Актюбинске «Ранняя печаль». Рауль Мир-Хайдаров — человек, невероятно влюбленный в родной город, Актюбинску он посвятил десятки рассказов и повестей: «Седовласый

с розой в петлице», «Жар-птица», «Велосипедист», «Лебедь белая», «Одноклассник», «Проездом». Его любовь к городу не безответна. На родине писателя любят и чтят: есть улица его имени, зал в музее города, которому он подарил 60 картин из своей коллекции живописи, есть литературный музей в Мартуке, есть школьные музеи. Рауль Мир-Хайдаров — лауреат премии МВД, Заслуженный деятель искусств, но мне кажется, что у него должна быть и премия Прокуратуры. Нигде, ни в какой книге, я не встречал столь обстоятельного исследования жизни и работы прокуроров, причем прокуроров со знаком плюс и минус, как в тетралогии «Черная знать». И те, и другие даны столь убедительно, что одних любишь от души, других так же глубоко презираешь и ненавидишь.

Я часто перечитываю книги своего друга, и мне кажется, что романы Рауля Мир-Хайдарова — иллюстрация всей моей жизни, и с высоты своих прожитых лет и прокурорского опыта я могу повторить, как некогда мой коллега из Генеральной Прокуратуры СССР — «мне кажется, это я написал тетралогию «Черная знать».

***

Муса Гали… Муса-ага… Как близко мне это имя, как ласкает оно мне слух, сердце, душу, воображение, вызывает в мыслях теплый и высокий отклик.

Я познакомился с ним зимой 1975 года в Малеевке. Туда я приехал впервые и мало кого знал, и даже не предполагал, что Малеевка тоже станет моим любимым местом, что когда-то и меня будут называть старым малеевцем. Есть еще такое, к сожалению, быстро убывающее братство.

Когда я впервые появился в роскошной столовой Малеевки, где в ту пору справа на входе еще высился громоздкий дубовый буфет с богатейшим ассортиментом, зал уже наполнялся писателями, и мне нужно было выбрать себе место. Почти за каждым столом обедали люди, чьи имена, книги, портреты мне были знакомы. Напротив буфета располагался стол № 1, который десятки лет подряд занимал поэт Сергей Островой, а рядом с ним сидели Мустай Карим с товарищем и супруга Сергея Острового, известная виолончелистка. Конечно, я узнал Мустая-ага сразу, в ту пору вступавшие в литературу хорошо знали своих предшественников, их творчество.

Человек рядом с Мустаем Каримом и Сергеем Островым сразу бросился в глаза своей импозантностью, благородством. Высокий,

прямой, совершенно седой, густой ежик седых волос укладывался сам по себе в оригинальную прическу, которая была ему удивительно к лицу. Бледное, аристократическое лицо с крупными выразительными глазами четко выдавало в нем поэта. Внешность обманчива и не может давать никаких гарантий, но я не ошибся, Муса Гали оказался замечательным поэтом. Наши взгляды на какую-то секунду пересеклись с ним, и я уважительно поздоровался.

Свой первый стол в Малеевке я запомнил на всю жизнь. За ним сидели тоже одни поэты: Сергей Поликарпов, Лариса Васильева и Павло Мовчан из Киева, подающий большие надежды поэт, но уже тогда, в 1975 году, сильно озабоченный политикой и независимостью Украины. Уже двадцать лет он — депутат Верховной Рады, один из видных деятелей новой Украины. Тогда мы не предполагали, что политика так отдалит наши страны. Но хорошо помню, какие яростные, опасные политические споры возникали между Сергеем Поликарповым и Павло Молчаном, я о них вспоминаю даже сегодня, через тридцать лет, когда вижу передачу Владимира Соловьева «К барьеру». Как, оказывается, давно тлел националистический уголек на Украине!

Но оставим наш стол и вернемся к дорогому Мусе Гали.

Дома творчества — уникальное место, где встречались, отдыхали, работали, знакомились писатели огромной страны. Сегодня мы знаем — нигде в мире подобных заведений не было и вряд ли теперь когда-нибудь будет. Есть даже статистика: каждая вторая или третья советская книга, а выходили тогда миллионы книг, написана в Малеевке, Переделкино, Комарове, Ялте, Пицунде, Коктебеле, Дуболтах, Гаграх, Дурмене-Ташкент. Обычно с утра большинство писателей работало, часов с двенадцати катались на лыжах, потом обед, обязательные послеобеденные и после ужина прогулки вокруг дома или до деревни Глухово. У каждого был свой маршрут.

У Мустая Карима и Мусы Гали маршрут долгие годы был особенный, ударный, он составлял почти десять километров и занимал два-три часа. Не помню, чтобы кто-то пытался повторить этот путь. Они выходили сразу после обеда в любую погоду, делали большой круг. Вначале вдоль реки, потом через Дом кино в Рузе, где в баре иногда выпивали по чашке кофе и рюмке коньяка, и возвращались через густой лес у дальних коттеджей. В первый раз я жил в самом дальнем коттедже и часов в пять вечера видел в окно, как они, словно былинные богатыри, выходили из леса. Если был мороз, а тогда он был всегда,— покрытые

Минеем, с подвязанными на подбородке шапками. Так продолжалось много лет, они никогда не изменяли своей привычке.

Однажды я напросился с ними в компанию, прогулка далась мне с трудом, только отдых в баре киношников понравился. Главное, я не мог тратить три послеобеденных часа, мне нужно было работать, писать. Иногда они вдвоем до обеда выходили на лыжах, и я встречал их очень далеко в лесу, на лыжах они катались почти до семидесяти лет. Через две недели меня перевели в главный корпус, и я уже трижды на дню встречался с ними в коридоре, у газетного киоска и, конечно, в столовой.

Надо особо отметить, что перед ужином или перед кино в просторном холле с бюстом Серафимовича или прекрасном зимнем саду-галерее, связывавшем два корпуса, собирались писатели. Собирались кучками, группами, все писатели из восточных республик и Кавказа всегда окружали Мустая Карима, к ним присоединялся и я.

Однажды незадолго до ужина у меня раздался стук в дверь, на пороге стоял улыбающийся Муса Гали. В руках у него была моя первая тощая книжка «Полустанок Самсона», которую я подарил библиотеке: существовала традиция — дарить Малеевке свои книги.

— Решил с тобой ближе познакомиться, рад, что тебя волнуют татарские темы,— сказал он, улыбаясь.

В этот вечер мы прервались только на ужин. С той зимней беседы в Малеевке можно вести отсчет нашей дружбы до самой его смерти. Я бывал у друга дома в Уфе, встречались мы с ним и летом в Пицунде и Ялте.

Надо отметить, что Муса Гали, несмотря на болезни, был активнейший человек. Он даже совершил на теплоходе кругосветное путешествие, побывал во всех европейских портах и столицах. Из путешествия привез не только впечатления, но и огромный цикл стихотворений, сложившийся в отдельную книгу. У него были зоркий глаз, незамутненная душа, он остро чувствовал прекрасное, он имел тонкий вкус. После того вечера он представил меня Мустаю Кариму. И с зимы 1975-го по 1991 год только в Малеевке, а с 1991 по 1998 год — в Переделкино я был с ними постоянно рядом — двадцать пять лет близкого общения с этими прекрасными людьми! С 1980 года я оставил работу в строительстве и ушел на «вольные хлеба», и в Домах творчества бывал уже по два срока, как и они. Мы сидели за общим столом три раза в день, а вечерами чаще всего собирались у меня. Мне нравилось ухаживать за ними, принимать их.

Конечно, в наш круг часто попадали и другие писатели, особенно друзья Мустая Карима. Какие интересные разговоры были на этих посиделках, какие забытые в литературе имена воскрешались, какие стихи читались, какие истории рассказывались! Разумеется, мы частенько выпивали, а тут и песня могла зазвучать. Мустай Карим вдруг говорил: «Муса, дорогой, спой что-нибудь» — и Муса никогда не отказывался. Пел он задушевно, имел голос, знал множество татарских, башкирских, украинских песен. Мустай Карим и Муса Гали — оба фронтовики, и многие вечера неожиданно оказывались воспоминанием о войне.

Муса-ага в неполные восемнадцать лет был призван на фронт, с первых дней на передовой. Необученному худенькому деревенскому мальчику вручили тяжелое противотанковое ружье, с которым он прошел всю войну. Он говорил: я знаю, у меня левое плечо от тяжести оружия деформировалось, оно заметно ниже правого, и время от времени ноет ночи напролет.

В той уже почти забытой войне было пять-семь грандиозных сражений, они все у нас на слуху. В их число входит и форсирование Днепра, обязательно надо добавить — его высокого берега. Немцы в 1943 году так его укрепили, что были уверены — Днепр форсировать невозможно, вся река, противоположный берег лежали внизу у них перед глазами, пристрелян был каждый квадрат, весь высокий берег — в бетоне, одни дзоты. Муса-абы форсировал Днепр на каком-то утлом плотике все с тем же противотанковым ружьем, потеря которого неумолимо грозила расстрелом. Сколько полегло там его однополчан — не сосчитать, сотни, тысячи потонули, других разнесло в клочья от прямого попадания, вся река была красная от крови, казалось, Днепр вышел из берегов, говорил он. Осталось от его огромной бригады несколько человек. Раненный, контуженный Муса Гали, не выпустивший свое противотанковое ружье, с которым он сросся и спал в обнимку, одолел-таки неприступный берег. Наверное, с тех пор он полюбил Украину, Днепр. Как хорошо, что он не знает про нынешние отношения с Киевом.

Мусу Гали нельзя представить без Мустая Карима рядом или наоборот, кому как удобнее, они были неразлучны как братья. Они очень друг друга дополняли, понимали без слов, по взгляду, по жесту.

В начале рассказа я попытался дать портрет Мусы Гали — как выглядел он внешне, для подтверждения своих слов о неординарности его облика приведу пример из 1977 года.

Однажды мы втроем возвращались с обеда через летний сад к себе в комнаты, и нас догоняет известный детский писатель и не менее известный художник Юрий Коваль. Он обращается к Мустаю-ага:

— Дорогой, пожалуйста, познакомь со своим другом, хочу написать его портрет, очень благородная, высокой духовности у него внешность, давно искал такую натуру.

Мустай-ага ответил что-то шутя, а настойчивый Коваль тут же увел Мусу к себе. Портрет получился, Коваль был человек известный, думаю, что этот портрет нашего друга Мусы Гали находится где-то в музее.

Хочется вспомнить какие-то детали из его жизни — Муса-ага имел прекрасный почерк, что редко бывает у пишущих людей. Он каллиграфически переписывал свои стихи. Жаль, в наше время не было таких роскошных книг для записи, в коже, с мелованной бумагой, какой красивый архив сложился бы! Раз или два мне удалось подарить ему красивые записные книги для стихов, одну из них с его записями я видел. Сегодня я рад, что сделал такой скромный подарок, ради красоты он специально переписал туда старые стихи.

Я состоял в долгой переписке с Мустаем Каримом и Мусой Гали, сейчас эти письма хранятся в моем Государственном музее у меня на родине в Мартуке, в Казахстане. Мы согласовывали в письмах наши встречи в Домах творчества, в Москве, в Уфе, у меня в Ташкенте, в Казани. К великой радости, сохранилось много совместных фотографий. Моя часть фотографий, оформленная в альбомах, представлена в моем музее — пришла и моя пора подводить итоги. На всякий случай, пусть знают потомки, что даже в Казахстане, в далеком Мартуке, есть материалы о двух выдающихся башкирских поэтах-фронтовиках.

В 1990-м году после покушения в Ташкенте я был вынужден эмигрировать в Росиию. С 1990 по 1998 год я прожил с семьей в Доме творчества в Переделкино в комнате № 106. Все эти восемь лет мы встречались уже в Переделкино, потому что Малеевку быстро продали, и ее уже больше нет. В Переделкино мы с женой Ириной всегда принимали Мустая Карима вместе с Мусой, они приезжали туда до последнего — пока могли, пока эти дома еще сохраняли свое лицо. В эти годы к нам в компанию я приглашал Амирхана Еники, и наши разговоры наполнялись новыми событиями, фактами, судьбами, новыми красками. Мои знания о татарской и башкирской литературе, полученные из этих разговоров-бесед, равны институтскому курсу месте с аспирантурой.

В 1998 году мы купили в Москве квартиру, но, к сожалению, ни Мустай-ага, ни Муса-ага так ее не увидели, хотя они очень переживали, когда мы были «бездомными». Радовало их одно, что я стал чаще печататься в Казани, что у меня вышло несколько книг на татарском языке. Радовал их мой пятимиллионный тираж книг на русском языке, шесть изданий собраний сочинений. Они верили в меня с первых шагов, и я счастлив, что оправдал надежды дорогих моему сердцу людей. В Казани есть немало моих недоброжелателей среди писателей, они злословят: да он двадцать пять лет таскал чемоданы Мустаю Кариму и Мусе Гали! Неверно говорят, это их нескрываемая зависть говорит — Мустая Карима и старая советская власть, и новая власть Башкортостана уважали, ценили всегда — его встречала машина у трапа самолета и отвозила куда надо. А Муса Гали всегда был рядом. Я горд дружбой и вниманием таких людей и, как мог, старался помочь им, хотел быть чем-то полезным. Общение с ними было для меня праздником души. Сегодня мне самому семьдесят, и если бы они были живы, я снова с большим уважением и радостью ухаживал бы за ними, заваривал чай, выстуживал водку, накрывал столы. Мало кому выпало счастье быть с ними рядом на протяжении четверти века.

***

Я уже упоминал имя Роллана Сейсенбаева на страницах, где я рассказал о том, как попал за стол Игоря Волгина в ресторане ЦДЛ, где он отмечал развод с женой, известной балериной. Там я пообещал посвятить ему целую главу, поверьте — он достоин этого. Опять получился рекламный слоган, но я не откажусь от своих слов.

Роллан Сейсенбаев… Мы знакомы с ним и дружны с первых серьезных шагов в литературе. Познакомились мы в Москве в 1978 году в издательстве «Молодая гвардия», хотя оба — уроженцы Казахстана. Роллан уже в ту пору жил в Москве. Союз писателей СССР пригласил его, подававшего большие надежды литератора, на работу в свой аппарат — представлять казахскую литературу в столице. Ответственная должность по тем временам и его молодым двадцати восьми годам. У меня после VI Всесоюзного совещания молодых писателей, в котором участвовал и Роллан, выходила первая московская книга «Оренбургский платок». Представил нас друг другу Валерий Поволяев, занимавшийся молодыми писателями

страны. Валерий Дмитриевич в этот день принес в редакцию послесловие к моей книге, а с Ролланом они были коллеги, и их кабинеты на улице Воровского находились на одном этаже.

В литературных судьбах Роллана и моей Валерий Дмитриевич сыграл огромную роль — он по-отечески опекал нас, хотя был и не намного старше. Я рад, что мы с Ролланом оправдали надежды нашего покровителя и состоялись в литературе.

Но вернемся к нашему знакомству. Роллан пробивал в издательстве книгу молодого прозаика Оралхана Бокеева. Сейсенбаев уже в ту пору обладал нюхом на таланты и никогда не ошибался, время подтвердило его правоту. В восьмидесятые у меня регулярно выходили книги в «Советском писателе» и «Молодой гвардии», и я часто встречал в кабинетах руководителей издательств неистового Роллана, который страстно убеждал редакторов и чиновников в необходимости немедленно издать очередного талантливого писателя из Казахстана, иначе, мол, советская литература понесет невосполнимый урон. В ход шло все: дипломатия, восточная хитрость, его безмерное обаяние и щедрость, его настырность, убежденность в своей правоте, блистательное знание литературы — мировой, советской, московской, восточной и самой любимой — казахской.

Как-то я невольно оказался свидетелем такого разговора в «Советском писателе», в кабинете заведующего отделом национальных литератур (было, было такое внимание к инородцам!) Арнольда Освальдовича Тамма, мудрейшего человека и тонкого знатока Востока, кстати, он — младший брат великого академика Тамма.

Я до сих пор помню имена молодых писателей Казахстана, за которых бился неутомимый Роллан. Это — Мухтар Магауин, Дулат Исабеков, Тулен Абдиков, Смагул Елубаев и другие. Он искал талантливых переводчиков для казахской литературы. И находил такие имена! Анатолий Ким, Владимир Личутин, Владимир Цыбин.

Позже, за обедом в писательском ресторане в ЦДЛ, я сказал Роллану и в шутку, и всерьез: ты бы свои книги так рьяно пробивал. На что он с улыбкой мудреца ответил: они же аульные ребята, у них глубокие корни в родной земле, я им обязан помочь, понимаешь — обязан. А свое никуда не денется, хочу написать такое, что не вызвало бы никаких сомнений, что интересно читателю, народу, стране.

Таким ясным, твердым в убеждениях, поступках, книгах Роллан остался на всю жизнь — теперь это не подлежит обсуждению, на всем стоит тавро: проверено временем!

Я, часто бывавший в Москве по издательским делам, из-за журнальных публикаций, из-за любви к Москве театральной, музейной, музыкальной, запомнил, как жадно Роллан впитывал в себя Москву.

В Союзе писателей СССР не было проблем с билетами в театры, ну, разве что иногда, в связи с крупными премьерами в Большом театре и во МХАТе. Заведовала этим хозяйством милая, обаятельная Валентина Трофимовна Пашкевич, человек рафинированной культуры. Однажды, вручая мне билеты на два спектакля гастролировавшего в Москве Ленинградского БДТ Г. Товстоногова, сказала: я вас часто путаю: Рауль — Роллан, но вы оба молодцы, настоящие меломаны и театралы, ничего достойного в Москве не пропускаете.

Конечно, любой мой приезд в Москву — это каждодневный визит в ЦДЛ — Центральный Дом литераторов, жизнь там кипела с раннего утра до глубокой ночи. Работали книжные лавки, библиотека, бильярдная, каждый вечер — кино или творческие вечера, но излюбленными местами писателей были кафе, бар ресторана и сам ресторан, хотя и подвальное кафе никогда не пустовало. Это сегодня возле каждого ресторана стоит зазывала, а в пору «застоя» ни в один московский ресторан было не попасть, если заранее не подсуетиться. Тем более в наш, писательский, работавший по клубному принципу — только для писателей и гостей писателей. Чтобы не объяснять, насколько был хорош наш ресторан, приведу пример — когда М. Горбачеву нужно было принять Р. Рейгана вне Кремля, то выбор сразу пал на ЦДЛ. Ресторан этот описан во многих книгах, описан и сам дом задолго до того, как стал зданием Союза писателей, в «Войне и мире» Л. Н. Толстым.

Мы были молоды, азартны, любили погулять, у казахов это в крови не меньше, чем у кавказцев или итальянцев, и, конечно, быстро стали завсегдатаями Дубового зала в английском стиле. Я помню дальний столик в темном углу слева от входа, на котором и днем часто горела свеча, за которым долго сидели, беседуя о чем-то серьезном, знаменитый Юрий Казаков — высокий, уже грузный, с глубокими залысинами, в сером свитере с высоким воротником, как у Хемингуэя, а рядом с ним — мой земляк Роллан Сейсенбаев, с густой роскошной шевелюрой и огромными цыганскими глазами, элегантный, при галстуке, по-кошачьи ловкий и быстрый, бывший мастер спорта по борьбе, чемпион Казахстана, бронзовый призер Советского Союза. Так случалось на моей памяти не раз и не два. Сегодня, через десятки

лет, не спрашивая Роллана, я знаю, о чем они так долго беседовали. В то время Юрий Казаков работал над переводом замечательного романа «Пот и кровь» моего земляка челкарца А. Нурпеисова. Роман этот, в переводе обошедший весь мир, стал не только главной книгой А. Нурпеисова, но и значимым в судьбе самого Юрия Казакова. А в моем родном Актобе героям романа «Пот и кровь» недавно поставили многофигурный памятник на одной из аллей центрального сквера города. Теперь-то я знаю, что Ю. Казаков постоянно нуждался в консультациях, разъяснениях по ходу перевода, и Роллан щедро делился знаниями быта, истории, нравов своего народа. Я убежден — в популярности и жизнестойкости великого романа есть и существенный вклад молодого Роллана Сейсенбаева.

Часто я заставал Роллана в ресторане с другим Юрием — Домбровским, у которого как раз в те годы вышел в «Новом мире» нашумевший роман «Факультет ненужных вещей». Я думаю, они крепко дружили, Роллан называл его земляком. Домбровский провел много лет в заключении в Казахстане, а позже, в ссылке, жил в Алма-Ате, любил которую безмерно. Кстати, сюжет «Факультета ненужных вещей» связан с Алма-Атой, ее интеллигенцией, с творческими людьми, нашедшими приют в годы войны в казахской столице. Знаю, что Домбровский писал закрытые рецензии для издательств на книги Роллана, читал его рукописи. Уверен, что именно Домбровский оказал заметное влияние на ранние романы писателя Сейсенбаева. Хорошая школа, о таких учителях только мечтать приходится. Это Роллан уговорил Юрия Домбровского и Анатолия Кима перевести блестящую прозу своего друга Оралхана Бокеева. Этими небольшими примерами я хотел показать, что Роллан зря времени в Москве не терял — выпустил девять книг. Особо хочу отметить, что наши учителя в те далекие семидесятые всегда твердили нам, молодым: старайтесь каждодневно повышать свою культуру, знания, ходите в театры, на концерты, в музеи, читайте, любите живопись и поэзию — без этого писатель невозможен!

В Москве Роллан стал известен рано благодаря рассказу о ядерном полигоне в родных краях «День, когда рухнул мир», рассказ был записан на Всесоюзном радио, и читал его великий актер Михаил Ульянов. Рассказ перевели на многие языки, хотя позже в СССР его запретили.

Запретили и его знаменитый роман «Трон сатаны». Восемь лет книги Роллана не издавались в СССР, он выдержал и этот бой

с системой. В начале перестройки его роман «Трон сатаны» вышел трехмиллионным тиражом в самых престижных издательствах.

Для Роллана Сейсенбаева жизнь есть борьба — жестокая, изнурительная, требующая самоотрешения, иногда даже кажущаяся безнадежной. Но человек потому и может называться человеком, что, сознавая жестокую необходимость не опускать руки, не поддается утешительной философии бессмысленности бытия.

Думаю, дружба с Домбровским натолкнула Роллана на роман о великом казахском поэте, мыслителе, философе Шакариме, кстати, родственнике Роллана, расстрелянного в 1931 году. После реабилитации в шестидесятые прах Шакарима был погребен рядом с могилой Абая. В реабилитации и перезахоронении Шакарима принимал самое активное участие отец Роллана Шакен-агай, в ту пору — секретарь райкома партии. В молодые годы Шакен-агай тоже немало пожил в Москве, окончил там финансовый институт, а позже Высшую партийную школу. Во время перезахоронения праха Шакарима юный Роллан был рядом с отцом, словно предчувствовал, что когда-то станет писателем и главной темой жизни и его книг станут его великие предки Абай и Шакарим, чьим прямым потомком он является по рождению и по воле Аллаха.

Роман о Шакариме Роллан напишет в Москве, но, прежде чем опубликовать его, покажет отцу, с которым всегда был духовно близок. Роман Шакену-агаю не понравился, но особенно разъяснять — почему, он не стал. Просто сказал: пройдет время, много времени, и ты поймешь подлинное величие и мудрость нашего великого предка, и тогда ты снова вернешься к своему роману. Готовая рукопись на десятилетия ляжет на дно сундука в доме матери. Только сейчас, когда открылись архивы и Роллан получил доступ к ним, он понял, как прозорлив, дальновиден оказался отец. Сегодня, сам став аксакалом, Роллан понял, что готов вернуться к роману о незабвенном Шакариме, главной книге своей жизни.

Несмотря на внешнее благополучие жизни в Москве, на регулярно выходившие книги в столице, на высокий авторитет, заработанный среди московских интеллектуалов, в душе Роллана не было покоя, духовно он задыхался в Белокаменной. Работая в высшей идеологической организации страны, он понял, что даже с наступлением перестройки ему никогда не удастся опубликовать роман о Шакариме таким, каким он уже вызревал в его душе. Не добавят настроения уже маститому писателю Сейсенбаеву и декабрьские дни

жесткого разгона студенческих митингов в Алма-Ате в 1986 году, он неожиданно принимает решение эмигрировать из страны и уезжает поспешно в Лондон, куда давно проторили дорогу вольнодумцы со времен Герцена.

И тут мы на годы потеряли друг друга. В канун его отъезда в Лондон, когда он уже вряд ли интересовался литературными делами в стране, у меня вышел роман «Пешие прогулки», который сразу определил мое место в советской литературе. Роман на сегодня издан двадцати одним изданием тиражом более трех миллионов. Но этот роман вместе с радостью принесет мне и много бед и резко изменит мою жизнь. Сразу после выхода книги, вышедшей тиражом 250 000 экземпляров и записанной на Всесоюзном радио, на меня было совершено серьезное покушение, и я чудом остался жив, став инвалидом второй группы на всю жизнь. Такое резкое неприятие власть имущих вызвал мой первый роман.

Прожив тридцать лет в Ташкенте, я был вынужден эмигрировать в новую Россию, в Москву, которую совсем недавно покинул мой друг Роллан. Такие вот перехлесты наших судеб. Покушение на меня, одно из первых в закатном СССР, тоже имело резонанс, даже американская газета «Филадельфия инкуайер», приславшая по этому поводу специального корреспондента Стива Голдстайна, опубликовала обо мне целый подвал под названием «Исследователь мафии». Бывший и.о. Генерального прокурора России О. И. Гайданов в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина», в ту пору он был прокурором Узбекистана, подробно написал об этом покушении.

Перестройка, вызвавшая большие надежды на лучшую и свободную жизнь, кончилась крахом самой державы. Тут невольно приходит на память старая китайская философская мысль — большие беспочвенные надежды притягивают неисчислимые беды. Это точно про нас. Началось великое переселение народов на шестой части земли, такого массового исхода людей с насиженных мест не было даже после первой и второй мировых войн. Все это — рукотворная трагедия бездарных правителей Горбачева и Ельцина. С немыслимой быстротой порвалась не только связь времен и народов, но и оборвались личностные связи между людьми, близкими родственниками, пропал навсегда эпистолярный жанр, людей разбросало кого куда, как после ядерного взрыва. Трагедия, не осмысленная до сих пор ни людьми, ни литературой, ни искусством.

Роллан в Лондоне, я — в Москве, у обоих нет ни постоянного адреса, ни постоянного жилья. Однажды в Казани в случайной компании, среди малознакомых людей я услышал: а вот в Лондоне какой-то казах открыл Дом Абая… Меня словно молнией ударило, я мог поклясться чем угодно, поставить на кон все, что имею — знаю, это мог сделать только один казах… Роллан Сейсенбаев. Я тогда не знал ни об его эмиграции, ни о Лондоне. Откуда такая уверенность? С первых дней знакомства знал его идею-фикс — представить Абая, его творчество, его гений, его философию всему человечеству. Больше того, я знал, что, работая в Союзе писателей СССР, он убедил международный отдел Союза писателей в планетарном значении личности Абая в мировой культуре. И тогда, в самом конце семидесятых, из Союза писателей СССР были отправлены первые письма в ООН и ЮНЕСКО от имени великой державы СССР. Так ближайший большой юбилей Абая попал в календари ЮНЕСКО, но праздновали его уже в суверенном Казахстане, благодаря мудрому и прозорливому Президенту Н. А. Назарбаеву. И, конечно, мало кто знает и до сих пор, что дорогу к мировому величию Абая открыл его достойный потомок Роллан Сейсенбаев.

Я ни к кому не имею претензий, никого не обвиняю в равнодушии, бездействии, но у казахского народа Абай — один, это как Пушкин у русских, Тукай у татар, Навои у узбеков, Махтумкули у туркмен, Ниязи у азербайджанцев, Саади и Хафиз у таджиков, Гомер у греков, Данте у итальянцев. Казахов — десять миллионов, не много и не мало, но только благодаря многолетним усилиям Роллана юбилей Абая прошел в рамках ЮНЕСКО, и в Лондоне открылся Дом Абая, труды его издаются в журнале «Аманат» и в книжной серии журнала. Философское наследие Абая, не уступающее по мощи ни Монтеню, ни Вольтеру, ни Честертону, ни Шопенгауэру, ни Канту, под названием «Книга слов», которая состоит из сорока пяти частей, переводится Ролланом Сейсенбаевым на русский язык. От этого перевода, безусловно, оттолкнулись и английские, немецкие, французские, арабские, испанские, итальянские издания. Вместе с Абаем возвращаются миру и труды Шакарима. Вот что может сделать один человек, если он любит свой народ, свою историю, культуру, если чтит предков и, конечно, если он — Роллан Сейсенбаев. Ко всему этому уместно сказать, что и многотомное творчество самого писателя стало неотъемлемой частью казахской и мировой литературы, без него сегодня трудно представить казахскую прозу, прежде всего романистику.

В связи с обретением Казахстаном суверенитета Роллан возвращается на родину, в любимую Алма-Ату. К моему величайшему сожалению, журнал «Аманат» попал мне в руки только в 2004 году. Познакомил меня с ним автор «Аманата» прозаик Сабит Кинеев, один из младших друзей Роллана Сейсенбаева. Конечно, я рассказал Сабиту Айдаровичу, что давно знаком с Ролланом Шакеновичем и что нас в молодые годы многое связывало. Так снова восстановилась связь между нами. И для меня вопрос, что означает в вашей жизни журнал «Аманат» — очень личный. «Аманат» дорог моему сердцу тем, что восстановил в прямом смысле порушенную жестоким временем связь между нами, вернул былую дружбу. Это, наверное, не выше литературы, которой мы оба служим всю жизнь, но для меня «Аманат» ценен прежде всего этим.

«Аманат» поразил меня с первого случайно попавшего в руки номера. На всем постсоветском пространстве быстрее всего пришли в упадок культура, литература, книгоиздание. От всемирно известных литературных журналов остались лишь одни названия, существуют они только за счет сдачи в аренду своих былых апартаментов, а сами хозяева ютятся у барина в закутке или коридоре. Я не злорадствую, не ерничаю, наоборот, хочу преклонить седую голову аксакала перед редакторами, сохранившими ценой таких унижений свои журналы, культурное достояние народа. Кто-то возразит мне, скажет резко: разуй глаза, оглянись вокруг, сотни новых журналов выходят, да с такой полиграфией, бумагой, что вашим «Новому миру», «Знамени», «Простору», «Звезде Востока», «Неве», «Памиру» и не снилось. Так-то оно так, но на деле совсем не так. Они сотнями промелькнули и канули в небытие, ибо, выпустив по нескольку номеров, умерли от своей никчемности, пустоты, невостребованности, даже имея мощную финансовую подпитку. Народу ненужным оказался и гламур, и пособия по сексу, и журналы о том, где лучше поесть, где мягче поспать. Быстро дичающий народ понял, что он нуждается в духовной пище, понял, что детей надо воспитывать в пространстве культуры, а не гламура.

«Аманат» уже на обложке четко обозначил свои приоритеты: литература народов мира. И часто его сравнение с «Иностранной литературой», на мой взгляд, почетно, но неправомерно. Зная Роллана Шакеновича, уверен, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не будет довольствоваться клоном, калькой чего-то даже сверхдостойного, проверенного временем, ибо всегда идет своим путем, живет своим умом.

Концепция журнала была основательно продумана с первого номера и оттого не перекраивалась почти все десять лет, другое дело — что-то шлифовалось, улучшалась, чего-то становилось больше, чего-то меньше. Конечно, Роллан изучил опыт многих популярных журналов мира, даже тех, которые мы никогда не видели и не держали в руках, не зря же он двадцать лет проработал в Союзе писателей СССР. Я, выписывавший «Иностранную литературу» почти два десятилетия, могу сказать, что там печатались только прошедшие испытание временем и успехом литературные произведения известных писателей мира. Абсолютно по такому принципу работало и самое элитное издательство СССР «Художественная литература», только там, наряду с зарубежными корифеями литературы, печатались и советские писатели, чьи книги вызвали резонанс в стране. Кстати, я успел выпустить в «Художественной литературе» в 1990 году большой однотомник тиражом 250 000 экземпляров — оттого хорошо знаю принципы работы «Иностранной литературы» и «Худлита».

Кардинальное отличие «Аманата» от «Иностранной литературы» в том, что в нем печатаются все достойные произведения тюркоязычных писателей мира, публикуется все интересное, что создается на постсоветском пространстве. Из сорока членов международного общественного совета журнала «Аманат» семнадцать представляют все бывшие пятнадцать республик, Москву и Петербург, а остальные двадцать три — всемирно известные писатели, лауреаты Нобелевских премий, живущие на всех континентах. Часто номера «Аманата» посвящаются целиком американской, немецкой, польской, французской и другим литературам, чего не могла позволить себе «Иностранная литература». Не менее важно, что «Аманат» попадает во все крупнейшие библиотеки мира и библиотеки известных университетов. Надо обязательно отметить — уникальность журнала и в том, что это не государственный продукт, он создан Ролланом Сейсенбаевым, это его детище, он его породил, вывел в свет. Еще более тесные, углубленные отношения сложились у «Аманата» с японской литературой. Японцы готовят переводы специально для журнала, а это уже высший пилотаж! Япония — самая читающая и самая издающая книги страна в мире, отдает должное «Аманату» и его редактору. Роллан Шакенович — желанный гость в государственных и писательских кругах Японии.

В 1996 году Роллан Сейсенбаев получил аудиенцию в Ватикане у Папы Римского Иоанна Павла II. При встрече писатель подарил верховному понтифику книгу Абая на английском языке, которую сам

и издал. Узнав, что в планах римского Первосвященника есть желание посетить молодое государство в центре Евразии, Роллан предложил издать в Казахстане книгу о самом понтифике. Предложение было принято благосклонно, и в течение двух недель Роллан Шакенович получал частями три тысячи страниц рукописи с комментариями официальных биографов Папы Римского. Работа над книгой затянулась на годы, требовался тщательный перевод, консультации с высокими духовными лицами. Возникла необходимость в комментариях известных теологов.

В сентябре 2001 года Иоанн Павел II посетил Казахстан и обратился к казахстанскому народу со словами:

«Приношу благодарность Богу, приведшему меня в Астану, столицу благодатной и безбрежной страны, расположенной в самом сердце Евразии. С волнением целую землю, где возникло новое полиэтническое государство. Долго я ждал этой встречи, и велика моя радость — заключить с любовью в объятия всех жителей Казахстана.

Всевышний, направляющий судьбы людские, освещает самыми яркими небесными звездами безбрежную Землю Казахстана, ее пути в будущее!

Глядя на цвета вашего национального флага, дорогие казахстанцы, я испрашиваю для вас у Всевышнего те дары, которые они символизируют: твердость и открытость, символом чего является голубой цвет, благосостояние и мир, на что указывает золото.

Да благословит Бог тебя, Казахстан, и всех жителей твоих, и дарует тебе будущее, согласие и мир!»

Книга вышла с внушительным предисловием Роллана Сейсенбаева, к сожалению, посмертно, но понтифик при жизни знал, что в далеком Казахстане готовится книга о нем. Книга вышла в 2004 году, впервые перед читателями Казахстана встает личность и учение самого понтифика. Перед нами раскрывается его внутренний мир, предстают сфера его духовных исканий, его тревоги и надежды, чаяния и радости, высвечивается его удивительная судьба.

На презентации книги в посольстве Ватикана в Казахстане Роллан Сейсенбаев сказал: «Его называют самым великим философом, самым ярким богословом, самым искусным проповедником, человеком самой глубокой молитвы, обладателем самого авторитетного пасторского слова. И, наконец, самым известным и почитаемым Человеком нашего времени.

Ему сегодня мало равных в разносторонности талантов, целостности гуманитарного сознания и верности пастырскому предназначению.

Имя этого человека — Папа Римский Иоанн Павел II.

Его книга перед Вами».

После произнесенной краткой речи Роллана все встали, выказывая тем самым уважение и Папе Римскому, и казахскому писателю, издавшему столь серьезную монографию о жизни Понтифика.

В таком ключе я мог бы писать и писать, но я уверен — «Аманат» не нуждается в моих восторгах. Журнал живет полнокровной жизнью, и десятилетний юбилей в столь трудное для литературы время — тому яркое подтверждение. У него есть место в мировом культурном пространстве, «Аманат» — визитная карточка Казахстана, такой журнал не смогла себе позволить ни одна постсоветская республика, включая и Россию.

Вот что сказал об «Аманате», напутствуя его в жизнь, Нурсултан Назарбаев:

«Я искренне рад начинанию видного писателя Роллана Сейсенбаева в создании журнала «AMANAT» и 200-томной Библиотеки журнала.

Уверен, что истинные патриоты страны поддержат и помогут его стремлениям служить культуре и духовности Отчизны.

Казахстан известен миру газом, нефтью, хлебом, редкоземельными металлами — тем, что ему даровал Аллах. Будь в моих силах, я бы обязательно предъявил миру и «Аманат» — визитную карточку культуры, толерантности казахов не только в жизни, но и в искусстве.

Мне хотелось бы еще многое сказать и о журнале, и о Роллане Шакеновиче как драматурге, чья пьеса «Риск» шла долго на столичной сцене в постановке выдающегося казахского режиссера Азербайжана Мамбетова, недавно ушедшего из жизни. А. Мамбетов для Казахстана — все равно что Захаров, Товстоногов, Стуруа, Чхаидзе, Фоменко, Ефремов для России. Такие режиссеры пустых, проходных, «по блату» пьес не ставят.

И все же не могу не вернуться еще раз к «Аманату». Журнал возвращает и открывает вновь своему народу забытые и запрещенные идеологией имена достойных прозаиков и поэтов, а их, к великой радости, не так уж мало. И они, возвращенные «Аманатом» и Ролланом Сейсенбаевым в культурное пространство своего народа, многократно увеличили мощь и значение казахской литературы в контексте мировой культуры. Об этом, к сожалению, мало кто знает, даже интеллигенция. Слишком мала для этих целей площадка «Аманата», и чтобы

эти открытия стали достоянием народа, нужна серьезная государственная поддержка для издания двухсоттомной библиотеки, задуманной приложением к «Аманату». Но это не зависит ни от «Аманата», ни от Роллана Шакеновича — он многое сделал сам и даже выпустил сто томов этой замечательной серии. Теперь дело за государством, за Министерством информации — слишком тяжела ноша для частного журнала и его редактора, хотя величие задач видно даже равнодушному, далекому от литературы человеку.

Когда-то через известного татарского поэта Ркаиля Зайдуллу я узнал печальную историю любви молодого казахского поэта, военного представителя Казахстана в Казани (были, оказывается, и такие времена) Бернияза Бекен-улы Кулеева, который влюбился в племянницу великого татарского композитора Салиха Сайдашева. Прекрасная Зейнаб ответила на любовь любовью, и все, похоже, шло к свадьбе. Но всякие предрассудки встали на пути молодых, и тогда они покончили с собой в один час из пистолета Бернияза. Смерть Тахира и Зухры, Лейлы и Меджнуна, Тристана и Изольды — иначе не назовешь эту пару. Говорят, Казань не знала никогда таких похорон, и сразу же появилась народная песня, разошедшаяся по всему тюркскому миру, «Черный пистолет» — о любви казахского юноши-поэта и татарской красавицы. О песне этой Ркаиль Зайдулла узнал в Стамбуле и, вернувшись домой, нашел их предсвадебную фотографию, разыскал следы этой большой любви, которая стала достоянием казахской истории и культуры.

Позже я переслал в Актобе прекрасно сохранившуюся фотографию Бернияза и Зейнаб, написал статью, которую с трудом сумел напечатать в частной газете «Диапазон». Чуть позже я узнал от Меирхана Акдаулета, что молодой человек был одним из ярчайших казахских поэтов-символистов начала XX века, а эта фотография — единственное его фотоизображение в Казахстане.

«Аманат» представил читателю целую плеяду поэтов-символистов, среди которых был и знакомый мне до боли Бернияз Кулеев.

Открытие «Аманата» интересно не только с точки зрения литературы, что, конечно, важнее всего, но и потому, что судьбы казахских поэтов, писателей зачастую повторяют судьбы крупных литераторов из других стран и народов, уже давно открытых миру.

Я, человек, прекрасно знающий поэзию, впервые в «Аманате» узнал о Султанмахмуде Торайгырове, величайшем поэте, чья поэзия украсила бы любую мировую антологию. Судьба С. Торайгырова

один в один повторяет судьбу великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Они прожили день в день по двадцать семь лет, оба умерли от одной болезни и даже могли пересечься в городе Троицке, проживи Г. Тукай еще десять лет. Творчество Г. Тукая стало достоянием татарского народа, верю, что С. Торайгыров с его творчеством, открытым миру «Аманатом», тоже станет одной из главных фигур в казахской поэзии. Я, конечно, написал статьи для казанских журналов и московской газеты «Татарский мир» и об «Аманате», и о С. Торайгырове, поделился такой невероятной схожестью судеб двух поэтов, оставшихся в народном сердце. Вот за эти открытия, новые и старые, я люблю «Аманат» и жду с нетерпением каждый его номер.

Время, проблемы, связанные и с «Аманатом» тоже, ситуация вокруг и в мире, недооценка культуры в верхах и низах, растущее невежество и всеобщее бескультурье разрушают здоровье и ухудшают настроение даже таких бойцов-батыров, как Роллан Шакенович. Он часто стал болеть, и нередко мои звонки застают его в клиниках и больницах, хотя, к радости моей, все же чаще — в дороге. По своей сущности Роллан — странствующий дервиш, а, как известно, дервишами были все восточные мудрецы, философы, поэты. Но он никогда ни на что не жалуется, и на здоровье тоже, крепится, как и подобает восточному мужчине, прожившему достойную жизнь, и пристально вглядывается в будущее, а перед ним высится громада задач, которую он поставил перед собой когда-то в юности у могил Абая и Шакарима, и хотя многое сделано, высокие цели никогда не имеют окончательного завершения. Но, даже зная это, чувствуя величие и громадье задач, мой друг Роллан никогда от них не отступал и не отступится.

Полем его деятельности всегда была мировая культура, а его особым даром и достоинством — умение чувствовать и понимать единство мирового духовного наследия человечества.

Оставаясь казахом, он в то же время стал поистине универсальным деятелем культуры, и не только по широте и разнообразию познаний и интересов, но, прежде всего,— по гуманистическому пониманию единства судеб всего мира, верности всеобщим универсальным идеалам XXI века.

Здоровья, терпения, успехов и побед тебе, дорогой друг моей молодости! Пока есть ты и люди, подобные тебе, наш родной Казахстан как ракета, рванувшаяся вверх в XXI веке, обязательно поможет осуществить все твои планы и мечты, ибо это — вековечные чаяния казахского народа и мечты твоих великих предков, Абая и Шакарима.

Храни Аллах тебя, твою семью, твой род, родной для нас обоих Казахстан, долгих лет жизни тебе, дорогой мой Роллан!

***

Есть одна любопытная история из моей ташкентской молодости, которую я приберегал для своей автобиографической повести, но меня опередил живущий в Мюнхене писатель, мой старый друг Александр Фитц — бывший главный редактор газеты «Комсомолец Узбекистана» и московской газеты «Нойес Лебен», автор многих книг, изданных в России и Германии. А. Фитц — свидетель той истории, успел написать об этом рассказ. Это — часть моей биографии, моих воспоминаний, и я с удовольствием знакомлю вас этим рассказом.

Тайны ресторана «Регина»

Не верьте, если вам скажут, что летом в Ташкенте сухо и жарко, словно в тандыре[1], из которого выгребли золу и закладывают первую партию лепешек. В Ташкенте случаются летом дожди. Не часто, но случаются. Один такой дождь: шумный, пахнущий грозой и свежесорванными среднеазиатскими колокольчиками, обрушился на город в июле 1978 года. Число я забыл, а месяц запомнил.

Итак, в июле мы вышли из редакционного корпуса на улице «Правда Востока», миновали построенный японскими военнопленными по проекту выдающегося архитектора Алексея Щусева театр оперы и балета имени Алишера Навои и уже спускались в прохладный бар в полуподвале под гостиницей «Шарк», как в небе загрохотало и по асфальту ударили тяжелые, словно из ртути, капли дождя.

Витя Энкер, он заведовал отделом строительства в ташкентской «Вечёрке», моментально запел любимую тогда одинокими девушками и разведенками песню Андрея Эшпая на слова Евгения Евтушенко:

А дождь идет, а дождь идет,
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, дождь, тебе…

— Не дождь, а снег,— поправила его пышнотелая барменша Марина.

---

[1] Т а н д ы р — печь для выпечки лепешек.

— Окстись, Маринка! Какой снег? Разве не видишь — дождь,— радостно закричал Энкер.— У нас теперь все время будут дожди, как в Венеции. И, чтоб ты не опаздывала на работу, мы вскладчину купим тебе гондолу.

— Я и так не опаздываю,— ответила Марина и с некоторым сомнением в голосе добавила: — А насчет Венеции — врешь. Там море, а не дожди.

— И у нас будет море,— прогудел Саша Сафронов, мой коллега по отделу информации, но не «Вечёрки», в которой я тогда работал, а республиканской «Сельской правды».— Или ты не веришь Энкеру?

— А ну вас,— махнула рукой наша верная подруга и выручальщица,— чего заказывать будете?

— Пару белого бургундского, бутылочку шабли, естественно — сыр. Только понежнее. Лучше — козий,— програссировал, копируя французскую речь, Энкер.

— Понятно,— не удивилась Марина.— Есть пол-ящика «Ок-Мусаласа» и виноград. Лежалый. Берете?

— Не глядя,— сказал Сафронов,— только деньги завтра. Завтра у нас гонорарный день.

— Знаю,— усмехнулась Марина.— И не только у вас.

— Я, Мариночка, угощаю этих пираний пера, если они согласятся присесть к моему столу,— раздался голос с неизменно насмешливой интонацией, который мог принадлежать только одному человеку из мне известных — Раулю Мир-Хайдарову.

И я не ошибся. Именно Рауль — одно из чудес застойного Ташкента скромненько и одиноко сидел за столиком в углу. Автор захватывающих повестей и романа, вышедших в московских издательствах, денди, ловелас, меломан, обладатель столь редкой по тем временам частной коллекции живописи улыбчиво взирал на нас, приглашая разделить его скромную трапезу. И мы ее разделили.

Не знаю, как сейчас, но тогда «Ок-Мусалас» был совершенно необыкновенным по вкусу, букету и аромату полусухим мускатным. Его вместе с «Баян-Ширеем», «Алеатико», «Гуля-Кундозом» и «тремя топорами» — легендарным портвейном «Три семерки»,— выпускал ташкентский винзавод, построенный на берегу Салара еще в середине XIX века отпрыском московских купцов Иваном Первушиным. Но мы этой прелести, в смысле вина, тогда не ценили. Мы смотрели французские фильмы, читали журнал «Иностранная литература» и мечтали о бургундском.

Так вот сидели мы, значит, чудной такой компанией, удивляясь дождю, обмениваясь литературными сплетнями, и вдруг заговорили о войне, в смысле Великой Отечественной, а вообще-то — Второй мировой, которую некоторые теперь называют Великой гражданской 1939–45 годов. И когда стали обсуждать участие союзников во всяких там битвах и сражениях, Мир-Хайдаров спрашивает:

— А знаете ли вы, как в войну назывался ресторан, в котором мы отдыхаем?

— Кажется, «Регина»,— ответил не помню уж кто.

— А чем он знаменит? — задал он второй вопрос.

— Люля-кебабами,— хохотнул Энкер.

— Я серьезно,— не поддержал шутки Рауль. Все молчали.

— Именно здесь, на этажах,— придав голосу торжественность и даже некоторую бравурность, произнес Мир-Хайдаров,— в 1942 году располагался бордель для офицеров польской армии Андерса.

— Что, во всем здании? — спросил Энкер.— Прямо во всех номерах гостиницы?

— Не во всех, конечно, а в определенных,— уточнил Мир-Хайдаров.— Размечтался. Где б они столько проституток взяли? Это ж не текстильщицы-мотальщицы, штукатуры-маляры. Они были внештатными сотрудницами органов. При этом, учти, не всякие-разные, а обязательно с шармом, интеллектом…

— И задастостью,— добавил Сафронов.

— Да, и задастостью,— вздохнув, согласился Рауль.

— Ну, это кому что нравится,— с некоторым скептицизмом в голосе сказал Энкер.

— Что это за армия Андерса, которую проститутками снабжали? — спросил я.

— Это сейчас не то что тайна, а что-то вроде нехорошего воспоминания,— разливая вино по бокалам, сказал Мир-Хайдаров.— Польские писатели послевоенного поколения не раз писали в своих книгах о формировании армии генерала Андерса, упоминая там и Янги-Юль, и Ташкент, и, конечно, ресторан «Регину» — любимое место польских офицеров. Армию, во главе которой поставили Владислава Андерса, сформировали у нас в Союзе в 1941 году из польских военнопленных, немножко добавив своих поляков, западных украинцев и евреев. Согласовали это с польским правительством, сбежавшим в Лондон, и надеялись, что армия начнет воевать

на Восточном фронте. Но поляки, как известно, больше гусары, чем бойцы, и потом, к Советскому Союзу они относились почти так же, как и к гитлеровской Германии.

— Ты прямо, как Осип Эмильевич рассуждаешь,— сказал Энкер.

— Какой Осип Эмильевич? — насторожился Рауль.

— Мандельштам. Он прямо говорил: «Воевать поляки не умеют. Но бунтовать!»

— А-а,— улыбнулся Рауль.— В какой-то степени — да, тем более, что подобное сравнение льстит и за это предлагается поднять бокалы.

Мы чокнулись и с удовольствием выпили.

— Поляки, они никого не любят,— вздохнул Сафронов.

— А то мы любим? — придвигая к себе блюдо с виноградом, сказал Энкер.

— «Мы» — это кто? — хихикнул Сафронов.

— Подождите, давайте про армию,— перебил я их.

— Формировал польскую армию едва ли не сам товарищ Берия,— продолжил Рауль.— Происходило это где-то в Саратовской и Оренбургской областях. Туда из тюрем и лагерей отправили несколько десятков тысяч поляков. Потом их перебросили, чтобы откормились и окрепли, в Среднюю Азию, а штаб разместили прямо под Ташкентом — в Янги-Юле. Но вместо Восточного фронта поляки, со скрипом и оговорками, получив от Сталина «добро» в августе 1942 года, ушли в Иран. Всего их было тысяч 70, в том числе военных — 41 тысяча. Из тех же поляков, что не ушли вместе с Андерсом, была создана Первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, подчиненная советскому командованию.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Энкер.

— Для нового романа фактуру собираю и случайно наткнулся.

— Ну, а проститутки… Они где?

— На пенсии. Где же еще? Но факт, что именно здесь, под сводами этого здания, то же самое вино, а может, и джин с тоником пили шановные паны,— факт документальный. Как и то, что в составе Британской армии андерсовцы все же приняли участие в боевых действиях, но не под Сталинградом, а в Италии. В самом конце войны. Об этом даже песня сложена. «Красные маки на Монте-Кассино» называется. Да что там генерал Андерс и какое-то «Монте-Кассино», когда в этом ресторане даже гимн Советского Союза был написан. А если конкретно — слова гимна.

Услышав это, мы онемели и даже отрезвели, хотя пьяными еще не были. А может, как раз захмелели? Не помню, но то, что обалдели,— факт. Надо же, как Рауля понесло!

— Его, наверное, Халил сочинил,— усмехнулся я.

— Слова, слова здесь сочинили, а не музыку! Ты еще Луи Армстронга с Бингом Кросби вспомни. Давайте лучше помянем Халила,— снова поднимая фужер, сказал Рауль,— а потом, если хотите, расскажу.

Естественно, мы хотели, но прежде, уважаемые читатели, чем я поведаю эту историю, поясню, что те далекие годы, о которых вспоминаю, пришлись на расцвет джаза, и именно в «Регине» тогда играл лучший в Ташкенте джаз-секстет с необыкновенно талантливым саксофонистом Халилом — высоким, смуглым до черноты узбеком, с нервным, подвижным лицом. В самом зените ресторанной славы Халил неожиданно покончил жизнь самоубийством, оставив после себя разбитый вдребезги саксофон и лаконичную записку: «Ухожу, никому не желаю зла». Ну, а теперь собственно история, где, кем и при каких обстоятельствах был написан текст гимна Советского Союза, которую я впервые услышал от моего друга и земляка (оба мы родились в ссылке в Казахстане) Рауля Мир-Хайдарова. История значительно отличается от официальной версии написания «главной песни страны», что, на мой взгляд, ничуть не умаляет авторитетов ее официальных авторов — Сергея Михалкова и Эль-Регистана, а, напротив, свидетельствует, что ничто человеческое и им было не чуждо.

— Сергей Владимирович, чтобы вы знали,— начал Рауль,— всегда был не только детским поэтом, депутатом, но и большим любителем женщин. Впрочем, кто их не любит? Но о них, из соображений политкорректности, сегодня ни слова.

Итак, в 1943 году в Ташкент к одной из своих многочисленных пассий — актрисе Рине Зеленой, прямо с фронта прилетел капитан Красной Армии Сергей Михалков. Прибыл, чтобы помочь ей устроиться в театр оперетты. Легендарная Рина Зеленая, кстати, родилась в Ташкенте и даже училась в местном реальном училище, пока ее отца не перевели в Москву. И надо же такому случиться, что именно в это время в Ташкенте не то в отпуске, не то в командировке находился приятель Михалкова, его коллега по газете Военно-воздушных сил «Сталинский сокол» — бывший сотрудник «Правды Востока», затем собственный корреспондент «Правды» и «Известий» по Средней Азии майор Эль-Регистан.

Вообще-то, настоящая фамилия этого журналиста, писателя и сценариста — Уреклян, и звали его Габриэль Аркадьевич. Если еще точнее — Габриэль Аршалуйшович. Родился он в Самарканде, в семье председателя правления Туркестанского коммерческого банка в 1899 году. Прибавьте к этой «неприятности» дворянское происхождение, хорошее образование, свободное владение шестью языками — и поймете, что с такой фамилией грешную землю ему долго топтать не пришлось бы. Понял это и наш герой, быстренько соединив окончание своего имени и название главной площади Самарканда, став — Эль-Регистаном.

Звучит красиво, а в переводе с фарси всего лишь — «Песчаная площадь». Никакой романтики, но это в Средней Азии, а вот для России, Украины, Кавказа — сплошная загадочность. То есть, даже в тревожные дни и часы бытия Габриэль всегда оставался армянином.

В семье моей жены любят рассказывать о дедушке, который был богат, успешен и владел кондитерской фабрикой в Коканде, но случилась революция — всё отобрали. Семья стала бедствовать, но никто не жалился, не унижался — держали марку. Когда дедушка, звали его Семен Кеворков, собирался в город, из потайного места извлекалась склянка с хлопковым маслом, которым он легонько смазывал лихо закрученные усы: пусть все думают, только что он сытно отобедал. Так вот дедушка в глазах окружающих выглядел настоящим, то есть соленым армянином (в Армянской церкви при крещении в воду иногда добавляют соль.— *А. Ф.*).

Эль-Регистан, как мы знаем, тоже был армянином и наверняка тоже — соленым, а еще — талантливым. Алексей Толстой, выступая в 1934 году на первом съезде писателей СССР, сказал, что «в стране работают три настоящих журналиста, на которых остальным нужно равняться,— Михаил Кольцов, Илья Эренбург и Эль-Регистан». Чтобы завершить портрет этого невысокого, порывистого в движениях человека, добавлю: застолья и женщин он любил ничуть не меньше Михалкова, но, в отличие от русского дворянина, был безумно щедр и ради дам всегда готов был совершить (и совершал!) безрассудные поступки.

Кто первым из них в 1943 году услышал сообщение по радио о том, что объявлен конкурс на написание слов и музыки гимна СССР, не знаю. По одной версии, оба, по другой — Эль-Регистан, который, не мешкая, отправился к Михалкову и предложил написать текст вместе. Ну, а по ташкентской версии события разворачивались следующим образом.

В момент объявления конкурса Эль-Регистан уже был маститым журналистом, опубликовавшим блистательные репортажи о прокладке Беломоро-Балтийского и Большого Ферганского каналов, возведении Магнитки, Сталинского тракторного завода, Сибмаша… Он побывал на Тянь-Шане, на острове Диксон и даже на Северном полюсе. Выпустил несколько книг. По его сценариям сняли несколько фильмов, в том числе «Джульбарс», который демонстрируется даже сегодня. Но вот стихов Эль-Регистан не писал.

Михалков, которому на тот момент исполнилось тридцать лет, стихи писал, но исключительно для детей. И вообще он тогда, если и был известен, то в достаточно узком кругу, хотя и обладал редкими пробивными способностями.

Короче, шансы на победу у друзей были весьма призрачными. И тут на сцене, точнее, за письменным столом, возникает Гарольд Эль-Регистан — 19-летний сын Габриэля от первой жены, родившийся в Ташкенте и названный так в честь одного из героев Байрона.

Услышав о конкурсе от отца, сын тоже решил принять в нем участие, тем более что он уже считал себя поэтом и написал несколько песен.

Габриэлю текст гимна, написанный сыном, понравился, но он понимал, что шансов победить у юноши — никаких. И тогда в его голове возникла идея предложить Михалкову принять совместное участие в конкурсе. Мол, ты — русский, я — кавказец. У тебя — связи, и я не сирота. Возьмем эту крепость!

Что же касается Гарольда, то отец тоже отвел ему роль в своей постановке.

Встретились они втроем в лучшем, что естественно, ресторане Ташкента — «Регине», где с дореволюционных времен сохранились пальмы в огромных кадках, потолки украшали люстры голубого хрусталя, а закуски подавали на серебряных подносах.

Пока мэтры обсуждали шансы на победу, обговаривали генеральную линию гимна, выпивали и закусывали, молчавший все это время Гарольд взял листок и, написав на нем уже сочиненные дома слова, протянул его отцу. Все это он сделал будто бы под гипнозом, собой не владея и себя не контролируя, будто это не он, а кто-то сверху водил его рукой.

Прочтя написанное сыном, Габриэль изобразил состояние шока, ну, а Михалков действительно в нем оказался. Придя в себя, они приказали юноше держать язык за зубами и ни в коем случае никому

и никогда об этом не рассказывать. А на следующий день друзья отправились в Москву, где Михалков, подключив свои связи в компетентных органах, умудрился, минуя комиссию, передать текст гимна самому Сталину.

Справедливости ради заметим, что некоторые строфы, написанные младшим Регистаном, они подправили. Внес незначительную, но очень важную по смыслу правку в понравившийся ему текст и Иосиф Виссарионович. Так, строку «Славься, советское наше Отечество» он исправил на «Славься, Отечество наше свободное».

Короче, правительственная комиссия, рассмотрев 223 варианта текста гимна, присланные на конкурс, приняла тот, что впервые прозвучал под сводами «Регины», решив в качестве музыки главной песни страны использовать мелодию «Гимна партии большевиков» Александра Александрова, который, а это никогда не афишировалось, был последним регентом церковного хора храма Христа Спасителя в Москве.

13 декабря 1943 года в газетах было опубликовано сообщение о Государственном гимне, а в ночь на Новый, 1944 год, он впервые прозвучал по радио. С 15 марта того же года новый гимн стал исполняться по всей стране.

Авторов удостоили Сталинской премии и пригласили в Кремль на торжественный прием. Там Иосиф Виссарионович поинтересовался у них, что бы они еще, кроме означенного гонорара, хотели получить за блестяще выполненную работу? Михалков попросил новую квартиру, мол, в старой тесновато, а Эль-Регистан попросил карандаш, которым Сталин делал пометки в тексте гимна. Чувствуете разницу?

Вскоре Моссовет выделил Сергею Владимировичу большую квартиру в новом доме № 8 по улице Горького, Эль-Регистану и его молодой жене — балерине Валентине Галаниной — трехкомнатную квартиру Михалкова в доме № 6 на той же улице. А композитору Александрову — трофейный немецкий автомобиль ручной сборки «мерседес».

«Ну, а как Гарольд?» — спросите вы. Отвечаю: успешно поступил и не менее успешно окончил московский Литературный институт, выпустил около двадцати стихотворных сборников и написал слова более чем к четыремстам песням, многие из которых звучат и сегодня. Но до самой смерти в 1999 году он никому не рассказывал о том, что написал текст, легший в основу гимнов СССР и России, кроме

нескольких очень доверенных и очень близких ему людей. Но ведь недаром еще древние говорили: «То, что знают двое, знает свинья». Да и главный Эль-Регистан перед ранней своей кончиной в июле 1945 года об этом тоже вроде бы обмолвился. А почему нет? Заслуг у него и без гимна хватало, а Гарольд — единственный сын. По крайней мере, официально.

Конечно, прочтя эту историю, многие возмутятся и скажут, что по их сведениям все было не так. И гимн писался не в Ташкенте, а в Москве. И не на листке в «Регине», а на счете столичного ресторана «Москва». Ну, а идея о соавторстве у Михалкова с Эль-Регистаном родилась за столиком в «Арагви». И вообще, принять участие в конкурсе старшему Эль-Регистану предложил Климент Ворошилов, возглавлявший правительственную комиссию по утверждению гимна. Именно Климент Ефремович позвонил Эль-Регистану по телефону, а уж тот привлек затем Михалкова. Может быть. Не спорю. Но в Ташкенте, по крайней мере, во времена моей молодости, бытовало свое, особое мнение. Да и вы, уважаемые читатели, окажись в «Шарке», который раньше назывался «Региной», наверняка разделили бы его. Но нет «Шарка», нет «Регины», нет Габриэля Аршалуйшовича, Гарольда Габриэльевича, Сергея Владимировича и товарища Сталина тоже нет, а вот гимн и легенда остались.

Агиус-Николау, Греция — Москва — Ницца,
2010–2011

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ВТОРОЙ

Вот и всё… я пишу вам с вокзала

Двойник китайского императора. Роман 13

Мартук — пристань души моей. Повесть 185
Чти отца своего. Повесть 285
Седовласый с розой в петлице. Повесть 423

Вот и всё… я пишу вам с вокзала. Мемуары 483

Литературно-художественное издание

Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович

Собрание сочинений в шести томах

Том второй

Казань. Издательство «Kazan-Казань». 2011

Редактор
Ю. А. Балашов

Художественное оформление:
Г. Л. Эйдинов

Техническое редактирование и компьютерная верстка:
А. Р. Ермолаева, Р. М. Шарафутдинов, С. А. Саакян

Корректор *Л. З. Салямова*

Собрание сочинений оформлено картинами из личной коллекции
Рауля Мир-Хайдарова.
На обложках использованы картины
Айдара Шириязданова.
В оформлении книг использованы картины
Сергея Широкова.

С оригинал-макета подписано в печать 05.12.2011. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
П. л. 39,25. Усл. печ. л. 51,35. Тираж 2000. Заказ????.

Издательство «Kazan-Казань». 420066, Казань, ул. Чистопольская, 5
Филиал ОАО «Татмедиа» Полиграфическо-издательский комплекс
«Идел-Пресс»
420066, Казань, ул. Декабристов, 2